

The background of the image is a historical map, likely from the 17th or 18th century, featuring a compass rose in the upper right corner and various geographical labels in Cyrillic script. A cut-throat razor with an ornate brass head and a dark, textured handle is positioned diagonally across the left side of the image. The razor's head is open, and its blade is visible. The overall color palette is warm, with shades of brown, gold, and orange.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Шобол
Много званых

Annotation

В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум «Тобол». «Тобол. Много званых» – первая книга романа.

- [Алексей Иванов](#)
 - [Пролог](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)

- [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Часть четвёртая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
-

Алексей Иванов

Тобол. Много званых: [роман-пеплум]

Пролог

Мертвец

Пьяный Пётр промахнулся ботфортом мимо стремени и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Меншиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками заляпанную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом, натужно хохотнув, посадил государя на лошадь. Лизетта, соловая кобыла, стояла смирно и лишь подрагивала хвостом – она и не такое видала. Пётр разбирал поводья. Меншиков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты.

Конечно, государь перебрал мальвазии на галере, пока вместе с Сашкой плыл от Адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он всё равно бы напился – не на галере, так в Коммерц-коллегии у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Пётр знал: эта боль заполнила бы всё тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы её вытеснил дурной и тяжёлый хмель.

На адмиралтейские верфи Пётр ездил посмотреть, как идёт тимберовка «Леферма» – потрёпанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову, и Федька его купил. «Леферм» шесть лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На Неве с корабля сняли все пушки и мачты, две палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус кабестанами выволокли на стапель. Деревянная туша фрегата, зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах-кильблоках под мелким ингерманландским дождём. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Пётр чувствовал свою человеческую мелкоту. Величие корабля всегда по-юношески волновало его, даже теперь, когда терзала боль. Федосейка Скляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию «Леферма». Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепившее фрегат: десятники орали и размахивали руками, грузчики поднимали на таях длинные тёсанные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания.

С верфи Пётр отправился в Коммерц-коллегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государя везла сорокавёсельная шхерная галера. С её косых латинских парусов стекала вода. На открытой корме был установлен

балдахин, и Сашка Меншиков угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну, балдахин хлопал и махал кистями, задранную корму галеры обдавало порывами водяной пыли. Несчастных шведов-музыкантов мутило от качки, усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам, и скрипка взвизгивала. Пётр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву: галеры, шлюпки, карбасы, плашкоуты с грудями мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладоги, голландские шнявы, два новых фрегата с вьющимися на ветру флагами, длинные вереницы плотов с домиками плотогонов... С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули три пушки: может, учения, а может, увидели на галере брейд-вымпел императора.

На дощатом пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт – адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрёпанные отсыревшие плюмажи торчали, как цветное сено. Подсаженный Меншиковым, Пётр с трудом взобрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач-швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги: его тошнило.

Императорская кавалькада двинулась к зданию Коллегий.

– Сашка, поди поближе, – окликнул Пётр.

Меншиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали по слякоти.

– Почто у тебя музыканты – шведы? – устало спросил Пётр. – Я же приказал: как заключим мир с королём Фредриком – всем пленным воля.

– У меня не шведы, государь, – тотчас отпёрся Сашка. – Я сих молодцев у Покровского монастыря в Пскове откупил.

– Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?

– Не отличишь, государь, – убеждённо сказал Меншиков.

Пётр вытащил из-за отворота рукава исписанную бумагу, скомкал её и швырнул Сашке в плутовскую морду.

– Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. Плачутся, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно.

Меншиков обиженно надулся.

– Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают!

– Так то про корабельщиков и оружейников сказано! – злобно рявкнул Пётр. – Не про твоих свистоплясов! Ради своей потехи ты императорским словом зад подтираешь?

– Прости, Лексеич, – виновато сказал Меншиков. Физиономия у него

сразу стала несчастной. – Я думал, семеро бандуристов – велика ли беда?

Пётр только бессильно дёрнул лошадь за поводья.

Лизетта спотыкалась в грязи, и её рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Пётр уже осознал, что эта болезнь убьёт его. Не спасут ни амстердамские лекари, ни марциальные воды. Он видел немало смертей – в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как у всех. И он тоже умрёт, и довольно скоро, и ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И всё же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у бога.

Выкрутился же этот шельма – Сашка Меншиков. Три года назад Пётр хотел его судить за воровство и казнить, и Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью; его корёжило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него «феба» в груди, и пора его соборовать. Пётр у одра простил грешного друга – и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом, и пьёт, и баб портит, и ворует.

Сашку исцелил он – царь, помазанник. А его самого исцелит царство. Империя. Он достроит свою империю, и бог его помилует. Империя – это фрегат, который увезёт его из болезни. Его спасение и награда. Пётр понимал, что верить в такое – наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно: дескать, ежели вера его истинна, он вернётся домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадёт чёрт знает где. И он, Пётр, тоже как Магелланус.

Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные... Разодетые иноземцы стояли на галерее аустерии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба. А железный купол собора – ржавый, заметил Пётр. Говорил же он Сашке поменять железо – и что?..

По периметру площадь окружали деревянные дворцы: Сенат, Синод, таможенное казначейство, коллегии. В центре – так, чтобы из всех казённых окон было видно, – возвышалась виселица, и на ней висел растрёпанный полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая десять лет назад, уже пришла в негодность: зыбкая земля местами просела, булыжники выщербило из кладки, наводнения натащили грязь.

Повсюду вольно распростёрлись размашистые бурые лужи, через которые там и сям были перекинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колёсах. Кавалькада Петра еле продвигалась по колдобинам.

– Сашка, ты обещал к распутице брусчатку сделать, – сказал Пётр.

– Я на то четыре барки камня в Твери заготовил, – сразу пояснил Меншиков, – а они в гагаринском канале под Волочком на мелях застряли, никаким лядом не стащить. Пришлось до водополя ждать подъёма.

– Врёшь. Ты берег у своего дворца ими укрепил. Своровал, значит.

– Да я за всякую копейку душой клянусь! – загорячился Меншиков.

Пётр не ответил. Он угрюмо разглядывал мертвеца на виселице. Голова казнённого была свёрнута набок; чернели провалы глазниц, расклёванных вороньём; зияла гнилая дыра на месте рта; из тряпья, точно коряги, торчали распухшие чёрные руки и босые ноги. Уже и не узнать в этом адском чудовище бывшего человека. А ведь в прежние годы Пётр очень его уважал. Думал, что может опереться на его плечо – такой не предаст. Предал.

– Хочешь рядом с ним, Сашка? – Пётр кивнул на висельника.

– Я тебя накормил, Алексеич, опохмелил, а ты меня за горло, – опять обиделся Меншиков. – Не по-царски это.

Петру безразлична была обида Сашки. Меншиков – такой же вор, как этот висельник. Вся разница – что ещё живой.

– Знаешь, Сашка, чего желаю успеть, покуда меня бог не приберёт?

– Чего? – настороженно спросил Сашка.

– Тебя как его вздёрнуть. Ты же одной с ним породы. Все вы мне опаскудели. Вы хуже бородатых.

Меншиков смолчал, не ответил – слишком серьёзен был Пётр.

А Пётр думал, что он умирает, а его город засасывают чухонские хляби, а его империя нужна только ворами. Никуда его прекрасный фрегат не уплывёт из этой ижорской болотины, если его не спустить на большую воду. Пётр вспоминал «Леферм» на адмиралтейской верфи. Люди вроде Сашки Меншикова или того мертвеца на виселице – они будто кильблоки под «Лефермом». Фрегат нужно строить на кильблоках, но потом их надо убирать, вышибать из-под судна, иначе корабль не сойдёт со стапеля.

Пётр направил Лизетту прямо к висельнику. Меншиков опасливо ехал на шаг позади. Кавалькада следовала за императором в тихом недоумении: зачем государь двинулся к этой мерзости? Пётр приблизился к мертвецу, остановил лошадь, вытянул из седельной кобуры длинноствольный пистолет и толкнул повешенного в сырое заплесневелое колено.

– Босой висишь? – издеваясь, спросил он у покойника. – Сначала ты сам воровал, а теперь и с тебя сапоги украли.

Мертвец покачивался от толчка, словно не желал отвечать. Вдруг прокисшая верёвка лопнула, и мертвец рухнул. Он тяжело шлёпнулся в лужу под виселицей, плеснув грязью. Петра обдало смрадом разложения. Лизетта испуганно шарахнулась в сторону и тряхнула государя, так что он чуть не вывалился из седла. В животе у Петра бултыхнулась острая боль. Офицеры и гвардейцы эскорта мгновенно выхватили шпаги и палаши.

– Тихо, Лизет! – прохрипел Пётр, стукнув лошадь пистолетом по шее.

Болело. Болело. Болело. Пётр бросил пистолет на землю, кряхтя, слез с лошади и облокотился на седло. Когда стоишь, меньше режет... Сашка тоже спешился и подошёл к Петру с кожаной флягой в руке.

– Может, глотнёшь ренского? – с сочувствием спросил он.

Пётр повернулся, морщась, оттолкнул Меншикова, шагнул к мертвецу, лежащему в луже, и, не щадя себя, пнул покойника в бок.

– Ах ты иуда! – выдохнул он.

Движения разжигали боль, и Пётр яростно пнул мертвеца снова, а потом ещё и ещё. Мертвец дёргался в луже, словно был живой, а на виселице только притворялся мёртвым. Офицеры смотрели на государя с ужасом.

Боль раздирала внутренности, лицо Петра покрыла испарина. Меншиков мелко крестился. Пётр с ненавистью харкнул на мертвеца, вырвал из руки Меншикова флягу с вином и приложился к горлышку. Он уже не берёт себя. Он сам запрыгнул в седло, словно стал молодым и сильным, и оглянулся на свой эскорт.

– Сего изменника поднять и обратно на перекладину! – властно приказал он, указывая пальцем на труп посреди лужи. – Токмо теперь на железную цепь, дабы не истлела! И пусть три года висит всей державе для примера!

Офицеры эскорта выпрямились в сёдлах и, не находя слов, салютовали императору шпагами.

Пётр пришпорил кобылу и поскакал напрямик через площадь к зданию коллегий. Меншиков взлетел на коня и поспешил за государем. Мертвец остался лежать в луже под ингерманландским дождём. Его закостеневшая скрюченная рука торчала из грязи, будто мертвец благословлял императора.

Часть первая

Пришедшие и взявшие

Глава 1

Шествие побеждённых

Они шли на восток бесконечно долго. В заунывном однообразии пути можно было поверить, что земная твердь скоро незаметно пойдёт под уклон, и они, идущие на восток, потихоньку окажутся уже в пределах преисподней. Но преисподняя никак не начиналась. Впереди под тучами один за другим медленно проступали из холодной снежной мглы какие-то сизые горные хребты, и всё продолжалась, всё тянулась, всё не заканчивалась эта непомерная Россия, неизбывная и неотвратимая, как Страшный суд.

Туда, в бездны России, брели вереницы пленных шведов. Санные дороги ползли сквозь глухие и непробудные леса, катились по льду неизвестных рек. Хлестал вьюгами тоскливый март 1711 года. По заметённым трактам в Сибирь шагали подданные короля Карла XII. Король гордо называл себя последним викингом, но никакие викинги, ни первые, ни последние, никогда не забирались в такую немыслимую даль: в страны Гога и Магога, в царство псоглавцев, в гибельную Гиперборею, за пределы Ойкумены.

Среди пленных были безбровые от артиллерийского огня канониры, у которых под стенами Полтавы полопались перекалённые стрельбой орудия. Были рослые гренадеры, которые на дымных лугах Ворсклы расшвыряли во врагов все свои гранаты, а потом бежали, обезоруженные. Были иссечённые шрамами мушкетёры, которые на редутах отбивали русские атаки, воткнув длинные штыки-багинеты в горячие стволы мушкетов. Были усатые драгуны, у которых перед ретраншементом царя Петра картечью перебило лошадей. Были надменные офицеры, которые с поля боя отступили до берега Днепра и, настигнутые на переправе летучим русским корволантом, сдались, бросив свои шпаги под копыта казачьей конницы.

А ещё в Сибирь уходили обозники шведской армии. Они спасались бегством после поражения короля и увязли в болотах, заблудились в лесах. Это были повара, фуражиры, конюхи, лекари, писари провиантской службы, оружейники, фурманы, покинутые господами лакеи, цирюльники, бабёнки-маркитантки, солдатские жёны и вдовы, которым без войска некуда было приткнуться, полковые потаскухи, музыканты и карточные шулеры.

Их всех ждала Сибирь. В каморке московского Фельдт- комиссариата

Табберту довелось-таки поговорить со старым графом Карлом Пипером, начальником королевской походной канцелярии, и граф, качая париком, грустно поведал, что их, каролинов разного калибра, в русском плену тысяч двадцать, а то и тридцать. Целая армия. И царь Пётр безжалостно отправил её осваивать дикие окраины своей неизмеримой державы.

Филипп Юхан Табберт фон Страленберг, капитан Померанского полка принцессы Ульрики Элеоноры, был отправлен на поселение в город Тобольск в составе команды из сотни военнопленных и десятка солдат конвоя. В зашитом кармане камзола Табберт нёс на груди рекомендательное письмо графа Пипера ольдерману шведской общины в Тобольске – капитану Курту фон Вреху. Команда Табберта вышла из Москвы уже год назад; в мае 1710 года шведы добрались до города Вятки, он же – Хлынов, и застряли там до Рождества. Русские власти не выплатили конвойным солдатам жалованья, а шведский Фельдт-комиссариат не выслал пленным денежного содержания, обещанного королём и риксдагом. Ссылным и их охранникам оставалось просто сдохнуть с голода, поэтому они нанялись работать на пашни и покосы богатых монастырей Вятки. Осенью вятский комендант Степан Траханиотов нажаловался новому сибирскому губернатору князю Гагарину, что шведы не уходят в Тобольск, потому что у них и гроша на дорогу нет, а сидят в городе в съезжей избе и пьянствуют, поганцы, со своими нищими сторожами. Князь Гагарин был женат на дочери коменданта и внял жалобе тестя: прислал триста рублей на провиант и одежду – дал шведам в долг из своего кармана.

И вот теперь пленные шагали по ледяной дороге реки Вишеры, по старому Сибирскому тракту – так зимой было ближе до города Верхотурье. Табберт догадался, что эти покатые лесные кручи вокруг с заснеженными скалами на вершинах – легендарные Рифейские горы, о которых рассказывал Птолемей, только нет здесь ни мрачных киммерийцев, ни свирепых скифов. Здесь живут русские, а страна здешняя – окраина Великой Татарии.

Табберт оглядывал своих товарищей. Уже и не узнать воинов короля Карла. Лица тёмные, обветренные, распухшие от холода. Многодневная щетина. И солдаты, и офицеры одеты в русские обноски: рваные армяки, облезлые полушубки, зипуны и тулупы, у которых прорехи выворачиваются грязной овчиной наружу. Камзолы – под рваньём. Поверх чулок и коротких штанов-кюлотов надеты плотные крестьянские порты. Башмаки с медными пряжками все шведы давно обменяли на войлочные сапоги с кожаными подошвами. На головах – жуткие русские треухи. Впрочем, Табберт и сам обматывал голову бабьим платком, но поверх всё

равно водружал треуголку с кантом. Пускай жизнь скотская, нельзя превращаться в скотов.

Русские солдаты ничем не отличались от шведов, даже свои ружья они свалили в обозные сани, в которых везли провизию и скарб. Заиндевелые лошади тоже казались пленными. В их гривах и хвостах блестел лёд.

Краем уха Табберт прислушивался к ворчанью солдата Цимса, который придирался к жене – стройной, красивой и замкнутой женщине.

– Бригитта, я знаю, ты прячешь серебряный риксдалер, отдай его мне!

– У меня его давно уже нет, Михаэль, – сдержанно отвечала Бригитта.

Табберту не нравился Цимс. Здоровенный тупой рыбак из Сундсвалля, нанявшийся в армию, чтобы грабить и насиловать. На войне он начал много пить и даже в плену исхитрился найти себе пойло. В начале пути Табберта удивил его мундир: прорехи старательно заштопаны женой, но галуны ободраны, и вместо тридцати двух оловянных пуговиц со шведским львом – десяток деревянных русских пуговиц. Цимс пропивал всё подряд.

– Ты потеряла мои рукавицы, Бригитта. У меня мёрзнут руки. Это дикая страна, я её ненавижу. Отдай мне свои чулки из шерсти, я натяну их на руки.

– Не отдам. Я видела, как ты проиграл рукавицы в кости, Михаэль, – негромко и терпеливо отвечала Бригитта.

За Цимсом и его женой шли два русских солдата – старый и молодой. Старый солдат – его звали Савелий – на ходу курил трубку, а молодой – Юрка – грыз сухарь. Табберт уже неплохо понимал по-русски.

– Савелий, где сегодня ночлег?

– За Писаным камнем деревня. Вёрст пять ещё.

– На постоялом дворе или по избам?

– По избам.

– Давай затащим Бригитку к себе? Хорошая баба. Сначала ты мне её поддержишь, потом я тебе поддержу.

– О чём-то, кроме баб, ты умеешь думать, Юрка?

– Старый дурак ты, Савелий, – огорчился Юрка.

– Это ты дурак. Ты на войне бывал?

– Ну, не бывал, и что? Я в Воронеже царское плотбище охранял.

– А они все бывали, – Савелий вытащил из-под усов трубку и указал чубуком на шведов. – Они живых людей кололи и рубили. Ты хочешь их обидеть? Ежели они забунтуют, нам не отстреляться, понял?

Табберт снисходительно усмехнулся. Что русские, что шведы – все они здесь ссыльные и подневольные. Плена нет, есть странная необходимость прожить часть жизни в этих отдалённых и гиблых краях. Так распорядился

фатум. Ему, капитану Табберту, тридцать пять. Он в расцвете сил, он здоров, у него острый ум. Ему всё интересно. Значит, он должен суметь извлечь пользу из того, что людям попроще кажется несчастьем. Табберт думал об этом, потому что вереница пленных на льду реки напоминала ему другое шествие – позорный парад каролинов, устроенный в Москве царём Петром.

После всех побед Пётр решил увенчать себя триумфом, словно римский цезарь. О Риме Табберту красочно рассказывал товарищ в полку – капитан Яган фон Кронхельм. Яган, славный юноша, несколько лет проучился в Уппсальском университете, но бросил учёбу, вдохновлённый свершениями короля Карла, и ушёл воевать за монарха. Ягана убили под Полтавой.

Русские собрали несколько тысяч пленных в селе Коломенском близ Москвы, старой столицы государства. Царь Пётр сам составил регламент шествия. В Москве воздвигли семь триумфальных арок. Под клики народа через них должны были пройти победители и побеждённые.

Табберт помнил, как студёным декабрьским утром их, пленников, выстроили в колонну и приказали снять верхнюю одежду, чтобы горожане увидели красивые мундиры с блестящими галунами и шитьём, с застёжками-бранденбурами, с подвёрнутыми на крючки полами, с отворотами рукавов и плетёными кистями. Офицеры надели парики – пышные «львиные гривы». Гренадеры шли в высоких шапках-«стрюках» с медными пластинами на лбу.

Свежо и просторно разливался рассвет – клюквенно-водянистый, будто размороженный. Бронзовое ядро солнца топило синий лёд небосвода своим голым и горячим астрономическим телом и пунцово подсвечивало столбы печных дымов над снежными крышами. На подворьях предместья мычали коровы, брехали собаки, пели петухи. Издалека жидким стеклом наплывал слитный звон сотен московских колоколов. Город ждал зрелища.

Деревянная Москва оказалась безразмерной, как целая страна. Улицы, проулки, заборы, хоромы, заборы, хоромы, крылечки с лестницами, кабаки, сады, часовни, торговые лавки, башни, площади, поленницы, мосты, бани, церкви, частоколы, кладбища, дворцы, пепелища, виселицы. И толпы, толпы народа в громоздких и неуклюжих одеждах: краснорожие и бородатые мужики в шапках, толстые бабы, девушки с ярко наруганными скулами, священники, калеки, азиаты, старики с палками, дворяне на конях, купцы возле санных карет, мальчишки на крышах амбаров. Шествие двигалось сквозь город и гомон. Хрустел снег под ногами, скрипели ремни амуниции.

Впереди шли музыканты: били в литавры и дули в гобои. За ними гордо ехала конница и маршировали колонны Семёновского полка в треуголках, синих мундирах и красных чулках. Лошади в синих пополах везли пушки. Солдаты несли склонённые знамёна шведов, подметая ими снег, – яркие, разноцветные полотнища с крестами, львами и рыцарскими шлемами. Среди семёновцев на коне медленно ехал старый граф Адам Левенгаупт, генерал. Это он подписал капитуляцию под Полтавой. На нём был чёрный парик и мягкая кираса. Его коня под уздцы вёл мальчик в кафтане семёновца.

А за стройными рядами гвардейцев, вызывая восторг толпы, ехали сани, запряжённые оленями, и в санях – царский придурок Выменка: французский шут Вимени, подаренный Петру польским королём Августом. Выменка гримасничал подвижным морщинистым лицом, высовывал язык и кривлялся. Он изображал короля Карла XII. За шутом тащилась свита – двадцатка калмыков, наряженных дикими самоедами, тоже на санях с оленями. Дескать, вот какой сумасброд этот шведский король. Потом Табберт узнал, что это было последнее представление Выменки. Ночью на царском пиру каждый из вельможных пьяниц хотел поднять чарку с «Карлушкой», и несчастного безумца Выменку запоили до смерти.

Царь Пётр был очень доволен своей выдумкой с шутом. Царь ехал на любимой кобыле Лизетте во главе Преображенского полка. На Петре был мундир полковника, в котором Пётр под Полтавой водил в атаку батальон, и шляпа, простреленная пулей. Преображенцы шагали в зелёных мундирах с алыми подкладами, с жёлтыми лентами через плечо, на руки они повязали банты. Среди них на коне, подобно генералу Левенгаупту, ехал надменный фельдмаршал граф Карл Реншильд – командующий шведской армией.

За преображенцами уже двигались пленные шведы, сначала генералы и полковники, затем офицеры рангом ниже, унтер-офицеры и солдаты – огромная колонна, составленная без разбора полков и родов войск. Над колонной возвышался граф Пипер, походный министр. Его везли на дрогах с огромными колёсами, он сидел в кресле, а перед дрогами пленные гвардейцы несли пустые носилки короля Карла и захваченный русскими королевский штандарт. Это означало, что шведский король – пустое место.

Бесконечная шумная толпа стояла по обе стороны улицы, по которой тянулось шествие. Табберт рассматривал этих людей. А русские упивались злорадством и превосходством. Они хохотали, свистели, тыкали пальцами, указывая на генералов и знамёна, улюлюкали, лепили снежки и швыряли в шведов. Снежки били пленным в грудь, в плечи, в спины, в лица, сшибали

шапки. Самые точные и обидные попадания толпа встречала взрывами ликования. Офицеры злобно отворачивались и ругались, вытирая платками кровь из разбитых носов. Честь не позволяла офицерам склонить голову, но солдаты горбились и прикрывались руками.

А капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг – конечно, раздражённый снежным обстрелом, – вдруг понял, что не чувствует себя униженным, как того хотел царь Пётр. Для русских пленные шведы были кем-то вроде лесных зверей, которых изловили под Полтавой и привезли сюда на потеху. Но зверинец оказался, так сказать, обоюдным.

Шествие текло сквозь триумфальные ворота. Проезды в них были устланы еловыми лапами. На крышах ворот вместо квадриг стояли оркестры и церковные хоры. Флейтисты, гусельники и ложкари играли что-то совсем дикое, певчие пели. В первых воротах государя под пушечные залпы встречали московские бояре. Во вторых воротах в окружении чиновников стоял князь Гагарин – комендант Москвы и губернатор Сибири. В третьих воротах царю кланялись дворяне, далее – купцы, далее – попы, в шестых воротах рыдала царица Наталья Кирилловна, в седьмых воротах, последних, с кубками в руках ожидали взмокшие от страха московские старшины.

Табберт шёл через ворота вместе с другими пленными и озирался, разглядывая эти громадные и нелепые сооружения. На белёных стенах русские художники намалевали латинские девизы – ошибка на ошибке – и разные поучительные аллегории: уродливые шведские солдаты с маленькими пушечками, толстощёкие ангелы с трубами, смешные львы, грызущие свои хвосты, чудовищный орёл, на котором летел мелкий русский царь. Табберт думал: вместо колонн – брёвна, вместо мрамора – доски... Римский триумф, изображённый варварами. Русские – галлы. Великий народ, но варварский. И галлам никогда не стать римлянами, даже если они разрушат Рим.

А сейчас шум и брань позорного парада уже давно остались в прошлом, но шествие побеждённых всё продолжалось и продолжалось. Под ногами скрипел снег ледовой дороги, шуршали полозья саней, всхрапывали лошади, негромко переговаривались усталые люди, где-то вдали по густым лесам порой разносился почти призрачный шум от внезапного шевеления ветра. Табберту дышалось легко. Он приучился воспринимать голод как целебное благо, а потому чувствовал себя бодрым и уверенным.

По узкому зимнему тракту шагала сотня пленных шведов вперемешку с десятком русских солдат и десятком лошадей с санями. Длинная

извилистая река, хмурые еловые кручи, тысяча вёрст без дорог и почти без жилья... Погибнуть здесь было куда проще, чем на поле Полтавы.

Берег по левую сторону поднимался всё выше и, наконец, встал отвесно, будто пробудился, высунув острый скальный выступ, как колено из-под одеяла. С излучины Табберт увидел, что весь берег – высокая гора, такая огромная, словно была создана для моря, а не для реки. Она обрывалась в реку протяжённой грядой косых разновеликих утёсов. Между их каменных клиньев в тушу горы глубоко вваливались лога, заросшие хвойной шерстью. Мороз освежевал растрескавшиеся стены, прокалил пятна лишайников до нервного багрянца, иссушил щетину травы в расщелинах. В глухой толще белёсых известняков чудилось какое-то стиснутое отчаянье, даже воздух замер неподвижными ударами жути. Казалось, тяжёлое небо само подбирает свой облачный испод, перебираясь через рубеж, обжигающий стужей.

Но Табберт заметил и другое. На вытертой плоскости камня у подножия одного утёса красной краской врассыпную были начертаны странные знаки: круги, стрелы, кресты, олени с рогами, человечки. Так рисуют дети. Табберт, щурясь, с дороги всматривался в эти каракули, а потом догнал старого солдата Савелия и взял его за рукав зипуна.

– Савелий, кто рисовать? – по-русски спросил Табберт и указал на скалу.

– Там, что ли? – удивился Савелий и пожал плечами. – Да не знаю я. Камень Писанный, значит, писали на нём. Всегда было.

Табберт отстал от русских, дожидаясь товарища – Юхана Густава Рената, артиллерийского офицера.

– Посмотрите, господин штык-юнкер, – заговорил он по-шведски. – Вы тоже видите эти непонятные изображения на скале?

В самом начале войны с русскими капитан Табберт несколько месяцев прослужил в гарнизоне Гётеборга – риксдаг опасался, что Дания высадит в порту Гётеборга десант. И здесь Табберт услышал о петроглифах викингов на древних валунах, что лежат в сосновых борах на склоне холма Танум. Когда появилась возможность, Табберт нанял проводника с лодкой и отправился мимо шхер Скагеррака к удивительному холму. Он нашёл эти валуны. На шершавых каменных лбах и вправду были высечены знаки – стрелы, кресты, человечки, лодки... Такие же, как здесь, – на богом забытой скале. Табберта глубоко взволновало это необъяснимое сходство.

– Мне нет дела до русских скал, – раздражённо пробурчал Ренат.

– Вам не случалось видеть письма викингов на валунах Бохуслена? Готов биться об заклад, что эти линии чертила та же рука.

– Моя цель – выжить в этой проклятой стране, – глухо сказал Ренат. – А вы, господин капитан, не расходуйте себя на посторонние предметы.

Табберт понял, что Ренат замёрз и обессилел.

– Вы пали духом, господин штык-юнкер, – Табберт глядел на Рената внимательно и с сочувствием. – А ведь вы моложе меня. Возьмите, это поддержит вас до вечера.

Табберт расстегнул тулуп, достал из кармана сухарь и протянул Ренату. Пряча глаза, Ренат взял сухарь и сразу принялся грызть. Табберт усмехнулся, расстегнул камзол и вытащил из-за пазухи своё сокровище – тетрадь для записей и грифель. Бумагу и кусок графита ему подарил господин Пипер.

Эти петроглифы следовало зарисовать. Для чего? – Табберт ещё не придумал, но свидетельство о подобных удивительных изображениях когда-нибудь в будущем может оказаться очень ценным. Табберт сошёл с дороги, погрузился в снег и пошёл к скале, оставляя за собой борозду. Тетрадь он держал повыше, чтобы не замочить. Шведы и русские в изумлении оглядывались на безрассудного капитана фон Страленберга.

– Эй, шальной! – закричал Табберту солдат Савелий. – Ну-ка вернись!

– Да пёс с ним, – сказал солдат Юрка. – Жить захочет – догонит.

Глава 2

От бога ветер

В Сибири Юрку всё тяготило, и эта белая ночь с её обволакивающим жемчужным светом тоже казалась невыносимой. Юрка заворочался, сбросил с себя кафтан, поднялся и побрёл на корму дощаника. Там у длинной рукояти сопцового руля на обносном бруске боком сидел Ерофей и лузгал кедровые орешки. Юрка подобрал под лавкой берестяной ковшик, наклонился за борт, держась за становой трос от мачты-щеглы, и зачерпнул обской воды.

– Не могу спать, дядя Ерофей, – пожаловался он. – Измучился себя пристраивать. Свет этот негасимый прямо душу сосёт, глаза не закрыть.

– Лучше на полночном свете, чем в гнусе, – возразил Ерофей.

Спасаясь от гнуса, служилые люди ночевали в своём дощанике прямо на реке – на расстоянии от берега. Спустили райну и спали на парусе, раставив его по доскам подмёта на дне. Плечи и головы от света укрывали армяками и кожухами. Судёнышко стояло на якорнице, тихая вода изредка плескала в просмолённый борт. Перо руля безвольно вытянулось вниз по течению. Служилые храпели, Ерофей караулил. Это был ладный невысокий мужичок, на вид сразу хитрый и добродушный, по-детски большеротый, с плотной и короткой русой бородёнкой.

– Как вы живёте тут, дядя Ерофей? – страдальчески спросил Юрка. – Почто господь такую нелюдимую землю создал? Вечный день этот, мошка...

– Ну, не за всё бог виноват, – рассудительно заметил Ерофей. – Остяки, инородцы здешние, говорят, что гнус – это пепел ведьмы, которую сожгли заживо. Он от сатаны. А от бога – ветер.

Неоглядная Обь простиралась на три стороны и таяла в розово-голубом бессолнечном мареве. С четвёртой стороны виден был длинный невысокий берег, по которому ползла синеватая пелена – всё, что к рассвету осталось от остяцких костров-дымокуров. Из пелены торчали рогатые макушки чумов остяцкого селения Певлор, к которому и плыли служилые. Дощаник сидел в Оби как влитой и даже не отражался в воде. Её и видно-то не было, этой воды, – лишь вдаль на неосязаемой плоскости реки вдруг зажигались пятна мягких отсветов и сразу исчезали. Пространство рассеивалось в тонкой и прозрачной пустоте, но влажно ощущалось в каждом вздохе.

– Ты сам-то откуда? – спросил Ерофей.

– Из Воронежа.

– А как в Берёзов занесло?

– Шведов привёл. Буду здесь куковать, пока с ума не сдвинусь.

В конце 1710 года турецкий султан объявил войну царю Петру, Дон оказался в опасности, и царю пришлось убрать оттуда тысячи шведских пленнх, которые строили бастионы Азова и рубили корабли на верфях Воронежа. А с Кубани, где правил крымский хан, мятежные игнат-казаки грозили ударить по Волге, и царь приказал уводить пленников с адмиралтейских плотбищ Астрахани, из Саратова, Сызрани и Самары. К тому же в феврале 1711 года раскрылся заговор шведов в Свияжске. В общем, каролинов отправили подальше от соблазна бунта – в Сибирь.

Юрка думал, что они доведут шведов до Тобольска и вернутся в Россию. Не тут-то было. Тобольск был переполнен пленными. Обер-комендант Бибииков рассылал их по другим своим городам: в Берёзов и Тару, в Сургут и Нарым, в Томск, Иркутск и Братск, в Енисейск, Якутск и Селенгинск. У Бибиикова не хватало тобольских служилых людей, чтобы конвоировать такую орду, и всех солдат, которые приходили с пленными, оставляли в Сибири. Вот так Юрка и угодил в Берёзов. На верфях в Воронеже ничего хорошего, конечно, он не видел, но там хоть ночи бывают, и теплее, и народу русского куда больше, и нет гнуса.

– Слышь, молодой, – окликнул задумавшегося Юрку Ерофей. – А что у вас там командиры говорят? У нас слух пустили, будто царь приказал всех наших служилых по-новому в солдатх перевёрстывать.

Ерофею было любопытно: что это за люди – солдаты? И чем их армия отличается от войска? Вдруг там лучше? Не дай бог, конечно. Обидно опять судьбу менять, ведь только-только устроился.

– Не знаю, – пробурчал Юрка. – Мне-то что?

– Не Петька-царь первым такое затевает. Не выйдет у него ни рожна, – уверенно заявил Ерофей.

Он спорил не с царём и не с Юркой, а сам с собой. Ему не хотелось, чтобы царь отменил служилых людей. Такое уже бывало. Дед рассказывал Ерофею, что давным-давно воевода Хилков хотел переделать служилых в рейтаров. Привёз из Москвы немецких полковников и полуполковников в бабьих платьях, привёз ружья на крюках и мушкетоны с жаграми и принялся учреждать полки «иноземного строя». Не вышло. Потом – об этом Ерофею рассказывал уже отец – за перетряску взялся воевода Годунов. Урезал жалованье ротмистрам и майорам, отменил хлебную выдачу и начал строить линию крепостей, чтобы охраняться от степняков. Служилые вроде

как должны были жить в этих крепостях и сами себя кормить. Тоже не вышло.

– У нас в Берёзове служилому человеку по прибору воевода пять рублей в год платит, шесть четей ржи и столько же овса. А солдату сколько?

– Солдатам, дядя Ерофей, совсем не платят. Ты же лошади не платишь.

– Лошадь и не сбежит. А служилый человек, ежели ему не платить, уйдёт через год, когда урочный срок закончится.

– Не знаю, как у служилых, а нас в солдаты на всю жисть забривают. Удерёшь – поймают и повесят. При мне повесили одного. Служи, пока тебя полковник не спишет. А списывают по старости или калек. Разве не знаешь?

Ерофей не знал. Служилых людей, беломестных казаков и стрельцов он знал, а солдат – нет. Когда восемь лет назад воевода Черкасский объявил по городам Сибири набор рекрутов в Тобольский и Томский полки, Ерофей Быков по прозвищу Колоброд пропадал в туруханской тайге. Он считался «гулящим человеком», не приписанным ни к делу, ни к месту, и болтался от Мангазеи до Албазина. На Турухане он зверовал, но ушёл с промысла – слишком обдирали приказчики. Потом торговал с китайцами в Иркутске. Из Якутска плавал на кочах за моржом. Собирал ясак для воеводы Братска. Рыл серебряные жилы на Колывани. Последним его занятием был Бикатунский острог. Ерофей вступил в казённую артель: рубил лес, рыл канавы, ставил башни и частоколы. А потом с Алтайских гор спустились джунгары и напали на острог. Всё сожгли, многих зарубили, Ерофей еле ноги унёс. Приплёлся в Берёзов, и тут повезло: воевода Толбузин принял его к себе.

– Так вы навроде казаков? – спросил Юрка.

– Казаки при своей земле, а мы – свора воеводова. Куда пошлёт, туда несёмся. Казаки без жалованья, но и подати не платят, а мы на коште.

– Хорошо вам, – позавидовал Юрка.

– Да разве же? – усмехнулся Ерофей. – Я-то, дурень, сам думал к вам в солдаты наняться. Авось выберут каким-нибудь майором – заживу!

– В армии командиров не выбирают.

– Ладно, не помирай. Может, перелицуют вас в Сибири?

– Ага, жди, когда рак свистнет, – вздохнул Юрка.

– Что за рак? – не понял Ерофей.

– Ну, рак. Который в реке живёт. Такой вот, – Юрка скрючил пальцы, изображая рачьи клешни. – Клешни, панцирь, хвост, усы.

– Тьфу, пакость, – суеверно сплюнул Ерофей. – Никогда не видел. У нас в Сибири таких тварей нету.

– А что там за ладья плывёт? – вскинулся Юрка, глядя Ерофею за плечо.

Ерофей встревоженно повернулся. Вдали в ясной мгле, словно между небом и землёй, висела тёмная муха – другой дощаник под парусом.

– Кажись, знаю, кто это, – щурясь, сказал Ерофей. – Бухарцы.

– Кто такие?

– Проныры хуже твоих раков. Буди робят.

Ерофей положил ладонь на рукоять руля. Кроме Ерофея с Юркой, в дощанике было шестеро служилых Берёзовского острога и есаул Полтиныч, командир. Служилые, просыпаясь, зевали, крестили рты, с хрустом разгибали спины, черпали из-за борта и умывались. К Ерофею пробрался Полтиныч.

– Почему думаешь, что бухарцы? – спросил он.

– Со стрегня сошли, значит, хотят причалить к Певлору. А кому туда надобно, кроме бухарцев? Да и время ихнее – лето.

– Багры готовь, вёсла вынимай! – приказал Полтиныч служилым.

Служилые вытаскивали из-под лавок вёсла и вкладывали в уключины, роняя лопасти в воду. Безмятежная и невидимая гладь реки вмиг проявилась: подёрнулась кругами, зарябила, и стало ясно – вот синяя вода, вот синее небо. Полтиныч, работая локтями, вытянул со дна якорницу – многорукую корягу с привязанным камнем. Судёнышко закачалось. Не поднимая паруса, служилые вёслами с натугой погнали дощаник навстречу бухарцам.

– Никита, а кто это – бухарцы? – спросил Юрка у соседнего гребца.

– Торговцы сибирские. Басурмане. Мимо нашей казны скупают меха у остяков и в свою Бухару отсылают.

– Разве оно дозволено?

– Им можно, другим – по бороде.

– Почему?

– Отлезь, – раздражённо выдохнул Никита, налегая на весло.

– Точно – бухарцы, – сообщил Полтиныч. – Вижу Касымку.

Тобольские бухарцы, которых возглавлял Ходжа Касым, летом на судах объезжали становища инородцев на Оби ниже устья Иртыша и покупали пушнину. Лето – худшее время для торговли мехами, поэтому тобольский воевода – теперь обер-комендант – и разрешал такой промысел. Потом в Тобольске бухарцы сдавали соболей и песцов приказчикам Гостиного двора, те сортировали добычу, красной сучёной нитью увязывали шкурки в сорока, заливали узел сургучом, ставили печать и брали с Касыма пошлину.

Ходжа Касым сидел в кресле, крытом ковром, и вёл беседу с шейхом

Аваз-Баки, который сидел напротив в таком же ковровом кресле. Шейх с семейством недавно переехал в Тобольск из Ургенча, чтобы руководить здесь новым мектебом – школой, открытой Ходжой. Касым хотел показать достопочтенному Аваз-Баки селения инородцев, так как инородцам скоро неизбежно придётся выбирать веру – Аллаху им поклониться или Христу. Но встреча со служилыми не сулила бухарцам ничего хорошего.

– Почему? – спросил шейх по-чагатайски. – Разве твои люди ведут себя недостойно? Или ты нарушаешь русский закон?

– Нет, мой господин, – ответил Касым. – Неприязнь к нам нужна русским для того, чтобы легче было притеснять моих работников. Сожалею, что тебе придётся стать свидетелем неучтивости, но это дикая страна.

Касым омыл лицо руками, соединив ладони под острой, ухоженной бородкой, встал и подошёл к борту дощаника.

Два судна сближались. Ерофей подруливал, четверо служилых гребли, а двое достали багры и готовились подцепить дощаник бухарцев. Полтиныч стоял возле носовой упруги и держал в руках лёгкий кованый якорь-кошку на тонкой снасти, чтобы забросить его, если багры не дотянутся.

– Касымка из Тобольска? – окликнул Полтиныч. – Не ошибся я?

– Ты не ошибся, добрый человек, – ответил Ходжа Касым по-русски. – А вы кто будете?

– Служилые люди воеводы Толбузина.

– Нынче положено говорить «коменданта Толбузина», мой друг, – вежливо уточнил Касым.

– Нынче положено говорить «давай, что взял, Касымка»!

Касым открыто стоял перед русскими – красивый, широкоплечий, в синем кафтане-чапане с затейливой вышивкой по рукавам, подпоясанный дорогим кушаком из красного шёлка. Голову Касым повязал небольшой походной чалмой из синего холста. Ветер пошевелил хвост чалмы.

– Я торгую по закону, уважаемый, – сдержанно сказал Касым.

– Здесь я закон, – самодовольно заявил Полтиныч.

Касым полез за пазуху и вытащил сложенный вчетверо лист.

– Господин обер-комендант милостиво приказал своему писцу снять для меня копию с указа царя Петра, в котором царь подтверждает давние права бухарцев на торговлю с остяками. Вот эта бумага, она с печатью.

– Предусмотрительный, стервец, – хмыкнул Ерофей.

Он с любопытством присматривался к бухарцам по привычке «гулящего человека»: не пригодится ли знакомство? Вроде крепкий хозяин

Касым.

– Воевода Толбузин приказал мне по второму кругу остяков ободрать. По Оби Берёзовский уезд, не Тобольский, – ломал Касыма Полтиныч. – Твой хабар – это мой хабар. Я ведь и силком забрать могу.

– Это слова разбойника, а не воина. Они не коснулись моего слуха.

Гребцы-бухарцы не вынимали вёсел из воды, чтобы в случае нападения отталкивать дощаник русских. Один из гребцов незаметно вытащил из ножен на поясе кинжал и положил рядом с собой на скамейку. Рулевой бухарцев наматывал на кулак ремень. Аваз-Баки внимательно слушал, склонив голову в белой чалме. Два дощаника медленно двигались вниз по течению.

Полтиныч озадаченно покачивал в руках якорь-кошку на верёвке.

– Не поделишься, значит? – с угрозой спросил он. – Тогда я тебя дальше не пущу. Угребай восвояси.

– Я пожалуюсь на тебя в Тобольске обер-коменданту Бибикову.

– Да хоть Магомету, – ухмыльнулся Полтиныч.

– Вот этот благородный старец – шейх Аваз-Баки, – Касым указал на шейха. – Он привёз из Ургенча щедрые подарки для обер-коменданта. И обер-коменданту не понравится, что его гостя прогнали, как собаку.

– Не пужай, пужаные. А Певлор тебе не отдам. Это моя добыча.

Остяцкое селение Певлор лежало вдали на берегу, не догадываясь, что сейчас русские делят его с бухарцами.

– Хорошо, – сдержанно произнёс Ходжа Касым. – Будь по-твоему.

Касым оглянулся на своих гребцов и рулевого.

– Поверните парус, – приказал он по-чагатайски. – Мы возвращаемся.

Касым был взбешён, что его унизили при работниках и при шейхе, но не дрогнул лицом. Придёт время – и воевода Толбузин заплатит ему.

Дощаники начали потихоньку расходиться друг от друга.

– Ну и лады тогда, – с облегчением сказал Полтиныч и со стуком бросил кошку на дно. – Касымка всех остяков впереди уже обобрал, значит, мы тоже домой поедem. Вот только Певлор ещё обыщем. Руль на берег, Колоброд.

– У воеводы и без того сапоги сафьяновые, – рассудительно заметил служилый Никита, толкая весло.

Глава 3

Братъ всё

Стёсанный на грань носовой брус дощаника, волнорез, корабельщики называли «лемех» – на ходу он как плуг вспарывал воду, отваливая её по обе стороны двумя пенными пластами. «Лемехом» дощаник с разгона проехал по мягкой отмели, поднимая донную муть, и волна от судна по мелководью побежала к берегу и хлопнула на приплёске. Служилые вытаскивали вёсла, перелезали через борт и прыгивали в воду. Им было здесь по колено.

На берегу в траве, пробивающейся сквозь холодный северный песок, лежали лёгкие остяцкие лодки – похожие на сушёных тайменей калданки из бересты или смолёных шкур и вогнутые долблёные обласы. У воды валялись выброшенные рекой древесные стволы, обмытые до белизны, будто кости. На крестовинах из жердей висели сети с клочьями водорослей, рядом сохли огромные плетёные корзины – рыболовные морды. Остяки Певлора уже давно заметили на Оби русский парус и теперь ожидали пришельцев на покатом склоне берега. Их было человек сорок – два десятка мужиков в кожаных рубахах, чернокосые бабы в расшитых халатах и детишки.

Служилые не брали с собой ружей. Бунты инородцев остались в далёком прошлом, когда остяцкая княгиня Анна Пуртеева, злая вдова Игичея, сына князя Алачи, подбивала своего сына и своего внука на мятеж и рассылала по селениям краснопёрые стрелы, призывая всех к войне с русскими. Кода, городок княгини Анны, давно был разорён, и его пустырь уже зарос берёзами, хотя оставалась Кодская волость, где князьями стояли потомки Анны и Алачи. В Певлоре молодой князь Пантила тоже был записан в воеводских ясачных книгах Алачевым: он приходился свирепой старухе Анне прапрапраправнуком.

Пантила тоже встречал служилых.

– Еду надо? – сразу спросил он, хмуро вглядываясь в лицо есаула Полтиныча. – Муксун жарим, кровяной хлеб дам, порсу можно делать.

Пантила надеялся, что русские причалили только на горячий обед.

– Не обессудь, князь Пантила, мы приехали взять, что осталось, – усмехнулся Полтиныч. – Но пожрать не откажемся.

– Почему взять? Зачем взять? – рассердился Пантила.

– На подарок Агапону Иванычу боярину Толбузину.

Полтиныч уверенно шагал вверх по склону берега к селению. Пантила поспешил за есаулом. Служилые тоже шли к жилищам остяков, не обращая внимания на хозяев. Остяки взволнованно переговаривались по-хантыйски.

– Олень в горы Нум-То на тебенёвку ушёл – мы Толбузе ясак принесли! – взволнованно принялся объяснять Пантила. – Стерх по небу вернулся – мы «поминки» Толбузе принесли. Твои люди на реке туда-сюда всю зиму ездили – мы коней и быков давали, собак давали, сами в упряжках бегали! Нам нечего больше дать!

– Мы ж берём не то, что дают, – беззлобно ответил Полтиныч, не глядя на Алачеева. – Мы берём то, что есть.

– Ничего нет! Певлор бедный, Берёзов богатый! Толбуза сытый давно! Ему вместо пояса железную цепь надеть надо – у него брюхо дует!

– Агапон Иваныч ране был воевода, а теперича стал комендант, – снисходительно объяснил Полтиныч. – По нашему закону, Пантила, человека надо поздравить. Подарки ему дарить надо.

– Сам поздравляй!

– Я уже поздравил, – посмеиваясь, сказал Полтиныч. – Твоя очередь.

Полтиныч считал остяков глупыми, как детишки.

Селение Певлор располагалось на широкой опушке соснового бора, по-северному приземистого, но светлого. Три больших бревенчатых домины с толстыми крышами из дёрна казались по брови вкопанными в землю. Всюду торчали шесты с развешенной проветриваться зимней одеждой и гроздьями юколы – вяленой рыбы. Рядом с домами высились летние печки из камней, скреплённых глиной. Образуя околицу, выстроились чумы из шкур или бересты, и громоздились «костры» – составленные на просушку длинные лесины. Певлор, как сухопутный ковчег, был хорошо снаряжён для жизни на огромной и вечно холодной Оби, где зима в семь раз длиннее лета. Даже лабазы – хозяйственные избушки из колотых брёвен – стояли на столбиках-опорах, но не от медведей и росомах, как в тайге, а от собак.

У собак имелась своя деревня, выгороженная жердями, – с домиками, спальными ямами и с уличной печкой-дымокур. Остяки считали собак особой породой людей: с собаками разговаривали как с равными, объясняли им жизнь и рассказывали сказки, чтобы они знали таёжных духов по именам. Мохнатые улыбчивые псины всегда толклись среди людей, но старались соблюдать правила общежития. Такая головастая зверюга могла разорвать волка, но терпела, когда ребёнок хватал за уши или трогал крепкие зубы.

Самостоятельными, как собаки, были и олени. Летом они уходили в

леса на кормёжку, но время от времени всем стадом возвращались к Певлору и, путаясь рогами, забивались в большой щелястый сарай, выстроенный за околицей. Сарай остяки окуривали дымом, чтобы прогнать или выморить гнус. Всё большое селение людей, собак и оленей было затянуто пеленой дыма, как на пожаре. В небе шевелилось тусклое солнце, а предметы не отбрасывали тени. И казалось, что пожар в Певлоре разожгли русские.

Служилые обшаривали селение в недобром оживлении дурного дела: ходили везде, всюду заглядывали, всё хватали и рассматривали. Мужики-остяки стояли растерянные, как чужие. Бабы прижимали к себе ворохи тряпья и шкур. Старики безучастно сидели на бревенчатых колодах. Только детишки в кожаных рубашках, не понимая, что происходит, бегали меж людей и смеялись; в руках у них были игрушки – заячьи хвосты, куколки из связанных нитками щепок и погремушки из утиных клювов.

Служилый Никита растянул на просвет какую-то овчину.

– Всё проедено, одни дырья, – разочарованно вздохнул он.

Другой служилый рылся в расписном коробе, что стоял на летних нартах под лабазом. Ещё один – Терёха Мигунов – снял с головы старого остяка меховую шапку и нахлобучил ему свой суконный колпак.

– Носи! – улыбаясь, сказал Терёха. – От сердца оторвал!

Остяки не противились грабежу, даже мужчины. Остяки не понимали, как можно воровать или отнимать, ведь у каждой вещи, у самой последней рваной тряпки, есть свой дух, и он отомстит за хозяина. А вот русские легко брали чужое, и потому остякам казались колдунами. Откуда русские столько всего знают и умеют? Остяки смотрели на русских с суеверной опаской и отчаяньем. Вещей, конечно, им было жалко, но гнев отступал перед страхом.

Ерофею грабёж остяков был не особо интересен. Много ли получишь с тех, кого и так уже трижды ободрали? Ерофей приглядывался к хитростям остяцкой жизни: как остяки плетут из лозы ловушки на песца? как выгибают полозья лыж? как сушат юколу, распирая потрошённую рыбу прутиками? Ерофей долго стоял над глухой скрюченной старухой, которая, не обращая ни на что внимания, на коленях ползала у перевёрнутой берестяной лодки и сшивала полосы варёной бересты костяной иглой с оленьими жилами.

Терёха Мигунов полез в лабаз. Вместо лесенки в избушку вело бревно с выемками. Терёха заглянул внутрь лабаза, высунулся и закричал:

– Полтиныч, а вонючие шкуры брать, или считай – пропали?

– Бери, сойдут, – издалека ответил Полтиныч. – Егор-скорняк в

Берёзове прожарит и передубит.

Молодой солдат Юрка, подобно Ерофею, не хищничал. Он озибался по сторонам в поисках баб. Остячек он не мог различить между собой: все мелкие, круглолицые, смуглые, не поймёшь, молодые или старые. Плевать! Можно оттащить какую-нибудь в лес и насильничать, в дыму не заметят...

– Дядя Ерофей, долго мы тут пробудем? – волнуясь, спросил Юрка.

– Не знаю.

Ерофей снял со стены дома висющую на шпеньеке оленью упряжь и принялся ножом срезать костяные пряжки – пригодятся. Желания Юрки Ерофею были понятны. Он по себе знал, о чём думает парень в двадцать лет.

– На грешок тянет?

– Больно мне надо! – соврал Юрка. – Смотри-ка, болваны!

Отвлекая Ерофея, Юрка указал на небольших, в два аршина высотой, идолов; они были в ряд прислонены к задней стене дома, где рос бурьян.

– Сам ты болван, – сказал Ерофей. – Полезли в домину.

По земляным ступенькам, укрепленным досочками, Ерофей, Юрка и Терёха спустились в жилище остяков – обширную полуземлянку. На улице от дыма было мглисто, а в доме – совсем темно: узкие волоковые окошки под кровлей почти не пропускали света. Служилые не сразу поняли, что в доме полно народа. Бабы, детишки и старики прятались здесь от русских, словно от грозы. Вдоль стен тянулись земляные лавки-приступочки, застеленные шкурами, лапником и покрывалами; остяки тихо сидели на лавках и пугливо смотрели на вошедших; бабы стискивали детей. По стенам было развешано разное имущество – мешки, веники, промысловые снасти. В дальнем конце красными углями теплилась глинобитная печь – чувал. Балки кровли терялись в пелене дыма. Дым милосердно глушил густые запахи шкур, жареной рыбы, хвои и человеческих тел.

– Хуже свиней в хлеву живут, – брезгливо сказал Юрка.

– А ты, знамо, из бояр, да? – огрызнулся Терёха.

В Берёзове многие русские тоже зимовали в чёрных избах.

Ерофей потянулся к стене, и баба перед ним сжалась, но Ерофей снял со спицы, воткнутой между брёвен, большой капкан из ржавых железных дуг. Терёха сердито дёрнул что-то меховое из рук другой бабы. Юрка увидел темноглазую девку с повязкой на лбу, на повязке бисером были вышиты разноцветные кресты и круги. Юрка схватил девку за плечо и вытащил перед собой, чтобы разглядеть получше. Девка закрылась рукавом.

– Чего тебе от неё надо? – сразу с подозрением спросил Ерофей.

– Пущай вон шкуру принесёт из-за печки, – быстро придумал Юрка и ладонью толкнул девку в грудь. – Иди, принеси!

– Сам возьми, – сказал Ерофей.

– А я хочу, чтоб она дала.

Ерофей взял перепуганную девку за локоть и усадил обратно.

– За печкой у остяков место священное. Бабам туда ходить нельзя.

Ерофею неприятна стала срамная прыть этого солдата. В тайге такое нетерпение принято было прятать. Баб мало, всем хочется, и чья-то похоть без оглядки на прочих мужиков может довести артель до смертоубийства. Обычно перед большим походом артель целовала крест своему есаулу на общее терпение и равное воздержание от любодеяний. В Сибири все помнили о страшной гибели святого отрока Василия Мангазейского.

Терёха вдруг выволоч из толпы остяков худенького старичка.

– Хемьюга! Хемьюга! Хемьюга! – дружно заволновались бабы-остячки, удерживая старичка за одежду.

– Шаман, – пояснил Терёха. – Прятался, стервец, за бабами.

– С чего ты взял, что шаман?

– Под бубном сидел.

– Это не бубен, – щурясь, сказал Ерофей. – Рубаха из налимьей кожи.

– Бубен, – возразил Терёха. – Остяки говорят, что у бубна есть душа, а тело с душой должно быть облачено в рубаху.

– А на кой ляд тебе этот хрыч?

– На капище нас отведёт. Там тоже мягкая рухлядь есть.

– Ладно, – согласился Ерофей. – Айда на выход, братцы.

Терёха Мигунов толкнул старичка в спину по направлению к выходу.

В это время есаул Полтиныч уже подводил итоги обыска в Певлоре. Полтиныч сидел на бревне возле большого кострища, где обычно собирались все жители селения. Рядом с есаулом стоял берестяной короб, заполненный мехами и шкурами, которые служилые отняли у остяков. Полтиныч вынул из-за пазухи свиток со списком остяков, расправил его на колене и взял из кострища обугленный с конца прутик. Сбоку от есаула на то же бревно присел и князь Пантила Алачеев.

– Всё, что взяли, зачту в поминки, – с важностью сообщил Полтиныч.

«Поминками» называли подарки ясачного люда местному воеводе. Их требовали раз в году, и постоянного размера им не назначали. Из поминок местные воеводы платили свою дань главному воеводе в Тобольске.

– Нигла Евачин... – Полтиныч по слогам с трудом начал читать имена остяков. – Ставлю крестик... Акутя Тупов... Крестик... Петрума и брат его Етька... А где Петрума? Не видел его!

– Петрума в дом пошёл, горюет, – сказал князь Пантила.

Пантила Алачеев был самым молодым князьцом Берёзовского уезда. Его не признали бы хозяином Коды, Кодской волости на Оби, но древний род князя Алачи и княгини Анны Пуртеевой пользовался у остяков большим уважением. И Пантила очень старался быть справедливым и заботливым. Для остяка высокий, он был по-юношески строен и даже красив. Он уже убил медведя и носил косу с оловянным кольцом, однако странный разрез тёмных глаз делал его чистое лицо то ли ожесточённым, то ли заплаканным, как у девушки. Старики говорили, что такие глаза – родовая черта прапрабабки.

– Ладно, крестик Петруме и Етьке, – согласился Полтиныч.

– Ещё назови Мынкупу Безрукого, он от Анню и Опыти, баб своих, беличью парку отдал.

– Ему тоже крестик ставлю...

В отличие от других остяков, Пантила не верил, что русские – колдуны. Он не боялся русских, он ездил на ярмарки и в Берёзов, и в Тобольск. Власть русских была не в колдовстве. Все русские, даже какой-нибудь последний нищий на ярмарочной площади, имели в себе безоговорочное убеждение, что тут, в Сибири, они самые главные. Они приходили и брали, что пожелают, и даже удивлялись, когда им не хотели давать. Они не сомневались в своём праве. И про меру они тоже не думали – забирали больше, чем надо, могли забрать вообще всё, и не испытывали вины. Русские были не народом, а половодьем. Нельзя сказать, что они угрожали или давили силой, хотя порой случалось всякое. Но обезоруживала их уверенность в себе. Вот и сейчас: есаул Полтиныч приехал в чужой срок, ведь летом время бухарцев; есаул обманывал; с есаулом было только восемь человек, а в Певлоре для отпора Пантила мог призвать два десятка воинов, – и всё равно Пантила подчинялся. Он не мог понять, в чём причина владычества русских. И ему было больно и горько за свой народ: почему он такой слабый, хотя люди, выживающие зимой на Оби, – сильнее и русских, и татар, и бухарцев, и кого угодно.

К Полтинычу подошёл один из служилых, он вёл за собой понурого остяка – Ахуту Лыгочина, а за узкой спиной Ахуты испуганно прятались его дочери – близняшки Айкони и Хомани, похожие, словно две рукавички.

– Слышь, Полтиныч, – озабоченно сказал служилый, – у этого мужика взять совсем ни шиша нету. Только лодка дырявая и штаны блохастые. Он согласен одну девку отдать в холопство. Берём?

Князя Пантилу захлестнули обида и жаркий гнев. Как Ахуте не совестно расплачиваться за свою никчёмность дочерью? Холопство – не

тюрьма, конечно, и не смерть, но это исторжение из рода. Из холопства, отработав долг, обратно домой возвращались только зрелые люди. Парни оставались у русских в помощниках, а девки – в прислужницах или приживальщицах. Но бывало, что злые воеводы вроде Толбузы против закона продавали холопов как невольников неведомо куда или морили трудом до гибели.

– Девка тоже товар, – рассудительно сказал Полтиныч. – Возьмём.

– А какую? – простодушно спросил служилый, оглядывая девок.

– А какая тебе нравится?

– Дак они же одинаковые, – растерялся служилый.

– Тогда левую, – Полтиныч, смеясь, указал на Айкони.

Пантила сверлил Ахуту тяжёлым обвиняющим взглядом. Ахута гордо выпрямился и самолюбиво сказал по-хантыйски:

– Это мои девки. Делаю, что хочу.

Ахута полагал, что он стал бедным как раз из-за неудачных детей. Жена его умерла тяжёлыми родами двойни. А куда нужны две такие девки? Шаман Хемьюга говорил, что у него должен был родиться только один ребёнок, но коварный бог Хынь-Ика удвоил его. Выкормить без жены сразу двух дочерей Ахуте было очень трудно, а вознаграждения он не получит. Кто возьмёт этих близнях в жёны и заплатит отцу щедрый выкуп? Никто. Например, Гынча Петкуров решит взять Айкони. Но обе девки – это одна девка, и весь Певлор будет смеяться, что у Гынчи только половина жены. А брать двух девок Гынча не станет: это всё равно, что за одну девку давать двойную цену. И порознь девок тоже не разберут. Если, скажем, Гынча возьмёт Айкони, а Негума возьмёт Хомани, то Гынча будет иметь как бы жену Негумы, а Негума – как бы жену Гынчи, и Гынча с Негумой поссорятся. Бог Хынь-Ика очень жестоко посмеялся над Ахутой Лыгочиным, отцом двойняшек.

Айкони и Хомани стояли, будто замороженные. Ахута уже улыбался.

– Почему ты радуешься, Ахута? – зло спросил князь Пантила. – Ты же потерял одну дочь.

– Я её не потерял, – с превосходством ответил Ахута. – Вот она, Хомани, здесь. Она остаётся у меня. Я отдаю русским Айкони, и это лишь половина того, что они хотели получить. Я их обманул. Я очень хитрый.

Есаул Полтиныч и служилый не понимали, о чём говорят остяки, да им и дела не было до переживаний инородцев.

– Уводи девку к дощанику, – сказал служилому Полтиныч, поднимаясь на ноги. – Скоро отчаливаем. Гляди, Терёха шамана уже отыскал.

Глава 4

Через Верхотурье

Князь Матвей Петрович Гагарин молился от сердца, с отдачей – он был благодарен, что добрался до Верхотурья. Слава богу, путь пройден. Народ заполнил Никольскую церковь и украдкой поглядывал на губернатора, который даже в толпе крестился по-барски широко и уверенно: привык, что ему всегда уступят пространство для знамения и поклона. Матвей Петрович не сомневался, что Христос на иконе благословляет именно его.

Бабиновская дорога едва не вытрясла душу из князя. Дорога соединяла Соликамск и Верхотурье и была самой трудной частью Сибирского тракта. Поначалу вроде было терпимо, большак и большак, но потом дорога полезла в дождливые хвойные горы. Колеи разъехались сикось-накось, гнилые гати в распадах тонули в грязи, лошади скользили на крутых подъёмах и падали. Крепкие колёса телег, окованные железными шинами, скрежетали по сырым камням и слетали с осей, выбитые угловатыми валунами. И никуда не деться из глубокой расщелины просеки, вокруг – мокрый буреломный лес, бородой к бороде теснятся вековые ёлки. Двести вёрст в зыбкой мороси. Слякоть и прель. Высокие увалы – как тумачи в драке, скалы – будто удары в зубы.

Обоз князя Гагарина состоял из сотни телег. Матвей Петрович вёз из Москвы в Тобольск узлы с одеждой, сундуки с посудой, мебель, шандалы, стёкла и зеркала, бочки с виноградным вином, книги и кипы бумаги, иконы, свёртки тонких тканей, ковры, мешки с постельным бельём. С обозом, кроме ямщиков, шли холопы, слуги из дворни, солдаты и офицеры, чиновники, музыканты, два монаха, портной, которого Гагарин переманил от графа Шереметева, и повар-немец. Сердцем обоза была золочёная карета на больших тонкоспицных колёсах – через ухабы и лужи её переносили на руках.

По уму, надо было ехать зимой, в санях, когда колдобины сгладятся снегами, но Матвей Петрович пустился в путь, как только появилась возможность. Он уже три года был сибирским губернатором, однако царь не отпускал его в Сибирь. У Петра Алексеича всегда находились дела для безотказного князя Гагарина, ко всему прочему ещё и московского градоначальника. И Гагарин просто удрал, едва только неугомонный царь отвлёкся и на время позабыл о нём.

Каждый вечер в походном шатре, откуда выкурили комаров, Ефимка Дитмер, личный секретарь князя, делал скорбный доклад:

– Две тарелки с вензелями разбили, в ящик с пистолетами вода натекла. Ямщики бутылку мальвазии украли. Конюх Афонька в карете спал. Ковёр с телеги в лужу уронили. Мешок порвался, и Митькина кобыла вчера ночью кисти с балдахина жевала. Повар Гельмут сказал, что завтра повесится.

У Матвея Петровича ныли ноги, намятые ходьбой, ломило поясницу, штаны на колене он прожёт у костра, лоснилось брюхо камзола – это Матвей Петрович пролил на себя жирный суп. А Ефим всегда был чистый, умытый, спокойный, вежливый, с приятной улыбкой.

На тяжком отроге Павдинского камня обоз преодолел главный перевал, отмеченный большим ветхим крестом с кровлей, и дальше дорога покатила под гору, а вскоре – за маленькой ямской деревней Караул – выправила и выпрямилась. И потом вдали за широкими покосами Матвей Петрович увидел шпиц колокольни: они дотацились до Верхотурья.

Князь Гагарин не был здесь пятнадцать лет и удивился оборотистости верхотурцев. Над рекой Турой на каменном утёге Троицкого мыса вместо прежней деревянной церкви возвышался краснокирпичный собор. Могучую восьмистенную башню венчала корона из пяти фигурных куполов. Рядом стояла тоненькая и высокая зубчатая колокольня – словно острый гранёный кол. Вокруг окошек и под карнизами кипели кудрявые кружева из тёсаного кирпича, блестела полоса изразцов. Конечно, причина сей красоты была в доходах от таможни. С таможней он, князь, разберётся.

Наконец-то он спал на перине в большом доме коменданта. Наконец-то ему готовили в печи, а не на костре. Но отдохнуть князю было скучно.

Благодарственный молебен в Никольской церкви завершился зычной аллилуйей архидьякона. Народ загомонил, оглядываясь на губернатора – такого важного столичного человека. Рослый, грузный Гагарин возвышался над толпой на полголовы. Рядом с ним, оттирая верхотурского коменданта, всё время оказывался игумен Николаевского монастыря – ждал милостей. Он любовно взял Матвея Петровича под локоть и повёл целовать вынесенное алтарником на престольное распятие, подарок царя Алексея Михайловича. Гагарин благоговейно приложился к серебру креста и отошёл; у креста сразу началась толкотня, словно поцелуй князя вселил в святыню особую силу.

– Симеона посмотреть хочу, отче, – попросил Гагарин игумена.

– Ты разве не заметил? Вон рака-то, – игумен указал в угол храма.

За сутолокой Матвей Петрович и вправду не заметил раки. Матвей

Петрович двинулся к ней, и народ охотно раздался в стороны. Всем в храме было лестно внимание губернатора к верхотурским чудотворным мощам.

Явление мощей святого произошло ещё до того, как Гагарин уехал из Сибири, но гроб оставался в деревне Меркушино, и князь его не видел.

– Гробовина-то из земли всплыла, – рассказывал сзади игумен. – Какое подняли колоду, под ней родник забил. Крышку открыли – покоится муж нетленный, и вокруг тотчас благоухание разнеслось. Митрополиту Игнатию трижды во сне видение было – сонм народный глаголет: «Симеоном зовут его!». Игнатий комиссию созвал, даже сам Исаак Далматовский приехал, архиерейским приговором засвидетельствовали чудотворения...

Строителя Исаака, сына старца Далмата, в Сибири уважали больше, чем митрополита, боярина из рода Римских-Корсаковых. Князь помнил владыку: Игнатий благословлял его на нерчинское воеводство. Толстый старик с острым и злым умом. Любезный друг правительницы Софьи – за неё и угодил в Сибирь. Потом его зачем-то вызвали обратно в Москву, а он напал с обличением на патриарха Адриана и был заключён в Симонов монастырь. Ходил слух, что там его заморили голодом. Всё может быть.

Гагарин подошёл к раке Симеона – большому деревянному ящику, покрытому резным узорочьем. В изголовье раки имелось слюдяное окошко. Гагарин наклонился, чтобы рассмотреть лицо Симеона, но ничего не увидел за мутной слюдой. Гагарин поцеловал вышитый покров на гробе.

– Тысячу рублей жалую на обитель, – распрямляясь, сказал он игумену. – Резьбу позолотите, и образ написать надобно.

На душе у князя стало легко, правильно. Матвей Петрович почувствовал себя мудрым и щедрым начальником, с которым людям хорошо.

Возле храма его ждала приведённая в порядок карета.

– На таможенный двор, – велел князь кучеру, ступая на подножку.

Толпа осталась возле церкви – там с крыльца приказчик раскидывал мелочь. В карете Матвея Петровича ждал Ефим Дитмер. Эстляндский немец, он был протестантом и старался не ходить в русские православные храмы. Карета качнулась, когда на запятки влез лакей Капитон. За экипажем князя покатались две подводы с солдатами.

Верхотурская таможня открывала Сибирь, а закрывала её таможня в Нерчинске. Были ещё и промежуточные таможни, например, в Тобольске. Все они перегораживали государевы тракты, собирали с купцов пошлину – десятую цену товара, и следили, чтобы торговые людишки не везли того, что запрещено. А купцы хитрили: в обход таможен прокладывали в лесах

тайные воровские дороги. Сибирские воеводы выслеживали эти пути и наглухо заваливали их засеками из деревьев, а изловленных купцов бросали под кнут.

Начальников на таможни назначал Сибирский приказ – на словах, а на деле – московские воротилы. Они вели торговые дела придворных вельмож, с которыми Сибирский приказ спорить не смел. Князь Гагарин, начальник приказа, принял бы такой порядок, но государь учредил в Сибири губернию, переименовал таможенных голов в надзиратели, велел им надеть мундиры и подчиняться губернатору. Матвей Петрович понял, что теперь таможни – его законная вотчина. Следовало выбить прежних надзирателей и поставить своих. Верных человечков для князя Гагарина подыскал давний товарищ по коммерции, столичный купец первой статьи Матвей Григорич Евреинов.

Обширный двор таможенной избы был огорожен крепким сибирским заплотом из лежащих брёвен. Но заехать за ворота у князя не получилось: весь двор загромождали телеги с тюками, возки с бочками, фуры с мешками и колымаги, загруженные берестяными коробами. Сторожа таскали товары в казённые погреба и лабазы, ямщики выпрягали лошадей, купцы спорили с приказчиками. Князь, кряхтя, вылез из кареты и пошагал к таможенной избе пешком. За ним шёл Дитмер, потом – лакей Капитон, потом – солдаты.

– Да как я тебе покажу, сучий ты потрох? – горячился какой-то купец. – Я же кадушку засмолил! Открою – всё протухнет! На слово ты не веришь?

– Не верю! – упрямылся приказчик. – Не положено!

Гагарин подошёл к другому купцу, который развязывал поклажу.

– Крепко прижимают? – дружески спросил он.

– Когда тут давили вполсилы? – злобно ответил купец, не оборачиваясь.

– Я вот уже неделю заздесь кукую, – сказал мужик, лежавший в кузове телеги, и зевнул. – Целовальник мзду вымогает, а у меня нету.

– В прошлом году я шесть штук холста вёз, – с обидой сообщил ещё один купец; он сидел на чурбаке и пришивал на армяк заплату. – Надзиратель забрал себе две штуки. Это он так десятину мне высчитал.

– Давай, братцы, жалуйся на крапивное семя, – радушно предложил князь. – Я Матвей Гагарин, губернатор сибирский.

Купец с армяком оробел, вскочил и поклонился.

– Бог помощь, князь.

– Матвей Петрович? – услышал Гагарин. К нему меж телег пробирался

толстяк в расстёгнутом камзоле. – Митрофан Кутепов я, может, слышал, князь? Мой отец у Лексей-Михалыча окольниковым был.

– Всех не упомнишь, – пожал плечами Гагарин. – В чём дело-то?

– С дочерьми с Иркутска еду, – торопясь, объяснил Кутепов. – А таможенный надзиратель не пропускает, печать на подорожную не ставит. Говорит, бывало, бабы под юбками соболей беспошлинно провозили. А я не хочу, чтоб моим девкам подолы задирали.

– Вот ведь заноза, – озадачился Гагарин. Он знал, что на верхотурской таможене дозволено раздевать даже боярынь. – Слушай, Митрофан... Э-э?

– Палыч, – угодливо подсказал Кутепов.

– Слушай, Митрофан свет Палыч. Плюнь ты на спесь да задери девкам юбки. И езжай потом, куда хочешь.

Купцы вокруг засмеялись, Дитмер тоже скромно улыбнулся. Гагарин, довольный успехом, направился к тесовому крыльцу таможенной избы. Митрофан Кутепов смотрел ему вслед и укоризненно качал головой.

В просторной горнице в углу громоздилась белёная печь, а дальнюю стену занимали поставцы, плотно забитые кожаными коробками с описями и учётными книгами. Купцы, ожидая печати, теснились боками на длинной лавке вдоль стены с окошками. За большими столами важно сидели и писали дьяки, целовальник с большим крестом на шее и надзиратель в мундире. Окна были открыты; пахло воском, дёгтем сапог и пылью; жужжали мухи.

– Сколько, говоришь, пудов? – не глядя, спрашивал дьяк.

– Сорок два, – быстро отвечал купец.

Матвей Петрович вошёл в горницу, нарочито выставя брюхо вперёд. Зашарканные половицы под его башмаком жалобно заскрипели. Надзиратель проворно вскочил, побежал навстречу и склонился, прижимая руку к сердцу. Но Матвей Петрович сжал кулак и прямо в поклоне сшиб надзирателя с ног пушечным ударом в ухо. Надзиратель отлетел к печи, будто вязанка дров, потом сел в мусоре подпечья и прижал ладонь к уху, в изумлении глядя на Гагарина. Дьяки, целовальник и купцы застыли с открытыми ртами.

– Ах ты ворюга! – по-хозяйски взревел Гагарин. – Да я тебя по плешь в землю вколочу!

– Ты пьяный, никак, государь? – ошеломлённо спросил надзиратель.

– Всю таможеню себе в карман засунул, злодей! – гневно орал Гагарин. – Ну ничего, государя не обдуришь!

В надзиратели ставили не абы кого, московское купечество подбирало для дальних таможен самых толковых и неробких людей. Поэтому Матвей

Петрович решил сразу сокрушить противника, чтобы потом не жаловался.

– Чего городишь? – злобно спросил надзиратель, приходя в себя.

– Там весь двор воем воет, выжига! – Матвей Петрович указал в окно.

– И что с того? – надзиратель поднимался на ноги и отряхивался.

Из-за плеча Гагарина Дитмер с любопытством разглядывал горницу. Капитон хмурился. Солдаты стояли у двери и злорадно улыбались.

– Когда купец на таможне не вопил? – спросил надзиратель. Он быстро догадался, что губернатор что-то задумал. – Всегда купец вопит!

– В ратуше стол завели доносы на тебя читать! – налегал Гагарин.

– С каких петухов-то? – надзиратель не собирался сдаваться. Не Гагарин его сюда поставил, не ему и пенять. Так было при воеводах, так будет и впредь хоть при каком начальнике. – Сколь дозволено кормиться от службы – столь я и кормился! Больше брюха под рубаху не пихал!

В открытых окошках появились рожи таможенных сторожей. Они слышали ругань и крики и заглядывали с улицы.

– Я теперь губернатор, и я тебя от места отставляю! – важно заявил Гагарин. – Ещё поклонись, что комиссарам не сдаю!

– Свой ли ты калач укусил, Матвей Петрович? – ощерился надзиратель.

Гагарин оглянулся на солдат.

– Ребята, волоките его отсюда!

Солдаты охотно кинулись к надзирателю, заломили ему руки и поволокли из горницы, развалив поленницу у печки. Матвей Петрович не испытывал ни смущения, ни сочувствия. Те, кому он причинял зло, как бы переставали для него существовать. А Сибирью его бог наградил, и он действовал в своём праве: дают – бери.

– Ефим, кто у нас записан на Верхотурье? – спросил Гагарин.

– Купец тверской гостиной сотни Кондаков.

– Зови его сюда, пусть дела принимает.

Матвей Петрович победно оглядел всех в горнице – купцов, дьяков, целовальника и сторожей в окнах – и усмехнулся. Принимайте губернатора.

Глава 5

Пока плывут большие рыбы

Язычники не ходили на свои капища, как православные ходят в церкви, а мусульмане – в мечети. На капища ходили шаманы с подручными и реже – князья. Но брать в заложники князя всей Кодской волости, да ещё и без приказа берёзовского коменданта, для простых служилых было слишком нагло, поэтому есаул Полтиныч вёз в дощанике старого шамана Хемьюгу. Путь оказался недалёким: от Певлора спуститься по Оби на три версты до устья небольшой речки, что текла со священных увалов Нум-То, дальше вверх по речке с десятков вёрст – и будет певлорская кумирня с истуканами.

Река сама несла дощаник, и служилые не гребли.

– Шаман сказал, что туда-обратно за сутки оборачивается, – рассуждал Полтиныч, – но он старик. Думаю, мы побыстрее сбегает. Так что харч брать не будем. Перебьёмся на сухарях. Проща, тебя оставляю дощаник караулить. И девку, – Полтиныч кивнул на Айкони.

– Я не согласный! – сразу вскинулся Проща. – Вы на требище хабар будете брать, а мне на Оби пустому куковать? Нечестно, есаул!

– Поделится потом.

– Не смей, дядя Полтиныч. Мы не казаки, чтобы дуван дуванить. Кто сам себе не возьмёт, тому волчьи хвосты. Я в карауле не останусь.

– Тогда ты, Терёха.

– И я не останусь, – возразил Терёха Мигунов.

– А кто же останется? – удивился Полтиныч.

– Дураков нету.

Служилые понимали: добыча на капище – добыча себе, а не воеводе.

– Почто его караулить, дощаник-то? – примиряюще сказал служилый Никита. – Закидаем ветками, чтобы никто не увидел, и всё.

Опытные люди знали, что остяки никогда не воруют, но почему-то и сами в это не верили.

– Ненадёжно. Да и остяки Певлора знают, куда мы двинули. У нас полны короба воеводской рухляди. Нужен сторож. Будем жребий кидать?

– Не серчай, ребята, но я жребию не подчинюсь, – заявил всем Ерофей. – Я «гуляющий человек», сегодня с вами, завтра сам по себе. Артельный интерес – не мой. Удачей я жертвовать не стану.

– Тогда и я жребия тоже не приму, – сказал ещё один служилый.

– Мятеж? – удивился Полтиныч.

Никто не хотел охранять судно, пока другие будут обшаривать остяцкие лабазы, однако бросить дощаник без присмотра есаул боялся.

– Ладно, братцы, я покараулю, – вдруг подал голос Юрка.

– С чего это ты расщедрился? – усомнился Полтиныч.

– Я солдат, – Юрка с наигранной простотой пожал плечами. – Мне добро копить не с руки. Вы народ вольный, а я под присягой.

– Вот и спору конец, – сразу согласился Терёха Мигунов.

На самом деле Юрка хотел насилловать девку-остячку. Не потащат же её служилые за собой на капище. Юрка и так и сяк примеривался, как бы ему вылучить момент, чтобы не помешали, и вот удача сама шла в руки. Юрка истосковался без баб, только о них и думал, всё тело напрягалось, когда видел баб, и живот обдавало тягучим жаром. Лиц у встреченных баб Юрка не различал, имён не слышал, видел только налитые округлости грудей и задов. По молодости лет баба казалась Юрке куда заманчивей корысти.

Служилые в дощанике нехорошо замолчали, догадываясь о намерениях поганца Юрки, но никто не вызвался заменить Юрку на карауле. Девка не сдохнет, а вот выгоду можно упустить безвозвратно.

Айкони не понимала, о чём сейчас без слов договорились эти сильные мужчины, да она почти и не разбирала русскую речь. Она вообще не думала, куда и зачем её везут. Отец не раз отправлял её – с сестрой или одну – в работу на помощь мужчинам или женщинам Певлора, и никогда ничего не объяснял ей. И никто, кроме сердитого отца, никогда её не обижал.

Айкони легко оправилась от первой робости, и сейчас ей было радостно и любопытно. Она никогда не плавала по реке в такой большой лодке. Так хорошо светило солнце, так много вокруг было свежести и яркой тихой воды. Айкони сидела на скамье у борта дощаника и смотрела в воду. Под брюхом лодки она каким-то образом видела всю чистую глубину Оби: там скользили косяки больших, как люди, холодных рыб с гладкими крапчатыми боками. Их движение было ровным и грозным, трепетали перья плавников, качались жабры, а плоские глаза смотрели по сторонам, словно рыбы не сомневались, что пространство впереди свободно – вся речная мелочь удрала с дороги.

Айкони знала, откуда идут эти рыбы. Где-то далеко-далеко, там, где Обь впадает в небо и превращается в Млечный путь, сидит на берегу Обский Старик, добрый и кроткий, как дедушка Хемьюга. День и ночь, летом и зимой Обский Старик большим ножом строгает вечную палочку, а

стружки падают в волны и становятся рыбами, и так рождается косяк за косяком. Метут снега или цветёт тундра, а Обский Старик всё строгаёт свою палочку. И ничего ни с кем не сделается плохого, пока в Оби царят большие рыбы.

Айкони смотрела на бородатых русских мужиков, и ей нравилось, что мужчин много и они так слаженно управляют своей лодкой. Веселей всех был светловолосый парень, который улыбался ей и не отводил глаз. Айкони, играя, подалась налево, а потом направо, но парень словно бы ловил, хватал её взглядом, не отпускал, и от этого было щекотно.

Только шаман Хемьюга сидел у другого борта понуро, нахохлившись, и по его морщинистому лицу время от времени скатывалась слеза. Айкони охотно, но без душевной тяжести пожалела Хемьюгу: он старый, скоро он уйдёт к предкам во тьму, которую приходится разгонять кострами небесного сияния, и ему не хочется покидать этот тёплый и дружелюбный мир.

Устье реки, на которое указал Хемьюга, было завалено свежим буреломом – его натащило бурным внешним течением. Служилые выволокли дощаник носом на берег и ещё привязали к толстой сосне. Полтиныч раздал сухари. Служилые подтягивали сапоги, перепоясывались, заряжали ружья – на длинном переходе по тайге мог встретиться медведь. Юрка услужливо помогал товарищам. Айкони сидела в траве. Хемьюга подошёл к есаулу.

– Он дурной, – сказал Хемьюга по-русски, показывая на Юрку. – Не надо его. Возьми себе. Пусть другой здесь ждёт.

– Без тебя решили, – недовольно ответил Полтиныч.

– Айкони хорошо – я не скажу духам про вас, – пообещал Хемьюга. – Айкони плохо – позову духов.

– Плевали мы на твоих духов.

Полтиныч не боялся шаманов. Есть, конечно, среди них колдуны, но редко. И у самоедов, а не остяков. И этот хрыч – не колдун, а просто глупый дедок, сам себя убедивший в своей бесовской силе.

Семь лет назад тогдашний берёзовский воевода Левонтий Хрущов вдруг объявил служилым, что царь Пётр повелел ему найти и прислать шаманов, чтобы посмотреть, как они шаманят. Полтиныч сумел словить воеводе двух сатанёнышей – поймал их на стойбище у самоедов на Харпе, за Обдорском. Ну, привёз в Берёзов. Воевода приказал камлать. Шаманы принялись бить в бубны, хрипеть, кувыркаться; измотались, как собаки, но чудес никаких не сотворили. Ежели бы не оговорка царя «не стращать», кинул бы Хрущов этих мошенников под кнут, а так – прогнал взащей

восвояси, и всё.

– Беда будет, не надо, – жалобно попросил Полтиныча Хемьюга.

– Отстань.

И они ушли в тайгу: Хемьюга, спотыкаясь, брёл первым, палкой пробуя путь, а в спину ему время от времени тыкал ружьём Ерофей, и затем друг за другом шагали служилые. Тайга приняла их, и Обь исчезла за рядами ёлок.

А Юрка остался на берегу с Айкони.

Юрка разжигал костёр, готовил ужин, а Айкони просто сидела в траве, сидела между огромным лесом и огромной рекой. Ей ничуть не было скучно. Она всегда ощущала в себе присутствие сестры, могла сказать, чем сейчас занята Хомани, о чём она думает, что у неё на душе. Ведь они обе, Айкони и Хомани, – один человек, так говорил отец, а человек всегда всё знает о себе. И Айкони не томило одиночество. Однако, кроме сестры, была ещё и тайга.

Люди ушли с берега, и тайга вокруг Айкони доверчиво успокоилась. Маленькие ёлочки облегчённо распушились. Поблизости от Айкони лежала поваленная сосна, и Айкони заметила, что из-под ствола этой сосны на неё смотрит любопытная лисица. Звери не способны читать мысли, с ними надо разговаривать. «Это я, Айкони», – сказала Айкони лисе одними губами. Из тайги на реку плыла тёплая, смолистая, густая тишина, но Айкони умела слышать в ней души звуков. Вот шумит завтрашний ветер; вот тоненькими-тоненькими, тоньше волоса, голосами все разом лопочут друг с другом хвоинки; вот чуть потрескивают, тихо созревая, кедровые шишки.

Тайга была наполнена тайной, невидимой жизнью, но Айкони её видела. Деревья, которые при людях притворяются спящими, открыли глаза. Трава невесомо трогала Айкони кончиками былинки, ощупывала, изучала. В сумрачно-солнечной чаще появились рогатые таёжные страшилища – они словно отслоились от узловатых стволов и бурелома; Айкони знала, что на самом деле эти страшилища были глупыми и пугливыми, как лоси, и всегда жили в тени. Прозрачные призраки будущих зверей потянулись из тайги к реке на водопой. Даже комары не досаждали Айкони – они исчезали от одного только взмаха еловой лапки перед лицом. Бескрайняя тайга обладала неизмеримой мощью, она могла уничтожить человека, будто муравья, в страхе или в гневе она могла породить демонов или чудовищ, как грозовая туча порождает молнии, но в потаённой глубине она была застенчивая, чуткая, нежная, девственная, и Айкони была допущена в эту глубину.

А солдат Юрка торопливо готовил ужин, косился на девку-остячку и всё примеривал, далеко ли ушли есаул и служилые, не вернуться ли они в самый неподходящий момент? Юрка не знал ни лесной жизни, ни крестьянской. Он был из двора графа Шереметева и всегда жил при господском доме, усвоив все привычки холопа: хозяевам – ври; что плохо лежит – твоё; работа – для дураков. Ещё подростком Юрка наловчился воровать из кладовой у ключницы, допивать за барами из кубков и лазать в баню к девкам. Однажды сам граф Борис Петрович застал его на конюшне пьяным, велел выпороть и отдать в солдаты. Так Юрка оказался на царской верфи в Воронеже. Ненавистная служба лишила Юрку всех сладостей жизни, а смиряться он не умел и деятельно искал лазейки. Отказаться от девки было выше его сил.

Незакатное солнце зависло над дальним берегом Оби. Юрка решился. Кривовато улыбаясь от волнения, он подошёл к сидящей в траве Айкони, наклонился и ударил кулаком ей в лицо. Айкони молча упала навзничь, ошеломлённая, а Юрка схватил её за руку, рывком поднял на ноги, подтолкнул к лежащей неподалёку сосне, повернул и повалил на колени – животом на толстый ствол. Заломив девке руку, Юрка потащил вверх подол просторного остяцкого платья и едва не спятил, увидев голый девичий зад.

– Тихо, тихо, тихо, тихо... – задыхаясь, бормотал он.

Айкони было очень больно, и стыдно, и страшно, и невозможно было поверить, что всё это происходит с ней наяву, ведь чужие люди никогда не обижали и не били её. Её будто безжалостно выворачивали наизнанку против человеческого естества, разрывая тело. Чужое хищное вторжение в себя показалось ей нападением злого духа, который вселяется в человека и раздирает его изнутри. Её охватил ужас, и она заколотилась, как рыба. Но Юрка не выпускал девку, наотмашь хлестал ладонью по скуле и продолжал насиловать, пока с рычаньем, дергаясь, не лёг на неё, елозя ногами в траве.

Потом он подался назад, вскочил и трусовато отбежал, с опаской глядя на растерзанную остячку. Айкони сползла со ствола, оправляя подол. Она ощущала себя измятой, истоптанной, выпотрошенной, преданной. С ней сделали это... Словно украли бессмертие... Словно превратили в животное... И солнца над Обью больше не было. И лес молчал, замкнувшийся и пустой. И река была глухая, непрозрачная. Просто лес и река – без всего.

А далеко от Оби шаман Хемьюга в это время стоял на краю капища и смотрел на большой кедр, в ветвях которого вдруг всполошились и зашумели кедровки. Переполох кедровок – это беда. Значит, там, у русского судна на берегу Оби, всё-таки случилось то, чего Хемьюга так боялся.

Сюда, на капище, Хемьюга приходил редко. Здесь он говорил только с большими богами, которые живут на высоком небе, а лишний раз тревожить таких богов не стоило. Если затяжная стужа, или голод, или падёж оленей – тогда надо было идти сюда, а для обычной жизни, которой управляют мелкие духи, у Хемьюги имелся особый балаганчик за оленьим загоном – «тёмный дом». Там Хемьюга лечил, гадал и уговаривал духов послать удачу.

Капище находилось на поляне, которая наискосок съезжала к мелкому верховому болотцу. Поляна заросла высоким бурьяном, из травы кое-где углом торчали полуистлевшие срубы развалившихся старых лабазов. Лет десять назад Хемьюга построил три новых священных лабаза, три чамьи: они стояли на столбах, а их двускатные кровли уже покрыл мох. Над болотцем вздымался высокий двуногий идол; слева у него была одна рука, а справа – две; вместо лица у идола было прибито почерневшее и помятое серебряное блюдо, а на груди идола Хемьюга вырезал ещё одну личину. К двум соснам на опушке была привязана жердь, к которой Хемьюга стоймя привалил менквов – малых болванов. Их было семь, как и положено: старший слева, младший в серёдке, средний справа. Заострённые головы менквов были обвязаны платками и увенчаны лохматыми шапками. На краю поляны раскорячилась на ветвях огромная упавшая ель; хвоя и кора с неё давно облетели; тонким концом вершины ель уходила в подёрнутое ряской чёрное болото. Бессолнечное небо освещало капище странным неживым светом.

– Гиблое место, – негромко сказал кто-то из русских.

Служилые разбрелись по капищу, озираясь; ружья у них были заряжены, хотя бога не убить из ружья. Ерофей сразу направился к большому идолу, остановился возле него, пошлёпал истукана ладонью по резному рылу на груди, словно проверял, не укусит ли чудище, вытащил саблю и попытался клинком отколупнуть серебряное блюдо, приколоченное вместо личины. Никита и другой служилый по пояс в бурьяне прошли на край поляны к остроголовым менквам, принялись снимать с них шкуры и шапки и пихать в мешки. Терёха Мигунов обеими руками упёрся в угол сруба упавшего лабаза и раскачивал его, высвобождая из-под замшелой дырявой кровли.

– Что там было, уже гнильё, – сказал Терёхе служилый из молодых.

– Не брехай, лучше помоги, – сопя, упрямо ответил Терёха. – Они в лабазы куклу большую кладут, кукла в одежках, платками обмотана. А в углы платков монеты завязывают. Монеты не сгниют.

Служилый тоже упёрся руками в сруб рядом с Терёхой и подналёг.

- Боязно тут, – сказал он.
 - Дело делай. Мы не на погляд явились.
 - Здесь беса тешат, – вполголоса сказал служилый.
- Сруб закрипел жалобно и как-то неприятно-сочно.

Полтиныч попробовал на прочность бревно с вытесанными ступенями, которое вместо лестницы вело в лабаз, стоящий на четырёх столбах. Бревно было крепким. Полтиныч осторожно полез наверх, в лабаз, и открыл дверцу, подвешенную на кожаных петлях. Пахнуло прелой вонью.

В лабазе было сумрачно. По стенам на деревянных гвоздях, воткнутых меж брёвен, висели расписные покрывала – порядок их расположения был ведом только шаману. На чурбачках лежал, будто мертвец, небольшой идол с грубой и злой мордой, одетый в шубу. Стоял большой берестяной короб, крышку которого Хемьюга намертво пришил к стенкам оленьими жилами. Ворочаясь в тесноте, Полтиныч достал нож и начал вспарывать короб.

Обшаривая богов, русские забыли про шамана. А Хемьюга вышел на середину капища, сбросил пояс и нацепил на лицо берестяную маску с прорезями для глаз и острым клювом. Он согнулся, накинув одежду себе на голову, тихо запел и стал крутиться, топчась в зарослях. Он переваливался с бока на бок, словно птица, и мёл распушенными рукавами по траве. И вслед за верчением шамана вокруг капища побежал ветер, зашевелил бурьян на поляне и папоротники в лесу, зашумел мелкими ёлочками. Служилый, что лез в другой лабаз, сверху увидел Хемьюгу и тотчас сорвался с бревна.

- Блядий сын! – падая, заорал он.

Терёха Мигунов оглянулся на вопль и тоже увидел шамана, крутящегося на месте, как подраненный ворон.

- Ах ты погань болотная!.. – ощерился он.
- Господи боже, помоги рабу своему! – побледнел молодой служилый.

Всё уже было неладно. Края поляны и глубину леса затягивала какая-то слепота. В непонятном тоскливом мороке деревья в чаще, кажется, медленно шевелились, колыхались – то ли сами оживали, то ли их трясло: похоже было, что из бездны тайги что-то огромное и невидимое приближалось к капищу, по пути натываясь на ели и кедры. Ряска на болотине задрожала, из чёрной воды тихо всплывали какие-то облепленные травой бугры.

В тесном лабазе Полтиныча внезапно повалило на пол, будто избушка наклонилась набок, подобно лодке. Полтиныч выронил нож и, ругаясь, бешено заворочался, цепляясь за короб и за идола, срывая со стен покрывала. Его катало по каморке в ворохе шкур и тряпья, и он пытался

удержаться враспор. В проёме входа он видел, как мимо проплывают деревья, точно по берегу реки. Мелькнуло серое мерцающее небо, а в нём будто бы парила огромная птица, вся из дыр. Мелькнула мёртвая поваленная ель на краю капища – это был костяк огромной рыбы: ствол – хребет, ветви – рёбра и плавники, корневище – череп с глазницами и раззявленной пастью, а хвост шевелится в болоте. На капище слышались вопли служилых.

– Стреляй по шаману! – заорал Полтиныч.

Снаружи грохнул выстрел. И свистопляска сразу унялась.

Хемьюга лежал в вытоптанном бурьяне, ворочался и стонал. Русские ошалело поднимались с земли. Молодого служилого тошнило, как после качки в бурю на реке. В дрожащих руках у Ерофея дымилось ружьё. Полтиныч спрыгнул из лабаза, и его пошатнуло. Тайга взволнованно шумела.

– Вот ведь дьявол остяцкий! – потрясённо сказал Терёха.

– Уходить надо отсюда, – Полтиныч длинно сплюнул кровью от прикушенного языка. – Сгубят нас кикиморы, точно.

Ерофей подошёл к шаману и присел на корточки.

– Может выжить, – осматривая Хемьюгу, сказал он.

– Добей его! – с отчаянной ненавистью крикнул молодой служилый.

– Бросим его тут, пушай его бесы лечат.

– Полтиныч, надо его унести, – Ерофей убеждённо поглядел на есаула.

– Почему?

– Мы ещё не волки.

Однако все служилые чувствовали другое: добить шамана никто бы не решился, а разграбленное капище не смирилось; оно было как живой зверь, которого просто прижали к земле рогатиной. Надо забрать шамана, чтобы не пустил своих демонов по следу русских.

Они шли обратно как можно быстрее. Таёжная тропа была уже знакома. Хемьюгу тащили в шкуре, подвешенной к длинной жердине, а жердину несли все по очереди. Но мешки с добычей тоже никто не бросил.

К дощанику на берегу Оби служилые выбрались на восходе солнца. Дальний низкий берег прочертился алой линией между двумя объёмами синевы. Восход был как избавление от гнева оскорблённой тайги, и никто из служилых не пожелал заметить, что девчонка-остячка избита и растерзана. Хватит грехов, и так сатана уже в подол зубами вцепился. Юрка бежал, помогая, и заискивающе заглядывал в лица служилых. Полтиныч ему ничего не сказал. Хемьюгу вывалили в траву, и старик застонал.

– На судно, и угребаем, – устало сказал Полтиныч. – На воде

отоспимся.

– А этот? – Ерофей указал на шамана.

– Сам к своим уползёт. До Певлора три версты.

– А ежели не уползёт?

– Чего ты хочешь, Колоброд? – обозлился Полтиныч. – Я его к остякам не попру! На шиша он камлать начал? Сам виноват!

– Я стрелял, я и попру, – мрачно согласился Ерофей. – А вы меня обождите здесь, добро?

Он очень устал, глаза вело вкось с недосыпа, но нельзя было упускать удачу. Пока что ему очень везло. В Певлоре тайком от Полтиныча он сунул за пазуху отличного соболя, а на капище отколупал от истукана серебряное блюдо. Надо было успеть ещё что-нибудь урвать, пока ангел помогает.

Ерофей, отдыхая, посидел на берегу и перекусил, размочив в воде юколу. Служилые повалились спать, а Ерофей залез в дощаник и вытащил большую лосиную кожу, крепкую и грубую, как кора, – её просмолили, чтобы закрывать груз от дождя. Ерофей положил раненого старика на кожу и волоком потянул в Певлор.

Он шёл по берегу Оби и щурился, когда искра от волны попадала в глаза. Старик вроде ничего и не весил – кожа легко скользила по траве. Пели птицы. Ерофей пинками отбрасывал с пути коряги. Он размышлял: чего можно было бы потребовать с остяков, уже дважды ограбленных, за то, что доставил их шамана? Остяки дадут, они же не знают, что этот спаситель сам и подстрелил спасённого; главное – придумать, что просить. И вскоре вдали показались прозрачные дымы остяцкого селения.

Жители Певлора увидели Ерофея и высыпали навстречу. Ерофей сразу бросил шкуру со стариком, не прекращая движения к Певлору. Он уже еле переставлял ноги. Остяки бежали – но мимо Ерофея, не обращая на него внимания. Они спешили к шаману, и Ерофей слышал за спиной горестные вопли и бабий плач.

В селении было пусто, если не считать безмолвных стариков, похожих на идолов. Они сидели у землянок и чумов и смотрели на Обь. Ерофей прошёл к костру; сбоку на углях стояла глубокая сковорода с варевом, из которого торчали рыбы хвосты. Ерофей медленно опустился на землю, достал из-за голенища ложку и сразу по-хозяйски принялся хлебать из сковороды. Это была щерба – уха. Ерофей слышал взволнованные голоса остяков возле брошенного им шамана.

А потом у костра появился Пантила – молодой певлорский князёк. Он молча присел напротив Ерофея.

– С тебя плата, что я шамана принёс, – сказал Ерофей, облизывая

ложку.

– Хемьюга мёртвый.

– Как? – поразился Ерофей. – Совсем недавно стонал!

– Мёртвый, – задумчиво повторил Пантила.

Это был удар судьбы. Все усилия оказались напрасны. Ерофей в досаде сунул ложку обратно за голенище. Да провались всё! Оборвалась удача!

– Похорони его, – вдруг тихо попросил Пантила.

– Может, мне ещё жениться на нём? – разозлился Ерофей.

– Хемьюга был сильный шаман, люди его любили, – печально произнёс Пантила. – Но вы убили его, и теперь он злой дух. Он запомнит того, кто уберёт его с земли. Люди боятся. Похорони его сам. Тебе всё равно.

Ерофей поглядел в ту сторону, где оставил лосиную кожу. Остатки по-прежнему толпились вокруг тела шамана и галдели, обсуждая и горюя, некоторые стояли на коленях, но никто, похоже, не прикасался к покойнику. Надежда вновь взбодрила Ерофея.

– Заплатишь – закопаю, – ухмыльнулся он.

– Что тебе дать? У нас всё взяли.

– Ты князь, тебе видней.

– У Хемьюги были пески за островом Нахчи. Возьми их себе на лето.

– Пески? – не поверил Ерофей. – На будущее лето?

Песками на Оби называли рыболовецкие угодья. Получить угодье – это не соболиный хвост и не серебряная тарелка, это настоящая удача!

– Делай дырку! – решительно сказал Ерофей.

Он достал свой нож и протянул остатку. Ни писать, ни читать Ерофей и Пантила не умели, и потому Ерофей потребовал клятвы по-таёжному – на дырке. Это когда в знак обещания остаток вырезает на своей рубахе небольшой лоскут и отдаёт тому, кому что-то пообещал. Лоскут, равный дырке, для воеводского переписчика подтверждает правдивость уговора. Не выбросит же остаток рубаху из-за маленькой прорехи.

Пантила вздохнул и взял нож Ерофея.

Вечером, когда солнце опять коснулось дальнего берега Оби, на лесной поляне в двух верстах от Певлора берёзовский служилый человек Ерофей Быков копал могилу. Он орудовал мотыгой с железным клювом; мотыгу ему дал князь Пантила. Рядом на лосиной коже лежал мёртвый шаман Хемьюга; как просили остатки, Ерофей связал шаману руки и ноги и обмотал голову шкурой. По кедром, что вздымались над поляной, искрами шныряли белки. Однако яма у Ерофея получилась не слишком глубокая – в

аршин: мотыга упёрлась в вечную мерзлоту. Ерофей и долбил, и скрёб, но ледяная земля звенела и не поддавалась. Ерофей воровато посмотрел по сторонам. Свидетелей нет. Ерофей вылез из могилы, без всякого почтения, как мешок, спихнул в неё мертвеца, и принялся быстро забрасывать яму. Сойдёт и так.

Глава 6

Тюменский схимник

Плотбище в деревне Меркушино растянулось вдоль Туры на целую версту. Берег загромождали причалы и вымостки, купеческие амбары и балаганы бурлаков, груды тёсаных брусьев и ворохи досок возле рам пильных мельниц, кучи сучьев и обрезки. Зияли сквозной худобой длинные и высокие костяки будущих судов, ещё не обшитые по рёбрам бортовинами. Со склонов к воде тянулись лежащие спуски-лыжины из брёвен, по которым суда стаскивали на воду. Дымили грузные печи с замазанными в зев котлами для дёгтя или смолы; от дождей печи были укрыты навесами на столбах. Из реки торчали осклизлые сваи; могучие лиственничные ряжи, засыпанные битым камнем, прикрывали речную гавань от ледоходов; в мутной воде плавала разбухшая щепка, а на дне лежали утонувшие брёвна.

Меркушино было начальной казённой верфью Сибири. Наловчившись за сто с лишним лет, потомственные меркушинские корабельщики строили уёмистые грузовые ладьи, плоские полубарки для провоза сена и лошадей, ладные остроносые дощаники с высокими мачтами и поднятыми кормами, шитики, состёганные ивовыми вицами, лёгкие на ходу расшивы и насады. Великие реки издавна были основными дорогами через непроходимую таёжную Сибирь. Огромные потоки начинались неведомо где, в ущельях китайских хребтов, а заканчивались среди вечных льдов полуночного океана. И плотбище в Меркушине готовило корабли для всех, кого государев указ гнал на просторы степей, тайги или тундры. Ещё во времена Годунова первые русские воеводы на меркушинских стругах добрались до Иртыша и Оби и поставили остроги, из которых потом выросли Тобольск, Тара, Сургут, Нарым, Берёзов и Обдорск. Меркушинские плотники строили даже морские суда: это они сколотили круглобрюхие кочи, которые вышли в Обскую губу, чьи мрачные и бурные волны остывали в дыхании студёных ветров. Московские стрельцы сошли с кочей, согнали с зимовий новгородских ушкуйников и воздвигли сказочную Мангазею.

Для обоза губернатора Гагарина с меркушинских плотбищ против течения Туры бечевой подтянули к Верхотурью два десятка дощаников. На суда погрузили поклажу, завели лошадей и закатали карету. Судно самого губернатора изнутри было оббито красной материей, а на парусе топырил крылья двуглавый орёл. Под ружейную пальбу флотилия отчалила от

пристани. Матвей Петрович поклонился народу на берегах, перекрестился на ближайшую колокольню и с удовольствием принял из рук лакея Капитона объёмистый кубок с вином. Все тяготы гужевого пути оставались позади. Спутники губернатора на своих судах тоже откупоривали фляги.

Только на реке Матвей Петрович ощутил, что он снова в Сибири, – услышал гулкую, грозную и беспокойную тишину тайги. Молчаливая Тура неспешно изгибалась между плоских борových холмов; ровное и гладкое течение не нарушало отражений. Лес переходил в воду без видимой границы, сотканный с рекой стволами деревьев, упавших вершинами в зеркала.

От Верхотурья до Туринска плыли неделю. В Туринске комендант приказал стрелять из пушек и не пожалел своего ковра, расстелив его на сходнях. Купцы ломились в приказную избу целовать ручку губернатору, крестьяне тащили челобитные – секретарь Дитмер складывал бумаги в дорожный сундук. Потом за два дня добрались до Туринской слободы, где бурмистр приказал бить в колокола, и ещё за три дня – до Тюмени.

Тюмень началась с Преображенского монастыря, потом на взгорье правого берега появились посады и новый бревенчатый кремль с шатрами башен. Над крышами изб радостно возвышался Благовещенский собор – весь в узорах, с пятью полосатыми главами и с черепичными кровлями в косую клетку. Когда Матвей Петрович покидал Сибирь, этого храма ещё не было. Гудели колоколенки; встревоженная птичья стая с граем вилась над рощей, что выросла на пустыре заброшенного Кучумова городища. Доцаник губернатора окружили лодчонки жителей, мужики приветственно орали и махали шапками. На гульбище деревянного минарета Бухарской слободы, расположенной по левому берегу Туры, вылезли имам и оба муэдзина.

Тюмень была очень важным для Сибири городом, и Матвей Петрович задержался здесь на несколько дней. Комендант Данила Копьёв поселил губернатора в лучших покоях Гостиного двора, стоящего на погребках. Князь Гагарин лично пролистал казённые книги в ратуше и на таможне, посмотрел запасы в новых каменных амбарах и поговорил с колодниками в тюрьме. Но главное дело у Матвея Петровича было в Преображенском монастыре.

Государь Пётр Алексеевич вручил князю Гагарину письмо для бывшего сибирского митрополита Филофея, который сейчас жил в обители как суровый схимонах Феодор. У государя имелось дело до Филофея.

В несуетной и добродушной Тюмени было уютно, как у бабушки на заднем дворе. Матвей Петрович пошёл в монастырь в простой одежде, без

солдат, без Капитона и Дитмера. Накапывал тёплый дождик. Гагарин шагал через Ямскую слободу по блестящим дощатым мосткам, кивал тем, кто ему кланялся, разглядывал на избах резьбу наличников, дымников и причелин. Подвернувшуюся на дороге козу он с удовольствием хлестнул хворостиной. Под скрипучим мостиком на речке Бабарынке плавали гуси. В бревенчатой проездной башенке монастыря князя уже встречали игумен и келарь.

– Владыка ждёт? – спросил князь.

– Не ждёт, – ответил игумен.

– Он у нас никого не ждёт, – с простодушной гордостью пояснил келарь.

– Пойдём, Матвей Петрович, подведу тебя.

Монастырь внутри оказался небольшим. Скромные бревенчатые палаты с кельями, службы, конюшня, старая шатровая церковь, цветущий огород, маленькое кладбище с крестами. Но посреди подворья вздымался огромный кирпичный куб недостроенного храма. Поверху на его стенах ходили монахи в перемазанных рясах, таскали носилки и сами укладывали кирпичи.

– Владыка Троицкий собор затеял, – пояснил игумен. – Всех нас расшевелил. Своим коштом сами возводим, никто и гроша не дал.

– Я дам, – сказал Гагарин. – Как владыка-то?

– Ожил с божьей помощью, а то ведь совсем причащать готовились. Школу при обители завёл. Сейчас с отроками пиесу разучивает, хочет на Преображение народу показать.

– У него духовный тэатэр, – важно добавил келарь. – Зрелища разные богоугодные с поученьями. Хохляцкая придумка.

– Дождик вишь, Матвей Петрович, они все в подклет умотались.

Игумен открыл перед князем дверку в подвал будущего собора.

В подвале было довольно светло от небольших окошек. Покатые арки свода рябили свежим, ярким кирпичом. Вдоль стен стояли бадьи и грязные мешки с известью, лежали связки досок. На расчищенном закутке с ноги на ногу переминались несколько мальчишек лет по двенадцать – четырнадцать. Напротив них на лавке сидел владыка Филофей – тощий сутулый старик с длинными седыми волосами. Филофей оглянулся. Лицо у него было строгое и простое, словно с него стёрли всё лишнее.

– День добрый, князь, – сказал он, не вставая. – Обождёшь?

– Не ты меня, владыка, так я тебя, – хмыкнул Матвей Петрович, оглядываясь, на что присесть.

– Давай, Стёпка, слушаю, – Филофей повернулся к мальчикам.

Матвей Петрович смахнул пыль с бочки и уселся. Ему было интересно, какую такую забаву устроил владыка. Матвей Петрович слышал про духовные театры в Малороссии, но это вон как далеко от Сибири, да и жизнь там совсем другая... И владыка тоже понравился князю своей несуетностью. Впрочем, владыку любил царь – значит, и ему, князю, тоже надо любить.

Мальчишка, стоящий перед Филофеем, набрал в грудь воздуха, вытаращил глаза и завопил вирши:

Отец-мучитель сына угнетает,
вольно жить ему не позволяет!
Ныне, слава богу, от уз освободился,
когда в чужую страну отмолился!
Филофеем с сочувствием кашлянул в кулак.

– Подумай, Стёпка, о чём сии стихи? – рассудительно спросил он. – Юноша убегает из дома в гневе на отца. В гневе, Степан! А как в гневе человек ведёт себя? – Филофей испытующе поглядел на несчастного артиста. – Он же не орёт, как зазывала на базаре. Голос у него острый и прерывистый, руками он машет быстро и обильно, брови насуплены, телеса напряжены. Вот так и положено изображать гнев, понял?

– А что за представление? – тихо спросил Гагарин у игумена.

– Притча о блудном сыне. Владыка сам сложил. Блудный сын – это которого к немцам учиться послали, а он там только пьёт и паскудит, собака.

– Петька, давай, – тем временем приказал Филофей.

Вместо Стёпки перед владыкой появился Петька. Он двигался боком, мелкими шажками, и, прижимая к груди икону с изображением Христа, тоненько закричал:

Пойди к отцу, до ног поклонися,
глаголя сие, пред ним умалися:
«Отче, согрешил я на небе пред тебе,
прими меня, грешного, обратно к себе!»

– А ты, Петька, сейчас не Петька, а глас божий, – принялся поучать Филофей. – Ты за самого Иисуса Христа говоришь, а Христос за нас всех печалится. Как печаль выглядит? Голос тихий и слабый, руки медленные, голова склонённая, слёзы бегут. Вот такая печаль, а не постная морда.

– Где владыка таких премудростей нахватался? – тихо спросил

Гагарин.

– В Киеве, в Лавре, – прошептал келарь, умилённо глядевший на Филофея и мальчишек. – Он же там экономом был.

Перед Филофеем уже выступал третий мальчишка. Оскалясь, он зарычал:

За мзды воздаяние ручку те целую,
питии и ести с тобою взыскую!
Ха-ха-ха, мы добрые люди,
а ты нам денег дать не забуди!

– Ты, Ванюша, изображаешь гадкого мужика, – терпеливо пояснял Филофей. – Он деньги блудного сына проедает и пропивает и злорадуется этому. Злорадование – оно, к сокрушению нашему, как честная радость выглядит. Голос звонкий, руки во все стороны летают, тело лёгкое, что ни скажет – всё смеётся. Вот так изображай.

– Эх, заворачивает! – всерьёз удивился Гагарин.

Матвей Петрович сразу увидел в Филофее не только образованность книжника и красноречие иерарха, но и природный ум опытного человека, сполна умудрённого и горестями, и разочарованиями.

Так оно и случилось у митрополита Филофея. Однако же начиналось у него в Сибири всё прекрасно. Сибирь два года маялась без архиерея, пока киевский митрополит по приказу государя искал для тобольской кафедры мужа учёного, деловитого и крепкого телом. Его выбор пал на Филофея – архимандрита Свенского монастыря в Брянске и эконома Киево-Печерской лавры. Пётр вызвал указанного монаха во дворец в село Преображенское и поговорил с ним – как всегда, быстро и с напором, будто на врага нападал. И отец Филофей царю понравился. Даже не просто понравился, а внушил уважение, укрепил надежду. Потом Пётр явился в Успенский собор и придирчиво наблюдал, как над гробами московских святителей Филофея посвящают в митрополиты Тобольские и Сибирские. Это было в 1702 году.

В Тобольск с собой Филофей повёз учёных киевских монахов, верных товарищей – архимандритов Мартиниана и Варлаама, книги, иконы и деньги. Филофею тогда уже перевалило за полвека, но, воодушевлённый, как юноша, он был преисполнен рвения. А в Сибири застал полное нестроение. Всё вкривь и вкось. Кругом язычники, раскольники и махометане. Храмов мало, нищие попы крестьянствуют и торгуют, службы ведут во хмелю и абы как – уже ни шиша не помнят ни чинов, ни канонов. Обитатели полупустые, монахи побираются по слободам, а самые неистовые

заводят на посадах баб.

Филофей кинулся в труды с уверенностью, что всё ему по силам, и здесь, в Сибири, только его и не хватало. И почти сразу поссорился с воеводой князем Черкасским. Князь недавно открыл школу: вытащил из томской ссылки распопа Григорья Дровнина с премудрым братом Васильем и поставил в Тобольске учить детишек грамматике, арифметике и геометрии. Латынью воевода велел отроков не утруждать – всё равно в Сибири на латыни говорить не с кем. А брательники Дровнины оказались в Томске не за краденые пироги: злокозненный Васька в былые времена в Москве колдовал, пытался навести порчу на царей Петра и Иоанна и обещал выдать замуж «медвежью бабу» – мужиковатую царевну Софью. Жениху царевны Пётр отрубил башку, а брательников-еретиков сослали навечно. И таким учителям в православной школе было не место. На Софийском дворе в Тобольске Филофей основал собственную школу, забрал себе школу воеводы и прогнал взашей сатанаилов Дровниных. Князь Михаил Яковлевич обиделся.

Владыка требовал от воеводы ловить и сжигать раскольников – воевода уклонялся. Владыка требовал от воеводы сломать в Тобольске мечеть возле Гостиного двора – воевода приказал бухарцу Касыму перенести вертеп в Бухарскую слободу. Владыка требовал от воеводы снарядить гишпедицию на Обь, чтобы крестить инородцев, – воевода дал дырявую посудину с драным парусом, и берёзовские остяки только посмеялись над попами-нищebroдами.

Заслужить уважение тоболяков у Филофея тоже не вышло. Филофей завёл на Софийском дворе духовный театр, сам написал пьесу, школяры разучили слова. Однако на первом же представлении вдруг рванул ветер и с треском сломил крест на храме святой Софии. Дурное предзнаменование.

От сомнений горожан и притеснений воеводы Филофей перебрался из Тобольска в Тюмень, с Софийского двора – в Преображенский монастырь.

Филофей жаждал призвать к правилу свой недостойный клир и написал свод уставных статей о том, как следует жить и служить попам и монахам. Брагу пить нельзя, в грязной рясе ходить нельзя, нельзя болтать о том, что услышал на исповеди. Статьи владыка огласил на всесибирском церковном соборе. Этот собор он провёл в Енисейске – не погнушался дальней дорогой. Филофей хотел, чтобы такие соборы стали в Сибири ежегодными, но тут уже сам государь наложил на съезды запрет: ретивый тобольский митрополит покусился на то, что дозволено было только Монастырскому приказу.

Не удалось и миссионерство. Архимандрита Мартиниана Филофей

послал на Камчатку, однако за годы трудов Мартиниан сумел построить лишь жалкую часовню без престола. Архимандрита Варлаама Филофей сделал иркутским викарием, но малодушный Варлаам вскоре тихо сбежал из Иркутска: прошмыгнул мимо Тобольска и спрятался в Москве, на укоры отвечал слезами и отказывался возвращаться в страшную Сибирь. Миссия в Монголию к ламе Джебузяну тоже вернулась ни с чем.

Филофей надорвал душу в попытках что-то изменить. Неподъёмная и неповоротливая Сибирь оказалась глуха к его дерзаниям. Здесь вечно будут шуметь яркие кедрачи, а люди вечно будут жить по законам тайги, постепенно превращаясь в деревья. Филофей простыл, заболел и уже никак не мог оправиться. Сгорая, он написал прошение о сложении сана. Такого в России не бывало, из митрополитов уходили только в мир иной. Но граф Мусин-Пушкин, глава Монастырского приказа, всё же согласился отпустить владыку. Филофей понял: он умирает. Он принял великую схиму и последнее земное имя – Феодор. Он удалился в затвор – в убогую келью размером не больше бани. Эту келью ему соорудили в углу монастырского двора.

Да, он умирал. Он лежал в келье на досках топчана совсем один и в жару простуды ждал конца. И вдруг понял, что нестерпимо жалеет уходить из этого мира. Ну и пусть он проиграл. Ну и пусть ничего не получилось. По телу катились волны огня, ломило плечи, спину и колени, он бредил, в уме извивались и плавились какие-то страстные речи, его кувырало, он куда-то летел, он рассыпался по миру горохом, расползлся тестом под чьими-то властными ладонями, терял себя, обретал себя, пил хмельное вино, блуждал в огромных и дремучих видениях, стучал в барабан, хохотал и плакал, проталкивался в толпе, метался, обнимал жену, которая давным-давно умерла, горел в печи, целовал у Богородицы её тёплые руки и противился, противился смерти, как столько лет противился жизни.

Он сопротивлялся обыденной греховной жизни, боролся с ней, ломал об колено, но ведь жизнь во всей её смуте и есть Благая Весть. Только земная жизнь, вверенная душе, даёт обещание грядущей вечной жизни. Не чин и не власть, не подвиги и не победы, а эта неустроенная и неправильная жизнь. А он не принимал её. Не слышал гласа Гавриила. И сейчас не хотел умирать, будто был простым тёмным смердом, который в смерти видит конец всему. Боже, пусть снова захлопают над кровлей его кельи крыла Гавриила...

Он очнулся рано утром – по-прежнему один, в насквозь мокрой одежде, измученный, опустошённый, но живой. Бог оставил его на земле.

И вот сейчас, два года спустя, он сидел на том же лежаке и читал

письмо царя Петра Алексеевича. Государь кланялся и просил, чтобы он, схимонах Феодор, занялся крещением инородцев. Инородцев в губернии – десятки тысяч. Нужен креститель. Но крещение – это бездна хлопот, это надо плыть по рекам за сотни вёрст. По силам ли такое старику? Впрочем, он может отказаться, схимнику царь – только царь небесный. Но ведь эта просьба Петра Алексеевича – та самая жизнь, которую ему подарили дважды...

Матвею Петровичу в убогой келье Филофея негде было и присесть, поэтому мальчик-послушник принёс ему из покоев игумена стул. Матвей Петрович смотрел на задумавшегося Филофея.

– Знаешь, чего государь от меня хочет? – спросил Филофей.

– Знаю, – кивнул Матвей Петрович. – Он мне на словах сказал.

Государь-то сказал, но Матвей Петрович всё равно осторожно вскрыл письмо и прочитал, а потом запечатал обратно, как было. Не мог же он не выяснить, о чём царь пишет в его губернию.

– Мне шисят один год, – сказал Филофей. – Какой из меня креститель?

– Ты начни, и дело пойдёт. А я тебе всю помощь окажу: денег дам, подарки, охрану, дощаники.

– Помру ведь я где-нибудь в дороге, – виновато вздохнул Филофей.

– Все где-нибудь в дороге помрём.

Матвей Петрович смотрел на колебания старика с любопытством. Было в них честное человеческое сомнение, а не раболепие, как обычно при дворе. Все знали гневное нетерпение государя в делах и ревнивую мстительность; если кто и отказывал царю, то на коленях, и ноги целовал, моля о пощаде.

А Филофей помнил, как неохотно соглашался на крещение инородцев воевода Черкасский. Для воеводы крещение – лишний пустой расход.

– Тебе-то сие зачем, Матвей Петрович? – Филофей посмотрел князю в глаза. – Тебе-то какая выгода на инородцев тратиться?

– Никакой, – охотно согласился Матвей Петрович. – Одни убытки. Но ведь до`лжно так – крестить нехристей.

В необходимости крещения Матвей Петрович был уверен, иначе в управлении не будет порядка. Он по опыту знал, как негодуют русские люди, когда диким инородцам дозволяется больше, чем своим мужикам. Почему у инородцев тягло полегче? Почему их в рекруты не берут? Почему воевода не судит их, как своих? В Сибири крещение уравнивало инородцев с русскими поселенцами. Поначалу оно и вправду было в убыток, но потом – в прибыль.

– На твоём воеводском месте твоя забота – не крестить, а воровать, –

проницательно заметил Филофей.

– А твоя поповская забота – блудить, – тотчас ответил Гагарин.

– Так я старый, – засмеялся Филофей.

– А я богатый, – тоже засмеялся Матвей Петрович.

Оба они поняли, что нравятся друг другу.

– Ладно, Матвей Петрович, я подумаю, – тяжело вздохнул Филофей. – У бога совета спрошу. У меня в Тюмени дел – на полжизни, – он покачал головой, думая о монастыре, который уже врос в сердце. – Но привязанность к дому губит великие дела.

Глава 7

Карета азиата

Слава богу, ветер был попутный. «Хороший знак», – думал Матвей Петрович. Вот она, Сибирь. Настоящая. Главная награда в государстве. Конечно, тот же Алексашка Меншиков берёт больше и гремит громче, но он висит и пляшет на волоске царской милости. А Сибирь лежит себе тихомирно, есть-пить не просит, но бегут отсюда, бегут золотые ручьи.

Устье Тобола раскрывалось на Иртыш, как ворота, и густой, тесный запах хвои раздвинула свежесть речного простора. Иртыш зернисто сверкал под солнцем, и князь увидел вдали, на противоположном берегу, Тобольск.

Иртыш здесь изгибался огромной неспешной излучиной, и горло её было перехвачено ровной грядой Алафейских гор – могучей ступенью с плоского низкого дна пойменной долины на общую ровную высоту земли. Эту длинную стену татары называли «Алафага» – Корона. Вон справа – остроугольный Чувацкий мыс, вернее, Почеваш, – верхний по течению Иртыша конец Алафейской гряды. Под ним зеленеет Княжий луг, на котором дружина Ермака билась с войском хана Кучума. А слева – Троицкий мыс, нижний по течению Иртыша, и он сверху и снизу занят Тобольском.

Матвей Петрович не раз бывал в Тобольске и знал, что изнутри, с улиц, город кажется очень большим. А отсюда, с Иртыша, было видно, какой он маленький. Дробная россыпь деревянных крыш под кручей мыса, проколота шильями шатровых колоколен, а на мысу, рассечённом щелью Прямского взвоза, – Воеводский двор и Софийский двор. Гляди-ка, Софийский двор теперь стал каменным! Ну ведь и вправду кремль!.. Пояс кирпичных стен с зубчиками и толстые башни, круглые и квадратные, и за ними – туша Софийского собора, увенчанная пятиглавием, собранным в крепкое соцветие. Верхний город казался стоящим на спине сказочного кита.

– Это и есть город Тобольск, ваше сиятельство? – спросил Ефим Дитмер. – Столица Сибири?

– Тобольск, – кивнул Матвей Петрович. – Столица.

Матвей Петрович сидел посреди дощаника в резном ковровом кресле. Дитмер стоял рядом и рассматривал город в медную подзорную трубу. Над головами Гагарина и Дитмера ветер раздувал белый холщовый парус с

двуглавым орлом, орёл словно встряхивал распростёртыми крыльями.

Губернаторская флотилия медленно пересекала Иртыш. Суда волочили за собой по волнам цветные ленты, паруса хлопали на порывах ветра, гребцы налегали на вёсла. Офицеры и чиновники вглядывались в приближающийся город. Полубарок с роскошной каретой князя тянула лодка-набойница, нанятая в попутной слободе. Вокруг флотилии сновали крестьянские насады и шитики, татарские каюки и лёгкие обласы инородцев, очертаниями схожие с луками, – судно губернатора сопровождали зеваки из окрестных деревень. На середине Иртыша они вдруг спохватились, бросили флотилию и шустро понеслись к берегу, чтобы смотреть на прибытие губернатора вместе с толпой. Каждому не терпелось поделиться своими впечатлениями о новом хозяине Сибири: какой у него парик с кудрями, какая шляпа, какой камзол.

Берег Иртыша в Тобольске был как попало загромождён строениями пристаней и привычно завален хламом. Длинные дощатые причалы на сваях, перекосившиеся бревенчатые ряжи, амбары на столбах – на время половодья, плотбища с недоделанными барками, груды брёвен, старые ветхие струги с дырами в днищах, раздавленные бочки, сломанные тележные колёса, лодки, затоптанные вымостки, лужи грязи. На воде у берега теснились, вздёрнув тонкие мачты, зачаленные дощаники, тихо колыхались тяжёлые плоты, мелкие волны толкались в борта затонувших и брошенных судов.

В городе звонили колокола, а на берегу гомонила толпа. Тоболяки, щурясь, смотрели на белые паруса губернаторской флотилии, посмеивались, лузгали кедровые орешки и ожидали зрелища. Под ногами у людей шныряли собаки. Распихивая народ, с лотками на груди сновали и весело покрикивали продавцы пирожков. Какой-то пьяный мужик, мыча, порывался плясать. Под шумок парень прижимался к девке и тискал ей зад. Вор осторожно срезал кошелёк с пояса посадского ротозея. Мальчишки за амбаром сражались на палках и вопили друг на друга. Лошади равнодушно щипали бурьян.

Два монаха бок о бок сидели на перевёрнутой лодке.

– Слух бежит, что Гагарин княже щедрый, – негромко говорил один. – В Верхотурье вклад дал в Никольский монастырь – на образ ризу в полпуда серебра. Авось и нам перепадёт.

– Хоть бы игумен попросил крышу на кельях перекрыть, – вздохнул второй монах. – Ещё одна хвороба – и меня на погост снесут.

На самом чистом месте берега, где грязь наскоро перекрыли свежим дощатым настилом, переминались дьяки, подьячие и писари Приказной

палаты. Среди них стояли обер-комендант Карп Изотович Бибилов и два полковника – Васька Чередов и Афанасий Матигоров. Бибилов, робкий душою, страшно волновался, вытирал лоб большим цветастым платком, то снимал, то надевал шляпу, махал на себя ладонями, обдувая.

– На котором корабле-то губернатор? – тревожно спрашивал он.

– Да вон на том, где орёл, – снисходительно пояснил полковник Васька Чередов. – Как на свадьбу едет, жених. С лентами. А мы ему приданое.

Чередов командовал тобольским полком служилых людей, то есть был главным военачальником Сибири. А Матигоров командовал беломестными казаками, которые жили по острогам, и поэтому был воеводой без войска.

– Силён царский орёл, – добавил Чередов. – Такого борова нам принёс.

– Молчи, Васька! – перепугался Бибилов. – Афоня молчит, и ты молчи!

Рядом с приказными стояли три небольших чугунных пушки на колёсах. Усатые канониры с длинными запальниками в руках со скуки курили общую трубку, по очереди передавая её друг другу. Дымилось ведро с углями.

– Когда стрелять, господин комендант? – спросил один канонир.

– Да скажу, скажу! – страдальчески сморщился Бибилов. – За какие же грехи мне испытанье такое? Господи, помилуй!

Неподалёку от дьяков и пушек губернатора ожидали пленные шведы – почти все рослые, белобрысые, в потрёпанных париках, посыпанных мукой, и в непривычных русскому глазу камзолах. Один из шведов – краснолицый и такой белёсый, что казался безбровым, – держал перед собой большую икону, закрытую вышитым покрывалом из тонкой ткани. Шведы вырядились как на парад, нацепили шпаги и петушиные перья на треуголки.

– Почто им перья, батя? – спрашивал отца какой-то русский парняга.

– Дурь заморская, – уверенно пояснял батя. – Они своему королю дорогу шапками подметают. Не метлу же на шапку присобачивать.

Главным у шведов был ольдерман капитан Курт Фридрих фон Врех – маленький и пузатый, в большой треуголке с кантом и в парике с косичкой. С важностью в лице и жестах он приподнял покрывало на иконе.

– Очень тяжёлая, господин фон Врех, – пожаловался краснолицый швед.

Икона была вырезана из мамонтовой кости. Святой Матфей-евангелист, склонившись, писал пером в раскрытой книге.

– Потерпите, Георг, – вежливо попросил фон Врех.

– Вы хороший художник, ротмистр Малин, – похвалил капитан Табберт. Он тоже явился встречать губернатора.

– Я лишь копиист и резчик по кости, – возразил краснолицый швед. – Изображение я срисовал с русской деревянной иконы.

– Весьма остроумный подарок губернатору, Курт, – Табберт улыбнулся фон Вреху. – Как известно, святой Матфей был мытарем. Деятельность, весьма родственная задачам русского губернаторства.

– Я имел в виду небесное покровительство по имени, мой милый Табберт, – с достоинством, но ласково ответил фон Врех. – Однако ваше умение искать связи и видеть символы меня неизменно восхищает.

Штык-юнкер Юхан Ренат осторожно подошёл к русским артиллеристам.

– Ядро шесть фунт? – по-русски спросил он, рассматривая пушку.

– Холостыми палим, – ответил пожилой артиллерист. – Праздник же.

– А мерка порох?

– На холостой – полторы кружки. А ты тоже канонир?

– Так, да, – кивнул Ренат. – Батарея командовать. Четыре экипаж. Сколько есть много выстрел до холодить ствол?

– Сами не пробовали, но охвицер сказал, что сорок раз, не больше, потом остужать надо, не то порох в стволе рвануть может. Говорят, если поливать, так и шисят выстрелов держит. А у тебя сколько было?

– Так, да. Нагрев уменьшать калибр. Когда... э-э... корка калить есть... внутри ствол... корка – чугун гореть... ядро середина ствол садить, – помогая себе объясниться, Ренат руками показывал, как пушечное ядро застревает в раскалённом стволе с окалиной. – Нельзя, взрыв.

– Хорошо мы вас под Полтавой нажарили? – влез в разговор молодой артиллерист, весело скалясь на Рената.

– Закрой хайло, Васька, – раздражённо ответил пожилой канонир.

В отличие от капитана Филиппа Табберта, которому в России всё было любопытно, штык-юнкер Ренат в плену тосковал. Разговор о пушках возвращал его в те времена, когда он был нужен, когда занимался делом, когда надеялся на повышение по службе, на щедрую награду от короля, на то, что после войны у него появится хороший дом, жена и дети.

Среди шведов были и солдат Михаэль Цимс с женой Бригиттой. Цимс недовольно грыз чубук пустой трубки. Устав от ожидания, он подёргал за рукав капитана Отто Стакелберга, помощника ольдермана.

– Господин капитан, а водкой поить будут? – спросил он.

– Я не знаю, господин Цимс, – неприязненно ответил Стакелберг.

Красивая, но хмурая Бригитта оделась по-шведски – в длинное платье с передником, голову покрыла чепцом. Она тихо смотрела на маленькую русскую девочку, отбившуюся от матери. Девочка изумлённо таращилась

на тётю в странной шапке и сосала палец. Бригитта вынула из-под фартучка баранку и протянула девочке. Девочка подошла, доверчиво взяла баранку и сунула в рот. Мать увидела это, ринулась к дочери, отняла баранку и бросила на землю, сердито схватила девочку за руку и потащила прочь. Но лицо у Бригитты не дрогнуло. Она привыкла, что в этом мире она для всех чужая.

Через шумную толпу к пристани решительно шагал костлявый сутулый старик с грубым лицом. Его седая клочкастая борода непокорно торчала вперёд, косматые брови разлетелись, как крылья ворона. Люди здоровались со стариком, и он кланялся и кивал налево и направо, но если кто-то, не видя, загораживал ему путь, то бесцеремонно тыкал в спину острым кулаком.

– Я вот тебя тоже тыкну, Ульяныч! – почёсывая хребет, с досадой сказал один мужик, уступая дорогу.

– Тыкни, тыкни. На обе руки левой сделаю.

– Старый, а задира, – осуждающе сказала какая-то баба.

– Задира – кто подол задирает, – тотчас ответил старик.

Это был Семён Ульянович Ремезов, изограф и главный тобольский архитектор при прежнем воеводе князе Черкасском. За Ремезовым шли сыновья – Леонтий и Семён, давно уже матёрые мужики, и отрок Петька.

– Не сердчай на батю, тетя Марусь, – миролюбиво сказал обиженной бабе Леонтий, старший сын.

– Здорово, Карп, – кивнул обер-коменданту Ремезов.

– Ох, молись за меня, Семён Ульяныч, – сразу попросил Бибилов и указал на Иртыш. – Вон смерть моя плывёт...

– Да нужен ты ей щас, неподмытый-то, – буркнул Ремезов.

Флотилия губернатора была уже совсем близко к берегу. Работники на вымостках махали руками, показывая, куда кому причаливать. С дощаников доносились команды. Гребцы убирали вёсла. На пристань полетели снасти, работники хватали их и подтягивали суда.

– Господи, пронеси! – Бибилов перекрестился и тоненько крикнул канонирам. – Палите, братцы!

Над Иртышом, над судами и над толпой грянул увесистый залп.

Большие суда с глухим стуком ударились носами в брусья причала.

Работники потащили сходни к дощанику с двуглавым орлом на парусе. Толпа загалдела, увидев губернатора. Дальнорукый Ремезов презрительно морщился: разве же это хозяин Сибири? Вырядился, как немецкая баба: овечьи кудри, грудь в кружевах, камзол с оттопыренным задом, на рукаве бант, короткие порты с пуговицами, чулки, – тьфу, мерзопакость. Толпа

вопила и свистела. Пушки ударили ещё раз. Монахи подняли хоругви и пели.

– Экое ю-ю, – сказал Ремезов. – Супротив Черкасского-то негораздыш.

Князь Михаил Яковлевич Черкасский воеводил двенадцать лет – дольше всех прочих тобольских воевод. Он был настоящий московский боярин: добродушный от сытости и хлебосольный от скуки. Не воровал, как другие, а брал ясной мерой, у всех по справедливости. Неторопливый во всём, он успел очень много: при нём Семён Ульяныч соорудил вокруг города новую бревенчатую стену с башнями, построил кирпичную Приказную палату и кирпичный Гостиный двор. Черкасский устроил в городе ружейный завод и завёл на Воеводском дворе школу. К Ремезову князь снисходительно благоволил: в церкви ставил рядом с собой, в доме сажал за стол по левую руку; когда Ремезов ездил в Москву учиться зодчеству и чертить чертежи в Сибирском приказе, Михаил Яковлевич дозволил ему с сыновьями жить в своих хоромаш. Хотя, конечно, была в Черкасском родовая спесь: всегда неколебимо уверенный в себе, он никого не слушал; если кто шёл против его мнения, князь без трепета выбрасывал строптивца вон. Так и Семён Ульяныч три года просидел без жалованья и без работы – сыновья кормили. Но Ремезов простил Черкасскому ту опалу, потому что за ней последовала главная отрада – возможность построить Гостиный двор. Словом, к воеводе Черкасскому все притёрлись и притерпелись, а этого внезапного Гагарина никто не знал, однако он вдруг оказался в Сибири самым главным. От досады и от ревности к чужаку Ремезов был настроен на разочарование в Гагарине.

А князь Гагарин с борта дощаника смотрел на шумную толпу тоболяков вокруг пристани: служилые, промышленные, торговцы, ямщики, бондари, сапожники, оружейники, плотники, печники, монахи, мошенники, нищие, добрые, злые, умные, глупые, богатые, бедные, пьяницы, молитвенники, бабы ихние, дети, старики, старухи, татары, инородцы, раскольники, пленные шведы, ссыльные хохлы, бухарцы, калмыки... Народ. И этот народ глядел на князя тысячами глаз, глядел без злобы, но с ехидцей: ну-ка, позабавь каким-нибудь дивом, губернатор, поклонись, чтобы и тебе поклонились.

Ходжа Касым со своими приказчиками и с шейхом Аваз-Баки стоял на высоком гульбище, опоясывающем амбар, и хорошо видел Гагарина.

– Вот новый Сибирский хан, – насмешливо сказал Касым шейху почагатайски. – Посмотрим, насколько глубоки его карманы.

Солдаты, которых привёз с собой Гагарин, ссыпались с дощаников на пристань и принялись распахивать толпу.

– Не напирай! Дай место! Дядя, осади!

Гагарин, соблюдая важность, спустился по сходням. За губернатором шёл секретарь Ефим Дитмер. Гагарин повернулся к монахам с хоругвями, снял шляпу и склонил голову под благословение батюшки, свесив букли парика, а потом поцеловал протянутую дьячком икону в окладе. Дитмер сразу без слов положил в руку батюшки заготовленный толстый кошелёк.

– Хра... храни господь, – растерялся батюшка.

Гагарин всем телом поворотился от монахов к приказным. Полковник Чередов плечом с наглечой оттеснил Бибикова и Матигорова и вылез вперёд.

– Василий Чередов, – выпячивая грудь, сказал он. – Полковник я, господин губернатор. Командую служилыми людьми тобольского разряда!

– Молодец, – сдержанно ответил Гагарин.

– Бибиков Карп Изотыч я... – лепетал Бибиков. – Обер-комендант сего града буду... – Бибиков суетливо поймал протянутую для поцелуя руку и приложился губами. – Премного в радости... Всегда... Чем могу...

– Не робей, Изотыч, – Гагарин похлопал Бибикова по плечу. – Слюбимся. Поди лучше чарку прими.

Матигоров не стал показываться губернатору. И хвастать нечем, да и не запомнят его в суете. К Гагарину, семеня, уже кучей подступали купцы и толкали друг друга. За спиной Гагарина к Дитмеру подошёл фон Врех.

– Вы – господин Йохим Дитмер, секретарь губернатора? – фон Врех говорил по-шведски. – Мне писал о вас барон Цедергельм.

– Да, это я, – сдержанно улыбаясь, по-шведски ответил Дитмер. – Добрый день, господин фон Врех. Я ведь не ошибся?

– Не знаю, достойно ли радоваться вашему появлению в Сибири, но мы рады, – галантно сказал фон Врех.

– Благодарю, господин ольдерман.

Ремезов в это время смотрел, как с полубарка по сходням работники скатывают карету Гагарина. Таких карет Тобольск ещё не видывал.

– Ох, резьба какая хитрая... – восхитился Семён Ремезов.

– Глянь, батя, передняя ось на втулку посажена, и оглобли на ось надеты, – Леонтий даже присел, чтобы рассмотреть. – Это, небось, чтоб в крутой заулочок поворачивать, да?

– А кузов к раме на ремнях привешен, – заметил и сам Семён Ульяныч. Спуском кареты руководил лакей Капитон.

– За колесом следи! – ругался он. – Левее, дьяволы!

Петьке, младшему сыну Ремезова, карета была неинтересна.

– Батя, отпусти до Морозовых, а? – спросил он.

– Не верти дыру, Петька! – не глядя на сына, рыкнул Ремезов. – Стой с братьями! Ещё раз увижу тебя с Дашкой Морозовой – ей-богу, утоплю!

Князь Гагарин уже принял поклоны от купцов, и Дитмер ненавязчиво подвёл к губернатору Курта фон Вреха.

– Господин губернатор, ольдерман здешней общины шведов...

– Ольдер... кто?

– Ольдерман. Командир, – пояснил Дитмер. – Организует жизнь всех королевских пленных в Тобольске.

– Староста, значит? – понял уже уставший Гагарин. – Ну, ясно. Дай, Ефим, ему кошель, который припасли для шведов.

Дитмер, улыбаясь, взял фон Вреха за манжету камзола и вложил ему в ладонь кожаный кошель. Гагарин протянул фон Вреху руку для поцелуя.

– Поцелуйте ему руку, – тихо, но внушительно сказал Дитмер по-шведски. – Так нужно, Курт.

Фон Врех запыхтел, покраснел и неловко клюнул губами в запястье Гагарина. Табберт и шведские офицеры наблюдали за ольдерманом с усмешками неловкости. Табберт задумчиво заметил штык-юнкеру Ренату:

– Вот мы и становимся азиатами, господин юнкер.

К губернатору уже со всех сторон подступали люди – каждый со своим делом. Надо было вырываться. Раздвигая толпу, солдаты вручную подкатили карету. Лакей Капитон посадил Гагарина и захлопнул за ним дверку, Дитмер успел вскочить в карету с другой стороны. Толпа сомкнулась вокруг кареты, как воды вокруг острова. Красивый резной и расписной экипаж выглядел игрушкой, и толпе не хотелось ломать его, чтобы достать седоков, но ведь надо было что-то сделать, чтобы ощутить губернатора вживую.

Гагарин и Дитмер слышали взволнованные крики, перебранку, и потом почувствовали, что толпа вдруг могуче поднимает карету в воздух и куда-то несёт. Тоболяки возбуждённо гомонили, кто-то смеялся, кто-то ободряюще пошлёпал ладонью по дверке. Народ тащил карету с губернатором на себе. Гагарин и Дитмер хватались за что попало и падали друг на друга.

– Держи крепче! – кричали снаружи. – Тяжела, холера крашенная!

Изящная и хрупкая на вид карета поплыла над толпой, как парусник. Её волокли по улицам вровень с кровлями на воротах и окошками горниц, по мостикам над речушками, через площади с посадскими церквями. Толпа гудела, воодушевлённая своим подвигом: мгновенное раболепие первого порыва сменилось пугающим разудалым молодечеством. Собаки, ошалев, бежали за толпой и лаяли, мальчишки вопили, бабы крестились. Даже

мелкие облака в ярком летнем небе словно взбрыкнули, встопорщив дыбом сияющие гривы. Обер-комендант Бибиков трусил за каретой и подвывал:

– Опустите! Опустите! Уроните же, ироды!

Всё ближе были зелёные откосы Троицкого мыса, стеной встающего над крышами Нижнего посада. Поверху на мысу виднелись бревенчатые терема Воеводского двора и белый кремль Софийского двора – каменные башни и стены. Взлетающий подъём Прямого взвоза был вызовом народу: не по силам людям втащить карету на такую высоту по такой крутизне! Но толпа только весело разъярилась. Всё новые и новые мужики пробивались к карете, чтобы тоже подставить плечо под крепкую раму колымаги.

С надсадным рычаньем толпа взбурлила и попёрла вверх по узкому ущелью взвоза, вознося на себе карету. Мужиков уже не волновало, что Гагарина и Дитмера в карете валяет с боку на бок, как по лодке в бурю. Мужики хрипели от натуги и ругались матом, рубахи трескали на спинах, надувались жилы на загорелых шеях, ноги втапывали в суглинок склона сбитые шапки. Толпа превратилась в слитную очеловеченную силу, которая ломала тягу земную. В ожесточении упрямства тоболяки поднимали княжескую карету всё выше и выше. Со склона кругами раскрывались непостижимые дали: деревянное ломаное озеро городских крыш, цветущие заливные луга, плоская и блещущая от солнца излучина Иртыша, мреющие заречные просторы, стрела улетающего за окоём Тобола, вогнутое синее сияние небес. В их глубине, почти непроницаемой для взгляда, за ветровыми промельками ангельских крыльев мерещился и таял огромный иконный лик Вседержителя, знающего грозную цену человеческого дерзания: кто может поднять на такую высоту, тот может с неё и сбросить.

Глава 8

Архитектон

Терем для воеводы Черкасского Семён Ульянович Ремезов построил лет десять назад.

Михал-Яковлич тогда сказал: хочу в Тобольске себе палаты, как дворец у царя Алексея Михалыча. Когда Ремезовы были в Москве по вызову Андрей-Андреича Виниуса, главы Сибирского приказа, Семён Ульянович съездил в Коломенское. Царское великолепие вызвало у него восхищение пополам с яростной ненавистью. А чем он хуже тех зодчих? Чай, не дурак, не на лыжах по лужам, всё понимает, как сделано. Однако сколько свободы, сколько прихотливой игры, выдумки, лёгкости, озорства! В Коломенском Ремезов шагами измерил объёмы дворца, сосчитал количество венцов в срубах, на глазок прикинул высоты, зарисовал и записал, что надо было. И потом в Тобольске построил терем для Черкасского в том же образе.

Терем встал на Троицком мысу, на самом ветровом острие Алафейских гор, на крутояре – впору только Сивке-Бурке допрыгнуть. Не терем даже, а сказочный город Леденец. Средоточие – обширная горница-трапезная для приёмов с крытым висячим гульбищем и крыльцом, что выкатило во двор широкий сход на мощных опорах-косоурах. Барские покои с щипцовой крышей, отдельный рундук и сверху – точёный петух. Вознесённая рабочая светлица с кубоватым верхом. Обочь – восьмерик, выложенный костром, а над ним – шатёр с двуперстной ветреницей. В ряд на подклетах – службы, увенчанные лемеховыми бочками. Вразлёт кровли на потоках, всё в сквозной резьбе, весело растопырены причелины, кипун на зубчатых подзорах и ярило на крашенных наличниках! Семён Ульянович гордился своим чудо-теремом и однажды даже подрался с дьяком Баутиным, который не смог найти в тереме воеводу, опоздал куда-то и орал, что в хоромах чёрт ногу сломит.

Губернатор Гагарин, стоя посреди воеводского двора, разглядывал терем Черкасского, а теперь – его собственный терем, и морщился от солнца. Июльский полдень сиял на вздёрнутых коньках крыш и на фигурных трубах-дымниках. За спиной губернатора толпились прихвостни: дьяки, слуги, лакей Капитон, секретарь Дитмер, обер-комендант Карп Бибииков, полковник Васька Чередов, Свантей Инборг – артельный шведской строительной артели. Ремезов, нахмутив брови, ожидал восхищенья губернатора.

- Худой терем, – вздохнув, наконец сказал Гагарин.
- Да понимал бы ты чего, боярин! – оскорбился Ремезов. – Не сундук – значит, не красота?!
- Тихо, тихо ты, Ульяныч, не дерзи! – испугался Бибииков.
- Не сердись, архитектон, – миролюбиво сказал Гагарин. – Небось, под коломенский дворец строил?
- Под него! А чем он плох?
- Дворец-то ничем не плох, да времена миновали. Нас всех ныне, вишь, на немцев вывернуло да на голландцев.
- Немецкие хоромы хлипкие! Палками подпёрты!
- А ты их видел?
- Видел! – с вызовом заявил Семён Ульянович.

Он ходил в Немецкую слободу, когда жил в Москве, и удивлялся немецким домам-фахверкам с брусьями сикось-накось, и даже зарисовывал их, но вот на дворцы особого внимания не обратил, да и осмотреть их не смог бы – кто ж его пустит во дворец? Он же простой человек.

Гагарин только вздохнул и оглянулся на Дитмера.

- Ефимка, ты ведь у графа Пипера в Немецкой слободе служил?
- Да, господин губернатор.
- Тогда понимаешь меня. Переведи этому шведу, – Гагарин кивнул на артельного Свантея, – что я хочу себе дом как у Петра Ивановича Гордона. Сумеет его артель построить такой?

– Лейтенант Инборг, – по-шведски сказал Дитмер, – губернатор желает, чтобы вы построили ему дворец как в Стокгольме на Сёдермальме у барона Юлленкрейца. Ваша артель сумеет исполнить этот заказ?

Кряжистый, скупой в движениях Сванте Инборг, всегда раздумчивый и осторожный, медленно вынул трубку из-под пушистых белых усов.

- Я думаю, мы справимся, господин секретарь, – ответил он.
- Он сможет, – сказал Дитмер по-русски. – У лейтенанта Инборга самая большая шведская артель в городе.
- Не добили гадов под Полтавой! – полковник Чередов сплюнул в траву со свирепостью служаки, который никогда не воевал по-настоящему.
- На входе хочу колонны, крышу – вот таким коробочком, – Гагарин, глядя на Инборга, показал руками, – и окошки в полукруг поверху.
- Люкарны, – деликатно подсказал Дитмер.
- Пусть в доме поставят мне печи голландские с изразцами, сделают паркет, а не половицы, лепнину налепят, портьеры повесят, на стены – обои штофные с росписью... Зеркала и шандалы я с собой привёз.

Дитмер вполголоса быстро переводил Инборгу. Тот степенно кивал с

понимающим видом.

– Заплачу щедро, пусть он не робеет. А ты, Ефимка, найди мне у шведов мастеров: каретник нужен, окошечник, садовник... Повар у меня свой.

Ремезов слушал и мрачнел всё больше.

– Почто нехристям такой подряд отдавать? – не выдержал он. – Я сам соберу артель, мои всё сделают не хуже! У нас не божедурье полоротое!

Гагарин искоса поглядел на Ремезова и усмехнулся.

– Не ревнуй, архитектон. Я людям хочу заработок дать. Они же на чужбине. Совесть-то вспомни.

– Ты шведские морды совести, не меня! – рявкнул Ремезов. – Они в нашу державу не с пирогами, а с пушками вторглись!

– Ладно-ладно, – Гагарин дружески приобнял Ремезова за худые твёрдые плечи. – У меня всем работы хватит, архитектон.

Матвею Петровичу по душе пришёлся этот строптивый старик. Такие упрямцы не воруют. А те, которые не воруют, всегда были нужны князю Гагарину для его обширных, разветвлённых и уклончивых дел.

– А мой терем куда денешь? – сразу спросил Ремезов.

– Снести его к псам до подошвы, – улыбаясь, просто ответил Гагарин.

– Ломать не строить! – вырываясь, гневно закричал Ремезов.

Бибииков в ужасе схватил себя за бороду на щеках.

– Тс-тс-тс, – как ребёнка, утихомиривал Гагарин Ремезова. – Ты мне чего-нибудь новое построишь. Я догадываюсь, что у тебя задумок на три Тобольска. Пройдёмся, архитектон, расскажешь.

Гагарин положил ладонь на спину Ремезова и легонько подтолкнул. Ремезов неуверенно шагнул вперёд, его корёжило от возмущения. Свита качнулась вслед губернатору и архитектону.

– Отстаньте все! – оглянувшись, приказал Гагарин.

Оставив за спиной терем Черкасского, они шли по Воеводскому двору, как попало застроенному после пожара десятилетней давности. Бревенчатые лабазы, почерневшие кузни, угол заплота драгунского подворья, конюшни, изба пехотского приказа, пушечный амбар, ветхая Воскресенская церковка с покосившейся главкой. Крылечки, поленницы, крытые ворота, брошенные бочки, телеги, хлам. Земля была вытоптана вечно снующим людом, лишь под стенами росла дикая трава. За гребнями крыш торчали шатры крепостных башен с крестами. Всюду был народ: служилые выводили лошадей, мужики ждали решений суда, дьяки бегали по делам, поп шёл причащать колодников в тюрьме, баба искала козу. При виде губернатора все снимали шапки и кланялись, но никто не решался

отвлечь боярина от беседы с архитектором.

– Ты построил? – спросил Гагарин, указывая на краснокирпичную тушу Приказной палаты, что наконец-то вылезла из-за караульни.

– Я! – гордо подтвердил Ремезов.

Образ этой палаты он тоже подсмотрел в Москве, в Крутицкой обители, да ещё в Сибирском приказе Виниус дал ему фряжскую книгу про каменное зодчество, и Семён Ульянович отгрохал что-то такое, чему и сам удивлялся. Вообще-то здание он сделал обычным для палат, его называли «брус», но в украшении расплясался, как скоморох. Над прочным подклетом он соорудил открытую «галдарею» с балясинами и колоннами – и не удержался, осадил фряжские колонны родными русскими «дыньками», хотя сверху присобачил снопы каменных цветов. Окошки сдвоил и строил, в простенки вмуровал изразцы и резные вставки из белого известняка и пустил под свесом крыши висячие арочки с «гирьками». Из крутого ската черепичной кровли в ряд, как закомары на храме, торчали чердаки-«слухи». А что? Радостно получилось!

– И откуда тебе в голову такое дикобразе закатилось? – задумчиво спросил Гагарин, разглядывая Приказную палату.

Мужики на «галдарее» кланялись князю.

– По фряжской книге! – сразу встопорщился Ремезов.

По правде сказать, от рисунков из фряжской книги в палате остались только бубенцы да каблуки. Семён Ульяныч дал себе волю, распоясался, но никому в том не признавался. Помнится, воевода Черкасский при виде этой палаты тоже поскрёб пятернёй голову и сказал: се не казённая палата, а балаган. Потешная масленичная драка петрушек в колпаках.

– Старый я, – вздохнул Гагарин. – А Софийский собор тоже ты делал?

– Софийский собор ещё до меня. Я тогда зелёный был.

Ровные белые стены и серебряные лемеховые купола собора спокойно вздымались за Прямым взвозом, огороженным бревенчатыми пряслами.

– Пойдём каяться, – позвал дальше Гагарин.

Они вышли к истоку Прямого взвоза. Вымощенная плахами дорога утекала вниз по ущелью между крутых травяных откосов к подгорной части Тобольска. Сверху были видны сотни деревянных крыш, колоколенки, а за ними – сверкающая полоса Иртыша и заречные просторы.

– Вот там, посреди взвоза, я хочу башню ярусную поставить со шпиром, чтобы шпир выше Приказной палаты поднимался, – твёрдо сказал Ремезов.

– Вроде Сухаревой башни в Москве?

– Нет, вроде Святых ворот Данилова монастыря, где церковь Симеона Столпника. Я сам – Симеон, – Ремезов со значением посмотрел на Гагарина. – Я столпы хочу возводить, как Нимврод Вавилонский.

– Какие столпы? – слегка ошалев, спросил Матвей Петрович.

– Смотри, – Ремезов протянул длинную руку и костлявым пальцем указал на правый обрыв Прямского взвоза. – Вон на том месте надо новую церковь построить, столпную. А на том краю площади, – Ремезов повернулся в противоположную сторону, – надо Спасскую башню в камень перевести.

Площадь перед Софийским и Гостиным дворами была ограничена стеной деревянного острога. Над площадью царила бревенчатая Спасская башня: проезжий четверик с раскатом и три восьмерика, один – часозвонный. Однако шатёр на башне чернел щелями отлетевших досок, а под часовой машиной, привезённой ещё воеводой Годуновым из Смоленска, давно просел пол, и перекошенная машина сломалась. Но циферблат, по-старинному поделённый на семнадцать долей, ещё поблёскивал облезлой позолотой.

– Проникнись, Матвей Петрович, – Ремезов увлёкся, – площадь будет в окружении столпов! Красота! С дураков шапки повалятся!

Ремезов испытующе посмотрел в глаза Гагарину. На площади толпились тоболяки: галдели лотошники, в ворота Гостиного двора заезжал караван, водовоз вёз бочку, ссорились какие-то бабы, бегали мальчишки и собаки, деревенские мужики крестились на храм. Никто не видел в ярком синем небе призрачных столпов. Но Матвея Петровича поневоле увлекла одержимость Ремезова, этого дремучего сибирского демиурга.

– А почто Тобольску столпы?

– Тоболеск – стольный град Сибири! Надо Воеводский двор тоже кирпичными стенами и башнями обнести, как Софийский двор. Замкнуть всё оградой с зубцами, – Ремезов широко обвёл пространство обеими руками, – сцепить воедино – и будет тебе кремль! А ты, Матвей Петрович, посреди кремля на стуле сидеть будешь, как царь!

Построить кремль было заветной мечтой Семёна Ульяновича. Пусть и не такой большой кремль, как в Москве, но размером хотя бы с московский Донской монастырь. Или Новоспасский. Или Новодевичий. Ремезов хранил эту мечту глубоко в себе, словно память о первой, пылкой и нелепой любви. Он и не думал делиться с кем-то своей надеждой, а тут вдруг сорвалось само собой... А может, и не само. Никто ведь его никогда не спрашивал о таких делах. Воеводы не спрашивали. И митрополиты не спрашивали.

Кремль для Семёна Ульяныча был как сокровенная, но так и не спетая песня. Четверть века назад митрополит Павел, бывший архимандрит Чудова монастыря, задумал отстроить Софийский двор в камне и для этого вызвал зодчих из Москвы – надменного Фёдора Меркурича Чайку, пьяницу Кирюху Шадрина, Герасима Яковлича Шарыпина, косоглазого Гаврилу Тютютина. А тоболяка Семёнку Ремезова воевода Алексей Петрович Головин до дела не допустил – сибирянин не дворянин, рылом не вышел. И Семён Ульянович тогда строил острожное укрепление вокруг Верхнего города: выкопал ров, отсыпал вал, поставил деревянные стены-городни и четыре бревенчатые башни. Он не обиделся, что им пренебрегли, но затосковал, будто на его невесте женился кто-то другой. И сейчас можно попытаться всё исправить.

А Гагарин вглядывался в Ремезова. Старик-то, оказывается, в сказки верит. С каким детским простодушием он заманивал князя лестью – «как царь сидеть будешь!», – чтобы князь соблазнился его мечтаньем. Но была в архитектоне святая и простая правда. Бог всегда на стороне таких, как Ремезов. На них всегда солнце светит. Ежели хочешь, чтобы бог тебя видел, держись на свету. А Матвею Петровичу очень нужна была божья помощь.

– Ну, ты размахался, Семён Ульяныч, – задумчиво сказал Гагарин то ли с одобрением, то ли с осуждением. – Кремль... Кто сейчас кремли строит? Ныне города новые – как у царя Петербург: всё, понимаешь, плоско так, ровненько, в единую линию. Не для обороны, а для господского гулянья. Першпектив называется.

– А чего ты меня поучать вздумал? – опять встопорщился Ремезов.

Все эти новшества, о которых он слышал от приезжих, казались ему бессмысленной блажью. Так в нём звучала ревность жителя окраины.

– Не я тебя поучаю. Голландцы нас всех поучают.

– Ты, князь, сам себе можешь куцый галанцкий дворец откозлячить, только галанция вокруг него не нарастёт! – Ремезов от злости сорвал шапку и зажал её в кулаке. – Кремль не тебе, а народу нужен!

– Я не хуже тебя народ знаю! – вспыхнул и Гагарин. – Я пять лет московский градоначальник! Я весь Белый город после пожара в камне отстроил! Всяких хоромин наворотил! На меня иноземцы работали!

Матвей Петрович гордился, что восстановил старую столицу, исполнил указ царя и обезопасил Москву от огня. Он разбирался, что такое зодчество. Дворец на Тверской возвёл ему сам Ванька Фонтана, итальяшка, который в Москве строил дворцы Лефорту и Апраксину. И Фонтана был услужливый, как девушка, всегда вином потчевал, не то что этот сучкастый пенёк Ремезов.

– Велика слава – иноземцы! Тут Сибирь! – Ремезов потряс шапкой перед носом Гагарина. – Сюда иноземцы только пленные доходят! У нас надо всё по завету делать, по-соловецки, чтобы как брюхом сшибало!

– Царь старину взащей гонит!

– А как здесь без неё? Она одна всё крепит! Или не помнишь Сибири?

– А ты на меня не ори!

Матвей Петрович забыл, что он князь и говорит со смердом. Ремезов уязвил его прямо в душу, и гнев князя Гагарина был не наигранным, с каким он порой обрушивался на дьяков и чиновников, а настоящим. Царская неметчина со всеми её париками и шпагами, экзерцициями и фортециями Матвею Петровичу и самому не слишком нравилась. Он вырос на кондовом московском боярстве, а возмужал на кондовом сибирском воеводстве.

Дед Матвея Петровича служил воеводой в Томске, отец – в Нарыме и Берёзове. Братья Иван и Матвей Гагарины по молодости были стольниками у царя Иван-Лексеича, а Милославские иноземных новшеств при дворе не жаловали. Потом братья тоже уехали воеводить в Сибирь, в Иркутск, затем Матвей Петрович уже один отправился в Нерчинск.

Словом, князь Гагарин привык к отеческой старине. Однако десять лет он был любимцем Петра Лексеича, и пришлось отвыкнуть. А сейчас этот архитектон попрекает его, будто он запамятовал, на каких опорах русское державство стоит.

Лотошники на площади оглядывались, подталкивали соседей, указывая на губернатора и архитектона, которые лаялись, как два пьяных ямщика.

– Ладно, хорош глотки драть, – остывая, взял себя в руки Гагарин. – Стыдобища, люди смотрят.

– Пущай любуются, какого почтения у нас губернатор!

Ремезов сердито уставился на собор. Гагарин толкнул его в плечо.

– Я же не спорю, Ульяныч, что кремль красивей першпектива. Будем думать про него. Ты у нас архитектон. Но лошадей-то не гони.

– «Будем думать!» – передразнил Ремезов. – Денег давай, губернатор!

– Дам, не вопи, – вздохнул Гагарин. – Начнём с башни на взвозе и с церкви на мысу, а кремля пока не касаемся. Рисуи мне чертежи.

Глава 9

Конклюдзии

Сейчас всё растолкую, сам-то лишь вчера узнал, – Семён Ульянович внимательно оглядел сыновей. – Конклюдзии – заморские придумки, царь их возлюбил и свой дворец имя восхитил. Вот и Матвей Петрович сего же себе пожелал. Конклюдзия, значит, суть картина, густой краской на грунтованном холсте писанная, размером в сажень, как образ с Деисуса, – Семён Ульянович для наглядности показал руками, хотя его сыновья знали, каковы размеры икон деисусного чина. – Но главное – что и как изображённое есть.

Для пояснения Семён Ульянович против воли скатывался на какую-то выпретенную речь, но иначе у него не получалось. Сыновья молча слушали.

– Конклюдзию пишут вроде канона «древа». Помните, мы олифили из Абалакской обители образ «Древо Иессеево»? Вот подобное же. Малюешь, значит, в красках на весь холст древесю, в ветвях его чаши цветочные, а в чашах – всякие парсуны, чтобы на них люди делали то, чем прославлены. И вскрай письмом повествуется, кто сей муж, и какой подвиг совершил.

– Хитрое дело, батюшка, – с уважением сказал Леонтий.

Ремезов хмыкнул.

Семён Ульянович ещё месяц назад отнёс губернатору чертежи башни на взвозе и церкви на мысу и принялся ждать ещё какое-нибудь задание. Вчера Матвей Петрович наконец-то вызвал его к себе.

– Ты же иконник, изограф, верно? – спросил князь.

– Да всё могу, – самоуверенно ответил Семён Ульянович.

– Мне в дом картины будут нужны. Ты и намалюй.

– А что за картины? – заинтересовался Ремезов.

– Конклюдзии про твою Сибирь. Про всех воевод, про крестителей, про города. Словом, про всё, что здесь случилось важного с Ермаковых времён. Ты, говорят, о том летопись написал, выходит, гишторию знаешь.

Гагарин показал Ремезову в печатной книге конклюдзии с какими-то королями, и Ремезов понял, чего хочет губернатор. Потом Матвей Петрович потребовал Сванте Инборга, артельного шведских плотников.

– Со Свантеем по чертежу мы посчитали простенки в трапезной, где будут висеть картины, и вышло четырнадцать штук, – сообщил сыновьям Семён Ульянович. – Четырнадцать конклюдзий – хороший заказ. Так что, сыны, сейчас будем распределять, чего на какой картине изобразим.

Сенька, бери перо. Надобно все старые великие дела припомнить.

– Слышь-ка, отец, старо ты дело великое, – окликнула Митрофановна, – а за работу тебе заплатить князь-то обещал? Или опять царю подарок будет от голожопиков? У нас и рожь на исходе, две чети осталось, и овёс.

Семён Ульянович сделал вид, что не слышит ехидства жены.

Совет с сыновьями Семён Ульянович держал во дворе своего обширного подворья. Посреди двора поставили стол, и вокруг, каждый на своей стороне, сидели сыновья: по правую руку – старший Леонтий, по левую руку – Семён, второй сын, а напротив – Петька, хотя он был ещё мальчишка, и права голоса не имел. Перед Семёном Ульяновичем лежала раскрытой большая и растрёпанная Служебная книга – изборник записей и черновиков его многочисленных чертежей. Семён-младший приготовил листы бумаги и чернильницу, чтобы записывать. У Левонтия почерк был красивее, чем у Семёна, однако Левонтий слишком долго выводил буквицы полуустава, а Семён ловчее вёл завитушки и росчерки скорописи – ему бы в дьяки.

На дворе от крыльца мастерской – солидной избы на подклете – до скобы на углу бани была протянута верёвка, и Ефимья Митрофановна с Машей, единственной дочерью Ремезовых, развешивала постиранное бельё на просушку. Маша брала рубахи и порты из ушата и закидывала на верёвку, а Митрофановна расправляла и прихватывала раздвоенными щепочками.

– Слабо отжала, Манюша, – негромко сказала она. – Смотри, капает.

– С девушками отжимали, матушка, сколько сил было.

Варвара, жена Леонтия, сидела на лавочке у большого крыльца и сучила нить с клокa шерстяной кудели, висевшего на расписной лопасти ручной прялки. Лопасть украсил Семён-младший, он любил рисовать цветы и листья. Колёсная прялка у Варвары осталась в доме, слишком хлопотно было вытаскивать её на улицу. Варвара привычно вытягивала нитку и поглядывала на детей. Танюшка, дочь Семёна, ползала в травке, что уцелела в углу двора, посередине плотно вытоптанного. Девочка только училась ходить и пыталась сама подняться на ноги, но падала на четвереньки. После смерти Алёны, жены Семёна, Варвара заменила Танюшке мать. А Федюнька, младший сын Левонтия и Варвары, смотрел на собак, ухватившись за доски забора, ограждающего собачий загон, устроенный Ремезовыми по примеру остяков. Оба мохнатых пса Ремезовых, Кучум и Батый, лежали на солнечном пригреве на боку, одинаково вытянув лапы, словно померли от наслаждения. Федюнька

присел и попытался сквозь щель дотянуться до хвоста Батыя.

– Не трожь! – строго сказала ему Варвара. Она была баба работающая и немногословная.

– А кому что делать поручишь, батя? – спросил Леонтий.

К своему ремеслу иконника и чертёжника, а теперь и зодчего, Семён Ульянович пристроил всех сыновей, кроме третьего – Ивана. Ванька с женой уехал в Енисейск в городовые казаки, и вернётся ли домой – неведомо. Впрочем, рослого и сильного Леонтия тоже, бывало, сдёргивали на службу, если тобольский воевода отправлял своих драгун усмирять вечно бунтующих башкирцев, или отбивать набеги казахов на слободы верхнего Тобола, или догонять какую-нибудь орду калмыков-джунгар, которые воровали скот. Леонтий числился служилым в полку полковника Васьки Чередова.

– Ну, человек-то я сам нарисую, своей руке верю, – задумчиво сказал Семён Ульянович. – А прочее...

– Батька, дай мне воинов малевать, – сразу попросил Петька.

Петьке отцовские занятия были неинтересны. Нимбы святых, чертежи городов – тьфу, скукота. Вот походы воинские – это здорово. Петька страдал, что у него такая кислая семья. Батька – книжник, Сенька – богомолец, только Лёнька годился в родню, потому что саблей помахал, даже вон щеку ему калмыцкое копье порвало, но и Лёнька – тюфяк, батьке в рот смотрит.

– Я без харей нарисую, лишь бы на мечах сражались, – добавил Петька.

– Харя – это у тебя, Петька! – гневно ответил Ремезов. – А мы рисуем мужей достойных, у которых лики благородные! Краски нам будешь тереть.

Петька приуныл. Ему было тринадцать лет, и его тянуло на улицу.

– А мне, батюшка, дай зелень рисовать, – сказал Семён. – По мне – ветви кудрявые, виноград, райские плоды. Облака могу. Птиц небесных.

– Твоя воля, Сенька, – кивнул Ремезов.

Семён-младший очень тосковал по Алёне, покойной жене. Алёна умерла родами Танюшки. Ремезовы надеялись, что время утешит Сеню, но Сеня всё никак не мог выйти из печали. Семён Ульянович опасался, что сын примет постриг, и даже тайком сбегал в Знаменский монастырь – попросить, чтобы Сеньку не принимали, если явится. Настоятель укорил Семёна Ульяновича.

– На меня-то особо не надейся, батя, – виновато сказал Леонтий. – Сам знаешь, пером-то я хорошо, а красками мазать – мимо цвета, без подобия получается. Вы с Сеней рисуйте, а я письма напишу, которые положено.

– Будь по-твоему, – согласился Ремезов. – Давайте про дело говорить.

Семён Ульянович был по-юношески вдохновлён предстоящей большой работой: перебрать в памяти самоцветную историю Сибири и запечатлеть её красками на холстах – будто самому прожить ещё один век. И день такой хороший, солнечный, и в синем небе – сверкающее белое облако, словно взмах божьей кисти, и сыновья рядом, и на подворье мир и благополучие.

Подворье было великовато для Ремезовых, ведь Семён Ульянович размерил его с расчётом на семьи Ваньки и Сеньки. Большущая избыща, выстроенная «брусом» на две связи – зимнюю и летнюю, – занимала всю правую сторону подворья. Ко двору изба была обращена крытым гульбищем на брёвнах-выпусках, и широкая лестница будто приглашала в сени. Под помостом гульбища в стене подклета темнели двери хозяйственных камор.

Левую сторону составляли амбары, баня и конюшня с коровником, над стойлами был надстроен сеновал. Семён Ульянович гордился своей рабочей избой – мастерской; она выходила во двор торцом с высоким крылечком, а длинным задом выдвигалась из подворья в огород, что тянулся до мелкой и болотистой речки Тырковки. Проёмы между избой, мастерской и баней загораживали заборы с калитками. А от улицы подворье ограждал мощный сибирский заплот из лежачих полубрёвен. Ворота у Ремезовых были на две створки, с тесовой палаткой, с киотом, с толстым закладным засовом, а сбоку имелась отдельная дверка на щеколде, чтобы не распахивать всё воротное прясло, ежели кто придёт, и в дверке было прорезано окошечко. По двору бродили куры; на поленнице топтался, бренча копытцами, козлёнок; в долблёной колоде – поилке для скота – плавали утята; стояла пустая телега, корячились козлы, чтобы пилить дрова; из чурбака торчал топор.

– Первую конклюзию про поход Ермака сделаем, – Семён Ульянович даже разволновался, приступая к сочинению. – Чай, с него Сибирь началась. Пиши, Сеня. Одесную древа русских нарисуем, ошуюю – татар. У наших, ясно, парсуны Ермака, Ваньки Кольца, Никиты Пана, Богдана Брязги.

– Мещеряка надо, – добавил Леонтий. – Всё ж последний атаман.

– И Матвея Мещеряка, – кивнул Семён Ульянович. – У татар – хана Кучума, храброго царевича Маметкула, хитроумного Карачу.

– Давай, батюшка, и красавицу Сузге, кучумовскую возлюбленную, – предложил Семён. – Добрая девка была, честно погибла.

– Пиши и Сузге.

– Жениться Сёмушке надо, – тихо сказала Митрофановна Маше.
Обе они издали слушали разговор мужчин.

– А внизу нарисую, как царь Грозный и Георгий Победоносец из леечек поливают древо Сибири, – придумал Леонтий.

– Записывай, Сеня.

– На ветвях, батюшка, я могу на русской стороне соколов изобразить, а на татарской стороне – ползучих змей, – не поднимая головы, сказал Семён.

– Записывай, добро.

У Маши и Митрофановны закончилось бельё в ушате.

– Отдохну я с Варей, – Митрофановна подняла пустой ушат за ухо. – А ты, Манюша, стащи козлёнка с поленницы. Он же всё рассыпет, озорник.

Митрофановна пошла к Варваре и грузно присела на скамейку. Маша, убирая прядь волос под платок, направилась к поленнице.

– Мека-мека-мека, – позвала она козлёнка. – Иди ко мне, дурачок.

– Вторую конклюдацию нарисую про сибирских иереев, – рассуждал Ремезов. – Начнём с владыки Киприана, он Ермаковым казакам поминовение установил. Потом Макарий, который злую Коду покрестил. Нектария тоже надо, при нём в Абалаке Божья Мать явилась. И митрополита Игнатия надо, он мощи Симеона Верхотурского свидетельствовал...

– А Герасима архиепископа? – спросил Семён.

– У него слава дурная. Жесток был и родню на хлебные места сажал.

– Зато иконописец.

– Ладно, в Знаменском монастыре спрошу, стоит ли Герасима малевать, – решил Семён Ульянович.

– Иереям на ветви я голубиц и серафимов нарисую, – записал Семён.

Маша с козлёнком под мышкой подошла к Семёну Ульяновичу.

– Батюшка, ты меня обещал с девушками погулять отпустить.

– Какое гулять, Марей? – сразу раздосадовался Ремезов, не желавший отвлекаться от конклюдзий. – Ты мне вчера поперечила? Поперечила! Отцу родному зубы казала? Казала! Теперь сиди на дворе, ерохвостка! Поделом!

Маша пылко покраснела от обиды. Она всегда легко краснела. Она была белокожая, веснушчатая, слегка рыжеватая, вся вразлёт и обликом, и характером. Характером-то – в отца, а обликом – в деда Митрофана.

– Да отпусти ты её, батя, – миролюбиво попросил Леонтий.

Семён Ульянович шумно засопел, кипя негодованием.

– Меньше суеты от неё – нам легче работать, – усмехнулся Леонтий.

Семён Ульянович всегда был придирчиво-строг с Машей. Таких отцов дочери обычно боятся, но Маша любила батюшку, потому что для неё он

был скорее дедом, а за отца ей стал старший брат Левонтий. Семён Ульянович женился поздно, на четвёртом десятке. Ефимья Митрофановна была моложе него почти на пятнадцать лет. У них сразу родился Леонтий, потом Никита, но он умер младенчиком, потом Семён – он получился на шесть лет моложе Леонтия, потом Иван. А потом долгие двенадцать лет дети не заводились, и вдруг выскочила Машка, а за ней – Петька. Петька и сделался отрадой для стареющих родителей – ненаглядным поскрёбышем. Леонтию тогда было уже за двадцать, он женился на Варваре и вместе с ней присматривал за малой сестрёнкой, обделённой заботой отца и матушки.

– Ладно, иди, – буркнул Маше Семён Ульянович.

Маша выпустила козлёнка и прыснула со двора.

– Одну конклюзию про деда нашего надо нарисовать, – предложил Леонтий, чтобы умиловить отца. – Как он кольчугу Ермака тайше Аблаю увозил. Одесную деда изобразим, воеводу Хилкова и Ермака в панцире, вроде как он деда благословляет, а на другой стороне – Аблая, царевича Девлет-Гирея и мурзу Бек-Мамета Кайдаулова, который панцирь хранил.

Семён Ульянович сразу забыл обо всём.

– Молодец, Левонтий! А ты, Сенька, в древе для деда нарисуй птицу сирина, а для калмыков – чёрных воронов!

Сорванцу Петьке нечем было пособить старшим братьям и батюшке, он тихонько достал ножик и, пряча руки под столом, строгал из щепки сабельку для Лёшки, левонтьевского сына. Семён Ульянович видел это, но не ругался. Он напряжённо размышлял про конклюзии и про Сибирь.

– Думаю, одну холстину надо посвятить основанию Тоболеска.

Конечно! Письменного голову Данилу Чулкова нарисовать, который на Алафейских горах построил из лодейного леса первый острог. Нарисовать хана Сейдяка, который занял Искер, опустевший после ухода ермаковцев, и грозил Тобольску, но Чулков заманил его в гости, взял в плен и отослал в Москву. Нарисовать Логгина и Дионисия, первых иноков Тобольска...

– Одного Тобольска мало, – задумчиво сказал Семён. – Надо и прочие древние города помянуть: Пелым, Тюмень, Тару, Сургут, Нарым...

Тяжёлые, кряжистые, свилеватые имена сибирских городов звучали так, словно у земли их вырвали под пыткой.

– Верно! – сразу согласился Семён Ульянович. – А к воеводам добавить атамана Тугарина Фёдорова, который Пегую орду побил.

Дверка у ворот открылась, и во двор влетели Лёшка и Лёнька-младший – сыновья Леонтия. Восьмилетний Лёшка нёс деревянное ведёрко с тяжёлым уловом, а шестилетний Лёнька – удочки.

- Батька, деда, мы щуку поймали! – закричал Лёшка.
- Мы ссюку поймали! – тоже крикнул беззубый Лёнька.
- Не горлань, – одёрнула сыновей Варвара.

Леонтий оглянулся. Лёшка ринулся было к нему, но Митрофановна успела уцепить старшего внука за рубашку.

- Не мешай батьке с дедом, – сказала она. – Мне покажи добычу.

Лёшка тотчас поставил ведро и, плеща водой, вытащил большую тёмно-серебристую рыбину, увесисто бьющуюся в руках. Петька задёргался за столом и вытянулся в струну, чтобы разглядеть щуку.

- Ух, какая здоровущая! – притворно восхитилась Митрофановна.
- Ты Лёньку в воде не топил? – строго спросила Варвара.
- Да не топил я его! – отбрыкнулся Лёшка.
- Я тозе его не топил! – гордо сообщил Лёнька.

А Семён молча смотрел на дочку. Забытая всеми Танюшка подползла к заплоту и, держась за бревно, сама медленно встала на ножки. Она стояла ещё неуверенно, ещё покачивалась, и Семён похолодел: ему показалось, что над Танюшкой склоняется Алёна – невидимая и неосязаемая, она всё равно готова была подхватить девочку, если та вдруг начнёт падать.

Видит бог, это и было счастье, о котором просят люди, но Ремезов-старший не глядел ни на внуков, ни на сыновей. Он переворачивал толстые жёлтые листы своей Служебной книги и вперебежку читал быстрые строки, набросанные полууставом. В его воображении плыли суровые обветренные лица давно умерших или убитых воевод, землепроходцев и митрополитов. Он слышал свист якутских стрел, набат илимского бунта и яростную пальбу Албазина, слышал треск рвущихся в бурю парусов на кочах Семёна Дежнёва и рёв огнедыщащих гор Володьки Атласова, что грозно пылают у обрыва мира над прибоем божьего окиана. Там, в дальних пределах Сибири, в полуночной непогоде чернеют бревенчатые башни заброшенной Мангазеи, там в мокрой тундре из мерзлоты, задрав изогнутые бивни, тихо вытаивают косматые туши мамонтов, там горы, там тигры, там степь, в которую монголы затоптали мёртвого Чингиза, там китайский богдыхан во дворце за Великой Стеной разит кривым мечом золотого дракона, там чёрные шаманы взлетают к демонам в дыму жертвенных костров заклятого острова Ольхон.

За долгую жизнь Семён Ульянович уже привык, уже примирился с тем, что никому эти чудеса не любопытны. Его познания – настоящая громада, но по всем её ходам и закоулкам он странствовал без спутников, и даже сыновья были рядом лишь по сыновнему долгу. Можно было насмерть отравиться горечью одиночества, но слишком прекрасен был мир,

чтобы его покинуть. Семён Ульянович перебирал в уме сокровенные имена и события этого мира, словно монеты и драгоценные камни в ларце.

То были его личные богатства, его собственная несметная казна. Душа его млела и трепетала среди этих негасимых огней. Он мог навсегда оставить это волшебное самоцветье одному себе, как молитвенник одному себе оставляет горный свет открывшихся вершин. Но Семёну Ульяновичу было мало уединённого созерцания. Он хотел показывать свои сокровища, да что там показывать – хотел изумлять ими, раздавать их, дарить. Они же были неразменными и неиссякаемыми, и чем больше отдаёшь, тем больше имеешь.

Глава 10

Кто кому платит

Пока не было покупателей, бухарец Турсун сидел в своей лавке лишь при свете углей в жаровне – ставни на двух маленьких окошках мерзливый Турсун закрывал, чтобы не выстуживало. Угли сказочно переливались в плоском медном тазу на коротеньких изогнутых лапках, и посуда на полках таинственно поблёскивала, будто сокровища в пещере джинна: пузатые и тонкогорлые кумганы, похожие на павлинов; покрытые чеканкой блюда Исфахана; большие казаны с витыми ручками, поставленные на полу набор; толстое зелёное стекло Ургенча и расписной китайский фарфор.

Ремезов распахнул дверь, вошёл в лавку, окутанный облаком холода, и привычно пошаркал подошвами по тряпке, брошенной у порога.

– Почто впотьмах сидишь? – спросил он. – Марея, ноги оботри.

– Салам, Семён! – обрадовался Турсун, вскочил и сунул в угли лучину.

Светец озарил товары бухарца – тебризские ковры на стенах, полосатые халаты, обитые серебром сёдла, сундуки, мешки в углах, ларцы и коробочки на полках, отрезы ткани на прилавке. Маша восхищённо оглядывалась.

– Чего желаешь, Семён-эфенди? – широко улыбался Турсун. Ремезов был давним и выгодным покупателем.

– Бумагу покажи.

Турсун сразу нырнул в сундук, где лежали стопы разной бумаги, и выложил на прилавок несколько листов. Ремезов вытер руки о грудь и принялся придирчиво разглядывать листы, поднося их к лучине на просвет.

– Смотри, Марея, – строго сказал Ремезов, – на хорошей бумаге есть водяные знаки. Мне нужны вот эти – с волком, с кораблём и где башка дурака в колпаке. Другая бумага – только высморкаться в неё.

На боку у Ремезова висела большая прямоугольная сумка из кожи.

– Дочку решил к ремеслу приставить? – спросил Турсун.

– Не бабское дело книги писать, – отрезал Ремезов. – Учю бумагу выбирать, чтоб вместо меня к тебе, торгашу, бегала.

– Возьми нашу бумагу, бухарскую.

– Дрянь ваша бумага, – уверенно заявил Ремезов. – Рыхлая и толстая. Краску пятном впитывает, а наклеишь на доску – желтеет, собака.

– Скоро Ходжа Касым китайскую привезёт, рисовую.

– Рисовая от нашей краски буровится, или пузырьём её выгибает.

– Воском натирай. Или мои краски бери.

– А что у тебя? – с сомнением заинтересовался Ремезов. – Давеча ты мне продал – дак лучше ослиным навозом рисовать.

– Камча твой язык, Семён-ата! – обиделся Турсун. – Дочь у тебя – роза Ширази, а ты ругаешься в её чистые уши, как погонщик!

Маша польщённо заулыбалась бухарцу. Турсун нырнул в другой сундук и начал выставлять на прилавок маленькие глиняные горшочки с красками.

– Мне ведь губернатор конклюзии написать заказал, – с нарочитой небрежностью сообщил Ремезов. – Слышал небось?

– Весь Тобольск о том шумит, – угодливо пропыхтел Турсун из сундука.

Ремезов выпятил грудь и важно расправил бороду.

– Вот кармин, – начал объяснять Турсун и поцокал языком от восторга, – вот сурьма, вот илийская земля, она как персик, а вот тёртый малахит.

– Вохру я на Сузгуне беру и в деревянном масле творю, – Ремезов внимательно разбирал горшочки с красками, – и ярь-медянка своя.

– Киноварь, – показал Турсун, – её яйцом разводить. Горит, как бычья кровь. А эти чёрные – из жжёной слоновой кости и ореховой скорлупы.

– Я на печной саже делаю.

– Сажа глухая, а ореховая краска мягкая, древесное тепло показывает.

– Олифу или гречишный мёд добавить – то же самое.

– Ещё у меня коралл есть и пурпур из Трабзона, – похвастался Турсун.

– Дорого, – вздохнул Ремезов. – Спрошу у Матвея Петровича. Даст денег – пришлю к тебе Машку за пунцом.

– Тогда и про лазурь спроси. На уксусе она как глаза у шайтана.

– Я уже думал, – Ремезов потерев бороду, – боюсь, на уксусе парсуна вонять будет два месяца, не примет Матвей Петрович в горницу.

– А для Мариам не возьмёшь гюлистанские румяна? – Турсун посмотрел на Машу и весь сморщился в улыбке. – Щёчки будут как яблочки!

– Рано ей ещё, – сердито заявил Ремезов. – Намажется – я её проучу, как Ванька Постников свою Аньку проучил.

– А что Иван-бай сделал? – купился любопытный Турсун.

– Умыл Аньку. Взял её за ноги и крашеной мордой по всему Прямскому взвозу проволочил от Софийского собора до щепного ряда.

– Ай-яй-яй! – поразился Турсун. – Нехорошо!

– Не было такого, дядя Турсун, – сказала Маша. – Батюшка сочинил.

– Сердитый ты, как верблюд, Семён-эфенди! – опять обиделся Турсун. – Такую красавицу красотой попрекаешь! Звезда Чимгана! Какой калым за неё попросишь? Я младшему сыну ищу жену.

– Тебе мой калым не по кошелю, – надменно сказал Ремезов.

– Откуда тебе знать? – заревновал Турсун. – Назови цену!

Маша смущённо отступила за плечо Ремезова.

– Отдам Машку за зверя такого – крокодил называется. Добудешь?

Ремезов говорил совершенно серьёзно. Крокодилов рисовали на лубках, купцы привозили такие лубки из Москвы в Тобольск на ярмарки. Семён Ульянович сам покупал Петьке лубок про войну Бабы Яги с крокодилами.

– Добуду! – самоуверенно заявил Турсун. – А что это за скот? На буйвола похож? На овцу? На кого?

– На Ходжу Касыма вашего.

– Опять шутишь, Семён-ата? Говори правду! Что делает крокодил?

– Крокодил – лучшее тягло хрестьянину, – сообщил Семён Ульянович. – Хошь – паши на нём, хошь – скачи верхом, хошь – на охоту с ним ходи, и удой по три ведра.

Маша, отвернувшись, смеялась, а Турсун искренне заинтересовался ещё неведомым ему ценным животным. Он решительно выложил на прилавок перед Ремезовым обрывок бумаги и поставил чернильницу с пером.

– Нарисуй мне крокодила! – потребовал он. – Ты же изограф! Нарисуй, а я найду в Бухаре, там всё есть, ежели не в куполах, так на улицах!

Оставив Турсуна в лавке рассматривать крокодила, Ремезов и Маша шли по торговым рядам Троицкой площади. Вообще-то Семён Ульянович направлялся к обер-коменданту Бибикову, но по пути хотел посмотреть в глаза приказчику Куфоне, который с весны задолжал четвертак.

Глухие облака над Тобольском сцепило судорогой холода, и то и дело сеялся мелкий колкий снег, словно ледяной песок. Гряда Алафейских гор, что возвышалась над площадью, казалась сверху донизу плотно выбеленной извёсткой; длинная линия строений Софийского двора слилась с крутыми откосами в общий объём; все тени исчезли, будто замазанные мелом, – и складки склона, и углы башен, и грани шатров. Однако на площади многолюдное торжище истолкло свежий снег в чёрную жидкую грязь.

Ремезов пробирался сквозь толпу, придерживая сумку, и здоровался направо и налево, а Маша с любопытством глазела по сторонам. Прилавки, палатки, лотки, телеги с мешками, пар от дыхания, связки калачей, поленья

мороженой рыбы, горшки, бочки, покрасневшие руки торговцев, зазывающие улыбки продавцов, тулупы, возбуждённые голоса, собаки, сдвинутые на затылок шапки, быстрые косые взгляды проходящих мимо парней...

Семён Ульянович и Ефимья Митрофановна запрещали Маше ходить на Троицкую площадь в базарные дни, но Маша, конечно, украдкой бегала сюда – ведь нестерпимо любопытно. В одиночку, конечно, Маша и сама боялась, поэтому брала кого-нибудь из девушек со своей улицы или младшего брата Петьку. Паршивец Петька быстро смекнул свою выгоду и потребовал обмен: он молчит, что Машка шастает на базар, а Машка молчит, что Петька под мостом через речку Курдюмку с мальчишками играет в карты. Но карты – большой грех. Бабка Мурзиха рассказывала, что карты придумал сатана и подсунул апостолам; они заигрались и проворонили, что солдаты схватили Христа. Маша не хотела, чтобы за карты брата в аду кипятили в котлах, и перестала брать Петьку на базар, а заодно пообещала нажаловаться батюшке. Батюшка Петьке руки оторвёт. За это Петька засунул Маше в карман мышь.

Ремезов протолкался к загону, где продавали людей. Невольники жили в большом щелястом сарае, над неряшливой кровлей которого торчали две деревянные печные трубы; сейчас из них курился дымок. Двор перед сараем был застелен грязными досками и огорожен жердями. Возле ограды, гомоня и пересмеиваясь, околачивались зеваки и покупатели: приказчики, служилые, казаки-годовальщики, бухарец в татарском чекмене, монастырский эконом в рясе, захлёстанной понизу грязью, какие-то шныри разбойного вида. В загоне у стены сарая понуро стояли в ряд шесть баб. Приказчик Куфоня ходил мимо них гоголем – в расстёгнутом полушубке и без шапки. У Куфони была смазливая и порочная рожа, какая бывает у шулеров или воров, которые сначала втираются в доверие.

– Разбери, мужики! – весело покрикивал Куфоня. – Вчера обоз пришёл из Вятки! Неделю поторгую, и дальше уйдут!

В руке у Куфони был толстый прут, обложенный паклей и обмотанный кожей. Этим прутом можно было крепко ударить по шее или по спине, но костей он не сломал бы. Куфоня указал прутом на одну из баб.

– Настасья Петрова, вдова! Блудила с хозяйским сыном. Добрая баба!

– Марея, не смотри! – сердито приказал Семён Ульянович.

– Серёга, вот для тебя пригнали! – заулыбался Куфоня, узнав в толпе знакомого. – Авдотья Степанова. Вологодская корова, хоть дои. Подожгла барский овин. Спина драная, но тоже баба добрая.

Бабы-невольницы смотрели под ноги, не отзываясь на слова Куфони.

Какой-то казак навалился грудью на жердину забора.

– Вон ту покажи! – крикнул он Куфоне.

– Матрёна безотцовская, с Мезени, – Куфоня подтолкнул вперёд бабу, которая приглянулась казаку. – Кружевница. Украла подсвешник в церкви. Хворая. Не купишь – помрёт.

– Сколько просят?

– Рубль. Через неделю будет полтинник, но ты её уже не вылечишь.

Для Маши в бесстыжей торговле бабами было что-то очень жуткое, будто казнь. Как-то раз Маша спросила у матушки о продаже баб.

– Да грех оно, понятно же, – спокойно ответила тогда Митрофановна, – попущенье божье. Но ты, Манюша, не бунтуй. Всех нас продают, хотя вот так – не каждую. Дочь у отца, а жена у мужа завсегда в неволе. У девки не спрашивают, кого она хозяйном себе хочет. И меня твой дед, Ульян Мосеич, за батюшку твоего выторговал.

– За тебя дед Митрофан деду Ульяну приданое давал, а не деньги брал.

– Это не важно, доча, кто кому в купле платит. Баба всё одно – товар.

– И меня батюшка продаст? – обмирая от ужаса, спросила Маша.

– Сама боюсь загадывать, – вздохнула Митрофановна.

Но Маша тогда подумала: даже если батюшка продаст её, то ведь она самая хорошая, и её купит непременно самый лучший жених на свете, вроде Володьки Легостаева с Етигеровой улицы.

Сейчас Маша хотела послушаться отца и отвернуться от загона, однако её внимание против воли привлекла девчонка-остячка, что стояла позади русских баб. Девчонка выглядела страшно. Она опиралась на палку и была одета в рваньё, сквозь которое светило грязное тело. Чёрные ноги её были в берестяных чунях, обмороженные руки распухли, лицо покрывали синяки и ссадины, нечёсанные волосы, перепутанные с сеном, дыбились копной, а узкие глаза горели, как у сумасшедшей. Это была Айкони.

За полгода в Берёзове она сполна извела, что такое неволя. Айкони работала до изнеможения – на рыбном дворе скребком потрошила улов. Её избивали для покорности и насиловали, но она всё равно сопротивлялась, и потом в наказание её драли плетью у столба или держали в колодках. Она почти отвыкла от человеческой речи и перестала думать, зато научилась позвериному быстро выгадывать, где будет безопасно. Она забыла, как можно плакать и жаловаться, и могла убить, если бы ей дали нож, но никто не давал ей ножа, а красть остяки не умели.

– Эй, обдувала, – позвал Ремезов Куфоню, – когда мне деньги вернёшь?

– Прости, Ульяныч! – Куфоня, увидев Ремезова, в искренней досаде

прижал кулаки к груди. – Забыл!.. Ей-бо, завтра занесу!

Ремезов тоже заметил девчонку-остячку.

– А вон та у тебя чего такая истерзанная? – недовольно спросил он.

– Это не казённая, – пояснил Куфоня. – Её Толбузин продаёт. Взял вместо ясака. Потрепали её промышленные.

– Пойдём, Машка, – Ремезов отвернулся.

– А как её зовут? – вдруг крикнула Маша Куфоне.

– Аконька.

– Марея! – зло зарычал Ремезов.

Остячка, похоже, была ровесницей Маше, но разница между ними полоснула Семёна Ульяновича по сердцу. Маша была чистая, ухоженная, в платочке с петухами, в шубейке, в подшитых валенках, а эта – зверушка...

– Почём она? – опять крикнула Маша.

– Пятиалтынный.

Ремезов больно схватил Машу за руку и решительно потащил от загона. Он яростно сопел и дёргал Машу, Маша спотыкалась.

– До Рождества дома сидеть будешь! – пообещал Семён Ульянович.

Ремезов и Маша выбрались из рыночной толпы и пошагали вверх по Прямскому взвозу. Маша еле поспевала за сердитым отцом. Она понимала, что виновата, но, набравшись храбрости, спросила:

– Батюшка, а что с теми бабами будет?

– Да ничего с ними не будет! – огрызнулся Ремезов.

А что с ними могло случиться? Ежели не помрут в пути, то развезут их по дальним острогам, где баб всегда не хватает, и раздадут в жёны холостым служилым. Так повелось ещё со времён первых воевод: воровок, блудниц, ведьм и разных лиходеек с Руси гнали в Сибирь и рассылали по крепостям пограничья. И жили они там потом как обычные бабы, и получались из них обычные хозяйки: дом, скотина, дети. Всё так. Но опыт подсказывал Семёну Ульяновичу, что истерзанная девчонка-остячка не уцелеет. Сильно побита – значит, не гнётся. А такие не выживают.

– Купи её, батюшка, – вдруг тихонько сказала Маша. – Ты же говорил, работница нужна.

– Не твоего ума дело! – рявкнул Ремезов, не оглядываясь.

Он кричал, медленно взбираясь по крутизне, и думал, что работница и впрямь нужна. Подворье большое. Ему самому скоро семьдесят. Ефимья тоже не девушка. Машку замуж заберут. Петька ещё молод, женить его рано. Семён всё никак не может оправиться после смерти Алёны, того и гляди в монастырь уйдёт. А у левонтьевой Варвары и так забот полон рот: Алёшке, старшему, всего восемь, а тут и Левонька-младший, и Федюнька

трёхлетний, и семёнова Танюшка только-только на ножки встала... Нужна работница.

У Ремезовых уже была работница – остячка Пеуди. Поначалу и говорить по-русски не умела, а затем ничего, освоилась. Семён Ульянович научил её буквы разбирать и склонил креститься. Однако холопов-инородцев, которых крестили, полагалось из неволи выпускать. Семён Ульянович и выпустил Певудьку. Пришлось ещё и приданое ей собрать, когда у ворот вдруг начал крутиться жених. Сейчас Певудька в Ишиме с мужем живёт.

Ремезов и Маша подошли к Приказной избе, дымившей всеми трубами на крыше. На «галдарее» два сторожа, прогнав народ, сгребали лопатами снег. Перед крыльцом стоял десяток крестьянских розвальней, в которых, закутавшись, лежали просители, ожидающие вызова. На брёвнах у стены сидели писцы: на коленях дощечка с листом и банка с песком, в отвороте шапки – отточенные перья, за пазухой – чернильницы, чтобы не замёрзли чернила. Писцы за денежку писали неграмотным мужикам челобитные. Один писец поучал стоящего над ним крестьянина:

– Ты тут не хвастай, чурбан. Грамоту сочинять надо жалостливо, чтобы слезу вышибало. Дескать, обнищали, оборвались, меж дворов скитаемся, молим подати снизить, на сколь помилуешь, государь.

Из двери палаты выглянул дьяк и заорал:

– Которые с Ялуторовской слободы? Заходи!

– Здорово, здорово, бог помощь, – проворчал знакомым писцам Ремезов и полез по крутой лестнице. – Недосуг лясы точить, братцы.

Маша осталась на улице. Она сразу подошла к ближайшей лошади, выгребла из кармана горсть овса и принялись кормить с ладони. Она думала: будь у неё жених Володька Легостаев с Етигеровой улицы, она бы сказала ему, а он бы на коне прискакал на торг, схватил ту остячку и умчал бы за околицу, а там отпустил на волю, и никто бы его не словил.

Обер-комендант Бибилов заседал в самой дальней, то есть самой важной палате. При нём за соседним столом сидел собственный подьячий – Минейка Протасов по прозвищу Сквозняк, такой он был лихой по части поборов. Семён Ульянович, не раздеваясь, достал из своей сумки жёсткий выбеленный холст, сложенный в восьмую долю, как скатерть, и бережно разложил на столе перед Бибиловым. На холсте была начерчена карта Сибири.

– Вот, исполнил, – с достоинством сказал он. – От Москвы до Камчатки и Китая. Камчатку я забелил и заново начертил, уже правильно. Угол с Астраханью отрезал, совсем он обтёрхался, и новый пришил. Про

Мангазею подписал, что пустая. На Байкале пятно было грязное, я отмыл. Где мыши погрызли, залатал. С казны за работу мне двугривенный.

– Нету денег в казне, Ульяныч, – убито сказал Бибиков.

– Я уж не помню, чтоб они были, Карпуша, – распрямляясь, язвительно сказал Ремезов. – Вечно нетути. Как ни хватать, всегда «Твою мать!».

– Истинный крест! – Бибиков, глядя снизу вверх, перекрестился.

– Какой крест, сквалыга? – снова разозлился Ремезов. – Опять жмёшь? На мне нажиться хочешь? Из блохи голенище кроишь!

– Не серчай, Ульяныч, что я сделаю? Всё выгребли, Минейка свидетель! – Бибиков, моргая, указал на Минейку Сквозняка.

– Экий ты кисляй! – с презрением бросил Ремезов. – Дак сделай что-нибудь, печной наездник! Иди к губернатору, займы попроси! У него любой башмак дороже моей избы! Подаст нищему!

– Нельзя мне к их сиятельству! – страдальчески признался Бибиков. – Они кричат, что вор я, убьют меня!

– Ну дак я сам пойду! – распаляясь, загремел Семён Ульянович. – Скажу ему: твой бер-комендантус паршивой собаке кость задолжал! Гони его, князь, на паперть христарадничать!

Минейка Сквозняк захихикал.

– Давай как-нибудь по-другому, Ульяныч, а? – заелозил Бибиков. – Могу тебе лес строевой отписать... Или хочешь, шведа дам в работники? Самого лучшего выберу, мордатого, сапожника, к примеру, а? Он тебе сапоги стачает, а ещё дрова будет рубить, воду возить, летом – на сенокос его!..

Предложение Бибикова неожиданно смутило Семёна Ульяновича.

– А это дело, Карпушка, – подумав, согласился он. – Ты же с воеводой Толбузиным друг любезный, верно?

– Верно. Агапон Иваныч – яхонт, а не человек!

– Пусть он пришлёт ко мне ясырку свою, девку-остячку, Аконя зовут. За долги в холопстве. Сегодня на торгу её видел. Тогда в расчёте.

Карп Изотыч от радости стащил шапку и прижал к сердцу.

– Душа ты человек, Семён Ульяныч! – с чувством сказал он, и глаза его увлажнились. – Хоть и ругатель страшный!

Глава 11

Следуя «Ынструкции»

До смет на башню и церковь руки у князя дошли только в конце ноября. Дальше откладывать было уже нельзя: припасы для строительства следовало заготовить к весне, а князь вскоре собирался уехать в столицу. Пока шведы не доделали дворец, Матвей Петрович жил в посольской избе на Воеводском дворе, выгнав из покоев каких-то забытых аманатов калмыцкого контайши Галдан Цэрэна и подьячего Счётного приказа, который никак не мог найти оказию до Кузнецкого острога. Ремезов пришёл к губернатору с ворохом листов, исписанных столбцами цифр и перечней. Матвей Петрович даже застонал, увидев, сколько тысяч штук кирпича потребуется, сколько бочек извести и опорного леса, сколько подвод, работников и водовозов, сколько пил и топоров, сколько полотен кровельного железа и скреповых тяг. А Ремезова ничего не смущало, он уже всё обдумал и за всех всё решил.

– Не надейся железо на Каменском заводе взять, хоть и близко, – поучал он. – Управителя тамошнего старец Исаак Далматовский под себя утоптал, он же собор в обители возводит и стены с башнями. У Демидова в Невьянске железо самое лучшее, вязкое, но Демидов дерёт, как сатана, душу тебе вынет. Бери на Алапаевском заводе, он под верхотурским комендантом – значит, в твоём кармане, только ихние тяги пусть дважды прокуют, а то лопнут.

Вятский воевода Степан Данилыч, тесть Матвея Петровича, упросил зятя приставить к делу своих племянников, и Матвей Петрович назначил верхотурским комендантом Ваньку Траханиотова, а томским – Романа.

– И откуда мне денег добыть на всё это, Ульяныч? – тоскливо спросил Гагарин у Ремезова, указывая на листы с расчётами.

– У царя берут, – пояснил Ремезов. – Филофей в Тюмени собор строит – у государя просит. И старец Исаак тоже царскими милостями пользуется. У него духовный сын Афанасий, Лёшка Любимов из Тюмени, был епископом Холмогорским, там при кораблях с Петром Алексеичем и сдружился.

– Мне Пётр Алексеич не даст, – убеждённо сказал Матвей Петрович. – Не для того он меня сюда направил, чтобы потом ссуживать.

– Тогда с таможенных доходов, как в Верхотурье и в Иркутске.

– Таможня не колодезь бездонный.

– Не мне тебя просвещать, Матвей Петрович, и в Сибири ты, конечно, не новичок, – рассудительно сказал Ремезов, – но Тоболеска не знаешь. У нас такие хитромудрые дыроделы, что обзавидуешься. Половина мягкой рухляди течёт по кабацким задворьям и торговым баням мимо твоих приказчиков. Собери всё воедино на Гостином дворе, и увидишь глубину колодца.

На Гагарина слова Ремезова произвели большое впечатление. Князь по опыту догадывался, что все ниточки тут держит обер-комендант Карпушка Бибииков. Вроде рохля, но рохля столько лет на таком месте не просидит.

Ремезовские сметы Матвей Петрович отправил к Бибиикову с секретарём Дитмером, а через пару дней и сам заявился в Приказную палату за ответом. Он расселся на лавке, широко раскидав полы дорогой шубы, а Карп Изотыч, теребя в руках шапку, стоял перед ним в робком полупоклоне.

– Над сметой твоей я всю ночь плакал, милостивец, – дрожащим голосом говорил он. – Помилуй! На ружейный двор Никифору Пилёнку мы денег-то к весне ещё наскребём, а на башни эти лешачьи – откуль брать?

– Совсем нетути? – с притворным сочувствием спросил Гагарин.

Матвей Петрович разглядывал обер-комендантскую камору Бибиикова. Сводчатый белёный потолок, маленькие глубокие окошки, закрытые слюдой, голландская печь в изразцах. В углах высились поставцы с коробами, в которых хранили склеенные в свитки бесчисленные бумаги – «отписки» воевод, казачьи «сказки», «распросные речи» и сыскные дела Сибири. Между коробами были втиснуты казённые самодельные сборники в деревянных обложках: прибыльные, расходные, разборные, жалованные, окладные... На большом столе Карпа Изотыча напоказ губернатору лежала раскрытой огромная растрёпанная Записная книга – в неё подьячие заносили краткое изложение всех грамот государя и судей Сибирского приказа.

– Ещё до Успенья все деньги извели, отец мой! – в порыве искренности Бибииков прижал шапку к груди. – В казне последние двести рублей остались!

Ефимка Дитмер, понимающе улыбаясь, стоял у окна и платком протирал блестящие медные пуговицы на своём шведском камзоле.

– И где ж мне взять на мои затеи? – горько закручинился Гагарин.

– Ты себе хозяин, – угодливо подсказал Бибииков. – Это при воеводах обложение в Москве определяли, а ты сам можешь подати поднять.

– То бишь с народа денег смучить? – уточнил Гагарин.

– Не сдохнут, – убеждённо заверил Бибииков.

– А что же так бедственно у нас, Карп Изотыч?

Бибииков суетливо бросился к столу, вытащил из-под раскрытой книги какие-то бумаги и подал Гагарину. Матвей Петрович, не глядя, протянул их Дитмеру. Дитмер бережно свернул листы в трубочку и сунул в карман.

– Там в росписи всё указано, – принялся растолковывать Бибииков. – Недоимки по многу лет – и в податях, и по ясаку... Долги по жалованью служилым... Караваны снаряжали на Ямыш-озеро за солью... После пожара строились... Порох закупали... Ещё куда...

– А где ключи от казны, Изотыч? – спросил Гагарин. – Клади на стол.

Бибииков, путаясь руками, начал отцеплять от пояса большие железные ключи на кольце и благоговейно положил всю связку на Записную книгу.

– Проверь, проверь сам, государь, – приговаривал он и пальцем разгрёб ключи: – Вот от сундуков с денежной казной, вот от каморы с рухлядью, от хлебного подвала, от зелейного погреба, от цепей колодников...

Гагарин, кряхтя, поднялся и повернулся спиной к Дитмеру. Дитмер осторожно снял с плеч губернатора шубу.

– У тебя же Гостиный двор, Карпуша, – вкрадчиво напомнил Гагарин.

– Истинный бог, мой государь, – раболепно мямлил Бибииков.

– У тебя инородцы с соболями, – с тихой угрозой продолжал Гагарин. – Мужики чернозём пашут. Ярмарки у тебя. Калмыки в степи с табунами...

Бибииков согласно кивал. Матвей Петрович вдруг ухватил его за бороду, дёрнул и швырнул на пол. Бибииков загремел локтями и коленями.

– У тебя ссыльные не знают, чем руки занять! – нагибаясь над Карпом Изотычем, заорал Гагарин. – Раскольников как тараканов!

– Не губи! – взвыл Бибииков, грузно ворочаясь на полу.

Он вскочил на четвереньки и быстро пополз к выходу из каморы. Гагарин от души всадил ему сапогом в толстый зад. Бибииков вылетел в повытную палату. Гагарин шагнул вслед за ним. Дитмер, посмеиваясь, поддел носком башмака и выбросил вслед шапку Бибиикова.

Ремезов построил Приказную палату так, что на втором ярусе были три покоя: Крайний, Тронный и Передний. Тронный покой Бибииков превратил в свою обер-комендантскую камору, в Крайнем покое за замком хранилась пушная казна, а в Переднем покое, самом большем, находились повытъя. Здесь за столами тесно сидели дьяки и подьячие. Дьяки ведали каждый своим повытьем, но какое мужицкое дело к какому повытью относилось – знали только черти и обер-комендант. Дьяк Баутин командовал всеми слободами на Ишиме. Дьяк Неелов учитывал доходы с

рыбных песков на Оби. Дьяк Пупков занимался кружечными сборами на храмы и татарами Барабинской степи. Дьяк Волчатов записывал и облагал раскольников и брал соляной налог с Исети. Дьяк Илья Квасников считал хлеб для беломестных казаков на Тоболе и следил за скотным торгом в Тобольске, а дьяк Никола Квасников отвечал за казённые дощаники на Иртыше. Подьячий Минейка Сквозняк держал на своём столе сметы припасов и выплат ружейного двора мастера Никифора Пилёнка с его подмастерьями. Распутать клубок дьячих дел не смог ни один тобольский воевода, начиная с самого князя Юрьи Еншина Сулешева, который завёл в Тобольске первую приказную избу. Хитрые и вороватые дьяки давно жили своим особливым бесстыжим царством.

Дьяки и подьячие повытной палаты в изумлении уставились на Карпа Изотыча, который на четвереньках стремительно полз через палату. Матвей Петрович догнал Карпа Изотыча и снова пнул.

– Матвей Петрович!.. Благодетель!.. – вопил Бибииков.

– Нахлебник кривобокий! – рычал Гагарин. – Только казну обжирал, крыса сургучная! Бороду выдеру!..

– Поделом вору мука! – злобно крикнул из-за стола дьяк Волчатов.

Матвей Петрович повернулся, отшвырнул стол и врезал Волчатову в глаз, а потом отшвырнул другой стол и врезал другому дьяку в ухо.

– Глисты вы приказные! – заорал он. – Пиявки! Мухоморы!

Матвей Петрович начал громить повытную палату, как медведь: валил столы и лавки, совал пудовым кулаком направо и налево – всем подряд. Дьяки, сообразив, кинулись прочь, сбивая друг друга с ног. Затрещали доски, по полу покатались стаканы с перьями, в воздух взлетели листы бумаги. Матвей Петрович швырял в спины убегающим подсвечники и чернильницы.

– Нечисть вы снулая! Паучьё! Трутни! – надрывался он.

Челобитчики и просители, которые толпились возле крыльца Приказной палаты, были потрясены, когда тяжёлые створчатые двери палаты внезапно распахнулись во всю ширь, и на «галдарею» полетели расхристанные и взъерошенные дьяки и подьячие. «Крапивное семя» кубарем покатилося вниз по лестнице с крыльца и бросилось в разные стороны прочь от палаты. На «галдарею» выскочил сам князь Гагарин – натужно-багровый, глаза горят, волосы дыбом. Он пинком послал вслед подьячим потерянную котомку.

– Сдохните все! – загремел он на весь Воеводский двор. – На груди золота сидят и подаянья просят! Суки хворые! Всех от места отшибаю!

К вечеру по Тобольску разлетелась весть, что губернатор разогнал и

перекалечил дьяков, убил обер-коменданта, объявил всем от царя волю вольную, а также закрыл Приказную палату на веки вечные, аминь.

А Матвей Петрович ничуть не переживал о своём погроме Приказной палаты. Он ведь и не злился по-настоящему – так, изобразил для народа гнев владыки, который недоволен холопами. Матвей Петрович шесть лет был главным судьёй Сибирского приказа: ему ли не знать, как ведут дела дьяки? В Москве, в Приказе, творилось то же самое. Поэтому вечером в посольской избе Матвей Петрович выпил с Ефимкой Дитмером кувшинчик фряжского вина и заснул крепко и спокойно. Он был уверен, что все дьяки всё равно вернуться на службу, и Бибиков тоже. Только теперь в Тобольске будет не Приказная палата, а губернская канцелярия, как того потребовал государь.

На следующий день Матвей Петрович сел с Ефимкой в каморе Бибикова и начал составлять Табель губернского управления. Ещё перед отъездом в Сибирь Алексей Василич Макаров, кабинет-секретарь Петра Алексеича, вручил Матвею Петровичу «Бнструкцию», в которой изложил воззрения государя на канцелярию. Вместо прежних дьяков и подьячих должны быть канцеляристы, подканцеляристы и копиисты. Они должны ведать своим делом во всей его полноте: один – всем ясаком, другой – всеми откупам, третий – всеми хлебными сборами, четвёртый – всей ямской службой и почтой, и таких дел Макаров насчитал на четырнадцать столов. Ещё в канцелярию требовались секретарь, регистратор и камерирер.

Управлять губернией царь повелел через четырёх помощников: обер-комендант заведует войском, обер-комиссар – деньгами, обер-провиант – хлебом, а выборный ландрихтер – судом. Пусть губернатор всем чиновникам платит жалованье, а ежели кто из них примет подношение – понимать сие как мзду и кидать под кнут. Городовые разряды надлежит считать уездами с малыми канцеляриями, а в острогах и слободах выбирать бурмистров.

Матвей Петрович и Дитмер распределили дьяков по столоначальствам. Жалованье канцеляристам Матвей Петрович определил хлебом и солью. Ландрихтера Матвей Петрович решил пока не назначать – обойдутся, он сам будет судить. В казённых трудах Гагарин и Дитмер осушили ещё один кувшинчик фряжского. В соседнем покое Приказной палаты, в бывшей повытной, плотники стучали молотками – сколачивали поломанные столы, поставцы и лавки. Матвей Петрович был доволен: он наведёт в губернии прочный порядок и через верных обер-командиров будет регулярно и сполна иметь денежный доход от своей власти. Это уже настоящая

хозяйская прибыль, а не бывшее тиранство, когда свирепый воевода силком гнул шею каждому дьяку, выдирая у него себе добычу, какая подвернётся.

В палатах стемнело. Плотники ушли, и только за окошком слышался хруст снега на «галдарее» – там ходил сторож. Дитмер внёс в камору к Гагарину тяжёлый шандал с толстой восковой свечой, и вместе с Ефимкой, шандалом и тенями на сводах в каморе как-то образовался Ходжа Касым с ларчиком в руках. Халат Касыма в полумраке искрился дорогой вышивкой. Касым с поклоном поставил ларчик на стол перед Матвеем Петровичем.

– Мой господин решил взять вотчину в свои руки?

Матвей Петрович не размяк от вина. Он уже давно догадался, что этот ушлый бухарец – равный ему соперник, и улыбнулся, желая побороться.

– Что вы за черти такие – бухарцы? – спросил он.

В Иркутске и Нерчинске у него бухарцев не было. Там были китайцы.

– Мы просто торговцы, – ласково сказал Касым, будто успокаивал. – На Иртыш мы ещё до русских пришли. Царь Годунов дозволил нам торговать в Астрахани, на Уфе и в Сибири без подорожных и повинностей.

– И чем торгуете, агаряне?

– А всем, мой господин, что у нас есть, а у вас нет, – многообещающе сказал Касым. – Везём цветные ткани, шёлк, медную посуду, дамасские сабли, сарачинское пшено, мускатный орех, урюк, сахар, шафран, перец...

– А отсюда что в Бухару? Соболей?

– Ты говоришь верно, мой господин.

Касым тихо поднял крышку ларца, показывая Гагарину содержимое.

– Посмотри сюда, достопочтенный. Татары из Яла-Туры нашли это в курганах по Тоболу. А я не украл их сокровища. Это ведь твоя земля, мой господин, твои могилы, твоё золото. Бери. Я ещё принесу.

Матвей Петрович вынул из кармана платок, расстелил на столе и высыпал из ларчика пригоршню золотых вещиц: бляхи, застёжки, браслеты, узорчатые пластины... Вот оно какое – зачатое могильное золото... Матвей Петрович много раз слышал, что отчаянные сибирские мужики-бугровщики ищут в степях и раскапывают древние курганы, грабят погребения забытых владык. Степняки – башкирцы, казахи, каракалпаки, чёрные калмыки – охотятся на этих святотатцев и убивают их, если застанут в ямах. Но порой золото вываливается из-под плуга мирного пахаря – татарина или русского слобожанина. Клады Сибири будоражили воображение. Матвей Петрович рассматривал сокровища, и Дитмер подвинул шандал, чтобы тоже увидеть.

– А что ты хочешь за них, Касым?

– Нам, бухарцам, можно покупать меха только у единоверцев, но

татары пашут поля и не ходят в лес за пушным зверем. Дозволь, мой господин, нам торговать с инородцами. Обер-комендант Бибиков, мир ему, не хотел мне помочь. Но ты видишь дальше. Пусть всё будет по закону вашей державы. Сейчас ты можешь это сделать. А я стану тебе самым щедрым другом.

Касым уже не раз пытался подкупить Бибикова, но Карп Изотыч трусил связываться с махометанами. А Гагарин – Касым это видел – не из робких.

Матвей Петрович задумчиво собрал золотые вещицы в кучу на платке и принялся завязывать углы платка, а потом бережно поднял узелок и опустил его обратно в ларчик. Клады – кладами, но их ещё искать надо, а пушнина есть всегда, и какой резон делиться ею с бухарцами? Гагарин поднял тяжёлый ларец в ладонях и, наклонясь, осторожно поставил на пол, сбоку от себя. Касым проводил ларчик взглядом и одобрительно улыбнулся.

– Благодарствую за дорогой подарок, Ходжа Касым, – степенно сказал Матвей Петрович, – только торговать с инородцами я вам не позволяю.

Улыбка Ходжи Касыма дрогнула.

– Шиш тебе, бухарец, – торжествующе ухмыльнулся Гагарин.

Он приехал сюда брать, а не раздавать.

...Дьяки, подьячие и писари вернулись на третий день после погрома. Всей толпой они встали в снег на колени у крыльца Приказной палаты и сняли шапки. Матвей Петрович, словно бы нехотя, вышел на «галдарею».

– Прости, в чём виновны, государь! – крикнул снизу дьяк Баутин. – Мы каемся! Прими взад на службу!

Дольше всех кочевряжился Бибиков. Матвей Петрович не ожидал от него такого упорства в обиде, но Карп Изотыч вовсе не обижался. Наоборот, он пытался понять, чем не угодил губернатору. Он бегал спросить совета к дьякам, к полковнику Ваське Чередову и даже к митрополиту Иоанну. Нюх старого плута подсказывал ему, что Матвей Петрович не мог так осерчать из-за каких-то там денег на башни Ремезова. Эка невидаль – денег нет на забаву.

Карп Изотыч дозрел к празднику Введения. На праздничную службу он решил пойти в Никольскую церковь, что стояла возле Орловской башни Софийского двора над Казачьим взвозом. Он попросит Николу Угодника, чтобы помог ему угодить губернатору, и губернатор введёт его обратно в Приказную палату. Церковные образы Карп Изотыч понимал буквально.

Звенели колокола Софийского собора. Карп Изотыч, воодушевляясь, шагал в толпе мимо Гостиного двора и Святых ворот. Рядом шли девки в

красных платках, бабы тянули санки с детишками, ковыляли старухи – Введенье считалось бабьим праздником, и все бабы тащились в церковь, а мужики на подворьях готовили сани: окончательно установилась зима. Бабы на ходу судачили и пересмеивались, и Карпу Изотычу после многих дней кручины тоже наконец-то стало радостно. Поодаль раздался голос ямщика:

– Брысь, бабоньки! Брысь! Брысь!

«Брысь» – значит «берегись». Карп Изотыч в толстой шубе повернулся всем телом. От ворот Гостиного двора к Казачьему взвозу ехал санный коробок губернатора, на запятках громоздился лакей Капитон. «Знамение!» – осенило Карпа Изотыча. Сам от себя того не ожидая, он бросился через толпу к возку и цепко поймал верёвочную петлю на дверке – она заменяла ручку.

– Помилуй, Матвей Петрович! Допусти!.. – закричал Бибииков.

Бабы оглядывались на обер-коменданта, бегущего за возком. Дверка возка распахнулась – это Матвей Петрович толкнул её ногой. Карп Изотыч, пыхтя, ввалился в тесный коробок и сразу бухнулся на колени, ухватившись за шубу Гагарина. Матвей Петрович даже отодвинулся в угол от удивления.

– Прости, Матвей Петрович! Не губи! Пусти на службу обратно! – взмолился Карп Изотыч. – Кормиться нечем! Могила!..

– Мало, что ли, наворовал? – хмыкнул Гагарин.

– Ругай меня, дурака! – Карп Изотыч в отчаянье потряс головой. – Ругай! Только не гони от места, пропаду! Богом клянусь, ни на шаг от твоей воли не отступлю, ни в чём от меня отказа знать не будешь!

– Экую аллилуйю ты грянул, Карпушка, – проворчал Гагарин.

Карп Изотыч наклонился, благоговейно поцеловал Матвею Петровичу руку и по-собачьи преданно посмотрел на губернатора снизу вверх. Он понял, почему Гагарин его прогнал.

– А тот Юрка Бибииков, который над тобой в Нерчинске следствие вёл, мне и не родня почти, седьмая вода на киселе! – проникновенно сказал он. – Я его и знать не знаю! Ты мне отец!

Глава 12

Царь в гостях

По твёрдой зимней дороге Матвей Петрович добрался до Петербурга за пять недель. Несколько дней отдыхал, затем вызвал своего губернского комиссара и пошёл с отчётом о губернии в Управительный Сенат. Впрочем, важнее Сената был приватный разговор с государем, но Матвей Петрович никак не мог застать Петра одного: то он был в Адмиралтействе, то в полку, то принимал послов, то пьянствовал с какими-то голландскими шкиперами. И вдруг государь сам заявился к Гагарину, точнее, решил пожить пару дней в его доме. Уже за полночь перепуганный лакей Капитон поднял Матвея Петровича с постели: денщики бесцеремонно затаскивали в сени сундуки с платьем, походную кровать и токарный станок Петра Алексеевича. Матвей Петрович выбежал, в чём спал, – в татарском халате. Пётр, дыша перегаром, грубо поцеловал Гагарина в щёку и сказал, что поселится в зале, где висит картина «Бой галеона “Сан-Мартин” у Гравлина»; пусть Матвей Петрович пришлёт туда графин водки на смородине. Собеседника государь не пожелал.

У Петра в Петербурге имелось несколько жительство: и самый первый голландский домик за крепостью – крытый гонтом и с мортирой на крыше; и пара увеселительных домиков на Петровском острове; и Свадебные палаты, подаренные царю Меншиковым. Зодчий Доменик Трезинь воздвиг для царя два дворца: летний, который поменьше, – на Безымянном Ерике, и зимний, который побольше и с мезониной, – на Неве. Но зимой Пётр предпочитал селиться у своих вельмож, порой даже не предупреждая о себе.

Он занимал залу, которая ему приглянулась, ставил матросскую койку и токарный станок, ел, пил, встречал гостей или, заперев дверь, работал. В соседние покои заезжали его денщики и секретари, в сенях сидел караул из преображенцев, у крыльца мёрзли в санках вестовые и неизменная толпа посетителей в крытых возках. Пётр жил, пока ему не наскучит, а потом так же внезапно убирался, оставляя после себя кучи опила на паркете, объедки, бутылки и немытую посуду, залитые чернилами столы, прожжённые табаком диваны и сорванные занавеси, о которые он вытирал грязные руки.

Матвей Петрович знал, что Пётр спит мало – досыпает недостающее днём после обеда, – и велел разбудить себя пораньше. Вместе с Матвеем Петровичем, охая, встала и Евдокия Степановна, жена. Матвей Петрович

отправил лакея Капитона к денщикам и секретарям караулить царя и велел слугам растолкать сына Алексея: не дело ему дрыхнуть, когда в доме гостит государь. Гагарины сели завтракать, но не откидным творогом и оладьями на меду, как обычно, а горьким кофием с маковыми баранками, как любил Пётр.

Грузная Евдокия Степановна расположилась на кушетке, чтобы не сломать фижмы. Она была в домашнем платье-robe и без корсета, но роба и так натягивалась на талии. Голову Евдокия Степановна покрыла чепцом.

– Пакость эта кофия, – со вздохом сказала Евдокия Степановна. – А баранки хороши. Надо Матрёшке велеть ещё пару снизок наделать.

Матвей Петрович оделся по-рабочему: камзол, кафтан, короткие портки и чулки. Парик Матвей Петрович напяливать не стал, а то государь догадается, что Гагарин вырядился намеренно для него, а сам по себе, видно, ходит по дому в дедовском армяке. Лёшка тоже выполз в камзоле и кюлотах. Его длинные волосы были собраны сзади в косичку, заплетённую явно ещё позавчера. Лёшка с кислой мордой сел в кресло-корытце, выпил кофий, вытащил откуда-то мандолину и, глядя на пальцы, принялся щипать струны.

– Ты опять похмельный? – строго спросил Матвей Петрович у сына. – Чего творишь, Лёшка?

– Ничего не творю, – буркнул Алексей, не поднимая головы.

Матвей Петрович хмурился, как положено отцу, но в глубине души сочувствовал Лёшке, понимал все его мальчишеские порывы.

– Где пили-то?

– В кабаке за Адмиралтейством.

– Ты князь или голландский матрос?

– Царь тоже в голландского матроса рядится.

– С царя-то в другом пример брать надо. А я в твои годы служил!

– Служили, ага, – Лёшка шмыгнул носом. – Мне дядька-то Василий всё рассказывал. Вы тоже, батюшка, беса тешили и куролесили.

– Я куролесил в Иркутске и Нерчинске, и о том никто не знал – Сибирь покрывала. И домой сто двадцать возов добра оттуда привёз!

– Врёшь ты, отец, – сказала Евдокия Степановна. – Тебе в Сибири за тридцать годов уже было, а Лёшеньке всего семнадцать.

Откинув портьеру, в гостиную вступил лакей Евдокии Степановны.

– Графиня Дарья Матвеевна Головкина с графом Гаврил-Иванычем! – объявил он, выпячивая грудь.

Дарья была дочерью Гагариных, а граф Гаврил-Иваныч – внуком. Дарья была замужем за Ваней Головкиным, сыном графа Гавриила

Ивановича, государственного канцлера. Гаврил-Иванычу младшему исполнился годик. Пухлая, бойкая Дашка ворвалась в гостиную, гремя замёрзшими юбками. Нянька внесла ребёнка. С Матвея Петровича при виде внука слетела вся суровость, лицо его распустилось, губы сами собою сложились уточкой.

– А что это у нас за граф такой важный явился? – засюсюкал он, забирая Гаврюшу на руки. – Митька! – через плечо крикнул он слуге. – Принеси мне тележку Гаврюшкину! – Матвей Петрович с наслаждением поцеловал внука. – А кто это у нас в карете сейчас кататься будет, а? Граф Гаврюшка будет! Ух, у него дед какой резвый жеребец!

– Не ушибите дитё, батюшка, – важно сказала Дашка.

– Не учи! Всех вас нянчил, никого не зашиб!

Высокие окна в гостиной Гагариных были из квадратиков дорогого венецианского стекла, собранных в деревянных рамах. Над Петербургом разгоралась заря, и окна нежно порозовели сквозь толстый иней. Алексей тренькал на мандолине, ожидая, когда его отпустят. Евдокия Степановна и Дашка на кушетке играли в карты. Лакеи прибирали на столе и гасили свечи. Матвей Петрович возился с внуком: покатал его на тележке за верёвочку, потом посадил себе на колени и принялся потряхивать, держа за ручонки.

– По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку – бух! Раздавили сорок мух! – приговаривал Матвей Петрович и ронял смеющегося Гаврюшку на спину.

– Вот какая ты негодница, Дашка! – в сердцах воскликнула Евдокия Степановна, бросая карты. – Родную- то матушку обжуливать!

Матвей Петрович усмехался, поглядывая на жену и дочь. Ему нравилась простодушная хитрость Дашки, унаследованная, конечно, от Евдокии Степановны, нравилось и то, что Дашка, похоже, будет толстой, как мать.

Портьера отодвинулась, и появилась испуганная физиономия Капитона.

– Госу!.. – прошептал он и исчез, отдёргнутый Петром за шиворот.

Пётр тоже был без парика, в домашнем засаленном шлафроке, с платком на шее, в разношенном башмаках. Слуги сразу низко склонились перед царём, Гагарины тоже вскочили и поклонились.

– Худэ морхен! – весело сказал Пётр по-голландски.

Нянька бросилась к Матвею Петровичу, взяла из его рук ребёнка и бесшумно убежала из гостиной. Слуги тоже попятись в дверь. Пётр озирал гостиную Гагариных, поправляя усы. Фряжская мебель на львиных

лапах, камин закрыт китайской ширмой, зеркала, лепнина, канделябры.

– Видел я, у твоего лакея, Петрович, морда исцарапана, – сказал Пётр, опускаясь в кресло. – Никак, ночью впотьмах бороду спиливал?

– Ежедень броемся, – соврал Матвей Петрович.

– Да садитесь же вы, – махнул рукой Пётр. – Ваш дом.

– Кофию государю! – крикнул Матвей Петрович.

– Как, Петрович, жизнь сибирская?

Пётр был на двенадцать лет моложе князя и звал его по отчеству.

– Работаем, – с достоинством сказал Матвей Петрович.

– Читал твой экстракт в Сенате. Хвалю. Когда плата за соболей будет?

– Пушные обозы на прошлой неделе должны были прибыть в Варшаву. Ожидаю, к Благовещенью деньги вернутся.

Сибирский приказ, которым руководил Гагарин, сам собирал в Сибири пушную казну и сам продавал меха в Европе, а в казну шли уже деньги.

– Долго! – Пётр дёрнул ногой. – А китайский караван чего?

– За него получилось сорок две тысячи рублей, кошель с печатью я уже снёс Лексей Василичу Макарову, твоему секретарю. А в Посольский приказ сдал девяносто пять тысяч за казённый груз.

– Мало.

– Оно, считай, караван восьмого года, пока я этим делом не заботился, – пояснил Матвей Петрович. – А я китайский доход утрою.

– Кто караван водил?

– Михайла Гусятников.

– Знаю его. Не вор.

С китайскими караванами Пётр отправлял и свои личные товары – ситец, моржовый клык из Архангельска и пушнину. На самом деле Михайла Гусятников продал царский груз только за тридцать семь тысяч – дороже китайцы не давали, и Матвей Петрович добавил в царскую прибыль из своего кармана, чтобы государь был доволен и считал себя умелым negociантом. Ежели царь доволен, то не полезет разбираться в деле, в котором у Матвея Петровича был собственный особый порядок и интерес.

Вошёл денщик Петра; в одной руке он нёс кувшин с кофием, в другой руке – оловянную шкиперскую кружку с отчеканенным британским львом. Кружку и кувшин денщик поставил на стол рядом с государем. Пётр налил себе кофию, плеснув на скатерть, и шумно, как лошадь, отхлебнул.

– Ты их бьёшь, что ли? – спросил Пётр, кивая на дочь и жену Гагарина.

Евдокия Степановна и Дашка неподвижно сидели на кушетке, словно

куклы, и испуганно таращились на царя.

– А надо? – неуверенно спросил Матвей Петрович.

Пётр, дурачась, вдруг по-собачьи гавкнул на Дашку и Евдокию Степановну – они обе одинаково вздрогнули. Пётр захохотал.

– Да не бойтесь вы, – благодушно сказал он. – Чего делали до меня?

– В картёшки играли, батюшка, – робко сказала Евдокия Степановна.

– На деньги?

– Просто так. «Сундучок» игра называется.

– Ну и дальше играйте.

Евдокия Степановна послушно взяла в руки карты.

– Кто хоромы строил, Петрович? – рассматривая лепнину, спросил Пётр.

– Ванька Фонтана, итальянин.

– А чего дворец не каменный? У Яшки Брюса, у Вейде, у Кикина с Сашкой Меншиковым уже каменные, а вы всё как в Москве хоромы ладите.

– Так тебе не угодить, Пётр Алексеич, – сказал Гагарин. Он знал, что царь любит, когда ему иной раз дерзят. – Построишь чего, а ты по тому месту першпективу или канал проведёшь, и домину на слом. Жалко трудов. Князь Репнин вон как ревел, когда ты его терем порушил.

Пётр снисходительно хмыкнул.

Из-за портьеры на входе выглянул вестовой и показал письмо с печатью.

– Рожу убери! – грозно крикнул Пётр. – У меня конфиденция!

Вестовой спрятался.

– Это сын твой? – Пётр кивнул на Лёшку, тихо сидевшего в углу.

Лёшка сразу встал и поклонился.

– Младший мой, князь Алексей Матвеич, – подсказал Гагарин.

– Где я тебя видел? – задумался Пётр. Ощущения от этого парня у него были какие-то нехорошие. И тут он вспомнил, и от давнего гнева стиснул в ладони оловянную кружку. – Точно, ты с моим Лёшкой безобразничал!

Алексей Гагарин молчал. Матвей Петрович сразу понял, что дело худо.

– Осенью, когда навигацию закрывали, попойка была. Мой недоросль со своими дружками там буйство учинил! – Пётр вперил взгляд в понурого Алексея. – Два Лёшки озоровали – он да ты, и два Сашки – Долгоруков да Головкин. Вы сажей перемазались, чтоб вас не узнали, на Адмиралтейской стороне окна били, орали, как припадочные, карету в щепы разнесли...

– Прости, государь, дитя он ещё! – всполошилась Евдокия Степановна.

– Дитя? – усы у Петра ошетинились. – Дитё учить надо. Пошлю-ка я тебя в Гамбург на пенсион мореходство и коммерцию осваивать.

– Не губи меня! – Евдокия Степановна истово перекрестилась.

– Чем это я тебя гублю? У тебя и отец жив, и муж.

Хорошее настроение царя улетучилось. Сын Алексей всегда раздражал Петра своей никчёмностью, а пьяные выходки сына приводили в бешенство.

– Отец на Вятке воеводит, муж в Сибири! Алёшенька один мне опора!

– А брат у Петровича? – царь посмотрел на Гагарина-старшего. – Василий, да? Ты с ним Тверецкий канал строил.

– Василий мне двоюродный, он помер тому уже три года, – печально сообщил князь Гагарин. – А Иван, родной брат, ещё раньше помер.

Вид у Матвея Петровича стал смиренный и скорбный, Гагарин достал большой платок и промокнул глаза – якобы от слёз по брату, но в уме Матвей Петрович лихорадочно соображал, как вернуть весёлость Петра. Царь – бич божий, ему Лёшку на всю жизнь наказать – раз плюнуть. Матвей Петрович перепугался за сына, такого тощенького, строптивного, беззащитного...

Пётр вскочил, шагнул к стоящему Алексею, ладонью отвёл ему со лба волосы, выпавшие из перевязки косицы, и начал разглядывать лицо. Алексей запрокинул голову, глядя в страшные совиные глаза государя.

– Дурак он, – сделал вывод Пётр.

– Дозволь отлучиться, – тяжело дыша, тихо попросил Матвей Петрович.

– Заодно водки мне принеси.

Матвей Петрович, утираясь платком, быстро вышел.

Пётр повалился обратно в кресло, закинул ногу на ногу и нервно качал носком башмака. Алексей Гагарин по-прежнему стоял, будто на суде.

– Может, женить его, мать? – спросил Пётр у Евдокии Степановны. О чём ещё ему с бабой-то говорить? – Женатый образумится.

– Добро бы, государь! – слезливо обрадовалась Евдокия Степановна.

– У Петьки Шафирова баронеска на выданье.

– Не хочу на жидовке, – глухо пробурчал Лёшка.

Лицо у Петра пошло багровыми пятнами.

– Да жидовки-то, Лёшенька, поумнее наших русских акул! – пылко набросилась на сына Евдокия Степановна.

Пётр взорвался бы, но тут вовремя вернулся Матвей Петрович. Он нёс ларец Касыма. В Тобольске Матвей Петрович и не думал отдавать золото курганов царю, однако сейчас надо было спасать непутёвого Лёшку. Матвей Петрович с поклоном поставил ларец на низенький столик возле Петра.

– Вот привёз тебе забаву из Сибири, – скромно сказал Гагарин.

Пётр пренебрежительно откинул крышку ларца пальцем и выпрямился.

– Ох ты! – изумлённо сказал он.

Он сунул ручищу в ларец и вытащил в горсти три золотые бляхи.

– Откуда сии куриозы?

– Из курганов по Тоболу.

– Погоди!

Пётр вскочил и быстрым шагом выбежал из гостиной.

– Куда он? – шёпотом спросила Евдокия Степановна.

– Балда ты! – отчаянно, но почти беззвучно крикнул Матвей Петрович сыну, не обращая внимания на жену. – Почто с царевичем дружишь?

– Царевич царём будет, – непокорно ответил Алексей.

– Вот когда будет, тогда и дружи! Убирайся, Лёшка, отсюда от греха подальше! Дашка, и ты убирайся!

Пётр вернулся с большим увеличительным стеклом в медной оправе. Он и не заметил, что дети Гагарина исчезли из гостиной. Пётр высыпал на стол содержимое ларца и склонился над золотом, рассматривая его через лупу.

– Тигр, а это олень, а это волк грызёт коня... – бормотал Пётр. – Мне, слышь, такие диковины в первый раз показывал амстердамский бургомистр Витзен, у него их целое бюро с ящиками... А потом я подобные видал в Дрездене и Вене в кунсткамерах... Это ремесло древних скифов!

– Теперь и у тебя есть, – сзади подсказал Гагарин.

– И много в Сибири курганов с кладками?

– Брешут, что тысячи.

– Ну, порадовал, Петрович! – Пётр взял в ладонь бляху с орлом, который нёс в когтях извивающегося змея, сел в кресло и продолжил внимательно изучать диковину через увеличительное стекло.

– Сразу указываю тебе: рассылай артели, пусть бугруют курганы.

– Мужики и так уже копают, – сказал Матвей Петрович.

– Мужичью бугровать запрети! Объяви, что руки рубить будешь! Я указ издам! Для сиволапых это просто куски золота, молотками расплющат!

– А ежели кто уже нашёл или купил?

– Пусть продают тебе или в казённые аптеки. Плати щедро!

Царь был поглощён своим новым сокровищем. Матвей Петрович тихо перекрестился и в облегчении присел на кушетку рядышком с женой.

– Ну, обнадёжил, Гагарин! – с чувством сказал Пётр. – Давай-давай-

давай, носом рой, ещё найди, хочу!

Глава 13

Вор у вора

Агапон Иваныч Толбузин, берёзовский воевода – а по-нынешнему комендант, – бренчал костяшками, закрыв расписной деревянный стаканчик толстой ладонью. Играли по-простому, по старинке – в «чёрное-белое».

– Ставлю крещатую лису, – объявил он. – Отвечай, Карпушка.

– Ну, трёх бобров и три песцовых хвоста, – сказал Бибиков.

– Мало, – Толбузин продолжал трясти стаканчик. – В этом году песцы не в цене. У меня под Обдорском их развелось как крыс в амбаре.

– Ладно, – покладисто кивнул Бибиков. – Вместо них голубую недокунь.

Карп Изотыч Бибиков, обер-комендант Тобольска, знал о пушнине, мягкой рухляди, куда больше воеводы из далёкого Берёзова. Этой зимой на ярмарке туруханская недокунь пойдёт всего-то за четыре собольих пупка, а цену на бобров уронят промышленные с Тунгуски, они какую-то бобровую реку нашли. Но слухи об этом наверняка ещё не добрались до низовий Оби, и Агапоша Толбузин не понимает, что принимает ставку себе в убыток.

– Зернить будем на три кона, Карпушка.

– Идёт, Агапоша. Тряси.

Толбузин ещё потряс стаканчик и опрокинул над столом. Воеводы склонились, разглядывая крупные сливовые косточки, покрашенные на одну сторону известью, на другую – чернилами.

– Чёт-нечёт, – сказал Толбузин.

Игру в зернь государь запретил, но в торговых банях законы были свои. Торговые бани Тобольска стояли отдельной дикой слободкой за ямскими дворами на берегу Иртыша. Узкие изогнутые улочки летом были залиты зловонными лужами – это из бань выплёскивали мыльную воду; зимой лужи замерзали грязными ледяными буграми. Бурьян, свалки, проулки, тупички, калитки. К банным срубам были пристроены тайные зерновые горницы. Бани и горницы теснились вперемешку с лабазами, погребами, дровяными сараями, конюшнями и хибарами, где жили работники, давно потерявшие стыд и совесть. Раздвинув беспорядочную застройку, нагло высились резные терема богатых хозяев – ссыльного стрельца Бердея, мамыши Матрёны, жадного старого хрыча Панхария, татарина Усфазана, бывшего дьяка Авдея Рукавицына. Торговые бани

дымили трубами день и ночь, над прелыми ветхими кровлями клубился пар, смердели мыловаренные котлы. Водовозы везли с Иртыша разбухшие и вечно подтекающие бочки. Шоркали пилы работников и стучали топоры – банные печи пожирали горы дров.

Добрые люди сюда старались не ходить. Только малые дети верили, будто баня нужна, чтобы помыться. Здесь метали зернь и шлёпали по столам краплёными картами. Здесь расплачивались медяками воровского чекана. Здесь прятали и продавали краденое. Корчёмщики тайком везли сюда водку и брагу. Богатый мельник мог найти себе на ночь дородную боярыньку, а парни из служилых вскладчину покупали гулящих девок. Купцы при свете лучин уговаривались о том, о чём не сговориться на Гостином дворе с его доглядчиками и приказчиками: о беспошлинной соли, пушнине и порохе. Здесь можно было найти лихого человека с кистенём, согласного на любое дело, или бродячего колдуна, продавшего душу дьяволу. Здесь укрывались беглые. В убогих домишках ютилась всякая рвань и вышедшие из неволи инородцы, от холопства утратившие навык честной жизни в лесах, – эти опустившиеся люди батрачили на банных владык за обноски и объедки. Пьяных отсюда вывозили на дровнях и бросали у паперти ближайшего храма. Порядок в слободке охраняли мордovorоты с дубинками, которых содержали банщики, но бывало, что поутру в заулках находили зарезанных гуляк. Тобольские ямщики за дорогу в торговые бани брали двойную цену.

Карп Изотыч Бибилов встречался с берёзовским комендантом в бане Остафия Бердяя – московского стрельца, ещё при воеводе Салтыкове сосланного в Тобольск за грабёж. Бибилов доверял Бердяю: не донесёт. В предбаннике стояли стол и лавки, кадушка с водой и два витых железных светца с лучинами. Пахло вениками и древесиной. В приоткрытое волоковое окошко с уличного декабрьского мороза клубами валил белый пар.

Бибилов и Толбузин, распаренные и мокрые, сидели за столом в одних исподних рубахах и угощались хозяйской настойкой на калине, разливая по рюмкам из дорогой бутылки зелёного стекла. Закусывали квашеной капустой, солёными грибами, пирожками с деревянного блюда и свежей морошкой. Толбузин пихал капусту в пасть целыми горстями, капуста блестела в его окладистой бороде. Он то и дело толкал стол огромным брюхом, и всё было залито квасом, который плескался из кувшина и кружек. Бибилов щепоткой по-бабьи щипал морошку.

– Как таможня, Карпушка? – спросил Толбузин.

– Глухо, Агапошенька. Гагарин своего надзирателя посадил, цепного

пса. Теперь через Верхотурье нам дорога закрыта.

– Не берёт?

– Не берёт, – тяжело вздохнул Бибиков. Его маленький носик-пуговка блестел, бровки сложились домиком, а маленький ротик алел, как у девушки.

Старинный и обширный дворянский род Бибиковых прочно врос в Сибирь многими воеводами, большими и меньшими, и никто из них не уехал домой восвояси с пустыми карманами. И Карп Изотыч тоже был опытным и ловким служакой, хотя как-то сумел сохранить девичью трепетность. Он начал службу младшим дьяком при воеводах Нарышкине и Бухвостове, а могущественный Михаил Яковлевич Черкасский назначил его старшим дьяком. С Черкасским Карп Изотыч жил душа в душу. Перед отъездом князь произвёл Бибикова в обер-коменданты – сделал начальником Тобольска и тобольского разряда. Пока князь Гагарин, новый губернатор, был занят в Москве, Бибиков управлял всей губернией. Это были лучшие годы. Сын Карпа Изотыча даже затеял строить новый дворец в имении под Новгородом. Но вот явился Гагарин, и прежний порядок посыпался.

– А ежели по закону провезти – дорого встанет? – спросил Толбузин.

Агапон Иваныч отправлял свои сорока с обозами Бибикова. Сам он был тупым и грубым и никак не сумел бы наладить сбыт того, что наворовал. Но под его воеводской рукой были бескрайние, кипящие пушшиной пажити Оби – от устья Иртыша до полуночных развалин Мангазеи, и Агапон Иваныч брал столько, что Карп Изотыч не мог с ним не дружить.

– По закону совсем нельзя. Можно только купцам гостинодворским, у которых казённая марка на рухлядь куплена.

– Наймём такого дурня.

– Без прибыли будет, Агапоша. На Гостином дворе пошлина – глаза выпучивает. Купец третью долю себе отгребёт. Таможня десятину снимет. Что нам останется? От каждого сорока – семь штук. Страсти господни.

С деревянным ведром в руке в баню вошёл Аниска, холоп стрельца Бердяя, долил воды в кадушку и замычал, указывая пальцем на окошко. У Аниски был урезан язык.

– Закрой, голубчик, закрой, – согласился Бибиков.

Аниска заволок окошко, поменял догорающую лучину и вышел.

– Ну, тогда надо везти по твоему тайному тракту, – Толбузин опять разлил настойку. – В объезд таможни через Невьянскую слободу.

– Тайный тракт, Агапоша, как измена государю, – назидательно сказал

Бибииков. – Поймают на нём мой обоз – Гагарин и тебя, и меня повесит.

– Не бывало такого, чтобы воевод за беспошлинную рухлядь вешали!

Толбузин буровил Бибиикова гневным взглядом. Роба у Агапона Иваныча была тяжёлая, как из теста, оплывшая брызгливыми складками.

Сибирских воевод и вправду за воровство почти не наказывали. Царю, Боярской думе или Сибирскому приказу важно было, чтобы поток пушнины из Сибири не ослабевал, а что там творят воеводы в своей дремучей глуши, сколько воруют, – плевать. Лишь бы инородцы или служилые не бунтовали, потому что бунтовщики не платят подати. За холотский бунт воеводу отзывали со службы, будто кота за хвост вытаскивали из бочки с рыбой.

– Мы с тобой теперь не воеводы, а коменданты, – печально вздохнул Бибииков, снова пощипывая морошку. – Стали мы людьми маленькими. А губернатору ныне всё дозволено. Повесит, и покаяться не успеешь.

Толбузин мрачно стиснул в большой ладони стаканчик с костями и принялся трясти, словно вытрясал душу из Гагарина.

– Даю подскору и пёструю рысь, – пробурчал он.

– На красных белок приму, – легко согласился Бибииков.

Толбузин высыпал на стол кости и, сопя, наклонился посмотреть.

– Моё! – с удовлетворением заявил он.

Против хорошего меха белки шли десятками и сотнями. Но Толбузин и не размышлял, зачем ему эти груды дешёвой пушнины, если и ценную-то некуда девать. Агапон Иваныч брал всегда с размахом, без сытости, как волк, который режет всё стадо, хотя унесёт только одну овцу. Агапон Иваныч ревниво считал себя природным князем, хотя его род давным-давно потерял княжеское звание. Далёкий Берёзов был хорош Толбузину тем, что он жил здесь как князь: обирал и холопил инородцев, притеснял посадских, судил, любил пороть баб кнутом, а служилым позволял грабить. Толбузин был уверен, что в Берёзове начальство ему не указ. Самоуправство и воровство для Агапона Иваныча было эдаким княжением. А мягкому сердцем Бибиикову хищность воеводы казалась недугом, и Карп Изотыч жалел товарища.

– Карпушка, у меня сундуки от соболей трещат, – с угрозой сообщил Толбузин. – Мне надо товар на Москву спровадить. Ежели боишься обоз по тайному тракту от себя пустить, дай мне своего провожатого.

Карп Изотыч и сам слёзно страдал от того, что пушнина застряла в амбарах Тобольска. Начальство всегда ценило дьяка Карпушу Бибиикова за рачительность. Бибииков был бережливым, как старичок: доедал обгорелые до угля корки хлеба, подбирали на улице рваные тряпки, подмешивал

скотине в сено запаренную солому, а истоптанные до дыр башмаки не выбрасывал, а относил на паперть. Начальство изумилось бы ловкости, с которой робкий дяк Карпуша уводил пушнину из казны – по чуть-чуть из разных статей: давал приказчикам заниженную цену и забирал избыток, находил изъяны и отсеивал как незначтённое в урок, записывал в поруху от мышей. Мало-помалу, а получалось много. Карп Изотыч не считал это мошенством. Он строго соблюдал казённый интерес, а то, что можно украсть, казалось ему незащищённым и потому потерянным: это был пустопорожний расход от неупотребления. Карп Изотыч просто восстанавливал порядок – всё одно ведь пропадёт: растрясут разини, приказная шпынь растащит при оказиях.

– Провожатого-то дам, Агапоша, – сказал Бибилов, – но за третью долю.

– Ну ты и змей, Карпушка! – обозлился Толбузин. – Спусти до четверти!

– Не могу, Агапошенька, – сердечно признался Бибилов. – Не могу. Треть давай, иначе не осмелею.

Там, в полутёмной бане Бердяя, берёзовский комендант и тобольский обер-комендант уговорились на воровской обоз и хлопнули по рукам.

Через месяц обоз вышел в путь. Тайный тракт в обход Верхотурской таможни на самом деле не был страшной заклётой тайной. От Тобольска возчики ехали в Тюмень, потом вверх по Туре до устья реки Ницы, вверх по Нице – до ярмарочной Ирбитской слободы. От Ирбита обозы двигались на Невьянский острог, и лишь за ним начинались места, где пути были известны только тем, кому можно доверять: дальше простиралось мрачное божелесье – заповедная тайга раскольничьих Весёлых гор. Здесь укрывались скиты с подземными молельнями и кондовые деревни. Царские дозоры не совались сюда с переписями – незваных гостей перебьют и похоронят, где и бог не сыщёт. Селения староверов были связаны друг с другом едва заметными нитями безлюдных проторей, отмеченных лишь крестами с кровлями. Чтобы проскользнуть по глухим распадкам Весёлых гор и добраться до торгового города Кунгура, хозяева сибирских обозов кланялись старцам Невьянска и платили «потревожную ругу», но не всякого купца допускали до старцев. А от Кунгура наезженный большак уже спокойно бежал к Соликамску, где обозы снова вливались в общее движение Государева Сибирского тракта.

Бибилов и Толбузин снарядили в Тобольске обоз из шести крепких саней с шестью надёжными возчиками. На пяти санях стояли большие коробка с пушниной, прочно обмотанные лыковыми верёвками, на шестых

санях возчики везли свой дорожный скарб. Обоз быстро докатился до Тюмени, по замёрзшим болотам привычно обогнул город с его таможей и ехал дальше по ледяной дороге Туры. Незадолго до Туринской слободы возчики должны были свернуть на реку Ницу – к Ирбиту.

Лошадки неторопливо бежали по ледовому тракту Туры, сани свистели полозьями. Тракт был обозначен маленькими ёлочками, воткнутыми в снег, чтобы путь был виден и ночью. По берегам клубилась спутанная заиндевелая кудель синего тальника, из которой вразнобой мощно вздымались высокие, зауженные морозом ели – ярусы снежных юбок. Голодная январская тишина словно бы выжидала в засаде, сцепив зубы, чтобы из непролазной урёмы наброситься людям на спины. Стучал дятел. Широкое сизое небо в мглистой глубине было пропитано жидким жёлтым свечением.

– Эй! Эй! Дорогу! – раздалось на реке.

Обоз нагонял отряд из десятка всадников. Это были татары в стёганных зимних халатах, в меховых ичигах и волчьих малахях. За плечами у них торчали стволы ружей. Из-под копыт коней летели комья снега.

– Посторонись, – приказал своему обозу артельный.

Обоз сдвинулся к сугробу обочины. Татары быстро догнали обоз.

– Толбузы товар? – белозубо улыбаясь, спросил с коня татарин-есаул.

Артельный даже не успел сообразить, откуда случайный татарин знает хозяина тайного груза.

– Ачу! – крикнул есаул.

Татары легко сбрасывали с плеч ружья и целились в возчиков.

– Ты чего? – обомлел артельный.

Выстрелы взорвали тишину лесов. В еловой чаще заметалась птица. Удары крупных пуль друг за другом валили возчиков на дорогу. Всё это было так просто и так неожиданно, что никто и не вскрикнул, не попытался выхватить из-под рогожи на санях заготовленный пистолет. Артельный в изумлении взмахнул руками, из чёрной дыры на груди его тулупа вылетели дымящиеся клочья овчины. Лошади вздрагивали, напуганные грохотом, и пугливо косились, но стояли смирно, как женщины.

Сронив шапки и остро задрав бороды, возчики неподвижно лежали возле своих саней на колеях ледовой дороги. Несколько татар спрыгнули с сёдел и принялись ворочать убитых – вдруг кто-то ещё жив?

– Они все мертвы, Сайфутдин, – по-татарски сказал есаулу один из спешившихся. – Добивать никого не надо.

– Кровь натекла?

– У одного.

– Нельзя, чтобы на льду увидели кровь. Ходжа Касым приказал не оставлять следов, – есаул Сайфутдин посмотрел по сторонам, не показавшись ли какой другой обоз. – Соскобли кровь ножом, Хабиль.

– Я сделаю, мой господин, – кивнул Хабиль.

– Берите лошадей под уздцы, и мы быстро уходим отсюда дальше, в Ирбит, – приказал Сайфутдин своим людям. – Теперь это наш товар. В смерти этих несчастных мы не виноваты, в ней виноват жадный Толбуза.

Ирбитская ярмарка начиналась через полторы недели. Торжище в Ирбите всегда соперничало с пушным базаром на тобольском Гостином дворе. В Ирбит обязательно приедут бухарцы, которым нет никакого дела до печати Верхотурской таможни, – они-то и купят захваченную пушнину берёзовского воеводы. Караванный путь из Бухары в Ирбит назывался Канифа-Юлы. Ходжа Касым знал, как взять и как сдать опасный товар.

– Хабиль и Нуриман, вы должны остаться здесь, пробить прорубь и скорее сбросить в неё тела убитых, – распоряжался Сайфутдин, удерживая танцующего от холода коня. – Потом возвращайтесь в Тобольск и передайте Ходже Касыму: верный Сайфутдин исполнил всё, что велел Ходжа.

Глава 14

Прореха Мазепы

Иоанн, митрополит Тобольский и Сибирский, стоя на коленях, молился перед образом Богоматери. Многоиконный киот занимал весь угол в келье митрополита, в полумраке он мерцал лампадами, ризами и бисером, но образ Богоматери словно бы сам тоже источал свет, подобно открытому окошку. Эту икону Иоанн привёз из Чернигова. Кондовая Сибирь такой красоты не ведала. В Сибири иконы писали по-строгановски, будто выкладывали из смальты: празднично-пёстро, сложно, строго, мелко и дробно. Затейливый рисунок выводили тонкой тёмной кистью и высветляли тяжёлым золотом, и потому не ощущалось в образах воздуха и простора, хотя искусные богомазы изображали рощи и каменные горки, а на клеймах – многолюдные действия. Черниговская же Богоматерь была не такая. Вот она – в лазоревом убрусе, в короне и со младенчиком на левой руке: ликом свежая, нежная, жизненная, и вся икона – волнительная, плавно-песенная, в радостном умилении.

Иоанн положил последний поклон, кряхтя, поднялся на ноги и взял посох. Сводчатая келья казалась бедной: топчан с тощей подушкой, лавка, поставец с книгами, сундук и стол, на котором подсвечник, оловянная кружка с водой, чернильница и бумаги. В глубокой печуре блестело дорогим бухарским стеклом маленькое оконце. Шаркая ногами, Иоанн пошёл к двери.

Филофей ждал митрополита в трапезной архиерейского дома, стоял возле открытого окна и глядел на улицу. Там сиял апрель. Влажное синее небо всей божьей силой взлетало ввысь столбами невидимого света; порыбьи серебрились обтаявшие от снега гребни тесовых кровель и лемеховые купола святой Софии; башни Софийского двора, будто бочки, распирало белизной; почернели тропинки меж осевших сугробов, и повсюду играли огни: искры солнца в ледяных сосульках, зернистый блеск наста, райские отражения в лужах и в двух вёдрах, которые старый монах нёс через двор на коромысле.

– Владыче! – улыбнулся Филофей, увидев Иоанна, и склонил голову, ожидая благословения.

– Отче! – ответил Иоанн, благословляя Филофея, и они обнялись.

Они были знакомы очень давно, ещё с Малороссии, с Киева. Вместе четыре года учились в коллегиуме митрополита Петра Могилы в Киево-

Братской обители, а потом не раз встречались на служениях: сменяли друг друга экономами в Лавре и настоятелями Свенского монастыря в Брянске, даже смеялись: «Ванька дома, Маньки нет; Манька дома, Ваньки нет».

– Вот теперь и Ванька дома, и Манька, – сказал Филофей. – Присядем?

Иоанн и Филофей уже встречались в Сибири – прошлым летом, когда Иоанн, только что возведённый в митрополиты, ехал из Москвы в Tobольск и на два дня остановился в Тюмени в Преображенском монастыре. А ныне Филофей сам прибыл к митрополиту на Софийский двор.

– Как телесное здоровье твоё? – заботливо спросил Иоанн.

– С божьей помощью.

– Я ведь тоже лет пять назад в Чернигове чуть не преставился, – сказал Иоанн. – Лежал в горячке в полном расслаблении. Никто помочь не мог. И я молить начал – знаешь, кого?

– Кого?

– Феодосия.

Черниговский архиепископ Феодосий всегда благоволил к иеромонаху Иоанну. Перед смертью он вызвал Иоанна из Брянска, из Свенской обители, и назначил настоятелем Елецкого монастыря в Чернигове. Все понимали, что Феодосий видит в Иоанне преемника. А черниговская кафедра на Украине была, может, важнее киевской, потому что окормляла сечевиков-запорожцев – непокорную гетманщину. После кончины Феодосия сам гетман Мазепа просил царя и патриарха Адриана о посвящении Иоанна в архиепископы.

– Феодосий ко мне во сне пришёл и повелел отслужить литургию, тогда, мол, исцелишься. Наутро я еле собрал себя, но приплёлся в храм. И веришь – прямо на службе с меня немочь как вода стекла.

– Хороший был человек Феодосий, – задумчиво сказал Филофей.

– Святой муж, – убеждённо заявил Иоанн.

– А правду говорят, владыка, что ты Черниговскую кафедру потерял, потому что поссорился с самим светлейшим? – спросил Филофей.

– Правду, – неохотно подтвердил Иоанн.

В полтавской баталии конница князя Меншикова атаковала шведов и расстроила их наступление – Меншиков спас всё дело. За это после битвы государь повелел гетману Скоропадскому выделить светлейшему имения в Почепской волости на Стародубщине. А в одном из тех имений достраивался храм. Престольным праздником ему наметили Благовещение. Архиепископ Иоанн должен был проводить освящение. Меншиков хотел присутствовать на службе, но не мог поспеть, и потребовал отложить торжество на три дня. Ну не мог же Иоанн передвинуть святое

Благовещение – даже ради самого светлейшего! Иоанн освятил храм, когда было должно. Меншиков обиделся, что Иоанн пренебрёг его указом, и нашептал царю: дескать, черниговский архиепископ – смутьян, тайный прихвостень Мазепы, не уважает царскую власть. И вскоре Иоанна отправили из Чернигова в Тобольск.

– А правду говорят, что ты напророчил светлейшему, будто он сам ещё дальше тебя в Сибирь уедет?

– А это уже сказки, – осторожно ответил Иоанн.

Не мог он сказать такое Меншикову. Для него грозить Меншикову было всё равно, что грозить царю. А царя он убоялся, потому что был Батурин.

В начале войны со шведом Иоанн встречался с Петром в Киеве, и Пётр Иоанну очень понравился: внимательный, тонкого ума, весёлый, деятельный и совсем простой, без чванства. Иоанн охотно предрёк этому славному царю победу. Однако в Киеве был один Пётр, а потом Иоанн узнал другого.

Осенью 1708 года гетман Мазепа переметнулся к королю Карлу XII и бежал вместе с казной запорожцев. Пётр был в бешенстве: он верил гетману как отцу родному, он повесил ему на грудь драгоценную цепь с орденом Андрея Первозванного, он казнил судью Ваську Кочубея за донос об измене гетмана, и вообще – Мазепа в те дни оставался единственным союзником Петра против Карла. И этот союзник, оказывается, предал и обещал врагу под зимние квартиры свою гетманскую столицу – город Батурин.

Пётр направил на Батурин корволант Меншикова. Для защиты города Мазепа оставил артиллерию и казаков-сердюков полковника Митьки Чечеля. Меншиков осадил город. Взять на приступ казацкую твердыню было весьма непросто, но помог предатель: старшина Ванька Нос указал проход в крепость. Драгуны светлейшего ворвались в Батурин. Дикий вопль взвился, наверное, до небесного Престола. Драгуны стреляли, рубили и кололи пиками всех подряд: сердюков, пушкарей, дворовых холопов Мазепы, простых казаков, лавочников, попов, мужиков, баб и детей. Многие жители бежали от русских через речку Сейм по тонкому ноябрьскому льду, но лёд подломился, и люди тонули толпами. Драгуны разграбили дворец Мазепы, лавки, дома и амбары, а потом подожгли город, заваленный окровавленными телами. Сгорело всё – и крепость, и усадьба гетмана, и божьи храмы, и хаты батуринцев. Города Батурин больше не было на земле. Вместо него дымилось огромное пепелище, где среди обугленных костей торчали закопчённые остоны печей и чёрные щётки

кольев от черешневых садов. Такого с городом не сотворил бы ни шведский король Карл, ни польский король Станислав.

Иоанн не видел батуринского истребления, но видел то, что случилось в Глухове. В этот городишко Пётр перенёс гетманскую столицу и созвал сюда казачью знать и украинских иереев, чтобы они вручили гетманскую булаву полковнику Скоропадскому. Потом на площади Глухова палачи казнили захваченных в плен батуринских старшин. Их мясничили невыносимо долго, и полковник Чечель всё кричал, кричал, кричал. Когда его отрубленную голову насадили на железную спицу, Иоанна потрясло безмерное блаженство на утихшем лице Чечеля – наконец-то голову отняли от истерзанного тела.

А весной 1709 года Иоанн стоял в Чернигове на берегу Десны и смотрел, как река несёт выплывших из Сейма мертвецов Батурина: у мужиков торчали мокрые клинья бород, бабы лежали в ореоле распустившихся волос, а дети были коротенькие. Казалось, что поток утопленников – это какое-то жуткое переселение, потому что на тихой тёмной воде среди льдин и трупов покачивались вещи: шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки. Беззвучное и слаженное движение долгого множества мертвецов завораживало, как зримое свидетельство могучих сил мироздания. Но господняя воля или дьяволов умысел привели эти силы в действие? Иоанн не знал. Конечно, царь – помазанник, и поэтому Иоанн будет славить царя в молитвах и сочинениях, как положено учёному архиерею, однако душа на явление этих сил не отзывалась радостью, молчала, как пленная. И увы: Иоанн не мог рассказать Филофею о своём смятении. Филофей не был свидетелем ужаса в Батурине и Глухове, он все события просидел в далёком сонном Тобольске. Ему не понять.

В трапезную заглянул парнишка-послушник.

– К тебе князь Матвей, владыка.

– Зови, Николка. Шубу у него в сенях прими.

Рослый и грузный Матвей Петрович занял собою весь дверной проём, и владыке на миг показалось, что это входит царь Пётр.

Иоанн, поднявшись, перекрестил князя, Филофей поклонился.

– Вот, господин губернатор, отче Филофей до тебя, – сказал Иоанн.

– Да уж вижу, – Гагарин опустился на лавку. – Жду, чем порадует.

– Подумал я, Матвей Петрович, и решил покориться воле государя, – сообщил Филофей. – Буду инородцев обращать. Об этом я владыке написал, а тебе хотел сам доложить, потому и приехал. Владыка уже благословил.

Иоанн кивнул.

– А здоровье твоё как? – Гагарин хитро прищурился.

– Кто умер на дороге, тот умер на дороге в рай, – Филофей спокойно улыбнулся. – Но тебе, губернатор, моя погибель обойдётся втридорога. Вот я уже и разметы набросал на первое плавание до Берёзова.

Филофей распустил шнурок на рукаве рясы, вынул свёрнутые в трубку исписанные листы и протянул Гагарину. Матвей Петрович развернул свиток.

– Лучше на словах объясни, отче, – попросил он, оглядев бумаги.

– Мне нужны два дощаника с полной оснасткой, – начал Филофей по памяти, – сухарей четыре пуда, десять фунтов мяса, две чети муки, пять фунтов пороха, два фунта свинца, бочонок дёгтя. Новокрещенам на подарки надобно двести аршин холста, сто рубах и штанов, сорок шапок, триста крестиков кипарисовых и триста рублей серебром, двадцать образов Спасителя, Богородицы и Николы Угодника. Всего на тысячу двести рублей.

Основательность Филофея произвела впечатление на Гагарина.

– Видно, добрым экономом ты в Лавре был, – сказал он с уважением.

– Туда в экономы дураков не берут, – неприязненно пробурчал Иоанн.

Ему не нравился Гагарин. Иоанн полгода приглядывался к губернатору, к его крепкой хозяйской хватке и снисходительному барскому добродушию, пытался понять, в чём же суть гагаринских перемен, и вдруг осознал, что в деяниях князя чует всё ту же бесчеловечную силу, которая влекла по вешней Десне трупы убиенных жителей Батурина. В Тобольске Иоанн надеялся укрыться от этой силы, но не удалось: Гагарин, Меншиков и Пётр – они одним миром мазаны. И при Гагарине Иоанну хотелось то ли прижиматься к земле, как затравленному зайцу, то ли набрасываться, как псу на волка.

– Припасы – полдела, – продолжал Филофей. – Мне надобно, чтобы ты воеводе Толбузину в Берёзов отписал помогать мне. Всем новокрещенам он обязан простить все долги и на три года освободить от ясака.

– Придушу хапугу Агапошку, он запомнит, – кивнул Гагарин.

– В путь я возьму с собой пять братьев, шесть служилых и четырёх казаков. А командира для моей охраны мне владыка подобрал.

– Новицкий Григорий Ильич, ссыльный полковник, – сказал Иоанн.

Новицкого Иоанн приметил в церковном хоре на Софийском подворье. Голос у полковника был красивый, высокий, бабий, и пел Новицкий с душой, словно что-то изживал в себе страданием. Голосистых черкасов собрал в хор ещё Филофей, пока был митрополитом, а Иоанн поддержал

начинание.

– Полковник? – удивился Гагарин. – Ссылный? Не знаю такого. На кой бес он со шведами-то снюхался, что в ссылку угодил?

– Не со шведами, – глухо сказал Иоанн. – С Мазепой.

– С Мазепой? – с бесконечным презрением переспросил Гагарин.

Для Иоанна имя Мазепы было как удар плетью. Иоанн побледнел.

– С гетманом не одни иуды были, – с трудом произнёс он.

Матвей Петрович внимательно посмотрел на владыку.

– А кто ж ещё? – испытующе спросил он, чтобы Иоанн раскрылся.

Черниговский архиепископ Иоанн дружил с гетманом Мазепой, ездил к нему в гости во дворец в Батурин, благословлял гетмана на праздниках, освящал церкви, которые богатый гетман неумоимо строил по всем землям Украины. Всё, чем гордился Иоанн, было создано на деньги Мазепы: и типография-друкарня в Троицком монастыре под Дорогобужем, и сам черниговский Коллегиум. Иоанн учредил его по образцу могилянского в Киеве; по латыни и на польском там учили парубков грамматике, синтаксису, риторике и поэтике; Мазепа воздвиг для Коллегиума колокольню с храмом – восьмигранную, волнистую очерком, словно бы кудрявую.

А Филофей понял, что князь выворачивает владыку наизнанку.

– Разные люди от Мазепы страдали, Матвей Петрович, – рассудительно сказал Филофей. – При мне в Тобольске пять лет сидел ссылный фастовский полковник Семён Палий, слышал о таком?

Палий дерзал освободить от ляхов правобережную Украину, искал помощи у Мазепы и Петра, но Мазепа приревновал полковника, казачьего любимца, и оговорил его перед царём, чтобы сечевики не выбрали Палия в гетманы. Пётр поверил Мазепе и сослал полковника в Сибирь. После измены Мазепы Пётр вспомнил про опального Палия и вернул его на родину. С Белоцерковским полком Палий дрался за царя под Полтавой.

– Слышал, – сказал Матвей Петрович.

Иоанн с ненавистью смотрел на губернатора. Хуже дружбы с Мазепой для него был только страх расплаты за эту дружбу. Иоанн понимал, что Мазепа – изменник царю, но вере православной Мазепа не изменял. Гетман просто ошибся: подумал, что Пётр проиграет войну, решил спасти Украину от шведского разорения и задружился с Карлом. А Пётр, истребив Батурин, притащил в Глухов трёх украинских иереев – бывших содружников гетмана: Иоанна, переяславского архиепископа и киевского митрополита. Пётр заставил иереев предать Мазепу анафеме. Потом на площади у Троицкого собора палач сорвал с чучела Мазепы «кавалерию с бантами» – ордена и

ленты, и высек чучело гетмана плетью; соломенного Мазепу, обряженного в малиновый жупан с золотым кушаком и бобровый кобур с павлиньим пером, проволокли по улочкам Глухова и повесили.

Мазепа не остался в долгу, отомстил: он подстроил, что солдаты Петра поймали его казака с подложными письмами гетмана к тайным сторонникам – черниговскому архиепископу, глуховскому атаману и старшинам. Вот тогда страх смерти остудил Иоанна по-настоящему. Пётр быстро разобрался в обмане и не тронул тех, кого оговорил Мазепа, но душевный покой к архиепископу уже не вернулся. И дело не в том, что русский царь в любой миг и по любой прихоти мог его казнить. Иоанн впервые ощутил на собственной вые руку той бесчеловечной силы, которая двигала народы и царства. И разумом Иоанн соглашался, что сила права, но совесть восставала против несправедности, потому что в той воле не было благодати, и те, кто её исполнял, рушили божий порядок. Ведь и Мазепа согрешил, и Пётр, и он, Иоанн, что-то сделал не так, когда возгласил анафему гетману, от которого видел только добро. А правильного для всех решения тут не было и быть не могло. В душе Иоанна словно образовалась прореха; как открытая рана, она источала неутраченную боль. Кто знает, что Иоанн увидит в дольном мире сквозь эту прореху? А губернатор хотел засунуть в неё руку по локоть.

Матвей Петрович сразу уловил напряжённую злость владыки, удивился – и даже обрадовался, но не подал вида. К Мазепе и его измене Гагарин был совершенно равнодушен, а Иоанн, оказывается, переживал близко к сердцу. Это крючок, на котором он, губернатор, может держать владыку. Зачем ему нужно подцепить Иоанна, Матвей Петрович ещё не знал, но крючок всегда пригодится. Князь Гагарин был опытным царедворцем.

– Я тоже Мазепиной сажей мазан, – проскрипел Иоанн.

Но Матвей Петрович уже услышал всё, что хотел.

– Ладно, отцы, – покладисто сказал он. – Все мы тут грешники.

Часть вторая

Луна всех варваров

Глава 1

Пиетисты

Никто бы в Тобольске не отдал для шведов целую площадь, поэтому они собрались на пустыре за Казачьим взвозом. Четыре сотни каролинов – подданных короля Карла XII – неровными рядами расселись на крутом склоне Панина бугра, будто на ступенях древнего амфитеатра. На самом деле пленных шведов в Тобольске было куда больше – около тысячи, но не все смогли прийти. Зато те, кто пришёл, приготовились к празднику: солдаты и офицеры красовались в камзолах и шляпах с позументом, слуги повязали на локоть банты, женщины надели кружевные фартуки и чепцы с лентами. Сегодня был день рожденья короля. Карлу XII исполнилось тридцать лет.

За Казачьим взвозом на обрыве белели зубчатые стены и квадратные башни Софийского двора – игрушечной крепости сибирского митрополита. Тёплый июньский ветер нёс по небу лёгкие облака, их тени беззвучно бежали по улицам и тесовым крышам русского города, по ровным зелёным откосам Алафейских гор; крепость то вспыхивала яркой белизной, то меркла, словно готовая исчезнуть. Вот так когда-нибудь исчезнут и узы плена, открывая каролинам свободную дорогу на родину. Но до этого надо было дожить.

Капитан Курт Фридрих фон Врех, ольдерман шведской общины в Тобольске, разглядывал лица своих товарищей с искренним сочувствием. Да, каролинам в русском плену пришлось нелегко. Но капитан приложит все силы, чтобы подданные короля не пали духом. Фон Врех гордился своим благородством в невзгодах. Маленький, толстенький и близорукий, он не мог проявить себя в битве, но мог показать свою стойкость в помощи ближним.

Капрал Брур Роламб, стихотворец общины, громко читал каролинам свою новую оду, сложенную к юбилею. Листок с текстом капрал держал в левой руке, а правой рукой широко взмахивал над головой. В одах господина Роламба всегда присутствовали коронованные львы, Юпитер, бури и молнии, гром пушек, грозные армии, сверкающие штыками, знамёна и победные литавры. Ротмистр Леонард Каг сидел поодаль от Роламба на стуле – многие офицеры принесли или привезли с собой стулья – и внимательно слушал, размышляя, стоит ли потом переписать эти стихи в дневник общины; ротмистр вёл дневник по поручению ольдермана. Фон

Врех снял шляпу и в знак согласия со строфами кивал головой в потрёпанном парике. Офицеры понимали, как нужны простым людям эти неказистые вирши, и демонстрировали серьёзность. Офицеров в руководстве общины было около десятка; на собрание пришли полковник Арвид Кульбаш, капитаны Отто Стакелберг, Юхан Табберт и Хенрик Свенсон, лейтенанты Густав Горн, Петер Пальм и Юхан Матерн.

– Благодарю вас, господин капрал, – поднимаясь, сказал Роламбу фон Врех. – Мы все вас благодарим, – фон Врех подождал, пока Роламб отойдёт в сторону, и обратился ко всем: – Дорогие мои друзья! В этот счастливый июньский день я собрал вас не только для того, чтобы разделить радость от августейшего юбилея, но и для того, чтобы поделиться новостью, которая согреет наши сердца. Из Фельдт-комиссариата мне переслали письмо от профессора Августа Франке, духовного отца нашей общины!..

Делами пленных шведов занимался Фельдт-комиссариат в Москве, в Немецкой слободе. Возглавлял его старый граф Карл Пипер, глава походной канцелярии короля Карла; он попал в плен под Полтавой. Через Фельдт-комиссариат в глубины России поступали деньги для пленных: половинное жалованье от риксдага, воспомоществование от родственников, ссуды от принцессы Ульрики Элеоноры и благотворителей из вельмож.

Денег всегда не хватало, и капитан фон Врех нашёл ещё один источник финансовой поддержки. Родовое поместье фон Врехов нуждалось в хорошем управляющем, поэтому фон Врех, заботливый отец, ещё до войны с Россией отправил сына получать образование в город Галле в Пруссии, в педагогиум профессора Августа Франке. Дети занимались там круглый день, ходили в синих мундирчиках, не имели глупых развлечений, выходных и вакаций, росли послушными, набожными и трудолюбивыми, а выпускники хорошо разбирались в хозяйстве и ремёслах. Причиной таких успехов было учение пиетизма, которому следовал профессор Франке.

В Галле Курт фон Врех ознакомился с основами этого учения, и, когда судьба забросила его в Тобольск, фон Врех понял, что пиетизм весьма подходит для выживания в плену, позволяя сохранять благочестивый образ мысли и вести добродетельный образ жизни. Фон Врех написал письмо в университет Галле, где профессор Франке преподавал восточные языки, сообщив, что тобольская община шведских военнопленных для своего устава решила взять за образец принципы пиетизма; не сможет ли могущественная пиетистская школа господина Франке помочь единомышленникам деньгами и мудрым руководством? Через год из университета Галле пришли посылка с книгами и денежный перевод. Переводы от профессора стали регулярными.

– Дорогие друзья! – говорил Курт фон Врех тем, кто сидел на зелёном склоне Панина бугра. – Хочу зачитать вам прекрасные слова доктора Франке, которыми мы должны руководствоваться в нашем изгнании, – фон Врех вынул из кармана письмо профессора и развернул перед глазами: – «Волею рока вы оказались среди варваров вдали от родины и короля, но вам не следует предаваться унынию и скорби. Неустанный труд на благо товарища по несчастью, нравственная жизнь и распространение среди варваров знаний и морали есть ваше моление и ваша высокая просветительская миссия!»

Фон Врех расчувствовался, убрал письмо и промокнул глаза платком.

Штык-юнкер Юхан Ренат сидел в траве среди шведов, грыз соломинку, слушал фон Вреха и думал, что всё не так: ни господин ольдерман, ни господин профессор не помогут ему. Ренат работал у какого-то русского на пильной мельнице, подтаскивал багром брёвна и доски, получал гроши, но тяжёлый праведный труд не утешал его. Он хотел домой. Он хотел делать то, что любил и умел делать, – стрелять из пушек. Он хотел женщину.

Ренат осторожно поглядывал на Бригитту, жену солдата Михаэля Цимса. Бригитта сидела рядом – чуть ниже и вполоборота, она следила за своим мужем. Цимс работал крючником на пристани и почти каждый вечер напивался. Он и сейчас пришёл с флягой и прикладывался к горлышку. Бригитта боялась, что пьяный Михаэль опозорится на всю общину. А Рената неудержимо тянуло смотреть на Бригитту – красивую, но угрюмую. В её зависимости от скотины Цимса было что-то очень волнующее.

– Михаэль!.. – неприязненно прошептала Бригитта.

– Заткнись, – ответил Цимс.

Фон Врех посоветовался с офицерами и снова обратился к собранию.

– Друзья! – громко произнёс он. – Как вы знаете, королевский епископат не одобряет молитвенных собраний вне стен храмов, но для нас, лишённых родины, очень важно слово пастыря и святое причастие. Поэтому доктор Франке согласился удовлетворить нашу просьбу. Доктор и община прислали нам восемьсот риксдалеров для заведения кирхи. Господин губернатор заверил, что не имеет возражений, и отвёл участок городской земли.

Собрание взволнованно загудело.

– Я думаю, что нашему батальонному пастору господину Габриэлю Лариусу следует написать профессору Франке благодарственное письмо, – не вставая со стула, сказал полковник Арвид Кульбаш, самый старший по званию среди каролинов Тобольска. – А мы все поставим свои подписи.

– Прекрасное предложение, господин полковник, – одобрил фон Врех.

– Господин ольдерман, – из рядов спросил лейтенант Карл Леоншельд, – известие о кирхе радует, но доставлено ли зимнее жалованье?

В плену выплаты от риксдага получали только офицеры, а низшим чинам и слугам полагалось самостоятельно искать себе заработок. Однако многие офицеры, и Леоншельд тоже, устраивали для неимущих товарищей бесплатные обеды, поэтому доставка жалованья интересовала всех.

– Деньги пришли, – сказал капитан Отто Стакелберг, казначей общины.

– И ещё одно объявление! – фон Врех дождался тишины. – Его сделает господин Йохим Дитмер, секретарь господина губернатора.

Дитмер поднялся со стула и, улыбаясь, поправил шляпу.

– Господин губернатор князь Гагарин просил меня сообщить следующее, – негромко заговорил Дитмер, уверенный, что его услышат. – Его сиятельство из своих средств выдаст нашей общине тысячу риксдалеров на расширение школы, если мы будем принимать на обучение русских детей.

– Русских? Русских? – удивлённо загомонили каролины.

В обозах шведской армии оказалось немало детей. Некоторые солдаты и младшие офицеры взяли с собой на войну в Россию свои семьи, потому что без кормильцев семьям не на что было жить в Швеции. Семьи тоже попали в плен. В Тобольске хлопотливый фон Врех приказал переписать всех детей и открыл для них школу. Дом для школы шведы построили сами, дрова ольдерман выпрашивал у обер-коменданта Бибикова, а жалованье учителям присылал профессор Франке. Учителями были образованные офицеры.

Из рядов каролинов поднялся лейтенант Юхан Матерн.

– Если в нашей школе будут русские, то обучение надо будет вести на русском языке, – Матерн был гарнизонным фортификатором и в школе преподавал черчение. – Но я плохо говорю по-русски. Меня отстранят?

– Русские не знают Реформации, у нас разные церкви! – поддержал Матерна лейтенант Петер Пальм, он тоже преподавал в школе.

– Священная история, сын мой, одинакова для всех ветвей христианства, – рассудительно возразил пастор Лариус.

– Мы не миссионеры! – крикнул из рядов лейтенант Густав Горн. Дома, в Кальмаре, он был ювелиром, а в школе фон Вреха вёл уроки каллиграфии; но шведская каллиграфия не будет нужна русским. – Зачем нам русские?

– Это доброе дело, и оно угодно Всевышнему, – мягко сказал фон

Врех.

Дитмер, ничего не говоря, сел на стул и закинул ногу на ногу. Он по-прежнему спокойно улыбался, словно знал, чем закончится этот спор.

Штык-юнкер Ренат не слушал спора про школу каролинов. Солдат Цимс напился окончательно и, ворча что-то под нос, начал валиться боком на Рената. Бригитта молча пыталась усадить его обратно – так, чтобы никто не заметил, что Цимс пьян. Ренат брезгливо скинул бы Цимса, но не хотел быть грубым при Бригитте, и потому так же молча помогал ей. Он не понимал, как для Цимса бессмысленное поило может быть интереснее этой женщины.

– Простите, господин юнкер, – негромко сказала Бригитта.

Она видела голодное, хотя и скрытое внимание этого молодого офицера. Конечно, сейчас он представлял её в своей постели, мужчины всегда думают об этом. Но смущения Бригитта не испытывала. Её постыдной тайной было пьянство мужа, а господин офицер уже узнал эту тайну. Значит, ему теперь можно воображать близость, словно бы он пересёк некую священную черту.

Капитан Табберт решил вмешаться в спор каролинов. Он был уверен в своих аргументах. Он поднялся, одёрнул камзол и выступил вперёд.

– Господа, позвольте сказать и мне. Вы не против, Курт? – Табберт вежливо посмотрел на фон Вреха, и тот благосклонно кивнул. – Господа! Вы все пришли сюда, в Тобольск, своими ногами, и по себе знаете, насколько велика Россия. Королю Карлу будет трудно победить такую страну, и война закончится ещё очень нескоро. В эти годы нам всем потребуется русский язык. Следовательно, давайте возьмём на себя труд изучения этой речи и не будем лишать наших детей преимуществ знания своего соперника.

– Блестяще, мой Табберт! – фон Врех похлопал в ладоши.

Каролины сдержанно гомонили, обсуждая слова Табберта.

Лейтенант Сванте Инборг, начальник артели, которая строила новый дом для Гагарина, степенно вынул трубку из-под седых усов и спросил:

– Господин секретарь Дитмер, если русский губернатор так богат, что строит школу, не захочет ли он построить себе ещё один дом?

Люди вокруг лейтенанта Инборга добродушно засмеялись. Каролины по-хорошему завидовали артели Инборга, потому что губернатор щедро заплатил за свой дворец, а многие работники и сейчас выполняли заказы господина Гагарина: корнет Юхан Бари и лейтенант Густав Горн, ювелиры, изготавливали оправы для драгоценных камней, которые покупал Гагарин; корнет Юхан Шкруф делал серебряную посуду; ротмистр Адольф Кунов и

лейтенант Карл Леоншельд рисовали игральные карты; ротмистр Георг Малин вырезал шахматные фигуры и формы для лепнины; корнет Эннес Бартольд печатал краской узоры на холщовых обоях для дома губернатора.

Фон Врех снова поднялся на ноги и поправил шпагу.

– Друзья, позвольте считать вопрос с русской школой разрешённым. Как ольдерман нашей общины, я назначаю комиссию по реорганизации школы: полковник Арвид Кульбаш, капитаны Юхан Табберт и Отто Стакелберг, фэнрик Георг Стернгоф и наш пастор Габриэль Лариус. А теперь совместно вознесём молитву о здоровье и победе короля Карла.

Каролины поднимались и снимали шляпы. Собрание закончилось.

Секретарь Дитмер, попрощавшись с офицерами, направился к своей двуколке, стоявшей поодаль на улице, и его догнал Лоренц Ланг, совсем юный лейтенант инженерного корпуса. Он даже повоевать не успел – попал в плен вместе со штабом. Лоренц искренне восхищался положением Дитмера при губернаторе и не видел никакой иной карьеры, кроме как у русских.

– Господин секретарь, – взволнованно спросил Ланг, – вы узнали?..

– Да, господин Ланг, – покровительственно улыбнулся Дитмер, забираясь в двуколку. – Господин губернатор сказал, что вы вполне можете поступить на русскую службу, но для этого должны дать присягу.

– А вы давали присягу? – почему-то обиделся Ланг и покраснел.

– Я не на русской службе, – с достоинством ответил Дитмер. – Я на службе у князя как частного лица.

Дитмер стронул лошадь и поехал, оставив смущённого Ланга одного.

Каролины расходились. Бригитта, присев, трясла Цимса, чтобы привести его в чувство и забрать домой. Цимс мычал и отталкивал жену. Бригитта раскраснелась, тонкая прядь волос выбилась из-под чепца. Ренат не выдержал.

– Я помогу, – сухо сказал он.

Он шагнул к Цимсу, крепко ухватил его под мышку и рывком вздёнул на ноги. Бригитта поддерживала мужа с другой стороны.

– Отпусти меня!.. – захрипел Цимс. – Я устал, шведская шлюха!..

– Простите его, господин юнкер, – непроницаемо сказала Бригитта.

– Опомнитесь, солдат! – негромко и яростно рявкнул Ренат.

– Дальше я справлюсь сама, – сказала Бригитта.

– Я помогу довести до дома.

– Это близко, господин юнкер.

– Кто он? – не соображая, хрипел Цимс. – Кого ты подцепила, шлюха?

Бригитта и Цимс, действительно, квартировали неподалёку от Панина

бугра. Они жили на большом русском подворье в тесной каморке рядом с коровником. Ренат дотащил шатающегося Цимса до нужных ворот и заволок солдата во двор. Посреди двора стояла корова; сидя на лавочке, её доила русская баба. Она недовольно оглянулась на Рената, Бригитту и Цимса.

– В стойло свою свинью кидай, девка, – сказала она.

Ренат и Бригитта свалили Цимса на сенную подстилку в коровье стойло. Ренат отряхнулся, вышел и в знак благодарности кивнул бабе у коровы. Бригитта оправила чепец и фартук и направилась проводить Рената.

Ренат остановился на улице у ворот, он хмурился и не глядел на Бригитту. Ему не хотелось расставаться с ней, но повода, чтобы задержаться, он никак не находил. Бригитта поняла замешательство молодого офицера.

– Благодарю вас, господин юнкер, – сказала она, рассматривая Рената.

– Юхан Густав Ренат. К вашим услугам, фру Цимс.

– Я знаю, как вас зовут. Ведь мы вместе шли сюда, в Сибирь.

– Я тоже вас помню, фру Цимс, – неохотно признался Ренат.

Бригитта устало улыбнулась и сделала некое подобие книксена.

– Бригитта Кристина, солдатская жена.

Ренат колебался и всё-таки заглянул Бригитте в глаза.

– Почему вы терпите такое обхождение супруга?

Бригитта не опустила взгляда.

– Потому что Цимс моя единственная опора, – твёрдо сказала она.

– Однако называть вас продажной женщиной...

Теперь Бригитта отвернулась. По этой окраинной подгорной улочке редко проезжали даже телеги, и улочка заросла весёлой травой. Белая коза с козлятами щипала траву под массивной оградой из лежащих брёвен. Вечернее солнце щедро окрасило широкие скаты крыш в медовый цвет. Над крышами поднимались крутые зелёные откосы, а над ними в небе сияли кроны деревьев, будто на кручах Стенсхувуда. Но здесь был не Стенсхувуд, не родной Сконе, не Швеция. И этот молодой офицер – всего лишь скукающий мужчина, для которого русский город Тобольск – самое тяжёлое испытание.

– Потому что я и есть продажная женщина, господин Ренат, – спокойно ответила Бригитта. – Цимс – уже мой третий муж. Я выхожу замуж ради своего благополучия. Всего хорошего, господин штык-юнкер.

В это время капитан Табберт и Курт фон Врех ехали на дрожках к дому ольдермана: фон Врех пригласил Табберта на поздний обед. Фон Врех жил

довольно богато – ему пересылали деньги из поместья в Халланде. Дрожки неспешно катились по кривым улицам мимо сплошных сибирских заплотов, словно в неглубоком жёлобе с утоптаным дном и деревянными стенами. Навстречу попадались телеги водовозов с бочками и служилые с саблями на боку. По краю улицы тянулись дощатые вымостки на плахах; по ним, чтобы не мешать повозкам и всадникам, шли горожане: бабы с коромыслами, бородатые мужики в рубахах и шапках, татары в цветных халатах. Только мальчишки и собаки бегали, где хотели, не признавая никаких правил.

– Мой милый Табберт, – говорил фон Врех, – я хочу попросить вас об одолжении. Я уже купил дом для кирхи. Он находится неподалёку отсюда в деревне, но его надо разобрать на брёвна и сплавить до города по этой реке.

– Она называется Иртыш, – снисходительно подсказал Табберт.

– Эти корявые названия не для языка европейца... Вся община была бы вам благодарна, если бы вы взялись руководить работами по перемещению этого здания. Лейтенант Инборг, увы, сейчас занят.

– Хорошо, я сделаю эту работу, – кивнул Табберт. – Но вы уверены, Курт, что кирха – то, что необходимо нашим товарищам?

– Безусловно необходимо, милый Табберт, – убеждённо сказал фон Врех. – Проповеди – лучший способ донести до людей идеи пиетизма.

– Не все, кто оказался здесь, единомышленники профессора Франке.

– Это не имеет никакого значения. Согласитесь, дорогой Табберт: чтобы сохранить достоинство граждан великого государства, в этой русской глуши мы должны соблюдать определённые правила жизни. Они довольно просты. Нельзя роптать и горевать, а свою бедность нужно считать благословением. Нужно много трудиться. Нельзя терять связь с господом. Надо помнить о короле. Следует распространять свои знания и убеждения среди здешних народов, чтобы развитием смягчать их нравы, в том числе и для собственного благополучия. Но эти правила и составляют суть пиетического учения.

– Наверное, вы правы, Курт, – подумав, согласился Табберт и надвинул шляпу на глаза, чтобы не слепило солнце.

– Кстати, я собираюсь в скором времени открыть при школе аптеку.

– Дорогой Курт, вы скоро превзойдёте самого святого Франциска, – усмехнулся Табберт. – Но боюсь, что русские этого не оценят.

– Мой труд не для благодарности, а для того, чтобы сделать мир лучше, – с тайной гордостью признался фон Врех. – Уверен, этого хочет и король.

– Во всяком случае, я – хочу, – иронично сказал Табберт.

Он размышлял, стоит ли ему говорить с Куртом о своём плане.

– Послушайте, Курт, – наконец решился он. – Вы же понимаете, что я способен на более значимые свершения, нежели перевозка крестьянских лачуг. Поэтому, в свою очередь, я тоже хочу попросить вас о помощи.

– К вашим услугам, – охотно сказал фон Врех.

– Вы знаете, что эта река – Иртыш – начинается в Китае?

– Очень интересно, – сказал фон Врех. – И что с того?

– Я поделюсь с вами своим замыслом, Курт, – Табберт почувствовал, что слегка волнуется, потому что его замысел и вправду был крайне необычным. – Я задумал составить обстоятельную карту Иртыша и его притоков, чтобы показать неизвестные в Европе русские пути в Китай.

– Монархам Европы всегда было любопытно это странное государство, – кивнул фон Врех, – а Швеция ещё не имеет своей Ост-Индской компании.

– Надеюсь, моя карта послужит развитию торговли и дипломатии. Но сначала её нужно издать хорошим тиражом, чтобы она продавалась во всех книжных лавках. Насколько я знаю, у профессора Франке при университете в Галле есть гравировальные столы и типография. Я согласен выплачивать четверть прибыли с продажи карты доктору Франке и четверть – вам, Курт.

Фон Врех не отвечал, перебирая вожжи.

– Мой милый Табберт, – виновато заговорил он, – я не могу нарушать законы этой страны, ведь пересылать из России карты нам запрещено.

Табберта окатило разочарование. Фон Врех, увы, не понимал дерзости и величия его проекта. Карта заповедного пути в Китай – не школа и не аптека.

– Весьма жаль, Курт, – холодно сказал Табберт. – Что ж, тогда, может быть, укажете мне для консультаций какого-либо знатока здешних земель? Ведь вы дольше меня живёте в Тобольске.

– Я не знаю такого человека, – фон Врех в сочувствии положил ладонь на руку Табберта, – но вам поможет местный офицер Новицкий. Он ведёт уроки в моей школе. Приходите осенью, когда он вернётся из путешествия.

Глава 2

Войти в «тёмный дом»

Подывися, вотче, яка погань по рыке идэ, – сказал Новицкий.

Филофей подошёл к Новицкому, который стоял у руля дощаника.

– Где, Григорий Ильич?

– Вон тамо, блыжче до брэга. Мытька, поправь рэлю.

Служилый Митька потянул за снасть, поворачивая на мачте рэлю с парусом. Парус глухо хлопнул, поймав лёгкий ветер. Дощаник медленно повернулся носом к берегу. Тень паруса легла на лица владыки Филофея и полковника Новицкого, и медная казацкая серьга в ухе Новицкого угасла.

Высоко задрав мохнатые ветви и узловатые корневища, по Оби тихо двигался огромный, разлапистый, вывороченный с комлем кедр. Вокруг него в воде рассыпались сучки, хвоя, шишки и куски коры, тянулись какие-то длинные тряпицы, а среди хлама и мусора плыли остяцкие долблёные лодки, привязанные к дереву. Когда дощаник приблизился, кедр пышно взорвался щебечущей стаей мелких птиц – клестов, синиц и завирушек. Служилые, казаки и монахи с борта дощаника разглядывали долблёнки. В лодках лежали полуистлевшие мертвецы, закутанные в гнилые меха или завёрнутые в берестяные куколи. Несколько покойников, оказывается, затерялись и в мусоре. Монахи испуганно крестились. Яшка Черепан – он удил рыбу, – плюясь, принялся сматывать лесу. Десятник служилых Кирьян Кондауров вытащил из-под гребцовой лавки багор и приготовился оттолкнуть мертвяка.

– Могильное дерево, – пояснил он. – Я такие на Тромъёгане видал. Берег подмыло, оно и повалилось.

Могильный кедр медленно отплывал в сторону – будто целый мир задумчиво уходил в вечность, не оглядываясь на тех, кто оставался.

– Поплысти мрецы до льодовитого океани... – мрачно сказал Новицкий.

...Здесь, в Сибири, всё ему казалось каким-то нечеловеческим. Слишком большая земля – бессмысленно, мучительно большая. Здесь тяжёлые облака за день не добирались от одного края неба до другого. Здесь холодное солнце летом не успевало совершить оборот и лишь чуть окуналось за горизонт, чтобы сразу всплыть заново. На такую протяжённость у бога не хватило разнообразия, и всё здесь было заунывно-одинаковым: одинаковые низкие берега, одинаковые леса, одинаковые

селения, одинаковые инородцы. Даже вода и воздух были одинаковыми – порой и не понять, плывёт ли по реке их дощаник или парит в пустоте, как соломенный журавлик в светлом тумане.

Но Григорий Новицкий, наказной полковник Войска Запорожского, знал, что этот безъязыкий простор, высасывающий душу, – его наказание за измену. Если он и вправду хочет искупить свой грех, он должен пересечь пустыню честно, как достойно казацкому дворянину: без жалоб и мольб о пощаде. И в тобольской ссылке Новицкий жил своим трудом, а тоске давал волю только на церковном клиросе, когда пел в черкасском хоре.

Владыка Иоанн заметил Новицкого и свёл с владыкой Филофеем.

– В плен попал, Григорий Ильич? – спросил Филофей.

– Ни, – сдержанно ответил Новицкий. – Я сам покинув гетьмана, сам к царю прийшов до каятты. Прощаты попросыв, и государ мэне звынил.

Христина, его жена, была дочерью полковника Павло Герцика, старого товарища Мазепы. Сестра Христины Анна была женой Филиппа Орлика, генерального писаря гетмана, а собственная сестра Григория Ильича была замужем за племянником Мазепы. И шурины Новицкого, Герцики – братья жены, служили при Мазепе. Получилось, что всей своей обширной роднёй Григорий Ильич сросся с гетманом. После измены Мазепы эта родня вслед за Орликом бежала к королю Карлу, и Новицкий тоже бежал.

Мазепа расцеловал и обнял его, и сразу назначил своим «резиденцием» в Краков к ляхам – к коронному гетману Адаму Сенявскому, который командовал войском короля Станислава. Но в Кракове Григория Ильича замучила совесть. Не должен православный казак воевать против белого царя, это грех. Вместе с посольством коронного гетмана Новицкий поехал в Полтаву, ещё затянутую дымом недавней битвы, и там внезапно для всех сдался канцлеру Гавриле Головкину. Будь что будет. Казнят – значит, казнят.

Но его не казнили, а даже приняли на русскую службу. Однако вскоре пришла весть, что Мазепа умер, и гетманом выбрали Орлика. Новицкий тотчас оказался под подозрением, и его бестрепетно сослали в Сибирь. Он понимал, что никогда больше не увидит ни Христину, ни Малороссию, но так устроил господь, и нельзя роптать. Господь найдёт ему поприще, а он должен принять божью волю, потому что бессмертная душа в руке господа.

...И вот сейчас, летом 1712 года, полковник Григорий Ильич Новицкий плыл по Оби на дощанике в город Берёзов вместе с владыкой Филофеем. Владыка взял с собою пятерых братьев из обители, а Новицкий командовал шестью служилыми и четырьмя казаками. Он стоял у руля в поношенном камзоле, вглядывался в бесконечную белёсую даль этой неизмеримой реки

и уже не мог поверить, что в его жизни были высокие купола Лавры и своды могилянского коллегіума, сады Подола, любовные стоны Христіны, пиры у Мазепы, закопчённая глыба Злодейской башни в Вавельском замке... А теперь он плыл крестить остяков, про которых раньше и не слышал никогда.

– Эй! Эй! – внезапно раздалось с реки. – Отгреби!..

Дощаник шёл мимо небольшого острова, заросшего ивняком. От берега к дощанику летела остяцкая лодка-облас, в лодке сидел бородатый русский мужик. Он умело работал коротким веслом на обе стороны обласа.

– Отгреби! – кричал мужик. – Сеть порвёшь!..

Новицкий прищурился и увидел на поверхности воды поперёк течения нить затопленного станового невода с берестяными поплавками-бабашками. Новицкий надавил на рукоять руля, отворачивая дощаник от сети.

Мужик в лодке приблизился к дощанику и, улыбаясь, снял шапку.

– Никак, владыка плывёт?

– Володыче, – подтвердил Новицкий. – А ты звёдке знаэ?

– Да вся Обь шумит, – пояснил мужик. – Дескать, владыка идолов палит, остяков крестит. А меня-то благословит?

Филофей поднялся с лавки, подошёл к борту и посмотрел на мужика.

– Как тебя зовут?

– Ерофей, батюшка, прозвищем Колоброд.

– Благослови тебя бог, Ерофей.

...Дощаник вышел из Тобольска. На Иртыше Филофей сделал долгие остановки в Ялбинских, Уватских, Демьянских и Цингальских юртах. Возле села Самаровский Ям Иртыш впал в Обь, и тут Филофей ходил на языческие капища Белогорья, укрытые в дебрях чугаса – остяцкого божелесья. Потом останавливались на Ягур-яхе, Карымкаре и в Атлымских юртах. Филофей собирал остяков и просто объяснял им, почему бог один, кто такой Христос, зачем нужна вера православная и отчего дьяволу угодны идолы. Остяки не очень-то верили. Покреститься соглашались совсем немногие, и лишь в нескольких селениях жители разрешили сжечь своих истуканов. Но Филофей сохранял спокойствие и не пытался принуждать инородцев силой. Он лишь просил их подумать и хотя бы год не ходить на капища.

– 3 усих рэк вэру прыйняли тильки сотни тры остяцев, – в Атлыме сказал Филофею Новицкий. – Цього дюже замало, вотче.

– Ничего, Григорий Ильич, – ответил Филофей. – Всему своё время. На следующий год снова проплывём этими реками, и остяки явятся

тысячами.

...Ерофей из лодки испытующе разглядывал владыку.

– Я думал, вы ещё в Атлыме, – сказал он. – Шустро бежите.

– Пёси бежат, а мы идэмо.

– В Певлоре не останавливайтесь, там мужиков нету, – сказал Ерофей. – Кто на промысле, кто в оленном отгоне. Только бабы и старики.

– Ты в Певлоре живёшь? – спросил Филофей.

– Не. Вон мой летний балаган, – Ерофей указал на берег, где виднелась светлая берестяная крыша лёгкого домика из жердей. – Но в Певлоре я ещё утром был. Две версты до него. Это остров Нахчи, здесь мои пески.

– Добрый улов-то? – поинтересовался Яшка Черепан.

– Добрый. Пудов восемь с одного постава беру. Я даже, грешным делом, жадный стал. Думаю, на другой год снова здесь рыбалить.

– А много ли осякам за их угодыя заплатил? – вдруг спросил Филофей.

– Да ничего не заплатил, – засмеялся Ерофей, скаля зубы как-то напоказ. – Я для них доброе дело сделал – они мне пески уступили.

– И что за дело такое?

– Уж и не упомяну, – Ерофей взял весло, собираясь отгребать.

– Я в Берёзове у воеводы спрошу, – пообещал Филофей.

Он догадался, что этот мужик договорился с осяками сам по себе, без начальства. А «сам по себе» в Сибири означает «обманул всех».

– В прошлом годе в Певлоре лютый шаман помер, – сказал Ерофей, становясь серьёзным. – Осяки боялись его похоронить, а я закопал. За это меня на год на пески пустили. Подвоха нет. Не сдавай меня воеводе, отче.

– Ладно, – согласился Филофей. – А ты не греши, человеце.

Ерофей нехотя поклонился и толчком весла погнал облас прочь.

– Певлор пустой! – издалика крикнул он. – Не расходуй время!

– Что-то ещё он врёт, – негромко сказал Филофей Новицкому.

Ерофей действительно соврал. В Певлоре почти все жители были дома, и владыку встретил местный молодой князёк Пантила.

...Всё это Новицкий видел и слышал много раз – в Ялбе, на Белогорье, в Ягур-яхе. Владыка объяснял осякам про Христа. Осяки сидели и стояли вокруг, глядя на владыку. Они казались Григорию Ильичу все на одно лицо, и Новицкий не мог отделаться от ощущения, что владыка проповедует деревьям. Да осяки и были как деревья: жили медленно и терпеливо; ничего у них в жизни не менялось, и их самих ничто не могло изменить; они как-то незаметно вырастали и так же незаметно умирали, а после смерти, наверное, становились пнями и валежником. Как те мертвецы на

могильном кедре, которые превратились в кедровые ветви и вместе с деревом уплыли в океан.

– ...Просто ваших богов на самом деле нет, – говорил Филофей.

Остяки о чём-то залопотали на своём языке.

– Как нет? – требовательно спросил князь Пантила. – А кто есть?

– Есть великий злой дух, враг всех людей. Его зовут дьявол. У него помощники – мелкие духи, их зовут бесами. Бесы вселяются в ваших идолов и выдают себя за ваших богов. А боги – выдумка. Дым.

Филофей сидел у кострища на бревне и шевелил палочкой в углях. Рядом на бревне стояла икона, подпёртая сучком. Солнце блестело на золоте нимба Николая Угодника. Кострище угасающе курилось.

– А зачем бесам обман? – выяснял Пантила.

Он хотел справедливости ко всем, и к богам тоже. Ему жалко было своих людей, которые ничего не могли возразить этому русскому шаману, и жалко было лесных богов, которых русский шаман объявил злыми духами.

– Бесы хотят, чтобы вы служили злу, – просто сказал Филофей.

– Наши боги не просят нас делать зло! – гневно ответил Пантила.

– Попросили бы, но вы слабые. Что вы можете, остяки? Вас мало. У вас нет ни ружей, ни пороха. Вы очень бедные, князь Пантила, – Филофей показал палочкой на остяка, который сидел напротив кострища на корточках. – Вон мужик носит рубаху из налимьей кожи.

– Это Гынча Петкуров, – подсказал кто-то из толпы.

– Я помогу тебе, Гынча, – Филофей поглядел в глаза инородцу. – Я дам тебе рубаху из полотна, – Гынча радостно заулыбался. – А бесы вам не помогут, – добавил Филофей. – Они хотят, чтобы вы погибли.

– Ты не прав! – молодой князь Пантила непримиримо передёрнул плечами. – Боги дают нам добычу! Обский Старик рождает рыбу в Оби!

– Да, бесы посылают рыбу, зверя, хорошую погоду, – кивнул Филофей, – но ведь вы всё равно не вечны. А наш бог Христос делает наши души бессмертными. После смерти через много лет мы снова оживём. А вы умрёте насовсем, Пантила, потому что бесы не пустят вас к Христу. Вот так они вас и губят. Вы служите злу, потому что помогаете бесам отнять у вас вторую жизнь. И дело не в рыбе, не в звере и не в хорошей погоде.

Пантила был поражён таким поворотом дел. Он оглянулся на своих. Не все остяки понимали по-русски так же хорошо, как он.

– Русский шаман говорит, что их бог оживляет умерших, – пояснил Пантила по-остяцки.

Остяки шумели, обсуждая вторую жизнь. Один из остяков взял Пантилу за рукав и что-то спросил, тыча пальцем в Филофея.

- Негума хочет знать, надолго ли вторая жизнь, – перевёл Пантила.
- Навсегда.

На окраине селения вдруг закричали женщины. Из леса к Певлору бежал Ахута Лыгочин – тот остяк, у которого были дочери-близнецы.

- Хемьюга вылез! – издали вопил он. – Хемьюга хочет домой!

Ахута ходил в лес, чтобы найти кривую ёлку для новой лодки, забрался глубоко в чащу и вдруг увидел человека, отдыхающего под лиственницей. Человек сидел, привалившись к комлю спиной, и вроде бы дремал. Ахута подошёл поближе – и узнал шамана Хемьюгу, похороненного уже год назад. Одежду Хемьюги, испачканную землёй, покрывала тонкая мокрая плесень. У старика отросла редкая зеленоватая борода. Бледной рукой Хемьюга сжимал посох, сделанный из палки, которую воткнули ему в могилу в изголовье. Ахута знал, что шаманы могут выбираться из могил, если им не нравится, как они умерли. Хемьюга провёл под землёй целый год, терпел, терпел – и не вытерпел. Конечно, он отправился в «тёмный дом» – в своё жилище для камланий в Певлоре. Ахута со всех ног бросился обратно в селение.

Остяки заматались по Певлору, не зная, что предпринять. Хемьюга шёл медленно, но он всё равно дойдёт. Остяков охватила паника, кое-кто потащил к реке лодку, растрёпанные бабы бегали за мужиками. В селении пока ещё не было нового шамана, способного остановить мертвеца. Служилые и казаки, охраняющие Филофея, при переполохе выхватили сабли, но брёвна вокруг кострища опустели – остяки, что слушали владыку, вскочили и куда-то умчались. Филофей растерянно поднялся на ноги и ждал объяснений.

К кострищу вернулся взволнованный, запыхавшийся Пантила.

- Что у вас стряслось, князь? – спросил Филофей.

– Наш мёртвый шаман вылез из земли, он снова хочет жить в Певлоре, – ответил Пантила и с торжеством оглядел Филофея. – Наши боги тоже умеют давать вторую жизнь. Уходи, старик. Твоя вера нам не нужна.

И они ушли – что же было делать? Впереди была заброшенная Кода и Шеркальские юрты; потом их дощаник перебрался на Малую Обь – впрочем, такую же огромную, как и Обь Большая; потом были Нарыкарские юрты; потом – устье реки Сосьвы, и по Сосьве они поднялись до Берёзова – дикого русского острога на голом овражистом крутояре. В Берёзове отдохнули несколько дней и под первыми дождями двинулись в обратный путь.

Неудача в Певлоре осталась чем-то непонятным и недоговорённым, она угнетала память. Вправду там восстал мертвец, или это морок,

наваждение? Может, мертвецы инородцев могут выходить из земли, как упыри? Эти люди-деревья, наверное, лежат в могилах, будто старые корни в земле, – не истлевают. Новицкий смотрел по сторонам: сквозящий простор неба – точно с мира сняли крышу, стылые тёмные реки, приземистые и непролазные леса, мглистые болота, никому не ведомые протоки, заваленные буреломом, глухие туманы... Незакатное солнце казалось чьим-то пристальным и неусыпным взглядом. Новицкий ощущал вокруг себя чьё-то тихое, знобящее, зловещее присутствие. Присутствие чего-то настолько большого, что его не увидеть целиком, а потому и не понять. В этой бесконечности всему есть место, и нечисти тоже. Дома, в Малороссии, нечисть была не такая. В Малороссии людно и тесно, и нечисть загнана в амбары, в погреба, в лощины, в колодцы, на погосты. Она всякий раз огрызается. А здесь ей привольно, покойно, никто её не гонит и не теснит, и потому она вялая, неохочая, равнодушная.

Чувствует ли это владыка Филофей – он ведь и сам из Малороссии? Или он уже всё забыл? Григорий Ильич не мог разобраться во владыке. Вот митрополита Иоанна он понимал. У него с митрополитом была одинаковая боль – изгнание, и одинаковый страх – русский царь. Родство по страданию и свело Новицкого с Иоанном. А что в этом Филофее? Может, он сам стал выморочным, как эта Сибирь? Что он делает? Ничего. Твердит одно и то же тем, кто его не слышит, – толчёт воду в ступе. На что он надеется в жизни? Вроде, ни на что. Он ничего не преодолевает, и душа его не болит. И даже восставший мертвец его не смутил, хотя владыка обязан бороться с бесами.

На обратном пути, уже миновав Коду, Филофей сказал:

– Снова заедем в Певлор.

– Трэба було видразу видповыдати, – пробурчал Новицкий. – Зараз ми запозднились. Воны вже вытдались дьяволу.

– Посмотрим, Григорий Ильич.

Когда дощаник показался на виду у Певлора, от селения к судну сразу полетел лёгкий облас. В нём сидели охотник Ахута и его дочь Хомани; Ахута сильно грёб с правой стороны, Хомани слева поправляла нос лодки.

– Иди в Певлор! – кричал Ахута русским. – Иди в Певлор!

На берегу толпились остяки. Дощаник выехал рылом на отмель, и остяки бросились в воду; они приняли владыку Филофея на руки и понесли на сушу. Владыку ожидал князь Пантила. Насторожённый Новицкий обратил внимание, что остяки вооружены – на берегу лежали их копья и луки.

– Ты говорил, что твой бог умеет оживлять мёртвых, – с вызовом сказал князь Пантила. – А он умеет убивать тех, кто уже умер?

– Объясни мне всё, – спокойно предложил Филофей, оглядываясь.
– К нам пришёл Хемьюга, мёртвый шаман.
– Ты уже говорил мне об этом, князь Пантила, – напомнил Филофей. – Из-за него ты выгнал меня, не дослушав.
– Тогда он пришёл первый раз. Ахута встретил его в лесу.
– В лесу, где нора седой волчицы, – подтвердил Ахута.
– Мы прибежали – он притворился совсем мёртвым. Никто не хотел брать его. Он злой дух, он отомстит. Мы позвали Ероку, Ерока не боится.
– Эрока – это Эрофэй, у якого рибны пэски в двоих вэрстах звыдси? – уточнил Новицкий.
– Он, – сказал Пантила. – Ерока похоронил Хемьюгу обратно.
Остяки, окружившие Филофея и Новицкого, закивали. Среди них была только одна женщина, точнее, девчонка, – Хомани, дочь Ахуты. У Ахуты больше не было родни, на промысел он брал с собой дочь, и Хомани носила мужской пояс с ножом. Когда появится муж, он заберёт этот нож себе.
– А вчера Хемьюга снова вылез из могилы и пришёл в Певлор, – говорил Пантила. – Он сел в свой «тёмный дом» и живёт там, как живой, – Пантила отвёл взгляд. Ему было горько, что мертвец явился в селение, а он, князь, ничего не может поделать. – Так нам нельзя. Люди покинули Певлор.
– Снова позовите Ерофея, – пожал плечами владыка.
– У нас нет платы. Ерока жадный. Пусть Хемьюгу убьёт твой бог.
– Пойдём в «тёмный дом», – вздохнул Филофей.
– Вотче, нэ ходи до бисов, – тотчас сказал Новицкий, хватая Филофея за рукав рясы. – Выт дэмона шаблею нэ выдмахатыся.
– Думаю я, что бес не в «тёмном доме», – печально усмехнулся Филофей, высвобождая руку.
Остяки сбежали из своего селения, будто от моровой язвы. Филофей шагал мимо покинутых земляных домов и пустых чумов с оборванными пологам. Кострища были затоптаны, летние печки-чувалы погасли, колья с растянутыми на просушку сетями покривились. На земле валялись тряпки, верёвки, потерянные шкуры, деревянные посудины. По селению шныряли собаки, шарились в жилищах; выл пёс, которого забыли отвязать. Владыка увидел, что бабы, старики и дети укрылись на дальней опушке леса в еловых шалашах – только мужчины отважились вернуться в Певлор.
«Тёмный дом» – малая полуземлянка шамана – находился за околицей селения возле «собачьего городка» и оленьего сарая. Остяки несмело шли за Филофеем, но за сотню шагов до «тёмного дома» остановились.
– Хемьюга там, – сказал Пантила, указывая на низкую полуземлянку с дерновой крышей. – Зови своего бога, старик. Дать тебе нож?

Филофей не ответил, лишь жестом показал Новицкому: останься здесь, на улице. Он один подошёл к «тёмному дому», кряхтя, медленно спустился по земляным ступенькам в яму и оттащил дверку на кожаных петлях.

Шаман не жил в «тёмном доме», а лишь приходил сюда камлать. Две узкие щели под кровлей еле освещали это угрюмое логово. Давно остывший очаг; рассохшийся деревянный сундук шамана, покрытый резьбой; какие-то жерди и рогатины в углу; зачерствелые и сморщенные священные покрывала на стенах – уже не различить бурые от пыли узоры; медвежья шкура с лапами и башкой медведя – башка набита сеном, пасть зашита жилами, а дыры глазниц закрыты кружочками из бересты. Сам шаман, сгорбившись и нахлобучив шапку, сидел на полу посреди землянки и вроде бы смотрел в угасшие угли очага – мертвец грелся у прошлогоднего пламени.

– Кто ты? – помолчав, спросил Филофей.

Шаман не отвечал и не шевелился.

Филофей протянул руку и осторожно толкнул шамана. Шаман легко повалился набок. Оказывается, сзади его подпирала палка. Шапка съехала с головы мертвеца, и Филофей разглядел его лицо – ссохшееся, волосатое, бледное, но не тронутое разложением. Филофей перекрестился, наклонился, схватил мертвеца за ворот и поволок к выходу, как мешок.

Остяки охнули, увидев, что владыка вытаскивает из «тёмного дома» тело Хемьюги. Новицкий бросился к Филофею и помог вытянуть труп из ямы у входа. Шаман неподвижно лежал на земле – скорченный и страшный.

– Это просто мёртвое тело, – сказал Филофей. – И ничего больше.

– Он снова живой будет, – робко возразил кто-то из остяков.

– Не будет, – Филофей взглянул в глаза князю Пантале. – Вас обманули, князь. Ерофей обманул. Что он потребовал в уплату за погребение?

– В прошлый раз мы на второй год отдали ему пески за островом Нахчи, – глухо произнёс Пантала. Щёки его пылали от стыда, а глаза потемнели от гнева. – А сейчас он хочет пески совсем всегда. Я его убью.

Филофей, успокаивая, положил руку Пантале на плечо.

– Не надо, князь. Прогони его, и достаточно. Он вор.

– А чому мрец за год в могилыне не согнил? – спросил Новицкий.

Он был потрясён: как владыка догадался про обман?

– Почему? – Филофей снова посмотрел на Панталу.

– Бывает, в земле под травой лежит лёд. Всегда лежит, и летом тоже. Где есть, где нет. Ерока нашёл, где есть, когда первый раз копал.

– Теперь ты сам всё объяснил, – устало сказал Филофей. – Похороните тело сами, как ваш обычай требует. Возвращайтесь в дома. Ваших богов нет.

Вдруг Хомани, которая стояла в толпе остяков, вынула нож из ножен, быстро присела возле тела Хемьюги на колени и решительно перерезала мертвецу хрустнувшее под лезвием горло.

– Що творишь, бисова дэвка? – вскрикнул Новицкий.

– Не кричи ей! – тотчас вскинулся Ахута. – Она не твоя жена!

Хомани отскочила, сжимая нож. Новицкий смотрел на неё в изумлении, словно увидел в первый раз. Маленькая черноволосая Хомани побледнела, а её тёмные раскосые глаза казались выжженными, словно у идола. Но сейчас Новицкий вдруг понял, что остяки – не идолы. Они могут быть красивыми. Они – странные и несуетные люди полуночи, которые сумели выжить там, где под травой лёд, а по траве ездят на санях, запряжённых собаками. Здесь едят сырую рыбу, и она кажется горячей, а сердце остекленеет от холода, если упадёшь с лодки в воду. Здесь мошка убивает человека, здесь не растёт хлеб, здесь можно ослепнуть от блеска снегов. Здесь подземные мамонты, здесь зимой беззвучно возгорается небо, и даже демоны здесь громоздят себе берлоги, чтобы в стужу согревать над костром когтистые лапы. Эта северная девочка, сжимающая в кулачке нож, сумеет зачать, родить и вырастить сына там, где бесславно погибли целые армии с царями, пушками и хоругвями.

– Пойдём на судно, Григорий Ильич, – сказал Филофей.

– Разве ты не будешь нас крестить? – хмуро спросил князь Пантила.

– Не буду. Вера поневоле не нужна ни тебе, ни богу.

Глава 3

Четыре Корабля

Когда они вышли в путь, их было две сотни, но до Кайгорода дошли только полторы. Кто помер – тот помер, а больных и ослабевших оставляли в попутных обителях. Монахи вылечат их, подкормят и сдадут следующим командам ссыльных. В том, что такие команды будут, никто не сомневался: тысящи, и тысящи, и тысящи народа не принимали Никоновой ереси, и царь Пётр, панфирь порфиноносный, не утихал в своём злонеистовстве.

В Кайгороде раскольники встретили ледоход. Для них сколотили плоты – так было дешевле, чем строить крепкие суда. Ссыльные плыли в оковах, чтобы никто не вздумал броситься в Каму и угрести на вольный берег: с цепями любой углубнет в холодных водах. Железо и сырость обламывали узникам руки и ноги, люди от боли бились о брёвна, но Авдоний терпел. Он знал по опыту: кто не сокрушится духом, тот выживет. А несокрушённые неизбежно станут братьями, и с ними потом он воздвигнет свой Корабль.

В Соликамске их держали в подвале Соборной колокольни. Сюда, в подвал, по тайному подземному лазу приполз ветхий старичок отец Мелетий – настоятель усольской киновии. Полвека назад здесь же, в Усолье Камском, его благословил сам Аввакум, мятежный протопоп. Отец Мелетий принёс большие ржавые ножницы и снизку кожаных лестовок; шёпотом читая канон, Мелетий постриг тех, кто в скитаниях желал праведного иночества.

Из Соликамска на гиблый Бабиновский тракт, утыканный могильными крестами, вышло чуть более сотни ссыльных. В полyme июля они брели через хребты по душной тайге, и в пути Авдоний начал рассказывать братьям о Корабле. Он не мог говорить рассудочно, ибо ничего прекраснее Корабля не видел и не ведал. Корабль восперял его взволнованную душу, обрекая на сладостное страдание, и потому на привалах по ночам Авдоний не спал, а молился и плакал, как осиротевшее дитя. Над соснами дрожал светлый северный небосвод, готовый разверзнуться и явить жаждущим очам дивное предвечное царство, куда с грешной земли всплывают Корабли спасённых.

Чирикали таёжные птицы, стучал дятел, блистала тихая роса на иголках хвои, но Авдоний говорил о сизых и рыжих валунах Соловков, сомкнутых святой страстью в стены и вежи несокрушимой обители.

Восемь лет обитель пылала борением среди неисчислимых полчищ стрелецкого воинства. Архимандрит Никанор и его чернецы не поступились своей древней верой, не дозволили Никонову лыщению испрати свою чистоту. Но изменник Феокист выдал царёвым секариям ход – окно в сушильне у Белой башни, и Зверь прорвался в заповедный предел. Соловецких иноков рубили на площади, в палатах и трапезной собора, жгли, вешали, топили и выдирали рёбра из боков, а они славили мучителей, сами вдевая выи в вервия, и вот тогда в огне и лютых пытках воздвигся первый Корабль. Он изошёл из стен и храмов, словно дух из плоти, и в ликующем пении блаженства вознёсся над морем в небеса, будто великий бестелесный лебедь.

До Верхотурья дошло меньше сотни ссыльных. Но они уже знали, куда грядут. Не в Тобольск, конечно. Инамо грядут – к своему Кораблю. Ради него достойно и пострадать. От Верхотурья снова плыли в оковах на плотах по Туре и Тоболу. Лето иссякло. Под осенним дождём плоты пересекли Иртыш и причалили к берегу Тобольска. Ссыльных осталось чуть больше полусотни, но все они теперь были истинной семьёй Авдония, точно из каждых четырёх товарищей, вышедших из Новгорода, дорога отковала одного брата.

На пристани ссыльных встретил полковник Васька Чередов с караулом.

– Не все в пути передохли, собаки? – спросил он.

– Сам ты собака! – ответили ему. – Гавкай на холопов, псина!

Звения цепями, теряя в грязи берёзовые лапти, раскольников брели по улицам Тобольска к Прямскому взвозу. Тоболяки оборачивались на них – страшно было глядеть на лохмотья, на увечья, на иконную худобу ссыльных. На Троицкой площади Авдоний поднял голову. С площади за кровлями домов глазам открывалась высокая гряда Алафейских гор и Софийский двор: белые стены, белые башни, белый собор, тесовые шатры и купола.

– Видите знамение Корабля? – спросил Авдоний.

– Видим, отче, – ответили ему.

Облака вздымались над Софийским двором, как былинные ветрила.

– Вот что узрел чёрный дьякон Игнатий, – сурово сказал Авдоний.

Игнатий был соловецким монахом, но рассорился со старцами Соловков из-за написания титулы Пилатовой на кресте Христа и ушёл из обители. А вскоре стрельцы обложили обитель осадой. Когда Игнатий узнал о страшной гибели соловецких страдальцев, у него отнялся язык. Два года бродячий чёрный дьякон молчал, и, наконец, ему было видение: парят

на воздушных четырёх Корабля, и в тех Кораблях – мужи и жёны радостные, девы, старцы и отроки, а вокруг вьются галицы и горлицы, ангелы и серафимы. И голос с небес сказал Игнатию: каждый Корабль есть Соловки, и наибольший из них – твой, Игнатий, а трём другим Кораблям отыщи, отче, кормчих – Пимена, да Германа, да Иосифа, и для того возвращаю тебе твой язык.

Игнатий нашёл кормчих – дьякона Пимена, старца Германа прозвищем Коровка и чернеца Иосифа Сухого. Кормчие были последними соловецкими оставцами, что чудом уцелели в сокрушённой обители. Теперь они должны были повторить соловецкую страсть каждый на своём Корабле.

Для своего Корабля дьякон Игнатий назначил Рождественскую обитель на Палеострове, стоящем среди озера Онего, точно Соловки среди Гандвика. Игнатию служил повенецкий житель Омелий, сын Иванов; он собрал по онежским погостам две тысячи человек и привёл их к Игнатию. Чёрный дьякон сотоварищи захватили обитель Палеострова и стали ждать гонителей. Когда стрельцы олонецкого воеводы подступились к Палеострову, как это было на Соловках, Игнатий с людьми закрылся в церкви и запалил храм. Вот тогда из дыма и пламени на Палеострове вырос первый Корабль и всплыл к облакам. Это случилось через одиннадцать лет после гибели Соловков.

А вскоре вслед за Кораблём Игнатия из пустыни на Берёзовом наволоке Кольского присуда вырос и всплыл к облакам второй Корабль – Корабль кормчего Пимена. В нём в вертоград отправилась тысяча человек.

Кормчий Игнатий не взял на свой Корабль Омелия Повенецкого, а велел ему плыть на Корабле кормчего Германа. Через год Омелий собрал Герману ещё тысячу человек. Воинство Омелия и Германа погрузилось в ладьи и вновь захватило Палеостров, где власти только-только отстроили сгоревшую обитель. Омелий организовал оборону. Стрелецкие командиры дождались, пока воды Онего покроются льдами, и пошли на приступ Палеострова, прикрываясь возами с горящим сеном. Но мятежники вморозили в лёд косы-горбуши, а со стен обители разили врагов из пищалей. Потеряв многих убитыми, стрельцы ворвались в монастырь. Омелий, Герман и защитники обители затворились в храме и подожгли себя. Так в небо всплыл третий Корабль, Корабль кормчего Германа Коровки.

На земле остался четвёртый кормчий – Иосиф Сухой. Он прятался от властей пять лет, и, наконец, собрал восемь сотен верных сподвижников в Строкиной деревне близ Пудог. Огородив деревню, как положено для

создания Корабля, Иосиф дождался стрельцов и запалил дома с людьми. Четвёртый корабль отплыл к незримым причалам небесных Соловков.

Авдоний видел его своими глазами. Огромный огонь стоял столбом, и в нём истаивала бревенчатая домина, а сквозь рёв пламени слышалось пение душ, теряющих плоть, и жгуты дыма свились над пожарищем в громадный Корабль, увенчанный горой клубящихся парусов. Эта яростная красота навек замрежила душу Авдония. Но тогда он был ещё отроком; матушка схватила его с сестрёнкой за руки и побежала к Кораблю, но не успела – их переняли стрельцы. Душа Авдония уплыла в небо, а плоть осталась на земле. И сейчас, через девятнадцать лет, облик этой плоти уже был страшен. Куда пропал белоголовый мальчик? Вместо него по юдоли брёл рослый поломанный мужик, костлявый от голода и в рубцах от плетей, косоплечий после дыбы, с выбитыми зубами, с повязкой, закрывающей выжженный на пытке глаз.

По затоптанным, забитым мокрой глиной ступеням из лиственничных плах раскольники, лязгая железом, медленно поднимались по Прямскому взвозу. Посередине взвоз был перегорожен стройкой – здесь артель Сванте Инборга возводила проездную башню. Шведы уже выложили из кирпича стены нижнего яруса, подпоры к устоям и две арки – большую и малую. Строители столпились на стене, оставив работу: пленные каролины молча смотрели на пленных русских. Вереница оборванных раскольников в оковах и служилых с мушкетами текла сквозь проход в основании башни.

На Софийской площади гомонил базар: торговали с возов, лотков и прилавков. Тоболяки оглядывались на ссыльных, понижали голоса и в смущении прятали товары, чтобы не искушать и не дразнить голодных и несчастных. Но раскольники не крестились на Софийский собор, не смотрели на сытное и щедрое торжище. Житейский мир был для страсотерпцев уже словно за невидимой стеной, и не только из-за цепей и стражи.

– Всё, братья, возрадуйтесь, – негромко сказал Авдоний. – К порогу царства божия пришли. Здесь до спасения рукой подать. Слава тебе, господи!

– Слава тебе, господи! Слава тебе, господи! Слава тебе, господи! – нестройно отозвались раскольники.

Толстая торговка нерешительно приблизилась к стражнику – служилому Федьке Матюхину. Федька нахмурился, останавливая бабу взглядом.

– Исповедников ведёте, Федя? – заискивающе спросила торговка.

– Еретиков, тётя Анфиса.

Тётка протянула калач.

– Сунь там им кому, тебе зачтётся.

Федька сердито взял калач и бросил в грязь раскольникам под ноги.

– Стервец ты, Федька, – в сердцах сказала торговка. – Я Кузьме-то Филиппову скажу, чтобы он Глашку за тебя не выдавал.

– Иди отсюда, Фиска! – топорща усы, рявкнул полковник Чередов.

Раскольник Нефалим, скованный вместе с Авдонием, наклонился, поднял калач, обтёр от грязи и спрятал за пазуху.

Ссылные и служилые стояли у Святых ворот Софийского двора, ожидая, когда им разрешат войти. Ссылных раскольников, которых пригоняли в Тобольск, обычно помещали в архиерейские казематы.

В это время на высокое крыльцо архиерейского дома вышли Ремезов и митрополит Иоанн. Владыка опирался на посох, а Семён Ульянович держал под мышкой бумажный свиток. Ремезов приходил к митрополиту обсудить столпный храм, который построят над Прямым взвозом рядом с Приказной палатой. Семён Ульянович придумал сооружение на пять ярусов, два нижних – четверики, потом восьмерики, верхний – под звоны, и шатёр с маковкой.

– Ты ведь знаешь, Семён Ульянович, я Киевом воспитан, – говорил митрополит. – Так что тело храма мне нравится, но узорочье – уволь. Вся эта нарышкинская вертлявость, которую ты на Приказной палате налепил, – не для церкви. В Москве – дикость азиатическая, она с духом веры несогласна. В облике храма должна быть плавная волнительность, словно душа взлетает в умилении. Образ – облако, а не кудри гороховые. Московские храмоделы, знаешь, похабную тряску изображают – прости господи, на какую срамоту мысли наводят. Потому всё шутовство ты убирай. А переходы от четверика к восьмерику мне понравились, где угол с глухой стеной валютой соединён.

– Кем соединён? – не понял Ремезов.

– Завиток каменный, который ты нарисовал, называется валюта.

– Перечерчу по-новому, – согласился Ремезов.

С высоты крыльца они увидели, что служилые ведут от Святых ворот к архиерейскому дому толпу скованных раскольников. Ссылные еле волочили ноги, кто-то стонал, кто-то кашлял, кто-то бубнил молитву.

– Вот и строители тебе прибыли, – сказал Иоанн.

Ремезов рассматривал раскольников и хмурил кустистые брови.

– Почто их на Софийский двор гонят, владыка? Держали бы в остроге на Воеводском дворе, где воры сидят и всякий сброд.

– На святой земле авось покаются.

Ремезов недоверчиво хмыкнул.

– До нас лишь те доходят, кто из булата откован. Такие не каются.

– Все каются, – вздохнул Иоанн.

Немощный владыка, опираясь на посох, начал боком осторожно спускаться по ступенькам крыльца, и Ремезов поспешил за ним и поддержал под руку – он был старше Иоанна, однако куда крепче.

Полковник Васька Чередов, увидев митрополита, остановил ссыльных возле небольшой звонницы с шатром на столбах. Под шатром на бруске косо висел колокол с отбитым ухом – тоже ссыльный из Углича.

– Владыка сибирский сейчас благословлять будет, – негромко сказал Чередов раскольникам. – Кто пасть раззявит – ночью забью.

Раскольники угрюмо оглядывались по сторонам. Никонианский оплот... Круглые белые апсиды Софийского собора; голбцы на могилах у алтаря; святые ворота с надвратной церковкой; бревенчатые братские кельи, над кровлей которых торчат зубчатые башни Гостиного двора; крепкие амбары – чернецы таскают туда мешки из телеги; конюшня; мостовая из деревянных торцов; каменный архиерейский дом на высоком подклете... Монах ключом открывает окованную дверь подклета под крыльцом – дверь в каземат.

Авдоний смотрел на сибирского митрополита, еле сползающего по ступеням крыльца. Распущенное старческое брюхо натягивает рясу, мантия волочится по лестнице, клобук трясётся, панагия и крест на цепях – будто насмешка над цепями ссыльных. Разве этот слабый старик ради своей веры выдержал бы то, что претерпел он, Авдоний? Так неужто старик ближе к богу? Так неужто начальник раскольникам – этот старик, а не он, Авдоний? В его груди заворочалась бесовская ревность. Болезненный жар побежал по рёбрам. Авдоний уже не знал, чего ему хочется больше: унижить владыку? Испытать верность своих братьев? Или чтобы его потом избили служилые? Побои давно уже вросли в судьбу, заменив собой бывшие удовольствия, и без боли Авдонию было как без соли. А власть над болью раздувала гордыню.

– Смотрите, братие, колокол угличский! – хрипло произнёс Авдоний. – Вот он, первосыльный сибирский! Всем нам отец земной!

– Тоже за голос правды мученик, значит, – сказал Нефалим.

Сто двадцать лет назад этот колокол висел на колокольне Спасского собора в Угличе. Пономарь Федька Огурец видел с колокольни, как злодей полоснул ножом по горлу царевичу Димитрию. Огурец ударил в набат. Дьяк Битяговский с сыном кинулись выламывать дверь собора, чтобы остановить тревогу, но было поздно. Мятеж полыхнул по Угличу. Угличане

растерзали всех, кого заподозрили в убийстве царевича. Правитель Борис Годунов двинул в Углич войско. Буянов схватили и судили. Одних казнили, других отправили в Сибирь. Покарали и колокол. Его сбросили с колокольни, высекли плетями, отрубили ему ухо и обрезали кожаный ремень-татаур, отняв гневный язык. Ссылные угличане везли колокол по рекам, а потом тащили его на себе через горы. В то время Верхотурья и Бабиновской дороги ещё не было. От реки Вишеры угличане брели по урманам до реки Лозьвы и дальше – до Пелымского острога. От Пелыма на плоту колокол поплыл в Тобольск. Здесь ему и суждено было на торгу отбивать часы. Но слишком злой у него был голос, и медного мятежника перенесли на Софийский двор.

Владыка Иоанн приближался к раскольникам, служилые сдёрнули шапки, но Авдоний повернулся к звоннице с колоколом и встал на колени.

– Ему Аввакум кланялся, и нам заповедано, – сурово сказал Авдоний и в земном поклоне ткнулся лбом в мокрый деревянный торец вымостки.

Нефалим тоже отвернулся от владыки, встал на колени и склонился перед колоколом. Зазвенели оковы: братья Пагийил, Елиаф, Сепфор, Навин друг за другом опускались на колени и кланялись звоннице.

Семён Ульянович заметил, кто был зачинщиком непокорства: кудлатый одноглазый мужик с бешеной рожей. Служилые растерялись, не зная, на кого смотреть, на кощунников или на митрополита. Иоанн уже поднял руку для благословения, но все остальные раскольники в лязге цепей, нестройно топчась, обратились лицами к звоннице, а к владыке – драными спинами армяков, и осели на колени, крестясь на угличский колокол.

– Встать, собаки! – зарычал Васька Чередов. – Служилые, подымай их!

Служилые бросились к раскольникам, принялись хватать за ворота, за ошейники и под мышки, потащили вверх, ставя на ноги, но раскольники, не сопротивляясь, валились обратно, словно тряпичные.

– Тычками помогай! – крикнул Чередов и с силой саданул ближайшего коленопреклонённого раскольника сапогом в рёбра.

Служилые пинали ссылных в тощие бока и плечи, били по загривкам прикладами ружей. Раскольники закрывались руками. По всему Софийскому двору иноки, служки, сторожа и конюхи таращились на избиение ссылных.

– Слава тебе, господи! – с мученическим упоением вскрикивали раскольники в ответ на удары. – Слава тебе, господи! Слава тебе, господи!

– Останови, Василий Парфёныч! – морщась, приказал Иоанн.

Раскольники корчились на торцах, хрипели и отплёвывались. Ремезов шевелил бородой от ненависти то ли к мучителям, то ли к страдальцам – он

ещё сам не понимал, кто из них более предан сатане. Служилые отступились, тяжело дыша, поправляли пояса и ружья.

Иоанн смотрел на распростёртые тела с тихим осуждением. Это еретики гnevят бога. Спорить с матерью-церковью – грех. И раскольники видят зло не там, где оно гнездится. Зло – в той силе, которая сама довлеет над церковью, великая и гнетущая, словно грозовая туча над нивой. Но прение с этой силой бессмысленно и самоубийственно. А терпеть страсти ради мнимой правды – значит наводить морок на ясный день и лгать своей пролитой кровью.

– Не хотят – и не надо, – устало сказал Иоанн. – Гони их в каземат.

Авдоний, шатаясь, медленно поднялся на ноги. Он растирал по морде кровь из разбитого носа. Семён Ульянович изумился надменной ухмылке этого отчаянного мужика. Авдоний торжествовал, что его названные братья не заплежили у стоп никонианских тиронов, не оробели пред сибирским Каиафой. Да, он возведёт братьев на свой Корабль – се уже истина.

Глава 4

Свыше уготовано

Матвею Петровичу было жарко и душно. Эх, напрасно он напялил соболью шубу, ноябрь – не зима даже в Тобольске, а в школе фон Вреха, где истопник метал дрова в печь, как сатана в аду, совсем можно было свариться заживо. Матвей Петрович отдувался и вытирал платком мокрый лоб. И не встать, чтобы раздеться: неловко прерывать серьёзное дело – экзамен.

Народу в небольшой горнице набилось, как в церкви на Пасху. За длинными столами на общих скамейках сидели два десятка разновозрастных мальчишек, перепуганных и несчастных, – ученики. Перед ними возвышался Григорий Ильич Новицкий – учитель. Он был в потрёпанном казачьем камзоле и – по торжественному случаю – со шпагой; в ухе болталась медная серьга. За спиной Новицкого у стены чинно выстроились три попечителя: капитан Табберт, полковник Кульбаш и ольдерман капитан Курт фон Врех – все в мундирах, в париках, со шляпами и при шпагах. Табберт слушал с весёлым любопытством, Кульбаш сохранял недовольный вид, а фон Врех умильно улыбался детям. Матвей Петрович в своей шубе громоздился в углу на лавке, рядом торчал Дитмер. За открытой дверью класса толпились шведы и русские – это отцы учеников пришли посмотреть на испытание сыновей.

– Кто помазув цара Савула на царствыэ? – спрашивал Новицкий – Выдповыдай мэни, Гэльмут.

– Самуил, – вставая, сказал толстый и неуклюжий Гэльмут.

– Правыльну выдповыдай, – строго поправил Новицкий.

– Саула помазать есть пророк Самуил, – по-русски ответил Гэльмут.

– Добре. Сидай. Чому Савул осэрчал на Давыды? Эгорый выдповыды.

– Я не выучил, господин учитель, – неохотно поднимаясь, признался конопатый русоволосый мальчишка. – Меня батька к деду гонял.

В толпе родителей кто-то возмущённо засопел и завозился.

– Худо, Эгорый! Ти позорыш шкилы прэд господыном губэрнатором. Пысле экзамена встанэшь колынами на горох! Алэксий, выдповыдай.

– Давид был праведный, а царь Саул возгордился.

– Сидай, Алэксий, добре. За що господь дал Соломону царствые пысле Давыды? Лудвыг, выдповыдай.

– Соломон обещаь хранить вера! – вскакивая, крикнул бойкий

Людвиг.

Табберту эта школа казалась делом сразу и героическим, и комическим, как раз в духе напыщенного Курта: шведы и русские, и ныне ещё военные противники, совместно обучают своих чад опыту давно исчезнувших евреев. Странно было слушать про знойное и далёкое царство Израилево здесь, в Тобольске, когда за окном на поленищах лежал ранний сибирский снег.

– Достаточно, Григорий Ильич, – не выдержал Гагарин, обмахиваясь платком. – Умучил уже парнишек!

– Экзамен закончив, – объявил Новицкий.

Фон Врех выступил вперёд и с ласковой улыбкой захлопал в ладоши.

– Дети! – по-русски сказал он. – Всем кланяться господин губернатор и бежать играть, где двор!

Мальчишки, грохоча лавками и толкаясь, полезли из-за столов, быстро кланялись Матвею Петровичу и кидались в дверь, распахивая своих и чужих родителей. Новицкий еле успел поймать за плечо конопатого Егория.

– На горох, Эгорый! – напомнил он. – Дэсятъ разыв прочитаэ «Отче наш», тильки тоды йди гуляты.

Егор печально побрёл в дальний угол за печь, где на полу был насыпан сушёный горох, встал на колени лицом к стене и быстро забубнил молитву.

– Вы иметь удовольствие, герр губернатор? – добродушно и лукаво спросил фон Врех, разводя руками, словно после карточного фокуса.

– Хорошая школа, Врех, молодец, – пропыхтел Гагарин, поднимаясь.

– Мы Священну гишторию учим, Книгу Царствый одолэли, – сообщил Новицкий. – Сэ наставлэниэ о пагубе ыдолопоклонства.

– Оно и верно в наших палестинах, – кивнул Гагарин. – Ефимка, подай.

Дитмер с лёгким вежливым поклоном протянул фон Вреху тонкую печатную книгу, а на ней – матерчатый кошель.

– Сто рублей от меня на обзаведение, – пояснил Матвей Петрович. – Видел я, один парнишка у тебя в лаптях. Купи ему сапоги. И букварь возьми.

Букварь у Матвея Петровича был самый хороший – иеромонаха Кариона с московского Печатного двора. Матвей Петрович в дедовском нетерпении купил его для графа Гаврюшки, хотя Гаврюшка дорос бы до азбуки только года через четыре. Однако Дашка, поганка, написала отцу, что в Сибирь ни за что не поедет и Гаврюшку не привезёт, и Матвей Петрович, вздохнув, решил передарить букварь школе фон Вреха. Чего добру пропадать?

– Букварь тебе Ремезовы могут перерисовать, будет сколько надо штук, – добавил Матвей Петрович. – Всё одно Ульянычу делать нечего, только меня зазря тиранит своими башнями. Пойдёмте на улицу, тут не продохнуть.

– Возьмите, Григорий, – фон Врех передал букварь Новицкому.

Гагарин, Дитмер, фон Врех и Кульбаш друг за другом скрылись в сенях. Конопатый Егорий добарабанил в углу десятую молитву и кинулся вон из горницы. В опустевшем классе остались только Новицкий и Табберт.

– Господин Новицкий? – по-русски спросил Табберт, снимая треуголку.

– Господин Йоган Табберт, верно? – по-немецки ответил Новицкий. – Господин фон Врех предупредил меня, что вы желаете поговорить.

– Вы знаете язык? – удивился Табберт.

– Я дворянин и полковник, – Новицкий положил руку на эфес шпаги. – У гетмана Мазепы я не раз выполнял дипломатические миссии в Варшаву к королю Августу и королю Станиславу. При дворе и выучился.

– А откуда ваше знание Священной истории?

– Киевский коллегиум. Это наш университет.

Потрескивала печь. С улицы были слышны вопли мальчишек.

– Что ж, приятно познакомиться с образованным человеком, – сказал Табберт. – Курт объяснил вам, чего я хотел?

– Да. Я представлю вас местному зодчему Семёну Ремезову. Это именно тот человек, который вам нужен, господин Табберт.

– Король Карл за храбрость пожаловал меня дворянством и фамилией фон Страленберг, но для вас я просто Иоганн. Будем друзьями.

К Ремезову Новицкий и Табберт отправились, когда уже стемнело. На городских заставах служилые вытаскивали рогатки, чтобы преградить въезды в Тобольск из леса. Тонкий голубой снег жёстко сиял под луной, и улицы сами себя освещали. За чёрными заплотами подворий лаяли спущенные с цепей собаки. Кое-где застрекотали трещотки ночных сторожей. Затеплились слюдяные окна домов. Столбы белёсых дымов из печных труб поднимались в яркую, тёмную, сочную синеву. Табберт рассматривал созвездия сибирского небосвода – косматые, огромные и дикие, словно древние мамонты.

Калитку открыла Айкони – работница Ремезовых. Она испугалась двух высоких мужчин в необычных шапках-треуголках, но тот мужчина, который был с усами, белозубо улыбнулся, и Айкони успокоилась. Она провела гостей в мастерскую Семульчи – так Айкони переназвала Семёна Ульяныча.

Табберт удивился, увидев рабочую горницу Ремезова – без привычных русских сеней, длинную, с косячатыми окошками на все четыре стороны и с узкой голландской печью. Гости обтопали ноги от снега и повесили кафтаны на деревянные гвозди, вбитые между стёсанных брёвен. В клювах железных светцов горели смолистые сосновые лучины. За дальним столом на лавке сидел Семён-младший и шлифовал доску для иконы. Доска была покрыта левкасом и блестела, а Семён тёр её рублеными стеблями хвоща.

– Вэчир добрий, Сэмэн, – сказал Новицкий. – То капытан Табберт, швид. Вон до Вульяныча зъявылся, у нього справа до твоего батьки.

Табберт по-военному поклонился, одёргивая мундир.

– Батюшка на посаде рыщет, – ответил Семён, разглядывая Табберта.

– Скоро вертаэ?

– Кто ж знает? Петька, брат мой, где-то пропал. Пока батюшка найдёт его, пока уши ему оборвёт...

– Ну, мы его пожидаэ пока... Вы пошукайте по книгам, Йоган. А у мэнэ до всех вас, Рэмэзов, заданье.

Новицкий сел рядом с Семёном и выложил на стол букварь Гагарина.

В горницу с охапкой дров вошла Айкони, высыпала поленья на пол, открыла у печи дверку устья и опустилась рядом на половичок, как в чуме подле очага. Из сумочки на поясе она достала лоскут с иглой и мешочек с разноцветным бисером. Бисер ей давала Ефимья Митрофановна, и Айкони обшивала рукавички и ленты для украшения. Ей нравилось это занятие.

– Друкарни тут нэма, так сэй буквар пэрэчертати бы вот руки надобно с малеванками тож, – объяснял Семёну Новицкий.

Семён полистал букварь, изучая картинки.

– Знаю этот букварь, Григорий Ильич. На Москве Карион Истомин печатает. Думаю, батюшка заказ примет. Это нам с Леонтием по силам.

– Дэсять штук бы для школы. Не задаром, Сэмэн, за то швиды сплатити.

В мастерской вдоль стен стояли сундуки, в простенках – поставцы, забитые большими самодельными книгами, свитками чертежей, кожаными и берестяными коробами для бумаг. Всюду были натканы глиняные чашки и стеклянные баночки с маслами и красками, ступки, туюски, стаканы с ножами и кистями. На полках, где придётся, лежали всякие диковины. Табберт брал в руки, вертел и рассматривал кусок пористой мамонтовой кости, рукоять меча – судя по всему, китайского, потому что у монголов и бухарцев были только сабли, обломок коралла, какой-то древний железный диск с непонятными письменами, окаменевшую раковину, загнутую в спираль, острые и гладкие «чёртовы пальцы», разные минералы: Табберт

узнал друзу хрусталя, пупырчатый желвак самородной меди, кристалл соли, жирный на ощупь булыжник каменного угля, скол бурого агата с радужным изломом. Табберт понял, что знакомство с Ремезовым может принести ему большую пользу.

Новицкий разговаривал с Семёном о букваре, забыв о спутнике. Табберт взял с полки странную бронзовую бляху, покрытую чёрствой окалиной. На бляхе была изображена голова медведя с двумя лапами у носа. Табберт подошёл к Айкони, присел на корточки и на ладони показал бляху девчонке.

– Твой народ делать? – спросил он по-русски. – Что есть это?

Айкони испугалась, глядя на гостя снизу вверх. Табберт улыбнулся и, успокаивая, погладил девчонку по голове, как собачку. Он знал, что местные дикари называются остяками. Русские иногда берут их в услужение.

– Ты остяшка, да? – спросил Табберт.

С дикарями надо обращаться как с детьми. Он ласково вынул из рук Айкони вышивку и с преувеличенным восхищением потрогал пальцем бисер.

– Отшень красив узор, – сказал он. – Ты хороший умелец. На твоё.

Он протянул вышивку обратно Айкони и снова показал бляху.

– Явун-Ика, медведь-старик, – тихо произнесла Айкони и от смущения ненадолго прикрыла вышивкой лицо.

Довольный собою, Табберт поднялся, взял с полки хрупкий китайский веер с журавлями и розовыми цветами вишни и напоказ для Айкони начал томно обмахиваться, как дама, закатив глаза и открыв рот. Айкони смотрела на него во все глаза, не понимая, что делает этот большой усатый человек. Табберт положил веер и взял страусиное перо, сунул его за ухо и горделиво подбоченился, изображая лихого ухажёра. Айкони поняла, что с ней играют, и неуверенно заулыбалась. Она подумала, что высоченный усач, похоже, вовсе не страшный, а добрый и смешной. Айкони была удивлена, что её веселят. Наверное, она очень понравилась этому мужчине. А Табберт снял с гвоздя на стене ржавый арабский шлем с чеканной вязью по ободу, напялил, скорчил зверскую харю и, оскалившись, зарычал. Айкони тихо засмеялась, уже почти влюблённая в великана. Разве настоящие звери так рычат? Так рычат щенята, которые думают, что они в тайге самые свирепые и дикие!.. Табберт вытащил из-под короба порванный шаманский бубен и похлопал им себе по макушке. Айкони не выдержала и снова спрятала лицо за вышивкой. Разве бубном бьют по голове? Бубен поёт под колотушкой шамана, и надо уметь его стучать! Конечно, великан знает всё правильно,

однако показывает всякие потешные несуразности, чтобы ей, Айкони, радостнее было жить!..

Айкони хотелось, чтобы Табберт и дальше забавлял её, но вдруг хлопнула дверь, и в горницу в клубах пара вошёл старый Семульча. Табберт убрал бубен на место и развернул плечи, готовясь к встрече с Семульчой, но успел подмигнуть Айкони и ещё раз погладил её по голове своей широкой ладонью. Волна блаженства потекла по Айкони, будто горячая вода.

– Еле разыскал Петьку, – шаркая ногами по тряпке на полу, сообщил Ремезов. – За Курдюмкой с девками забаловался. Так ему по шее врезал – шапка чуть за Иртыш не улетела... Что за гости у нас?

Ремезов придирчиво сощурился на Табберта.

Взволнованная Айкони не пыталась понять, о чём эти мужчины говорят при знакомстве. Она внимательно наблюдала за Таббертом. Он настоящий князь, это точно! Он не испугался старого Семульчу, который всегда был сердитый и крикливый. Он остался прямым, как копьё, спокойным и полным достоинства! И Семульча признал величие князя: согнал со своего места сына и усадил князя напротив себя, где раньше сидел тот грустный мужчина с серьгой в ухе. Семульча разговаривал с князем как с равным себе и даже слушал его, а ведь Семульча никого не считал равным и никого не слушал!

Семён-младший попрощался с Новицким, тихонько забрал армяк и ушёл из мастерской, а Ремезов увлёкся разговором с Таббертом. На столе перед Ремезовым Табберт разложил мятую тетрадь с зарисовками тех изображений, которые встретил на скале, когда их гнали из Вятки в Сибирь.

– Я рисовать река Вищер, – пояснял Табберт.

– Вишера! – ревниво поправил Ремезов. – Это писаница. Мне брехали про тамошний Писаный камень, но сам-то я не бывал в тех краях.

– Сибирь такой рисование иметь ещё?

– Немало! Мне рассказывали, кто своими глазами видел. У братьев есть утёсы с высеченными картинами, у бороталов тоже, на реке Томи есть, на Енисее, у тайчиутов в степях врыты стоячие плинфы с титлами... А я только единожды встречал – на Ирбите, это река такая. Сейчас покажу тебе.

Семён Ульянович разгорячился, обрадованный возможностью показать свои открытия. На его памяти никто не проявлял интереса к этим загадочным знакам. Ремезов решительно вытащил толстый растрёпанный фолиант в деревянной обложке – свою Служебную книгу. На обложке была выжжена восьмиконечная звезда. Семён Ульянович бухнул фолиант на

стол, раскрыл пополам и принялся листать. Табберт напрягся, увидев на страницах ремезовского труда чертежи извилистых рек.

– Вот! – Семён Ульянович ткнул пальцем в страницу. – Лет десять назад мы с Левонтием перечертили. Со льда зашли, лестницу подставляли.

Табберт сравнивал свои эскизы с зарисовками Ремезова.

– Кто их делать?

– Вовсе понятия не имею! – Ремезов в досаде дёрнул себя за бороду. – Самому страсть как любопытно! Одно ясно – совсем ничего люди не знали.

В тот раз Семён Ульянович с Леонтием и переписчиками ездил в Кунгур и на Чусовую по уговору с дьяком Виниусом, главой Сибирского приказа, но знаки Ремезов срисовал для себя, а не для дьяка. На невысокой скале над Ирбитом каракулями были намалёваны разные человечки, вернее – мужики, потому что со срамными удами. Переносить всё это непотребство на бумагу Семён Ульянович сыну не позволил. Пока они с Лёнькой корячились на шаткой лестнице, Семён Ульянович думал, что одежда – признак стыда, стыд – признак души, душа – признак бога. Ежели те люди, что исписали скалу, не знали одежды, выходит, не знали и бога – не только Христа или Магомета, но даже вогульских и остяцких божков. А про людей, которые никаких богов начисто не знали, Ремезов никогда не слышал. Такого и представить нельзя.

– Это важный ди энтдекунг, находка знания, – веско произнёс Табберт. – Что есть рукописание у тебя, Симон?

– Моя Служебная книга. Всякие памяти заношу о Сибири.

– И карты?

– Да вполовину из чертежей составлена.

– Ты быть большой учёный.

– Куда там мне, самописцу убогому! – тотчас заёрничал польщённый Семён Ульянович. – Живём – горюем, и пришить некому.

А Новицкий сидел на сундуке поодаль от Ремезова с Таббертом и смотрел на Айкони, вышивающую при свете из печки. Григорий Ильич не мог понять, где он раньше уже видел эту остяцкую девчонку. Точно, что не у Семёна Ульяновича, – Новицкий у него не был с Масленицы... И не в поездке с владыкой, потому что Ремезов ещё весной при встрече на базаре говорил, что взял работницу... Но где же? А ведь где-то видел. И тогда она показалась ему очень красивой... Непонимание тревожило Григория Ильича.

– Диточка, а где я тэбе бачив доныне? – осторожно спросил он. – Яко лицэ твое мэне ведомо... Даже боязно. Примарилось, чи ни?

Айкони неловко было от пристального взгляда Новицкого. Ей хотелось

смотреть на Табберта, но она опасалась выдать себя чужаку.

– Ты не бойся, – мягко попросил Новицкий. – Таку пригожу дывчину хто обидэ? Дюже ты менэ сердце растревожув...

За обликом Айкони ему что-то чудилось, будто Айкони двоилась, будто за ней был другой человек – или так отзывалась другая судьба?.. Эти губы, тонкая чёрная прядь, раскосые глаза – словно пьяные или заплаканные... Айкони сжималась. Такие тяжёлые и долгие взгляды мужчин она помнила по своим мукам в неволе. А Григорий Ильич с трепетом думал, что его смутное знание незнакомого человека, возможно, от бога. В этом знании чудилась какая-то грозная тайна, предназначенная ему свыше. Может, господь как-то потихоньку приуготавливал его к чему-то – и словно проговорился?

– Як звати тэбе, диточка?

Айкони не отвечала. Тихий мужчина с серьгой в ухе стал ей невыносим, как близость к опасному зверю. Айкони вскочила и выбежала из горницы.

Холодная ночь зазвенела вокруг неё, она глубоко вздохнула – и сразу напрочь забыла о Новицком. Там, в горнице, находится князь! Он увидел её! Он играл с ней, он знает, что Айкони есть! Боги её любят!

Айкони ссыпалась с крыльца и огляделась. Пустой двор. Снег. Пылают звёзды. В загончике поскуливали псы, которых не отпускали, потому что гости ещё не ушли. Айкони легко побежала к загону, отворила калитку и, смеясь, бросилась обниматься с собаками – с Батыем и Чингизом. Эти зверюги могли разорвать человека, их и держали на подворье, чтобы рвать воров, но Айкони хватала Чингиза и Батыя за мохнатые морды, хватала за острые уши, валила набок на снег и зарывалась лицом в толстую собачью шерсть. Псы вырывались, прыгали вокруг девчонки, щёлкали зубами, делая вид, что нападают, взрыкивали, бодались и лизали ей лицо.

– Ты большая собака! – по-хантыйски говорила Айкони Чингизу и трясла его за грудь. – И ты большая собака! – Айкони трясла Батыя. – Вы оба очень большие собаки! Вы храбрые и сильные собаки! У вас страшный голос Хынь-Ики! Вы по ночам Нуми-Торуму песню поёте!

Айкони просидела с псами до тех пор, пока на крыльцо мастерской не вышли Табберт и Новицкий. Тогда Айкони быстро выбралась из собачьего загона и побежала открывать калитку – она хотела снова увидеть князя.

Новицкий низко надвинул шляпу, чтобы из её тени ещё раз поглядеть на девчонку-остячку, а Табберт, воодушевлённый знакомством с Ремезовым, от избытка чувств потрепал Айкони по покрасневшей щёчке, сунул руку в карман и протянул медную монету.

– Подарок! – сказал он, улыбаясь. – Ты отшень красивый!

Айкони улыбалась в ответ, не зная, куда девать руки.

Она закрыла калитку за гостями, задвинула засов и долго глядела в окошечко, вырезанное в виде сердца, а потом отпрянула, повертела в пальцах монету и с наслаждением принялась тереть ею себя по лицу.

Глава 5

Дела северных варваров

Делами северных варваров – монголов, русских и прочих народов за Стеной – занималась служба Лифаньюань, которую ещё правитель Сонготу уравнил по значению с Шестью великими министерствами империи. Шаншу, верховный начальник Лифаньюаня, вызвал Тулишэня и сказал, что Сюань-Е, император Канси, пожелал, чтобы кто-нибудь из послов написал книгу о России: какие там люди, чем они живут, как служат своему государю и что принимают в пищу. Шаншу решил поручить книгу Тулишэню, потому что знал о его преклонении перед Ли Бо и опытах написания стихов люйши в восемь строк по семь иероглифов. Тулишэнь сшил чистую большую тетрадь на сто четыре листа и на первой странице каллиграфически вывел заглавие: «Записки путешествия послов, в последние края света посланных».

Посольство возглавил тайчжи Агадай. Кроме него, в Россию поехали шесть посланников из числа манчжуров, в их числе и Тулишэнь, – все они были заргучеями из Лифаньюаня, а также китайский торгоут Шугэ, русские торгоуты от Аюки-хана и двадцать слуг. Посольство было присоединено к каравану купца Михайлы Гусятникова. В день Дунчжи караван вышел из северных ворот Пекина, а через сорок дней миновал Стену, пройдя сквозь Башню Прощания с супругой И, и покинул лучезарные пределы Чжунго.

Водить огромные караваны в Китай решались только такие купчины, как Гусятников, – спокойные и отважные. От Москвы до Пекина и обратно тихие обозы шли три года. В сибирских степях на них охотились летучие отряды неукротимого джунгарского тайши Цэрэн Дондоба; суда с грузом могли разбиться на порогах Ангары или утонуть в буре на Байкале; до Аргуни прорывались непокорные халхасские нойоны, не признавшие поражения у Дзун-Мод и одичавшие после самоубийства Галдан-Бошогу в долине Тамир-Гола. Безопасны были только кряжи Большого Хингана. Но овчинка стоила выделки. Каждый караван приносил такую же прибыль, какую за год давала вся Сибирская губерния с её соболиной тайгой и песцовой тундрой, с её мамонтовой костью, красной рыбой и золотом курганов. Жаль, что богдыхан допускал лишь один русский караван в год.

Матвей Петрович Гагарин первым понял всю выгоду китайского торгоа. Двадцать лет назад он стал нерчинским воеводой, а Нерчинск был главной русской крепостью на границе с Китаем. Через Нерчинск в Пекин проехало

российское посольство Елизария Идеса – голштинского негоцианта, друга Лефорта и Виниуса, а значит, и Петра Алексеича. Идес отправился в Пекин узнать, будут ли китайцы соблюдать статьи Нерчинского договора. С собой Елизарий взял две сотни человек – служилых, купцов, промышленников и слуг, а ещё сибирских товаров на четырнадцать тысяч рублей. Промурыжив изрядный срок, Елизария допустили до богдыхана, а русских купцов – до пекинского базара. Канси подтвердил мир с Россией, а купцы наторговали столько, что обратно повезли китайских товаров на тридцать тысяч. Матвей Гагарин, нерчинский воевода, знал, какой кошель Идес потихоньку пронёс за пазухой мимо царской казны. Сразу после Елизария царь приказал снаряжать караваны в Пекин, однако весь китайский торг забрал под свою руку.

Но у воеводы Гагарина остался китайский друг – сяогунь Тулишэнь, который провожал Идеса до Нерчинска. И все годы, прошедшие с тех пор, Матвей Петрович поддерживал отношения с Тулишэнем: отправлял ему с караванами свои товары и получал такую плату, что дружба не остывала.

И вот – посольство! Никогда ещё китайские богдыханы не отправляли в Россию послов, а Сюань-Е взял да отправил, да ещё и с Тулишэнем. Удача сама шла в руки Матвею Петровичу. Одно дело – захудалый нерчинский воевода и мелкий китайский дьяк, другое – сибирский губернатор, даотай и дзянгун по-китайски, и заргучей из могущественного Лифаньюаня. Матвей Петрович готовился к встрече. По его указу в Селенгинске китайский караван приняла под защиту команда поручика Якова Бейтона и сопровождала до Иркутска, а там передала тобольскому полуполковнику Прокофию Ступину. Ступин и охранял купцов и послов до самого до Тобольска.

Когда на ледяной дороге Иртыша появился караван, идущий мимо Сузгуна, с Троицкого мыса ударили орудия. Посольский обоз катил впереди, чтобы купцы и грузы не мешали государственным людям. Послы ехали в длинных расписных санях; слуга сидел за ямщиком и держал знамя заргучея с витыми зубцами, а заргучей лежал в кузове в огромной шубе, сшитой из каких-то пушистых хвостов на китайский лад – так, что напоминала меховую шишку. Шквадрон из служилых полковника Чередова встретил китайский обоз с хоругвями и поскакал впереди по два всадника в ряд. Ещё триста служилых выстроились вдоль взвоза и улиц и стреляли в небо из мушкетов.

Послов поместили на Посольском дворе. Вечером Матвей Петрович пригласил важных гостей в свой дом на почётную трапезу. Для такого дела даже подпилили ножки у больших столов, чтобы получилось не так высоко,

как у русских, но и не так низко, как у китайцев. Матвей Петрович позвал на застолье Бибикова, Чередова, обер-комиссара Капустина, полуполковника Ступина, Гусятникова, а ещё для представительности – купцов, попов и фон Вреха. Дитмер стоял за спиной губернатора. Тоболяки получили от Матвея Петровича суровое предупреждение не пялиться на чужеземцев, раззявая рот.

Китайцы явились в удивительных одеждах: цветные халаты с хитрыми узорами были запахнуты наискось внахлёст, а на плечах лежали парчовые воротники с вышивкой. По рисункам на квадратных нагрудниках – буфанах – Матвей Петрович определил, что послы по чину где-то посередке лесенки китайской чести, и перья на гунмао – круглых бархатных шапочках – тоже были недорогие, фазаньи. Узкоглазый толмач встал рядом с Дитмером за спиной князя и переводил чистой русской речью. Китайцы сначала часто кланялись, а потом подпили медовухи, успокоились и навалились на ужин, ловко хватая длинными тонкими палочками пельмени и солёные рыжики. Матвей Петрович украдкой присматривался к Тулишэню. Он изменился – потолстел, стал важным и медлительным. Что ж, никто не молодеет.

Старший посол Агадай рассказал даотаю Гагарину, для чего снаряжено его посольство. Двоюродный племянник калмыцкого Аюки-хана тайчжи Арабджур поехал с Волги в Лхасу и Пекин и застрял при дворе богдыхана на пятнадцать лет. За это время император Канси поссорился с джунгарами, по землям которых следовало возвращаться Арабджуру. В заботе о сохранности Арабджура император повелел договориться о проезде племянника через русские крепости в Сибири. Посольство спешило сообщить об этом Аюке.

«Врёшь ты всё, косоглазый, – думал Гагарин, сочувственно поддакивая послу. – Плевал ваш богдыхан на какого-то там калмыцкого племянника. Не для него тебя послали в такую даль, куда никто не ездил. И главный – не ты».

Матвей Петрович заметил, как заргучеи относятся к Тулишэню. Никто не берёт закуску с того блюда, с которого берёт Тулишэнь. Никто не жуёт, если не жуёт Тулишэнь. Прячут правду, собаки. Китайцы всегда скрытные.

– А поедет ли ваше посольство до нашего государя? – спросил Матвей Петрович. – На Москве царя сейчас нет, до Петербурга придётся гнать.

– Господин старший посол говорит, – переводил толмач, – что его посольство поедет к русскому властителю, если тот сам пригласит послов.

– Как же он пригласит, если ваш богдыхан наших послов не принимает?

С русскими послами была главная беда. Богдыхан требовал совершать перед ним «коутоу»: чтобы при подходе к его персоне посол трижды падал ниц и трижды бил лбом в пол. Это означало полную покорность. Но русское государство не изъявляло покорства китайской державе, и послы не желали делать «коутоу». Челобитью воспротивился ещё первый русский посол Фёдор Байков, который прибыл в Пекин по указу царя Алексея Михайловича почти шестьдесят лет назад. Китайцы чуть ли не год держали посольство Байкова взаперти, вынуждая показать богдыхану «коутоу», грозили казнить всех пришлецов, но Байков не согласился встать на колени. Тогда богдыхан отказал в приёме, и посланников вышвырнули из Пекина. Дружба между царём и богдыханом не сложилась. И с тех пор ни один из немногих русских послов так и не сделал позорное «коутоу». Ни один, кроме Елизария Идеса. А Елизарий не в счёт – он немецкой породы и не подданный царя.

Но что это за посольство – первое посольство из Китая в Россию! – если послы вовсе не собираются увидеть царя? Что за посольство, если оно за тысячи вёрст едет к степному Аюке-хану, будто в России и нету никого поважнее? Матвей Петрович решил завтра расспросить обо всём у Тулишэня.

Утром Тулишэнь сам прислал к Матвею Петровичу своего толмача и пригласил на встречу в Гостиный двор. Матвей Петрович собрался и пошёл.

- Откуда по-русски умеешь? – по пути спросил он у толмача.
- У меня отец русский, господин правитель.
- Сын албазинца, значит? – догадался Матвей Петрович. – Как зовут?
- Кузьма Чонг, господин правитель.
- Почему Чонг?
- Так сяогунь записал, – пожал плечами Чонг.

Гостиный двор, построенный Ремезовым, напоминал малую крепость: четвероугольник торговых рядов с четырьмя круглыми башнями. Но глухие стены Ремезов продырявил мелкими лукавыми окошками, а башни украсил ярусами стекающих арочек-машикулей и зубцами «ласточкин хвост», и всё здание сразу обрело весёлый игрушечный вид. На въезде возвышалась кубическая шатровая башенка с таможней, на выезде – такая же башенка с часовней. Вокруг Гостиного двора стояло множество заснеженных за ночь гружёных саней китайского каравана, на санях сидели и зевали сторожа. На площади гомонила толпа, словно весь Тобольск припёрся поглазеть на китайские диковины. Гагарин и Чонг протолкались к воротам.

Торговые ряды были обращены внутрь Гостиного двора двумя ярусами

аркад. В нижнем ярусе помещались лавки, и все проёмы тут были завешаны пёстрыми китайскими тряпками и заставлены столами с товаром. На верхнем ярусе, свободном, жили купцы. В глубоких сводчатых подвалах находились склады. Гостиный двор был забит народом, над сутолокой кое-где торчали головы верблюдов. Работники разгружали сани: таскали тюки и коробка, мешки и свёртки, сталкивались друг с другом и ругались; орали приказчики; кто-то с кем-то обнимался после разлуки; любопытные лезли во все дыры, спрашивая о чём-то невпопад; шныряли воры; стражники хватали кого-то за шиворот; подьячие пересчитывали то одно, то другое. Матвей Петрович заметил, как часто в этой суматохе мелькают полосатые халаты бухарцев. А вон и сам Ходжа Касым – командует носильщиками.

– Чай, табак и пряности неси в лавку Нуримана! – по-чагатайски говорил Касым. – Бумагу и шёлк – к старому Фархаду! Стекло и медь – Асфандияру!

Касым увидел Гагарина, улыбнулся и поклонился.

Через толпу к Матвею Петровичу пробился растрёпанный Бибилов.

– Матвей Петрович! Милостивец! – задыхался он. – Что случилось? Чем недоволен? Пойдём ко мне в таможню! У меня все листы записаны, буква к букве, всё покажу!

– Да не кудахчи ты, Карпушка, – поморщился Гагарин. – Что здесь у тебя бухарцы делают?

– Дак они завсегда с китайским караваном ходят, Матвей Петрович! У них обоз огромный! Всю пошлину до копейки платят!

– Как разгрузятся, пусть твои стражники возьмут их лавки под караул, – негромко приказал Матвей Петрович. – Чтоб и чайники тут не продали!

– Всё исполню! – заверил Бибилов.

– Нам навстречу, господин правитель, – вежливо напомнил Чонг.

Тулишэнь ждал Матвея Петровича в совершенно пустой сводчатой камере, где стояли только две голые скамьи. Тулишэнь согнулся в поклоне.

– Ни хао, даотай Матвей, – почтительно сказал он.

Матвей Петрович движением плеч сбросил шубу на пол, шагнул вперёд и вопреки всем церемониям обнял Тулишэня.

– Здравствуй, старый друг! – сердечно ответил он.

Семнадцать лет, прошедшие со времён воеводства в Нерчинске, Матвей Петрович поддерживал отношения с Тулишэнем. Дело было, конечно, не в дружбе. С китайскими караванами Матвей Петрович посылал Тулишэню в Пекин свою пушнину и в обмен получал смарагды с тайных императорских копей Шаньдао. Матвей Петрович отгонял от посылок

русские таможни, а Тулишэнь – китайские. За все годы Тулишэнь ни разу не обманул.

Матвей Петрович и Тулишэнь опустились на скамейки, с улыбкой глядя друг на друга. Чонг задвинул на двери засовчик. Тулишэнь что-то сказал.

– Господин посланник поздравляет вас с должностью наместника Сибири, – перевёл Чонг.

– Чин немалый, – согласился Гагарин. – Но ты спроси своего заргучея, что за посольство у него. От меня можно не прятаться. Всё одно я узнаю.

– Ветер несёт пески Такла-Макан на Сицзан, – перевёл Чонг.

– Так я и думал, – озабоченно сказал Гагарин.

Такла-Макан – пустыня, которую джунгары отбили у китайцев. Сицзан – Тибетский хребет, где стоит священный город Лхаса. Джунгары хотят отнять Лхасу у Китая и готовят новую войну с богдыханом. Всё понятно.

Матвей Петрович ещё с Иркутска и Нерчинска следил за передрягами в Азии. Главными зачинщиками беспокойств были джунгары – ушедшие из Монголии монголы. Они захватили горы Куньлунь на северо-западе Китая и казахские степи Семиречья. Их ханство возглавлял контайша Цэван-Рабдан.

Джунгары враждовали с китайцами, точнее, с манчжурами, которые подчинили себе Китай и Монголию и утвердили династию Цин; к ней принадлежал богдыхан Сюань-Е – император Канси. С русскими джунгары грызлись то за братьев-бурятов, то за остроги на южном подбрюшьи Сибири. Дружили джунгары лишь с калмыками – своими кровными родственниками. Калмыки кочевали по русским степям от Дона до Тобола. Ими владел старый и мудрый Аюка-хан. Дочь Аюки была в гареме Цэван-Рабдана. Аюку-хана жаловал сам царь Пётр, и Аюка платил верностью русскому престолу.

Лет десять назад дружба между калмыками и джунгарами развалилась. Один из сыновей Аюки, тайша Санчжаб, поссорился с отцом и бежал в Джунгарию с пятнадцатью тысячами кибиток. Цэван-Рабдан не пожелал принять сына, восставшего против отца, отнял кибитки и прогнал Санчжаба. Но Аюку оскорбило такое непочтение к его сыну, пусть и мятежному. Хотя до войны калмыков с джунгарами дело пока не дошло.

– Богдыхан желает натравить калмыков на джунгар и разгромить Джунгарию ударом с двух сторон? – спросил Матвей Петрович.

– Господин посланник говорит, что вы всё верно поняли, господин даотай, – перевёл ответ Тулишэня Чонг.

– Аюка верен царю Петру. Он не пойдёт на джунгар без его дозволения. А царь не даст дозволения, потому что нам война с джунгарами не нужна.

– Господин посланник говорит, что ваше государство получит большую выгоду от войны калмыков с джунгарами. Император Канси обещает мир для России, и вы можете забрать то войско, что стоит на Амуре против Албазина, для войны со своим врагом на севере.

– Не так уж и много войска на Амуре.

– Ещё император Канси согласен отдать России свой город Яркенд в пустыне Такла-Макан, который сейчас захвачен джунгарами.

– На кой пёс нам ваш Яркенд? Он же маленький.

– Там моют золото.

Матвей Петрович ожесточённо поскрёб щёку. Золото – это хорошо.

– Ежели России такая выгода, почему же богдыхан или Лифаньюань не пошлёт об том лист царю Петру? – с подозрением спросил Гагарин.

– Русский царь отвергнет предложение богдыхана.

– С чего это?

Тулишэнь полез в ворот своего халата и вынул небольшую округлую пластинку из золота, висевшую на шнурке у него на шее. На пластинке были изображены два кусающих друг друга тигра.

– Это императорская пайцза Дерущихся Тигров. Она означает приказ идти на войну ради богдыхана. Тот, кто принимает пайцзу, признаёт себя слугой богдыхана, исполняющим приказы повелителя.

Матвей Петрович гневно засопел. Конечно, Пётр Алексеич не потерпит такого бесчестия. Принять эту пайцзу – всё равно что сделать «коутоу». Даже хуже. Чёртовы китайцы! Всё у них не как у людей!

– А нельзя ли попросить царя Петра без этой дряни?

– Господин посланник просит прощения за свои слова, – заговорил Чонг, и Тулишэнь поклонился, прижав руки к груди. – Он лишь объясняет образ мысли своего властелина. Все государства, кроме Срединной империи, – варварские державы. И Россия тоже страна варварская. Богдыхан не может договариваться с варварами как с равными себе. Варварам богдыхан может только приказывать. Иначе солнце взойдёт на западе и сядет на востоке. Если кто-либо нападёт на джунгар, не приняв пайцзы, богдыхан сочтёт это нападением на Китай, потому что джунгары захватили земли Китая.

– Вам спесь дороже победы, – сказал Матвей Петрович.

– Господин посланник говорит, что посланники нужны как раз для того, чтобы сделать дело, не уронив чести властелинов. Если царь Пётр

прикажет Аюке взять пайцзу и пойти на джунгар, в том не будет оскорбления его царскому достоинству. Господин посланник Тулишэнь просит вас, господин даотай, склонить вашего царя к этому мудрому и выгодному решению. А вы будете довольны благодарностью богдыхана и господина посланника.

Матвей Петрович думал, терзая бороду. Петра Алексеича на такой мякине не провести, он всё равно почует унижение. Да и зачем России истреблять Джунгарию? Китай – очень сильная и очень хитрая держава. А Джунгария – щит между Китаем и Россией. Не станет Джунгарии – Китай придвинется к России вплотную: все сибирские города – Тюмень, Тара, Томск, Красноярск, Иркутск – станут пограничем. Албазин уже однажды был пограничем, и теперь на пустырях Албазина воют степные волки. На кой ляд это нужно?

– Ради нашей дружбы, Тулишэнь, я напишу царю Петру письмо и буду склонять его поступиться Аюкой, – соврал Матвей Петрович, глядя в узкие и умные глаза Тулишэня. «Шиш, не обхитришь», – думал он. Никогда он не напишет такого письма и не станет уговаривать царя помогать богдыхану.

– Господин посланник говорит, что после войны с Джунгарией господин даотай станет самым богатым человеком в своём государстве.

«Самым богатым человеком без башки», – подумал Матвей Петрович.

– Господин посланник приказывает мне выйти, – сказал Чонг.

– Ну так выйди, Кузьма.

Чонг поклонился Гагарину, отодвинул засов на двери и вышел.

Тулишэнь поднялся с лавки, задвинул засовчик обратно, вынул из просторного рукава халата шёлковую коробочку и с поклоном протянул её Матвею Петровичу. Матвей Петрович откинул крышку. В коробочке сияли изумруды из копей Шаньдао – плата за пушнину, которую князь Гагарин отправил Тулишэню мимо таможи с караваном Михайлы Гусятникова. Тулишэнь улыбнулся, увидев удовольствие Гагарина. Всё было понятно без толмача. Пусть царь и богдыхан бодаются лбами, а у них своя выгода.

– Благодарю, Тулишэнь! – князь Гагарин встал и снова обнял китайца.

– Ста-рий дру-га, – ответил Тулишэнь по-русски.

Выходя от Тулишэня, Матвей Петрович думал о том, что китайское посольство обернётся до Аюки-хана и назад примерно за полгода. К этому времени в Тобольск из Москвы прибудет следующий китайский караван. Надо соединить Тулишэня и караван, чтобы Тулишэнь увёз с собой новый груз пушнины. Для Матвея Петровича от такого прямого и беспошлинного торгового выгода была раза в три выше московской цены. Золотое дно!

Матвей Петрович не обращал внимания на толчею Гостиного двора, но

у таможенной башни его остановил Ходжа Касым.

– Чем ты разгневан на меня, господин? – с напором спросил Ходжа.

Матвей Петрович не понял, о чём речь.

– Почему все мои лавки ты взял за караул, и не даёшь мне продавать?

Матвей Петрович вспомнил о своём приказе Бибикову.

– Потому что все твои товары с китайского каравана я беру в казну по казённой цене. Скажи спасибо, Касым, что хоть казённую цену даю. Мог бы совсем ничего не дать, а тебя в холодную посадить!

– За что такая немилость, господин? – Касым сдерживался, но в глазах его блеснула ненависть. Своей властью князь Гагарин ужимал его везде, где сталкивались их интересы. Конечно, зачем губернатору такой соперник?

– Вы, бухарцы, в китайский торг больше соваться не смейте.

– Бухарцы всегда торговали с Китаем!

– А отныне – всё! – отрезал Гагарин. – Отторговались! В караваны соседиться я тебе запрещаю. Все дела с караванами я один поведу.

Шибко уж вольготно устроились эти бухарцы в Сибири. Все лучшие куски – у них. Пора посадить азиатов на хлеб и воду.

– Я на тебя жаловаться вашему царю буду, – зло предупредил Касым.

– Да хоть зажалуйся, – спокойно сказал Матвей Петрович, отодвигая Касыма с дороги. – Кто поверит махометанину против русского губернатора?

Глава 6

Богдойский албазинец

В Софийском соборе Ремезов увидел Кузьму Чонга. Народу в храме было немного, и сразу бросалось в глаза одеяние посольского толмача: яркий жёлтый халат непривычного покроя и чёрный бархатный нагрудник с цветной вышивкой – должностной знак. Чонг изумлённо озирает огромный, освещённый свечами иконостас собора и крестился двумя перстами.

– Знаменье положено класть щепотью, – подходя, негромко сказал Ремезов и показал Чонгу пальцы, сложенные в щепоть.

– Я не знал, мой господин, – виновато ответил Чонг по-русски.

– Ты китаец?

– Здесь – китаец, а в Китае меня считают русским, – улыбнулся Чонг. – Мой отец – пленный из Албазина.

– Значит, теперь и богдойские албазинцы есть, – хмыкнул Ремезов.

– Что значит богдойские, мой господин?

– Богдойские – люди богдыхана. Не называй меня господином, у нас так не говорят. Я тебе дядя Семён буду. От отца православный?

– Да, дядя Семён. Я первый раз в жизни в каменной церкви.

– В Иркутске, вроде, тоже каменная.

– Закрыта была. Что-то там рухнуло.

– Приходи ко мне, – сказал Ремезов. – Накормлю по-человечески, про Китай и Камбалык расскажешь. Я Ремезов, архитектор тобольский.

Семён Ульянович всегда старался затащить к себе любого, кто мог поведать что-нибудь интересное о чужих землях, – купца, промышленника, казака-землеходца или подьячего при посольстве. У него в гостях бывали и лукавые бухарцы, и горделивые джунгары. Душевный разговор с глазу на глаз, да ещё и под бражку, был лучшим способом узнать о дальних краях.

Двенадцать лет назад Семёну Ульяновичу повезло два дня допрашивать самого Володьку Атласова. Свирепый был мужик. Он ехал из Якутска в Москву и вёз диковинного пленного человека Денбея из морской страны Епон. Атласов пил брагу, как квас, и рассказывал про страну Камчатку, про водяных коров и огнедышащие горы. Семён Ульянович упросил воеводу Черкасского сломать якутскую печать на «сказке» Атласова о камчатских делах и переписал «сказку» для себя. В прошлом году Матвей Петрович сообщил Ремезову, что потом стряслось с Володькой: вернувшись в Якутск, он угодил в тюрьму, просидел на цепи

три года, но выбрался; затем на своей Камчатке разворовался и озверел, и свои же казаки зарезали его. А епонского Денбея в Москве пожаловал сам царь Пётр; Денбей принял святое крещение, жительствовавший у князя Гагарина и служил в Артиллерийском приказе.

В Тобольской Приказной палате дьяки знали о странной причуде архитектора и порой давали почитать старые казённые грамоты: «допросные речи» охочих людей, «доезды» служилых полковников и «сказки» казачьих атаманов. Всё самое важное Семён Ульянович старательно переписывал в свои сочинения: про жизнь инородцев – в «Описание сибирских народов», про землю, горы и реки, про деревья и зверей – в «Служебную книгу», а если попадались чертежи, то перерисовывал их в «Хорографию» – сборник чертежей. Никто Ремезову эту работу не поручал, никто за неё не платил, да никому она и не была нужна, но Семёна Ульяновича сжигало любопытство.

Таинственным Китаем он увлёкся уже давно. Когда Семёну Ремезову было восемнадцать, в ссылку привезли хорвата-книжника Юрью Крижанича – он показался чем-то подозрителен царедворцам, и его на пятнадцать лет упекли в Тобольск. В конце своего царствования Алексей Михайлович направил в Китай посольство грека Микулая Спафария. Когда до Крижанича дошёл слух, что скоро прибудет посольство, хорват быстро написал для Спафария целый трактат о державе Богдо – «Письмо о китайском торгу». Сей трактат Спафарий увёз с собой в Пекин, чтобы изучать по дороге. Вернулся грек через полтора года. Крижанича в Тобольске уже не было: его отпустили. И Спафарий отдал рукопись Ульяну Ремезову, отцу Семёна. Вот так Китай и зацепил Семёна Ульяновича. Но Крижанич свои сведения о Богдо добывал у бухарцев, ездивших туда по купеческим делам, а у Семёна Ульяновича сейчас была возможность поговорить с почти настоящим китайцем.

Кузьма Чонг пришёл в гости. Семён Ульянович посадил его за стол по правую руку от себя. Ефимья Митрофановна и Варвара напекли рыбных пирогов, а Машка, покрасневшись, металась от печи к столу и восхищённо поглядывала на молодого Чонга. Китаец, свободно говорящий по-русски, выглядел будто оживший идол. Чонг смущался от внимания Ремезовых.

– Ну как тебе у русских, Кузьма? – спросил Семён Ульянович с такой гордостью, словно это он сам соорудил Россию.

– Мне тут удивительно, – признался Чонг. – Здесь всё такое... большое, крепкое, толстое... В Пекине сыхэ малые, дворики тесные, инби на три шага. Стенки из сушёного кирпича, а перегородок нет, вместо них косяки с натянутой бумагой. Сидят и лежат на полу на циновках. Всё

разноцветное.

– И албазинцы так живут? – спросил Леонтий.

– Богдыхан не позволил им строить русские избы, но отвёл готовую китайскую слободку. Да ведь они уже двадцать пять лет в плену, привыкли.

– А правда, что китайцы спичками едят? – краснея, спросила Маша.

– Правда, – улыбнулся Чонг.

– Покажи! – тотчас влез Петька.

– Щас как дам в лоб, – предупредил Петьку Ремезов.

– Меня отец приучил к ложке, а мать – к палочкам.

– А как твою матушку зовут? – спросила Маша.

– Лиджуан. Это значит «стройная».

– Лиджуан, – шёпотом, как волшебный заговор, повторила Маша.

– Расскажи, Кузьма, лучше про Албазин, – солидно предложил Ремезов. – Что там было и как наши насмерть стояли.

Нелады с богдойцами у русских начались ещё с Ерофея Хабарова, который первым вышел к Амуру. Амурских инородцев – дючеров и дауров – казаки обложили ясаком, но эти инородцы уже платили дань богдыхану. Китай оскорбился и выслал воинские отряды, а казаки лихо разгромили их и продолжали рыскать по Амуру, для защиты построив Кумарский острог. Тогда Лифаньюань приказал дючерам и даурам переселиться в Манчжурию на реку Хургу поближе к крепости Нингута. Амур опустел. Кормить казаков стало некому. За продовольствием казаки сунулись вверх по реке Сунгари, но у селения Фугдин китайцы разбили их залпами из пушек. На другой год войско богдыхана осадило Кумарский острог. Казаки пересидели орудийный обстрел и отразили навалы приступ. Китайцы отступились от острога, но не от Амура, и ещё несколько лет подряд неумолимо долбили казачьи отряды по всей Даурии. И русские ушли с реки, где не осталось жителей.

– В Кумарском остроге у меня дед воевал, – сказал Чонг.

– Мы про Кумару тоже помним, – важно кивнул Семён Ульянович. – У нас в Невьянской слободе сказитель есть – Кирша Данилов, так он сложил былинку о той обороне. Тебе Сенька переписшет, ежели я изборник найду.

– Продолжай, Кузьма, – попросил Леонтий.

Вскоре упрямые казаки вернулись на Амур. Неподалёку от слияния Шилки и Аргуни они выстроили острог Албазин. В ответ китайцы начали готовить удар по русским: они соорудили на Сунгари опорную крепость Гириин. После этого в Пекин поехал посол Микулай Спафарий – но не сумел замирить царя и богдыхана. Казаки дерзко учредили в Даурии Албазинское воеводство. Оскорблённый богдыхан двинул на Амур – на

реку Чёрного Дракона – войско чжангиня Лантаня, вооружённое «ломовыми» пушками.

В 24 году лучезарной эры Канси, в 1685 году от Рождества Христова, войско Лантаня на судах подошло к Албазину – китайцы называли его Якса. Острогом командовал воевода Лексей Толбузин. Лантань обложил крепость со всех сторон. Китайцы принялись гвоздить Албазин из больших и малых пушек. Ядра повалили частоколы и проломили стены башен. Загорелись амбары и церковь. В рытвины среди развалин упали сотни убитых казаков. Китайцы поднялись на приступ. Но дымящиеся земляные кучи, из которых торчали расщеплённые брёвна, вдруг затрещали пальбой из русских фузей. Приступ захлебнулся. Обозлённый Лантань велел закидать рвы хворостом и сжечь Албазин. Тогда воевода Толбузин согласился на переговоры о сдаче острога. И Лантань честно пропустил уцелевших казаков в Нерчинск.

– Тот Толбузин нашему кем приходится? – спросил Леонтий.

– Дядькой двоюродным, – пояснил Ремезов.

В Нерчинске воеводу Толбузина ожидало подкрепление: повёрстанные нерчинские казаки, иркутские рейтары удинского приказчика Афони Бейтона и московские пушкарники с пушками. Воевода принял это войско и вернулся на пепелище Албазина, откуда только что ушло войско Лантаня. Толбузин принялся поспешно восстанавливать острог. Бейтон посоветовал не делать частоколы с башнями, а соорудить засыпанные землёй срубы – бастионы- «бастеи» и раскаты-«болверки», а подступы утыкать железными косами – «чесноком». К зиме непокорный Албазин возродился. Русские мёртвой хваткой вцепились в хвост Хэйлунцзяна – китайской реки Чёрного Дракона.

Император Канси вызвал чжангиня Лантаня во дворец Ганьцингун и приказал вышвырнуть русских с Амура. Летом Лантань вновь привёл к стенам Албазина трёхтысячное войско. Казаки стойко отражали приступ за приступом и сами выбрасывались из крепости, чтобы разрушить штурмовые сооружения китайцев. Китайцы беспощадно бомбили Албазин из лунпао – пушек-драконов. Ядро оторвало ногу воеводе Толбузину, и он истёк кровью. Командование перешло к Бейтону. Албазин отчаянно отбивался всё жаркое даурское лето. Осенью Лантань дважды бросал своё войско на крепость, но осатаневшие казаки отстрелялись из пушек и отмахались саблями.

Из Москвы в Пекин договариваться о мире улетело посольство, но пока послы и гонцы преодолевали тысячи вёрст, Албазин стоял в осаде. В нём бушевала цинга. Умерло пятьсот казаков, осталось полторы сотни.

Бейтон ковылял по «бастеям» и «болверкам» на костылях. Но джангинь Лантань об этом не знал. Лишь весной он получил указ императора отступить. Китайское войско угрюмо погрузилось на суда и поплыло в крепость Нингуту. А в Албазине к тому времени держать оружие могли только двадцать человек.

Ремезовы слушали про Албазин, затаив дыхание. Семён Ульянович сжимал деревянную ложку в кулаке, Леонтий драл бороду, Семён незаметно крестился, а Петька от восторга разинул рот. Маше хотелось кинуться на Чонга, обнять его и жалеть, будто это сам Чонг воевал в Албазине, а Ефимья Митрофановна, пригорюнившись, прижала ладошку к щеке: мать божья, на какие страсти мужики себя обрекают.

– Мой отец среди тех двадцати был, – сказал Чонг. – Он уже потом в плен попал, через два года, когда китайцы пришли сносить Албазин.

– Да... – задумчиво проскрипел Семён Ульянович. – Пойдём, Кузьма, в мастерскую ко мне. Выпьем по чарке за упокой праведных воинов. Марeya, а ты сбегай за Филипой Таббертом, он тоже хотел про Китай поговорить.

Семён остался, а Ремезов-старший, Леонтий и Кузьма Чонг перебрались в мастерскую, где Аконька уже протопила печь. Кузьма с благоговением рассматривал книги, свитки и диковины, а Семён Ульянович достал бутыль и три кружки, налил всем – но себе поменьше – и уселся за стол, деловито раскладывая перед собой бумагу и перья. Попутно он объяснял:

– Ты не бойся, Кузьма, это не допрос. Я землеописания люблю, книгу составляю, терзаю всех бывальцев и на листы заношу. Вот и тебя помучаю. Садись ближе. Ну-ка, скажи, правда ли, что в Китае есть огромный дудник, который растёт суставами по аршину в день и бывает высотой с дерево?

– Правда, дядя Семён.

Семён Ульянович торопливо записывал: «Возле Жёлтого моря растёт трость коленцами высотой в десять сажен. Белки чёрные, лисы белые, белых зайцев нет. Живут слоны, львы и медведи, барсы и бабры, облезьяны, ергачи. Кошки разноцветные, но все мелкие. Ульев не знают. Зима три месяца, летом знойно. Печи топят чёрным камнем, который перемешивают с грязью, и воздух от того тяжёлый. Чтобы объехать весь Китай, надо десять лет. Всего в государстве 13 углов, в каждом углу – 13 тысяч городов и городков. Страна с полуночи обнесена высокой стеной толщиной в разъезд двух телег. Бог – болван Барахман. Есть Далай, он живёт как луна: месяц – дитя, полная луна – муж, луна убудет – он умрёт и скоро снова возродится. Пишут на досках и скалках, на атласах и китайках, а посуду красками мурамят».

Леонтий не вмешивался, слушал и пытался представить удивительную жаркую страну, всю в зелени, где поля из жидкой грязи, где пашут на быках, где любого подъячего почитают за князя, а крышам на избах загибают углы, где великий богдыхан показывается народу только раз в год, а на лодках – перепончатые паруса, где выращивают чай и траву думбаго, навевающую морок, где мужики одеваются как бабы, а бабы мажут лица белой краской.

Ремезов уже устал, когда пришёл Табберт.

– А! – обрадовался Семён Ульянович. – Это Филипа, шведский человек! Знакомься – это Кузьма Чонг, толмач заргучея.

– Капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг.

Чонг не понял ни слова, но поклонился.

– Филипа, понимаешь, хочет знать дорогу в Китай, – Семён Ульянович встал, вытащил из поставца карту и расстелил её на столе. – Покажи ему, Кузьма, как ваш караван шёл. Это я с чертежа Спафария срисовал.

Леонтий подвинул Табберту скамейку. Чонг долго изучал карту.

– Давай с Гирина, – подсказал Ремезов.

– От Пекина до Гирин-ула ведёт хорошая дорога, – неуверенно начал Чонг, – а дальше мы на цзоу гэплыли по Сунхуацзян до Хэйлунцзяна.

– По Сунгари до Амура, – перевёл Ремезов.

– От Албазина плыли вверх по реке, на которой стоит город Нибучоу.

– От Амура вверх по Шилке мимо Нерчинска до Иногды, – снова перевёл Ремезов. Он перегнулся через плечи сидящих Табберта и Чонга и ткнул в карту пальцем. – С Иногды – волок на Уду. Уда впадает в Селенгу.

– Не спешить, Симон, – попросил Табберт.

– Спафарий также шёл, только от Албазина в Китай – по Аргуни.

– По реке Сянь-э-хэ мы добрались до Бэй-хай, пересекли его и оказались в городе Иркутске.

– По Селенге в Байкал, через Байкал – в Ангару.

– Это есть путь всегда, – сообразив, сказал Табберт. – Вот так, – он тоже повёл пальцем по чертежу. – Ангар, Энни... нисай... Волочить земля до острог Маковц... ский... ауф дем флюс Кетть, данн Обь унд верх Иртыщ.

– Ну, всё верно, – согласился Ремезов.

Леонтий смотрел, как Табберт и Чонг склоняются над чертежом отца, и думал: Швеция и Китай – они в разных концах света, но вдруг встретились здесь, в мастерской. Таков уж человек его батюшка Семён Ульяныч.

– Другой путь хочу знать, – сказал Табберт. – Путь Иртыщ.

– Я не ведаю, мой господин, – глядя на Табберта, Чонг виновато пожал плечами. – Я в первый раз в таком дальнем походе, и не я проводник.

– По Иртышу – старая дорога. По ней в Китай ходил Федька Байков, самый первый наш посол.

– У тебя есть его... э-э-э... отчитывание, Симон?

– В Приказной палате был список, да мыши съели.

Из Тобольска посольство Байкова поплыло вверх по Иртышу. Иртыш выпал в степи. Посольство миновало торг на солёном Ямыш-озере и город Доржинкит с семью древними каменными храмами, потом достигло озера Зайсан – мелкого и просторного, заросшего непролазными камышами, в которых, как описывал Спафарий, жили птицы вроде крокодилов. От Зайсана Байков продолжал плыть по Чёрному Иртышу, пока река не иссякла, и дальше на верблюдах посольство ползло через ущелья Мугальского Алтая и великие мёртвые пески пустыни Гоби. Джунгарская тропа привела в Синий город Хухэ-Хото, выстроенный вокруг монастыря Их-Зуу с драконом на площади. Из Синего города наезженная дорога шла в город Калган, стоящий у Китайской стены; здесь в Стене были ворота для пропуска варваров.

– Путь Байкова описан Спафарием, – сказал Табберту Ремезов. – Но сам-то Микулай новую дорогу проторил – нынешнюю, через Нерчинск.

Микулай Спафарий, учёный православный грек, служил при валашских князьях, данниках султана, и колесил от Швеции до Турции. За какие-то плутни ему отсекли кончик носа. Неведомым ветром Микулая занесло в Москву, и царь Алексей Михайлович почему-то назначил его посланником в Китай. Дело своё у богдыхана Микулай провалил, да ещё и проворовался, но зато начертил карту своих странствий и написал о них книгу.

– Царь указал Микулаю дорогу в Китай через Астрахань разведать, чтобы водным путём доплывать, но Микулай не разведал, – добавил Ремезов.

– У тебя есть его книга, Симон?

– На Софийском дворе список был, я сам его читал. Пускай тебе Гришка Новицкий у владыки Иоанна попросит.

Леонтий заметил, что Чонг остался в стороне от разговора. Он встал и долил браги себе и албазинцу.

– Выпей со мной, Кузьма. Ты женатый?

– Симон, а иметь ещё другой ходок? – допытывался Табберт.

– Да есть, понятно. Джунгары от Доржинкита гоняют стада в Кашгару и Яркенд. Это китайские города, которые степняки у богдыхана отняли.

Стоят на краю пустыни Такла-Макан на Шёлковой дороге. Она от Яркенда через плечо горы Мустыг уходит в Китай до ворот в Стене. Раньше так бухарцы ходили, а теперь джунгары там распоясались, и караванов больше нет.

– А спросить кто ещё, Симон?

– Ну настырный же ты, Филипа! – Ремезов раскладывал на столе уже другую холстину с чертежом. – Вот смотри – Ямыш-озеро возле Иртыша. Когда албазинское дело было, шестеро наших тоболян гоняли с джунгарами в китайский город Шургу. Ехали с посланцами Номон-хана шесть недель до улуса, оттуда – ещё два месяца. За коим бесом они поёрлись без проезжих грамот от воеводы – не знаю. Их потом крепко расспрашивали, но они правды не сказали. Из тех мужиков один ещё жив – Василь Назарыч Жданов. Можешь у него узнать, правда, он дряхлый, умом преставился.

– Указать мне, где Жданов искать, – сразу попросил Табберт.

Трепетные огни лучин в мастерской качались от тонких сквозняков, и тёплый свет перебегал по кожаным переплёткам книг на полках и поставцах, играл на медных боках чернильниц и на расчерченных полотнищах карт. Тени людей ломались на бревенчатых стенах и на досках потолка. За окнами ночной буран со свистом заметал улицы Тобольска, вздымал на перекрёстках крутящиеся столбы снега. Никуда не уйти из города – занесёт. Но в горнице звучали удивительные слова, будто слетевшие со струн сказочных гуслей, то рокочущих, то звенящих: Ангара, Селенга, Аргунь, Амур, Сунгари... Семён Ульянович слушал эти звуки, и ему казалось, что ангелы раскрывают ему все двери мира, и он опять молод, и он всё увидит и везде успеет побывать.

Глава 7

Возничий и гончар

Семён Ульянович сидел в архиерейских палатах с экономом Софийского двора и обсчитывал строительство церкви: в какую цену встанут кирпич, дрова, доски и железный уклад. Старик-эконом при всяком числе крестился, словно его вводили в грех. Семён Ульянович еле терпел такое скопидомство – сами заказывают, сами и жмут копейки. Он бы взорвался, но в сенях вдруг зазвучали взволнованные голоса. В палату заглянул послушник:

– Отче, тут служилый до архитектора. Беда, говорит.

– Что стряслось? – выйдя в сени, недовольно спросил Семён Ульянович.

В сенях, стащив шапку, переминался с ноги на ногу Федька Матюхин. Его сотня несла караул на Воеводском дворе и охраняла раскольников.

– Там в яме один колодник упал и хрипит, – сказал Федька. – Помирает.

– Свалился откуда-то? Ударило чем?

– Ничего не знаю, – Федька едва не порвал шапку. – Упал и хрипит, как зарезанный. Сотник велел до тебя бечь.

Вслед за Федькой Семён Ульянович пошагал к строительству.

Зимой ссыльных раскольников совершенно нечем было занять. Работ и так убавлялось, да и не ко всякой узники были пригодны, потому что таскали цепи. Семён Ульянович посоветовался с митрополитом Иоанном и решил: пускай ссыльные роют яму под будущую столпную церковь. Мёрзлую землю не шибко-то расколупаешь заступами, но дров хватает, чтобы отогревать. Это хоть какое-то полезное заделье, а праздность губит хуже каторги.

Раскольники расчистили от снега угол Троицкого мыса, нависающий над Прямым взвозом, и за пару месяцев выгрызли внушительную яму глубиной больше человеческого роста. Снежные склоны Троицкого мыса покрыли грязные осыпи выброшенной земли. Издалека Семён Ульянович видел, что яма курится дымом костров и паром оттаявшей почвы – яма казалась бурой живой раной среди белых мёртвых сугробов. На изрытом неровном дне блестели лужи, валялись головни, торчали воткнутые лопаты с коваными совками и копальные вилы-бармаки. Носилки-волокуши задрали рукояти. В яме, словно в могиле, находилось человек сорок

работников – все в глиняном рванье и в железных ошейниках с цепями. По окружности ямы сверху торчали стражники, их было меньше десятка. Низкие рыхлые тучи шевелились над Тобольском, словно тоже хотели заглянуть в яму.

Ремезов спустился по затоптанному подмостку. Земля уже хрустела под ногами, схватываясь тонкими ледяными жилками. На широкой доске лежал, тяжело и медленно дыша, раскольник Нефалим. Семён Ульянович уже знал, что все раскольники считают себя братьями, а отцом называют одноглазого кудлатого еретика Авдония. Авдоний стоял перед Нефалимом на коленях. Раскольники толпились вокруг, многие бормотали молитвы и крестились.

– Что с ним? – спросил Семён Ульянович.

– Помирает Нефалим, – сурово ответил раскольник по имени Хрисанф. – Не мешай, архитектон. Отец Авдоний скитское покаяние принимает.

– Оубо прежде самого себе зазрети, и осудити, и положити себе пред богом, яко грешнейша всех и падшася, – читал по памяти Авдоний. – И глаголати со умилением и сокрушением сердца пред образом Божиим...

– Отчего помирает? – не унялся Семён Ульянович.

– Замучился. Силы телесные кончились, он и возлѣг с душой проститься.

Раскольники смотрели на умирающего товарища хмуро, с гнетущим чувством собственной обречѣнности, но Авдоний пребывал в лихорадочном возбуждении. Смертей он насмотрелся вдоволь и не боялся земного конца. За ним – успокоение и блаженство. Однако есть краткий миг, когда человек ещё жив, а господь уже приказал, и апостол Пётр размыкает врата для идущего. И в этот миг душа у человека пока что на земле, а очи вознеслись, и человеку открывается то, что таится за непроницаемыми апостольскими створами, и человек понимает, верно ли он видел рай из своей тѣмной бездны.

– Что тамо зрише, Нефалиме? – склоняясь к умирающему, с жадностью допытывался Авдоний. – Зрише праведников и Корабли у причала?

Авдонию очень хотелось узнать эту тайну ещё здесь, на земле. Эта тайна – непобедимое оружие. Господь непременно должен вооружить такого ярого воина, как он. Однако Нефалим затих и ничего уже не сказал. Ушёл.

Пряча разочарование, Авдоний поднялся на ноги.

– Покаялся Нефеля, епитимью приял, – сказал он. – Молитесь, братья.

Сейчас Нефеля все ваши молитвы с собой к богу унесёт поверх Никоновых крестов повапленных. Быстрее ни стрелы, ни ангелы не летают.

Раскольники снова закрестились двуперстно. Мёртвый Нефалим лежал на доске какой-то опустошённый, словно провалился внутрь себя. Семён Ульянович тоже перекрестился. Авдоний увидел его, улыбнулся широкой, злой и редкозубой улыбкой и подошёл поближе.

– Попроси хозяина своего, чтобы разрешил мне погребсти Нефелю, – сказал он. – Я начётник.

– Почто лыбишься? – обозлился Семён Ульянович.

– Это я радуюсь, архитектон, – с издёвкой произнёс Авдоний.

– Чему?

– Радуюсь, что брату Нефеле сейчас на горнем Синае врата вертограда отверзают. Мы тут на гноище, а он уже небесной благодатью омыт. Завидую.

– Сам ляг да помри, ежели завидуешь, – сказал Ремезов как плюнул.

– Не говори с ним, отец, не скоромься, – вздохнул кто-то из староверов.

– Упокоение – награда, – свысока пояснил Авдоний, цепко разглядывая Ремезова. – Самому себя награждать – тщета. Можно только ближнего.

– Тогда попроси доброго человека, чтобы придушил тебя.

– Ты гончар, старик, а я возничий. Кувшин и без гончара воду хранит, а колесница без возничего не поедет.

– Ересиарх – вот ты кто, – убеждённо заявил Семён Ульянович.

– А ты вертеп воздвигаешь, – с усмешкой ответил Авдоний, привыкший к прениям с никонианами. – И на смерти Нефели надолго вертеп не устоит.

Шагая обратно на Софийский двор, Семён Ульянович думал, что этот одноглазый дьявол прав: надо похоронить покойника. Обычно в Сибири мёртвых зимой не хоронили. В Тобольске их относили в подвал Никольской церкви и ждали весны. Попы ежедневно служили в церкви панихиду. Тела усопших предавали земле на Радуницу, когда оттаивали кладбища. Но батюшка Лахтион из Никольской церкви не захочет, чтобы в его храме лежал еретик-раскольник. Куда девать Нефелю? Не в сугроб же зарыть.

Митрополита Иоанна Семён Ульянович застал в его покоях на отдыхе после молитвы. Иоанн кротко благословил Ремезова.

– Там у ссыльных сегодня помер один, – сказал Семён Ульянович. – Дозволь на кладбище похоронить. Отец Лахтион тело в церковь не возьмёт.

– На кладбище не могу. Воров, самоубийцев и еретиков только за

валом.

- Ну, пускай за валом. И дозволю их начётнику на погребении быть.
- Хорошо, но со стражником. И ты сам проследи.
- Ещё хочу просить тебя, владыка, урок ссыльным убавить.
- Что-то ты сегодня ходатай за раскольников.
- Так вышло, отче, – пожал плечами Ремезов.
- Труд – их покаяние.
- С покаяния не помирают.

Иоанн вздохнул. Больше всего на своём месте он не хотел недовольства. Он помнил казни в Глухове и мертвецов, плывущих по реке мимо Чернигова. Страх тогда перепачкал его душу, и теперь Иоанн искал избавления от любого гнева на себя – и от гнева государя, и даже от гнева бесправных колодников.

- Хорошо, убавлю урок, – тихо согласился Иоанн.
- И одежду им надобно новую. Старая – ремки.
- Иди отсюда, Семён Ульянович, – страдальчески попросил Иоанн.

Ремезов не сочувствовал раскольникам. Слишком уж они были уверены в своей правоте, слишком жёстко проводили черту между собой и всеми остальными православными. Их терзала гордыня. Это ведь от гордыни они начали перечить царю Алексею Михалычу и патриарху Никону, будто не хуже царя и патриарха разбирались в вере и делах государства. Но из числа людей Семён Ульянович раскольников не выбрасывал. Он помнил себя молодого: ему было пятнадцать лет, когда батюшка Александр собрал весь их приход в храме и объяснял всем про новый канон – про троеперстие, про метания на коленях, про трегубую «аллилуйю» и хождение против солнца. Потом батюшка их всех перекрестил по новому обряду. Это было при воеводе Буйносове-Ростовском. Если бы Ульян Моисеич не принял новин для своей семьи, то Семён Ульяныч сейчас тоже был бы раскольником.

И ещё Семён Ульянович ревновал к раскольникам. С чего они такие надменные? Они божью истину открыли? Но ведь для истины они ничего не делали – терпели гоненья и муки, и всё. А терпеть и скот может. Как вообще истину надо познавать – на порке или в трудах? Он, Семён Ремезов, изограф и архитектор, за-ради истины работал всю жизнь, камень к камню складывал, венец к венцу, слово к слову. Это он истину проведал, а не раскольники. Однако для них он – дрянь, жаба помойная. И всё равно нельзя их терзать.

Наутро Семён Ульянович собрался, запряг в сани каурюю кобылу и поехал на Софийский двор. Лошадку Семён Ульянович назвал Сузге – в

честь возлюбленной хана Кучума, а домашние звали её Сузгуня или просто Гуня. Гуня резвилась, мотала головой и прядала ушами. Над Иртышом вдали горел пунцовый морозный рассвет. Он освещал, но не согревал. С Казачьего взвоза Семён Ульянович видел сизую шкуру заречной тайги, затянутую сверкающим дымком ледяной пыли. Небо зияло пустотой.

На похороны отрядили всё того же Федьку Матюхина. Федька с ружьём за спиной сидел на дровнях, на которых вытянулся гроб. Семён Ульянович посадил к себе Авдония – ему сняли ошейник и надели ножные кандалы. Сани друг за другом покатались по улицам к городскому валу. Прохожие видели гроб и крестились, всадники уступали дорогу, водовоз с пустой бочкой съехал в снег на обочину, пропуская покойника.

– Я тебе Псалтирь для начёта взял, – сказал Семён Ульянович Авдонию. – У меня книга старая, ещё до Никоновой справки написанная.

– Пособить хочешь? – сразу вскинулся Авдоний.

– Не тебе, а богу, – буркнул Семён Ульянович.

Он и вправду не хотел помогать Авдонию, но в этом одноглазom еретике была какая-то опасная воля, и она манила – подмывало смотреть на Авдония, знать о его делах, слушать его слова. Ремезов уже понял: для Авдония нет запретов, он может то, что другие боятся себе позволить. Всегда любопытно увидеть дикого и хищного зверя, когда он схвачен и сидит в клетке.

– Скажи, архитектон, а как старец Авраамий из нашего каземата сбежал?

– Тебе того не повторить.

– Тогда тем более скажи, – усмехнулся Авдоний.

Старец Авраамий Венгерский был вождём сибирских раскольников, если вождём можно назвать немощного старика, прячущегося в тайге. Лет десять назад дозорщики тюменского воеводы Осипа Тухачевского поймали известную раскольницу Ненилку, беглую стрелецкую жёнку. Кнут развязал ей язык, и Ненилка выдала убежище Авраамия. Служилые нагрянули в тайный скит и схватили старца. Его бросили в тот же архиерейский каземат, где ныне сидели Авдоний и братья. Это было при митрополите Филофее.

Владыка не представлял, насколько раскольники хитры и настойчивы. Он дозволил Авраамию под караулом ходить на праздничные службы в Знаменскую церковь. А тобольские сподвижники Авраамия собрали денег и наняли мужика Калину – огромного слабоумного детину. На рождественской службе прямо посреди толпы Калина взял маленького худенького старичка Авраамия на руки, спрятал у себя на груди под

тулупом, словно котёнка, и вынес из церкви мимо караула. Авраамий снова исчез в тайге.

– К Авраамию думаешь сбежать? – спросил Семён Ульянович.

– Вовсе не думаю, – с пренебрежением ответил Авдоний. – Авраамий – агнец дряселоватый. Только повести писать хорошо умеет, а дружаться врагам – слаб духом. Я уйду халугами и нырище себе найду без Авраамия.

Старец Авраамий и вправду отвергал самозверство расколыщиков.

Семён Ульянович никогда не встречался с Авраамием, хотя сколько раз проходили друг мимо друга. Аврамка, сын тобольского служилого человека, принял постриг в Кодском монастыре, когда Сёмке Ремезову сыну Ульянову было всего шестнадцать лет. В спор за старую веру инок Авраамий впервые вступил в Тобольске с митрополитом Корнилием. Авраамия тоже сослали – в Туруханск. Он притворно покался, как многие другие расколоучители, и его отпустили. Вместе с монастырским другом Иванищем Кондинским Авраамий поселился на заимке Кодской обители близ Ялуторовской слободы. Здесь схимники обрели великих собеседников – старца Далмата и сына его Исаака. Тогда же Авраамий с Иванищем и основали свою пустынь.

Это был маленький остров среди непроходимых Ирюмских болот, что простирались в междуречье Исети и Пышмы. Тропинка к острову начиналась в деревне Дальние Кармаки. На острове у схимников стояли кельи и часовня; в стволы красных кремлёвых сосен были глубоко врезаны киоты, в которых схимники, обходя остров, в сумерки зажигали лампы. Мужики с Дальних Кармаков проводили в пустынь только тех, кому доверяли. Раскольники шли по тайным тропам через гиблые болотные бучила; гости уносили рукописи Авраамия, а гонцы – письма к Аввакуму. Иванище и умер на этом острове, и Авраамий поставил на его могиле огромный крест-голбец с кровлей.

Тобольские, тюменские и шадринские воеводы разыскивали Авраамиево убежище ещё с того года, когда поп Даниил, приняв постриг от Иванища, устроил гарь на реке Берёзовке. Потом люди запылали в Утяцкой слободе. Потом в селе Каменка, потом на речке Тегенке, потом в скиту у Куяровской слободы, потом в Коргинской слободе на речке Юмаче. Человеческие костры внезапно с рёвом взметались из дебрей тайги, будто адское пекло сквозь треснувшую скорлупу земли прорывалось к небу столбами огня. Авраамий заклинал против гарей; он писал в скиты и слободы, что даже Аввакум не сжигал себя заживо – его сожгли враги, но бешеные кони несли колесницу против воли возничего, и таёжные гари не затихали. А власти не видели разницы между расколыщиками, и для них

старец Авраамий был таким же, как беспощадные Кормчие. И тобольские служилые люди по грудь в трясине пробрались на Авраамиев остров и разорили пустынь Авраамия. И никто теперь не знал, где укрылся поверженный старец, да и жив ли он вообще.

Бревенчатая воротная башня на городском валу была обмётана инеем. Умная Гуня сама повернула в открытый проезд. Семён Ульянович бегло оглядел башню, которую возвёл почти тридцать лет назад. Да, непрочная песчаная почва всё-таки поплыла, и покосившаяся башня скоро ссыплется в ров. Копыта лошадей гулко простучали по дощатому настилу. За городскими укреплениями открывалась пустая обширная росчисть, уже зарастающая кустами и мелкими ёлочками. Кто-то с утра проторил санный путь к лесу.

Кладбище находилось на небольшой поляне в лесу недалеко от опушки. Из сугробов печально торчали кресты. Пробитый санный след подвёл к свежей неглубокой могиле. Возле ямы на чурбачках стоял выдолбленный из колоды гроб – домовина. Рядом лежал уже сколоченный крест с кровлей – голбец. Вокруг не было ни души. В лесу стучал дятел. Семён Ульянович сразу понял, в чём тут дело. В Тобольске хватало своих раскольников и без ссыльных, и они знали всё, что творится в городе. Видно, вчера они как-то проведали, что на Софийском дворе умер узник. В жутковатой, нелюдимой и точной готовности к судьбе читалась железная воля старообрядцев.

– Это тебе, что ли? – озадаченно спросил Федька Матюхин у Авдония.

– Нефеле, дурак.

Авдоний поднялся с саней, загребая цепью снег, подошёл к домовине и сдвинул крышку. В гробу лежала подушка, набитая богородской травой, как и должно по древлеправославию, и «сряд» – неподшитый саван с колпаком, свивальник, пелена, лестовка и кипарисовый крестик на гайтане.

– Значит, и в Тоболеске нашлось, кому панафиды по Нефеле совершать, – удовлетворённо сказал Авдоний.

– А не мелкоовато ли? – спросил Федька, боязливо заглядывая в могилу. – Поленились, что ли, твои-то содружники?

– В самый раз, – ответил Авдоний. – А то ему вылезать тяжело будет.

– Кому ему? – испугался Федька. – Куда вылезать?

– Нефеле, кому же ещё? Когда приидет воскресение праведных, Нефеля пробудится в могиле, подобно всем спасенным, и восстанет к вечной жизни. Ежели яма глубокая, как ему выбираться без лестницы?

– Тьфу на тебя, еретик! – суеверно сказал Федька и перекрестился.

– Пособишь, гончар, тело обрядить?

Авдоний вернулся к дровням Федьки и решительно откинул крышку гроба. Бледный Нефеля казался живым и терпеливо ожидающим. Он словно сей момент зажмурился от внезапного зимнего света после темноты гроба.

Глава 8

Владыки волчьих стай

Капитан Табберт не хотел жить в одном помещении с простолюдинами, тем более – с русскими, и откупил у хозяев летнюю половину дома. Здесь ему хватало и пространства, и уединения. Летние половины в русских избах не имели печей, и зимой можно было замёрзнуть насмерть, поэтому Табберт приобрёл у торговца-азиата на базаре две медные жаровни. Теперь он считал свою сибирскую жизнь вполне налаженной, чтобы заняться каким-нибудь интересным и полезным делом в ожидании освобождения из плена. Табберт освоил русскую грамоту, и полковник Григорий Новицкий, ставший ему другом, приносил интересные книги из скриптория Софийского двора; географию Великой Татарии и Сибирского царства Табберт изучал у старого Симона Ремезова, если, конечно, осведомлённость этого любознательного варвара можно было считать наукой; в фехтовании он упражнялся с Юханом Ренатом. Табберт видел, что юнкер – человек со способностями, но склонный к меланхолии, и полагал, что должен укрепить воинский дух товарища.

Большими деревянными лопатами они, как обычно, расчистили двор от снега, сняли камзолы и остались в белых сорочках, в кюлотах, подпоясанных кушаками, и в чулках. Оружие использовали боевое – учебных шпаг у них просто не было. Хозяин подворья, мельник с речки Абрамовки, бросив все дела, присел на приступочек амбара, собираясь поглазеть, как будут драться шведы. Табберт поправил треуголку и встал в позицию: выставил клинок, развернулся на три четверти и красиво поднял левую руку.

– Ан-гард, господин штык-юнкер, – пригласил он. – Прошу, атакуйте.

Ренат атаковал. Табберт решил: пусть его соперник сначала разгонит кровь, разгорячится, и лишь отбивал выпады. Ему приятно было ощущать свою крепкую и гибкую кисть, управляющую длинной шпагой.

– Парад! Кварта! Секунд! – негромко выкрикивал Табберт названия фигур защиты, а затем начал натиск. – Ангаже! – объявил он, перехватывая клинок Рената. – Вольт! Туше! Вы поражены!

Они опустили шпаги, прошлись, встряхивая плечами, чтобы сбросить напряжение, и снова встали в позицию ан-гард.

– Вы слишком надеетесь на бой по скрещённым линиям, господин юнкер, – сказал Табберт. – Попробуйте сейчас перевести мой батман через

аппель во фланконаду, я буду уязвим. Только прошу, не убейте меня по-настоящему, – Табберт улыбнулся, блестя из-под усов крепкими зубами.

– Мне тяжело даётся мулинет, вы меня опережаете, – признался Ренат.

– Позже отработаем мулинет в схватке ассо, – согласился Табберт.

Они снова закружились друг вокруг друга, звеня шпагами. Яркий звон клинков и названия фехтовальных фигур очень странно звучали здесь, на сибирском подворье с его поленищами, стойлами, подклетами и сеновалом.

Калитка подворья приоткрылась, и через порог переступила Айкони. Она была одета по-русски – в шубейку и платок, а в руках держала свёрток. Айкони застыла с открытым ртом, наблюдая за поединком. Она никогда не видела схватки на шпагах. У остяков были и сабли, и древние ржавые мечи, но охотники Оби умели только рубить или колоть, да и то в Певлоре люди с людьми никогда не сражались. А эти двое стройных мужчин вертелись, изгибались, нападали и уклонялись так же красиво, как незамужние девушки исполняют весной танец журавлей на празднике Возвращения птиц. Айкони и не представляла, что свободная женская ловкость мужчины бывает такой красивой и мужественной. Она с восхищением смотрела на Табберта – тонкого в талии, широкого в плечах, с волосатой грудью в воротнике сорочки, с растопыренными от улыбки усами. Угловатая шапка сидела на его голове гордо и грозно, как рогатая корона на голове шамана. Конечно, этот высокий мужчина – князь. Только у князя могут так весело гореть глаза.

Клинок Табберта замер возле шеи Рената.

– Вы снова убиты, господин штык-юнкер! – смеясь, объявил Табберт.

– Я увалень! – с досадой проворчал Ренат, опуская шпагу.

– Не расстраивайтесь, я замечаю ваши успехи. Но артиллеристы всегда слишком математики, и я легко вас предугадываю, Юхан. Будьте в поединке поэтом, и тогда вы сумеете победить кого угодно.

Табберт и Ренат подхватили камзолы и направились к крыльцу, не обращая внимания на Айкони. Табберт не узнал её и подумал, что это какая-то баба явилась к хозяйке подворья. Айкони тихо последовала за шведами. Табберт и Ренат поднялись на крыльцо, вошли в сени, оттуда – на половину Табберта, и Ренат закрыл дверь прямо перед носом Айкони.

Ренат корил себя за то, что немного завидует своему старшему товарищу – его энергии, интересу к жизни и всегда прекрасному настроению. Зависть вызывало и жилище капитана Табберта – сам Ренат жил у хозяев просто как никчёмный нахлебник, имел свой сундук, место на скамье за столом – и всё. Ренат оглядывал горницу Табберта. Стол, лавки,

поставцы, настоящая, хоть и самодельная кровать... Табберт повесил шляпу и камзол на гвоздь и положил шпагу на стол. Ренат присел на лавку.

– Не желаете с холода горячей настойки на смородине, господин штык-юнкер? – радушно предложил Табберт.

Ренат не успел ответить. Дверь открылась, и в горницу вошла Айкони. Она встала у порога и молча смотрела на Табберта. Табберт ждал.

– Я принесла, – наконец сказала Айкони.

Она сдвинула с головы платок, и тогда Табберт узнал её.

– Ах, это ты! – дружелюбно усмехнулся он. – Что принесла?

Айкони развернула свёрток и протянула Табберту три букваря, вручную перерисованные Ремезовыми.

– Хорошо! – пролистав одну книгу, кивнул Табберт. – Но почему мне?

– Тебе. Ты князь, – твёрдо пояснила Айкони.

Табберт от души рассмеялся.

– Ты сильный. Красивый. Ты его победил, – Айкони указала на Рената.

Ренат хмуро рассматривал Айкони. Маленькая черноглазая варварка, живая, словно уголёк. Ренат снова почувствовал, что завидует. Он не имел права даже поговорить с Бригиттой, а к Табберту женщины сами прибегают.

Айкони подошла к столу, взяла шпагу Табберта и лизнула лезвие. В ноже – сила мужчины, ножу надо оказать уважение, и мужчина будет добр.

– Похоже, юная дикарка влюблена в вас, господин капитан, – желчно заметил Ренат по-шведски.

– Всё надо обращать на пользу, – иронично ответил Табберт. – Что ж, проверю одно предположение.

Из-под стопы книг в поставце он вытащил мятую тетрадь, раскрыл и показал Айкони свои зарисовки наскальных изображений с реки Вишеры.

– Скажи, своя страна ты где видеть такой знак?

Айкони не раз видела подобные клейма. Так охотники обозначают свои уголья. Делают затёс на дереве и выжигают или вырезают тавро.

– Катпос, – сказала Айкони. – Мужчина лес берёт себе.

Табберт сразу понял, что имеет в виду Айкони, и оживился. Он думал, что дикарка, возможно, просто пояснит ему, где ещё есть такие изображения, и не более того, а она указала на целое явление! Эврика! Он не предполагал, что одичавшие народы Сибири могут сохранить петроглифы викингов в своей нынешней повседневности как отметки собственности на местность!

– Виват! – торжествующе воскликнул он, восторженно глядя на Айкони.

Он шагнул к поставцу, поискал, чем наградить девчонку-варварку, и нашёл зачерствевший обломок большого русского пряника.

– На! – Табберт протянул пряник Айкони. – Ты мне радость! Иди!

Табберт с удовольствием поцеловал Айкони в макушку, повернул за плечи и вежливо выдворил из горницы.

Стоя в сенях, Айкони взволнованно обнюхала пряник, потом спрятала его за пазуху и быстро, но чутко ощупала дверь и косяк кончиками пальцев.

Вернувшись на подворье Ремезовых, Айкони первым делом забралась в загон для собак. Батый и Чингиз сразу вылезли из своих конур. Айкони села в снег, достала пряник и разделила его на три равных куска.

– Это мой князь прислал вам угощение, большие собаки, – гордо сказала она по-хантыйски, запихивая куски пряника псам в пасти. – Князь мне свой катпос показал, и теперь я его всегда найду в тайге.

Не очень-то понимая язык, Айкони по наитию сразу опознала в Табберте чужака. Он не так ходил, не так двигался, не так смеялся. Здесь, в Тобольске, Айкони могла почувствовать близким себе лишь чужака. Русские мужчины – те, кто бил и насиловал её в Берёзове. Она никогда не забудет тот ужас и никогда не поверит никому из русских мужчин. Даже у Ремезовых, где её не обижали, к Семульче, Леонтию и Семёну Айкони относилась с опаской, старалась не оставаться с ними наедине. Она не боялась только Петьку – он мальчик, и она его сильнее. А князь не такой, как русские мужчины.

Князь занял все мысли Айкони. Он большой, весёлый и сильный. Он ловко машет своим длинным ножом и захочет – так заколет медведя в глаз. Наверное, у него очень ласковые руки, и он очень жарко бы её любил, потому что в нём много желания, а она – хорошая, красивая и молодая. С князем можно убежать из города и найти себе место, где жить легко.

Айкони давно бы убежала из Тобольска сама, но ей было некуда. Ахута продал её честно, и люди родного народа – берёзовские остяки – не приняли бы её обратно, вернули к русским. Можно бежать к вогулам – на Конду или на Пелым, или к сургутским хантам, но там она, беглянка, станет такой же холопкой у какого-нибудь князя, как в Тобольске у Семульчи. Зачем менять правую рукавицу на левую? У татар она не знала их богов, а для самоедов не годилась, потому что не умела кочевать по тундре. Жить в тайге совсем одной? Это очень трудно. А она мечтала иметь мужа.

Семульча говорил, что потом найдёт ей мужа, однако Айкони не хотела помощи Семульчи. Он ей не отец и не дед. Айкони не выросла в семейство Ремезовых, как зачастую холопы вырастают в семьи своих хозяев. Этим

русским она не дочь и не сестра. Она просто работница. Машка могла бы стать ей подругой, но не стала, потому что глупая и ничего не знает. Не знает про голод, когда ешь сырую рыбу с головой. Не знает про одиночество. Не знает, каковы русские мужчины, когда они бьют кулаком в лицо и ногой в живот; каковы они, когда один держит за руки, а другой раздирает ноги. И ещё Машка не знала, что такое ненависть, когда твой нож режет человека.

Первым делом в доме Ремезовых Айкони выстругала себе нож из отщепа коровьей кости и потом всегда носила его с собой под одеждой. Нож пригодился только один раз. Старая Митрофановна послала Айкони на базар, а там в кабаке пьянствовали мужчины. Один вышел по нужде, увидел Айкони и полез к ней обниматься, широко распахнув руки. Наверное, он не хотел ничего плохого, но Айкони уже не подпускала к себе никого. Она выхватила нож и полоснула мужчину по лицу. И душу её в тот миг сотрясла чёрная радость воздаяния.

Айкони обжилась в Тобольске, освоилась, но ей здесь не нравилось. В лесах на Оби боги были свободные, жили как звери и ничего от людей не хотели – люди сами ловили их и заставляли что-нибудь делать. А у русских боги жили с людьми. Они были мелкими, всегда прятались по углам и закуткам и всегда лезли к людям сами – крали вещи, путали дела, просили приношений, мстили или заискивали. Они больше мешали, чем помогали.

Жизнь русских угнетала Айкони. Зачем столько лишних сложностей? Зачем печи, эти громады из камней, – их вечером нагревают, чтобы ночью они отдавали тепло. Не проще ли иметь очаг и ночью просто подбрасывать дрова? Зачем домашняя птица? Не проще ли осенью набить гусей и сложить на лёд на всю зиму? Зачем делать ткань и шить одежду? Не проще ли брать готовые шкуры? Зачем коровы, которых надо кормить сухой травой, когда олени сами добывают себе пищу? Зачем такой толпе людей жить огромным селением в тесноте и ссорах, отгородив себя от леса, реки и голосов мира?

Вечером того же дня, когда Табберт подарил пряник, Митрофановна послала Айкони задать на ночь корму коровам и лошадям. Вся скотина у Ремезовых содержалась в большом коровнике с сеновалом на втором ярусе. По пути Айкони прихватила нож с печи и полено из поленицы. Она спешила. Лопатой она быстро сгребла в ящик навоз, налила воды в поилку, принесла и напихала в кормушку сена коровам, насыпала в ясли овса лошадям, а потом закрыла ворота и заложила засовом. Коровы шумно хрустели, глухо постукивали копыта лошадей, а Айкони забилась в угол коровника и, сидя на корточках, сосредоточенно выстругивала из полена

небольшого идолка. Сумрак ей не мешал. Она заострила идолу голову, вырезала лицо, зарубками обозначила шею, проковыряла глаза и глубоко процарапала рот. Сынга-чахль был готов.

Айкони бережно пристроила идола у стены, встала на колени, закрыла глаза, склонилась и зашептала по-хантыйски, как в «тёмном доме» родного Певлора её когда-то научил старый шаман Хемьюга:

– Оттуда, где я была раньше, оттуда, где меня больше нет, придите на мой зов те, кто там был тогда, те, кто там есть сейчас. Оттуда, где холодная река течёт до неба, где за луной горят костры предков, где бродят мамонты с ветвистыми клыками, где растёт Великое дерево с колыбелями зверей, где живёт лесная женщина с глазами глубиной в Обь, где земля шерстистая и когтистая, где Лось ещё шестиногий, придите ко мне сюда хоть кто-нибудь...

Айкони поднялась на ноги, набросила на себя рваную конскую попону, согнулась и растопырила руки, растянув попону двумя острыми крыльями – так делал Хемьюга. Айкони начала вперевалку кружиться и тихо подвывать, но не своим голосом, а чужим – низким, глухим, мужским. Голос родился в её груди сам собой, без усилий, без замысла – это на зов шёл Сынга-чахль.

В тот поздний час только сторожа и воры Тобольска увидели, что высота над русским городом вдруг пугающе углубилась, словно исчез какой-то предел, и темнота зыбко задрожала предчувствием чего-то волшебного. Размытая лазоревая полоса стрельнула через весь небосвод от Льдистого океана до джунгарских степей, а потом друг за другом крутыми извивами стали зажигаться ленты прозрачного неземного света – вишнёвые, золотые, алые, изумрудные, малиновые. Беззвучное холодное пламя полыхало и плясало над спящим бревенчатым городом. Заснеженные крыши меняли цвет, отражая сполохи сияния, необозримо просторного, как полуночное половодье. На пёстро освещённых улицах в разные стороны заматались тени от построек, деревьев и столбов дыма. Все собаки замолкли, глядя в небеса, – там горели костры предков, исконных владык их древнего волчьего рода.

Айкони в коровнике сбросила попону, рухнула на колени, схватила нож и без колебаний вспорола себе руку. Кровь потекла в раскрытую ладонь. Айкони взяла идолка и ткнула его лицом в кровь в горсти.

– Пей свою жертву, Сынга-чахль! – прошептала она.

Коровы и лошади, бухая копытами, шарахнулись в сторону от девчонки. Ладонью Айкони ощутила тихое шевеление – это у идолка вытягивались деревянные губы. Айкони зажмурилась. Пусть Сынга-чахль

насытится, он шёл издалека... И Сынга-чахль пил кровь – долго, долго, будто четыре зимы. Наконец Айкони посмотрела на оструганный затылок Сынга-чахля, отняла идола от своей крови в ладони и повернула мокрым лицом к себе. В тёмных дырках идольских глаз что-то злорадно и сыто мерцало.

– Вычеши мне волосы, Сынга-чахль, – приказала Айкони, – найди священный волос! Кто его порвёт – всегда моим будет!

Она принялась возить идола лицом по своим распущенным волосам. Идол запутался, Айкони с силой дёрнула его и охнула. Во рту у Сынга-чахля торчал клочок выдеранных волос. Айкони вытянула из него один волос, поднялась и намотала на неприметный сучок в стене.

Перевязав тряпкой порезанную руку, она вышла из коровника с идолом под мышкой. Она была очень бледной, с тенью под глазами, и пошатывалась от изнеможения. Небесное сияние уже погасло, и голая луна казалась обглоданной костью после пиршества. Чингиз и Батый, бегавшие по двору, сначала весело бросились к Айкони, а потом замерли и угрожающе зарычали.

Когда Айкони вернулась в горницу, Ремезовы спали. Семульча храпел на печке. Горницу тускло освещала только лампада у иконы в красном углу. Айкони доплелась до печи, положила на место нож, отодвинула заслонку и бросила идола в тлеющую кучу углей, а потом пошла к своему сундуку, стоящему прямо у двери, и повалилась поверх шубы. На соседней лавке проснулась Маша.

– Ты куда пропала, Аконька? – спросила она и тотчас снова уснула, не дождавшись ответа.

Айкони лежала без сил, но тихо улыбалась. Никто в горнице не увидел, как из-за печной заслонки вдруг ударил свет. Это загорелся идол Сынга-чахля. Он беззвучно извивался и корчился в оплетающем его огне.

Два дня Айкони болела. Она не умела, как Хемьюга, пробуждаться от шаманства бодрой и здоровой. Митрофановна кормила её печёным творогом, Машка угостила калачом с ручкой, а Семульча ворчал, что за работницей ухаживают, будто за боярыней, вместо того чтобы выдрать её вожжами, и пусть не притворяется, он тут не дурак. Потом слабость прошла. На третью ночь после камлания Айкони терпеливо дождалась, когда все Ремезовы уснут, встала и тихо выскользнула из горницы.

В коровнике она смотала с сучка на палец свой заговорённый волос. По безлюдным снежным улицам посада, по узким тропинкам переулков, прячась в тени, Айкони добежала до подворья, где жил Табберт. Ворота, конечно, были заперты. Через сугробы Айкони пробралась к тыльной

стороне подворья, но и тут возвышался могучий заплот из лежащих брёвен, а не забор. Айкони повертелась, не зная, как преодолеть преграду, и начала раздеваться. В одежде она не смогла бы перелезть через стену. В снег упали шубейка и платье – нижней рубахи Айкони не носила, не привыкла. Голая, она ловко, как белка, вскарабкалась на заплот и спрыгнула во двор. Хозяйские собаки, спущенные на ночь, кинулись к ней и принялись озабоченно обнюхивать.

– Кричите на ворота, – хватая одного пса за нос, приказала Айкони.

Собаки побежали к воротам и разразились яростным лаем. Айкони, обхватив себя за обнажённые плечи, укрылась в густой темноте за амбаром. Она пританцовывала от стужи. Наконец на шум из дома выглянул хозяин.

– Кого чёрт послал? – сердито рявкнул он с крыльца в сторону ворот.

Ответа он не получил, потому что за воротами никого не было. Ругаясь, хозяин взял топор, спустился с крыльца и потопал к воротам, чтобы посмотреть на улицу: кто там переполошил собак?

Айкони за спиной мужика метнулась к крыльцу, взлетела по ступеням, нырнула в сени и забилась за какую-то кадушку на лавке.

Хозяин поорал на псов, поднявших напрасную тревогу, швырнул в них подвернувшееся под руку полено и вернулся в дом. Он запер дверь сеней на засов и, скрипя половицами, ушёл на свою половину дома. Айкони немного выждала, вылезла из-за кадушки и подкралась к двери Табберта. Ощупью она отыскала знакомую зазубрину, сняла с пальца волос и накрутила его на дверь и на косяк. Теперь тот, кто откроет дверь, непременно порвёт волос. А тот, кто порвёт волос, никогда никуда от неё не денется, пока великие предки жгут на небе свои холодные костры, а земля шерстистая и когтистая.

Айкони сдвинула засов и вышмыгнула из сеней на крыльцо.

Утром капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг проснулся в отличном настроении. Вощёные холстины окошек светили белым светом. В жаровнях ещё оставались угли, и Табберт подбросил к ним лучины и мелко наколотые полешки. В одну жаровню сверху он поставил медную чашку – согреть воду для умывания. Помочившись в лохань за занавеской, Табберт подправил на ремне бритву, взял чашку с водой и сел за стол перед мутным зеркальцем. Намывив щёки и подбородок бурым куском ядрового мыла, Табберт тщательно побрился. Когда он вытирал лицо, в дверь постучали.

– Войдите! – крикнул он по-немецки.

Дверь открылась, и словно бы звякнула, лопнув, какая-то струна. Через порог шагнул Григорий Новицкий – и вдруг повалился, как в обмороке, уронив шляпу. Табберт успел подхватить его, подтащил к

кровати и усадил.

– Что с вами, Григорий? – озабоченно спросил он.

– Нэ вразумыв, що сталыся... – пробормотал Новицкий, мотая головой. – В очах блиснуло, в груди вдарыло, и дух вон...

Табберт поднял треуголку Новицкого и положил на стол.

– Вы не голодаете? – спросил он.

– Нет, – приходя в себя, ответил Новицкий по-немецки. – Я питаюсь вполне достойно... Извините меня, Йохан.

– Ничего.

Новицкий осторожно полез за пазуху и вытащил толстую тетрадь.

– У владыки Иоганна я выпросил для вас сочинение Клауса Спафария, посланника в Китай, как вы просили, Йохан.

– Прекрасно, Григорий! – обрадовался Табберт.

Глава 9

Царь Сибирь любит

Две весны бог нас миловал, в третий раз не пронесёт грозу мороком, – говорил Семён Ульянович, решительно шагая по узкой тропинке в сугробах над обрывом. – Бухарцы брешут, что в степи снега много, а весна по моим приметам будет скорая и дружная. Затопит весь Нижний посад.

– Да какого беса ты меня тащишь? – споткнувшись, разозлился Гагарин.

– На месте покажу, – многозначительно сообщил Семён Ульянович.

– А то я там не видел ничего никогда!..

Ремезов вёл князя Гагарина вдоль стены Воеводского двора. Стена была составлена из бревенчатых срубов-городней, давно превращённых в амбары. Сверху вразнобой торчали тесины кровель, раздёрганных непогодами. Тропу протоптали здесь ночные сторожа. Тропа прижималась к стене, потому что с другой стороны совсем рядом разверзалась пропасть – обрыв Троицкого мыса. Глубоко внизу виднелись снежные крыши и грязные улицы Тобольска. Порывами налетал ветер, словно изумлённый тем, что люди оказались на такой высоте. Неимоверный объём пространства будоражил душу, как полёт.

– Смотри! – Семён Ульянович указал рукавицей на Савватьевскую башню. – Надо убрать скарб из башни, весной она упадёт.

– Уберу, – буркнул Гагарин, придерживая шапку.

Воеводский двор Семён Ульянович соорудил двадцать пять лет назад – при воеводе Головине. Тогда от стен до обрыва было сажен десять. Сейчас осталось всего две сажени. Троицкий мыс неудержимо осыпался.

– Каменный кремль здесь ставить – как у вертлявой бабы на задку. Всё под гору свалится, – заявил Ремезов.

– Ну, тогда перетопчемся без кремля, – проворчал Гагарин.

Семён Ульянович сделал вид, что не услышал. После давнего туманного одобрения губернатора он убедил себя, будто Матвей Петрович согласился возводить кремль из кирпича, и уже воображал себе стены и разные башни. А Матвей Петрович ещё летом прикинул, в какую копейку ему влетят работы, и решил, что всё это обойдётся слишком дорого. Потешить тщание архитектора достаточно столпной церкви и на взвозе ярусной башни со шпилем.

– Да я про то говорю, что надо берег удержать!

– Как? Палками подпереть?

– Смотри, губернатор, – Ремезов требовательно оглянулся на Гагарина. – Видишь, Иртыш этот мыс стороной по дуге обходит? – Ремезов широко обвёл окоём рукой. – А вон там впадает Тобол.

– Да ну? Быть не может!

Но Семён Ульянович и на издёвку не обратил внимания.

– Он втыкается в Иртыш, как нож в бок. Летом оно ладно, а в половодье Тобол ломит напрямик, как медведь. И сдвигает стрежень Иртыша прямо к мысу. А большая река – что пьяный мужик: все углы пообшибает.

– И что с того?

– Надо устье Тобола перенести.

Матвей Петрович уже не удивлялся замыслам Ремезова.

– Всего-то? – спросил он. – Давай лучше лестницу до небес построим.

– Я со смыслом говорю, Матвей Петрович, я тебе не дурак. Понятно, что реку не перетащить. Но в прежних столетиях, при Ермаке ещё, Тобол впадал в Иртыш двумя рукавами. Потом один рукав оползнем передавило, и с той поры весь Тобол нам прямо в лоб катит. Надо откопать Тоболу старый путь, тогда мы его напор ослабим. Тобол перестанет в Иртыш толкаться, а Иртыш по разгону будет стороной от мыса пролетать, как в межень. Тогда на мысу можно и кремль построить – уже не страшно.

– Осатанел ты, Ульяныч, – с досадой сказал Матвей Петрович. – Столпы тебе забабахать, кремль, да ещё и реку повернуть? Немыслимое дело. Оно мне в сто тыщ аукнется. Ни царь, ни таможня таких денег не дадут.

– Да чего в сто тыщ-то? Чай, не из Китая досюда канаву рыть!

– Всё одно не по карману.

– Псы и те ногой забор подпирают, чтоб струёй не подмыть! – вспылил Ремезов. – А Тобол – не псиная струя! На кой ляд тогда кремль строить?

– А я тебе кремля и не обещал, – сказал Матвей Петрович, развернулся и пошёл по узкой тропинке прочь.

Матвей Петрович думал, что откажет архитектору – и точно камень с плеч свалит, однако облегчения он почему-то не испытывал. Будущее стало пустым. Он ведь привык к большим делам: прокладывал Вышневолоцкий канал, восстанавливал Москву после пожара... А в Тобольске что? Ничего. Ульяныч так уверенно расписывал ему кремль – здесь пройдут стены, здесь поднимутся башни, здесь будет оружейный двор, а здесь – посольский... Но всё это останется невидимым, неосязаемым, не сущим... Зато он сбережёт свои деньги. Ведь и вправду такая затея – покушение на его

личный доход.

Ремезов больше не появлялся – понятно, обиделся. И леший с ним. Гагарину жаль было беспокойного старика, но слишком много с ним хлопот и растрат. С каких шишей Ульяныч решил, будто он лучше всех знает, что Тобольску надобно? В мыслях Матвей Петрович не раз спорил с Ремезовым, доказывая архитектону, что игрушечный кремль – напрасная блажь. И всё-таки в этой блажи было то острое и тонкое чувство жизни, без которого жить пресно.

Пришла весна, небо протаяло, облез снег на крышах, зачирикали птицы, и воздух был таким сладким, словно вернулись молодость, удасть и желание затащить в постель пригожую девку. Но это вечный обман апреля. Нельзя ему поддаваться – слишком горьким будет разочарование, потому что он всё равно уже не краснощёкий парень. А зрелым мужам господь уготовал иные радости. Они благороднее, как чистый алмаз благороднее яркой стекляшки.

Всю ночь после Пасхи за тобольскими пристанями Иртыш, оживая во тьме, широко и грозно трещал и скрежетал, будто кто-то отдирает крышку на ящике с посылкой, – это начался ледоход. До высоты Алафейских гор донесло резкий запах свежей воды. Утром Тобольск увидел, что река превратилась в огромную полосу колотого льда. Она сама по себе медленно ехала мимо города, шевелилась, глухо рокотала, шуршала и скрипела всей своей протяжённостью. На блестящих гранях мелькали вспышки солнца. Порой какая-то льдина вдруг выползала вверх углом и переворачивалась. Облака двигались в небе над Тобольском вместе с Иртышом. Казалось, что весна с полуденной стороны мира вздыбила и перекосила земную твердь, и теперь льдины с облаками одинаково скользят под уклон.

А через несколько дней началось наводнение. Иртыш неотвратно и тихо вошёл в город по руслам речек и улицам, затопил площади и подворья, проник в каждый закоулок и в каждую расщелину. Жители Нижнего посада перегнали скот на Верхний посад, но сами остались в домах. Вода поднялась на полторы сажени. Мутная и грязная, она всё равно победно блестела. Среди блеска плавали доски и поленья, клочья сена, разбитые бочки, трупы собак, тряпки, телеги, прясла заборов, куски дёрна с погребов и разный мусор. С Троицкой горы крыши домов казались горбатыми плотами.

Дитмер позвал Матвея Петровича поглядеть, как упадёт Савватьевская башня. Матвей Петрович вышел на обрыв. Бревенчатая громада наклонилась над пустотой, словно смертельно раненная, с неё сыпалась труха. Глубоко внизу волны Иртыша толкались в оголённый откос горы.

Наконец суглинок потёк из-под подошвы строения, край обрыва осел, башня грузно вздрогнула и повалилась. Ещё в падении она расслоилась на спутанные квадраты венцов; венцы, ударяясь о склон, распадались на брёвна, а брёвна, махая в туче пыли длинными хвостами, грудами и врассыпную катились вниз вперемешку с земляными глыбами. Всё это с плеском обрушилось в воду. Ободранный откос дымился пылью. Объёмистая башня исчезла, как в сказке. На её месте зияла взрытая яма между двумя амбарами, и в яме ошалело метались крысы.

– Вам ещё следует взглянуть на нижние городские укрепления, господин губернатор, – вежливо сказал Матвею Петровичу Дитмер.

– А что там?

– Они могут не выдержать давления льда.

Матвей Петрович забрался в двуколку и поехал на Панин бугор.

Панин бугор возвышался за Софийским двором и Казачьим взвозом, как упрямый покаты́й лоб. По преданию, здесь погиб Никита Пан, сподвижник Ермака, предательски убитый стрелой в спину. Бугор уже обтаял от снега, но ещё не зазеленел. На краю бугра стоял Ремезов. Он глядел вдаль и даже не поздоровался с Гагариным. С бугра открывался вид на оборонный вал, который отделял Нижний посад Тобольска от Княжьего луга.

Ровный заливной луг вытянулся на три версты от вала до мыса Почеваш. В доермаковой древности сибирские князья-тайбугины с ручными соколами охотились здесь на зайцев, а где-то на Алафейских горах стоял их летний Соколиный городок – Бицык-тура. По Князьему лугу с соколом на кожаной рукавице скакали и Сенбахта-хан, и Саускан-хан, и хан Едигер. Потом хан Кучум победил Едигера, взял в плен и приказал переломить ему хребет; беспомощного Едигера живьём бросили на съедение волкам. Кучум и его сыновья-царевичи тоже полюбили охоту на Князьем лугу, а затем дружины Ермака сразились здесь с войском Кучума и отбили Сибирь. Когда Ермак погиб, казаки ушли, а изгнанный Кучум скитался в степях, по Князьему лугу носился последний хан Сибири – Сейдяк. Соколиная забава завела его в ловушку Данилы Чулкова, основателя русского города Тоболеск.

Сейчас и Княжий луг, и Нижний посад Тобольска были затоплены, но Княжий луг докуда видно был сплошь забит сверкающим льдом. Ледяное поле упиралось в оборонный вал, проложенный от Алафейских гор дугой к Иртышу. Эта дуга потихоньку сбрасывала лёд в реку, не позволяя ему всем скопищем двинуться на посад и снести все дома и улицы подчистую.

– Ох, и лаялся я с воеводой из-за этого вала, – вдруг сказал Ремезов, не

оборачиваясь на Гагарина. – Строить надо было в изгиб, чтобы лёд спускало, не собирало в запань, а изгиб через подворья шёл. Сотню, наверное, дворов я на снос обрёл. Убить меня хотели мужики. Ничего, я их всех переорал.

Матвей Петрович тяжело вздохнул.

– Ладно, Ульяныч, – сказал он. – Завтра поедем устье Тобола смотреть.

Наутро у Казачьего взвоза князя Гагарина ожидал дощаник с десятком гребцов. Ремезов причалил рядом на лодке-насаде с распашными вёслами.

– Ко мне садись, – хмуро бросил он Матвею Петровичу. – Дощаник нам ни к чему. Мы попробуем по Прорве пройти.

– По какой прорве?

– Так протока называется.

– Ты меня утопишь, Ульяныч, – Гагарин с опаской посмотрел на лодку.

– Мне только спасибо скажут.

Перекрестившись, Матвей Петрович забрался к Ремезову. Капитон, лакей Гагарина, тоже полез в насад, но Ремезов оттолкнул его веслом.

Удивительно было плыть по улицам Нижнего города мимо заплотов, сейчас низеньких, как борта у лодки, и почти вровень с окнами домов. На крышах амбаров кое-где сидели собаки; они бросались к краю и радостно облаивали плывущих. Берёзы, торчащие из воды, журчали всеми ветками. Ремезов вывел насад на простор Иртыша и уверенно погнал её через реку, широкую, словно море. Матвей Петрович смотрел, как Ремезов гребёт, и думал, что старик ещё крепок, будто кожаный ремень. Ремезов лишь изредка оглядывался через плечо, чтобы не налететь на льдину.

К полудню они поднялись по Тоболу к тому месту, где начиналась протока Прорва, – к мысу Темир-бугор. Здесь Тобол делал поворот, а крутой, заросший ельником берег в излучине был грубо промят ложбиной, похожей на русло старицы. Ложбина была затоплена. Выглядела она диковато и жутко, но Ремезов бестрепетно загрёб левым веслом, направляя туда насад.

– Видишь, обрыв ополз и засыпал протоку, – сказал Ремезов Матвею Петровичу, не переставая грести. – В паводок вода ещё протискивается, а в межень промоина не шире Курдюмки или Тырковки. Всё песком затянуло.

– Предлагаешь прокопать?

– Сделать ров на полторы версты – зачин для реки. Следующей весной вода сама пробьёт путь до Иртыша. Разрядим Тобол. Располовиним.

В этой мрачной речной и лесной теснине слова Ремезова звучали очень странно, будто Ремезов был богом, который управляет землёй: передвигает горы с места на место и заново прокладывает реки.

– Вон там, на бугре, у хана Кучума была засада на Ермака, – Ремезов кивнул на высокий берег. – Дружина на стругах в Прорву завернула, а на бугор кучумов воевода Темир выставил великое множество лучников. Они должны были стрелами перебить ермаковичей на Прорве. Казаки оробели и вспять погребли. И вдруг хоругви у них с древков сорвались и сами по воздуху вперёд поплыли. Ермак всё понял и приказал наступать. И дружины прошли, а все стрелы татарские просто в воду ссыпались. Чудо.

Лощина постепенно сузилась, тёмная стоячая вода превратилась в тихий поток, однако путь перекрыл затор из грязного льда и бурелома. Ремезов деловито причалил, собираясь посмотреть, велика ли преграда – можно ли обнести лодку сушей? Он полез через борт на моховую бровку, но с шумом и плеском провалился в воду по пояс. Ругаясь, он залез обратно в лодку.

– С-сатана! – шипел он, отжимая штаны.

– Ладно, я понял про эту Прорву, – махнул рукой Гагарин. – Как спадёт вода, надо землемеров посылать.

– Слышь, Петрович, давай пристанем, – попросил Ремезов. – Обсушусь у костра. А то на Иртыше в мокрых портах застыну – потом ноги отломатся.

Матвей Петрович подумал: а почему бы и нет? Ему нравилось в этом спокойном и неярком весеннем лесу. Хорошо погреться у огонька, как в молодости, когда из Иркутского острога он ездил на Байкал рыбачить.

Скоро они уже сидели на сухом берегу у костра. Матвей Петрович жевал пирог со смородиной – ремезовский припас, и запивал из берестяного ковша, которым зачерпнул речной воды. Семён Ульянович воткнул перед огнём колышки, надел на них свои поршни и портянки, а сам запахнул на брюхе армяк и сушил на весу штаны. Штаны важно курились белым паром. Из-под армяка у Ремезова потешно торчали жилистые волосатые ноги; ступни были простонародно расшлёпанные, как у лешего.

Дым костра смешивался с речной свежестью, потрескивали дрова, вода журчала в протоке, и в голом, спутанном тальнике чирикала птичка. Поляну устилала жухлая прошлогодняя трава – словно домотканый половичок. Высоко-высоко над Тоболом на север летели журавли. Матвей Петрович вдруг ощутил такое умиротворение, словно наконец-то исцелился. Глядя на тёмный еловый Темир-бугор за речкой, Матвей Петрович признался:

– Жаль, что я ни разу чуда не видел.

– На что оно тебе? – ворчливо отозвался Ремезов. – Чудо – божья помощь, когда надо человеку, да сил не хватает. А ты без чуда всё можешь.

Матвей Петрович не забывал, с кем и зачем он здесь оказался.

– Чего могу? – усмехнулся он, догадываясь, что хочет услышать Семён Ульяныч. – Реку лопатами поворотить? Кремль на свой кошт построить?

– Хочешь, расскажу, как я бога о чуде молил? – вдруг спросил Ремезов.

– Давай.

– Когда Приказную палату строили, я заворовался. Честно тебе говорю. Брёвен себе отписал, тёсу, кирпича, и подворье себе новое скатал. Михайла Яковлич, воевода Черкасский, меня на том поймал. А я упёрся: ни в чём, мол, не повинен. Он спорить не стал, но после палаты меня от дела отодвинул. Не умела, дескать, пёсья нога на блюде лежать, так валяйся под столом. Два года я в опале просидел. А потом Черкасский задумал Гостиный двор возводить. И я узнал, что он ищет архитектора. Выспрашивает про Фёдора Меркурича Чайку, который тогда в Тюмени владыке Филофею собор строил, про Ивана Сороку из Верхотурья – его потом Исаак Далматовский призвал, про Логина Корсакова из Соликамска. Про всех, кроме меня. Я каждый день в Софию бегал свечи ставить, чтобы Черкасский меня вернул. Трудно, что ли, господу такое чудо сотворить? Мелочь, ему раз плюнуть.

– И что? – живо спросил Гагарин.

Семён Ульянович не рассказал другого – как он стал архитектором. Ведь в молодости он был никем: помогал отцу – сотнику служилых и зелейному мастеру, вот и всё. Он не видел никаких построек из кирпича, кроме русских печей. Ему было уже под сорок, когда воевода Шеин и митрополит Павел затеяли Софию. Сотворение собора перепахало душу Семёна. Завораживало, как медленно и торжественно растут стены, выгибаются арки и смыкаются своды. Тогда Семёна как раз наконец-то поверстали в службу на место отца, и он сразу попросился на собор, но воевода отказал. И Семён Ульянович вникал в дело вприглядку, со стороны и своим умом. Никто его не учил.

Потом митрополит Павел начал возводить в кирпиче Софийский двор. Семён Ульянович к тому времени уже побывал в Москве и своими глазами увидел дивное каменное зодчество. Тобольские воеводы ценили Ремезова как изографа, который к росписям служебных «доездов» прикладывает чертежи слобод, но не допустили до митрополичьего строительства. Воевода Головин поручил Ремезову сооружать бревенчатые укрепления Воеводского двора и посада. Мечта стать настоящим архитектором, подобно тем московским мастерам, что приехали на работы к митрополиту, так и оставалась мечтой.

Семёну Ульяновичу повезло только через несколько лет. Он привёз в

Москву, в Сибирский приказ, соболиную казну и большую карту Сибири, и эту карту увидел Андрей Андреич Виниус, глава приказа. Виниус дотошно расспросил Ремезова о Сибири: он задумал наладить заводы за Уралом, и ему полезно было поговорить со знатоком тех дремучих палестин. Ремезов ударил челом, и Виниус пособил сибиряку: отправил к московским умельцам поучиться хоть малость, дал фряжскую книгу о строительной искусности и настоял, чтобы князь Черкасский, новый воевода, назначил изографа Сёмку архитектором. А Сёмке было тогда пятьдесят шесть. Много ли господь ещё дозволит ему успеть до скончания живота? Но господь дозволил – и немало. А Сёмка, вишь, проворовался. И в гордыне не хотел покаяться, хотя ничего желаннее каменного зодчества для него под небом не было.

– Как понял, что не видать мне больше работы, а чудом меня господь не выручит, пошёл я к Михайле Яковлевичу и сам пал в ноги. Прости, говорю. Грешен. Вор. Забери подворье – верни меня к делу. Оно дороже гордыни.

– И что Черкасский? – с любопытством спросил Гагарин.

– Вернул меня. Велел строить Гостиный двор. И подворье оставил. Только обозвал скотом псоватым, скопыжником и блядым сыном.

– Я бы так же сделал, – удовлетворённо усмехнулся Гагарин.

Семён Ульянович рассказывал про себя не в порыве дружества. Он знал, что казна никогда не расщедрится на кремль, а вот губернатор – может. Но для него это будут те деньги, которые он не положит в свой карман. И Семён Ульянович хотел убедить Матвея Петровича, что бог милостив, и расходы не обернутся убытком. «А если и обернутся, – подумал Семён Ульянович, – то Гагарин не разорится». Когда воеводы-то разорялись? Не бывало такого.

Матвей Петрович слушал с увлечением, но понимал на свой лад. Значит, Ульяныч тоже при своём интересе. На Приказной палате он себе подворье отстроил, а на кремле отстроит подворья для сыновей. Кремль ему нужен, потому что это выгода от мечты. Что ж, ничего дурного. Заработал – получи.

Матвей Петрович не верил в какое-то чистое рвение. Бессребреников надо искать в обителях, как он нашёл Филофея, а не в миру. Мирянин, может, и не гонится за одной лишь сплошной выгодой, но выгода всё равно должна быть. Гагарину, как и Ремезову, нравились большие и славные дела, однако начинать такое дело без знания товарища – всё равно что строить без чертежа и смет. И теперь Ремезов стал ясен Матвею Петровичу. Даже близок. Всё верно, Ульяныч – светлый человек. Угоден госуду. Но человек,

а не праведник. И с людьми Гагарин умел управляться. Знал, на что ради людей можно сподвигнуться, а на что – не стоит. Если Ремезов хочет помощи, то Матвей Петрович должен видеть, сколько Ремезов возьмёт себе, и что ему важнее – сделать дело или украсть денег? Отвечать-то губернатору.

– Добро, уболтал, Ульяныч, – добродушно сказал Гагарин. – Напишу я Петру Алексеичу, попрошу денег на твой кремль. А царь Сибирь любит.

Глава 10

«Бисмилла!»

На поляне перед селением бухарцы расстелили холсты и выложили свои товары. Здесь были ножи с узорами на лезвиях, большие котлы, чугунные сковороды, зеркала, перед которыми женщины Певлора закрывали лица руками, чтобы глаза не видели соблазна, топоры, красивые ткани, сапоги с вышивкой, шапки, цветные рубахи, мешочки с бисером, а также старинные пищали-ручницы из кованых железных полос и бочонки с огнестрельным припасом. Эти богатства поражали остяков. Остяки брали вещи в руки, внимательно рассматривали, нюхали, пробовали на прочность и бережно возвращали на место в прежнем положении – ведь у каждой вещи есть свой дух. Если вещь потревожена, дух может потерять своё обиталище, и тогда он, бездомный, вселится в человека и будет его мучить.

– Я беру гораздо меньшую цену, чем русские, – улыбаясь, пояснял Ходжа Касым. – На соболя я даю нож и четыре гвоздя. Ступка бисера у меня стоит всего две дюжины беличьих хвостов.

Бухарцы и вправду продавали дешевле, чем русские. К тому же русские купцы не привозили инородцам оружия, это было запрещено. Зато они привозили хлеб. Но покупать пищу – неправильно. Её съел – и больше у тебя ничего нету, а еды в Певлоре и своей хватает. И ещё князь Пантила по ярмаркам в Тобольске знал, что бухарцы никогда не обманывают. Сколько раз бывало, что русские продадут сапоги – а нитки в них гнилые. Продадут пуд сухарей – а в пуде не хватает целой чети. Но хуже всего – водка. Бухарцы никогда не предлагали водку – ни даром, ни за плату. Их бог запрещал дурманить голову себе и другим.

– Вы можете купить любой мой товар, какой захотите, – говорил Ходжа Касым остякам, прогуливаясь вдоль холстины, – но русские требуют от меня, чтобы я торговал только с теми, кто верит в моего бога. Примите веру в Аллаха, и мои богатства станут вашими. Я честный купец.

– А что об этом скажут русские? – спросил князь Пантила.

– Русские будут недовольны мною, мой друг, – улыбнулся Ходжа Касым. – Однако на вас им пенять не за что.

Последний год торговые дела Касыма и бухарцев шли всё хуже и хуже. Причиной тому был губернатор Гагарин. Русский царь мог считать Гагарина ревнителем казённого интереса, но Касым знал, что губернатор подгрёбает под себя весь сибирский торг, законный и незаконный. Он отнял

таможни, инородцев и китайцев. Он не берёт мзды и не желает помогать бухарцам, потому что Касым – его соперник. Он хочет лишить бухарцев их старинных сословных прав и уравнивать со всеми прочими мелкими торговцами Сибири. Он ни с кем не поделится доходами от пушнины, а всё возьмёт себе.

Но Касым не собирался уступать Гагарину. Воеводы приходят и уходят, а в Сибири добились уважения и отец Ходжи Касыма, и дед, и прадед. Касым придумал, что надо сделать: надо обратить остяков в ислам – хотя бы несколько селений. Губернатор не может лишить Касыма права торговать с единоверцами. Однако о таких делах следовало посоветоваться с шейхом.

Аваз-Баки – уже не гость в Тобольске. Его род был щедро пожалован бухарским ханом Убайдуллой II, но хан развалил весь Меверрاناхр: Бухара ходила войной на Балх, Хисар, Термез, Кундуз, Шахрисабс и Самарканд. Оазис Хорезм, родина Аваз-Баки, почти отложился от Бухарского ханства. Озлобленные эмиры составили заговор, и два года назад убийцы зарезали хана – по слухам, прямо в волшебном саду Чарбаг в новом ханском дворце за грозными воротами Талипач. Имения тех, кого приблизил Убайдулла, были разорены, в нищету рухнул и род почтенного Аваз-Баки. Шейху оставалось надеяться только на Тобольск. Аваз-Баки возглавлял тобольскую умму, но умма зависела от торговых успехов Ходжи Касыма – главного сибирского тожира. Шейх должен прислушаться к мнению эфенди Касыма.

– Обратить варваров – дело, угодное Аллаху, – сказал Аваз-Баки.

– Но я боюсь оскорбить Всевышнего небрежением новообращённых, – смиренно признался Касым, хотя на самом деле ему хотелось, чтобы шейх убедил его в возможности ислама для остяков. – Они не знают благородного арабского языка и никогда не прочтут ни одной суры со страниц Корана.

– Татары Тобола, Иртыша, Ишима и Барабы тоже не знают арабского языка, но это не мешает им быть правоверными.

– Они никогда не совершат хадж, как ты или я.

– К хаджу может быть приравнено троекратное посещение астаны Хаким-аты в селении Баиш.

– Они не согласятся на обрезание, а без него фитра не полна.

– Аллах милостив и к необрезанным.

– Они не будут давать закят, я это знаю.

– Закят за них можешь давать ты со своей прибыли. Это будет достойно. А с недавних варваров будет достаточно шахады, намаза, уразы и

бисмиллы.

Лето 1713 года оказалось лучшим временем для поездки обращения. Прошлым летом русский наиб Филофей проплыл по Оби от Самаровского яма до Берёзова и порушил языческих идолов. Остяки остались без богов. Пока наиб Филофей не вернулся с Иссой, надо успеть склонить инородцев к исламу. В начале тёплого месяца Хазиран Ходжа Касым, его хизматчи и шейх Аваз-Баки погрузили в дощаник товары и отплыли вниз по Иртышу.

Но расчёт Ходжи Касыма не оправдывался. В каждом селении на Оби бухарцы стояли дня по три-четыре, чтобы успеть смутить остяков товарами, рассказать им об Аллахе и дать подумать, как того требовал Аваз-Баки, но остяки не соглашались на ислам. Они полагали, что нового бога надо принимать от того, кто изгнал старых богов, а старых богов изгнал Филофей. Касыму повезло только в крохотной деревушке Лемъюльские юрты, а прочие селения готовились встречать Филофея. Дощаник Филофея двигался по Оби тем же путём, что и дощаник бухарцев. Касым знал, что остяки выплывают к Филофею на множестве лодок-обласов и с почётом сопровождают русских до своих берегов. Крещение принимали сотни инородцев. Мрачно улыбаясь, Касым признавал победу наива Филофея. И дело не в том, что за Филофеем была мощь державы. Филофей оказался дальновиднее и терпеливее. Но у Ходжи Касыма ещё теплилась надежда на Певлор. Здешний молодой князь Пантила не шёл на поводу у Филофея, а сам старался понять, кто лучше – Аллах или Христос, и Касым хотел убедить Пантилу умными словами.

– Нельзя принимать бога только потому, что с его людьми выгодно торговать, – рассудительно ответил Пантила Касыму.

– Вы же поклонялись своим богам для выгоды, – лукаво сказал Касым.

– Поэтому они ушли, когда их прогнали.

Касым и Пантила говорили по-русски, потому что остяк не знал чагатайского, на котором говорили тобольские бухарцы.

– Этот уважаемый человек хочет рассказать вам о нашем боге, – сказал Касым, указывая на Аваз-Баки, который сидел в стороне от торжища на низенькой резной скамеечке. – Ты позволишь?

– Назови причину, чтобы мы тебя слушали.

– Русский бог прогнал ваших богов и причинил вам зло, а Аллах не сделал вам ничего дурного. Быть может, вы захотите почитать Аллаха.

– Я думаю, это неправильно. Другие остяки принимают Христа.

Светило солнце, ветер сносил мошкарку и раздувал шатры бухарцев. Пантила и Касым стояли возле холстин с товарами и наблюдали, как жители Певлора рассматривают вещи. У холстин были почти все, кроме

младенцев, глубоких стариков и тех, кто отлучился на промысел. Пантила искренне гордился своими соплеменниками, когда видел их в тайге, на Оби или в каком-нибудь деле в селении – какие они красивые, смелые и ловкие. И Пантале всегда было горько, когда он видел своих людей в торге с русскими или бухарцами, – остяки были бедные, слишком мало знали о жизни других народов и не умели сами изготавливать такие нужные и крепкие вещи.

Хизматчи – работники Касыма – поставили шатры за окраиной Певлора. Возле товаров на ковриках, скрестив ноги, сидели только два охранника, свободно говорящие по-русски: они не столько стерегли, сколько отвечали на вопросы. Касым по себе знал, что остяки очень честные – никто ничего не украдёт. Несколько лет назад в подобном же плавании по Оби в каком-то селении Касым выронил на берегу кошель с деньгами; когда он вернулся через месяц, остяки подвели его к месту потери – кошель там и лежал, не тронутый никем, только промок под дождями. В общем, Касым считал остяков наивными, как дети, и чистыми душой. Купцу-тожиру обманывать остяков было харам – потому что ими легко можно было просто руководить.

Больше всех купить чего-нибудь полезное хотелось Ахуте Лыгочину – пусть все в Певлоре зауважают его за такое имущество. Касым давно уже заметил этого маленького и взъерошенного остяка в дырявой одежде и с обиженным лицом. Остяк не по разу пересмотрел все вещи, но не мог отойти. «Это алчность, – сразу понял Касым, – простодушная алчность». Сейчас недовольный остяк за руку подтащил к Касыму девчонку.

– Купи, – требовательно сказал он. – Хомани. Дочь. А мне ружьё.

Ахута страдал, что он хуже всех в Певлоре. Год был неудачным на зверя, чум Ахуты совсем прохудился, а Хомани так никто и не взял в жёны: люди помнили, что где-то на свете есть Айкони – её двойняшка.

Касым с улыбкой оглядел девчонку-остячку. Мелкая, но светлая, чёрные косы, глазки как у белки. В Тобольске у Касыма уже были две жены – старшая Назифа и младшая Сулу-бике – и наложница Улюмджана. Пора было купить четвертую женщину, так как в умме начали сплетничать, что дела у Ходжи Касыма идут плохо, и в гареме давно нет пополнения. Чем плоха эта остячка? Даже забавно иметь её в дополнение к узбечке, татарке и калмычке – его многоопытные чувства нуждаются в чём-то необычном.

– Ты задумал дурное дело, Ахута, – нахмурившись, сказал Пантила по-хантыйски. – Ты отдал Айкони за ясак, потому что ничего не мог изменить, но продавать Хомани по своей воле – нельзя. Я в Певлоре князь, и я тебе запрещаю. Если ты не хочешь слушать моё слово, я спрошу у всех.

Касым сразу догадался, о чём идёт речь. Хомани покорно молчала, а Ахута разозлился. Пантила – молодой, ему, Ахуте, он годится в сыновья, но смеет распоряжаться его судьбой, как уважаемый старик! Хомани – дочь Ахуты, его собственность, и ему очень надо выбраться из нищеты и неудач!

– Я не могу купить твою дочь, потому что не могу ничего покупать или продавать вам, – сказал Касым, чтобы вывести себя из этого спора.

– Тогда бери жена! – решительно заявил Ахута. – Мне выкуп!

Языческие боги не запрещали остякам иметь несколько жён. Отец или семья давали за невестой приданое и получали от жениха выкуп. Если жене не нравился муж, она могла уйти от него, но должна была вернуть выкуп, точнее, отработать его для мужа или его семьи. Однако Хомани боялась даже взглянуть на Касыма. Этот статный и красивый мужчина с острой бородкой – такой гладкой и ровной, будто её любовно расчёсывали девушки, – казался ей совсем чужим, невозможным для мужа, как дерево или река.

– Хомани не приживётся в другом народе! – гневно заявил Пантила. – Выкуп получишь ты, а работать будет она? Это тоже дурное дело!

– Она моя дочь! – крикнул Ахута. – Никто не может запретить отцу выдать дочь замуж!

Касым знал обычаи замужества у остяков и опять догадался, о чём спорят князь и его человек. Но он видел, как сильно Ахуте хочется чего-нибудь получить из товаров бухарцев. Следовало поддержать эту алчность и подтолкнуть остяков принять правильную веру, даже если князь сомневался.

– Я не могу взять твою дочь в жёны, мой друг, – ласково сказал Касым. – У нас с вами разные боги. Нельзя брать жену от чужого бога. Если бы твой народ принял Аллаха, я бы непременно взял твою прекрасную дочь. Но пока я могу только поблагодарить её за красоту скромным подарком.

Касым поднял с расстеленного холста самый яркий халат и набросил на плечи Хомани. Хомани обомлела от такой красоты и щедрости, а глаза Ахуты заблестели, словно разожжённые угли.

– Уходи к себе, Ахута, – тихо и зло сказал Пантила. – Ты не можешь смотреть на чужие вещи без желания получить их любой ценой.

Остяки вокруг внимательно прислушивались к спору Пантилы и Ахуты. Касым в знак извинения прижал руки к груди. Он понял, что нашёл слабое место, и крючок уже заброшен. Теперь следует не мешать.

Бухарцы собрали товары и ушли на свой стан к шатрам. Светлым вечером оскорблённый Ахута возле общего костра набросился на Пантилу.

– Ты плохой князь! – крикнул он.

– Почему? – удивился Пантила.

Конечно, Ахута был недоволен его словами, но при чём тут княжение?

– При тебе плохие годы! Мало зверя! Много оленей погибло на тебенёвке! Русские берут большой ясак! Шаман Хемьюга умер, «тёмный дом» сожжён, а боги изгнаны! Ты плохой князь!

Остяцкие князья давно уже потеряли ту силу, что была в старину: они не собирали дань, не имели воинов и не отличались от остальных по богатству. Теперь князья лишь говорили от лица своего селения слова, которые могли быть сказаны общим собранием, если его собирать по каждому поводу.

– Нам нужен другой князь! – заявил Ахута, обращаясь к остальным остякам, сидящим вокруг костра. Мужчин здесь было десятка полтора – те, кто пользовался самым большим уважением.

– Князей выбирали из моего рода – рода князя Алачи и старухи Анны Пуртеевой, – возразил Пантила. – А я один остался Алачеев.

– Твой род княжил в Коде, а Коды уже нет! Твои предки не могут нам помочь, потому что боги ушли из Певлора и ничего не сделают по просьбе предков! Зачем ты нужен, Пантила? Я приведу бога бухарцев, с которыми начнётся хороший торг, а тебе их бог не угоден!

– Это неправильно! – Пантила решительно помотал головой.

– Почему? – спросил Гынча Петкуров.

– Другие наши селения берут бога русских.

– Они живут хорошо, потому что у них хорошие князья! – убеждённо крикнул Ахута. – Мы пойдём к Касыму говорить про его бога! Верно?

– Надо говорить, – согласился Негума.

Утром под предводительством Ахуты Лыгочина пятеро остяков – Нигла Евачин, Петрума, Гынча Петкуров, Акутя Тупов и Негума – подошли к большому белому шатру Ходжи Касыма и шейха Аваз-Баки. Караульный хизматчи остановил остяков у входа в шатёр, и на шум вышел Касым.

– Что требует твой бог? – строго спросил Ахута.

– Главный ревнитель моего бога – вот этот почтенный человек, – сказал Касым, кланяясь в сторону Аваз-Баки, который тоже вышел из шатра. – На ваши вопросы ответит он, а я переведу его слова.

На шейхе был яркий белый халат, подпоясанный кушаком, расшитым сурами, и просторная накидка с прорезями для рук – зелёная с золотыми узорами. Остяков поразила зелёная чалма шейха – такая ровная и тугая, словно её надули, как рыбий пузырь.

– Аллах требует покорности его правилам, за это он выполняет наши

просьбы на земле. Просьбы мы возносим в молитвах.

– А он даёт вторую хорошую жизнь?

– Да, мы все уйдём в ахирет – загробный мир. Но достойные люди по суду Аллаха обретут вечное блаженство в небесном саду аль-Джанна, а недостойных Аллах отправит на муки уничтожения в страшное место, которое называется джаханнам. Оно напоминает чрево огромного медведя. Те люди, которые совсем не примут веру Пророка, упадут в бесконечный колодец Барахут и будут вечно падать, терзаемые вечным ужасом падения.

Касым переводил так, чтобы остякам было понятно на опыте их жизни. Остяки загомонили, обсуждая пугающие обещания.

– А что надо делать для твоего бога?

– Нельзя курить табак, пить водку, играть в зернь и есть свинину.

– Это хорошие правила, – согласились остяки.

– Вам можно будет иметь несколько жён, чего русские не разрешают.

– Это очень хорошее правило, – оживились остяки.

– Три раза в жизни вам надо будет сходить на Иртыш в село Баиш и поклониться священной могиле человека по имени Хаким-ата.

– А можно зимой?

– Можно. Ещё в дни священного месяца Рамадан вам нельзя будет есть пищу, пить и знать женщин, пока не сядет солнце. Знающие люди скажут вам, какой месяц в каком году будет Рамадан.

– Такое можно вытерпеть. Но возьмут ли с нас ясак для бога?

– Вы будете торговать только со мной по справедливым ценам, и я сам из своего дохода заплачу за вас ясак Аллаху. Он называется закят.

– Тебе можно верить, – закивали остяки. – Мы знаем.

– Ещё вам надо будет защищать своего бога от тех, кто в него не верит, и молиться ему. Каждый человек молится Аллаху пять раз в день сам один, и раз в пять дней – со всем селением. Молитва называется намаз. Мы научим вас совершать её. Если вас увлёт Аллах, – Касым в жесте щедрости прижал ладони к груди и затем обратил их раскрытыми ко всем собеседникам, – тогда вы можете произнести священную клятву шахады и станете мусульманами. Но вы должны поставить свои родовые знаки на моей бумаге, которую мне придётся показывать русским.

– Говори, когда нам клятва! – решил Ахута.

Он оглянулся на остальных остяков, и никто из них ему не возразил.

– Ты будешь имамом, достойный человек, – важно сказал Ахуте Касым и покровительственно улыбнулся. – Имам – это как ваш шаман.

Утром следующего дня шейх Аваз-Баки определил киблу, подыскал на берегу чистое место, и слуга-фарраш расстелил здесь коврик с

изображением михраба. Шейх встал на колени лицом к Мекке, а вокруг на обрывках шкур встали на колени полсотни жителей Певлора – мужчины, женщины и дети постарше. Остяки, одетые в таёжные одежды, согнулись в поклоне – и вдруг напомнили Касыму лесных зверей. Вслед за шейхом они нестройно произнесли шахаду, нелепо коверкая непонятные слова:

– Ашхаду алля иляха илля Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан расулю Ллах!

Ходжа Касым и его хизматчи присоединились к остякам для намаза.

Князь Пантила стоял поодаль и смотрел молча. Ему было грустно, что он не со своими людьми, однако он не мог убедить себя, что жители Певлора сделали правильный выбор. Бога надо принимать после долгих раздумий. Один день, два, три – это не время. Нужно размышлять год. А бухарцы со своим богом просто прибежали раньше русских на всё готовое.

Шейх Аваз-Баки провёл с остяками утренний фаджр из двух ракаатов. Он делал всё медленно, ожидая, чтобы остяки повторяли. Он произнёс все нужные молитвы – ният и такбир, тасми и ташаххуд, прочитал из Корана Аль-Фатиху и короткую суру Аль-Ихлас об искренности, показал в нужное время поклоны киям и суджуд, позу джилса и омовение тахарат.

Запоминая слова и движения, остяки устали от умственных усилий.

– Это очень трудные танец и песня, – с сожалением сказал Негума.

– Да, – согласился Ходжа Касым. – Шейх Аваз-Баки – истинный мудрец и знаток веры Пророка. Но вы можете молиться Аллаху проще. Имейте михраби и кланяйтесь на восток пять раз в день, совершая вот такой суджуд аш-шукр, – он показал поклон, – и читайте вслух шахаду. Соблюдайте запреты, помните свои права и всегда с радостью произносите слово «бисмилла!», когда делаете что-либо, угодное Аллаху. А достойный Ахута Лыгочин пусть следит, чтобы вы об этом не забывали. Он будет ваш имам.

– Это легче, да, это легче, – загомонили остяки.

– А теперь напишите свои имена на моей бумаге и ступайте покупать мои товары, которые вам понравились.

Хизматчи Касыма поставил перед остяками низенький столик, выложил бумагу и бережно поместил в лунку на столике чернильницу с перьями.

– Мы начертим свои катпосы, – сказал за всех Ахута.

– Я подарю тебе ружьё, мой друг, – негромко сообщил Ахуте Касым. – А про свою дочь ты ещё подумай. Я могу взять её в жёны на обратном пути.

Хомани тоже была среди тех, кто принимал нового бога.

— Завершайте торговлю поскорее и собирайтесь в путь! — почагатайски крикнул Касым своим хизматчи. — Люди русского наиба почти догнали нас!

Вечером Ахута собрал жителей Певлора у костра. На плече у него висела толстая старинная пищаль, и он выглядел очень гордым.

— Я ваш имам, — сказал он. — Я объясню вам то, что не смогли объяснить бухарцы. Теперь наш единственный бог — бог утреннего солнца. Идолы и капища ему не нужны. Надо лишь поклониться и сказать волшебные слова, и бог исполнит просьбу. Он добрее всех прочих богов. Надо его защищать.

Глава 11

Прорва

Здравствуйте, господин Ренат, – сказала Бригитта.

Они встретились возле крыльца школы фон Вреха. В школе ольдерман выдавал жалованье, которое пленным присылали из Фельдт-комиссариата.

– Разве риксдаг начал платить солдатам? – удивился Ренат, и ему сразу стало неловко от своей бестактности.

– Это мои деньги. Мне присылает их отец моего первого мужа.

– Простите меня, Бригитта, – смутился Ренат и снял треуголку. – Я сказал не то, что хотел сказать.

Они молча смотрели друг на друга. Бригитта была на пару лет моложе Рената, но на три жизни старше по опыту. Она видела, что понравилась этому офицеру. И он ей тоже нравился – серьёзно, внятно, без девичьих фантазий. Но пусть он сам делает шаги, мальчику в её жизни нет места. Ренат надел шляпу, в лёгком поклоне двумя пальцами коснулся канта и отошёл.

Он ругал и проклинал себя. Надо или выбросить эту женщину из головы, или переступить через солдата Михаэля Цимса.

Вечером после упражнений в фехтовании Табберт сказал Ренату:

– Вы слышали, мой друг, о большом начинании губернатора? – Табберт протирал шпагу платком. – Он желает проложить канал, чтобы отвести часть воды Тобола, и приглашает на работу исключительно подданных короля.

– Почему нас?

– Видимо, мы работаем лучше русских. К тому же губернатор всегда старается помочь нашей общине, а работы на канале – добрый заработок.

– Кто уже нанялся?

– Очень многие. В том числе и солдат Цимс с супругой.

Наблюдательный Табберт уже давно всё понял о штык- юнкере.

– А вы, господин капитан? – Ренат покраснел.

– Любовь – не фехтование. Зачем вам на канале нужен я?

Как узнал Ренат, в работы записалось около семи сотен каролинов. В начале лета дюжина неуклюжих дощаников два дня перевозила из Тобольска к Темир-бугру людей, лошадей, провиант, шанцевый инструмент, палатки и прочее, что потребуется на строительстве канала. Всем руководил капитан Отто Стакелберг. Роту землекопов возглавлял

лейтенант Сванте Инборг, роту лесорубов – капитан Хенрик Свенсон, комендантом лагеря Стакелберг назначил ротмистра Малина. В подчинение Ренату дали конный обоз.

Город Тобольск скрылся за тайгой и рекой. Караула и надзирателей на работах не было. И вдруг оказалось, что сооружение канала – не временная каторга за деньги, а свобода, отдых от плена и от русских, возможность побыть только своим обществом, словно все они снова в армии короля Карла – строят, например, линию редутов или большой ретраншемент. Здесь звучала лишь шведская речь, и порядок был шведский. А эти ели и сосны – точно такие же, как в Сконе или Вермланде, а эти лёгкие летние облака над Тоболом ничем не отличаются от облаков над Каттегатом.

Первым делом шведы окончательно перекрыли Прорву: под Темир-бугром насыпали земляной вал поперёк лощины, и вода перестала поступать в протоку. Но Тобол и не заметил, что ему, словно дереву, обрубили ветвь. Прорва превратилась в стоячую старицу, потом – в полосу грязи, а в разгар лета, в жаркую межень, высохла до самого дна. Команда Юхана Матерна, лейтенанта инженерного корпуса и фортификатора, обмерила русло протоки и верёвками на кольшках обозначила линию будущего канала. Лесорубы принялись рубить широкую просеку, оттаскивать деревья и корчевать пни.

Землекопы врылись в лощину. Канал должен был иметь глубину в девять, а ширину – в сорок ганзейских альнов. Сванте Инборг решил, что вывозить грунт на телегах будет нерационально, лучше перебрасывать его с яруса на ярус. Инборг выстроил работников в шесть рядов; каждый ряд выбирал землю на полтора альна и перекидывал на верхний уступ. Над огромной траншеей поднялось облако пыли. Землекопы трудились голые по пояс и в рукавицах. Среди землекопов был и солдат Михаэль Цимс.

Бригитта с другими женщинами работала на кухне. Ренат командовал конным парком и перевозками и старался не появляться на стане слишком уж часто, но всё равно оказывался там по десять раз в день – то с водовозами, то с дровами. Он сразу находил Бригитту взглядом. Бригитта была такая стройная – даже в большом фартуке, такая сильная и красивая... Ренат издали урюмо смотрел, как она сидит, поворачивается к собеседницам, ходит или наклоняется, чтобы потрепать весёлого приبلудного щенка. И Бригитта тоже всегда чувствовала присутствие Рената, его жадное внимание. Ей было приятно, что этот молодой офицер смотрит на неё так, будто она уже обнажена, – но обнажена лишь для него, а прочие ничего не замечают. Однако Ренат держался в стороне, и это ожесточало Бригитту.

Как-то днём Ренат увидел, что к Бригитте подошёл Цимс. Бригитта следила за артельными котлами, подвешенными к массивным козлам на крюки. Под котлами горел огонь, помещённый в ров, чтобы не опалял ноги поварих. Длинным черпаком Бригитта помешивала то в одном котле, то в другом. Рядом с ней вертелся щенок. Цимс привычно схватил жену за зад.

– Принеси мне вечером большой кусок варёного мяса, – сказал он.

Ренат неподалёку от котлов помогал конюху запрячь лошадь в телегу и всё слышал, но не поворачивал головы.

– Я не могу красть из котла, Михаэль, – тихо ответила Бригитта.

– Можешь. Я знаю, что ты воровка.

Бригитта сняла с черпака разваренную жилу и бросила щенку.

– У тебя есть еда для пса, а для мужа нет?

– Это не пёс. Это Юсси, маленький глупый щенок.

Два года назад в Казани у Бригитты умер второй муж – фэнрик Юхан Линдстрём. Он работал плотником на адмиралтейской верфи, простыл и не сумел оправиться. Юхан и Бригитта жили в пристройке у какого-то купца. Бригитта сидела у постели мужа и в бессилии смотрела, как Юхан догорает. Ей разрешили остаться подле умирающего, а всех остальных шведов из Казани угнали куда-то в Сибирь, так что несчастный Юхан не смог оставить жене в наследство даже доброй помощи от своих товарищей.

Офицерскую вдову Бригитту Линдстрём присоединили к следующей партии ссыльных и погнали из Казани в Тобольск. Но в этой партии никто не знал Бригитту. Её сочли обычной полковой потаскухой, которой некуда деться от солдат, пусть даже и пленных. На одной из ночёвок Михаэль Цимс завёл её в амбар и взял силой. Бригитта могла бы пожаловаться шведским офицерам или русскому караулу, но не стала. Понятно, к чему это приведёт: русские накажут виновного, шведы отвернутся от доносчицы, а репутация падшей женщины никуда не денется. У плена свои законы. Утром Бригитта отдала Цимсу свой хлеб и взяла постирать его рубаху. Цимс был доволен.

Бригитта была его работницей – выполняла вместо мужа разные мелкие обязанности солдата. Была его подстилкой. Была его прислугой – искала ему выпивку и затаскивала его, пьяного, спать под крышу. В Вятке батальонный пастор Габриэль Лариус повенчал Бригитту и Михаэля. Теперь Цимс по праву супруга забирал себе те деньги, которые Бригитте из сочувствия к её положению изредка присылали родители Матиаса, первого мужа. Но зато она была ограждена от посягательств других мужчин. Цимс не защищал её кулаками – просто никто не хотел связываться с такой скотиной, как Цимс.

Штык-юнкер Юхан Ренат тоже думал о Цимсе. Он вылучил момент, когда Бригитта была одна, подошёл и спросил прямо:

– Вы любите Михаэля, Бригитта?

– Да, – спокойно ответила Бригитта.

От этого молодого офицера она хотела действий, а не слов. И пусть действия будут решительные.

На строительство канала несколько раз приезжал губернатор Гагарин. Его сопровождала целая свита – ольдерман фон Врех, архитектор Ремезов, полковник Чередов, секретарь Дитмер, слуги и лакей Капитон. Гагарин прошёлся по просеке вдоль Прорвы, осмотрел ров, поднялся на плотину, принял доклад от Стакелберга и Инборга, попробовал обед из общего котла. Ему всё понравилось. Работы идут ходко, шведы бодрые, пища сытная.

Матвей Петрович считал себя опытным строителем каналов. Десять лет назад, задумав Петербург, Пётр Алексеевич сам решал, как доставлять грузы, необходимые для возведения новой столицы. Разумнее всего было везти их с Волги вверх по речке Тверце, а затем перетаскивать суда в речку Цну по волоку у Вышневолоцкого яма. Цна впадала в озеро Мстино, из озера вытекала река Мста и впадала в Ильмень, из Ильменя Волхов вёл в Ладогу. А волок можно заменить каналом – рассечь водораздел. Государь приехал в ям и шагами по болотине измерил расстояние от Тверцы до Цны.

Прочертить канал Пётр Алексеевич нанял амстердамских мастеров во главе с грахтмейстером Адрианом Гаутером, а строить канал назначил Матвея Петровича с двоюродным братом Василием. В Волочок пригнали десять тысяч мужиков. На тех работах Матвей Петрович неплохо изучил, что такое отводные куветы, трубы-дрены, бейшлоты, устои, дамбы, бермы, шлюзы с их затворами и камерами и вешняки-водосбросы. Тверецкий канал строили три года, соорудили шесть шлюзов и два моста. За Вышневолоцким ямом выросло кладбище из сотен крестов. С пушечной салютацией первые барки проползли по каналу на бечеве бурлаков, но затем ход закрыли и ещё три года доделывали канал, в котором талые воды проточили промоины мимо шлюзов. Водный путь, по правде говоря, получился неважным – то его заносило илом и песком, то тяжёлые шлюзы оседали в зыбком торфяном грунте. Но эти грехи ложились на совесть голландцев, а не князя Гагарина. Его дело – чтобы землекопы безостановочно рыли там, где указано, а плотники накатывали венцы, как положено. А Прорвинский канал был на версту короче Тверецкого, и на Прорве не нужны были шлюзы, дамбы и мосты. Так что Матвей Петрович в себе не сомневался.

Довольный собою, Матвей Петрович прислал на Прорву двадцать пять вёдер водки, хотя двадцать пять вёдер на семьсот работников – всего лишь по чарке каждому. Но у шведов имелись и свои припасы. Вечером на Прорве начался праздник. Женщины приготовили, как в Швеции, солёную рыбу, вяленую говядину с давленной репой и яблочные пироги, в котлах подогрели глэгг – какой уж можно было сделать в России. Всюду горели костры, люди ходили от одного общего стола к другому, звучали шведские песни и смех.

Ренат сидел на бревне перед огнём в компании офицеров. Размякнув от водки, офицеры говорили о самом дорогом – о родине.

– Я получил письмо от жены, – рассказывал лейтенант Леоншельд. – Умер тесть. Сейчас я стал бы в Коппарберге богатым человеком, меня бы непременно выбрали в ландстинг. А я здесь – неизвестно, где.

– Если бы король Карл пошёл на мир с царём Петром, нас отпустили бы.

– Говорят, что король в плену у султана, – задумчиво сказал капитан Свенсон. – Он не может принимать решений за страну и риксдаг. А русские и прочие враги Швеции не желают мира, потому что могут беспрепятственно грабить завоевания короля, пока продолжается война.

– Я хотел убедить губернатора Гагарина отпустить меня на пароль, – признался ротмистр Малин, – но господин Дитмер сказал, что бесполезно.

– Кого-нибудь из нас могли бы обменять на русских пленных в Швеции, однако кандидатов подбирает граф Пипер, а у него перед глазами лишь те, кто остался в Москве при Фельдт-комиссариате. Увы, мы слишком далеко.

– Бесконечные русские пространства держат нас в плену надёжнее, чем цепи и кандалы, – сказал капрал Брур Роламб, стихотворец общины.

– Лейтенант Ланг дал присягу и уехал с китайским посольством на Волгу. Он может уйти на родину, оттуда гораздо ближе.

– Лоренц не согласится на побег. Он слишком честолобив, а у русских он сумеет сделать карьеру, какая вряд ли получится у него в Швеции.

– Господа, брат написал мне из города Псков о некоем хитроумном капрале Шульце. Он сумел сбежать из плена в шкуре медведя.

Офицеры засмеялись.

– Неужели такое возможно?

– Это шутка, господа, – сказал капитан Свенсон. – Горькая шутка.

Ренат не переставая думал о Бригитте. Она где-то рядом, а он ничего не предпринимает. Бездействие – хуже поражения.

– Георг, – наклоняясь к уху ротмистра Малина, прошептал Ренат, – вы

сможете продать мне фляжку вашего биттера?

– Его уже нет, – тихо ответил ротмистр. – Но есть русский самогон.

С бутылью самогона в руке Ренат подошёл к балагану, где жили Цимс и Бригитта. Жердяная лачуга была покрыта лапником. У входа дымил костёр, возле которого сидел хмельной и мрачный Цимс. Даже на празднике никто не пожелал быть ему товарищем и угостить выпивкой. Бригитта возилась в балагане. Ренат присел на полено напротив Цимса.

– Выпьете со мной, Цимс? – спросил он.

– Это русское пойло, – глянув на бутыль, буркнул Цимс.

– Оно тоже туманит разум и облегчает сердце.

– Вы мне не друг, – предупредил Цимс то ли себя, то ли Рената.

– Нам обоим друг – только это русское пойло.

Бригитта смотрела из балагана, как Цимс и Ренат пьют самогон. Она понимала, что Юхан пришёл отнять её у Михаэля. Наверное, и Цимс тоже это понимал, но решил, что жена никуда не денется, а выпивки больше не дадут. Соперничество мужчин не тешило самолюбия Бригитты. Она уже не наивная девушка и знает, что подлинная радость – когда спор закончен. Ей хотелось, чтобы Цимс быстрее нализался и свалился. Ренат напоминал ей Матиаса, первого мужа, если бы Матиас дожил до возраста Рената.

Бригитта родилась в семье лейтенанта Кнута Шерценфельда. Отец вышел в отставку и служил помощником управляющего в Сконе, в поместье Бэкаскуг. Поместье принадлежало датскому купеческому роду Рамелей, но род потихоньку угасал. Между двумя озёрами в старой буковой роще стоял небольшой обветшалый замок из красного кирпича, когда-то – аббатство, и многодетная семья Шерценфельда жила в полуподвале бокового корпуса в двух сводчатых комнатах. Отставной лейтенант выдал пятнадцатилетнюю дочь Бригитту за корнета Матиаса Бернова, сына своего полкового друга.

В те годы юноши были влюблены в короля Карла и грезили победами. Матиас записался в армию и отправился на войну, а Бригитта поехала вместе с мужем. Корабль перевёз их из Стокгольма в Ригу. Устроив молодую жену, Матиас с полком отбыл на театр военных действий в Ливонию и Польшу, чтобы сбросить с престола короля Августа II. Бригитта ждала мужа два года. Потом из Польши приехал фэнрик Юхан Линдстрём, боевой товарищ Матиаса, и привёз известие, что Матиас убит под городом Торунь.

Бригитта помнила, как изумилась тогда своей природе: вместо горя её охватило ожесточение. Она хотела любви, а муж увёз её в чужую страну и в чужой город, оставил одну на два года и затем вдруг погиб – бессмысленно

и бездарно. А недотёпа Линдстрём не понял, что творится в душе Бригитты. Он забрал юную вдову друга с собой в Нарву, где служил в гарнизоне под командованием барона Горна. Вскоре Юхан и Бригитта повенчались.

Через полгода враги окружили Нарву. Корпус генерала Шлиппенбаха не смог пробиться к осаждённым. Армия царя Петра двинулись на приступ. Бригитта слышала чудовищный рёв взрывов, когда штурмующие взламывали бастионы Гонор и Виктория, но то, что случилось дальше, было ещё ужаснее. Русские захватили город. Они убивали всех подряд направо и налево. Четыре распалённых солдата забежали в дом, где жила Бригитта, закололи хозяйку с детьми, обнаружили Бригитту на чердаке и вместе изнасиловали. Потом кто-то говорил Бригитте, что царь Пётр сам рубил на улицах Нарвы мародёров и насильников, но тогда Бригитту никто не спас – ни царь, ни король, ни муж.

Она попала в плен. В лагере её отыскал Линдстрём – он уцелел, успев бросить шпагу под ноги русскому офицеру. Но муж потерял для Бригитты всякое значение. Она его уже не уважала, просто в плену при нём было легче. Пленных перегнали в Москву, из Москвы – в Казань. Тогда шведов в русской неволе было ещё немного. В Казани Бригитта завела любовника – секретаря в комиссии по делам пленных. Этот толстый бородатый дядька боялся жены и начальства, но всё же устроил Бригитту на жительство к купцу, чтобы она могла подрабатывать в лавке, и определил Линдстрёма в работы на верфь.

И теперь Бригитта уже не надеялась на мужчин. Они слабы. Они умеют лишь отнимать у тех, кто слабее; если же и дарят что-то, то краденое. Нужен ли ей штык-юнкер Ренат, если ему нечего ей подарить? И нужна ли ему она, если у неё нечего отнять? Однако Бригитта ощущала тёмную тягу желания Рената, эта сила тревожила её и заставляла отзывать против воли. А вдруг офицер Юхан Густав Ренат окажется тем, кого она так и не дождалась?

Белые ночи с их жемчужным, обволакивающим светом уже миновали, но тьма была пока ещё не настоящая – синяя, прозрачная, чуткая. В ней всё почернело – деревья, строения, люди, холмы, но ничего не исчезло. Ренат и Бригитта убегали от балагана и спящего Цимса по взрытому дну канала, по ложу Прорвы. Лощину затопил туман, приплывший с Тобола, и на краю раскопа в сизой мгле тлели размытые пятна костров. Отдалённо и глухо звучали голоса тех, кто там ещё не спал, засидевшись за выпивкой. Ренат тянул Бригитту за руку, и Бригитте казалось, что она опять стала девочкой из Сcone, которая гуляет в буковой роце Бэкаскуга с корнетом Матасом.

Щенок Юсси прыгал за хозяйкой, как лягушка, и Бригитта шептала ему:

– Юсси, ты куда? Иди обратно! Чего тебе с нами надо?

Они взобрались на плотину, а с неё – на Темир-бугор. Сверху была видна тайга: белые, мягкие, чуть дымящиеся реки извивались вокруг во все стороны и ветвились, обтекая угольно-мохнатые острова. Подтаявшая луна скользила за мохнатыми вершинами сосен, стоящих на Темир-бугре. Но Ренат и Бригитта никуда не смотрели. Ренат сбросил с головы Бригитты чепец и потащил вверх её платье – голое женское тело словно посыпалось из мешка: колени, живот, груди, плечи. Ренат уложил Бригитту в траву и сразу накрыл собою, будто лодка въехала в устье ручья. Юсси скакал и потягивал, не понимая, что делают люди, а потом схватил зубами платье хозяйки и потащил за ёлочки, как добычу. Ренат руками загребал Бригитту под себя и целовал, а Бригитта выгибалась и отворачивалась, чтобы не задохнуться.

Потом они просто лежали в голубом папоротнике и глядели в далёкое небо. Звёзды вчетверо увеличились в размерах, словно взорвались, выстрелив крестами длинных лучей, но призрачная взрывная волна не шевельнула на земле и травинки. Беглый звёздный огонь пылал беззвучной канонадой. Незримая рука великого астронома чертила огромные дуги по огромной сфере, вонзив иглу блестящего циркуля в точку фокуса, а синусы и тангенсы небесных исчислений бестелесно пронизали друг друга острыми углами, измеряя мерцающие радианты рассеивания. Вся эта небесная баллистика рассыпалась бы на рикошеты, но её удерживали строгие таблицы созвездий.

Ренат с трудом поднялся на ноги и натянул штаны. Бригитта тоже поднялась и медленно пошла босиком по вершине холма, отводя с лица упавшие волосы. Ренат снова сел, привалившись спиной к стволу сосны.

– Юсси, чертёнок! – негромко звала Бригитта. – Где моё платье?

– Оно здесь, – сказал Ренат.

Бригитта вернулась к Ренату.

– Где?

– Я соврал, Гита. Я хотел видеть, как тыходишь ко мне.

Бригитта опустилась на землю, легла на спину и положила голову на колени Рената.

– Смотри, сколько хочешь, Хансли, – сказала она.

Глава 12

Течение великих рек

Дощаник Филофея по дуге подходил к берегу Певлора. Дружно выдыхая, гребцы – служилые, казаки и монахи – налегали на вёсла, и при каждом толчке лопастей из-под носового отвала судна слева, урча, выползала пена. Лёгкий ветерок на просторе обрёл осязаемую плотность, выдувал парус и кренил дощаник на правый борт. Служилый десятник Кирьян Кондауров стоял под мачтой-щеглой и рывками вытягивал снасть, закреплённую за правый конец рели с парусом; Кирьян перехватывал верёвку за навязанные для удобства узлы, и реля задиралась, сокращая площадь паруса. Новицкий обеими руками упирался в рукоять руля, и от напора течения на рулевое перо потрескивали вбитые в брусья кованые крючья-сопцы.

– А здесь остяки нас не встречают, – задумчиво сказал отец Варнава.

Варнава и Филофей стояли у борта и смотрели на Певлор. Там среди чумов и моховых крыш мелькали люди, курился дым чувалов, лаяли собаки.

– Поживём – увидим, – ответил Филофей.

Дощаник был снаряжён как и в прошлом году; на борту с владыкой плыли пятеро монахов из Знаменской обители, пятеро служилых Кондаурова и четверо казаков Новицкого. Судно прошло долгий путь от Тобольска, и почти везде остяки выходили на реку на лодках-обласах, радостно кричали, окружали дощаник и сопровождали святителя к своим селениям. Филофей был прав: миновал год без идолов, и теперь инородцы уже сами желали крещения. Но, видно, не в Певлоре. Здесь, на землях древнего остяцкого княжества Кода, всегда было всё непросто.

Дощаник грузно выехал носом на отмель и встал, а волна покатилась на песчаный приплёсок. За травяной кромкой берега звучал собачий лай, но ни один человек на берегу не появился. Лишь перевёрнутые обласы и калданки, сушила с сетями и разный плавучий мусор, выброшенный Обью.

– Что ж, сойдём, – негромко сказал Филофей. – Оружие не берите.

– Нэт, вотче, – твёрдо возразил Новицкий, блестя серьгой в ухе. – Воруэе трэба взяты. Чому никого нэмаэ? Нэдобро.

Впрочем, русские остяков не боялись. Настоящие воины – это степные всадники, башкирцы, казахи и джунгары, которые конными полчищами с визгом несутся в набег, выставив длинные хвостатые пики и воздев сабли.

Опасными врагами могут быть закутанные в меха самоеды из тундры, которые под полуночными сполохами зимы налетают на северные остроги на оленных упряжках и осыпают башни тучами стрел. А остяки – тихие лесные людишки, замороженные бредовым бормотаньем непонятных таёжных богов.

Казаки, служилые и монахи открыто и спокойно шагали от дощаника к невысокому травяному взгорью, и вдруг из травы выросли остяки – человек тридцать, всё мужчины, все с копьями, луками и даже старинными ружьями.

– Бисма! Бисма! – непонятно закричали они с неожиданной яростью. – Бисма! Стой! Уходи! Бисма! Иди к себе!

Несколько стрел вонзились перед русскими в песок, предупреждая.

– Кака бысма? – угрюмо и негромко спросил Новицкий, накладывая ладонь на рукоять пистолета за перевязью камзола.

– Бисмилла, – хмуро ответил Филофей. – Погодите, брате, я сам...

Он сделал шаг вперёд; Ахута Лыгочин как-то странно заплясал, вздёргнув пищаль, и с громом выстрелил по владыке. Большая пуля вспорола и взметнула край рясы Филофея. Остяков как прорвало – ничего подобного люди Филофея не ожидали. Стрелы длинно свистали мимо них и между ними; вскрикнул казак Артюха, поражённый в грудь. А потом грохнул ещё один выстрел из самопала. Новицкий, надвинув треуголку, потянул пистолет, заряженный ещё на судне, но Филофей схватил его за руку.

– Не надо! – закричал он остякам.

Остяки врассыпную спускались с берега – боком, опасливо приседая, точно собаки перед прыжком. Они вопили и продолжали стрелять из луков. Старенький монах Исакий охнул и осел на песок: стрела сквозь бороду вонзилась ему в горло. Митька и Кондрат, служилые, почти разом ударили по остякам из ружей. У остяков тоже кто-то с визгом кувыркнулся в траву.

– Нет! – снова крикнул Филофей, и голос его сорвался.

В рукаве его рясы тоже болталась запутавшаяся стрела.

– Трэба йти з Пывлору, вотче! – Новицкий быстро выдернул пистолет.

– Нельзя! – без голоса просипел Филофей.

Он не успел подумать, кто прав, кто не прав, – весь этот неожиданный бой был отчаянно неправильным, чреватой бедой. Внезапно владыке обожгло ногу, будто справа от пояса до колена в ней вспыхнула огненная щепка. Филофей уронил взгляд: стрела, дрожа оперением, торчала у него из бедра. И обе ноги вдруг ослабли. Филофей пошатнулся, взмахнув руками.

Новицкий увидел, что владыка ранен, а в полусотне шагов от него –

остяк, снова натягивающий лук. Григорий Ильич прыгнул вперёд, чтобы закрыть Филофея – он же военный человек, его и послали для того, чтобы защитить владыку! Стрела ударила Новицкого в грудь, и только в этот миг Григорий Ильич понял, что Филофей – здесь единственный, ради кого ему стоило сделать то, что он сделал. Он повалился широкой спиной на владыку и собою повалил его на землю. Вторая стрела воткнулась Новицкому в бок.

Над Новицким бабахнуло ружьё – служилый Кондрат Шигонин пулей снёс остяка-лучника. Кондрат хапнул Новицкого за грудки и потащил.

– Нэ мэнэ, владыче взыми! – рычал Новицкий, отбиваясь от Шигонина.

Владыку подхватил монах Корнила – и сразу упал со стрелой в спине.

Русские отступали к берегу, уносили раненых, сталкивали с отмели на глубину дощаник, нос которого был утыкан стрелами, и на ходу забирались на борт, хватаясь за руки товарищей. Дощаник медленно отплывал в нежно сверкающее пространство Оби. Остяки выбежали к воде и завопили – не столько от радости, сколько от изумления: они прогнали русских! На песке между лодок и вешал с сетями лежали двое убитых и владыка Филофей.

Ему чудилось, что он плывёт куда-то, плывёт, будто в колыбели по ручью, а вокруг такая хорошая и мягкая темнота, прошитая протяжными просверками, и где-то взволнованно шумит лес, и повсюду поют ночные птицы. Но он очнулся и начал медленно осознавать себя. Он лежит на земле, прочно привязанный кожаными верёвками к бревну – нельзя ни встать, ни даже пошевелиться. Небо над ним сошло бурым шатром – это была старая, покоробленная береста. Филофей находился в остяцком чуме.

Он повернул голову направо и налево, разглядывая жилище. Основу чума составляли три десятка длинных жердей; их верхушки были обмотаны ремнём; такое сооружение называлась «костёр». По кругу чум был обёрнут полосами ветхой и заскорузлой бересты, местами прихваченной к опорам петлями из прутьев. На утопанном полу валялись ветки и мусор, тряпичное рваньё, скомканные и зачерствелые шкуры, низенькая скамейка без ножки. Очаг давным-давно не топили, и его зола была перемешана с землёй. Никто в чуме не жил. Филофей понял, что он в плену у остяков Певлора. Что с его раненой ногой, он не знал – не видел ногу и не чувствовал.

За изодранным пологом звучали голоса остяков – злые крики, ругань, рыдания и вопли женщин. Гавкали собаки. Филофей лежал, пытаясь понять, что произошло. Остяки напали на его людей. Кого-то убили. У остяков были старинные ружья – откуда они?.. И ещё остяки вопили

«бисмилла!»...

Полог зашевелился, блеснул свет, в чум вошёл какой-то человек и молча уселся рядом с Филофеем. Это был князь Певлора Пантила Алачеев.

– Что здесь случилось, князь Пантила? – помедлив, спросил Филофей.

– Я не князь. В Певлоре теперь князь Ахута Лыгочин, – сердито сказал Пантила. – Меня прогнали.

– А где мои люди?

– Живые убежали в лодку и уплыли.

Значит, отступили, оставив его... Филофею горько было это слышать.

– Многих вы убили?

– Умерли два.

– Кто?

– Имена я не знаю.

Филофей закрыл глаза и вполголоса начал читать «Отче наш».

– Ты прогнал наших богов, а своего не дал, – перебил Пантила с болью в голосе. – Зачем так? На пустое место пришли бухарцы. И теперь Певлор принял их веру – луну, а не крест.

– Это луна варваров. Певлор ошибся.

– Зато бог бухарцев добрее. Бухарцы будут торговать.

– Я тоже вёз для вас подарки и на три года освободил бы от ясака, – сказал Филофей и задумчиво добавил. – Но я опоздал, князь Пантила.

– Значит, бог бухарцев обманул вашего бога. Он хитрее.

– Хитрость – оружие слабых, – Филофей смотрел в дыру в верхушке чума. – А я вёл вас к самому сильному богу. Сибирью владеет русский царь, а не хан бухарцев. Разве русский царь стал бы молиться слабому богу?

– Пусть тогда твой сильный бог спасёт тебя! – рассердился Пантила.

– Я уже спасён, – спокойно ответил Филофей.

Он догадался, что остяки переступили черту и дальше не останутся.

– Что вы хотите сделать со мной?

– Ахута взбесился, как барсук. Он отдал свой старый чум, чтобы сжечь тебя, растоптать угли и бросить в Обь.

Филофея передёрнуло под верёвками. Вот, значит, что ему уготовили...

– Ты тоже будешь жечь меня, Пантила?

– Я не буду! – крикнул Пантила и встал. – Я не говорил бухарцам их священные слова, я не ходил стрелять по твоим людям, я не буду жечь тебя! Я не хочу этого! Но я ничего не могу изменить!

Филофей лежал один и думал, что скоро умрёт. Свою вторую жизнь, дарованную ему после болезни, он прожил хорошо, верно, хотя и не

заметил, как она пролетела, но второй раз крыла Гавриила над ним уже не захлопают. Он умрёт обыденно, без всякого подвига. Его, привязанного к бревну, просто сожгут в чуме на берегу Оби, как в «тёмном доме» сожгли труп шамана Хемьюги. Он не сможет ничего сказать, ничего завещать. Да и ладно.

Дверь уже открыта. Он знает, что ждёт его там, за чертой, но всё равно его трясёт от ужаса. Страх смерти и есть знамение того, что Благая Весть – в самой обыденности. Эту Весть хочется слушать вечно, как дитю хочется вечно сидеть на коленях у бабушки и слушать её сказки. Конечно, там, за чертой, господь сотворит его снова из пустоты, соберёт из рассеянной пыли, возродит из чужой доброй памяти. Но он будет уже не дитём, а сказкой.

Прозрачное летнее облако едва заметно скользило в дыре, зиявшей в макушке чума. Остяки за чумом затихли, а потом загомонили гораздо ближе. Филофей услышал шорох за стенами и понял, что остяки наваливают хворост и лапник. В чум вошёл Пантила. Он был взволнован.

– Сейчас тебя будут жечь, – сказал он, присаживаясь возле Филофея. – Я говорил: не надо, Ахута не слушает. Тебе страшно?

– Страшно, – признался Филофей.

– Значит, ты врал, что будешь жить снова? – гневно спросил Пантила.

– Не врал. Но я человек, и мне всё равно страшно.

Пантила внимательно вглядывался в Филофея. Все русские были очень уверены в себе, брали без сомнения, судили свысока, а этот старик, имевший самого большого бога, был так похож на обычного человека, на остяка.

– Хочешь, зарежу тебя? – спросил Пантила, вытаскивая нож. – Будет совсем быстро. Без боли, когда огонь.

– Я боюсь, – покачал головой Филофей.

– Больше я ничего не могу сделать, – с горечью признался Пантила. – Готовь свою душу. Прощай.

Пантила выбрался на улицу. Чум был завален грудой мелкого сухостоя, коры и свежих еловых лап. Вокруг толпились мужчины Певлора и смотрели на Пантилу. Ахута держал ярко горящую ветку.

– Он боится, – сказал Пантила.

Остяки удовлетворённо закивали.

– Бисма! – сказал Ахута и сунул огонь в кучу сушняка.

Пламя зарычало и захрустело, пробираясь в глубине хвороста, и вдруг вырвалось наружу в струях клокочущего белого дыма. Огонь стремительно опоясал весь чум и выплеснулся вверх по берестяным стенам. Плотный

дым выбивало к небу кручёными столбами. От пылкого жара остяки попятись. Всем сделалось жутко: в горящем чуме, как в печи, остался живой человек.

Вдруг среди домов Певлора завизжали женщины.

– Русские! Русские вернулись! – вопили они.

К селению по луговине бежали казаки и служилые. В руках у них были ружья, за кушаками – пистолеты, на перевязях – сабли. Русских было всего-то семь человек против трёх-четырёх десятков мужчин Певлора, но это были настоящие русские, к каким привык Пантила, – беспощадные, решительные, знающие, что победят. Они нападали, как волки. Сразу было ясно, что они будут стрелять, колоть и рубить всех подряд без разбора и без колебаний.

Конечно, никто не думал бросать владыку. Сплыв по течению, дощаник уткнулся в берег. Раненых перепоручили монахам, а служилые и казаки, готовые к бою, зарядили оружие и рванулись вдоль Оби обратно в Певлор. Новицкий не согласился сидеть с чернецами. Ему перемотали грудь и бок холщовыми полосами, и он побежал вместе со всеми – с Яшкой Черепаном, с Кирьяном Кондауровым, с Кондратом Шигониным, с Лёшкой и Митькой, с Андрюхой Клецом и Кузьмой Кузнецовым. Владыку надо отбить!

Григорий Ильич увидел высокий страшный дым над низкими моховыми кровлями Певлора и сразу понял, что владыка – где-то там.

– Володыче з вогню вытягнути! – захрипел он, припадая на один бок.

А остяки врассыпную кинулись от горящего чума и заполошно, как белки, заматались меж домов и амбаров Певлора. Никто не знал, что делать. Русские – это буревал: нельзя удержать падающее в урагане дерево, можно только увернуться. Женщины с детьми помчались из селения к лесу, вслед за ними мальчик волочил по траве нарты с трясущимся стариком. Мужчины забирались на кровли жилищ и натягивали луки. Питимя Умышев, сын старой Конати, возле общего кострища Певлора стоял на коленях и заряжал пищаль: он насыпал на полку ружья порох из натруски, закатил в ствол круглую пулю и выдернул рядом с собой пучок травы для пыжа.

Князь Пантила не смотрел, как сложится короткая и яростная битва с русскими. Он схватил первую попавшуюся жердину и свирепо ворошил ею в огромном костре, в который превратился чум, – разгребал проход. В туче искр он отшвыривал горящие ветки, расталкивал тяжёлые коряги, отпихивал из-под ног головни. Громада пылающего чума треснула, подкосившись, но Пантила открыл проход – чёрную раскалённую

расщелину.

Русские ворвались в Певлор. Они стреляли на бегу. С кровель домов, разбросав руки и ноги, падали убитые лучники. Питимя Умышев, сын старой Конати, ткнулся ничком, так и не докрутив пыжа, и круглая пуля выкатилась из ствола пищали, как мышь из норы. Охотник Чаля Айтыков ринулся на Кондрата Шигонина с коротким медвежьим копьём, и Кондрат ударом сабли рассёк ему голову. Ахута, пригибаясь, рыскнул в одну сторону, в другую, а потом опрометью полетел к Оби; единым движением он подхватил с берега первую попавшуюся лодку и швырнул её на воду.

Новицкий не отвлекался на врагов. Он дважды выстрелил из пистолетов в кого-то, кто бросался в его сторону, и изо всех сил ковылял к горящему чуму. Чум уже превратился в сплошной высоченный костёр, пылающий с гулом и мученическим треском. Когда Новицкий приблизился, из этого огромного костра словно выпал дымящийся Пантила: задыхаясь, он тащил по углям бревно с привязанным Филофеем. Новицкий без слов кинулся на помощь Пантиле и тоже вцепился в ремни. Владыка стонал, уронив голову. Новицкий и Пантила волокли его подальше от пожарища. Опоры чума наконец прогорели, и шатёр с протяжным гневным грохотом медленно обрушился сам в себя, будто опустился на колени, окутанный сияющим облаком искр. Но груда жердей заполыхала ярче и дружнее.

Остяки отбивались недолго: они не умели сражаться, и любой служилый с саблей был для них неуязвим. Побросав копья и луки, остяки побежали из Певлора кто куда. Певлор стал похож на растоптанное гнездо.

– Вотче, ты живой? – склоняясь над Филофеем, спросил Новицкий.

Пантила ножом резал ремни, окрутившие владыку.

– Гриша, не мстите им... – еле сумел прошептать Филофей.

Русские не стали мстить.

...Северный вечер пришёл как печаль. Над бесконечной Обью поднялся жёлтый, сквозистый, какой-то летописный свет; нежная темнота осталась только в глубине великих, всегда холодных вод. Дальние тихие пространства казались бестелесными. Призрачные леса стояли по колено в тонком тумане.

Филофей, как мог, прочитал отходную молитву над погибшими – над праведными иноками Исакием и Корнилием, и служилые унесли тела, чтобы похоронить за околицей Певлора. Филофей сидел у родового кострища Певлора вместе с Новицким и Пантилой. Борода и волосы у Филофея были опалены, на лице багровели пузыри, на обожжённые руки ему надели рукавицы с целебными травами, пробитую стрелой ногу обмотали повязкой, белеющей сквозь дыры обгорелой рясы. Новицкого

тоже перевязали заново – у него кровоточили раны. А у Пантилы была изранена душа.

– В Певлоре люди добрые, – страдая, говорил он. – Я правда знаю. Это злой дух вселился в Ахуту. Ты сам говорил, что у вашего бога есть злой дух. Ты не дал нам бога, и дух пришёл легко.

– Но ведь разума я у вас не отнимал, – вздохнул Филофей. – Неужели разум не подсказывал вам, что убивать людей нельзя?

– Ахута уговорил их своей бисмой.

От кострища Филофей, Новицкий и Пантила видели, что за амбаром на земле лежат шесть длинных свёртков из бересты – шестеро убитых остяков. Над свёртками беззвучно – чтобы не злить русских – рыдали женщины. Мужчины, которые стреляли в русских, до сих пор прятались в тайге.

– Что вы сделаете с нами? – спросил Пантила. – Будете мстить? Всё заберёте? Огонь в дома?

– Ничего не сделаем, – ответил Филофей, не глядя на Пантилу.

Он был измучен, но счастлив. Не укладывалось в голове, что маленький ад, полыхнувший в Певлоре, устроили вот эти остяки – всегда безобидные, смиренные, а ныне жалкие. Филофей не видел, какими они были, когда поджигали чум. Может, со звериными рылами? Но теперь они настоящие.

– Ахуту трэба зловыти, – сказал Новицкий. – Куды вин збыжав?

– За Обдор. Там самоеды, они не любят русских. Если Ахута вернётся, мы сами схватим его и отдадим вам. Вон его дочь – Хомани. Она ждёт, что за Ахуту мы выгоним её из Певлора.

Хомани сидела поодаль на снаряжённых летних нартах, собрав весь свой небогатый скарб в берестяной короб. Она уже оделась для дальней дороги и ждала, когда князь Пантила скажет, каких оленей ей можно взять себе.

– В нашей вере сын за отца не отвечает, – устало произнёс Филофей. – И дочь тоже. Ахута виноват – надо покарать Ахуту, а не его детей.

Новицкий посмотрел на Хомани, отвернулся, и вдруг его точно дёрнуло изнутри, и он снова посмотрел на Хомани. В голове ударил колокол, оглушая звоном. У Хомани было лицо Айкони, про которую Новицкий вроде бы и забыл, пока плыл с владыкой по Оби, а сейчас вспомнил всё разом – ярко, разноцветно, во множестве подробностей: он вспомнил Аконию в мастерской у Ремезова, когда она сидела на полу у печи и вышивала бисером, вспомнил ночью у ворот подворья, когда она открывала калитку. И Хомани он тоже вспомнил. Это Хомани в прошлом

году перерезала ножом горло мёртвого шамана Хемьюги, когда Филофей вытащил его из «тёмного дома» на свет.

Новицкий встал и пошёл к Хомани. Девчонка, притулившаяся на нартах, смотрела на него со страхом, сжимаясь в ожидании брани или ударов. Новицкий присел на корточки, с изумлением вглядываясь в Хомани.

- Нэ бийся, дывчинка, – сказал он. – Тэбе ныхто нэ выжени з дому.
- Жить, где я? – робко переспросила Хомани, и лицо её посветлело.
- Так. Живэ, дэ ти хочешь. Ты ни в чому нэ винна.

Новицкий всё не мог насмотреться на Хомани. Молчит, не двигается – Аконя. Чуть слово скажет, чуть ресницы дрогнут – и уже не она. Как морок.

- У тэбэ е сэстра Аконя? – спросил он.
- Айкони? – вскинулась Хомани.

– Аконя, – кивнул Новицкий. Его вдруг взволновала возможность поговорить хоть с кем-то про Айкони, просто произносить её имя. – Вона живэ у Тоболэске. Добрэ живэ. Ие нэ обыжают. Вона помочница в дому Сэмэна Рэмэза, архытэктона. Пэрэдати ие выд тэбэ поклон?

Хомани растерялась. Она не очень понимала по-русски, а этот человек с серьгой в ухе ещё и говорил слишком странно. Но он видел Айкони! И Айкони хорошо! Она, Хомани, всегда знала, что Айкони жива, чувствовала сестру на расстоянии – сестра где-то за огромными реками, среди каких-то бревенчатых домов и чужих людей... Но теперь Хомани поняла, куда судьба занесла Айкони, – а так легче сохранять связь, острее чувства!

- Дать... что? – переспросила Хомани.
- Поклон.

Хомани улыбнулась. Как можно передать поклон? Поклон – не вещь. Надо передавать вещь, которая помогает человеку жить! Хомани торопливо развязала на поясе узел и сняла с себя покрывало уламу. Это священное покрывало. Его сшивают из четырёх кусков ткани, и на каждом изображён Мир-Суснэ-Хум – Всадник, Объезжающий Землю. Всемогуций Всадник защитит Айкони от зла и напомним ей о сестре, о тех зимах, когда они вместе сидели в холодном отцовском чуме у огня, одни на всём белом свете.

- Дай ей улама, – сказала Хомани, подавая покрывало.

В душе у неё словно повалились какие-то заборы, и она заплакала.

Новицкий нежно приобнял её за плечи и осторожно поцеловал – нет, не её: просто на этой девочке он попробовал, каково это – целовать Айкони?

- Дыво... – сам себе сказал он с удивлением и оторопью. – Така же ты,

як вона, а лобызання душу не чипаэ...

Пантила в это время поправил дрова в костре и подвинулся к Филофею.

– Ты будешь нас крестить? – спросил он, глядя в огонь.

– Нет, Пантила, – подумав, ответил Филофей. – Не надо, пока плачут ваши женщины. Буду жив – вернусь следующим летом. Попробуем в третий раз. Великие реки текут медленно.

Глава 13

С лихвой

В обширной епанче багряного атласа, расшитой синей нитью по бортам и пяти гнёздам, Матвей Петрович казался просто великаном. Он неловко громоздился на маленькой лавочке возле топчана, на котором лежал бледный Филофей, укрытый одеялом. Свою шапку Матвей Петрович бросил на пол.

– Вот ведь как получилось, – вздыхал он. – Я-то думал, ты просто по Оби прокатишься – в силе и славе, как креститель, а ты чуть было не сгиб.

Матвей Петрович и вправду сочувствовал владыке и переживал за него.

– Не сгиб же, – слабо улыбнулся Филофей. – Лекарь сказал, крови много вышло, и это хорошо. Бог уберёт от огневицы. Но ходить пока не могу.

На обратном пути от Певлора владыка застудил рану на бедре, и она воспалилась. В Тобольске митрополит Иоанн поместил Филофея в покоях архиерейского дома, и лекарь отец Алфион вскрыл нарыв, а потом отпаивал и отпаривал Филофея травами. Теперь владыка потихоньку поправлялся.

На улице было тепло и ясно – бабье лето. Окошки архиерейского дома пока оставались открытыми, слюдяные оконницы не вставляли. По всему Софийскому двору монахи насадили молодых берёзок, и в проёме окна плескалось золото, а потому в полутёмных покоях свет казался златотканым. Оклады на образах и нимбы святых сияли сдержанно, мощно и слаженно.

– И всё же скажи, кто и где на тебя напал, – мягко настаивал Гагарин.

– Не надо, Матвей Петрович, – ответил Филофей. – Я их простил.

Митрополит Иоанн сидел в кресле у окна за спиной Матвея Петровича. При князе его угнетал усталый страх. Огромный Гагарин был как медведь: вот сейчас он добродушно пляшет вокруг цыгана и берёт с ладони морковь, но в любой миг может оборвать цепь, наброситься, раздавить и растерзать.

– А как же око за око? – Гагарин смотрел с хитрецей и подначкой.

Филофей отвёл взгляд. Всё как обычно. Когда хотят вершить неправую месть, всегда вспоминают «око за око». Но ведь в Писании говорится не о том, что надо мстить. Говорится, что за выбитое око врагу выбивают одно око, а не оба. За один зуб выбивают один зуб, а не всю челюсть. Но

людской счёт всегда с лихвой, а по божьему счёту остяки Певлора уже заплатили своё.

– Если всегда око за око – весь мир сделаем слепым, – сказал Филофей.

Гагарин с укором покачал головой, словно не ожидал такого от владыки.

– Не мне учить тебя, отче, но так негоже. Остяки ведь не на какого-то бродягу напали, а на бывшего сибирского митрополита, – Матвей Петрович заботливо подоткнул Филофею одеяло. – И ты к ним не за морошкой приехал. Ты выполнял наказ государя. Такое нельзя спускать с рук.

Матвей Петрович не гневался на остяков, не испытывал к ним ненависти или злобы. Но виновных требовалось наказать, иначе он тут не властелин.

– Они как дети, – Филофей ещё надеялся, что эта ложь остановит князя.

– Может, в вере они как дети, но в жизни они знают, что казённых людей трогать нельзя. Ведают, что творят. Верно говорю, отче Иоанн?

Матвей Петрович оглянулся на митрополита. Иоанн вновь ощутил на своей шее неподъёмную и неумолимую руку державы.

– Верно, – принуждённо произнёс он.

Филофей вздохнул и отвернулся к стене.

– Не скажу, Матвей Петрович. Не обессудь.

– Упрям же ты, – вроде бы смирился Гагарин. – Ладно, выздоравливай.

На крыльце архиерейского дома Матвея Петровича ждал Дитмер.

– Из булата старик откован, – с уважением сказал Гагарин и хлопнул шапкой о перила. – Молчит. Покрывает инородцев. Найди мне, Ефимка, тех служилых, которые с ним там были, и допроси. Потом к Чередову пойдём.

Шила в мешке не утаишь, и уже вечером к Дитмеру явились Кирьян Кондауров и Кондрат Шигонин. Наутро Гагарин отправился к Чередову.

Полковник Васька Чередов возглавлял Тобольский полк служилых людей – главную разъездную военную силу Сибири. Служилые несли дозоры на границе со степью, ходили в военные походы, усмиряли мятежи, собирали подати, сопровождали купеческие караваны и воеводские обозы с пушниной и казной. Верстали в службу всех, кто хотел: и русских, и татар, а часто и ссыльных немцев, хохлов и литвинов. Служилые исполняли указы воеводы; раз в год они получали жалованье деньгами, хлебом и овсом, ещё им давали покосы и пашенные угодья. Но не меньший прибыток эти добры молодцы имели со своей службы, когда пихали за пазуху то, что урвали от инородцев и мужиков-лапотников, или то, что

добывали в схватках со степняками.

Для своего лихого воинства Чередов имел на Воеводском дворе большое Драгунское подворье. Внутри своего общества служилые жили бесстыжей вольницей: сами выбирали десятников, есаулов и сотников, сами вершили суд и никого в свои дела не допускали. С крыльца губернаторского дома Матвей Петрович не раз слышал матерный рёв яростных драк на Драгунском подворье, пьяное пенье или вопли тех, кого там наказывали кнутом.

На пограничных реках, конечно, были и казаки – тобольские, ишимские, енисейские, ленские, амурские. Но к своему сословию казаки приписывались навечно и кормились от земли, а не от воеводы. Сторожевую службу держава оплачивала им свободой от казённого тягла. Казаками тобольского разряда командовал полковник Афанасий Матигоров. Ещё при воеводе Черкасском он занял бывшую избу Пехотского приказа возле Драгунского подворья, однако у Матигорова сроду не бывало таких буйных толп, как у Чередова. Матигоров собирал домовитых годовальщиков, служивших по году в самых глухих и дальних острогах Сибири, и годовальщики целовали крест, что не будут пить хмельного, буяннить и воровать друг у друга.

К Чередову Матвей Петрович взял с собой только Дитмера. У служилых, этих бешенцев, всякое может случиться, и лишние свидетели не нужны. Гагарин и Дитмер миновали избу Пехотского приказа и старую часовню, где клялись годовальщики. Драгунское подворье огораживал высокий заплот, под которым торчал пожухлый осенний бурьян. По мосткам через лужи Гагарин и Дитмер подошли к раскрытым воротам. Караульный щёлкал кедровые орешки; при виде губернатора он нехотя стащил шапку.

По истоптанному двору бродили козы. У амбаров стояли гружёные телеги, служилые стаскивали с них мешки. Парень в одной рубахе точил наждаком саблю и пробовал остроту на перекладине коновязи. В конюшне стучал молоток – там ковали лошадь. На земляном бугре зеленого погребка сидел сторож, зевал и крестил рот. Под навесом в сене спали какие-то люди. К перекладине вкопанного столба был привязан полуголый мужик; спина его до крови была исполосована плетью; он висел на руках, потеряв сознание.

В драгунской избе царила та грубая, грязноватая, мужская простота, какая бывает на зимовьях, а не в жилом доме или казённой палате. Дитмер брезгливо посмотрел на денщика, храпевшего в сенах на лавке. Полковник Васька Чередов и сотник Емельян в шапках сидели за столом и играли

засаленными картами. На столе стояли деревянные кружки, бутылъ с брагой и блюдо с объедками; на полу валялись рыбы кости.

– А по сусалам тебе? – шлёпая картами, азартно спрашивал Чередов у Емельяна. – А в квашню? А под хвост? А почесаться?

На Гагарина служилые не обратили внимания. Матвей Петрович присел на лавку, Дитмер остался стоять.

– Кого это у тебя на дворе плетью уложили, Васька? – спросил Гагарин.

– Недоимки взыскивали, – небрежно пояснил Чередов.

– Полковник, к вам пришёл губернатор, – спокойно сообщил Дитмер.

– Пришёл – будь здоров, – собирая карты, насмешливо ответил Чередов. – Уходит – прощай.

Никакие воеводы в Сибири ничего не могли поделывать со служилыми. Все служилые всегда распоясывались. Воевода Хилков пытался перелицевать их в рейтаров по немецкому образцу – не вышло; воевода Годунов тоже что-то пробовал – и у него не вышло. Матвей Петрович поначалу дал острастку Чередову: дескать, царю нужны воины, а не опричники-лиходеи; Чередов лениво переименовал свои сотни в шквадроны и этим ограничился.

– Я смотрю, Васька, твой полк больше на разбойную ватагу похож, – мрачно сказал Матвей Петрович. – А ты в ней атаман Кудеяр.

– Слушай, князь, – разваливаясь на лавке, благодушно ответил Чередов, – мы и себя кормим, и тебя кормим. Ты в наш порядок не лезь. Прикажешь – исполним, а как живём – не твоя забота.

– Из мужиков масло давишь?

– На то он и мужик, – хмыкнул сотник Емельян.

– Да ты мужика не бойся, – покровительственно посоветовал Чередов. – Может, рылом-то мы не семёновцы, но зато надёжные.

– Доносы на вашу хищность охапками несут.

– А ты их в печь. Мужика я сам в кулак зажму. Верь мне.

– Давно что-то я тебя трезвым на коне не видел, чтобы верить, Вася.

Чередов озлобленно зашевелил нечёсаной бородой.

– Матвей Петрович, я тебе издалека скажу, – распрямляясь, он взял тяжёлую бутылъ за горло и твёрдо налил себе в кружку браги. – Вся Сибирь знает, как после твоего воеводства за Енисеем служба бунтовала.

Васька Чередов смотрел Гагарину прямо в глаза, но Матвей Петрович не отводил взгляд. Да, хорошо они повоеводили с братом Иваном в Иркутске, а потом он и сам хозяйничал в Нерчинске. И убратъся успел вовремя – с добычей и добрым именем. А следующим тамошним воеводам

достался бунт: пожар недовольства, разожжённый Гагариными, вырвался из народа через год. В Иркутске, Илимске, Братске, Якутске и Енисейске служилые и казаки захватывали остроги, сажали воевод в подклеты на цепь или бросали в лодку и отправляли по реке без вёсел. Бунтовщики уговаривались бежать в благодатные долины Абакана. Начальству еле удалось загасить мятеж. Но напрасно Васька Чередов напомнил о том Матвею Петровичу. Аукнется.

– Я тебе божье слово даю, что у меня такого не будет, – надменно сказал Чередов. – Но ты меня уважай, Матвей Петрович.

Матвей Петрович Ваську Чередова не уважал, однако бунта служилых приходилось бояться. В Тобольске каждый второй мужик либо служит, либо служил, либо отец, сын, брат, сват или приятель служилого. Нельзя взять и свернуть шею этой наглой вольнице. Но Матвей Петрович был уверен, что непременно придумает, как подчинить себе свою воинскую силу.

– Добро, полковник, – холодно сказал князь. – Потолкуем об интересе.

Сейчас у Матвея Петровича было два главных интереса – те, кто виноват в ранении владыки Филофея: бухарцы Касыма и остяки Певлора.

Вечером у крыльца губернаторского дома Матвея Петровича ожидали сотник Емельян и полтора десятка служилых на конях. Служилые были с саблями и пистолетами. Матвей Петрович влез в двуколку, вожжи взял верный лакей Капитон. Губернатор ехал в Бухарскую слободу Тобольска.

Гордые бухарцы не переняли русских изб и подворий – они и в Сибири хотели жить так, как жили в своей Бухаре. Саманный кирпич не выдерживал северных дождей, и бухарцы строили из брёвен, но на свой азиатский лад. Никаких тебе заплотов, красивых ворот с палатками, резных наличников, причелин и весёлых коньков над самцовыми кровлями. Сплошные глухие бревенчатые стены, обмазанные глиной, – дувалы, два-три волоковых оконца и дощатые полотнища ворот. Русский дом глядел на улицу свысока и с прищуром, а бухарский дом вообще не глядел, повернувшись затылком.

В Бухарской слободе Гагарин и служилые ощутили себя словно в другой стране. Улицы чистые, с канавами-водостоками; никаких рытвин в колеях и сикось-накось мостков через грязные лужи; никакого мусора вроде ворохов затоптанного сена, потерянных поленьев, рваных лаптей или коровьих лепёх. Навстречу попадались мужики в полосатых стёганных чапанах и тюбетейках, бабы в цветастых халатах и шароварах, в платках до пояса и с кисейными занавесками на лицах. В проулке, уронив оглобли, на огромных колёсах стояла арба с кожаным кузовом-люлькой. Сотник

Емельян спешил к воротам подворья Ходжи Касыма.

– Вроде, тут живёт, – сказал он. – У них, чертей, все двери одинаковы.

– Не стучи, сразу ломай, – из двуколки велел Гагарин.

С дурным, озлобленным весельем служилые соскочили с коней, толпой навалились на ворота и с треском распахнули их внутрь, вырвав из гнёзд все запоры и щеколды. Это был погром, замысленный Матвеем Петровичем для устрашения Ходжи Касыма. Служилые ворвались в покои Ходжи.

Матвей Петрович вошёл последним. А богато живёт тобольский тожир. Плоские и низкие расписные столики и резные лавки, сундуки, возвышения-дастарханы, ложе под балдахином. Всюду ковры – сапог тонет в багряном ворсе, на полках – китайский фарфор и бухарская медь: кумганы, кувшины, кубки, чаши, блюда. По стенам висели круглые щиты с яблоками и гнутые сабли. Окошки, закрытые мелкими деревянными ситами, смотрели во внутренний двор. Где-то в глубине дома слышались жалобные вопли – это стонали слуги Касыма, разбежавшиеся от ужаса по дальним чуланам.

– Бери, кому что надо, – по-хозяйски распорядился Матвей Петрович.

Оживлённо гомоня, служилые потащили из-за пазух заготовленные мешки, принялись пихать в них тряпки и посуду. Ванька Чумеров поддел ножиком и откинул крышку сундука – в сундуке светилось что-то атласное. Серёга Пелымец обеими руками отдирает от простенка висячий светильник с чашкой на цепочках. Николка Летёмин – совсем зелёный юнец – горстью загреб из блюда сушёный инжир и сунул в рот, схватил большое красное яблоко, потёр о кафтан и откусил. Сафон Куликов по прозвищу Дерюга для забавы развалил саблей подушку и пнул её, выбив облако пуха.

Оглядываясь по сторонам, Матвей Петрович опытным глазом оценил изящество Касымова жилища. У бухарца губа не дура. Знает толк в усадбах этого мира. Матвею Петровичу не нравилось, что служилые – эти сибирские дуболомы – поганят и разрушают тонкое убранство покоев, забирают себе вещи, ценность и красоту которых никогда не поймут. Но Касыма следовало проучить. Следовало натывать его гладкой мордой в дымящийся навоз.

– А где сам-то Касымка? – недовольно спросил Матвей Петрович. – Емеля, пойдём со мной во двор.

Внутренний двор был плотно замощён торцами и окружён гульбищем с тоненькими столбиками и деревянными решётками вместо оград. Под кровлями с резной оторочкой располагались скамейки для отдыха и широкие кади с какими-то пышными и неведомыми кустами, по осени

красными, как смородинник. А поперёк двора с саблями в руках стояли Касым и его хизматчи – головорез- телохранитель с изуродованным лицом, старый слуга Суфьян, оплывший толстый евнух Бобожон и мальчик.

– Ух ты! – обрадовался Емельян, вытаскивая пистолет.

– Дальше ни шагу, господин! – глухо сказал Касым Гагарину.

– Это почему? – напоказ удивился Матвей Петрович.

За его спиной в покоях Касимова дома слышался грохот и звон стекла.

– Пустить кого-то в свой гарем – позор для мужчины. Я буду рубиться.

Матвей Петрович видел, что бухарец обозлён до крайности. Глаза его сузились, ноздри раздулись, щёки запали, как у собаки.

– От пули саблей не отмахнёшься, – хмыкнул Емельян.

Служилые выходили во двор и тоже доставали пистолеты.

– Ты понимаешь, почему я пришёл, Ходжа? – спросил Матвей Петрович.

– Бери, что хочешь, – отдаю, но в гарем, клянусь Пророком, не пущу!

– Твои муллы обращают остяков в махометанский закон, а остяки потом убивают моих людей, – сказал Матвей Петрович.

– Я муллам не халиф! – прорычал Касым. – Я...

– Врёшь! – гневно оборвал его Матвей Петрович. – Это ты им платишь!

– Ты позволил мне скупать меха только у мусульман! Ты меня загнал!

– Если твои муллы ещё раз сунутся к инородцам, – внушая, медленно и веско произнёс Матвей Петрович, – я пошлю служилых по татарским деревням, Касым. Они вытащат из мечетей всех мулл и бросят в Иртыш, понял? А твоих жён выволокут из гарема и высекут на торгу!

Касым едва удерживал лицо, чтобы не ощериться. Емельян и служилые, стоя за спиной Гагарина, ухмылялись.

– Пушнину отныне разрешаю тебе скупать только у моих приказчиков на Гостином дворе, а у промышленников – не смей! И каждую десятую шкурку ты отдашь мне!

– В казну? – задыхаясь, прохрипел Касым.

– Мне! – Гагарин выпучил глаза и ткнул пальцем себе в грудь. – За то, что я вас, бухарцев, терплю! И дом твой до гарема мои люди сейчас разграбят! Знай своё место, Ходжа Касым!

– До бревёшек обдерём, – с удовольствием подтвердил Емельян.

Впрочем, наказать бухарцев было куда проще, чем остяков, которых от возмездия отделяли сотни вёрст по реке. В далёкий Певлор Матвей Петрович отправил два дощаника со служилыми под командой всё того же Емельяна. Служилые должны были изловить мятежников и привезти на

расправу.

Дорога была трудной. Север поливали осенние дожди. С полуночного океана дули мёртвые, неудержимые ветра грядущей зимы. Мокрые паруса отяжелели, как деревянные, и опасно кренили суда под боковым нажимом. Тугие, вязкие и тёмные волны катились навстречу дощаникам бесконечными рядами, словно широкие ступени на долгом подъёме; грузные суда не могли рассечь их носовыми отвалами и продавливали своим весом, окутываясь пеной по обводам. Обь просторно ворочалась, будто медведь перед спячкой.

Служилые гнули спины на вёслах и потихоньку озлоблялись на остяков. Требовалось успеть вернуться в Тобольск до ледостава, чтобы не вмёрзнуть и не пропасть, а грозный ледостав поползёт от моря вверх по Оби и Иртышу куда быстрее, чем суда движутся на вёслах и под парусами. Надо иметь запас времени, поэтому дощаники шли порой и ночами. Когда на пути встречалось какое-нибудь остяцкое селение, служилые без колебаний выгоняли хозяев и занимали лучший дом, чтобы отогреться и выспаться.

Через три недели дощаники Емельяна добрались до Певлора.

– Не сбежали на зимние станы, дурачьё, – сказал Емельян, вглядываясь с борта дощаника в дальний берег, над которым вились белые дымки. – Ты помнишь, Кондрат, по рожам, кто на вас летом нападал?

– Не помню я ни хрена, – недовольно ответил Кондрат Шигонин. – Они же все одинаковые. Выскочили, дьяволы, как из-под земли.

– Тогда розыск по-нашему проведём, по-чередовски.

– Это как?

– Возьмём десять первых попавшихся и объявим их зачинщиками.

Дощаники утюгами выехали на приплёсок. Разминая руки и ноги, служилые столпились на берегу у сходней. Емельян напоследок проверил узлы на снастях, чтобы ветер не шатал мачту-щеглу, а волна не трепала руль, и спрыгнул с борта к своим людям.

– Сегодня жрём, спим, а завтра утром в обратный путь, – сказал он. – Перед выходом обшарим балаганы и похватаем мужиков.

Князем Певлора снова был Пантила Алачеев. Поначалу сильный русский отряд насторожил его, но служилые вели себя как гости: смеялись, хлопали остяков по спинам, спрашивали дозволения. Пантила перевёл дух: ему очень хотелось поверить Большому Старику Бога, что русские не будут мстить. Служилых Емельяна разместили в лучшем доме и от пуза накормили.

А утром русские снарядили свои корабли для плаванья, вернулись на

высокий берег – и вдруг набросились на Певлор, словно демоны морт-пор-нэ, которые у воды – люди, а в лесу – чудовища. Неужели это они вчера сидели с остяками у очагов, ели из общего котла, подмигивали девкам, восхищались мощью медвежьих клыков на перевязях мужчин? Уже не гнев, а отчаянье захлестнуло Пантилу: почему остяков все безжалостно обманывают и бес- пощадно предают? Их предали бухарцы со своей луной, предали русские со своим крестом, предали собственные боги с идолами и капищами!

Служилые топтали кострища, бесстыже лезли в амбары, выбрасывая на землю зимние припасы, врывались в дома, распихивали по мешкам одежду и связки шкурок. В загонах яростно лаяли и бесновались собаки. Женщин, которые вцеплялись в вещи, служилые отбрасывали ударами кулаков, детей отшвыривали с дороги пинками, а мужчин валили на землю и вязали им руки верёвками. Остяки кричали, вырывались, но не пытались доставать ножи – они знали силу и кровожадность русских, помнили недавнюю страшную схватку, в которой убили шестерых жителей. Расправа над Певлором была скорой и ошеломительной: ещё недавно остяки собирались выйти на берег, чтобы помахать удаляющимся парусам, а теперь селение заволокло дымом, всюду валялся растоптанный скарб, метались бабы и детишки, а избитые хозяева извивались на земле, связанные, как гуси. Те, кто сумел увернуться, убегали к лесу – за ними не гнались и вслед им не стреляли.

В суматохе Пантила увидел сотника Емельяна и кинулся к нему.

– Как? – закричал он. – Ты что делаешь?! Ты гость!..

Служилые, окружавшие Емельяна, потянулись к саблям, но Емельян остановил их уверенным движением руки.

– Владыка Филофей у тебя тоже гостем был? – насмешливо спросил он и плюнул Пантале под ноги.

– Старик простил! – крикнул Пантила.

– А губернатор нет, – Емельян отвернулся, разглядывая селение.

Низкие тучи несло над Певлором с севера, из самоедских тундр.

– Бери всё, оставь людей! – Пантила схватил Емельяна за локоть.

Емельян с презрением накрыл лицо князьца своей пятернёй и оттолкнул остяка от себя. Пантила едва не упал, попятившись, но не отступил.

– У них нет вины! – опять закричал он и указал пальцем на связанных. – Гынча не стрелял! Тугыля, Казамай не стреляли!

– А кто стрелял? – лукаво спросил Емельян.

– Ахута Лыгочин! Он стрелял, он всем кричал: давай!

- И где этот Ахута?
- Он сбежал к самоедам! Всё бросил, дочь свою бросил, а сам сбежал!
- Кто его дочь?
- Вон она! Хомани! Её спроси! – Пантила указал на Хомани.

Девчонка стояла у священных нарт возле угла большого дома и в ужасе смотрела на разорение, зажав рот ладонями. На ней был полосатый халат, подаренный Ходжой Касымом.

– Девку возьмите, – приказал Емельян служилым. – И этого тоже, – он хладнокровно кивнул на Пантилу. – Ответят в Тобольске.

Ванька Чумеров и Сафон Дерюга тотчас умело заломили руки Пантиле, а Николка Летёмин побежал к Хомани и цапнул её за волосы.

Часть третья

Вера или воля

Глава 1

Христос в темнице

На Покров день приходились зазимки – землю покрывал первый снег, и жизнь перевёрстывалась с лета на зиму. Хозяева меняли армяки на зипуны, а телеги на сани; по скотным дворам забивали скотину – мясо уже можно было положить в погреба на лёд. В Тобольске служилым выдавали жалованье за год и проводили ярмарку, на которой продавали рожь, овёс, муку, сено, рыбу, убоину, кедровые орехи, живицу, дёготь, мочёную и квашеную ягоду, грибы, хлеб, пиво, травяные сборы, веники и птицу – живую и битую.

На Троицкой площади ставили балаганы, крытые ларьки и прилавки, а то и просто торговали с возов. Толпа гомонила: здесь ругались и смеялись, врали и клялись, хватали за рукава и расхваливали товар. По Прямскому взвозу тянулась бесконечная вереница саней. В чистом, как проточная вода, небе звенели колокола Софии. Ударять по рукам о сделках и божиться на честность мужики ходили в базарную Троицкую церковь, огороженную невысоким заборчиком, чтобы торгующие в раже не выперли на паперть.

Новицкий проталкивался сквозь сутолоку, придерживая треуголку. Он шёл к Ремезовым и за отворотом камзола нёс священное остяцкое покрывало уламу – подарок Хомани для Айкони. Пора было передать его. Но Григория Ильича почему-то обдавало лёгким страхом, словно холодными брызгами. Страшно было увидеть Айкони, ведь опять захолонёт сердце. И страшно было того, что случится потом. Сейчас вроде хмуро на душе, одиноко, но всё же спокойно, а потом начнётся что-то неудержимое. Он это чувствовал. И Новицкий свернул к Троицкой церкви – пусть бог ему поможет.

Народу в храме оказалось немного, но среди молящихся, чуть в стороне, Григорий Ильич заметил митрополита Иоанна и двух монахов. Наверное, владыка зашёл проверить, как здесь готовятся к вечерней литургии. Однако сейчас, тяжело опираясь на посох, Иоанн пристально рассматривал «Христа в темнице». Этот Христос был установлен в правом приделе храма.

Такого в церквях Малороссии не было, «Христов в темницах» Новицкий увидел только в Сибири. «Темница» – узорный деревянный домик с дверкой. За дверкой внутри сидел Иисус, вырезанный из дерева в величину человека. Его терновый венец был сделан из настоящей ржавой

провода. Иисус скорбно склонял голову; левую руку он положил на колено, а правой рукой прикасается к щеке, словно пригорюнился от грехов людских. Но пугала не «темница», а потрясённое, словно обрушенное лицо Иисуса с высокими скулами и раскосыми глазами: это был не иудей, а вогул или остяк.

«Христов в темницах» со странным упорством творили инородцы-новокрещены. Сибирские митрополиты скрепя сердце разрешали брать этих истуканов в храмы, но велели ставить их где-нибудь сбоку, не на виду. И Троицкая церковь Тобольска тоже никак не могла обойтись без «Христа в темнице». Инородцы приходили на ярмарки Троицкой площади, и для клятв им нужен был свой таёжный Христос поблизости от торгового.

Подобные изваяния Григорий Ильич встречал у поляков в костёлах. Понятно, что это было язычество католиков. Христос, Богородица и святые есть воплощение света, и они не могут отбрасывать тень, как отбрасывают тень изваяния, поэтому их изображают лишь на плоскости – на иконе.

– Цэ выдол, вотче, – негромко сказал Новицкий владыке. – Выстукан.

– Этот Христос не божий свет, Гриша, а боль человеческая, – ответил Иоанн. – Человек рождается в страдании, и душа рождается в страдании.

Иоанн давно уже слышал зов «Христа в темнице» из Троицкой церкви. Едва владыка впервые увидел этого Христа, так сразу и почувствовал его притяжение, и потом уже не мог просто проехать мимо Троицкой церкви – непременно надо было зайти и поклониться. Суеверие – болезнь души, а темница – болезнь судьбы. Иоанн знал, что его душа тоже больна, – больна страхом перед властителями, и судьба его больна ссылкой в Сибирь, где ему не место. Потому и звал его из «темницы» троицкий Христос. Звал утешить.

– Посмотри, Гриша, на его ноги, – сказал Иоанн.

Деревянные лодыжки Христа были обмотаны тоненькими верёвочками.

– Они ему путы вяжут. Они верят, что он ночью ходит, – прошептал Иоанн. – Куда он ходит, Гриша? К кому? Зачем?

Он видел этого Христа. Встретил его прошлой зимой. Однажды ночью он вышел из своих покоев, чтобы закрыть ставню – из окошка дул сквозняк, и увидел, что во дворе на чурбаке для колки дров сидит деревянный Иисус. Отдыхает. Ему же трудно ходить на негнущихся скрипучих ногах. Иисус со скрипом поднял негнущуюся руку и молча перекрестил владыку.

Григорий Ильич тоже вглядывался в лицо Христа. Этот Иисус вырезан из дерева, словно вышел из леса. Он должен понять незаконную любовь

православного к язычнице. Григорий Ильич перекрестился на «темницу» и начал читать молитву. Пусть таёжный Спаситель поможет ему уцелеть.

Из Троицкой церкви Новицкий решительно зашагал к Ремезовым.

Ворота их подворья были открыты. На дворе стояла Гуня, запряжённая в сани; на передке боком сидел Леонтий, а Петька закрывал ворота коровника.

– Здрав буде, Левонтий, – сказал Новицкий. – Куды зыбрався?

– На ярмарку, куда же ещё, – ответил Леонтий. – Овса докупим, мало Чередов выдал. А ты к батюшке, Гриня?

– Ни, сьогодни до работницы вашей – до Акони.

Петька подбежал к саням и боком упал в кузов.

– А на что она тебе, дядь Гриш?

– Гостынец ий вит родовой з Воби привиз. Сэстра до ний послав.

– Покажи, – тотчас попросил Петька.

Новицкий достал из-под камзола уламу и встряхнул, разворачивая.

– Красиво, – оценил Леонтий.

– Ерунда, – отрезал Петька.

– Всякому люба звыстка з батькивщины, – задумчиво сказал Новицкий.

– Сейчас она с Машкой выйдет, – Леонтий разбирал вожжи. – Девки с нами на ярмарку захотели.

Маша и Айкони, одетые в лёгкие кожушки, уже спускались с крыльца. Новицкий шагнул к ним и обеими руками протянул Айкони уламу.

– Возьми, красуня, подарунок, – неловко сказал он.

Айкони замерла, не веря своим глазам, а потом выхватила платок из рук Новицкого, прижала к лицу и завизжала. Маша испуганно отшатнулась. Айкони отняла платок от лица и широко растянула, показывая Маше.

– Хомани мне уламу дать! – ликуяще крикнула она и с растянутым платком бросилась к саням. – Гуня, старший, младший, мне уламу!

– Вот и радость тебе, Аконя, – по-отцовски кивнул Леонтий.

Айкони с платком помчалась к собачьему загону.

– Чего она так? – спросила Маша.

– Дак дура, – пояснил Петька.

– Большие собаки, Хомани мне уламу дать! – кричала Айкони псам.

Чингиз и Батый радостно лаяли и вертелись за заборчиком.

– Аконька, поехали! – позвала Маша.

Новицкий, не отрывая взгляда, смотрел на Айкони. Она прибежала обратно, уже повязав голову уламой, и забралась в сани к Маше и Петьке, не обращая внимания на Новицкого. Леонтий дёрнул вожжами, трогая

Гуню.

– Поднимайся в дом, Гриня, – уже на ходу сказал он, оглядываясь. – Матушка пироги поставила, угостись!

Сани выехали на улицу.

– Ворота за нами затвори, дядь Гриш! – крикнул Петька.

Новицкий остался во дворе один. Он закрыл створки ворот, заложил засовом и через калитку вышел на улицу. Постояв в раздумье, он пошагал вслед за санями Ремезовых в сторону Троицкой площади – на ярмарку.

А Ремезовы уже были на площади. Леонтий пристроил Гуню у коновязи возле кабака. Толпа гомонила и шумела, двигалась и перемешивалась. Маша крепко держала неопытную Аконю за руку, но сразу потеряла в толчее братьев; впрочем, они сейчас только помешали бы ей. Маше хотелось без надзора серьезного Леонтия проникнуться весёлым возбуждением ярмарки и ухнуть в озорство гуляний. Она крутила головой так, что коса выбилась из-под платка, и улыбалась всему, готовая встретить любое событие смехом. А вот Аконя робела. Она ещё никогда не видела сразу столько людей.

Маша почти бежала, тянула Айкони и быстро рассматривала прилавки и торговцев. Сначала девчонки попали в калашный ряд. Гроздь калачей, горы пирогов, связки баранок, пряники, шаньги, печёные сладкие уточки, добрый и щедрый дух горячей сдобы. Потом потянулся кожевенный ряд – сапоги, шапки, кожуха, сбруи. Потом бондарный ряд – бочки и кадушки. Потом скобяной ряд. Потом маслобойный. Потом щепной. Потом холщовый.

В толпе вопили лотошники, продавая снедь вразнос. Сбитенщики стояли с ковшом в руках и с кувшинами сбитня на шеях. Шныряли собаки. Нищие сидели на земле, постелив под себя кусок шкуры или подложив пласт коры, и протягивали плошки для подаяния. Толстые бабы в подпоясанных зипунах придиричиво рылись в товарах. Девушки сбивались в табунки и глазели по сторонам, выглядывая парней. Мужики ходили с недовольными рожами, чтобы одним своим видом снижать цену. Дедок, кряхтя, тащил толстый мешок. Татарин в чапане торчал у всех на пути и пальцем пересчитывал в ладони медные копейки. Служилые с длинными саблями у пояса лениво прохаживались по двое – по трое; они уже хватили медовухи и потому наблюдали за порядком с усиленной ревностью. За дощатым ларьком, украшенным разноцветными лентами, валялся пьяный, и его сноровисто обшаривал ободранный вор. В стороне от торжища среди пустых возов мальчишки играли в снежки. Конопатый парнишка кричал:

– Я в башку тебе попал, Васька! Ты убит!

На свободном пространстве мерялись силой поддатые мужики. Толпа подбадривала их криками. Главные соперничества в Тобольске были всегда одинаковые: городские против деревенских, русские против татар, Верхний Посад против Нижнего и служилые против всех остальных. Два десятка посадских, скинув зипуны, перетягивали верёвку: выпучив глаза, побагровев, упираясь ногами в землю, они в натуге скалили зубы и хрипели.

– Дави, нижние! – подзуживали из толпы.

На соперничество смотрели два шведа в камзолах иноземного кроя. Одноногий пьяный мужик увидел их и задохнулся, замахиваясь костылём.

– Ногу под Полтавой!.. – заплакал он. – Ироды!.. Добью!..

Шведы молча повернулись и скрылись в толпе, уклоняясь от ссоры.

Над толпой торчал высокий врытый столб, гладко оструганный и облитый маслом. К его верхушке были привязаны красные сапоги. На столбе, как кот на дверном косяке, пытаясь подобраться к добыче, висел парень и в бессилии смешно сучил ногами; люди вокруг ржали, задрав головы.

Самоха, известный всем силач из Оружейной слободы, сбросил на снег кафтан и принялся расталкивать народ, освобождая себе место, чтобы побороться. На его вызов выступил высокий и широкоплечий парень.

– Смотри, Аконька! – восхищённо зашептала Маша. – Это Володька Легостаев с Етигеровой улицы!

Самоха, шевеля бородой, хищно покружил вокруг Володьки, кинулся вперёд и ловко швырнул Володьку на землю, перевернув вверх ногами.

– Нечестно это! – обиделась Маша. – Пойдём отсюда, Аконя!

Они снова покрутились по торжищу и попали к кукольному балагану. За матерчатой ширмой прятался Сванте Инборг, на его ладони были надеты две тряпичные куклы – человечки в колпаках и с палками в ручонках.

– Я твой колотить! – пищал Сванте и тряс человечками. – Нет, я твой колотить! Дурак! Вот тебе дать голова! Вот тебе дать брюхо!

Маша рассмеялась, глядя на забавных кукол, а Айкони была поражена до глубины души и даже прикрыла рот углом уламы.

– Маленькие люди! Сихиртя! – благоговейно выдохнула она.

Из толпы на Айкони смотрел Новицкий. Взгляд у него был странный, словно бы Григорий Ильич никогда в жизни не встречал никого, подобного этой девчонке. Айкони заметила Новицкого и спряталась за Машу.

Маша потащила Аконю дальше, и они наткнулись на мужика с учёной собачкой. Мужик играл на рожке, а собачка уморительно плясала на задних лапах и махала хвостом. Толпа одобрительно хохотала. Собачка взяла в

зубы деревянную тарелочку и побежала к зрителям собирать плату. Маша бросила в тарелочку монетку и потрепала собачку по шее. Собачка беспомощно завертелась возле ног какого-то человека, который ничего ей не давал. Маша подняла глаза и увидела, что это Новицкий. Он не обращал на собачку внимания – смотрел на Айкони. Маша взяла Аконю под руку и повела прочь.

Новицкий шёл следом как на привязи. Маша остановилась и обернулась.

– Дядя Гриша, ты чего за нами ходишь? – строго спросила она. – Ты Аконьку пугаешь! Ступай своей дорогой.

– Прошу выбачення... – растерянно пробормотал Новицкий.

Но Маша сразу забыла о нём, потому что их с Аконькой вынесло к девичьему хороводу. Это была такая игра: девушки под песню кружились всё быстрее и быстрее, а потом расцепляли руки и стремглав летели в толпу, а парни их ловили. После этой игры случалось немало свадеб.

– Аконька, пойдём кружиться! – загорелась Маша.

Она решительно потянула Айкони за рукав и встала в кольцо хоровода.

– Богородица ходила, ходила кругом! – запели девушки, начиная движение. – Богородица гуляла, гуляла вокруг!

Айкони побежала в общем круге и робко заулыбалась, а Маша хохотала.

– Богородица ходила, ходила кругом! Богородица гуляла, гуляла вокруг! – стройно пели девушки, набирая скорость, и вдруг закричали: – Беги!!

Маша разжала руки и с отчаянным визгом помчалась в сторону, ничего не соображая. Она ударилась в чьи-то крепкие объятья и вместе с парнем упала на снег. Парень охнул. Это был Володька Легостаев.

– Ты как из пушки, Машка! – простонал он.

Айкони, испуганная, тоже понеслась из хоровода, не видя, куда, и тоже ударилась в объятья, но человек был покрепче Володьки и устоял на ногах. Это опять был Новицкий. Он обнимал потерявшуюся Айкони и не отпускал рук. Айкони дёрнулась, однако Новицкий держал крепко. Айкони быстро взглянула ему в лицо. На лице у Новицкого было только страдание, словно он сам был над собой не властен. Айкони сквозь кожух ощутила холод смертной тоски, исходящий от этого странного мужчины с женской серьгой в ухе. Айкони забилась, освобождаясь, но Григорий Ильич продолжал держать её. Айкони понимала, что этот человек – не такой, как те страшные русские мужчины в Берёзове, что среди народа он не сделает ей ничего дурного, но он всё равно был опасен, и рука Айкони против воли

скользнула под кожих, где за поясом был спрятан нож.

– Эй, ты, хохол, отпусти её!

Напротив Новицкого, сжимая кулаки, стоял Володька Легостаев. Рядом с ним стояла покрасневшая и сердитая Маша. Новицкий разжал руки.

Он сам не знал, почему преследует Айкони. Он без рассуждений шёл за ней, как собака по запаху, просто потому что должен был идти.

Айкони, Маша и Володька Легостаев исчезли. Новицкий побродил в толпе, пытаясь отвлечь себя другими мыслями, но снова начал озираться, ища Айкони. Надо было сказать ей, что он не причинит ей вреда, он только поможет, поддержит, будет охранять... Наконец, он снова увидел Машу и Айкони со спины. Он торопливо догнал их и взял Айкони за локоть.

– Диточка, просты, якщо налякав... – виновато заговорил он.

Айкони обернулась – но это была не она, а маленькая морщинистая старушка с бельмами на глазах. Жуткую слепую старушку водила девка-поводырь со спитым лицом. Она тоже обернулась.

– Чего цапаешь? – заорала она. – Иди отсюда, ворюга!

Новицкий, оторопев, попятился. «Наверное, Аконя уже дома», – подумал он и принялся выбираться из ярмарочной толпы.

Не помня себя, он добежал до подворья Ремезовых. Ворота подворья были закрыты. Новицкий хотел толкнуться в калитку, но почему-то сначала решил заглянуть во двор через окошко, выпиленное в калитке в виде сердца. Ему послышалось, что во дворе звучит девичий смех. Он приблизил лицо к проёму – и увидел с другой стороны ощерённую волчью морду. Точнее, это была морда Батыя. Пёс стоял у калитки на задних лапах и тоже смотрел в окошко, чуя недоброе. Он хрипло гавкнул на гостя. Новицкий отпрянул.

«Вульняныч спустил собак, а бедная Аконя боится войти и бродит по улицам! – подумал Новицкий. – Надо её отыскать!»

Он побежал обратно к Троицкой площади. Аконя шла ему навстречу вместе с каким-то бравым служилым. Новицкий кинулся к ним – и замедлил шаг: со служилым шла совсем другая девушка, а настоящая Аконя проехала мимо в санях. Она оглянулась на Новицкого, но ничего ему не крикнула, даже рукой не махнула. Новицкий поспешил вдогонку за санями и вдруг понял, что там сидит тоже не Аконя, потому что истинная Аконя стояла в приоткрытых воротах какого-то чужого подворья, наполовину укрывшись за створкой, и молча смотрела на него. Новицкий подошёл, тяжело дыша, и увидел, что это не Аконя, а брёвнышко, которым подпёрли створку, чтобы не закрылась. Новицкий с мукой помотал головой и потёр ладонями лицо. С ним творилось что-то неладное, его водило по

городу от морока к мороку.

Он снова оказался на Троицкой площади. Ярмарка на сегодня уже завершилась, люди расходились, работники собирали товары, разъезжались возы. Меж прилавков махали метлами комендантские дворники. За Троицкой церковью шумели кабаки. Площадь заволакивало сумерками, тень укрыла гряды Алафейских гор, но над городом в прощальном свете заката ярко золотились стены и башни Софийского двора. Новицкий пошагал к Прямскому взвозу. Он хотел в Софию. София освободит его душу.

В соборе горели сотни свечей, оставшихся после литургии, а людей было совсем немного. Пустой аналой на пустом амвоне. Квадратные столпы с пёстрыми росписями. Высоченный семиярусный иконостас, весь в золотой резьбе. В объёмах далёких сводов, как в перевёрнутых омутах, уже скопилась темнота. Новицкий стащил треуголку, подошёл поближе к иконостасу, перекрестился и принялся вполголоса торопливо читать:

– Богородице Дэво, радуйся, благодатная Марые, Господь с тобою: благословэнна ти в жонах и благословэн плод чрэва твого, яко Спаса родыла эси душ наших...

Вдруг в соборе дунул ветер и шевельнул волосы Новицкого. Все свечи разом погасли, но почему-то никто в соборе этого не заметил. В полумраке сама собою засветилась лишь большая деисусная икона Богоматери. Григорий Ильич услышал весёлое, но очень тихое девичье пение:

– Богородица ходила, ходила кругом! Богородица гуляла, гуляла вокруг!

Крестясь, Новицкий побежал из собора.

Он не помнил, где он бродил, что с ним было, и осознал себя только тогда, когда очутился на собственном дворе. Для жилья он снимал старую баню на бывшем подворье упразднённого Кодского монастыря. За подворьем ухаживали две монахини из девичьей обители. Избу использовали как странноприимный дом, если не хватало софийских покоев. Ворота здесь никогда не запирали на ночь, и собак не держали. Над заснеженным двором в чёрном небе крошился ломкий звёздный свет.

Новицкий умылся ледяной водой из бочки, стоящей в предбаннике, и вошёл в свою тёмную каморку. Широкая лавка с соломенным тюфяком, стол с богословскими книгами, поставец и сундук – вот и всё. В углу помещался большой киот, где крохотной искоркой тлела лампада. Новицкий затворил дверь, нашарил на столе лучину и зажёл от лампады. Свет обежал каморку. На тюфяке Новицкого сидела Айкони – голая, словно жарко и выпукло озарённая огнём, с распущенными по узким плечам

волосами.

– Яко ты суды попала, Аконя? – со страданием прошептал Новицкий.

Лучина в его руке погасла. Он нашарил другую лучину и снова затеплил от лампы. Каморка была пуста. Никакой Акони здесь не было. Новицкий застонал, бросил лучину и впотьмах кинулся обратно на двор.

В этот поздний час по улицам Тобольска в низких санях-кошёвке ехал митрополит Иоанн. Правил кошёвкой молодой монах. Иоанн творил ночное подаяние: он выбирал подворья победнее, и монах перекидывал через ворота узелки с деньгами – самому митрополиту уже не хватало сил даже на такой бросок. Улицы ярко высвечивала луна, а косые тени от заплотов и строений были густыми и непроглядными. В них прятались сторожа и воры, чтобы не нарушить тайну владыки, хотя в Тобольске все знали о деяниях Иоанна.

В проулке мелькнул какой-то человек. Он шёл без зипуна, сутулился и пошатывался; он ступал неуверенно, будто ноги его не сгибались. В тишине владыка уловил лёгкий скрип. Иоанн сразу толкнул монаха в спину:

– Останови!..

С трудом выбравшись из саней, Иоанн медленно вернулся к проулку. Кто там? Загулявший пьяница или деревянный Христос, ушедший из своей «темницы»? Жутко было встретить Спасителя на пустой ночной улице.

Тот, кого увидел Иоанн, шагнул из тени в лунный свет. Это был Гриша Новицкий – без шляпы и зимней одежды, словно погорелец.

– Григорий Ильич? – изумился владыка.

Новицкий молчал, опустив голову. Блестела его серьга.

– Ты во хмелю? Или болен?

– Я хворий, – едва слышно сказал Новицкий.

Владыка заботливо обнял его и повёл к кошёвке.

– Садись, я домой тебя отвезу.

– Нэ трэба додому... Я звыйти утик... Тьёмно там, вотче...

Владыка усадил Новицкого в сани и укутал шубой, которой прикрывал ноги, а сам втиснулся рядом.

– Вези на Софийский двор, – велел он монаху. – Что стряслось, Гриня?

Кошёвка тихонько заскользила вперёд.

– Чи я закохався, чи нэт... – прошептал Новицкий, глядя в пустоту.

– Ну, так хорошо. Полюбил – и добро, – утешил Иоанн. – Ты не инок.

– Нэт, вотче, – Новицкий помотал головой, как пёс. – Языченеца вона... Колдовуня... Блазныт мэни, вотче... Нэ трэба до Софые, в Софые тэж менэ блазныло... Страшно, вотче. Душу я тэряю.

В тишине и темноте этой полночи Иоанн ощутил страдание Новицкого как своё. Он ведь знал, что такое болезнь души. Знал, как болезнь омертвляет и убивает душу, превращает человека в жалкую и смертную скотину.

Кошёвка выехала на Троицкую площадь. Видно, в Покров день в Тобольске никто не мог её миновать. Окна церкви неярко светились.

– Останови! – Иоанн снова толкнул монаха в спину.

Кошёвка остановилась.

– Гриша, иди в церковь, – с мягкой настойчивостью приказал Иоанн. – Там по купцу Пахомову читают неусыпную Псалтирь. Посиди до утра, послушай святые слова. Никто тебя там не тронет. А утром я пришлю батюшку твой дом освятить. Ты в вере стойкий, одолеешь бесов.

Новицкий скинул шубу и молча полез из кошёвки.

– Покайся, – строго сказал ему вслед Иоанн. Он по себе знал, как надо сопротивляться болезни духа. – Причастись. Укрепи своё сердце и боле не ищи встреч с той ведьмой.

Новицкий вошёл в храм. Пусто. Горели свечи на канунных столиках. Иконостас сиял золотом, лазурью и киноварью. В левом приделе у аналая стоял монах и вслух читал Псалтирь – глухо, быстро, словно только для себя. Новицкий перекрестился на каждый лик Деисуса и повернулся вправо – к «темнице». Резная дверка была приоткрыта. Внутри, пригорюнившись, сидел Христос в терновом венце из ржавой проволоки. Глаза его смотрели сквозь глаза Новицкого прямо в душу, будто охотник сквозь лесные заросли следил за диким зверем. Новицкий увидел, что верёвочные путы на лодыжках Христа порваны, а деревянные ноги до колен забрызганы мёрзлой грязью.

Глава 2

«Сия собака»

В молодости Панхарий был красивым мужиком, но к старости пороки развалили его рожу на куски. Среди приличных людей Панхарий казался ночной нечистью, вытащенной на свет: хозяин торговой бани, а на самом деле сводник, корчёмщик, скупщик краденого, пьяница и вор. Наверняка и убийца, но этого никогда не докажешь. Однако даже в палате губернатора Панхарий сохранял высокомерие ростовщика, благодетеля всякой сволочи, и стоял прямо, по-хозяйски опираясь на палку, будто патриарх на посох.

– А этот донос прескверный, господин губернатор, – сказал Дитмер и положил перед Матвеем Петровичем новый лист. – Сообщаю экстракт. Третьего дня солдат Михаэль Цимс бражничал в бане у содержателя Лыкова. Там на стене висела персона государя. Когда Лыков затребовал плату, Цимс начал тыкать в персону палкой и кричать, дескать, пусть за него платит сия собака. Концом палки он порвал бумагу. Вот собственноручный донос Лыкова под девизом «слово и дело». Вот сам доносчик. А вот персона, печатанная, как видно, в Голландии.

Дитмер положил перед Матвеем Петровичем другой лист – небольшую, в две пяди длиной и шириной, гравюру с изображением государя Петра Алексеевича. Государь в блестящих воинских доспехах, но без шлема, скакал на коне по полю полтавского сражения в лучах яркого солнца и клубах артиллерийского дыма. Посередине гравюра была грубо прорвана.

– Я верно изложил? – спросил Дитмер у Панхария, не оглядываясь.

– Воистину так, – с достоинством кивнул Панхарий.

Поскольку судили шведского подданного и военнопленного, на суде присутствовал фон Врех, ольдерман. Он сидел у стены на лавке, раздувался, кипел, краснел от возмущения и метал на Цимса огненные взгляды.

– Откуда персону взял? – спросил Гагарин у Панхария.

– Купил на ярмонке к запрошлomu тезоименитству.

Матвей Петрович ещё по московским кабакам знал, как всякая людская погань напоказ почитает царя, вывешивая персоны, но почитает не за деяния, а за табак, пьянство, палачество и презрение к родовитому боярству.

– Гнусь помойная, а с катехизисом, – пробормотал Гагарин. – А что

этот Цимс про себя скажет? Он по-русски-то умеет?

– Не умеет, но я переведу, господин губернатор, – Дитмер повернулся к Цимсу. – Господин Цимс, расскажите, как всё произошло.

Дюжий Цимс сидел в углу палаты на лавке, растопырив длинные ноги в рваных башмаках. Морда у него заросла дикой щетиной, словно обомшела. Матвей Петрович видел, что этот швед – конченная псина. Ему только жрать, спать и лазать на бабу. Панхарий не соврал ни на малость. Да и зачем ему врать? Ему от греха подальше надо было донести на государева оскорбителя, а то и самого за покровительство накажут, ведь есть те, кто всё видел.

– Я ничего не помню, – по-шведски ответил Цимс. – Я был пьян. Этот боров налил мне своего русского пойла, оно тошнотворное.

– Он говорит, что напился до беспамятства, – перевёл Дитмер.

– Какой стыд, господин Цимс! – не выдержал фон Врех. – Вы позорите армию короля Карла и свою нацию!

Матвей Петрович ладонями разглаживал на столе рваный портрет.

– Чурбан чухонский! – в сердцах сказал Гагарин. – Он хоть понимает, что за хулу на царя я должен отослать его в Преображенский приказ, а там его клещами издерут или кнутом забьют?

– Вам грозят пытки и казнь, Цимс! – воскликнул фон Врех по-шведски.

– Трактирщик врёт! – тотчас ощерился Цимс, выпрямляясь и со стуком подбирая ноги. – Он сам порвал портрет и сваливает на меня!

Панхарий всё понял без переводчика.

– Вот этой палкой проткнул! – он потряс кулаком с зажатой палкой. – Из руки у меня вырвал! И лаялся похабно, стервец! Господом богом клянусь!

– Хайло заткните, паскуды! – рявкнул Гагарин на Пахария и Цимса. – Ефимка, зови свидетелей.

Матвей Петрович не стал назначать в своей губернии ландрихтеров – судей, подумал: много ли в Сибири тяжб? Оказалось – много. Через полгода его завалили челобитными и ябедами. Матвей Петрович с этим потоком не сладил и спихнул весь ворох бумаг дьяку Баутину с подьячими, пусть они роются и судят. Но доносы со «словом и делом» ему приходилось разбирать самому. «Слово и дело» – страшное заклятье, означающее умысел на бунт, измену и другое злодеяние против государя или его посланцев. Эти дела следовало изучать со всем тщанием, а ежели встретится что-то серьёзное или непонятное, то отсылать в Преображенский приказ князю-кесарю Фёдору Ромодановскому. Поругание

персоны Петра Алексеича было тяжким грехом.

По «слову и делу» судили жестоко. К якутскому коменданту ехала царская ревизия, и комендант, изловив шаманов, приказал им камлать на погибель ревизоров; шаманы написали донос, и коменданта полгода держали в холодной на цепи. Три беглых рекрута пробирались домой в Енисейск и по пути говорили, что они – полковник, крестник и ближний боярин – готовят приезд царя в Сибирь: дескать, надо их кормить и денег им давать; их били батогами до полусмерти и угнали в Нижнеколымск. У илимского старосты в избе под матицей нашли бумажку с колдовским заговором на милость начальства, а в заговоре упоминались «православные государи»; старосту отправили на вечное покаяние в туруханскую обитель. В Белоярской слободе крестьянин осерчал на бурмистра, что тот подымную подать не по имению раскладывает, а бурмистр ответил, что и сам царь ворует; бурмистра приговорили к сожжению как еретика, только Сенат его помиловал и сослал на каторгу в Невьянск. Впрочем, бывало, конечно, что бог и миловал. Год назад кунгурский воевода привёз Матвею Петровичу мужика, которому явился некий «старец седой» и объявил божью волю для государя; Матвей Петрович спровадил мужика в Москву; мужик огласил князю-кесарю послание с небес: для спасения державы царю надо прогнать иноземцев и разрешить людям носить бороды; князь-кесарь вернул мужика Гагарину с письмом, чтобы господин губернатор больше не отвлекал его на дураков.

А выходец солдата Цимса свидетелями были штык-юнкер Юхан Ренат и жена Цимса Бригитта. Ренат нанялся к Панхарию истопником, а Бригитта в торговых банях мыла посуду и полы. Иногда Ренату удавалось уединиться с Бригиттой в каком-нибудь амбаре среди мешков, коробов и бочек – зимой им больше негде было встречаться. Бывало, Цимс приходил забирать жену – и чаще всего здесь же, в кабаке при банях, напивался, просяживая заработок Бригитты. Так случилось и два дня назад. Ренат прибежал на шум и увидел, как Панхарий требует денег, а Цимс выхватывает палку из его руки, чтобы отбиваться от работников, и тычет этой палкой в портрет русского царя.

Ренат и Бригитта ждали, когда их вызовут, у крыльца Приказной палаты. Мягко падал крупный снег. У Палаты, как всегда, сидели писцы и толпились мужики-просители, улочку загородили сани и дровни. Писцы прикрывались рогожами, чтобы снег не намочил бумагу. Время от времени какой-нибудь подьячий выскакивал на «галдарею» и выкрикивал, кого требует к себе дьяк. Бригитта зябко куталась в мужской русский полушубок и низко надвинула на лицо потрёпанный пуховый платок. Она пыталась не

смотреть на Рената. Ренат осторожно взял её за подбородок и повернул лицом к себе. Под глазом у Бригитты багровел набухший кровоподтёк.

– Твой муж просто скотина, Гита, – тихо сказал Ренат по-шведски.

– Да, Хансли, – устало согласилась Бригитта.

На «галдарею» из Палаты вышел Дитмер. Он не стал орать, как русские, вызывая нужных людей, а спустился по лестнице.

– Юхан, Бригитта, пройдите к губернатору, – негромко сообщил он.

Ни Ренат, ни Бригитта ещё не бывали в Тобольской Приказной палате – по-новому, в губернской канцелярии. Дитмер провёл их через большое сводчатое помещение, тесно заставленное столами, за которыми сидели и писали дьяки и подьячие, вернее, секретари и копиисты. Все они были одеты в одинаковые синие камзолы, похожие на военные мундиры. Для чиновников Матвей Петрович заказал на московском монетном дворе четыре мешка медных пуговиц с орлами. Каждому служителю выдавали по две дюжины. Если служителя изгоняли с места или он умирал, пуговицы было положено вернуть в казну. Чиновники проводили Бригитту взглядами.

– А ещё брехали, что шведские бабы на лошадей похожи, – с хитрой улыбкой шепнул копиист Минейка Сквозняк секретарю Волчатову.

Матвей Петрович внимательно оглядел свидетелей – молодую угрюмую жену Цимса с синяком под глазом и молодого шведа, по выправке – офицера.

– Какого беса ты бабу приволок, Ефим? – недовольно спросил Гагарин у Дитмера. – Бабы всегда своих супругов выгораживают.

– Выслушайте её, господин губернатор.

– Ладно, пусть говорит.

– Расскажите, как всё происходило, Бригитта, – по-шведски сказал Дитмер. – От этого зависит судьба вашего мужа.

Скорчив презрительную рожу, Цимс глядел в сторону.

– Михаэль... пить... палка... шлис айнен шток... – Бригитта с трудом подбирала русские слова и рукой показала, как Цимс тычет палкой. – Цар Петер... церризеннес папир... рвать, дыра.

– Можете по-шведски, – разрешил Дитмер. – Я им переведу.

– Я не знаю, о чём был спор в таверне. Когда я вошла, Михаэль уже отнял палку у хозяина и ткнул ею в портрет царя на стене.

– Она грязная распутная девка, она лжёт! – злобно сказал Цимс Дитмеру по-шведски. – Я побил её за безделье, и она мне мстит!

Дитмер спокойно перевёл Гагарину слова Бригитты и Цимса.

– Спроваживаем, значит, злого супруга в застенки, – понимающе покивал Матвей Петрович. Он эту бабу не осуждал. Муж-злодей истерзал

её.

– Недостойно, госпожа Цимс, порочить мужа, которому вы клялись перед алтарём в верности в горе и радости! – с пылким осуждением воскликнул фон Врех по-шведски и по-русски добавил: – Жена не может свидетельствовать против мужа, господин губернатор!

– Тогда пускай гвардеец расскажет, – распорядился Гагарин про Рената.

В поисках заработков Ренат много общался с русскими и освоил язык.

– Солдат Цимс выпил у господин Панхарий кувшин вина. Господин Панхарий требовал плату. Цимс платить нечем. Они толкать друг друга в грудь и кричать в гнев. Цимс отнял палка у господин Панхарий, ударить его палка и ткнул палка в портрет царь Петер. Цимс кричать, пусть сия собака платил за него деньги, ведь он не сам ехал в Тобольск по желанию.

Ренат знал, что за такое преступление Цимса увезут в Москву и, скорее всего, замучают насмерть. Цимс был пьяница и грубиян, он бил жену, но не заслуживал гибели под кнутом из-за того, что Ренату встретила Бригитта. Однако приходилось выбирать: либо Цимс и всё как прежде, либо Гита и хоть какое-то счастье в плену. Ренат не хотел жертвовать Гитой ради Цимса. Он пытался представить Цимса в виде огромного паука, которого он смахнул со своей одежды, и не его вина, что паук упал в огонь.

– Ты собака! – по-шведски прорычал Цимс Ренату.

– Не смей, Цимс! – по-шведски прикрикнул фон Врех.

До Цимса доползали слухи, что его жена спуталась со штык-юнкером Ренатом, и сейчас Цимс понял, что этот слух – не ложь. Он глядел на Рената с бессильной ненавистью. Он чувствовал себя затравленным: он – простой солдат, ему изменила жена, его соперник – офицер, его судит русский князь, и Дитмер, и фон Врех – знатные господа, для которых он – просто уличный пёс. Вокруг него одни враги, и все враги – выше него по положению.

– А ты сам чего в кабаке делал? – недоверчиво спросил Гагарин Рената. – Тоже брагу дудонил?

– Я там работал. Топить печь.

Матвей Петрович в задумчивости поскрёб бороду. Да, Цимс виноват. Тут ему не отвертеться... Нехорошо, ох, нехорошо.

– Ефим, гони этих отсюда.

– Пройдёмте, господа, – сказал Дитмер Бригитте и Ренату.

Матвей Петрович подождал, пока свидетели выйдут. Кроме Ефимки, посоветоваться ему было не с кем. Не с фон Врехом же, индюком.

– Ну и на кой же ляд мне связываться с Преображенским приказом? –

тоскующе спросил он у Дитмера. Только Ефимка мог его понять.

Дитмер покровительственно улыбнулся.

– Я думаю, дело было так, господин губернатор, – спокойно заговорил он. – Солдат Цимс просто увидел ошибку на гравюре и указал на неё палкой. Поскольку он был пьян, он повредил портрет. Это нелепая неосторожность.

– Думаю, скорее всего, так и было, – убеждённо сказал фон Врех. Он сразу поверил, что выдумка Дитмера – правда.

– Н-да? – с надеждой переспросил Гагарин. – А какая ошибка?

Дитмер шагнул к столу Матвея Петровича и развернул бумагу с портретом так, чтобы ему удобно было рассмотреть.

– Государь здесь изображён в доспехах, а в бою под Полтавой он был в камзоле. Это и заметил Цимс.

Матвей Петрович развернул портрет к себе и в раздумье потёр лоб.

– А эта морда была под Полтавой? – Гагарин кивнул на Цимса.

– Цимс, где вы попали в плен? – по-шведски спросил Дитмер.

– Я был ранен, лежал в Будищенском лесу.

Цимс служил в Уппландском полку в корпусе под командованием графа Левенгаупта. Там, под Полтавой, шведские пехотные батальоны под огнём русских батарей взяли линию русских редутов и уже готовились атаковать лагерь царя Петра, когда король вдруг приказал отступить и укрыться в Будищенском лесу – инфантерия ждала кавалерию. На штурме редута Цимса посеколо картечью, товарищи донесли его до леса и вместе с другими ранеными положили под деревьями. Потом полк ушёл в поле, и там взревело главное, самое жестокое сражение: шведская штыковая атака против русской атаки, шведская конница против русской конницы, шведская артиллерия против русской артиллерии. Разбитая армия короля Карла, бросив всё – и орудия, и знамёна, – бежала к деревне Пушкарёвке. Раненые остались в Будищенском лесу одни. Вечером русские обшарили чащу и нашли их.

– Да, Цимс был под Полтавой, – подтвердил Дитмер.

– Вот и ладно! – обрадовался Гагарин. – Запиши всё это, Ефим, в судную книгу, как полагается. Я после проверю.

Матвей Петрович завозился на стуле, доставая с пояса кошель, и отсыпал из него на портрет Петра несколько монет.

– Дай этому дурню десять рублей, Ефим, – распорядился он. – Пусть по кабакам не треплется и не бражничает, а хозяйство себе заведёт. И жену пусть больше не бьёт, не к добру оно.

Фон Врех благосклонно кивал, одобряя вердикт губернатора.

Цимс не верил своим глазам. Его прощают и даже награждают? Почему? Цимс посмотрел на Гагарина, Дитмера и фон Вреха. Видно, эти знатные господа петушатся друг перед другом, кто из них благороднее. Ну и хорошо. Он не гордый. Он примет и прощение, и деньги, и руку поцелует, если надо.

А Матвей Петрович и сам не сказал бы, отчего он так добр к шведам. На своём веку он встречал немало иностранцев из разных сильных держав – китайцев, турок, итальянцев, голландцев, немцев. И всегда его разбирала странная ревность, будто иностранцы живут так, как живут, не сами по себе, а из желания доказать русским, что русские живут неправильно. И сразу хотелось чем-то перебить чужое превосходство. Например, бессмысленной щедростью. Так бедняки по пьянке расшвыривают все деньги.

– Да это почему же, князь?.. – изумился решению Гагарина Панхарий.

– Пошёл вон, доносчик, – свысока ответил Матвей Петрович.

Цимс ухмылялся. Дитмер завязывал монеты в платок.

Он проводил Цимса до «галдарей», словно дорогого гостя, открывая ему двери, но перед лестницей вежливо взял солдата за локоть.

– Цимс, я думаю, что эти деньги принадлежат мне, – с мягкой улыбкой сказал он. – Это ведь я придумал оправдание вашей пьяной выходке.

Цимс мог бы оттолкнуть Дитмера и уйти, но побаивался такого важного человека, как господин Дитмер, секретарь походной канцелярии графа Пипера, и лишь тупо смотрел Дитмеру в лицо, не зная, что делать.

Йохан Дитмер был сыном бургомистра Нарвы. Отцовским домом управляла эконожка фру Маргарета, офицерская вдова, – такая же красивая и внешне бесстрастная, как Бригитта Цимс. Фру Маргарета благосклонно приняла хозяйского сына в свою постель, потому что Йохим был юношей чистоплотным и воспитанным, всегда приходил вымытый и с деньгами.

– Вы можете оставить себе половину этих денег, Цимс, если ваша жена придёт ко мне для уборки дома, когда сойдут её побои.

Цимс, туго соображая, шевелил мохнатой челюстью. Нет, всё-таки для этих господ он – шелудивая собака. Цимс выдернул локоть из руки Дитмера и бросил узелок с деньгами Дитмеру под ноги.

– Это моя жена! – глухо и злобно сказал он и, сутулясь, пошёл прочь.

Дитмер пожал плечами и поднял узелок.

Глава 3

Примирение с тенью

Семён Ульянович проверял, как ушедшие работники укрыли на зиму его начатые постройки – башню на взвозе и столпную церковь.

Всё лето шведы рыли канал на Прорве, а на башню вернулись только осенью. Они успели выложить нижнюю половину второго яруса до уровня, с которого начинается изгиб свода, а потом на Тобольск полились затяжные дожди, и работы пришлось остановить. Длинную коробку башни поверху перекрыли жердинами, на которые настелили кровлю из елового лапника, увязанного в толстые снопы. Сейчас зелёная хвойная кровля превратилась в белый сугроб. Ремезов с лесов заглянул в здание через окошко – в полумраке под потолком сказочно блистали тысячи сосулек, словно ледяная шерсть.

А раскольники, в отличие от шведов, потрудились на Воеводском дворе изрядно. За лето они выкопали яму и возвели фундамент столпной церкви: поставили мощные стены, подняли подпружные арки на опорах и заполнили кирпичной кладкой облегчённые клинья «парусов». Среди раскольников отыскался настоящий зодчий, его называли братом Хрисанфом, и Ремезову было с кем обсуждать хитрые правила вывода постройки на крестовый свод, коробовый или купольный. Жаль, что не успели просушить фундамент.

Зимой, когда всякое кирпичное строительство прекращалось, ссыльных направили выбивать кайлами и мотыгами в мёрзлой земле глубокий ров по окружности Воеводского двора. Труд большой и тяжёлый, но зима долгая, другого занятия ссыльным нет, а дров, чтобы отогреть почву, хватает – на дрова пустили все избы и амбары, что стояли на пути будущего рва. Весной в этом рву заложат фундамент для каменных стен и башен: Матвей Петрович сдержал обещание, данное на Прорве, и выпросил у царя денег на кремль.

Семён Ульянович шагал мимо заплотов Воеводского двора к дымящим кострам землекопов и думал, что князь Гагарин – дельный человек. Да, они ссорились и лаялись, Матвей Петрович нет-нет, да порывался сдать назад, однако посмотри: башня на взвозе – строится, столпная церковь – строится, под кремль роют ямы, и канал на Прорве соорудили, и даже новый дом себе губернатор в галанском духе отгрохал. И это всего за два года. «Надо сказать Петровичу что-нито хорошее, – решил Ремезов. – А то лишь ору на

него».

Князя Гагарина Семён Ульянович встретил возле рва, на дне которого копошились раскольников. Глубокая и широкая бурая траншея, окружённая вывалами мокрой земли, была полна пара и дыма от костров. В этой мгле, как в банном чаду, мелькали землекопы с кайлами; глухо звучали удары железа в заледенелый суглинок. Вдоль ямы торчали служилые в зипунах, охранявшие ссыльных. Гагарин, волоча шубу хвостом, спускался с гульбища Посольского подворья, куда влез, чтобы сверху осмотреть работы.

– Ну как тебе? – спросил Ремезов.

– Да никак, – буркнул Гагарин. – Копают – и копают. Софийский эконо́м сказал мне: ежели ссыльные для моей нужды стараются, чтоб я их и кормил. Дескать, с них один убыток. Купцы хотели у него в тюремном подклете товары сложить и денег заплатить, а подклет этими хриstopродавцами занят.

– А давай их в подвал столпной церкви переселим? – тотчас придумал Семён Ульянович. – Они греться будут – заодно и фундамент высушат. А ты с эконо́ма деньги сдерёшь, что его пленники у тебя живут.

– Гм, – задумался Матвей Петрович. – Ловко придумал, Ульяныч.

– Ты меня почаще слушай, Петрович, тогда дела и пойдут, как надо, – самодовольно заявил Ремезов.

– Да знаю я уже, как ты светом знаний народ поливаешь.

– Ты о чём? – насторожился Ремезов.

– Мне донесли, что к тебе один шведский капитан таскается и чертежи Сибири изучает. Смотри, Ульяныч, рот не разевай – наплюют. Государь Пётр Алексеич указал: пока война идёт, чертежи земли – тайна державы. А ты нашу тайну кому ни попадя выворачиваешь, и даже шведам – нашим врагам.

Слова Матвея Петровича озадачили Семёна Ульяновича. Он никогда не думал, что чертежи могут быть тайной. Для того их и чертят, чтобы все знали землю. Да и мало кто интересовался чертежами, чтобы их прятать.

...Свои давние «меры» острогам и «розметы» слободам, которые он составлял, пока был простым служилым, Семён Ульянович за серьёзное дело не считал. Первым настоящим трудом стала для него «Большая Космография Сибирская» – чертёж Сибири, исполненный почти полвека назад по указу воеводы Годунова; воевода князь Пётр Прозоровский велел Семке Ремезу перерисовать эту «Космографию» заново, добавив всё то, что ещё открыли или уточнили в Сибири. С «Космографии» Семён Ульянович и начался.

Признание к нему пришло только семнадцать лет назад. Тогда боярским приговором воеводе Андрею Нарышкину поручили составить новый чертёж Сибири. Андрей Фёдорыч дал Ремезову подьячего, казака и подорожную грамоту, чтобы всякий мелкий острожный воевода и слободской староста помогали тобольским чертёжникам: снабжали свечами, брали на постой и подгоняли разных бывальцев и очевидцев рассказывать про землю. Семён Ульянович полгода скитался от Царёва Городища на Тоболе до Тары и Берёзова: опрашивал знатоков и чертил, чертил, чертил. Он обрисовал тогда весь огромный Тобольский уезд, а в придачу составил чертежи «Каменной степи» и «Казахской орды» – пограничные земли Джунгарии и Бухареи от гор Алатау до Хвалынского моря. Поражённые московские бояре прислали воеводе Нарышкину грамоту с похвалой в «полноте мастерства», а Семёну Ремезову повысили оклад и присвоили чин изографа. Тогда же в служилые поверстали и Леонтия, чтобы помогал отцу в землеописаниях.

Воевода Нарышкин не знал, что Семён Ульянович работал и для своего интереса тоже. Он задумал создать «Хорографическую книгу» – изборник всех чертежей Сибири. Задумал – и сделал: переплёл в фолиант сотню новых чертежей Туры, Исети, Тобола, Иртыша, Оби, Енисея, Ангары, Селенги, Лены, Алдана, Колымы и Амура. Черновики он оставил себе – тоже в переплёте, – а чистовик передал в руки статс-секретарю Андрею Виниусу, главе Сибирского приказа, и Виниус преподнёс книгу царю Петру. Ну, так он сказал Семёну Ульяновичу, а сам, возможно, продал эту книгу в Голландии за большие деньги. Хороший человек был Андрей Андреич, жаль, что вор, за то потом и поплатился – десять лет назад царь поймал его за карман.

От Петра Алексеевича Ремезову была другая милость. Когда пятнадцать лет назад Семён Ульянович с Леонтием были в Москве, царь приказал им исполнить сводный «Чертёж сибирских градов и земель». Ремезовым выдали полотнище лощёной бязи шести аршин в длину и четырёх в поперечнике и пустили в хранилище Сибирского приказа. В нужный срок Ремезовы принесли назначенный чертёж. Царь пожаловал их «выходом» – сукном и пятью рублями, и сразу же заказал «Чертёжную книгу Сибири» – новый изборник из двадцати четырёх карт на дорогой александрийской бумаге.

Эту книгу Ремезовы делали уже дома и все вместе – и Леонтий, и Семён, и даже Иван, который тогда ещё жил с отцом в Тобольске. Книга получилась красивая, словно на престольное Евангелие: реки голубые, горы жёлтые, леса зелёные, подписи – киноварью. Фолиант увезли в Москву – и

он ухнул в безвестность. Виниус удрал в Голландию, воеводу князя Черкасского сняли с места, и некому было сообщить в Сибирь изографу, как принят его труд.

Безвестность угнетала больше всего. Семён Ульянович радел не о славе своего имени и не о наградах; ему по- юношески хотелось, чтобы его Сибирь была открыта для обозрения. Неужели там, в столицах, никого не смущает, что половина вселенной погружена во мрак незнания? Бог есть свет, и как можно мириться с тенью? Швед Филипка Табберт, хоть и явный хитрец, внёс свечу в эту тьму, а Матвей Петрович говорит, что огонёк надо погасить...

Табберт теперь часто навещался к Ремезову. Они сидели в мастерской и разговаривали – не только о китайском пути по Иртышу, а обо всём. Семён Ульянович рассказывал про Хабарова и Атласова, про монголов и якутов, про мамонтов и курганы, про Лхасу, Камбалык и Багдад, про Великую стену и Шёлковый путь, про пустыню Гоби и Байкальское море, про поднебесные Тибетские горы и мёртвое озеро Лоб-Нор, про необозримые болота Васюгана, где живут трясинные чудовища, и заброшенный город Мангазею. Табберту было интересно всё, его усища от любопытства торчали, словно метлы.

Он и в этот раз пришёл, улыбаясь, как лошадь. Он вытер ноги о тряпку, повесил на гвоздь треуголку и потёртую епанчу, потрепал по голове Айкони, которая, как обычно, расположилась на полу у печи с вышивкой, сел на лавку напротив Ремезова и достал из-за отворота камзола исписанную тетрадь в две дести. На первой странице было начертано: «Записки Избранта Идеса о русском посольстве в Китайскую страну с лета 7200 по лето 7203».

– Григорий найти мне у епископ, – пояснил он. – Очень познавательный ди рейзе нах Азиен. Это русски, а я писать себе дёйч. Симон, давай делать обмен. Я тебе это читать, а ты мне дать рисовать свой изображение Иртыш.

Ремезов задумчиво пролистал тетрадь.

– Не могу, Филипа, – грустно сказал он. – Матвей Петрович запретил мне позволять тебе чертежи перечерчивать. Смотреть их, толковать про разные земли – за милую душу, а чертить нельзя.

– Потчему? – удивился Табберт, ещё улыбаясь.

– Ты швед. У нас война.

– Король Карл дойти до Иртыш?

– Да не знаю я! – рассердился Ремезов. – Только запретил губернатор, и всё! Мне-то разве жалко? Но какая-нибудь подьячая сволочь нацарапает

донос, чтобы выслужиться, и упекут меня в Преображенский приказ!

– Альзо, но это большая печаль, Симон, – сухо сказал Табберт, спрятал тетрадь обратно за отворот камзола, встал и пошёл к своей одежде.

– Ты будешь говорить со мной? – спросила его Айкони.

– Этот день нет, – надевая треуголку, бросил Табберт.

Айкони тихо млела, когда Табберт являлся в гости к Ремезову. Она не сомневалась, что на самом деле князь приходит увидеть её – ведь он порвал заговорённый волос. С весны Табберт взял в привычку после разговора с Симоном подолгу беседовать с Аконеи. Он запросто усаживался рядом с дикаркой на пол и расспрашивал обо всём: какие дома у остяков и какие лодки, что остяки помнят о своей древности и своих предках, какие боги живут под землёй, в реках, лесах и на небе, и за что каждый бог отвечает. Табберт просил Айкони рисовать родовые катпосы жителей Певлора и объяснять, что означают изображения, вытканые бисером или вышитые из лоскутков. Табберта интересовало, что остяки слышали о других далёких землях, об устье Оби и великом ледяном море. Айкони говорила ему, как по-хантыйски называются вещи и явления, а он сам произносил разные слова и спрашивал, понятны ли они. Он рассказывал всякие сказки про людей, что плавали на больших лодках со змеиными головами, про их героев, про богов и чудовищ, и ему хотелось знать: не кажутся ли ей эти сказки знакомыми?

Айкони сразу поняла, зачем князю эти разговоры. Конечно, князь хочет сбежать из русского города к её народу, сбежать и жить вместе с ней и с другими остяками, – для этого он и выпытывал про обычаи и привычки остяков. Айкони терпеливо ждала, когда князь наберёт достаточно познаний, почувствует себя готовым к побегу и скажет ей: «Вставай, мы с тобой уходим в тайгу». Но сегодня сердитый Семульча чем-то оскорбил князя, и князь покидал его дом в гневе и досаде. Айкони чувствовала, что князь не хочет больше бывать здесь. Её охватило отчаянье.

– Ты злой старик! – крикнула Айкони Ремезову. – Злой!

Ремезов опешил, а девчонка вскочила и бросилась из мастерской. Она вылетела на крыльцо, но двор подворья был уже пуст – князь ушёл. Айкони, рыдая, кинулась в загон к собакам. Только Чингиз и Батый понимали её, только они чуяли, как она любит князя и как ждёт побега на свободу.

А Табберт отправился не к себе домой, а к Новицкому. Ему не хотелось оставаться наедине со своей неудачей.

Новицкий, одетый в голубой стихарь, расшитый крестами и цветами, сидел в своей каморке на топчане. Он выглядел усталым и опустошённым.

– Почему на вас церковные одежды? – удивлённо спросил Табберт по-немецки. – Разве вы теперь клирик, Григорий?

– Я только что вернулся со службы в Софийском соборе, – по-немецки ответил Новицкий. – Ещё не успел снять облачение. Я простой чтец, но митрополит Иоанн благословил ношение стихаря. Это честь.

– Я возвращаю вам сочинение посланника Избранта, – Табберт выложил на стол тетрадь. – Благодарю вас за участие в моих изысканиях. Но сегодня меня постигло глубокое разочарование. У вас не найдётся выпить, Григорий? Хочу прибегнуть к старому солдатскому способу излечения.

Новицкий молча достал с полки бутылку с брагой и поставил две кружки.

– Плен угнетает не своими тяготами, а тем, что тебя лишают самого дорогого, – философски заметил Табберт и разлил брагу.

Самым дорогим для него была возможность интересно работать. А Новицкому сейчас казалось, что самое дорогое для него – родина.

– Я всегда думал, Ёхан, что отчизна – это моё государство и его порядок жизни, – признался Новицкий. – И только здесь понял, что это не так.

Тоску по Малороссии воскресила в нём неуголённая тяга к остячке. Ему казалось, что на родине с ним не случилось бы ничего подобного – ни любви к дикарке, ни жутких мороков. Родина исцелила бы его лучше, чем вера.

– Когда-нибудь мы все вернёмся домой, – сказал Табберт.

– Нет, – Новицкий покачал головой. – Вы – враг, а я – изменник. Война завершится, и враги перестанут быть врагами, но изменники остаются изменниками навсегда. Мне уже не вырваться из Сибири, Ёхан.

И Табберту наконец стало легче. Да, вот зачем он пошёл к Григорию. Григорий слабее его силой духа, и положение его куда безнадежнее. Рядом с тем, кому ещё хуже, Табберт ощутил, что его дела не так уж и плохи. Рано или поздно он всё равно уедет в Швецию, и тоска по отечеству не глодала его. А запрет на чертежи... Что ж, это просто препятствие, и не более того. Он, капитан фон Страленберг, найдёт способ преодолеть все затруднения.

По заметённым улицам Тобольска Табберт возвращался к себе слегка навеселе и уверенно хрустел снегом под башмаками. Свежий мороз опалял разгорячённые скулы. Яркие звёзды Сибири горели в небе безжалостно и нелюдимо, словно голодные волчьи глаза в тёмной чаще. Но Табберт не боялся. Он сильный и умный, он храбрый, никаким волкам его не победить.

На крыльце своего дома он обмёл башмаки веником, поднялся в сени,

тихонько вошёл на половину хозяев, где все уже спали и слышался храп, вытащил из подпечья пучок лучин и подцепил огонёк с углей, оставленных для него на загнетке. Освещая себе путь, он вернулся в сени и открыл дверь на свою половину. Лучину он сразу воткнул в клювик светца, повесил на гвоздь треуголку и епанчу, сбросил башмаки и обернулся. На его кровати по-татарски сидела Айкони. На колени себе она положила саблю Табберта.

– Айкон? – тихо изумился Табберт. – Что ты здесь делать?

– Заруби меня! – сияя глазами, прошептала Айкони.

Табберт вздохнул, забрал у неё саблю и спрятал её за поставец.

– Это не играть, Айкон, – как ребёнку, пояснил он.

– Я пришла к тебе!

Тень Айкони накрывала всю кровать.

– Я видеть, – усмехнулся Табберт.

– Садись тут! – Айкони похлопала ладошкой по одеялу рядом с собой.

Табберт боком присел на кровать, глядя на Айкони.

– Я тебя! – восторженно сказала Айкони. – Ты князь! Ты мне денег дал, сладким хлебом меня кормил! Я пришла к тебе!

Табберт смотрел на Айкони с лёгкой улыбкой и пытался понять, что нужно этой маленькой дикарке. Она хочет его как мужчину?

– Ты муж, я жена. Ты волос порвал. Бери меня!

Они были вдвоём в горнице, зыбко и слабо озарённой лучиной. В углах шевелилась темнота. На окошках сквозь мутную слюду яркая луна высветила узоры изморози. Под луной русский город Тобольск белел заснеженными крышами, словно стая птиц опустила крылья. А от Тобольска до самого края континента простиралась почти бесконечная зимняя тайга – чудовищная Сибирь, которая измеряется не вёрстами и милями, а годами пути. Стоит ли здесь отказываться от костра, разожжённого случайным попутчиком?

Табберт ласково и снисходительно погладил Айкони по щеке. Хорошая дикарка. Умная дикарка. Молодец. Айкони поймала его ладонь и потёрлась о неё, как кошка о руку хозяина.

– Я красивая! Я буду!

Табберт наклонился и поцеловал её в висок. Айкони зажмурилась с выражением небывалого наслаждения.

– Милая варварка, – по-шведски сказал Табберт. – Ты пришла ко мне в самый нужный час.

Он встал, заложил дверь в сени засовом и дунул на лучину.

В эту ночь волчья стая, обожжённая первым голодом зимы, вышла из заречного леса, пересекла огромную светлую полосу ледяного Иртыша,

проскочила сквозь беспорядочные постройки пристани и устремилась вверх по руслу речки Курдюмки вглубь города. Точно узкие тёмные щуки, волки проскользнули под Татарским мостом и под Стрелецким мостом и нырнули на огород того подворья, где жил Табберт. Собаки на подворье от ужаса забились под амбар и даже не лаяли. Волки проникли через заднюю калитку, которую Айкони не затворила за собой, и сразу кинулись в коровник. Они набросились на корову, лежащую в стойле, и мгновенно задрали её. Они рвали тушу быстро, яростно и тихо, словно понимали, что не надо шуметь, а потом друг за другом убежали со двора, роняя с морд капли крови.

Табберт лежал на спине, заложив руки за голову, и улыбался, глядя в потолок. Дом уже остывал, и поверх лоскутного одеяла Табберт натащил на себя старую хозяйскую шубу. Айкони, голая, сидела над ним на коленях.

– Я к тебе жить буду, муж мой, – убеждённо прошептала она.

– Нет, Айкон, – добродушно возразил Табберт. – Нельзя. Ты – холоп. За тобой приходиться твой хозяин Симон.

Но Айкони уже всё решила и за себя, и за Табберта.

– Надо бежать вместе в лес! – горячо предложила она. – На Обь хорошо, Юган река, Конда река! Дом строить. Жить. Никто не найдёт, я умею!

Табберт, успокоившись, уже не думал об Айкони. Его мысли вернулись к тому, что было для него важно, – к карте Иртыша. И вдруг в его сознании всё сложилось один к одному: карта – Ремезов – девчонка-остячка. Табберт приподнялся на локте и заинтересованно посмотрел на Айкони.

– Мне нужно читать книгу Симона про твою страну, – сказал он. – Тогда я могу ходить с тобой.

– Зачем? – искренне удивилась Айкони. – Я сама расскажу.

– Нет, мне надо читать. Глазами.

Табберт слез с кровати, подошёл к столу и в белёсом свете из окна пером начертил на клочке бумаги восьмиконечную звезду, какая была выжжена на деревянной обложке ремезовской Служебной книги. Айкони тоже спустилась на пол и встала рядом с Таббертом, приподнявшись на цыпочки, чтобы холодные половицы не студили босые ноги.

– Книга вот такой, – сказал Табберт. – Принести мне её, Айкон.

– Плохо, – ответила Айкони. – Книга чужой.

– Я не возьму себе. Потом верну. А ты принести.

Айкони снизу вверх заглянула в лицо Табберту, словно проверяла, не лжёт ли он, и пальцем провела по его усам.

– Рот говорит правду. Я принесу тебе, князь.

И она тотчас начала одеваться. Незачем откладывать это дело.

Оставшись один, Табберт в некотором замешательстве прошёлся по горнице. Неужели всё разрешится так просто? А почему бы и нет? Табберт почувствовал какое-то мрачное удовлетворение, словно он переломил свою судьбу, хотя и поступил не по правилам. Что поделать, его вынудили. «Я не такой человек, чтобы терпеть насилие над собой и подчиняться запретам, которые никому не нужны», – подумал он со спокойной гордостью.

Он выпил воды, лёг в постель и сразу уснул.

В самый волчий час ночи к нему вернулась Айкони. Она положила на стол большую растрёпанную книгу с восьмиконечной звездой на деревянной обложке, сбросила одежду и нырнула к Табберту под одеяло. Табберт спал на боку лицом к стене и не проснулся. Айкони молча обняла его со спины за широкие плечи и затихла, боясь пошевелиться. Она была полна счастья, что у неё такой большой и смелый мужчина, и этот мужчина – князь.

Глава 4

«Ключом железным»

Семён Ульянович давно хотел потолковать с митрополитом об одном важном деле, но искал удобный случай, чтобы беседовать не на бегу и никто не отвлекал бы от разговора. Случай подвернулся на Крещение 1714 года.

Для праздника на Иртыше делали прорубь-иордань и освящали её чудотворной иконой Божьей Матери Знамение. Икона жила в Знаменском соборе большого села Абалак; село отстояло от Тобольска на двадцать вёрст вверх по Иртышу. Абалакский образ приносили дважды в год – в середине лета и в январе. Летний крестный ход полвека назад учредил архиепископ Корнилий: Богородица тогда избавила город от долгого ливня, размывшего поля и покосы. А зимой тревожить святыню затеял митрополит Игнатий. При нём в Абалаке достроили каменный собор о пяти главах, и самолюбивый митрополит решил, что теперь может просить чудотворницу о приезде на Крещение. Когда Игнатий в первый раз привёз икону в санях по льду Иртыша, Семён Ульянович с богомазами Софийского двора для воеводы Нарышкина расписал золотом и красками выносную сень над иорданью.

В Абалак Семён Ульянович поехал вместе с Семёном-младшим. На ночь в своём доме их принял старый приятель Ремезова, с которым когда-то, уже давным-давно, Семён Ульянович ездил в Барабинскую степь ловить хищного мурзу Кильдея, перебившего отряд тоболяков полуполковника Шульгина. Да-а, были дела... Где ты, молодость? Развеяна по всей Сибири... Утром Ремезовы отправились к Знаменскому собору.

Синее небо, переполненное солнцем, опаляло глаза. Белёный куб собора – не такой огромный, как тобольская София, но и не маленький – стоял над речным крутояром. Пять круглых лемеховых куполов рвались ввысь, словно пузыри. Семён Ульянович с волнением оглядывал беспредельные просторы, которые свободно распахивались от обрыва, раскатывались во все стороны и таяли в немыслимой дали, где всё радужно мерцало в ледяной пылице.

Когда-то на месте Знаменского собора стоял бревенчатый городок хана Кучума с башнями, дворцом-сараем, мечетью и минаретом. Здесь Кучум держал царицу Самбулу, одну из многих своих жён. Потом пришёл Ермак и захватил Искер, столицу хана. Самбула бежала с Кучумом, и Абалак

опустел. Однако через год после потери Искера Кучум вернулся, его войско заняло брошенный Абалак. Из этой крепости царевич Маметкул, первый Кучумов воевода, напал на отряд атамана Богдана Брызги, который ловил рыбу вон там, в Абалацком озере, – в старице Иртыша. Татары порубили всех казаков. Узнав об этом, Ермак вывел свою дружину из Искера и бросил на Абалак. Татары отбились, но решили не обороняться и ушли. Ермак сжёг городок дотла. Погибших под Абалаком он приказал похоронить на священном Саусканском кладбище: атаман Брызга, былой владыка Жигулей, и его казаки легли на мысу рядом с древним иртышским ханом Саусканом и праведным бухарским шейхом, упокоенным здесь под астаной триста лет назад.

Семёна Ульяновича переполняла память о том, чему он никогда не был свидетелем. Таков, видно, был вышний замысел на него. На каждое слово он знал песню. Потянешь любую ниточку – и в бесконечность катится клубок.

У Знаменского собора сгрудились десятки саней из Тобольска. Народа в собор набилось – не продохнуть. Митрополит Иоанн болел; во время службы он сидел на скамейке, и монах обмахивал его рипидой из петушиных перьев. Семён Ульянович из толпы рассматривал благодатную икону, которую уже заботливо повязали убрусом, как женщину. Богоматерь молитвенно воздела руки; перед ней в сиянии был изображён младенец Иисус, а по сторонам – предстоящие: справа святитель Николай, слева Мария Египетская.

Всё началось восемьдесят лет назад, когда вдове Марии с Абалацкого погоста во сне четыре раза явились три иконы с ликами Богоматери, Николая и Марии Египетской, и Богоматерь четырежды велела вдове объявить людям, что в Абалаке надо возвести новый храм. Вдова рассказала о своём видении архиепископу Нектарию. Нектарий внял божьей воле и затеял строительство. А в Тобольске в это время лежал в расслаблении некий крестьянин Евфимий. Почитаемый в народе нищий Павел сообщил Евфимию: он исцелится, ежели закажет в строящийся храм новый храмовый образ. Евфимий сразу обратился к лучшему иконописцу Сибири – Матвею, протодьякону Софийского собора. Матвей согласился. Пока он работал, к Евфимию вернулось здоровье. Так вот сразу и проявилась чудотворность абалакской иконы.

В Сибири образ из Абалака народ почитал более всех прочих святынь, но Семён Ульянович понимал, что в истории этого образа, увы, нет ничего сибирского. Такое могло произойти в Холмогорах, Смоленске или Твери. Что ж, матери везде любят своих детей одинаково. А род от рода отличен

по сынам. О сынах Семён Ульянович и хотел поговорить с митрополитом.

После службы в соборе тоболяки рассаживались по саням: застёгивались на все пуговицы, затягивались поясами потуже, запахивались полстями. Путь предстоял неблизкий и по морозу. Монахи держали древки с хоругвями. Завёрнутую в пелёны абалакскую икону вёз отец Лахтион из Никольской церкви – он носил икону и на летних крестных ходах. Митрополита Иоанна усадили в возок и укутали в шубы. Семён Ульянович пристроился рядом – напротив, – и даже подsunул ноги под шубы митрополита.

– Крестный ход на санях – это по-нашему, по-сибирски, – бодро сказал он. – Водосвятие-то сам проводить будешь, владыка, или поручишь кому?

– Как завтра бог здоровья даст, – слабо ответил Иоанн.

Обоз тронулся. Длинная вереница саней сползла с крутояра на Иртыш, на укатанный санный тракт, и кони побежали быстрее, разгоняясь. Ветер плеснул хвостами хоругвей. Иоанн смотрел по сторонам на заснеженные леса, и бледное, больное лицо его потихоньку зарумянилось.

– А вот скажи мне, владыка, – осторожно начал Семён Ульянович. – Мы в Сибири уже сто тридцать лет живём, почему же у нас своих святых нет?

Иоанн вздохнул. Неугомонный Ремезов опять что-то придумал, и ведь не отцепится, старый баламут, пока всю душу не вытянет.

– Не знаю, – покорно ответил Иоанн.

– Есть, к примеру, Василий Мангазейский, – вкрадчиво продолжал Ремезов. – Наш заступник, промысловый...

Отрок Василий погиб в златокипящей Мангазее больше сотни лет назад. Тогда Мангазея только расцветала. Московские воеводы на старых зимовьях новгородцев воздвигли большую бревенчатую крепость, и в полуночную твердыню сплошным потоком шли отчаянные люди. С Руси добирались по Бабиновскому тракту до Меркушино и дальше на кочах и стругах спускались по рекам до Тазовской губы; поморы от Гандвика плыли вдоль побережья Дышащего моря сквозь Карские Ворота до отмелей Ямала, а потом волочили суда через ямальскую тундру и озеро Мёртвых Русских до Обской губы. И в дикой, косматой, бесстрашной Мангазее, где царём была удача, а законом – сила, пришлецы промышляли пушного зверя на тысячи и тысячи рублей.

Васеньке Фёдорову, сыну ярославского купца, было всего четырнадцать лет. Отец отправил его в Мангазею с воеводой Савлуком Пушкиным. Но богатство не манило отрока, его призывал господь. Воевода приставил Ваську сторожем к пушному амбару. Службу Василий исполнял

худо – то и дело отлучался в часовню. Однажды в часовне он услышал, что воры ломают дверь его амбара, но не стал прерывать моление – оно было важнее соборей. Воры вынесли всю казну. А Савлук Пушкин решил, что Васька был в сговоре с грабителями, и в звероярости своей забил мальчишку до смерти.

Покойника пихнули в гроб, утопили в болоте и забыли о нём. Но лет через сорок гроб всплыл из трясины и вынес нетленные мощи. В северной тайге от безлюдья и алчности промысловики теряли облик человеческий, а господь послал им чистого молитвенника, который первым поставил здесь веру выше прибытка. Василий Мангазейский хранил души от искушения.

Его стали почитать в Мангазее, но сама Мангазея приходила в упадок и пустела. Столица пушного царства переползла на глухой Турухан, приток Енисея, и там поднялась Новая Мангазея – Туруханск. Некий иеромонах Тихон по собственному почину решил перенести туда мощи Василия. Тихон пошёл в Мангазею и пред городскими частоколами увидел холмик, сказочно вытаявший из-под зимних сугробов. На холмике росли цветы, а в цветах спал юноша. Тихон взял его на руки и понёс. Без сна и без отдыха Тихон нёс его семьсот вёрст, и перед ним расступались снега и зеленели травы. Так мощи Василия оказались в Туруханском Троицком монастыре.

– Ваш Василий из Мангазеи не канонизирован, – сказал Иоанн Ремезову.

– Ещё Симеон Верхотурский явлен, – тотчас добавил Семён Ульянович. – Мощи его сам митрополит Игнатий свидетельствовал.

Впрочем, Симеон открылся Сибири совсем недавно, и слух о нём не разошёлся во все пределы. И многое с Симеоном оставалось не ясно. Да, праведник. Был меркушинским портным на отхожем промысле. Шил шубы и зипуны, а деньги под разными предложениями старался вовсе не брать. Но о чём говорит это бескорыстие? Бескорыстных много. Любой юродивый без всякой корысти живёт. Суть Симеона ещё предстояло познать.

– Симеон тоже не канонизирован, – сказал Иоанн.

– Никто у нас не канонизирован, – подвёл итог Ремезов. – А почему? Ладно, Василий, Симеон – про них в столицах не слыхали. А Ермак? Может, настало время его почитать?

Ермак и был тем делом, о котором Ремезов хотел поговорить с Иоанном.

– Не я же канонизациями ведаю, Семён Ульянович, – вздохнул Иоанн.

– Понятно, не ты. Но ведь ты, владыка, с местоблюстителем Стефаном дружен, можешь ему слово о Ермаке замолвить. И здесь, в Сибири, тоже можешь о Ермаке похлопотать, как архиепископ Киприан.

– А как он похлопотал? – нехотя спросил Иоанн.

Архиепископ Киприан был первым главой Сибирской епархии. Он жил в Тобольске девяносто лет назад – через сорок лет после Ермака.

– Киприан собрал старых ермаковых казаков, которые ещё живы были, и приказал записать их воспоминанья. Я полагаю, владыка, что он о будущем Житии Ермака радел, – убеждённо заявил Ремезов. – А через пятнадцать лет после Киприана, уже при Нектарии, софийский дьяк Савва Есипов по тем сказкам составил летопись Ермакова похода. Хотя не Житие, а всё одно прок.

Летопись дьяка Есипова Семён Ульянович читал вдоль и поперёк много раз, а синодик Ермаковым казакам, составленный тоже при Киприане, выучил наизусть. И про Ермака Семён Ульянович написал свою собственную повесть – «Историю Сибирскую». Конечно, он изложил все события похода «встречь солнцу», но гибелью Ермака на Вагае его повесть не завершилась. Семён Ульянович рассказал, как татары выловили тело Ермака и погребли на священном Баишевском кладбище. Как письменный голова Данила Чулков основал Тобольск и пленил хана Сейдяка. Как калмыцкий тайша Аблай потребовал от русских волшебную кольчугу Ермака, и Ульян Ремезов, отец Семёна Ульяновича, отвёз эту кольчугу в степь. Для своей повести Ремезов перерыл древлехранилища Воеводского двора, отыскивая старые грамоты и казачьи «сказки». Он съездил на места, где казаки бились с татарами, чтобы понять, как проходили битвы. Он собрал предания о Ермаке, расспрашивая старожилов – и русских, и татар. Его повесть получилась не просто хроникой воинской победы, но историей о том, как Ермак врос в Сибирь своим именем и своими свершениями и тем самым сделал Сибирь русской.

Семён Ульянович разбил своё повествование на стихи, как в Евангелии. Стихов получилось сто пятьдесят четыре. Семён Ульянович сшил в книгу две дести больших и толстых бумажных листов, каждую страницу разделил по высоте пополам, а в каждом столбце написал стих и нарисовал картинку: Ермака, казаков, татар, леса, горы и реки. С картинками ему помогали Леонтий и Семён. Сибирь не знала книги, подобной ремезовской «Истории».

Никто не заказывал Семёну Ульяновичу этот труд, никто не оплачивал, да почти никто и не читал. Митрополит Филофей – да, прочёл. Филофей потихоньку становился сибирским человеком, недаром же он окунулся в странствия по инородцам. А вот митрополит Иоанн... Год назад Семён Ульянович принёс ему «Историю» – и тихонько забрал через полгода. Иоанн не притронулся к этой книге. Вернее, Сибирь не тронула его сердца.

– Ох, Семён Ульянович, – с сожалением сказал Иоанн. – Одной твоей любви для канонизации мало. От человека потребен подвиг во Христе.

– Ермак Сибирь для Христа открыл, чем не подвиг? Александр Невский тоже не поклоны бил, а святой.

Впрочем, дело было не в отчаянном героизме Ермака, и не в том, что Русь дополнилась Сибирью, и даже не в том, что за казачьей дружиной в Сибирь пришла вера православная. Семён Ульянович не мог объяснить, что же он чувствовал в Ермаке. Была в нём какая-то правда, которая отзывалась в любой честной судьбе человеческой. Ну, как слово Христа в любой душе отзывается. Ермак словно бы показывал, как жить на земле и ради чего жить на ней, если ты русский. В грозном ратном деянии Ермака было тайное тихое смирение пред своим великим поприщем. Ермак делал то, что ему господь велел, и делал так, чтобы господь не рассердился.

– Ежели Ермак святой, то о нём знаменья были бы, – сказал Иоанн.

– А знамений случилось немало, – возразил Ремезов.

Он же писал о них в своей «Истории». О знаменьях ему рассказывали сами татары. При сибирском царе Сенбахте вода Иртыша, берег и травы вдруг стали кровавыми – это было предвестие Ермаковых битв. И при сибирском царе Саускане от земли до неба поднялся огненный столб с тысячами глаз – тоже предвестие. Жители Бицук-туры с Паниного бугра однажды увидели призрачное сражение русских с татарами, и кое-кто из жителей даже сошёл с ума. И при самом хане Кучуме татары узрели, как в небе над Иртышом из облаков лепятся купола православных храмов; Кучум приказал казнить свидетелей этого видения. А главное знамение явлено было самому Кучуму на устье Тобола. Из воды вышли два зверя – большой и белый, похожий на косматого волка, и маленький и чёрный, похожий на пса. Звери с рычаньем сцепились друг с другом, и чёрный загрыз белого, и оба зверя погрузились в воду. Кучум понял, что чёрный зверь – это он. Он победит идущего на Искер Ермака. Так в конце концов и случилось.

Вот стоит над рекой Искер, бывшая столица Сибирского ханства. Ремезов из саней разглядывал высокий, острый мыс с отвесными глиняными обрывами. Заснеженная круча казалась буро-рябой. Иртыш сгрыз уже половину мыса, пройдёт время – сгрызёт всё. Семён Ульянович помнил, как он бежал на Искер ещё мальчишкой. Все мальчишки Тобольска бежали сюда. Тогда ещё видны были в траве полуистлевшие брёвна зданий и частоколов; ещё зиял глубокий Кучумов колодец, на дне которого, конечно, лежал золотой клад; ещё можно было найти ржавые наконечники стрел и копий.

– Кроме знамений, чудеса должны быть, – назидательно сказал Иоанн.

– Были и чудеса.

Да, были, и не только чудо на Прорве, когда хоругви ермаковцев сами собой поплыли мимо татар на Темир-бугре. Перед решающей битвой на Княжьем лугу в небе над татарскими полчищами промчались блистающие воины; они несли на троне Царя Небесного, и Царь грозил Кучуму мечом; кто из татар стрелял по Царю, у тех луки лопались и руки цепенели. А во время приступа Карачин-городка над городком появился сам Христос; он хватал летящие татарские стрелы и швырял их на землю.

– А явления святых? – упорствовал Иоанн.

– Ты как не в Tobольске живёшь, владыка, – раздосадовался Ремезов. – Над Казачьим взвозом у Орловской башни твоего двора какая церковь стоит?

– Никольская.

– А почему она Никольская? На сём месте Ермаку явился сам Никола Можай и повелел держать пост, покаяться и причаститься, ибо он скоро погибнет. Ермак знал, что на устье Вагая его ждёт смерть, и всё равно пошёл туда, потому что покорился воле божьей, как Борис и Глеб покорились.

Татары Вагайского острожка рассказывали Семёну Ульяновичу, что в том бою на устье Вагая хитрый Кучумов воин Кучугай свернул из бересты трубу и принялся кричать в воду: «Ермак! Ермак!». Ермак подумал, что это его господь зовёт, как Никола Можай предвещал, и снял железный шлем, чтобы лучше слышать, – тут татарская стрела и вонзилась ему в висок.

– Знаю, о чём ты сейчас вспомнишь, владыка, – продолжил Ремезов. – Вспомнишь, что святому нетленность нужна и чудеса на могиле. И это было.

Тело Ермака на дне Иртыша случайно зацепил рыбацкой сетью татарин Яныш Бегишев из Епанчинских юрт. Мурза Кайдаул приказал положить найденное тело на помост, и оно шесть недель лежало под солнцем, но не подверглось распаду. Все татарские мурзы и князьки приехали в Епанчин, чтобы посмотреть на поверженного батыра, и даже сам Кучум приехал. Татары вонзали в тело Ермака ножи и копья, а тело точило кровь, как живое. Из капель той крови выросли цветки жарки, и жарок теперь горит среди таёжных трав по всей Сибири. Татары погребли Ермака на священном Баишевском кладбище, где под бревенчатой астаной лежал их великий шейх Хаким-ата. В Родительский день и поныне татары видят над могилой Ермака огненный столп, а по субботам – горящую свечу. Земля с той могилы целебная. Но долгие годы татары скрывали от русских место, где похоронен Ермак, пока эту тайну не открыл народу Ульян

Ремезов.

– На всё у тебя ответ заготовлен, – недовольно заметил владыка Иоанн.

– Так давно уже о том размышляю.

– Я тебе честно скажу, Семён Ульянович, – устало заговорил владыка. – Вот глянь сам на святыню Абалакскую... С ней всё ясно, как день. Кротко, смиренно, человеколюбиво. Во всём – благолепие и тишина божья. А Ермак твой – мятежный. Не быть ему святым.

Семён Ульянович не ответил. Не полез в спор, вопреки обыкновению. То же самое ему давно уже объясняли и митрополит Филофей, и митрополит Игнатий. В глубине души Семён Ульянович знал, что Иоанн тоже откажет. Значит, не пришло ещё время Ермака. Семён Ульянович не сомневался, что оно придёт, – но, увы, не на его веку. Он же сам с горечью и верой написал об этом в завершении своей «Истории Сибирской»: «Ясной речи я пока не стяжал, и сии двери открываю ещё ключом железным, но отыщется и ключ золотой для пользы народа и на радость всем, кто жаждет правды».

Саный обоз мчался по ледяной дороге Иртыша. Свистели полозья, комья снега летели из-под конских копыт, клубились вихри снежной пыли. Чистое солнце ярко пылало в гладкой и стылой синеве зимнего неба, словно округло омытое лампадным маслом. На сизых крутоярах проплывали мимо грозные ельники, запорошённые крещенскими вьюгами. Над обозом сияло золото хоругвей, и свободно вились их весёлые хвосты. В стремительном и слаженном движении коней и саней было что-то победное, торжествующее и литургическое. Русские люди ехали по Сибири.

Глава 5

Глаза Чигирь-звезды

Они были воровками, блудницами, поджигательницами и убийцами. Их должны были сгноить в острогах, запороть, закопать живьём или повесить, но у России имелась Сибирь, и баб отправляли туда, за Каменный Пояс: пускай по бабской природе множат род человеческий, авось детьми искупят свои грехи. На них даже оковы не надевали – баба в оковах не дойдёт.

В этой ссыльной команде брели три десятка баб. Охраняли их шестеро служилых, и шестеро обозных ехали позади на санях. Команда притащилась с Тобола, пересекла Иртыш и вступила в город. Измождённые разбойницы уже притерпелись к позору, не прятали своих лиц, просто тупо смотрели под ноги. Опорки, обледенелые дырявые подошвы, мужичьи армяки с заплатами, драные платки, худые рукавицы. Встречные разглядывали преступниц: на какие коварства и злодейства оказались способны такие клячи?

На косом перекрёстке Кобылинской и Етигеровой улиц сцепилась друг с другом пара водовозных саней. Одна бочка от удара лопнула и потекла, и её хозяин, обозлившись, повалил другого водовоза на снег и пинал в бока.

– Куда ты пёр, чума? – орал он. – Кто мне за бочку заплатит?

Мужики не разнимали водовозов, а пытались расцепить тяжёлые сани. Толпа зевак окружила драку. Мальчишки бегали вокруг и вопили:

– Вставай, Ерёмка! Вставай! Дай Михею по зубам!

– Да хватит, Михей! – утихомиривали драчуна бабы. – Убьёшь ведь!

Служилые принялись расталкивать толпу.

– Дай пройти! Дорогу! Дорогу! Чего сгрудились? – надрывались они. – Дурачья не видели? Пропусти команду!

Одна из ссыльных – ещё почти девка, но с угрюмыми глазами вепря – незаметно и быстро окинула взглядом перекрёсток и сделала шаг в сторону. Служилые не заметили. Ссыльная сделала ещё шаг и растворилась в толпе – тихо, как зверь в лесной чаще. Другая баба, что стояла позади беглянки, подождала немного, давая товарке возможность уйти подальше, и нехотя окликнула ближайшего служилого:

– Кузьма, слышь, Алёна в народ нырнула.

Алёна молча и яростно пробивалась через толпу, протискивалась боком, решительно отталкивала людей и, наконец, вырвалась на простор

улицы. Она побежала вдоль заплота, по-женски расставив руки и наклоняясь вперёд, как курица. Затрещал подол, прорванный острым коленом. Заснеженная грязная улица показалась беглянке бесконечной, как пытка на дыбе.

Алёна не рассчитывала свой побег, она просто увидела просвет в судьбе и кинулась в него без колебаний. С тех пор, как поймали, жизнь протащила её по многим городам севера: Олонец, Вологда, Устюг, Вятка, Соликамск, Верхотурье... Она знала, что в любом большом городе есть углы, затянутые паутиной; есть убежища – притоны, корчмы и торговые бани; есть тайные норы – смрадные, но уже привычные. Надо лишь найти такую нору, а она найдёт. Что с ней там сделают? Да ничего не сделают. Прикажут парить купцов или задирать подол перед звероловом, разжившимся деньгой, но её уже немало насиловали солдаты, тюремщики и служилые, и мужская похоть давно не страшила: Алёна притерпелась к ней, как лошадь к хлысту хозяина.

– Стой, сучка! Стой! – закричали сзади. – Хватай её!

Но встречные не бросались на беглянку, а шарахались от неё.

Алёна завернула в проулок и увидела в сугробе обломок оглобли. Она схватила эту палку, встала за угол и плотно прижалась спиной к заплоту, обеими руками держа своё оружие на отлёте. Служилый выбежал из-за угла, и Алёна со всей силой ударила его поперёк груди. Служилый охнул, раскрыв рот, и, захрипев, сел в снег. Из-за угла выскочил другой преследователь, и Алёна тотчас сбила его с ног ударом по уху – шапка покатилась по дороге.

Алёна бросила палку и побежала дальше. Она толкнулась в ближайшие ворота – заперто. Помчалась к другим – тоже заперто. Понеслась к третьим воротам – и там заперто, только собаки лают. Алёна юркнула за поворот.

А на подворье Ремезовых Семён-младший большой лопатой сгребал снег. Обычно двор чистили Лёшка с Лёнькой, сыновья Леонтия, Аконька или Петька – если батюшка брался его вразумлять, но сейчас Семёну хотелось самому размяться в простом и свежем труде. Двор был не слишком большим, наваливать сугроб здесь было негде, и Семён кидал снег в сани с кузовом – потом Гуня вывезет на речку Тырковку. Семён уже завершал работу, когда калитка вдруг распахнулась, сорвав задвижку, и во двор влетела молодая баба. Рваньё и опорки, платок сбился назад, светлые волосы упали на лицо.

– Укрой! – выдохнула баба, увидев Семёна.

Семён остолбенел.

Баба кинулась к крыльцу, спряталась за поленницу и присела, как по нужде. Она смотрела на Семёна снизу, словно волчица, готовая к прыжку.

Во двор через калитку полезли два служилых – Кузьма и Проха.

– Сенька, у тебя беглая прищелилась? – хрипло спросил Проха.

Он был без шапки, ухо окровавленное.

Семён опять поглядел на бабу за поленницей. У неё были глаза, каких Семён даже на иконах не видал. Гиблые проруби, а не глаза. С такими очами рушилось в огненную бездну низверженное гневным господом возлюбленное его дитя, Денница, падший ангел, страшное и проклятое Чигирь-светило.

Семён медленно указал лопатой на беглую.

Служилые, развалив поленницу, с руганью выволокли бабу и от души насовали ей кулаками под дых. Баба согнулась и закашлялась.

– Не на продажу, так зубы выбил бы! – ярился Проха.

– Под плеть сегодня ляжешь, Алёна! – грозил Кузьма.

– Алёна? – тихо поразился Семён.

Его покойную жену тоже звали Алёной.

Беглой связали руки кушаком и погнали со двора мимо Семёна. Баба даже не взглянула на того, кто её выдал. Лицо её было опустошённое.

Семён приставил лопату к крыльцу и вслед за служилыми вышел на улицу. Служилые уводили беглянку, на ходу поддавая ей по бокам и по шее. Алёна спотыкалась и мотала головой. Платок у неё совсем распустился, и светлые тонкие волосы разметались во все стороны. За служилыми и Алёной Семён дошёл до Троицкой площади, до загона, где продавали невольниц. Служилые пихнули Алёну в сарай, в котором держали пленников.

Весь день Семён блуждал по подворью сам не свой, а вечером позвал Леонтия в подклет, чтобы никто из домашних не услышал их разговор.

– Не понимаю я себя, Лёня... – Семён мялся. – Сегодня я встретил бабу ссыльную... И хочу её в холопки выкупить. Попроси у батюшки денег.

Леонтий внимательно рассматривал младшего брата.

– Батя не даст.

– Тогда скажи ему, что я Гуню со двора сведу и продам.

Леонтий знал Семёна: он кроткий, но упрямый. Куда упрямее бати.

– А что случилось, Сень?

– Я божью просьбу услышал, – еле произнёс Семён.

– На твою Алёну похожа? – проницательно спросил Леонтий.

– Не похожа.

Беглянка и вправду ничуть не была похожа на жену Семёна. Его Алёна

умерла родами почти четыре года назад. Ей было всего семнадцать; для младенца у неё были припасены ещё собственные игрушки. Она умирала долго и в муках. Не помогли ей ни бабка Мурзиха, повитуха, ни софийский лекарь отец Алфион. От Алёны Семёну осталась дочка Танюшка, которую растила Леонтьева жена Варвара. И ещё осталось воспоминание о глазах умирающей Алёны, которые ослепили тогда Семёна болью, ужасом перед смертью и неверием в то, что господь назначил ей, совсем девчонке, только познавшей семейное счастье, такой вот внезапный и жестокий конец. Эти же глаза сегодня днём Семён увидел за поленницей у беглой ссыльной.

– Я поговорю с батей, Сеня, – пообещал Леонтий.

– Только поскорее. А то её продадут или дальше увезут.

После смерти Алёны Семён как заledenел: не смеялся, избегал других баб, пропадал в церкви, а дома молчал и думал о чём-то своём. Он хотел уйти в монастырь, но что-то его удержало. Наверное, нелепая надежда: а вдруг когда-нибудь он ещё сможет исправить всё то, что случилось с Алёной?

К отцу Леонтий не пошёл – не хватило смелости, и решил просить помощи у матушки. Он выждал, пока в горнице останутся только Варвара с семилетним Федюнькой и четырёхлетней Танюшкой, Маша и Аконя.

– Машка, поди гулять, – сказал он. – Мне с матушкой потолковать надо.

– О чём, Лёнюшка? – спросила Ефимья Митрофановна.

Она сидела в красном углу и сшивала разноцветные лоскутки.

– Сеня девку нашёл.

– Ну и славно. Давно пора.

– Лёнюшка, хорошенький, можно я останусь? – заканючила Маша.

– Не твоё цыплячье дело.

– Да пусть послушает, ей тоже жить, – добродушно рассудила Ефимья Митрофановна. – Только за печку, Маня, уберись, не мешайся.

Маша исчезла за печкой. Варвара тяпкой секла в корытце капусту на пироги. Федюнька и Танюшка играли на половичке. Аконя сидела на своём сундуке и что-то плела из верёвочек, но Аконя – бестолковая, пусть остаётся.

Леонтий рассказал о Семёне и ссыльной. Митрофановна задумалась.

– А обойти нельзя, Лёнюшка? – мягко спросила она.

– Да он будто умом тронулся. Знаешь ведь его: тихий, а не своротишь.

– Ты сам-то что полагаешь?

– Надо выкупить.

– У нас вон Аконька холопка. Куда ещё?

– Место найдём.

– А ты, Варвара, что присоветуешь?

– Баба надобна, – сронила немногословная Варвара.

Митрофановна старела, и всё домашнее хозяйство висело на Варваре и Маше, но Маше замуж пора. Аконя годилась только на работы по двору – за скотиной ходить, а в прочих бабьих заботах была не ловка: ткать не умела, готовила грубо, как на костре, пошлют бельё стирать на реку – утопит бельё. А на подворье четыре мужика, если считать и Петьку, два отрока и два дитя.

– Главное тут – батю уломать, – тяжело вздохнул Леонтий. – Но я не справлюсь. Это только ты можешь, матушка.

– Он в деда Мосея своего поперечный, – кивнула Митрофановна.

– Тебя-то он послушает. Хоть крикун, а поругает, да примет.

О чём и как Ефимья Митрофановна говорила с Семёном Ульяновичем, никто, кроме бесстрастной Варвары, не слышал – все Ремезовы сбежали из горницы в летнюю, холодную половину дома. Слышны были только вопли Семёна Ульяновича, бряканье покотившегося чугушка и детский рёв. Потом Семён Ульянович выскочил в сени, бабахнул дверью и побежал к себе в мастерскую, но по пути на дворе продолжал греметь:

– Батя, сымай штаны, нам высморкаться не во что! Поженили острог на богадельне! Все заодно, только я мимозыря! Отца родного в хлев сселили! Свиной заведу, с ними буду жить! Свинье приятель угол, она с ним чешется!

– Батяка могучий, – с уважением сказал Леонтию Петька.

Наутро Леонтий и Семён отправились на Троицкую площадь. День был не ярмарочный, однако площадь всегда оставалась многолюдной, хотя в будни торг не выпирал на окрестные улицы, а зазывалы и сбитенщики не хватили за рукава. В Тобольске давно никто не жил плодами одного лишь собственного хозяйства: каждый делал свою работу, излишек продавал и покупал всё остальное, что ему необходимо. Рынок был средоточием жизни.

Сквозь деловитую, нешумную толпу Леонтий и Семён прошли к загону, где продавали невольников. За оградой возле стены сарая стояли два десятка баб помоложе – старых и больных оставили в сарае. Выглядели бабы одинаково: худые, в залатанном рванье, с одинаковыми лицами – серыми, будто заношенные и выстиранные онучи, вывешенные в ряд на просушку. Перед бабами, как обычно, гулял приказчик Куфоня; он похабно шутил и задирали знакомых, что переминались у ограды. Куфоня давно утратил и совесть, и жалость, и даже тягу к бабам, и сейчас просто

забавлялся от скуки.

– Бабы с Руси, много не проси! – сыпал он кабацкие скоморошины. – Выбирай невесту по любому месту! За двух скидка, за трёх – четвёртая!

– Близо не подходи, Лёнь, – опасношептал Семён, придерживая брата. – Увидит она...

– А то она тебя дома не увидит... Которая там?

– Вон та, – указал Семён.

Алёна стояла как-то косо. Видно, её вчера избили, и она сутулилась, опиралась на палку и прижимала руку к животу. Глаза её угасли.

– Что ты в ней нашёл, Сенька? – вглядываясь в бабу, спросил Леонтий.

– Не ведаю, Лёнь, – тихо ответил Семён. – Как божья рука меня ведёт.

И вправду, замызганная баба не вызывала в нём сейчас никаких чувств. Но он не мог и вообразить, что отвернётся и уйдёт, бросив её тут.

– Ты с малолетства блаженный, Сенька.

– Ступай, Лёнь, ступай, – подтолкнул брата Семён. – На тебя надеюсь.

– Господи, сроду холопов не покупал, – прошептал Леонтий с досадой и смущением. – Не знаю, как это делается...

Рослый Леонтий раздвинул мужиков у ограды, оттащил калитку и, хмуря брови, вошёл в загон. Куфоня оживился и едва не заплясал.

– Здорово, здорово, Левонтий! – он полез обниматься. – Давно уже не виделись! – Куфоня одобрительно похлопал Леонтия по спине. – Как ты? На коня в полк не вернулся? Всё картинки для батьки малюешь?

– А ты всё баб продаёшь? – Леонтий ненавязчиво отстранил Куфону.

– Ты и сам за бабами припёр, – ухмыльнулся Куфоня.

– Это верно, – мрачно подтвердил Леонтий. – Я вон ту присмотрел.

Он пальцем указал на Алёну. Алёна и не взглянула на покупателя.

– Алёну? – удивился Куфоня. – Да она непокорная. Два раза уже бежала.

– Зато дешевле, – спокойно ответил Леонтий. – Мы не богачи.

– Ну, как пожелаешь, твоя забота, – пожал плечами Куфоня. – Пойдёшь ввечеру с нами к Панхарию? Я пару баб ссыльных прихвачу.

– У меня трое детей, Куфоня. Креста на тебе нет.

– Всё батьки своего боишься? – сообразил Куфоня и подмигнул. – Эх ты! А был драгун, с калмыками на саблях пластался!

За русскими бабами Леонтий увидел двух остячек. Их тоже выставили на продажу. Перепуганные и потерянные, остячки сидели на обрубке бревна, заменяющем скамью. Одна из них была в длинном бухарском халате, некогда красивом и дорогом, а сейчас затрёпанном до дыр и грязном. Леонтий не поверил своим глазам: ему показалось, что эта

черноголовая девка – Аконя.

– А это кто у тебя, Куфоня? – Леонтий кивнул на остячек.

– Это? Анышка и Хоманька, мы их зовём Анькой и Манькой. Их на каком-то стойбище загребли с мужиками ихними за разбой. Мужиков на правёж, а девок от казны на продажу. Бессловесные бабы, считай что козы.

Леонтий осторожно прошёл мимо русских невольниц и присел перед остячками на корточки. Остячки отвернулись и закрылись ладонями.

– Вот наваждение-то, – пробормотал Леонтий. – Схожа, как в зеркале.

– С кем схожа? – не понял Куфоня.

– С холопкой отцовской.

– Да они все на одно рыло.

– Эй, Маня, – Леонтий бережно отнял ладонь Хомани от лица. – Знаешь такую девку – Аконя зовут?

Хомани вырвала руку и снова закрылась, не отвечая.

– Ты не лапай, Левонтий, – ревниво предупредил Куфоня. – Их уже Ходжа Касым взял, его приказчик за бумагой в Приказную палату поехал.

Леонтий всё смотрел на Хомани.

– Хорош на девок пялиться, Левонтий, – забеспокоился Куфоня. – Счас все сунутся смотреть да щупать. Ступай давай к приказчику, плати за Алёну четвертак с алтыном и забирай купчую.

Купчие на ссыльных баб выписывал дьяк Волчатов. Леонтий и Семён долго ждали на «галдарее» Приказной палаты, пока Стахей Иваныч изволит освободиться, потом Волчатов долго искал учётные книги и ходил в подклет, потом придирчиво потребовал заменить подозрительный пятак на другой. Наконец он заполнил лист, капнул сургучом и оттиснул печатку.

– И на кой ляд вам эта баба? – напоследок спросил он. – Она же там, в Петербургской губернии, кого-то ножом пырнула. Перережет вас всех во сне.

– За свой покой переживай, – устало посоветовал Леонтий.

День уже клонился к вечеру. У крыльца Приказной палаты Семён замялся и виновато сказал:

– Лёнь, ты заberi её сам. Не могу я. Дома за печью укроюсь.

– Да чего же ты трясёшься-то, Сенька? – вздохнул Леонтий. – Не царицу Савскую купили. Не тебе её почитать.

Семён махнул рукой и поплёлся прочь. Теперь его терзали сомнения. Кого он приведёт в родной дом? Что это его вдруг так пробрало? И вправду ли в глазах той беглой бабы полыхал огонь Чигирь-звезды?

Он спрятался в отцовской мастерской, сидел там без всякого дела и не показался, когда Леонтий, открыв калитку, пихнул во двор Алёну. В руках у

Алёны был узелок. Ефимья Митрофановна как раз выходила из птичника с ситом под мышкой; на больных ногах она сама переваливалась, как утка. Она остановилась, зорко разглядывая новую холопку, и Леонтий для матери остановил Алёну, взяв за локоть. Алёна смотрела в сторону.

– Вот, матушка, и она, Алёна, – сказал Леонтий. – А ты поздоровайся, любезная, это наша Ефимья Митрофановна. Мы Ремезы.

Алёна не поздоровалась и даже не повернула головы.

– Ожесточилась она, ясно, – с пониманием кивнула Митрофановна. – Слышь, дева, я тебя такую в горницу не пущу. Давай сначала в баню, пока там ещё жар, а я тебе какую-нито справу подберу, чтоб не вшивое надевать.

Леонтий за локоть повернул Алёну и указал рукой в глубину двора:

– Вон там баня. Иди сама.

Алёна медленно пошла через двор к бане, словно не верила, что её отпустили без надзора и не обманули.

– Ох, парни вы бедовые, накупили грехов что орехов, – глядя вслед Алёне, вздохнула Ефимья Митрофановна.

Семён рассмотрел Алёну только на ужине.

Трапезничали Ремезовы всегда обстоятельно и в порядке, за общим длинным столом. Горницу ярко освещали лучины. Семён Ульянович важно восседал во главе стола в красном углу под киотом. По правую руку от него находились Леонтий, Варвара с малыми детьми – Танюшкой и Федюнькой – и Семён; по левую руку сидели Ефимья Митрофановна, Петька и сыновья Леонтия – Лёшка и Лёнька. Машино место рядом с Петькой пустовало – Маша прислуживала. Аконьку сажали в конце стола возле Семёна, и Алёну посадили напротив Аконьки возле девятилетнего Лёньки.

Сначала все поднялись и перекрестились.

– Благослови, господи, сей кров и стол и помилуй нас грешных, аминь, – скупно сказал Семён Ульянович. – Разноси, Марья.

Все опустились на лавки. Маша пошла вдоль стола с большим чугуном, завёрнутым в полотенца; рукой она прижимала чугунок к животу и длинной поварёшкой раскладывала по двум деревянным блюдам пшённую кашу. Ремезов попробовал первым, потом и все остальные потянулись ложками.

– Поздравляю семейство наше с прибытком, – со сварливостью в голосе сообщил Семён Ульянович. – Новая работница у нас. Прошу любить и жаловать. Алёна – не знаю, как её по батюшке.

– Я Епифания, – вдруг тихо сказала Алёна.

Ремезов застыл с ложкой у открытого рта.

– Кто?.. – переспросил он.

– Говорит, что она Епифания, – быстро повторил Семён, надеясь, что отец, и без того обиженный, не взорвётся совсем.

– Епифания, значит, – прокряхтел Ремезов, сокрушённо покачал головой и вскинулся: – Какая Епифания? Лёнька, в купчей что за имя вписано?

– Да ладно тебе, отец, – заступилась Митрофановна. – Епифания так Епифания. Тебе какая разница?

– Да никакой! – Семён Ульянович даже чуть подпрыгнул, как дурачок. – Не знаю, кого как зовут за моим столом, вот и всё! Будто в кабаке!

Алёна-Епифания молчала и глядела в стол. К каше она не притронулась.

– Рассказала бы нам, Епифанюшка, за что в острог угодила, – притворно-ласково попросил Ремезов. – Чего нам бояться?

– Да ничего не бойся, батя, – хмуро сказал Леонтий.

– Батюшка, ты бы помиловал её, – попросил Семён.

– А ты молчи, Сенька! – огрызнулся Ремезов. – Ну, дева, поведает?

Епифания смотрела в стол и угрюмо молчала.

– Не по чести, значит, с нами разговаривать! – всё заедался Семён Ульянович. – Ладно, в рожу плюнули – утрёмся! Лопай давай.

Епифания не взяла ложку и даже не пошевелилась.

– И еда наша, значит, не по чести?

– Ты сам давай лопай, только базлаешь, – проворчала Митрофановна.

– Мне свою посуду надо, – едва слышно, но твёрдо сказала Епифания.

– Чего? Отдельную посуду? – гневно завопил Семён Ульянович. – Может, тебе ещё отдельную избу срубить?

– Ты в расколе, Епифания? – громко через стол спросил Семён.

Епифания кивнула – молча и с достоинством.

– Час от часу не легче! – Ремезов треснул ложкой о столешницу. – Раскольщицу привели! А чего не чёрта лысого ты сосватал, Сенька?

– Перекрещена в раскол, потому и не Алёна? – спросил Леонтий.

Епифания снова кивнула.

– А в остроге тебе тоже отдельную посуду подавали, девка? – Семён Ульянович яростно вперился в Епифанию.

– У нас не острог, батюшка, – сквозь зубы процедил Семён.

Аконя, Петька, Лёнька и Лёшка сидели сжавшись, чтобы не попасть Семёну Ульяновичу на глаза. Маленькая Танюшка наладилась плакать, и Варвара спокойно заткнула ей рот кусочком хлеба.

– Машутка, пойдй отложи ей на тарелку, – примирительно сказала

Ефимья Митрофановна.

Маша кинулась в запечье к поставцу с посудой.

– А моего хозяйского дозволения уже не спрашивает никто? – безобразно заорал Семён Ульянович. – Подавись ты, батька, своим порядком, сгинь, сатана старая, полезай в гроб! Да провалитесь вы, хамово отродье!

Семён Ульянович швырнул ложку, выломился из-за стола, потопал к печи, влез на лежанку и задёрнул занавеску. За столом все молчали.

Ефимья Митрофановна вздохнула и перекрестилась.

– Ну, с богом, – с облегчением сказала она. – Лёнюшка, ты за старшего.

Семён смотрел на Епифанию. Она впервые подняла глаза, встретила взглядом с Семёном – и не отвела взгляд. Лицо у неё было точно из камня. Семён понял, что Епифания словно застыла в бесчувственной ненависти ко всем: к своей судьбе, к чужим душам, к этим Ремезовым, к богу.

– Тебе, Сенька, всё не по-людски надо! – крикнул с печи Семён Ульянович. – Не хочу в ворота, разбирай забор!

А Епифания снова прямо посмотрела на Семёна. Она помнила, кто выдал её служилым при побеге, и поняла, что её взяли из неволи из-за этого молодого мужика. Семён виновато отвернулся, как опалённый.

– Накупили себе холопов! – за занавеской не утихал Семён Ульянович. – Экие бояре посередь Тобольска вспухли!

– Гремит Илья-пророк, – привычно сообщила Митрофановна.

Они завершили ужин в молчании, а потом Митрофановна с обыденной простотой велела Епифании вымыть посуду. Маша дала кадушку и тряпку и принесла ведро воды из бочки у крыльца. Епифания отёрла блюда и ложки от каши, отскребла ножом нагар с чугуна, составила посуду на шесток, слила ополоски в поганое ведро и пошла на улицу – выплеснуть помой в огород.

За белым пустырьём огорода, за речкой Тырковкой, за крышами других подворий луна тонкой синей линией очертила зубцы ельника на Алафейской гряде. А над ельником призывно-ярко горела проклятая Чигирь-звезда.

Глава 6

Сестра и плетъ

Ходжа Касым никак не ожидал такого разговора с шейхом Аваз-Баки.

– Я понимаю, уважаемый Ходжа, что мы потерпели неудачу в нашем стремлении обратить к Аллаху инородцев реки Обь, – задумчиво сказал Аваз-Баки, перебирая крашенные финиковые косточки чётков на шёлковой нити. – Но те несчастные люди всё-таки произнесли священные слова шахады и стали нашими единоверцами. Мы не должны оставлять их в беде.

– Они сидят в зиндане губернатора, ожидая приговор, и мы не можем им помочь, – возразил Ходжа Касым.

– В зиндане сидят мужчины. А двух женщин продают на рынке. Умма должна выкупить их. Это будет угодное Аллаху деяние.

– Те женщины не принесут нам пользы, достопочтенный Аваз-Баки.

– Ты ошибаешься, уважаемый Ходжа. О нашей милости узнают другие инородцы, и братская доброта мусульман расположит их сердца к Аллаху.

– Я понял тебя, – кивнул Ходжа. – Я рад узнать, что почтенный Аваз-Баки не потерял надежду увидеть веру Пророка среди инородцев.

Касым отсчитал денег и отправил на рынок своего саркора Асфандияра – приказчика Гостиного двора. Вечером Асфандияр привёл в дом Касыма двух выкупленных остячек. Назифа, старшая жена Касыма, приняла их в ближнем покое гарема и увела в хаммам. После бани Касым пришёл посмотреть на бывших невольниц. Он ещё не решил, что с ними делать: отправить восвояси или оставить в Бухарской слободе как служанок.

– Как вас зовут? – свысока спросил Касым по-русски.

Остячки – молодая баба и девка – не очень-то поняли, что их выкупили из неволи. Они испуганно смотрели на Ходжу и жались друг к другу.

– Анути.

– Хомани.

Касым сразу узнал Хомани. Там, в Певлоре, отец навязывал её в жёны Касыму, а Касым подарил ей халат. Она ведь понравилась ему тогда. Касым рассматривал Хомани. Её кожа – не цвета персика, а цвета спелой хурмы. Это забавно. Умытая, расчёсанная и умащенная, остяцкая девчонка сейчас походила на китайскую скульптуру Шуанлинси из лакированного дерева.

– Ты сохранила мой подарок – чапан?

– Он превратился в рваньё, – за Хомани ответила Назифа.

– Назифа, ты осмотрела её? – по-чагатайски спросил Касым.

– Да, господин, – Назифа, проницательная жена, догадалась, что может заинтересовать её мужа. – Она здорова, все зубы целы, она девственница.

– Ты останешься у меня, Хамуна, – сказал Касым Хомани. – А ты, Анут, выбирай сама: стать служанкой в Бухарской слободе или уйти домой.

Касым провёл ладонью по лицу и бородке, показывая, что дело решено.

– Готовь её для моего ложа, Назифа, – по-чагатайски распорядился он.

Айкони давно уже чувствовала, что Хомани где-то близко. Священная улама, подаренная Хомани, в последние дни стала мягкой и ласковой, словно ручное животное. Вечерами в натопленной горнице Ремезовых Айкони мёрзла, как Хомани мёрзла в холодной тюрьме Воеводского двора, где сидели пленные остяки Певлора. И Айкони неотступно преследовали сны о сестре. Вот весной они с Хомани развешивают сети в лесном прогале возле таёжного озера: птицы, что возвращаются на север, опускаются ночевать на озеро и утром, взлетая, попадают в сети. Вот они с Хомани на зимнем становище; отца нет много дней – он ушёл за лосем; девочки каждый день обходят силки, каждая по своей тропе, но ещё до встречи обе уже знают, у кого какая добыча. Вот они в лодке-обласе посреди Оби гребут короткими вёслами, и никто не может перегрести – они же одинаковые, и сил у них поровну. А однажды Хомани уберегла сестру от большой печали. Бывает, что женщины, у которых грудные младенцы, берут себе лисят, принесённых мужьями, и вскармливают их своим молоком вместе с детьми – у таких лис отрастает прекрасный мех. Ребятишки общего дома привязываются к этим зверятам. Но потом лисиц надо убивать. Все ребятишки плачут. В тот раз Айкони за каким-то делом отлучилась из Певлора и услышала в сердце предостережение сестры: не возвращайся сегодня. Она заночевала в лесу. А в общем доме убили опушившихся лис. Айкони не смотрела на эту жестокость.

Про Хомани проговорила Маша. В стойле она с Айкони обдирала скребками Гуню от свалявшейся зимней шерсти и болтала:

– Слышь, Аконя, а Епифания-то, говорят, человека зарезала. Вот прямо ножом! Страсти-то какие! Злая она, эта Епифания, а мне её почему-то жалко. Тоже ведь жила, чего-то хотела, неспроста небось за нож схватилась, довели её. Батюшка давеча орал, чуть не лопнул, что он Сеньке невесту сторговал, а у невесты приданое – одни кандалы. А Лёнька матушке рассказывал, как он Епифанию покупал у Куфони. Говорил, что вместе с ней девку-остячку продали – с тобой на одно лицо. Манька зовут. У тебя часом сестры нет?..

Айкони выронила скребок и кинулась в дом к Леонтию.

– Хомани! Хомани! – захлёбываясь, повторяла она, вцепившись в рукав Леонтия. – Старший, где Хомани!

Леонтий, вздыхая, пошёл к отцу.

– А точно – только повидаться надо? – с подозрением спросил Семён Ульянович. – Может, вы третью холопку купить решили? У вас же не дом, а теремок из сказки! Кого чёрт ни пришлёт, всякого пригреем!

На следующий день Семён Ульянович запряг Гуню. Айкони, замотанная в уламу, села в санки. Семён Ульянович правил в Бухарскую слободу.

– Горе вам, инородцам, – ворчал он. – Всякому сильному вы игрушка.

Улицы Бухарской слободы были разметены от снега и выровнены, утопанные проулки посыпаны песком. Знакомые бухарцы и татары снимали малахай и кланялись Семёну Ульяновичу. Навстречу попалась азиатская волокуша – жёсткий кожаный полукузов без полозьев. Погонщик в стёганом зимнем халате вёл верблюда, навьюченного длинными тонкими жердинами.

Семён Ульянович остановил Гуню возле дверей подворья Касыма. Глянув на Айкони, он дёрнул её платок- уламу, чтобы укрыть лицо девчонки в тени, – бухарцы не любят выставленных на обозрение женских лиц.

Суфьян – старый слуга Ходжи Касыма – проводил Ремезова и Айкони в мехмон-хану – горницу для гостей. Озираясь, Семён Ульянович присел на низенькую скамейку. Ковры на полу, ковры на стенах, подушки, поставцы с медными блюдами и кувшинами, жаровня с углями, низкий шестигранный столик, светцы и резные деревянные решётки на окнах. У Касыма Семён Ульянович бывал нечасто – только если приходил расспросить о караванах или дальних державах: о Бухарее, Джунгарии, Персии, Китае или Индии; вглубь дома Касым не пускал, Ремезова он принимал здесь же, в мехмон-хане, с чаем. Айкони стояла у стены, как положено женщине, и по сторонам не смотрела: она думала лишь о том, что сейчас увидит Хомани.

– Салам, Семён, – входя, сказал Касым, поклонился, прижав руку к груди, и пристроился на подушке, скрестив ноги. На нём были замшевые сапожки, лазоревые шаровары иштон, малиновая шёлковая рубаха куйлак, легкий расписной халат, подпоясанный вышитым кушаком, и круглая тюбетейка. – Какое дело привело в мой дом такого уважаемого человека?

– Ох, Касым, – завозился Семён Ульянович, – и не знаю, как сказать... Грех один. Словом, ты ведь недавно купил двух баб-остячек, верно? Одну, я слышал, восвояси отправил, а другую себе в жёнки оставил.

– Ты уже не в тех летах, Семён-ата, чтобы интересоваться чужими жёнами, – лукаво улыбнулся Касым.

Он и не взглянул на Айкони – это недостойно мужчины.

– Да меня и своя жена в одра превратила, – ответил Семён Ульянович. – Но я не о том. Холопка моя, Аконька, вон она, – Семён Ульянович кивнул через плечо, – оказалась сеструнькой твоей жёнки. Плачет, дура. Прошу у тебя как у господина дозволенья повидаться сёстрам. Небось, люди они, хоть и подневольные, кровь зовёт.

Ходжа Касым озадаченно покашлял в кулак.

– Э-э-э, Семён... – сказал он. – Я откажу тебе, да простит меня Аллах. Я взял на торгу драную кошку и превратил её в прекрасную пэри. И теперь я не хочу никому её показывать, пока она мне не надоест.

– Да я её и так видал, – снисходительно усмехнулся Ремезов. – Аконя, подыми платок. Вот она.

Айкони послушно стащила платок на затылок.

Касым обомлел, глядя на Айкони, а потом омыл ладонями лицо.

– Аллах акбар!

Он поднялся, подошёл к Айкони, взял её за подбородок и, вглядываясь, повернул лицом налево и направо.

– Они похожи, как минареты Хазрет-Хызра!

– Ну так что, дозволишь?

– Надо спросить у шейха Аваз-Баки, что мне делать.

– В вашем Коране о таком вряд ли говорено. Ты не на бога уповаешь, а на ум человека, вроде тебя. Только ты сам поумнее его, Касым.

– Ты великий и хитрый змей, Семён, – засмеялся Касым. – Ладно, я их сведу. Но тебя всё равно не пущу.

– Да сдалось оно мне, – закричал Ремезов, вставая. – Она мне и дома глаза намозолила, ещё тут на такую же тетёрку смотреть... Пойду я. Спасибо, Ходжа, – Ремезов поклонился. – Аконька, ты сама домой возвращайся.

– Проводи, Суфьян, – велел Касым слуге.

Айкони и не задумалась, куда подевался Семульча, куда повёл её Касым, по каким помещениям они идут. Она вся была внутри себя – прислушивалась к душе, которая словно разгоралась от близости Хомани. Сестра где-то рядом, Айкони ощущала её сквозь стены и занавеси. Касым впустил Айкони в какой-то чулан без окон: голые стены, запёртые сундуки, тонкий ковёр на полу, масляная лампа. Айкони закрыла глаза ладонями. Сердце её сбивалось в стук, словно подстраивалось под иное и близкое сердцебиение. Айкони отняла руки от лица. Хомани была перед нею –

живая, настоящая, хотя и совсем непривычная: в бухарской одежде, с волосами, заплетёнными по-бухарски, и на лбу у неё был тиллякош – венчик с бирюзой и подвесками.

– Хомани! – заворожённо прошептала Айкони.

– Айкони! – потрясённо прошептала Хомани.

Они бросились друг к другу, обнялись, замерли, а потом, не расцепляя объятий, опустились на ковёр. Ходжа Касым стоял в открытой двери и с любопытством ждал, что произойдёт дальше. Эти девчонки-остячки были так удивительно похожи, что казалось, будто в помрачении ума он наблюдает какой-то шаманский танец, когда в глазах двоится.

Девчонки не произнесли больше ни слова. Тяжело дыша, они быстро и невесомо ощупывали друг друга, как слепые: касаниями выясняли, что с ними случилось за два с лишним года. Их души словно слились, соединились в одну изначальную, и они узнавали друг о друге, будто вспоминали свои собственные, но забытые судьбы. Для них не было тайн, недомолвок или стыда. Айкони увидела смерть Хемьюги и гибель богов Певлора, бухарцев с их клятвой, мятеж своего селения, бегство отца и русскую месть, и это было горько. Но Хомани увидела куда более страшные события: увидела, как русские надругались над сестрой, как били и мучали её, как продали в семью Семульчи, а она там встретила князя, полюбила его, камлала на него и отдалась ему. По лицу Хомани побежали слёзы сострадания.

Ходже Касыму сделалось неловко смотреть на сестёр-шайтанок. То ли это колдовство северных варваров, то ли запретные ласки влюблённых друг в друга таёжных гурий. Касым щёлкнул за спиной пальцами, чтобы разрушить чары нечестивого рогатого тагута, и вышел из чулана.

– Суфьян, – позвал он слугу. – Заполни светильник маслом на полмискаля и зажги. Когда светильник догорит, удали гостью из моего дома.

Касым отправился на женскую половину – к Назифе. Его взволновало то, что открылось ему в Хамуне. Он купил Хамуну в собственность и держал в отдалении от себя, предвкушая сладость первой пробы. А лицо Хамуны, её руки, ноги и стан каждый день видели Ремезовы! И Хамуна, которая не должна знать никого, кроме господина, наполняется опытом своей сестры, и этого никак не прекратить, потому что близнецам не нужны слова и встречи! Касым чувствовал, что у него крадут наложницу. Он ревновал.

– Назифа, сегодня приготовь Хамуну, – раздражённо приказал он жене.

Встреча с Айкони взбудоражила душу Хомани и перемешала все мысли. Хомани уже не могла разобраться, где она, а где сестра; где её

память, а где память сестры. Она не понимала, что с ней происходит: она в слезах идёт по заснеженной тёмной улице Тобольска или её, голую, Назифа усаживает в корыто с горячей водой и трёт пучком мочала. Что сейчас будет – она ляжет в объятия смелого и весёлого князя или, наконец, её возьмёт в жёны её новый господин – чужой и непонятный человек, купивший её в свой дом?

Все два года, пока не было сестры, отец твердил Хомани, что продаст её любому мужчине, который его, Ахуту, обогатит. Хомани уже давно приняла, что жених в её жизни возьмётся ниоткуда: отец не познакомит их заранее, не посмотрит, хороший он человек или плохой, не спросит, понравился ли он. Жених появится внезапно, и она подчинится ему безропотно, как положено; он сделает с ней то, что хотят мужчины, и она станет женщиной. Сначала ей будет больно и стыдно, а потом – хорошо, как Айкони хорошо с её князем.

Но муж – это человек, с которым жена живёт одной жизнью: разжигает огонь в очаге, ходит в долгие зимние охоты, вытягивает сети на Оби. Или хотя бы имеет с женой общую мечту, как Айкони с князем хотят убежать из Тобольска в тайгу. А Касым?.. Она ничего не понимает в его жизни. Она и не видит его жизнь. Она сидит в доме Касыма взаперти под присмотром слуг, а Касым приходит по вечерам и забирает какую-нибудь женщину. Или вовсе не приходит. Он разговаривает только с Назифой, но на своём языке, которого Хомани не знает. Она просто вещь Касыма, как пояс или весло.

Назифа тщательно вытерла Хомани полотенцем, но не дала ни штанов-иштон, ни туфель, ни платка. Босую, в одном только платье с тесьмой на вороте и рукавах, Назифа втокнула Хомани в покои, где находилась постель Касыма. Крепкие резные столбики держали балдахин из алого хан-атласа. Горели светильники. Ходжа Касым стоял посреди гарема как хозяин – расправив широкие плечи и сунув ладони за кушак. Сулу-бике и Улюмджана в лёгких распашных халатах-румчах сидели у ног своего господина. Назифа повернула Хомани к Касыму, подняла её лицо и спустила с неё платье. Хомани побоялась даже прикрыться руками. Касым уверенно и придиричиво разглядывал остячку. Она казалась девчонкой лишь в одежде. А под одеждой было смуглое тело женщины самой сладкой первой спелости.

- Ты хорошо подготовила её, Назифа? – строго спросил Касым.
- Её лоно ждёт тебя, господин, но она дикарка.
- Веди её на моё ложе.

Сулу-бике поднялась, развязала кушак Касыма и сняла с его плеч чапан. Улюмджана стащила с ног Касыма ичиги и приняла иштон. Касым

шагнул под балдахин, где Назифа с недобрым бесстыдством уложила Хомани среди подушек и покровов на обозрение господину. Назифа слезла с постели и потянула за шнур, роняя занавесь. Хомани с ужасом смотрела на Касыма снизу вверх. Она понимала, что сейчас сделает с ней этот мужчина, её муж, и жадно искала в его лице черты князя, которого полюбила Айкони, – князя, каким она его себе вообразила. Пусть Касым окажется таким же, как князь! Пусть он принесёт ей такую же радость, какую князь приносил её сестре!

В глазах Касыма было только любопытство и холодное торжество. Он тяжело навалился на Хомани, как рыбак на берегу всем телом прижимает к земле большую бьющуюся рыбу, и живот Хомани прорезала острая боль, словно Касым рвал её пополам. И Хомани вмиг забыла и князя, и Айкони, и свою судьбу – её подмял медведь, и надо было отчаянно сопротивляться, чтобы зверь не раздавил её и не растерзал. Обезумев, Хомани извернулась, как лисица, и хищно впилась зубами в плечо Касыма. Касым взревел.

Назифа, Сулу-бике и Улюмджана услышали за пологом рёв своего господина, а потом он сорвал балдахин и скатился с ложа, зажимая плечо. Ладонь его была окровавлена. Голая Хомани спрыгнула с постели и кинулась к двери, но Назифа хищно вцепилась ей в волосы и швырнула её на ковёр.

– Держите её! – властно крикнула Назифа.

Задышавшись, в гарем ворвался жирный евнух Бобожон. Он сразу понял, в чём дело, и рухнул огромным брюхом на ноги Хомани. Улюмджана и Сулу-бике бестолково ловили руки остячки. Назифа решительно схватила со стены тонкую двухвостую плеть, которой Касым учил своих наложниц. В душе она мрачно ликовала. Всё повторялось: когда-то она вот так же вразумляла плетью и Сулу-бике, и Улюмджану. Эти распутницы вытеснили её, первую жену, с ложа Ходжи Касыма, но не вытеснили её из сердца мужа, – значит, и эта новая забава, медовая телом дикарка, тоже не сможет вытеснить её.

Назифа с наслаждением переполосовала плетью спину растянутой на ковре Хомани. Хомани завизжала и завертелась, насколько могла. Назифа замахнулась снова, но её руку вдруг перехватил Ходжа Касым.

– Я сам! – гневно выдохнул он. – Мужчина делает это лучше!

В этот час Тобольск заметала ночная вьюга. Она бурлила на Алафейских горах, цепляясь за шатры башен и купола церквей, и протяжно, свободно свистела над крышами Нижнего посада. Айкони лежала в постели Табберта, обнимая своего князя, но сон её был мутным, тревожным. Вьюга шуршала за окном, а дом, остывая, поскрипывал,

словно качающийся на волнах корабль. В жаровне по углям ползал красный свет, за стенкой тихо трещал сверчок.

Айкони внезапно закричала и подскочила, толкнув Табберта.

– Что там есть? – недовольно пробормотал он.

Айкони снова закричала и уткнулась лицом в лоскутную подушку. А потом страшно дёрнулась и опять закричала.

Табберт приподнялся на локте. Шуба, заменявшая одеяло, сползла, и на голой спине Айкони Табберт увидел кровавые полосы от плети. Айкони крупно вздрогнула, стискивая зубы, и Табберт увидел, что на её спине сама собой вспыхнула ещё одна полоса, а потом – ещё и ещё.

Глава 7

Поневоле

Когда ночь обнимает тебя своей тьмою, – писал Новицкий, – бессонная мысль порождает жалобы больного сердца, лишённого отечества, которое возлюблено им более всего на земле, и плен видится бесконечной гибелью». Он не хотел писать о своей застарелой печали, но слова сложились против его воли, и Григорий Ильич не стал их вымарывать. Пусть в книге о владыке Филофее останется память и о нём, ссыльном полковнике.

Эту книгу Новицкому поручил написать сам губернатор князь Гагарин. В те дни владыка приехал из Тюмени в Тобольск, чтобы похлопотать об участии остяков, захваченных служилыми в Певлоре. О чём владыка говорил с губернатором, Новицкий не знал, но вскоре Матвей Петрович вызвал Григория Ильича к себе в дом.

Новицкий с удивлением разглядывал кабинет губернатора. В Тобольске Григорий Ильич привык к тяжеловесной грубости русского убранства: лавки, длинные столы, сундуки, поставцы, стены из стёсанных брёвен... А в доме у Гагарина было так же, как на родине в доме у самого Новицкого, и в доме Герцика – его тестя, и в доме свояка Орлика, и во дворце гетмана Мазепы в Батурине. Штофные печатные обои. Зеркала. Лепнина. Портьеры на больших венецианских окнах, набранных из стеклянных квадратиков. Гобелены. Канделябры. Паркет. Стол на львиных лапах. Кресло-корытце и стулья. Два шкапа. Бюро и комод. Хотя видно, что всё это великолепие – самодельное, чуть-чуть корявое. Разве что зеркала и канделябры привозные.

– Скажи-ка мне, Новицкий, как ты помыслишь о владыке Филофее? – задумчиво спросил Матвей Петрович. – Ты ведь учёный человек, в одном коллегииуме с владыкой обучался. Кто он – Филофей?

– Се годнэйший муж, – удивившись, осторожно ответил Новицкий.

– Да не бойся ты.

– Його працями вэра православна у Сыбыре споруджуэться.

– Это понятно, – с досадой махнул рукой Гагарин. – Я же не о том. Я вот полагаю, что после кончины будет наш владыка святым.

– Нэ моёго разумэння сие, – совсем оторопел Григорий Ильич.

– Ясно, что не твоего. И не моего. Но видится мне, что у нас с тобой долг – запечатлеть деяния владыки среди остяков. И те, что были, и

будущие, – князь внимательно посмотрел на полковника. – Так что, Новицкий, поручаю тебе описать ваши странствия. Чтобы книга получилась. И в книге надобен чертёж всех рек и земель, которые вы окрестили. Сходи к Ремезову, он тебя научит чертежи делать. Вот, возьми деньги.

Матвей Петрович бросил на стол кошелёк.

– Я и бэз грошей цэ зроблю, – гордо отступил Григорий Ильич.

– Возьми-возьми, деньги делу не помеха.

Прежде чем идти к Ремезову, смущённый Григорий Ильич встретился с владыкой Филофеем. Владыка тоже оказался озадачен затеей князя.

– Конечно, Гриша, дело наше благое, – рассудительно сказал он, – однако мою грешную персону в средокрестье воздвигать не след. Я не лукавлю, и самоумаление паче гордости, но не во мне суть.

– А в чём, вотче? – спросил Новицкий, как ученик учителя.

– В остояках, – просто объяснил Филофей. – Придёт время, и они выйдут из язычества, с нашей помощью или не с нашей – не важно. И они забудут тьму, в которой пребывали. А надобно, чтобы не забыли. Вот о них ты и пиши, Гриша. А про меня – уж постольку- поскольку.

В лавке бухарца Турсуна Григорий Ильич купил четыре дести хорошей китайской бумаги, сшил тетрадь и на титульном листе вывел: «Краткое описание о народе остяцком». Об остояках он и сам знал уже, наверное, не меньше Ремезова – посмотрелся на них в путешествиях с владыкой, а вот чертить чертежи земли не умел, и потому отправился к Семёну Ульяновичу.

Ремезова он застал в мастерской.

– Я до дэла прийшов, Вульяныч, – присаживаясь, пояснил Григорий Ильич. – Мэни Матвэй Пэтрович поручив хнигу напысаты. Хнигу про народ остяцев и про то, как владыка Филофий их до вэры обращаэ. Чаю у тэби совета спросыти. Трэба мэни зрозумить, яко чертэжи зэмлі рисовати. Ты-то усю Сибер обчертил – научи.

Семён Ульянович откровенно обрадовался просьбе Новицкого. После того как Табберт перестал к нему ходить, он скучал по разговорам.

– Не токмо Сибирь обчертил! – охотно заявил он. – И Китай с Индеей, и Мунгалию, и Бухарею с Каменной степью. Ну, давай растолкую.

Он вытащил с поставца большую книгу – Новицкий помог поддержать, – грохнул её на стол и развернул посередине.

– Нет различья, на каком чертеже объяснять. Все они почти одинаково делаются. Вот показываю.

Ремезов уткнул палец в разворот.

– Чертёж полагается так. Слева, где сердце, – восток, потому что там

Иерусалим. Справа, значит, запад, то есть чертят землю югом кверху. Лучше всего, если чертёж – какая-нибудь река. Рисуи на листе всё, что для дела нужно, – горы, озёры, луга, урочища Ермаковы, рудные места, а что не нужно ни к чему – к бесам долой с бумаги. Что ещё важное услышишь – на пустом месте мелким уставом подпиши. Понимаешь?

В мастерской дуло сквозняком – это вошла Айкони. Новицкий искоса глянул на неё – и перестал слышать Ремезова. Айкони, не обращая ни на кого внимания, вытащила с полки какое-то своё рукоделие и привычно села на пол у печки. Табберт, её князь, больше не приходил к Семульче, и Айкони уже не интересовалась, кто находится в мастерской. Она просто занимала время шитьём и выжидала, когда можно будет сбежать с подворья к князю.

А Григорий Ильич понял, что ничего для него не закончилось. Ему больше не блазило, но себя он не отмолил. Душа загудела при виде этой девчонки, словно ровная тяга в печной трубе. Новицкий тихонько сквозь камзол нащупал крестик на груди. «Господи, отведи!» Нельзя так пропадать в другом человеке: Аконя ему не хозяйка, а он ей не собака.

– Главная морока – селенья расставить, – увлечённо рассказывал Семён Ульяныч. – Про это надобно у бывальцев спрашивать. Но оно как бывает: один говорит, меж Тобольском и Тюменью три дня пути, – дак он пьяный ехал, не помнит. Другой говорит: десять дён, – дак у него коняга хромал. Вот такое и вымеряй через мненья многих-многих знатоков. Это самое трудное.

– Розумею, Вульяныч, – сказал Новицкий, хотя ничего не разумел.

Он поскорее вырвался от Ремезова и допоздна бродил по заметённым улицам Нижнего посада, чтобы остудить голову. Он не понимал, что с ним происходит. Аконя нужна ему как женщина? Нет, она ему в дочери годится. И нежность к ней, от которой плавилось его сердце, была подобна нежности к дочери. Он не желал обладать ею, а желал оберегать её, охранять от всех бед. Но у него с Айкони не могло быть общей судьбы. Он – дворянин, пусть и ссыльный, он – православный, он в Киевском коллегиуме изучал труды Пифагора, Плиния и Василия Великого. А она – тёмная язычница и холопка.

Однако на следующий день Новицкий снова был у Ремезова.

– Розкажи мэни, Вульяныч, про остяцев, – пряча глаза, попросил он.

– Тут быстро не расскажешь, – недовольно пожал плечами Ремезов, слегка обиженный, что вчера Новицкий так неожиданно сбежал. – В Сибири есть четыре главных народа – кроме русских, понятно. Калмыки, татары, вогулы и остяки. Каждый по-своему живёт. Про каждого речь

особая. Да я всё это уже в книгу записал. Хочешь – читай.

Семён Ульянович выволок с полки и грохнул перед Новицким ещё один фолиант в кожаном переплёте – своё «Описание сибирских народов».

– Дозволишь взять з собою?

– Не дозволю. У тебя в твоём скворешнике и дверь не запирается. Читай тут. Переписывай, ежели чего надо. Чем тебе у меня плохо? Лучин хватает, чернила не замерзают, и Митрофановна покормит.

Новицкий явился с одной лишь надеждой увидеть Аконю, а Ульяныч приглашал его приходить хоть каждый день. И Новицкий согласился.

Григорий Ильич помнил совет митрополита Иоанна: окрести ту, которая оморочила твою душу, – и наваждение спадёт. На деньги, которые дал Матвей Петрович, Новицкий купил на Софийском дворе красивое и причудливое медное распятие – такие под заказ архиерея отливал мастер Пилёнок на Ружейном дворе. Сидя над книгой Ремезова, Григорий Ильич поджидал случай, когда сможет поговорить с Айкони наедине. И случай подвернулся. Айкони пришла с вышивкой к печи, будто кошка на любимую лежанку, и никого из Ремезовых в тот час в горнице не оказалось. Новицкий торопливо полез за пазуху, вытащил распятие и опустился на колени рядом с Айкони.

– У мэнэ до тэбе пыдношэння, Аконя, – сказал он, стараясь не напугать девчонку, и протянул ей распятие. – Визьми соби. Цэ наш бох Ысусе Хрысте.

Айкони залюбовалась распятием, но не взяла его из рук Новицкого.

– Красивый, – сказала она. – Чужой. Не Айкони.

– Цэ тэбе, – возразил Новицкий, – тэбе. Подарунок вит мэне.

– Нет, – уверенно ответила Айкони. – Бери себе. Приманка.

Она уже заметила, что этот странный человек словно бы преследует её – если не на деле, так в мыслях своих. Он не причинил ей никакого вреда, не пытался хватать, никуда не тянул за руку, но всё равно рядом с ним Айкони ощущала себя угнетённой, стеснённой, словно её держал кто-то невидимый.

– Тэбе трэба похрэститися, – мягко, но настойчиво сказал Новицкий.

– Зачем? – спокойно удивилась Айкони. – Мой бог – много. Везде. Айкони любит богов. Твой бог – один. Где дом и пять голов.

Она приставила к голове два кулачка, изображая луковицы над церковью.

– Нэ тако, Аконя. Ысусе Хрысте всюди.

– Позови его. Придёт он? Мои боги придут.

Конечно, придут. Она позвала Сынга-чахля, чтобы добыть священный

волос для князя, и Сынга-чахль пришёл.

– Я хочу сам охрэстыти тэбе, Аконя, – признался Новицкий. – З вэрою во Ёсусе ти знайдэш до волы.

Язычников-холопов, которые принимали крещение, положено было выводить из холопства. Ульяныч отпустил бы Аконю на свободу.

– С крестом я могу уйти, где Обь? Жить, где мой дом?

– Да, – кивнул Новицкий.

– И ты меня пустить?

Она испытующе рассматривала Новицкого. В коротких чёрных волосах, непривычно остриженных в круг, – седина. В ухе – серьга. Выбритые впалые щёки кажутся синеватыми. Вислые усы. Печальные очи утопленника. А её возлюбленный князь не такой. У него весёлый и хитрый взгляд. У него сто зубов, когда он улыбается. У него рыжие усы торчат как у выдры.

– Нэ выдпушу, моя кохана, – глухо сказал Новицкий и опустил глаза.

– Айкони не надо, – отодвигая распятые подальше, сказала Айкони. – Иди, где Семульча. Ты чужой. Не князь мне.

Новицкий не понимал, почему он никак не может убедить эту упрямую девчонку окреститься. Владыка Филофей говорил о том же с куда более ожесточёнными язычниками – с пленниками из Певлора, и преодолевал их сопротивление. Новицкий сам присутствовал при этом, всё видел и слышал.

Остяки Певлора сидели в губернаторской тюрьме – в большом и низком подклете под амбарами на Воеводском дворе. Владыка Филофей отправился к ним без охраны, взяв с собой только Новицкого. Они спустились в сырой, холодный и смрадный погреб. Земляной пол здесь был забросан гнилой соломой, бревенчатые стены обросли серым инеем, узкие волоковые окошки были перехвачены коваными скобами. Остяки зашевелились, узнав владыку, зазвенели кандалами. Филофей, опираясь на посох, медленно обошёл подклет, рассматривая узников. Их тут было человек десять – все в одеждах из шкур, по которым ползали вши, все обросшие, и многие кашляли.

– Узнаю тебя, Гынча Петкуров, – негромко говорил Филофей. – И тебя, Негума. И тебя, Лемата. И тебя, Етька. И тебя, князь Пантила Алачеев. Вот где довелось встретиться... Горько мне вас видеть такими.

Филофей не лукавил – ему и вправду было горько.

– Ты виноват, – глухо сказал князь Пантила из-под рассыпавшихся по лицу грязных и длинных волос.

Филофей подошёл к Пантиле.

– Я чувствую вину, – согласился он, – однако виноват не я один.

– Ты обещал, что не будешь мстить! – в голосе Пантилы звучала злоба.

Князь Пантила готов был возненавидеть Филофея – не за плен и муки, а за то, что Филофеем обманул. Страдания плена остяки заслужили своим преступлением, а вот обман – это подло, это несправедливо.

– Я вас простил и не жаловался на вас губернатору, – сказал Филофей и, кряхтя, уселся на солому. – Но тогда в Певлоре я ведь был не один. Вы убили двух человек. Губернатор хотел узнать, кто это сделал, и спросил у других, кто там был, не у меня. Другие не стали покрывать вас. И губернатор должен был вас наказать, потому что вы напали на людей царя.

Пантила угрюмо и упрямо молчал. Негума, Лемата, Гынча и прочие остяки подтягивались к Филофею и рассаживались вокруг него.

– Что с нами сделают, старый шаман? – спросил Негума.

– Наверное, сначала вас изобьют кнутами. Потом увезут далеко-далеко от Оби и поселят на новом месте. Там вы будете много трудиться на полях. У вас будут свои дома и жёны, но домой вы не вернётесь никогда.

Тех остяков Певлора, которые выживут после кнута, ожидала высылка по разным обителям – на Вятку, в Казань или Сольвычегодск, в Иркутск, Якутск или Туруханск. В лучшем случае их могли отправить в Верхотурье или Далматов монастырь. Ссылные инородцы работали в холопстве при обителях как вечноотданные монастырские крестьяне.

– Я не нападал! – гневно воскликнул Гынча. – Почему меня увезут?!

– И я не нападал!

– Это Ахута Лыгочин напал! Напал, а потом сбежал к самоедам в ваш мёртвый город Мангазей!

Остяки разволновались, зазвякали оковами. Новицкий насторожился. Он готов был отбросить любого, кто ринется на владыку.

– От тебя нам только зло, старик, – с болью произнёс Пантила. – Ты сказал нам, и мы по твоему слову сожгли идолов и «тёмный дом». А как жить без богов? И мы приняли бога торговцев, потому что он щедрый.

– Где сейчас его щедрость? – Филофей посмотрел Пантиле в глаза. – Торговцы вас обманули ради своей выгоды.

– Ты нас тоже обманул, – без колебаний сказал Негума.

– Нет, Негума, не обманул, – Филофей с трудом начал подниматься, цепляясь за посох. – Сейчас я пришёл позвать вас креститься. И тогда наш князь простит вам ваше злодейство и отпустит домой. Такой у нас закон.

Остяки переглядывались.

– Только креститься, и всё? – недоверчиво спросил Гынча.

– И всё, Гынча.

– А ты говорил, что вера поневоле не нужна ни нам, ни вашему богу, – с презрением мрачно напомнил Пантила.

– Крещение ещё не вера, князь Пантила, – ответил Филофей, возвышаясь над сидящими остяками. – Но без него веры не бывает.

– Снова обманные слова.

– Нет, – твёрдо возразил Филофей. – Это милость. Плохо, конечно, что получается вот так, в тюрьме, а не возле своего дома и в радости, но что уж тут поделать? Даже если вы примете крещение без веры, от страха наказания, всё равно крещение, прощение и воля – это добро. Какой же тут обман?

Остяки думали, и Новицкий видел, как в них разгорается надежда.

– Ладно, мы пойдём под крест, – неохотно решил за всех Пантила.

На следующий день пленников вывели из тюрьмы и отправили в баню, побрили наголо и подобрали им новую одежду. Кормить перед крещением их не стали, чтобы никто с непривычки не заснул. Крестил остяков сам владыка Филофей. Таинство он провёл вечером в Софийском соборе, и остяки были потрясены: только что они замерзали в подклете, а сейчас для них поёт хор, горят свечи на огромном иконостасе, и откуда-то сверху, из-под неимоверно-высокого свода, на них смотрит сам могучий русский бог. После крещения остяков отвели в съезжую избу. А на Тобольск налетела пурга.

По вьюжной тёмной улице Новицкий возвращался к себе на подворье и думал, что владыку Филофею осенила благодать господня – не иначе. Даже если и не осенила, то коснулась. Владыка не сжигал себя в молениях, не рвал жилы, не гремел пророческим глаголом, но вокруг него мир словно бы сам собой становился божьим. Владыка воздвигал невидимые кремни и побеждал без армий; его лёгкая лодочка с парусом-пёрышком спасала в любой буре.

Внезапно Григорий Ильич увидел впереди закутанную, склонившуюся под ветром маленькую женщину, и сердце раньше разума опознало Айкони. Новицкий побежал и догнал её, заглянул под надвинутый платок- уламу:

– Аконя, цэ ти?

Айкони не ответила и даже не взглянула на Григория Ильича. Лицо у неё было усталое, отрешённое и заплаканное.

– Аконюшка, цэ же я, Григорий! – радостно повторил Новицкий.

Он не знал, что Айкони ходила в Бухарскую слободу к Ходже Касыму. Касым через день бил Хомани, и Айкони чувствовала её боль. Она хотела увидеть сестру, расспросить, понять, но старый слуга Суфьян прогнал её.

– Що з тобою, Аконюшка? – тревожно спросил Новицкий.

Айкони всё равно не ответила.

– Що сталыся с тэбе? – допытывался Новицкий, страдая от её молчания. – Скрывдили поганы люди? Бида яка? Ти скажи мэни, я допоможу!

Пробиваясь сквозь метель, они вдвоём пересекали пустую и просторную Троицкую площадь, и Новицкий суетливо бежал рядом с Айкони, увязая в сугробах. По площади, крутясь, волочились снежные вихри. В окнах церкви дрожал багровый огонь свечей. В бурном ночном небе лемеховые луковки храма казались призрачными белыми шарами – их омывали потоки вьюги.

– Замэрзла? – Новицкий прижимал к голове треуголку и прикрывал лицо краем ворота. – Цэрква, Аконя... Давай я тэбе завэду! Обыгрэешьси!..

Он робко взял Айкони за локоть и попытался остановить.

– Нэ трэба хрэстытисся, ридна мая, – умоляюще пояснил он. – Просто побудэмо пид ыконами, сама побачишь, и на душеньке твоей полехчаэ!..

Айкони наконец остановилась и решительно повернулась к Новицкому. На щеках её блестел лёд. Она указала на Григория Ильича пальцем:

– Ты! Любить! Айкони! – звонко сказала она.

Григорий Ильич послушно кивнул. Айкони указала пальцем на себя:

– Айкони! Тебя! Любить! Нет! Нет! Уходи со своим богом!

Глава 8

«Ино ещё»

Авдоний догадывался: братья, которым сейчас полегче, скорее всего, умрут уже к весне. А полегче было тем, кто работал возле костров. В канаве, заполненной дымом и горячим паром, работников окутывал нездоровый, лихорадочный жар. Со стен текло, с бород капало, под мокрыми ногами хлюпала полужидкая стылая грязь, гнилые рубахи липли к телу. Землекопы ковыряли размякший суглинок кайлами и мотыгами и время от времени, сырые, выбирались повыше подышать свежим холодом. Это их и убьёт.

К кострам Авдоний определял тех братьев, в чьей стойкости сомневался. Вот брат Аммос, или Урия, или Саул, или Иефер, – они надеются, что отец Авдоний выведет их из тобольского узилища на какие-то благодатные нивы, где они будут жить в праведных трудах и душевном ликовании, оставив в прошлом все невзгоды и гонения. Эти братья дрогнут, увидев грозный Корабль. Дрогнут сами и смутят других. Что ж, ежели они не понимают смысла своего борения, пускай лучше упокоятся в этом рву на Воеводском дворе. Авдоний по памяти сам себе пересказывал ту страницу из «Жития» Аввакума, где протопоп с женой, покинув Нерчинск, тащится по льду то ли Уды, то ли Селенги, то ли через сам святой Байкал: «Протопопица бедная идёт-идёт, да и повалится. “Доколе же мука сия будет?” – “До самыя до смерти, Марковна!” – “Добро, Петрович, ино ещё побредём...”»

Караульные не торопили раскольников. Копошатся – и бог с ними; сколько сделают – столько сделают. Зима длинная, всё успеют. Раскольники с носилками-волокушами, полными земли, по мосткам выходили из дымного рва, выпрастывали носилки под откос горы и уходили обратно в дым, как рваные черти в пекло, только позвякивали цепи, волочащиеся за кандалами.

– Тяжко мне, Авдоний, – тихо сказал брат Мисаил.

Они с пустыми волокушами спускались в ров по мосткам.

– Терпи, терпи, Мисаиле, я и не такое вынес, – ответил Авдоний с тайной гордостью за свои муки. – После Сельги меня шелепами били: один удар – одно ребро. Потом с Петровной повенчали...

– С какой Петровной?

– С Дыбой Петровной. Семь раз поднимали и трясли над огнём, а я

только благодарил мучителей своих. А когда мне глаз выжгли, я рай увидел. После всего того разве ж мог я от древнего благочестия отступить? Меня в яму кинули помирать, а я сросся. И сейчас бога славлю.

Авдоний и Мисаил остановились в дыму возле брата Геласия, который вилами-бармаками подгребал бурые комья земли. Геласий не спеша загрузил волокушу Мисаила, и Мисаил сутуло осел под тяжестью ноши.

– Господи, спину выламывает, – простонал он и потянул носилки.

Геласий загрузил волокушу Авдония.

– Спасай тебя Христос, брат Геласий, – сгибаясь, сказал Авдоний.

– И тебя храни бог, отец.

От Софийского двора ко рву подъехал всадник – сотник Емельян. Караульные, что лениво сидели на брёвнах у большого костра, обеспокоенно заворочались, оглядываясь, сдвигали с глаз косматые шапки.

– Эй, ендовочники, подымайте зады, – с седла окликнул Емельян. – Раскольников велено гнать в подклет. К ним владыка на увещеванье идёт.

Раскольники жили в подвале недостроенной столпной церкви. Земляной пол здесь был уже затоптан и замусорен углями, щепой и соломой, а низкие кирпичные своды закоптились от ночных костров. Подвал пропитался тяжёлым духом угара, глины и немых человеческих тел, но здесь всё равно было лучше, чем в каземате Архиерейского дома.

Караульные приказали бросать работу. Раскольников провели через Воеводский двор и, пересчитав, спихнули в подвал. В стены здесь были вмурованы железные кольца, и узников пристегнули к ним на ржавые цепи и тяжёлые амбарные замки. Все замки открывались одним ключом, который на ночь относили в Приказную палату и вешали на гвоздь старшему дьяку. Окованная дверь за служилыми закрылась.

Раскольники сидели у стен и отдыхали от скучного и тяжёлого труда. Они уже привыкли, что перед Дванадцатыми праздниками митрополит Иоанн обходит узилища Тобольска, и ничего особенного не ждали. Освободили от работ – и хорошо.

– Расскажи, кого видел, отче, – негромко попросил Авдония брат Навин.

– Никола Угодник не навещал? – спросил брат Сепфор.

– Никола что-то давно не являлся, – ответил Авдоний. – Нефеля был.

– И как он там, на небе?

– Он с подруженькой своей был, – помягчев голосом, вспомнил Авдоний. – Играет в раю с ней в салочки. Марьюшка, Степанова дочь. Беленькая вся такая, как козлёночек. Она с матушкой и братиком сгорела.

– Где? – повернулся на Авдония старик Хрисанф.

– Ей всего шесть годочков, не все буквы выговаривает, – умилённо улыбнулся Авдоний. – Говорит, на «Келзенце».

– На Керженце много скитов, – подтвердил Хрисанф.

– А когда там Корабль воздвигли?

– Она не знает. Не успела на земле счёт дням и годам выучить.

– И давно она в раю?

– Тоже не знает. Там ведь, братья, все дни – как один день. Вечное блаженство. Никто не ведаёт, сколь долго бытие длится.

Сепфор вдруг странно всхрипнул и закрылся руками – заплакал.

Авдоний ни на миг не сомневался, что говорит правду. Его разум был истерзан страданиями и бессильным гневом на людей. Он неотступно думал о мучениках раскола и всюду искал знаки сатаны. Он сам назначил себе Корабль – и боялся его: хватит силы духа? Исполнит ли он задуманное? Что ждёт его в том небесном плаванье? Ночами его трепали дикие сны, да и днём порой что-то мерещилось. Эти смутные видения Авдоний тотчас сам себе истолковывал – и уже через мгновение истово верил в своё толкование.

– Нынче полночь я Аввакума видел, – сказал Авдоний братьям. Его воображение металось по разуму, словно огонь по стенам и своду печи, когда в непогоду завывает дурная тяга. – Не знаю, как он к нам вошёл. Повздыхал, перекрестился и тебе, Мисаил, солому в головах подбил. Чего-то туда сунул.

Авдоний не знал, почему он это говорит. Он ничего не придумывал заранее, ничего не подстраивал. Вдруг сказалось – и всё.

Мисаил торопливо полез в ворох слежавшейся соломы под собой и с благоговением вытащил маленькую тонкую дощечку – икону.

– Богоматерь «Знамение», – благоговейно прошептал он. – Никак, список с Абалацкого образа.

– Почему «Знамение»? – спросил Хрисанф. – Чего знамение?

– Аввакуме и есть нам знамение, – Авдоний закрыл глаза и навалился спиной на стену. – Он же в Тобольске в Знаменской церкви служил.

Мятежный протопоп оказался в тобольской ссылке шестьдесят лет назад. Архиепископ Симеон принял его милостиво и допустил к служению. Аввакум ещё не был раскольником, да и слова такого тогда никто ещё не знал. Протопоп просто враждовал с патриархом Никоном, который затеял «книжную справу» – перемену в обрядах; за это Никон и сослал Аввакума.

Аввакум нигде и ни с кем не умел ужиться, слишком уж непримирим он был к людским грехам и слабостям. Он и в Тобольске взбудоражил народ. Некий Ванька Струна, дьяк Софийского двора, затеял раздор с

неким дьяком Антонием; этот Ванька собрал подручных и погнался за Антонием – то ли бороду ему выдрать хотел, то ли убить до смерти. Антоний юркнул в церковь к Аввакуму. Струна успел за ним заскочить, а протопоп захлопнул дверь и запер на засов. Вместе с Антонием Аввакум прямо в храме принялся хлестать Струну ремнём, пока тот не покаялся. Архиепископ Симеон в те дни как назло отлучился из Тобольска. Друзья Струны подняли тоболяков, чтобы утопить дерзкого протопопа в Иртыше. Аввакум целый месяц прятался по амбарам и храмам, даже просился в тюрьму к воеводе князю Василью Хилкову. Архиепископ вернулся, разобрался в нестроении и велел посадить Ваньку Струну на цепь; выяснилось, что дьяк давно свою руку испоганил: взял полтину с какого-то любodeя, который с собственной дочерью спутался, и отпустил виновного без воздаянья за блуд. Но лихие тоболяки невзлюбили Аввакума за непреклонство и пять раз объявляли на него «слово и дело».

Через полгода пришёл указ выслатъ Аввакума Петрова вместе с женой и детьми в Енисейск, а там его отдали лютому воеводе Афанасию Пашкову, и Аввакум с пашковскими служилыми людьми уплыл в Даурию возводить заново Нерчинский острог, сожжённый тунгусским князьцом Гантимуром. В тех странствиях Аввакум натерпелся лиха. Он тонул на дощанике в бурных порогах и карабкался через неприступные скалы, мок под дождями, замерзал и голодал – доходило до того, что он грыз кости, оставленные волками, и ел послед ожеребившейся кобылицы. Воевода Пашков то бил его батогами и кидал в темницу, то метался ему в ноги, вымаливая помощи, потому что господь слышал молитвы Аввакума и выполнял его просьбы.

– Тогда, братие, уже многие обещники пашковские сердцем уразумели, что Аввакуме в святость грядет, – вдохновляясь, рассказывал Авдоний. – Пашков протопопа окаивал нещадно и огульно, обаче же сыскались и те, кто взалкал влаги из фияла Аввакумова. В остроге на Иргень-озере, когда Пашков затеял стрыти протопопа, четверо праведных юношей бестрепетно остенили старца своими плещми и пояли Пашкову и шуйцу, и десницу. За то Пашков наложил на юношев глобу: заполнить сорок бочек языками карасей. Дело неисполнимое, и не было исполнено. И Пашков повелел бичевать юношев – якобы за нерадение. Так они и обрели терновые венцы и стали иргенскими мучениками, первыми древлеправославными святыми в Сибири.

Раскольники слушали Авдония как заворожённые. Посреди отчаянья он дарил надежду, пусть даже изломанную и сумасшедшую; он уверял, что все жертвы не напрасны. Его увечья и одержимость казались свидетельствами святой правды. Авдоний говорил так, будто он сам уже

бывал там, за чертой, всё видел своими глазами – и рай, и блаженных, и Корабли у причалов, а теперь вернулся, чтобы увести за собой тех, кому хватит сил пойти.

– А как же Аввакуме вырвался из теснин? – спросил наивный брат Урия.

– Никон пал.

Всемогуший патриарх осерчал на самого царя и в гордыне затворился в своей обители в Новом Иерусалиме, а мудрые советчики убедили Лексея Михалыча не звать Никона обратно. Жалостливый царь повелел освободить из тьмы Аввакума. И протопоп поехал из Нерчинска в Москву.

В Тобольске он зимовал. Десять лет прошло с тех пор, как он прятался от тоболяков по амбарам. Поверженный Никон ждал соборного приговора, а пагубное его умышление продолжало раздирать Русь пополам – по городам и весям катился жестокий раскол. Архиепископ Симеон уже не осмелился допустить Аввакума к служению, а воевода князь Хилков – но не Василий, а Иван, дальний родственник Василья, – приветил протопопу, потому как сам был человек честный. Он и поведал Аввакуму, какое бедствие обрушилось на державу. Чью теперь сторону принять рабу божьему: смиряясь, молиться по новому уставу Никона или, бунтуя, держаться старых правил праотцов? И увидел Аввакум вещий сон. Сам Господь возвестил ему: «Блюди прежний обычай, не то будешь от меня пополам растёсан!». Так в Тобольске Аввакум и стал раскольников.

– А завет он здесь оставил кому? – спросил Мисаил.

– Оставил. Завет приял тюменский чёрный поп Доментиан.

Проповедь Аввакума запала в души сибирским попам. Миновало два года, как протопоп уехал в Москву, и в Тобольск прибыл новый архиепископ – Корнилий, бывший новгородский архимандрит. Сибирские священники вышли к нему и с поклоном объявили: Никоновы новины – ересь, не желаем служить по новому уставу! Мятежников заковали в железо. Одних отправили для покаяния на Коду и в Туруханск, других – в Макарьев и Суздаль. А попа Доментиана, как самого строптивого раскольника, сослали в Пустозёрск на Печору. Здесь Доментиан и встретил вновь Аввакума.

Три года поп и протопоп сидели в соседних срубках, пересылая друг другу записки на обрывках бересты и боках юколы, сушёной рыбы. А потом Доментиану каким-то чудом удалось бежать. Может быть, он ушёл вверх по Печоре на Чердынью с добытчиками рыбьего клыка. Может быть, с тайными звероловами уплыл по Ледовитому океану через теснину Югорского Шара и по Ямальскому волоку мимо озера Мёртвых Русских

выбрался к Мангазее. В конце концов он нашёл укрытие на заимке Кодского монастыря, где жили Авраамий Венгерский и друг его Иванище Кондинский. Иванище постриг Доментиана в монахи и нарёк Даниилом.

В тот год, когда царские стрельцы ворвались в твердыню осаждённой Соловецкой обители, Даниил покинул Иванище и Авраамия и перешёл в леса под Ялуторовской слободой. На маленькой речке Берёзовке он основал пустынь и начал громовую проповедь, что соловецкими старцами возвещён конец света, на престоле воцарился Антихрист и пора спасать бессмертные души. Народ отовсюду потянулся на Берёзовку. Даниил кричал страшные слова о том, что спастись можно только через огонь. Это и пугало, и манило: шагнул в пламя – и тебя уже подхватывают серафимы. Тюменский воевода двинул на Берёзовку драгун, чтобы растащить крестьян и взять Даниила – богохульника и осквернителя царского имени. Даниил приказал разжигать гарь. Две тысячи послухов Даниила облили смолой кельи своей пустыни, заперлись внутри и запалились заживо. Это была первая гарь на Руси.

Воеводы не успели опомниться от Даниилова пожарища, как новая угроза нависла над Тоболом. Слободчик Федька Иноземцев, основавший Утяцкую слободу, при слободе основал и пустынь. Но тамошние насельники не собирались век вековать в молитвах: упрямые мужики шли на гарь. Они хотели в рай. Исаак, игумен Далматова монастыря, не сумел их отговорить. И Авраамий тоже не сумел, но убедил подождать, пока его гонец сбегает в Пустозёрск за благословением к Аввакуму. Авраамий надеялся, что протопоп не допустит гари. Гонец ушёл. Так Аввакум узнал о неистовстве на Тоболе.

«Гарь есть огненная купель! – сказал Аввакум гонцу. – Пламенем души перекрещиваются! Смрадная плоть осыплется пеплом, и грехи осыплются, а душа безгрешная в вертоград вознесется. Благословляю – да сгорят!»

Через пару недель Аввакума самого сожгли в срубе, а гонец донёс его благословение до Тобола. Слобожане перекопали дороги и не подпустили к себе тюменских драгун. Сотня утяцких пустынников затворилась в кельях вместе со слободчиком Иноземцевым, и гарь унесла их в небеса.

Но Авдоний понимал, что гарь – ещё не Корабль. Первый Корабль, возведённый дьяконом Игнатием на Палеострове, взлетел только через пять лет после гари Утяцкой слободы. Пожары на Тоболе явили дьякону Игнатию образ: Корабль – это когда повторяется подвиг Соловков, и человеческий костёр в исходе уносит Корабль, подобно парусу. Но сначала должны быть прения со слугами Антихриста, чтобы взбесить их и погнать

на приступ Корабля, а потом следует быть борению – оборууженному пружанью врагу. Так свершилось на Соловках: сначала спорили, затем бились, затем погибли. Возжигать огонь надобно после спора и битвы, лишь тогда Корабль поплывёт. Истинный же пастырь – не тот, кто бросит толпу в погибель, а Кормчий.

В подвале уже смеркалось. Раскольники сидели тихо, кутаясь в рваньё, и думали о мятежных судьбах тех, кто проторил для них эту кровавую и огненную стезю. Все, кто находился здесь, догадывались, что не будет им ни мира, ни покоя. Враг рода человеческого не устанет и не отстанет от них, выследит, найдёт хоть где – в тайге, в пещере, в скиту. И весь-то выбор – длить страданья, пока хватает терпения, или собрать страданья воедино, как рассыпанный порох в заряд, и выстрелить собою в небо, как ядром из пушки.

К Авдонию, позвякивая цепью, подобрался Хрисанф.

– Отец, показать тебе хочу, – прошептал он в ухо. – Отползи ко мне...

Авдоний переполз на солому Хрисанфа.

– Смотри, – Хрисанф указал пальцем на кирпичную стену, в которую было вмуровано его кольцо с цепью. – Видишь? Опора лопнула.

По стене и по арке змеилась тонкая трещина.

– Я ране храмы возводил, могу размыслить, – шептал Хрисанф. – Ежели тут кирпичи ещё повыбить, тогда обрушим сей злой вертеп прямо на себя. И всё кончим, отец. Все вместе из расседин в рай воспарим.

Авдоний внимательно рассмотрел трещину, задирая голову.

– Нет, брат Хрисанф, – задумчиво сказал он. – Вот так себя погребсти – дьяволова западня. Лествица в рай только через огонь.

Авдоний пополз на своё место обратно.

– Подожди ещё, Хрисанфе, – сказал он оттуда. – Я проведу. Я сумею.

На окованной двери снаружи забренчал замок – наверняка это явился митрополит. Раскольники облегчённо завозились, позвякивая цепями на ошейниках: митрополит надолго здесь не задержится, а потом можно будет попросить у караульных углей, разжечь костерок и обогреться.

Дверь отворилась. По затоптанному мостку с набитыми перекладами спустились служилые и монахи. Полковник Васька Чередов в бараньей шапке и подпоясанном тулупчике под локоть свёл вниз митрополита Иоанна – невысокого, толстенького, в длинной собольей шубе. Иоанн был слаб, ступал неуверенно и тяжело опирался на свой посох.

Раскольники сидели у стен неподвижно, вперив глаза во владыку. Никто не кланялся. Иоанн с сочувствием обвёл подвал взглядом и вздохнул.

– Грех смотреть на вас, – кротко сказал он. – Долго ли упорствовать будете, еретики? Может, кто покается?

Никто из раскольников не шевельнулся, никто не ответил. И вдруг залязгала цепь. Раскольники нехотя повернули головы на отца Авдония. Он заворочался – вроде, намерился подняться на ноги, однако на деле встал на четвереньки и пополз к митрополиту, волоча за собой цепь. Иоанн в оторопи отшатнулся, Васька Чередов схватился за рукоять сабли. Авдоний вздрогнул, остановленный ошейником, ощерился и залаял на владыку, как собака.

В этот глумливый человеческий лай было вложено столько ненависти и гнева, столько непокорства, что владыка всё понял и без слов. Голодный, оборванный, обросший волосами мужик, прикованный к стене на железную цепь, с карачек надсадно гавкал на сытых, тепло одетых, надменных от своего превосходства людей. Другие раскольники друг за другом тоже вставали на четвереньки, ползли к владыке и начинали лаять. Митрополит перекрестился, монахи и служилые попятились к мостку. Они оказались почти окружены хрипящими и рычащими тварями на туго натянутых цепях – то ли собачьей сворой, то ли каким-то паучьим выводком из жуткой сказки. Это было против всякого божьего естества, а потому и страшно, словно в тёмном подвале из стен внезапно полезла бесстыжая нечисть преисподней.

Чередов без жалости засадил сапогом в бок ближайшему раскольникову. Тот повалился, заскулив. Иоанн ухватил Чередова за рукав тулупа.

– Не надо, полковник, утишь себя, – страдальчески морщась, сказал он и тихонько потыкал посохом в землю у своих ног, будто постучал, привлекая внимание. – Думаете, митрополит – пёс, и с ним по-пёсьи надо говорить? – спросил он, оглядывая лающих раскольников. – Да вы сами себя узрите, узники. Люди ли вы, кои рассудку своему внемлют? Се вас бесы корчат, потому как души ваши прокляты! Покайтесь, еретики!

Глава 9

Биармийская полночь

Господин капитан, произнесите по-русски название этого города, чтобы я мог воспроизвести его латинскими буквами, – Ренат пером указал в широко раскрытую Служебную книгу Ремезова.

– Я-лу-то-ровск, – глянув, по слогам прочитал Табберт.

– Неужели это возможно выговорить? – с досадой пробормотал Ренат. Он тщательно перечерчивал со страницы книги Ремезова нужную часть реки на соответствующий ей фрагмент карты.

Табберт, закончивший свою работу, сидел на стуле и курил трубку, вытянув в разные стороны длинные ножищи. На нём была нижняя рубаха с кружевами, штаны и ботфорты. Айкони, забравшись на кровать Табберта, штопала его камзол, изредка поглядывая на князя. Он был красивый, свободный и большой. Жить с ним ей будет весело; у него, как у животного, смешная рыжая шерсть на груди и на руках; его лодка должна быть шире любого обласа в Певлоре, зато и вытягивать сеть такими огромными руками он станет быстрее всех.

Ренат не интересовался картографией; он работал за плату.

– Сколько вы попросите у риксдага за эту карту, господин капитан?

– Пятьсот риксдалеров, мой дорогой штык-юнкер, – самоуверенно сообщил Табберт и улыбнулся, растопырив рыжие усища.

– Отчего вы решили, что риксдаг выплатит вам такую большую сумму за карту страны, которая никому не нужна? – желчно спросил Ренат.

Для своей карты Табберт заказал ротмистру Малину настоящий холст, как у живописцев: загрунтованный, выбеленный и натянутый на подрамник. Георг Малин до войны был художником при ландхёвдинге Норрботтена и умел готовить холсты. Этот холст был восемь кварталов в высоту и десять кварталов четыре фингера в ширину. Табберт уже начертил на полотнище красивую рамку, розу ветров на восемь лучей и необходимые диагонали, а сверху каллиграфически написал: «Достоверное изображение реки Иртыш от истока до впадения в реку Обь и река Обь до впадения в Ледовитый океан со всеми прилегающими землями с их содержимым, исполненное капитаном Филиппом Юханом Таббертом фон Страленбергом в городе Тобольске в 1714 году». Реки и «прилегающие земли с их содержимым» Табберт перечерчивал с разных карт Ремезова из Служебной книги, которую ему принесла Айкони. Разумеется, Табберт делал это так,

как требовали правила европейской картографии, игнорируя варварские экзерсисы Ремезова.

– Вы не правы, Юхан, – сказал Табберт. – Эта великая река, Иртыш, – Табберт указал чубуком трубки в Служебную книгу, – берёт начало в Китае, а Обь впадает в Ледовитый океан. Следовательно, корабли нашего короля могут свободно пройти от шхер Финнмарка до азиатских хребтов, через которые переваливает Шёлковый путь. Это дорога из Стокгольма в Пекин.

– Я плохо разбираюсь в навигации, господин капитан, я артиллерист, но мне представляется, что плавание от Финнмарка до устья Оби невозможно.

– Возможно, мой друг, возможно, – снисходительно заверил Табберт.

Ремезов как-то раз показал ему зелёную от окиси пуговицу английского морского офицера. Эту пуговицу приятель Ремезова добыл у самоедов с устья реки Таз. Значит, там побывало английское судно. Ремезов рассказал, что на реке Таз под чёрными небесами стоит заброшенный русский город Мангазея. Некогда там добывали целые горы ценнейшей пушнины. Чтобы прекратить контрабанду, русский царь сто лет назад запретил «Мангазейский ход» – плавание в Мангазею вдоль мёртвого побережья Ледовитого океана. Этим «ходом» пользовались русские разбойники из Новгорода, Холмогор и Колы и английские купцы Московской компании, которые не боялись вечно бушующих стылых вод. На мысах, в проливах и на волоках оцетинились ружьями русские сторожевые заставы. «Мангазейский ход» опустел.

Табберт и Ренат говорили по-шведски, и Айкони их не понимала.

– Что ты говоришь ему, князь? – спросила она, откусывая нитку.

– Рассказывать о твоей стране, – по-русски пояснил Табберт.

– Не зови его с нами, – предупредила Айкони. – Уйдём ты и я.

Табберт только усмехнулся.

– Морской ход существует, и существует давно, хотя и заброшен, но дело не в этом, Юхан, – Табберт расправил плечи и гордо посмотрел на Рената. – Дело в том, что я нашёл Биармию!

– А что это? – хмуро спросил Ренат.

Штральзунд, родина Табберта, был городом портовым, и там все мальчишки знали, что давным-давно морем владели непобедимые морские воины – викинги. Они плавали на драккарах – на крепких кораблях без палуб, с вёслами и прямыми полосатыми парусами; носы драккаров венчали драконьи головы. Викинги были бородатыми, их шлемы украшали рога, а их доспехи всегда были ржавыми от морской сырости. Викинги завоевали Швецию, Данию, Германию, Францию, Англию и даже Россию.

В каких-то дальних краях они открыли страну Биармию, где жили суровые земледельцы и могучие колдуны. Из Биармии викинги вывозили к себе полные драккары бесценных мехов. Для юного Табберта Биармия долго оставалась матросской сказкой из портовых кабаков, но, повзрослев, он прочитал «Историю северных народов» – книгу Олафа Магнуса, архиепископа Уппсальского. И мейстер Магнус рассказал о Биармии подробнее.

– Вы не знакомы с сочинением Магнуса Уппсальского?

– Не знаком, – сдержанно ответил Ренат.

Родители Рената были потомками бежавших амстердамских евреев. В Стокгольме этих беженцев принудили принять крещение, но они продолжали жить своей небольшой и замкнутой общиной. В общине история Ветхого и Нового заветов была куда важнее истории мореплавания и северных народов. Мальчиков учили математике, рассчитывая, что они станут купцами, поэтому Юхан Густав Ренат и попал в артиллерию, где нужно знать баллистику.

– Биармия – потерянная сказочная страна, Эльдорадо викингов, – кратко пояснил Табберт. – Её искали многие славные мореходы. А нашёл я.

Усы Табберта торчали во все стороны, а глаза сияли. Сквозь века и пространства он видел драккары викингов, слышал звон мечей, рёв ураганов – и упивался зрелищами своей фантазии. А Айкони тихо любовалась князем.

Ренат понял, что Табберт начал его раздражать. Табберт всегда находил себе необычные занятия, отвлекающие от дурных мыслей. Он кипел идеями и планами. Он отыскивал какие-то древние страны, чудеса, подвиги. Ему интересна была эта пустая и угрюмая Сибирь, он охотно дружил с русскими, его любопытство легко распространялось даже на здешних дикарей. Табберт не нуждался в деньгах, не записывался у ольдермана в разные работы, не прислуживал губернатору. Даже эта глазастая дикарочка влюбилась в него, как кошка, прибежала сама, и он делал с ней, что хотел и когда хотел.

Айкони слезла с кровати и подошла к карте.

– Что ты нарисовал? – бесцеремонно спросила она.

– Твою землю, – важно изрёк Табберт.

– Покажи место, куда мы уйдём.

– Сюда, – усмехаясь, Табберт ткнул чубуком куда попало.

– Нарисуй там Айкони и князь.

– Гут. Но пока тебе не мешать мне.

Айкони послушно вернулась на кровать.

В этот день она прибежала к Табберту не просто так. Её напугал Семульча. С самого утра Семён Ульянович что-то искал в мастерской. Он бродил от поставца к поставцу, вытаскивал с полок фолианты, рылся в сундуках, швырял вещи на пол, пинал лавки и ругался.

– Да куда она запропастилась-то? Чай, не копейка, в щель не закатится! Я ж недавно её видел своими глазами! Сенька, ты в горницу не уносил?

Семён сидел за столом и что-то переписывал из старинных приказных столбцов в новую, только что сшитую тетрадь.

– Не уносил, батюшка. Может, ты её владыке дал?

– Владыке? – Семён Ульянович, задумавшись, яростно подёргал себя за бороду. – Ему-то она коим углом надобна? Чёрт-чёрт, поиграй, да отдай!

Айкони в это время топила в мастерской печку. Она сразу поняла, что рассерженный Семульча ищет ту книгу, которую она тайком отнесла князю, и сжалась от страха.

– Иль-бо ты у Матвей Петровича её оставил? – предположил Семён.

– Да не брал я её с собой тогда! – бушевал Семён Ульянович. – Может, Левонтий в свою канцелярию уволок?

– Найдётся, батюшка, не тревожься, – успокаивал Семён.

– У вас всё найдётся, когда батьку в гроб вгоните! Аконька, ты взяла?

Семён Ульянович спросил без всякой задней мысли, походя, в досаде: просто взгляд его упал на Айкони у печки.

– Я, Айкони, – помертвев, призналась она, ожидая урагана брани.

Но Семён Ульянович не понял, да и не услышал слов девчонки. Он нахлобучил шапку и куда-то потопал из мастерской. Айкони быстро запихала в печку оставшиеся дрова и побежала к князю. Пора забирать у него книгу. И вот теперь она сидела у князя на кровати, штопала камзол и ждала, когда князь завершит разговор со своим гостем. А гость разглядывал её.

– Если мы не вырвемся из плена, – по-шведски сказал Табберт Ренату, – я женюсь на этой варварке и стану вождём местного племени.

– Вы говорите всерьёз? – удивился Ренат.

– Ох, как вы доверчивы, мой друг, – рассмеялся Табберт. – Мы вернёмся домой, не переживайте. А всерьёз я сейчас говорю только о Биармии.

– Биармия – ваши выдумки, господин капитан, – недовольно произнёс Ренат. – У вас нет никаких доказательств, что она существовала в этих краях.

– Есть, господин штык-юнкер, и немало.

– И каковы эти доказательства?

– Я знаю, где здесь находятся наскальные рисунки, подобные тем, что начертаны на валунах Танума. Их могли сделать только викинги. Жилища её народа, – Табберт кивнул на Айкони, – такие же, как дома викингов где-нибудь в Бохуслене. И её народ понимает многие слова из языка суоми. Я уже не упоминаю о географическом положении её народа, идолах, колдунах и пушнине. Её народ – наследник викингов и биармов.

Табберт торжествовал и подмигнул Айкони.

– Даже если вы правы, что вам даст Биармия? – совсем помрачнел Ренат. – Неужели вы надеетесь, что Россия уступит её Швеции, или король Карл придёт сюда отбивать земли предков и освободит нас?

– Я не столь наивен, мой милый Юхан. Я надеюсь, что доказательство Биармии даст риксдагу право требовать прохода наших кораблей по Иртышу в Китай. Этот путь может стать великой торговой дорогой Швеции, для которой король учредит Ост-Индскую компанию, подобную Британской.

– Биармия – слишком слабое обоснование для такого требования.

– А я вам покажу другой пример, – охотно подхватил Табберт. У него на всё уже были подготовлены ответы, ведь он вынашивал свою идею целых два года. – К моему замыслу меня привёл Симон Ремезофф. Вот смотрите!

Табберт вскочил, перелистнул несколько страниц в книге Ремезова и пальцем указал в какой-то чертёж.

– Это река Амур. А вот здесь Симон поставил на ней особый знак и подписал: «На данном месте Александр Македонский закопал ружья и установил звонницу с колоколом».

– Бредни! – рассердился Ренат. – Македонский не доходил до Амура, и никаких ружей у него не было!

– Конечно, не доходил, – тотчас согласился Табберт. – И его ружья выдумали русские варвары. Но дело не в этом. Русские дерзко утверждают, что Македонский завоевал эту реку, следовательно, река должна принадлежать России, а не Китаю, потому что русские цари считают себя наследниками Македонского и претендуют на его завоевания. И русские сражаются за эту реку с китайцами уже сорок лет, считая себя правыми!

– Король Карл не станет сражаться с царём Петром за реку Иртыш, – жёстко подвёл итог Ренат.

– Не станет! – кивнул Табберт. – Но моя карта с Биармией всё равно будет важна в этом споре монархов и держав о проходе в Китай, и риксдаг заплатит мне за неё пятьсот риксдалеров!

Ренат осторожно воткнул перо в чернильницу и принялся вытирать руки мокрой тряпкой. Он долго молчал.

– Я восхищён вами, господин капитан, – тихо сказал он. – У вас очень интересная жизнь. Но я доделал свою часть работы, и мне надо идти.

– Благодарю за помощь, – без смущения попрощался Табберт.

Ренат надел шубу и треуголку и вышел за дверь.

Айкони тоже пора было уходить. Старая, наверное, давно потеряла её, и Семульча будет ругаться. Айкони набросила на плечи шубейку, на голову – уламу, и решительно взяла со стола книгу Ремезова.

– Семульча ищет, – деловито пояснила она. – Айкони отдаст.

Но Табберт перехватил книгу в руках Айкони. Книга была нужна ему – работы над картой оставалось ещё немало.

– Нет, Айкон, – мягко сказал он. – Я отдать потом.

– Сейчас! – упрямо возразила Айкони. – Семульча кричит!

Она думала, что объяснит всё князю, и князь поймёт, отдаст. Он же сам обещал потом отдать. Книга не его, хозяин ищет её, чего тут непонятного?

– Потом! – твёрдо сказал Табберт, отнял книгу и положил на стол.

Удовольствие от разговора с Ренатом у Табберта сменилось досадой.

Айкони попробовала броситься к книге, но Табберт крепко схватил её за плечи, развернул и подтолкнул к двери.

– Другое время! – сказал он. – Сейчас нет! Иди!

Он выставил ошеломлённую Айкони в сени, закрыл дверь и задвинул засов. Айкони сразу заколотила в дверь.

– Ты князь! – отчаянно кричала она. – Отдать! Нельзя иметь! Чужой! Семульча сказать – Айкони вор!

Мрачный, Табберт повалился на кровать. Дикарка ничего не понимает. Только всё настроение испортила.

Айкони ещё стучала и кричала, пока из тёплой половины избы не выглянул хозяин подворья.

– Ну-ка брысь отсюда! – рявкнул он. – Разгалделась, сорока!

И тогда Айкони наконец поняла, что князь её обманул. Она не сразу в это поверила. Князь? Весёлый, добрый, сильный князь, который хотел уйти с ней в лес, вдруг обманул её и не отдал чужую вещь?! Остяки не понимали воровства. Как один человек может что-то украсть у другого человека? Крадут только русские!.. И как князь может оставить себе чужое?..

Рыдая, Айкони брела по улице домой и не знала, что ей делать. Указать Семульче на князя? Но ведь не князь взял книгу из дома Семульчи! И сознаться Айкони тоже не могла. Она же не виновата! Она думала, что князь сдержит своё слово! А теперь окажется, что она – вор!

Раньше на Казыме жил такой человек – Мелунка. Однажды он приплыл в Певлор, когда в Певлоре были русские и поили всех пьяной

водой. Мелунка выпил много пьяной воды, но решил возвращаться домой. Он сел в облас и поплыл, долго плыл, потом уснул. А когда проснулся, то понял, что спьяну сел в чужую лодку. Он бросился в Обь и утопился. Ему нельзя было жить, ведь он стал вором. Даже если он вернулся бы в Певлор и отдал облас, он всё равно взял чужое, значит, всё равно стал вором. Этого уже не скрыть от людей никогда, как не скрыть выбитый глаз. Воровать нельзя!

– С дор-роги, дура! – рывкнул на Айкони какой-то проезжий, который в сумерках едва не затоптал её лошадьё.

На подворье Ремезовых Айкони сразу залезла в загон к собакам, и Батый с Чингизом принялись лизать её мокрое лицо. Айкони обнимала псов, запуская пальцы в их глубокую шерсть, и ей было легче, потому что собаки верные, они не предадут тех, кого любят, остаются с любимыми до конца, погибают за них. От собак пахло дикой силой и огромной свободной тайгой.

– Что-то Аконька заблуждала, – в горнице сказала Ремезовым Маша. – Валяется с псами вся в снегу, на слова не отзывается.

– Может, обидел кто? – вздохнула Митрофановна. – Она ж сама как собачонка, любой подманит и пнёт. Пойду позову.

Грузная Митрофановна с трудом накинута длинный нагольный тулуп Семёна Ульяновича и вышла на гульбище. Уже стемнело.

– Аконя, Аконя, – окликнула Митрофановна. – Иди в дом, тебя одну дожидаемся, вечерять пора.

Айкони не ответила и спряталась за Батыя. Она поняла, что не может сейчас видеть Ремезовых.

Она вернулась в горницу, когда все уже легли спать. Тлела лампада, храпел Семульча на печке, постанывала во сне Митрофановна, Епифания лежала как мёртвая, а Машка дышала тяжело и сладко. Что ей снилось? Её собственный князь, наверное, снился. Айкони тихо легла на свой сундук у двери и уткнулась лицом в стенку. Трещал сверчок, углы большого дома поскрипывали, пощёлкивала протопленная печь. Над Тобольском плыли осадистые, полные снега биармийские тучи. Сон уравнивал всех: правых и виноватых, счастливых – и тех, кому горько. Он уравнивал тех, кто на воле, и тех, кто в плену, и поэтому Айкони не спала. Она думала о том, кто она. Она – не прислуга, которая ворует у хозяев. Она – женщина великого леса и великой реки. И в этой темноте ей помогут все боги – и добрые, и злые.

Глубоко полночь Маша проснулась по малой нужде. Плохо соображая, она прошлёпала в сени, где стояла отхожая лохань, и присела. И оголённым задом ощутила зимний холод. Это был сквозняк. Дверь на

гульбище была приоткрыта. Оправляя рубаху, Маша распахнула дверь, чтобы с силой захлопнуть её, и увидела, как через тускло освещённый двор мелькнула какая-то тень. «Вор?» – удивилась Маша и вышагнула через порог на ледяные доски гульбища. Если вор, почему собаки не лают?..

По двору бежала Айкони – в своей шубейке, драной, но подпоясанной как для долгой дороги, в растоптанных валяных сапожках, и голова Айкони была плотно повязана цветастым платком-уламой.

– Аконька? – удивилась Маша. – Ты чего там шастаешь?..

Айкони оглянулась на Машу и молча бросилась к воротам, брякнула засовом калитки и исчезла на улице.

И тут Маша наконец осознала, почему двор тускло освещён, хотя ночь была совсем глухая – безлунная и облачная. Слюдяные окошки отцовской мастерской багровели, словно глаза у бешеного зверя.

– Пожар! – отчаянно завизжала Маша.

Глава 10

«Прости, что не тебя!»

Только богу понятно, как в общей суматохе полутёмной горницы старый Семён Ульянович соскочил с печи, никого не зашибив, сорвал кафтан с гвоздя, попал ногами в обутики и первым вылетел во двор. В темноте полночи окна мастерской сияли багрянцем, словно там заперли Жар-птицу. Багрянец искоса озарял концы слег под крышами амбаров и ряд балясин в перилах гульбища. Белый дым выбивало из-под застрех кровли. Посреди зимнего холода Семёна Ульяновича вдруг ошпарило ощущение, что над ним грянул Страшный суд: горела не мастерская, а вся его долгая жизнь, все его труды, вся его гордость и слава. Горели его рукописи, его истории и сказания, изборники грамот, описания народов и чертежи далёких земель. Горели его познания, его надежды, его вера в спасение своей души.

У крыльца стояла бочка с водой для домашних нужд. Воду запаяло сизым льдом. Семён Ульянович ударил кулаком, разбивая лёд, и толкнул в чёрную воду скомканный кафтан. Напяливая мокрую, отяжелевшую одежду, Ремезов со всех ног побежал к крыльцу мастерской.

Горницу мастерской ярко освещал пожар. Огонь, извиваясь, струился по стенкам поставцов, по рёбрам полок. В пламени сурово темнели кожаные переплёты книг, больших и малых, толстых и тонких. Было жарко, будто в печи, воздух уже выгорел, и горло Ремезова заткнуло раскалённым кляпом. Семён Ульянович, не выбирая, кинулся к ближайшему поставцу и, обжигаясь, навалил себе беремья книг. Сквозь пожар он словно почувствовал чей-то взгляд и обернулся. Это в киоте погибал старинный образ Иоанна-евангелиста. Икона досталась Семёну Ульяновичу от деда Мосея, а деду сей образ освятил сам патриарх Филарет. Семён Ульянович тайно верил, что Иоанн, святой книжник, помогает ему, Семёну, книжнику грешному.

– Прости, отче, что не тебя! – без голоса отчаянно просипел Семён Ульянович иконе и с охапкой книг ломанулся к выходу.

В дверях мастерской он едва не столкнулся с сыном Семёном, который побежал за книгами вслед за отцом. Семён нырнул в горящую мастерскую, а Семён Ульянович ссыпался по ступенькам крыльца и вывалил книги в снег.

На подворье распоряжался Леонтий – быстро и уверенно, как в бою.

– Федюнька! – крикнул он младшему сыну. – Стрелой лети к Троицкой, пусть сторож бьёт набат!

Федюне было всего семь лет. Он бросился в калитку, мелькая пятками.

– Лёнька, растворяй ворота!

В ворота повалит народ, который прибежит на помощь. Ворота надо откопать от выпавшего за ночь снега. Девятилетний Лёнька схватил лопату.

– Варвара, Лёшка, выводите скотину!

Лёшке было одиннадцать. Вместе с матерью он справится. Надо спасти и коров, и лошадей, и заполошных кур, если удастся. Гуня, почуяв беду, испуганно заржала за створкой стойла, потом замычали коровы.

– Мария, книги оттаскивай!

Вынесенные из мастерской книги Семён Ульянович и Семён-младший бросали прямо в снег у крыльца. Горячие после огня, книги мокли; впотьмах их топтали. Маша выволокла из подклета дерюгу и принялась перетаскивать на неё книги, складывая общую кучу; Маша была в разлетевшейся душегрее, платок её сбился, волосы торчали во все стороны. Она вертелась под ногами отца и братьев, собирая со снега даже разорванные листы.

– Петька, освобождай амбары!

Петьке было уже шестнадцать, считай, совсем мужик: он мог в одиночку взгромоздить на загривок двухпудовый мешок с хлебом или овсом.

Сам Леонтий вытащил из-под гульбища лестницу, приставил к крыше дома и полез наверх с вилами и топором в руках. Скоро кровля мастерской прогорит и провалится; сруб мастерской превратится в пылающую трубу, которая начнёт стрелять вверх горящими досками и головнями; огненный мусор посыплется на соседние крыши, растопит снег и подожжёт тесины. Коровник, сеновал, баня, амбары, службы – бог с ними, пусть занимаются огнём, но домину надо сберечь: без жилого дома Ремезовы – не род, а нищebroды. Леонтий готовился вилами сбрасывать со скатов упавшие угли. Это было самое опасное дело: сверзишься – сломишь шею.

Неподалёку наконец-то забил колокол – Федюнька поднял церковного сторожа. Колокол грозно и требовательно загудел над снеговыми шапками домов, созывая тоболяков на подмогу Ремезовым. Старый сторож Егорыч метался на колокольне Троицкой церкви, раскачивая верёвкой грузный колокольный язык; заиндевелая медная броня колокола взрывалась тяжким звоном и окутывалась дрожащей дымкой стрясённой ледяной пыли.

А в опустевшей горнице дома Ремезовых Митрофановна заботливо одевала Танюшку – четырёхлетнюю дочку Семёна. Сонная девочка тёрла

кулачками глазёнки, собираясь разреветься, а Митрофановна ласково – чтобы не испугать внучку – приговаривала:

– Погуляет у нас Танюшенька, на звёздочки синенькие полюбуется...

Закутанную как куклу девочку Митрофановна подтолкнула к двери, а сама, кряхтя, полезла в киот. Она заранее расстелила на столе полотенце, и теперь бережно переложила на него образа из киота, обернула стопку икон концами полотенца и сунула под мышку. Теперь можно было покинуть дом.

Епифания безучастно сидела за печью и глядела в багровеющее окошко.

– И ты выходила бы, дева, – сказала ей Митрофановна. – Не отстоят наши мужики избу – сгоришь.

Епифания молча встала и потянула с гвоздя свой платок.

По тёмным, заснеженным улицам к дому Ремезовых отовсюду спешили люди. Мужики и парни на бегу размахивали баграми и топорами. Бабы несли запасные зипуны для погорельцев и на коромыслах – вёдра с водой: хоть немного, а подмога. Самые сноровистые хозяева ехали на санях. За всеми заплотами лаяли растревоженные собаки. Во всех домах в окнах разгорались огоньки лучин. Набат перекачивался над крышами.

Карп Изотыч Бибиков, уже пару лет не влезавший в седло, еле вполз на кобылу и поскакал на пристань. Хоть губернатор и попёр его от дел, Бибиков всё равно командовал пожарной артелью Тобольска. На пристанях под надзором тамошних сторожей артель держала десятков саней с бочками. Зимой бочки стояли порожними, и сейчас артельные водоливы торопливо заливали их из прорубей, а артельные возчики впрягали в сани лошадей. На Софийском дворе, в Знаменском монастыре и в девичьей обители тоже зазвучали колокола: пономари сзывали насельников на внеурочный молебен об усмирении огня и бережении града Тоболеска. Нехорошее оживление охватило поганую тёмную слободку торговых бань: воры и всякое отребье натягивали сапоги и подпоясывались, рассчитывая поживиться. Служилые на Драгунском подворье, торопливо опохмелившись, седлали коней: им должно блюсти порядок при бедствии. Пожар расшевелил весь город.

Люди вбегали в раскрытые ворота подворья Ремезовых: кто-то хватал корову за рога, кто-то в амбаре закидывал на спину мешок, кто-то сгребал в охапку курицу, кто-то катил бочонок, кто-то волок хомут с упряжью. Чужие ноги затопали по ступеням крыльца: из горницы выносили сундуки, утварь, всё что попало – бутылку с постным маслом, решётку от кросн, противень с недоеденным пирогом, укладку со смёртной одеждой Митрофановны, узел с приданым Маши, зыбку, сапожные колодки Леонтия, точильный круг,

свёрток рядна, подушки. На улице у ворот собралась толпа, и все вещи распахивали зевакам по рукам – кому что попадёт. И все на улице знали, что никто ничего не присвоит, ни единого лоскутка. Грех брать у погорельцев.

А Семён Ульянович, Семён-младший, Петька и Володька Легостаев с Етигеровой улицы всё бегали в мастерскую, выдёргивая из пламени по книге – по две. Семён Ульянович уже не помнил себя, охваченный безумием и гневом. Это его сокровища, его вивлиофика, его святая Либерей!.. У него обгорели штанины и опалилась борода, а кафтан от жара высох скорлупой. Дышать в пекле мастерской было нечем. Семён Ульянович хватил ртом жара, и дух его замер. Ремезов еле выбрел на крыльцо и зашатался, теряя сознание. Проломив перила, он рухнул вниз, на снег. Маша завопила и кинулась к отцу.

Расталкивая толпу, во двор Ремезовых въехали первые водовозные сани, а за ними на коне – Бибииков.

– Ох, наказание! – ужаснулся он, одним взглядом оценивая положение.

Мастерская горела сплошь – столбом. На крышах дома и служб мужики с вилами и баграми сбивали вниз уголья; среди тех мужиков был Леонтий. Ремезов лежал в куче закопчённых книг под крыльцом мастерской, и над ним билась в рыдания Маша. Семён ощупывал руки и ноги отца. Люди тащили всё подряд на улицу – из дома, из амбаров, из подклетов, из стойл.

– Семёнушка, неси батьку в тепло, отобьём избу от пламени! – по-бабьи тонко закричал Семёну-младшему Бибииков. – Мужички, обливай стены водой! Васька, Никола, руби заплоты! Сейчас служилые подскочут, будем хоромину крючьями разваливать! Одолеем, братцы!

В это время Айкони добежала до Табберта. Она сделала большой круг по городу, пробиралась околицами и задворками, чтобы никто её не увидел, греблась через сугробы, и потому ворвалась в горницу Табберта вся в снегу, но ладная, раскрасневшаяся, туго подпоясанная – снаряжённая для долгого и трудного зимнего бегства. Табберт не спал. Разбуженный набатом, он встал, вынул из окна деревянную раму слюдяной оконницы и смотрел на улицу. Холодный воздух трепал огонь лучины, отсветы метались по потолку.

Айкони кинулась к Табберту, обняла его, прижалась и зашептала, сияя:

– Князь! Пора ходить! Айкони дом Семульчи жечь!

Она уже всё себе объяснила. Князь – он князь: не хочет отдавать книгу – и не отдаст, потому что князья владеют всем, чем захотят. Она была очень глупая, когда обижалась на князя. Она очень глупая – но не вор, и не хочет,

чтобы её помнили как вора, – затем и подожгла дом, скрывая следы.

– Куда ходить, Айкон? – не понял Табберт.

Его сбило с толку ликование Айкони.

– В лес! Ко мне! Надо сейчас!

– Лес? – изумился и даже растерялся Табберт. – Я не хочу лес!

– Болото Васюган! – тотчас предложила Айкони. – Никто не найдёт, остяки, селькупы не найдут! Ты, князь, и Айкони, – двое! Пора!

– Погодить, погодить! – приходя в себя, отстранял Айкони Табберт. – Какой болот?.. Что ты сделать дом Симон?

– Большой огонь! – восторженно воскликнула Айкони. – Большой! Надо быстро ходить! – она сдёрнула с кровати тулуп, которым Табберт укрывался ночью, и попыталась надеть его Табберту на плечи. – Бежать! Быстро!

Табберт оттолкнул её.

– Ты поджечь дом у Симон? – яростно спросил он. – Что ты творить? Глупый варвар! О-о-о, гален флика!

По-шведски это означало «сумасшедшая девка». Табберта охватило бешенство. Эта дикарка не способна была понять, какие бедствия она могла обрушить на голову капитана Филиппа Юхана фон Страленберга.

– Бежать! – повторила Айкони.

– Бежать одна! – рявкнул Табберт. Он вырвал у неё из рук свой тулуп и швырнул на пол. – Я тебя не знаю! Забыть меня! Убираться вон!

Айкони даже открыла рот, услышав от князя такие слова. От князя?.. – спросила она себя. Да он же вовсе не князь! Он как все, только красивый! Он ничем не отличается от тех русских мужчин, которые увозили её из Певлора и улыбались ей, хотя знали, что с ней скоро сделают! Этот князь-не-князь просто брал её любовь, но никогда не давал ничего взамен! Он говорил неправду! Он и не думал убегать с ней в лес – он не приготовил ни лыж, ни припасов!.. А как же священный волос?.. Видно, Сынга-чахль обманул её с этим волосом! Сынга-чахль напился её крови и сгорел в печке, ухмыляясь!

Айкони знала, где в горнице Табберта лежат разные вещи. Например, нож. Она завизжала, бросилась к поставцу, схватила нож и прыгнула на Табберта. Табберт, опытный фехтовальщик, хладнокровно отвёл удар, тем же движением развернул Айкони и отшвырнул к порогу. Айкони упала и завывала уже от невыносимой муки. Она так любила своего князя и так обманулась в нём! Это не человек, это слопец, капкан, она в ловушке, она погубила себя!

Она без колебаний направила лезвие на себя, стиснула рукоять ножа

обеими руками и высоко замахнулась, чтобы вонзить заточенное железо себе в живот – зарезать себя как взбесившуюся собаку, которую невозможно усмирить. В душе она уже словно падала сама в себя, как с обрыва, своей тяжестью умножая силу смертельного удара, но кто-то вдруг крепко схватил её запястья, будто клещами, и принялся выламывать нож из пальцев. Это был Новицкий. Он услышал набат и побежал на пожар, но по пути завернул за товарищем – капитаном Таббертом. И застал Айкони.

А с пожаром на подворье Ремезовых сражались уже не только соседи и артельные, но и служилые. Командовал всеми прилетевший сотник Емельян. Мастерская горела, как стог. В огне таяли доски кровли, и сквозь сияние проступали чёрные стропила. Окна слепили. Жар растопил весь снег вокруг мастерской, и люди хлюпали ногами в грязи, отражающей пламя.

– Разваливай хоромину! – кричал Емельян.

Крючники забрасывали в пекло крючья на верёвках и дёргали всё, что можно было выворотить: тесины, брусья, желоба-«потоки», слег. Надо было обрушить мастерскую и потом разодрать огромный костёр на куски. Ловкий Ванька Чумеров сумел заякорить своей кошкой верхний угол сруба, и служилые вдсятером вцепились в Ванькину верёвку. Рокочущий, гудящий пожар мученически захрустел, как на пытке. Мужики взревели и в натуге вырвали у мастерской ребро. Сруб толчком перекосясь, окутавшись облаком искр. Это была победа: теперь постройка утратила прочность, словно у стола надломили ножку. Мужики, радостно и злобно матерясь, за крючья потянули сруб в разные стороны, разваливая мастерскую на груды горящих брёвен и плах. Пожар оглушительно трещал, будто отстреливался, но оборона огня потеряла свирепую сплочённость: дальше следовало просто растащить горящие кости мастерской одну за другой на огород, где их можно уже залить водой и закидать снегом. Подворье было спасено.

Толпа на улице перед воротами Ремезовых облегчённо загомонила. Варвара Ремезова, державшая на руках сонную Танюшку, широко и строго перекрестилась. Епифания стояла неподалёку от Варвары. Придерживая платок у лица, она потихоньку пошла в сторону, протискиваясь среди народа. На неё никто не обращал внимания, да никто её и не знал. На перекрёстке Епифания увидела брошенные сани с лошадью – хозяин, видно, не сумел подъехать к воротам Ремезовых поближе. Епифания осторожно опустилась в чужие сани, а потом медленно размотала вожжи, накрученные на выгнутый передок. Она помнила слух, что в полусотне вёрст от Тобольска за деревней Байгара укрылся раскольничий скит. Её там непременно спрячут. Епифания тряхнула вожжами, понужая лошадь не

спеша пойти вперёд, прочь от толпы.

И вдруг на оглоблю легла рука. Рядом с лошастью Епифании оказался Семён-младший. Он был без шапки, весь в копоти, с прожжённым локтем. Он мог бы остановить лошадь или закричать, однако молча пошагал перед санями, искоса оглядываясь на Епифанию, словно провожал её.

– Не сбегай, Епифанюшка, – виновато попросил он. – Ну хоть ради меня.

Епифания надолго отвернулась, не отвечая, и наконец дёрнула вожжи.

А Карп Изотыч Бибилов со двора наблюдал за борьбой с пожаром. Когда служилые вывернули угол у мастерской и строение повалилось, Карп Изотыч поклонился в сторону Софийского собора и мимо водовозных саней посеменял к крыльцу ремезовского дома. Водовозы ещё опрастывали ведра на стены служб, чтобы от соседства с большим огнём не затлела конопатка.

– Не облейте, дьяволы! – охнул Бибилов. – Простыну – свалюсь!

Возле крыльца суетились Лёшка, Лёнька и Федюнька, сыновья Леонтия. Они уносили в подклет перепачканные сажей книги деда, которые были грудой ссыпаны под гульбищем на дерюгу.

Семён Ульянович лежал посреди своей ободранной горницы на лавке, закинутой шубами. Над ним хлопотали Митрофановна и Маша, вокруг толклись набежавшие бабы-соседки. Митрофановна ощупывала ногу мужа.

– Сдохну я, Фимка! – завывал Семён Ульянович, ворочаясь.

– Не сдохнешь, отец, – деловито отвечала Ефимья Митрофановна. – Всего-то ногу свою лешачью сломал, а мог бы весь сгореть... Машка, быстро найди две дощечки ровные, лубок сделаю... Бабы, дайте полос тряпишных на обвязку... Петровна, пожертвуй плат, он у тебя и без того драный.

– С-сатана! – завопил Семён Ульянович, когда Ефимья Митрофановна дёрнула ему ногу, составляя переломленную кость.

– Как там Ульяныч? – участливо спросил Бибилов у баб.

– Ругается.

Маша торопливо сунула матери две дощечки, и Ефимья Митрофановна принялась сооружать на ноге Семёна Ульяновича лубок.

– Василиса, держи его копыто, чтоб не вихлялся, – приказала она.

– Спасли твой дом, Ульяныч! – через головы баб крикнул Бибилов. – И службы спасли! Народ благодари!

Маша вдруг зарыдала, словно потеряла силы, опустилась на колени и стала целовать грязную руку Семёна Ульяновича.

– Прости меня дуру, батюшка! – захлёбывалась она.

– Что ещё, Марей? – измученно спросил Семён Ульянович.
– Прости, что Аконьку в дом привела... Это она подожгла.
– Аконька? – изумилась Митрофановна, завязывая узел на лубке. – А точно она?.. Да чем же мы её обидели-то?

– У всех инородцев бесы в бошках, – сурово сказала одна из баб.
Семён Ульянович сморщился, отвернулся и заплакал. Его опалённая борода затряслась. Больше собственной ноги ему жалко было своих книг, жалко уничтоженного уюта любимого труда, жалко своего милосердия, на которое ответили жестокой неблагодарностью.

– А кто такая Аконька? – проталкиваясь поближе, спросил Бибилов.
– Холопка ихняя. Остячка, – пояснили ему.
– Полно тебе, не плачь, Семёнушка, – наклоняясь над Ремезовым, ласково сказал Бибилов. – Книг твоих ещё довольно осталось. Лес на новую избу я тебе у губернатора выпрошу. А холопку поймал. Я сей же миг приказ отдам караульщикам по всем заставам ловить поджигательницу. Ответит она.

Мимо баб, толпившихся вокруг Ремезова, как тень прошла Елифания. Она скрылась за печкой и, не снимая тулупа, легла на лавку лицом к стене.

А Айкони в это время сидела в каморке Новицкого и чёрными, каменными глазами смотрела в огонь лучины. Новицкий, едва касаясь, робко поглаживал Айкони по голове, покрытой уламой. Он обо всём догадался. Эта лесная девочка, похожая на дикого зверя, выбрала себе не его, а другого, – Табберта. Но Григорий Ильич не ревновал.

Он удивлялся себе. Он был зрелым и опытным мужчиной. Он многое познал – и женщин, и власть, и войну. Он был человеком чести, ведь только шляхетская честь не позволила ему потерять себя в унижениях чужбины. И он никогда бы не поверил, что может вот так, без боя, уступить свою кохану сопернику. А сейчас он понимал: может. Если бы эта лесная девочка была счастлива с Таббертом, он нашёл бы в себе силы отойти, раствориться в тени, исчезнуть. И убить Табберта ему сейчас хотелось не за первенство, а за ту боль, которую Табберт причинил его горлинке.

– От аджи беда-то, Аконюшка, от беда... – бормотал Новицкий. – За пыдпалэнне тэбе – кнут... Шчо мэни зробіти, мила мая? Хочеш, я тебе похрэщу? Всю провину з тэбэ знимуць...

– Нет, – мёртво ответила Айкони.
– Хочеш, сховаю тэбе, а сам за тэбэ буду просіти? – не унимался Новицкий. – Вульянычу в ноги паду, Матвія Пэтровіча буду моліці...
– Нет, – упрямо повторила Айкони. Ей не нужны были ни помилование, ни Тобольск, ни князь с Семульчой. – Дай мне нож, лыжи,

всё дай. Я уйду.

– Я дам, Аконюшка, дам, – торопливо закивал Григорий Ильич. – Грошей дам, е трошки...

Он принялся хлопотливо собирать Айкони в дорогу. Он выгребал из поставца и сундука всё, что у него имелось: чёрствую краюху, два ножа, котелок, поддёвку, чулки из шерсти, кресало, полотенце, шапку, мешочек соли. Он забыл, что ещё недавно ему блазило, и он искал эту девчонку по Тобольску, она мерещилась ему голой на этом топчане, он задыхался без неё, – а сейчас вдруг сам готовил вечную разлуку, прощанье навсегда.

Айкони смотрела на суету Новицкого как на шевеленье жука.

– Ты мой волос рвать? – вдруг спросила она.

– Який волос, Аконюшка? – тотчас забеспокоился Новицкий.

Айкони принялась безмолвно царапать себе лицо и грызть кулаки.

– Домой хотеть! – простонала она. – Домой хотеть!..

...В предрассветный час, когда Тобольск уже успокоился после пожара у Ремезовых, по окраинной улице тащилась лошадка с санями. Синяя мгла казалась остывшим дымом. Небо чуть приподнялось над сугробами крыш, готовое принять маленькое зимнее солнце, как полтинник в кошель. Ни один санный след ещё не примял пуха тонкого снежка, осевшего в колеях. Там, где обрывался последний городской заплот, где громоздились только пустые овины, улицу перегораживали рогатки – два больших «ерша» из заострённых кольев, соединённые толстой жердиной. Возле рогаток уныло бродил, зевая, сторож, одетый в огромный зипун. Лошадь послушно остановилась перед преградой. В санях сидели Новицкий и Айкони, только на голове Айкони была не улама, а старая кудлатая шапка, чтобы девчонка сошла за мальчика. Лошадку с санями Новицкий выпросил у хозяев соседского подворья.

– А, Гириш-ша, это ты? – узнал Новицкого сторож.

Дозор нёс старый татарин Рахим, сапожник.

– Здравстуй, Рахим, – ответил Новицкий. – Чього караулыш?

– Баба ловим. Баба поджигатель. А ты куда, Гириш-ша?

– Та работныка повёз на монастырску заёмку.

Рахим покивал и, взрывая снег, потащил рогатки в сторону с пути. Лошадь шагом двинулась по дороге мимо Рахима. Татарин глянул в лицо Айкони под шапкой и вдруг страшно всполошился; грузно ворочаясь всем телом, он потащил из ножен, висящих на поясе, изогнутую саблю.

– Стой! Стой! – сердито закричал он.

– Ти чього, Рахим? – сразу вскинулся Новицкий.

Рахим левой рукой схватил Айкони за отворот тулупчика.

– Это Хомани! – заявил он. – Ты украл женщину Ходжи Касыма?

Айкони не промедлила ни на миг: она уже всё решила и ни в чём не сомневалась. Она выхватила из-за полы тулупчика нож и воткнула его сквозь бороду точно в горло старому татарину.

– Ни! – отчаянно крикнул Новицкий, но было уже поздно.

Рахим захрипел и повалился – сначала он осел внутри огромного зипуна, выронив саблю, а потом с зипуном неуклюжей копной мягко упал на снег.

– Навыщо ти цэ зробыла, Аконю? – горько спросил Новицкий.

– Нужно мертвец, – жёстко сказала Айкони.

Она выпрыгнула из саней, вытянула из-под тулупчика платок-уламу, присела возле Рахима и быстро, тщательно вытерла уламой лицо убитого, негромко бормоча слова заклятья. Новицкий наблюдал за ней с ужасом.

– Снять душа мертвец, – вставая, пояснила Айкони. – Ходить далеко. Душа мертвец говорить с богами, помощь мне просить.

Айкони сбросила шапку, повязала голову уламой и забралась обратно в сани. Она сосредоточенно молчала. Новицкий тронул вожжи.

Он довёз девчонку до леса и остановился на опушке. Оба они выбрались из саней. Новицкий помог Айкони надеть на спину походный мешок на верёвках вместо лямок. Потом он за плечи повернул Айкони лицом к себе и внимательно посмотрел ей в глаза – и не увидел там ничего, кроме тьмы.

– Я тэбе до самый смэрти моэй любити буду, Аконя, – сказал он, словно старался убедить её в силе своей любви.

– Я знать.

– Я тэбе найду.

– Не искать меня, – жёстко ответила Айкони, повернулась и пошла по санной дороге в предрассветный заснеженный лес.

Глава 11

Чужое золото

Летний дворец государя изумлял весь Петербург. Зодчий Трезинь построил его на мысу между Безымянным Ериком и речкой Мьёй. Дворец был из кирпича, в два этажа, с голландской крышей, и Пётр приказал отделать его в виде фрегата. Окна напоминали орудийные лацпорты; между этажами вокруг всего здания тянулся пояс резных раскрашенных рельефов – аллегии войны со шведами; угол, обращённый к Ерику, нёс гальюнную фигуру – крылатого железного дракона, который заодно служил водостоком. Вместо лестниц Пётр распорядился уложить трапы с рёбрами на расстоянии «корабельного шага». Не хватало только мачт с реями и парусов. По весне вздувшаяся Нева входила в Ерик и во Мью, и царский дворец возвышался среди бурных вод, словно корабль. У крыльца швартовались галеры.

Матвей Петрович тоже приплыл на галере, и царский денщик, сержант-преображенец, сразу провёл его через богатые залы, обитые шпалерами, мимо купцов, иностранцев и вельмож, ожидающих аудиенции, в «модель-камору» – царский кабинет и одновременно мастерскую. За этот приезд в столицу Матвей Петрович виделся с государем уже в третий раз.

Он давно определил для себя правила обращения с норовистым Петром Алексеичем: не попадать ему под дурное настроение и являться всегда с подарками или хорошими новостями. При первой встрече Матвей Петрович отчитался о прибылях китайского каравана; при второй встрече он принёс остриё огромного бивня мамонта и ящик тончайшего китайского фарфора, а слуги загромоздили дворцовые сени кадками с саженцами – Пётр как-то сказал, что хочет растить на Аптекарском огороде сибирские кедры. Сейчас Матвей Петрович держал под мышкой сундучок с золотыми побрякушками, недавно найденными в долине речки Боровой Ингалки на впадении Исети в Тобол. Тамошние древние курганы и могилы по указу Матвея Петровича разрыл шадринский комендант князь Василий Андреич Мещерский.

С лукавым видом заговорщика Матвей Петрович поставил сундучок на стол царю и принялся одну за другой выкладывать бляшки. Пётр подошёл, держа в руке матросскую трубку с коротким изгрызенным чубуком, хмуро глянул искоса и взял в ладонь одну из бляшек – двуглавую лошадку.

– Зело забавно, – сказал он, думая о чём-то своём, и небрежно бросил бляшку обратно в сундучок. – Скажи, Петрович, откуда они золото брали?

– Кто они? – не понял Матвей Петрович.

– Ну, эти, – Пётр кивнул на сундучок. – Скифцы твои сибирские.

– Не знаю, государь.

В «модель-каморе» царил полный беспорядок. Стол был завален растрёпанными книгами, из которых так и сяк торчали разномастные закладки, и листами закапанных кляксами чертежей. Тут же стояли тарелки с объедками, долблёные кружки и подсвечники с оплывшими свечами, валялись перчатки, хлебные корки, циркули и оловянные ложки. Под ногами хрустел мусор, перекатывались пустые бутылки. В сумраке глубоких шкафов за приоткрытыми стеклянными дверцами виднелись маленькие парусные корабли, опутанные паутиной снастей, надутые медные глобусы, реторты, образцы минералов, хрупкие кольца армиллярной сферы. По стенам были растянута карты Балтики, широко исчёрканные грифелем; висел пробитый пулями шведский морской флаг. В один угол, как грабли, были привалены разнообразные ружья; в другом углу возвышалась лакированная деревянная башня с часами – диск маятника мелькал в прорезях подножия. Но главным предметом в «модель-каморе» был токарный станок, на котором любил работать государь. Вал станка через приводной ремень сообщался с колесом; бывало, денщики ночь напролёт вертели это колесо руками, пока Пётр, размышляя о делах, вытачивал ореховые чаши или спицы штурвалов.

– Держава преизряднейшая, а своего золота и щепоти нет, – зло сказал государь Матвею Петровичу и повалился на диван, обтянутый атласом, уже затёртым до лоска и прожжённым табаком. – Всё золото привозное!

– Беда, – согласился Матвей Петрович. – А к чему ты это говоришь?

Пётр взгромоздил ножищу в растоптанном домашнем башмаке на подлокотник и сосредоточенно запыхтел трубкой. Он был в парусиновых штанах и в засаленном халате, грязную шею он повязал грязным платком, на голой груди краснели расчёсы, реденеющие волосы Пётр собрал в хвостик.

– Всё про китайский Яркенд думаю, – пояснил государь.

После беседы с Тулишэнем Матвей Петрович написал государю письмо о войне Китая с джунгарами и о городе Яркенде – посуле богдыхана Канси. Сейчас Гагарин внутренне восторжен. Он приехал в Петербург как раз для того, чтобы поговорить про китайцев, но не хотел первым начинать разговор. А дело не терпело отлагательства. Из Москвы в Тобольск, наверное, уже полз новый китайский караван, а из Самары в Сибирь возвращалось посольство Тулишэня. Матвею Петровичу надобно

было поскорее оказаться дома.

– Ты у себя китайских послов честью принимал, Петрович?

– Честью, государь.

– А я вот их даже в Москву не пригласил.

– Почему? – напоказ изумился Матвей Петрович. Он знал, почему, но полезно показать себя государю простаком.

– Потому что ихний богдыхан мне никаких грамот не послал, – Пётр ревниво дёрнул ляжкой. – Какого рожна мне тогда послов зазывать?

Матвея Петровича всё это очень даже устраивало. Лучше всего ему быть единственным посредником между государем и китайцами.

– И что ты о китайцах решил, государь? – осторожно спросил Гагарин.

– А чего о них решать? Сенат написал Аюке, чтобы сунул дулю богдыхану. У меня со шведом война не закончена, османы Азов отгрызли, донцы на одну руку изменники, Кабарда и Башкирь бунтуют. На кою репу мне ещё и война Аюки в Джунгарии?

Пётр сплюнул на пол табак. Матвей Петрович сочувственно вздохнул.

– Про Узбой слышал? – вдруг спросил Пётр.

– Не слышал, государь, – сказал Матвей Петрович, хотя слышал.

– Узбой – долина, по которой из Аралского морца в море Хвалынское бежала река Дарья и несла золото. При устье, говорят, яицкие казаки и персы намывали его на сита. Хорезмшах, собака, велел засыпать Узбой запрудой, чтобы перегородить Дарью и оставить всё золото в Хорезме. Собираюсь послать на Узбой с войском Сашку Бековича, кабардинского князя. Пускай назад откопает ход для Дарьи, а потом, ежели господь расположит, возьмёт Хиву и Бухару, а там и даже Индею. Мне золото позарез надобно.

– Великий помысел, государь, – согласился Матвей Петрович.

Пётр вдруг вскочил, бросил на стол трубку и полез под поставец. Чертыхаясь, он с шорохом вытащил заскорузлый, сложенный в восьмую долю холст, встряхнул его от пыли и кинул на диван.

– Развёртывай! – велел он Гагарину.

Вдвоём они развернули холст. Это была большая карта Азии, начерченная Ремезовым для Сибирского приказа ещё пятнадцать лет назад. Затхлое, протёртое по сгибам полотнище накрыло весь диван и даже расстелилось одним углом по затоптанному паркету.

– Покажи мне Джунгарское ханство, – велел Пётр.

Матвей Петрович бегло осмотрел огромную холстину и обвёл пальцем пространства, на которых располагалась свирепая Джунгария.

– А где джунгары с китайцами дерутся?

– Вот тут, в Тибецких горах, – указал Матвей Петрович. – У них там священный город Лхаса, вроде нашей Троице-Сергиевской лавры.

– А Яркенд где?

Матвей Петрович поискал Яркенд, но его на карте не было.

– Где-то здесь стоит, – Гагарин наугад ткнул пальцем. – Он же мелкий, вот и не обозначен.

Наступив башмаком на угол карты, Пётр хищно склонился над тем местом, где должен был значиться Яркенд.

– Хороша наживка, – с досадой пробормотал он. – Но как его, стервеца, добыть без войны с Джунгарией?

– Степняки-то золото не моют, – вкрадчиво сообщил Матвей Петрович. – Им тамошняя речка без надобности. Ежели ты на Узбой Бековича шлешь, так и туда кого-нибудь пошли. Без битвы, просто в воде повазгаться.

– И контайша дозволит?

– Одари подарками, и дозволит, небось, – с показным безразличием предположил Матвей Петрович.

Пётр распрямился, почёсывая голову, и принялся ходить по «модель-каморе» широкими шагами, по пути пнув бутылку.

– Ладно, Гагарин! – решительно сказал он, останавливаясь. – Готовь два полка для похода на Яркенд. Командиров, казну и порох я тебе летом пришлю. Пушки и ружья возьми на Каменском заводе. Прочее, что нужно, сам заготовь. Попробую на будущий год испытать твой Яркенд. Но смотри, губернатор, чтобы никакой мне войны! – Пётр поднёс к носу князя Гагарина увесистый кулак, исцарапанный и обветренный от работы на верфях.

– Исполню, государь! – с достоинством поклонился Матвей Петрович.

– А верно там золото есть? – с подозрением уточнил Пётр, обшаривая своими страшными, выпученными глазами лицо Матвея Петровича.

– Говорят, есть, – уклончиво сказал Матвей Петрович.

Он врал. Ему говорили, что золота в Яркенде нет.

Ещё в Тобольске он ходил к Ремезову, чтобы разузнать о Яркенде. Ремезов лежал дома со сломанной ногой. Матвей Петрович вошёл в горницу, снял шапку и перекрестился на иконы. Митрофановна сразу придвинула князю скамейку и подала знак Варваре и Маше: уйдите и заберите детей, чтобы не мешали беседе Семёна Ульяныча и губернатора.

– Слышал о пожаре твоём, Ульяныч, – присаживаясь, сказал Матвей Петрович. – Как нога?

Семён Ульяныч помещался на лавке в красном углу. Под головой у

него была цветастая подушка, а ногу, взятую в лубок, Митрофановна прикрыла детским тулупчиком. Большой семейный стол был отодвинут в сторону, и рядом с лавкой Ремезова громоздились стопы спасённых книг.

– Нога болит, – мрачно вздохнул Ремезов. – И без того колени стомели, а теперь получай: мёрзлой роже и метель в глаза.

– С чертёжной избой я тебе помогу, – сразу пообещал Матвей Петрович. Ему жаль было старика, лишённого любимой забавы. – Леса дам строевого, тёса, плотников. А книг-то много погорело?

– Кажная как дитя, – скупно ответил Ремезов.

– Не обессудь, Ульяныч, но я к тебе тоже по книжному делу. Еду к Петру Лексеичу. Надобно мне объяснить ему про Яркенд. Что это, где это?

Ремезов задумался, и напряжённое лицо его прояснилось.

– Городишко пыльный с крепостицей. Был китайский, потом джунгары отбили. От нас ходу четырнадцать недель. Половину пути, до Ямыш-озера, по Иртышу на судах, затем конями или велбудами через степи и пески.

– Это же дальше, чем Москва! – удивился Гагарин.

– Дальше, – с гордостью подтвердил Ремезов.

– Ну, а золото в Яркенде имеется? – спросил Гагарин о главном.

– Там с горы Большой Мустыг течёт мутная река. По слухам, китайцы бросали в неё кошмы и держали в потоке десять дён, потом доставали, сжигали и выплавляли слиток размером с еловую шишку. Только, Петрович, никто у нас в Тобольске золота Яркенда никогда не видел.

– Значит, брешут? – задумчиво уточнил Гагарин.

– Брешут. Азиатцы-то любят сказки.

«Брешут», – повторял про себя Матвей Петрович. Он уже сидел у государыни в гостиной и забавлял Катерину Лексевну игрой в дурачков. Царица весело сбрасывала на низенький столик маленькие цветные карты.

– Ох, продул я! – притворно изумился Матвей Петрович. – Опять ты меня в колпаке оставила, матушка!

– Да ты же мне поддавался, Матвейка, – смеясь, сказала государыня.

– А как не поддаться любезному дружку? – лукаво спросил Гагарин.

Екатерина была низенькой, пышногрудой и круглозадой. В большом и кудрявом белом парике она напоминала овцу. Многие и вправду считали её глупой овцой, но Матвей Петрович знал, что это не так. Улыбчивая и лёгкая нравом Екатерина всё прекрасно понимала и никогда ничего не забывала. Царь искренне любил её, при ней свободно рассуждал о своих делах, заботах и сомнениях и незаметно для себя принимал ненавязчивые советы супруги за свои собственные решения. Матвей Петрович был убеждён: «ночная кукушка дневную перекукует», а потому дружил с государыней

преданно и ласково. И уже не раз Катерина Лексевна отводила от Матвея Петровича гнев государя: когда под Полтавой на солдатах разлезлись камзолы из гнилого сукна, поставленного в армию князем Гагариным, когда отстроенная князем Москва вдруг опять загорелась, когда засосало в пески только что сооружённый Гагариным канал под Вышним Волочком. Прижимаясь к Петру большими и щедрыми грудями, Екатерина в супружеской постели нашёптывала: «Не сердись, Петруша. Матвейка служит тебе с головой, да вокруг него воров и дураков, как собак вокруг скотобойни». Говорили, что государыня Екатерина была родом из крестьянской семьи с молочного хутора в Лифляндии.

Покои государыни находились на втором этаже Летнего дворца. Гостиная была обставлена по-женски: мягкие канапе, стулья и креслица на гнутых ножках, горки с фарфором, комоды, овальные зеркала в золочёных резных рамах, раздвижные ширмы, на окнах – ламбрекены с жабо и пышные занавеси с фестонами. Грузный Матвей Петрович еле удерживался задом на маленькой, почти детской скамеечке, но безропотно терпел неудобства.

– Ладно, сердце истомилось, – признался он государыне. – Погляди, Катеринушка Лексеевна, какой подарочек я тебе к именинам привёз.

Матвей Петрович, покачиваясь, полез за отворот камзола и выложил на карточный столик плоскую китайскую шкатулку.

– Вот чем Сибирь моя богата! – похвастался он.

Государыня была падка на подарки, словно служанка. Чем дороже был подарок, тем проще он открывал путь к сердцу царицы. Матвей Петрович пользовался этим давно и умело. Государыня склонилась над шкатулкой, и Матвей Петрович в вырезе лифа увидел тугие груди Екатерины. Вот это и любит государь. А государыня любит драгоценные камни. А камни привозит из Китая Тулишэнь. Матвей Петрович должен сберечь этот сияющий ручеёк.

– О, сеэ он лийга каллис, Матвейка! – разглядывая перстни, восхищённо прошептала государыня по-лифляндски.

– Сии колечечки с изумрудиками, – Гагарин тоже наклонился над шкатулкой и, поясняя, вежливо указал пальцем, не касаясь перстня, – оное с яхонтиком, а оное с алмазиком.

– Прелесть, Матвейка!

И вдруг огромная рука протянулась откуда-то сверху и грубо цапнула шкатулку. Другая огромная рука схватила Матвея Петровича за затылок и яростно ударила лбом в стол так, что разлетелись игральные карты.

– Ах ты шельма, Гагарин! – за спиной Матвея Петровича взревел

государь. – Варнак запечный!

– Э-э-э!.. – завертелся Матвей Петрович, похолодев от ужаса. – Матушке презент!.. Из своих!..

– Ещё и до Катьки подкатил, воровское рыло? – орал Пётр и стучал Гагарина лбом в стол. – Я тебе эти подарки в пасть забью! Из китайского каравана товарец? Насквозь тебя вижу, труба ты продувная!

– На таможене!.. – сбиваясь, пытался оправдаться Матвей Петрович. – Государь!.. Ей-богу!..

– Петруша! – испуганно застонала Екатерина.

– Молчи, Катька, убью обоих! – в бешенстве прохрипел Пётр.

Он за шкуру рывком поднял Матвея Петровича на ноги. Хватка у Петра была железная, словно у пыточных щипцов. Пётр толкнул Гагарина вперёд и, держа за шиворот, безжалостно погнал по анфиладе царицыных покоев, как мальчишку-полотёра. Матвей Петрович выставил руки, чтобы не расшибиться. Пётр срывал портьеры и отшвыривал с пути мебель.

– Сейчас пропишу тебе губернию во всю харю! – орал он. – Щеколда ты хомячья! Хрущ ненасытный! Я тебя в клетку худеть посажу, сучий окорок!

Матвей Петрович по-бабьи охал, боясь только одного – упасть. Пётр начнёт пинать упавшего и переломает все рёбра.

Пётр спустил Гагарина по трапу на свой этаж и с позором тащил дальше мимо лакеев и денщиков, мимо сановников, послов и офицеров, ожидающих аудиенции. Слуга успел распахнуть перед Матвеем Петровичем двери «модель-каморы». Последним тычком Пётр втолкнул Гагарина в кабинет.

Посреди кабинета навтыжку стоял высокий и широкоплечий старик с красным крестьянским лицом, седой бородой и пышными седыми волосами, блестящими от масла и разложенными на две половины, как у раскольника.

– Знаешь, кто это, Гагарин?

Матвей Петрович знал. Это был самый доверенный фискал государя – Алексей Яковлевич Нестеров, главный гонитель казнокрадов. По его доносам и дознаниям уже немало вороватого чиновного люда было престоко выдрано кнутами и отправлено на верфи или по казематам.

– Кто? – спросил Гагарин.

– Это Нестеров! Адово сверло! Я ему как себе верю! Знаешь, сколько он рескриптов на тебя написал? Думаю, не соврал!

Нестеров надменно глянул на Гагарина.

– Всё божья правда, государь, – сурово изрёк он.

Матвей Петрович встряхнулся, поправляя камзол на плечах и спине.

– Не знаю, не читал тех бумаг, – ответил он непокорно.

Тяжело дыша, Пётр прошёл к своему дивану, сгрёб с него всё ещё расстеленную карту Ремезова и устало повалился.

– Катись, Гагарин, в свой Тобольск, – сказал он. – А Нестеров под Рождество к тебе приедет. Будет твои служебные книги проверять.

– Как прикажешь, Пётр Алексеич, – поклонился Матвей Петрович.

– И берегись, Гагарин, – добавил царь. – Нестеров смерть твою ищет.

Глава 12

Когда сошлись дороги

Матвей Петрович не забыл своего обещания: обер-комендант Бибииков отписал Ремезову хороший сосновый лес с казённых хранилищ на пристанях и добрый тес с пильной мельницы на Курдюмке. Леонтий, Семён-младший и Петька потихоньку свезли брёвна и доски на подворье и сложили на огороде. Леонтий собирался сразу же и начать строительство новой мастерской, чтобы к весне всё было готово, но Семён Ульянович воспротивился.

– Избу зимой скатывать – как свои порты по соседскому заду кроить! – сердито заявил он. – Летом сруб перекосит, нащелявит, расшаперит! Весь омшаник на конопатку изведём!

На самом деле ему хотелось самому командовать работами, но для этого надо было встать на ноги. И вскоре Семён Ульянович уже взгромоздился на костыли и со стуком заковылял по горнице. Митрофановна ворчала:

– Куда поскакал, заяц заполошный? На свечку дуну – тебя свалит!

Семён Ульянович огрызнулся:

– Кому Великий пост, кому вожжа под хвост!

К Страстной неделе он уже хромал с палкой по всему подворью.

– Теперь с посохом буду, как митрополит! – мрачно хвастался он.

На пасхальную службу Семён Ульянович и Ефимья Митрофановна всегда ходили к отцу Лахтиону в Никольскую церковь – на кладбище возле алтаря этого храма лежали и Ульян Ремезов, и Митрофан Кузнецов, отец Ефимьи Митрофановны. Одолеть крутой Казачий взвоз Ремезовы-старшие уже не могли, и Семён-младший повёз отца и мать в телеге.

Снег уже облез и со скатов крыш, и с крутых лбов Алафейских гор. Мир был охвачен каким-то радостным движением. Льдины, вращаясь, скользили по Иртышу; мелкие речки Тобольска вздулись и бурлили под бревенчатыми мостами; вокруг колоколен и башен Софийского двора с буйным щебетом вились стрижи; на обогретых пустырях дрались собаки; солнце трепетало, потревоженное журавлиными клиньями; на город из тайги наплывала свежесть тающего снега, древесной прели и еловой хвои, полной воды.

С литургии Ремезовы ехали в сумерках. Митрофановна молчала, вспоминая ангельское пение хора, и тихонько утирала глаза. Семён

Ульяныч подтягивал вожжи, придерживая Гуню на склоне, и думал о мастерской: надо срубить сени, а то сквозит. Семён-младший шагал рядом с телегой.

– Батюшка, давай подклет на два венца повыше положим, – словно бы мимоходом сказал он отцу. – И печь сделаем с устьем на нижний ярус.

– Это ещё зачем? – сразу зацепился Семён Ульяныч.

– Хочу туда жить перейти, – спокойно сообщил Семён. – С Епифанией.

Митрофановна перекрестилась – она ждала этого, а Семёну Ульянычу после литургии не хотелось ругаться, и он только дёрнул себя за бороду.

– Невенчаны? – строго спросил он.

– Я же не против жениться, батюшка, – рассудительно сказал Семён. – Но она в расколе. Её выводить надобно, да она упрямая. Буду подталкивать потихоньку. Живут же с бабами без венца казаки-годовальщики по острогам.

– Холодная она, Сенюшка, – осторожно возразила Митрофановна.

Епифания жила у Ремезовых как чужая. Варвара у Леонтия тоже была строгая, молчаливая, не смеялась, песен не пела, но Варвара – просто такая по нраву, и на сеновале с Леонтием она охала так, что утром коровы еле доились. А Епифания словно закаменела. Ей безразлично было, что есть, где спать, какую работу делать. Ножом порежется – не вскрикнет. Спросят её о чём – не ответит, будто не слышит. Если маленькая Танюшка хватала её за подол, Епифания равнодушно отцепляла девочку, как репей, и шла дальше.

– Отогрею её, – сказал Семён.

– Она тебя не любит.

– Отогрею, – тихо повторил Семён.

Митрофановна смотрела на сына с робостью. Она немножко жалела, а немножко побаивалась Семёна. Какой-то он не такой, как все. Живёт своими мыслями, что ему аукнется – неизвестно, а упрямый: судьбу наугад ломает.

– Ты, Сенька, блаженный, – Семён Ульянович сердито дёрнул вожжи. – Отмолиться за Алёну покойную хочешь? Мёртвую бабу взять и оживить? Так ты за Алёну не грешен. Это у тебя не любовь.

Здоровые и точные слова отца ударили Семёна прямо в сердце. Он уже и сам не понимал, любит ли он Епифанию. Ему нравилось глядеть на неё, гибкую и сильную. Его волновала всякая мимолётная случайная близость. Лицо её казалось ему как с иконы. Но душу Епифании Семён не знал. Душа была замкнута, будто на гвозди заколочена. Можно ли полюбить человека, не зная его души? Можно, если вера крепка, – так после исповеди

сказал Семёну батюшка Лахтион. Вера у Семёна дала трещину, когда умерла такая юная Алёна. И Семён хотел залечить свою веру. Будет вера – будет любовь.

А Митрофановна думала о том, о чём Сенюшка не ведал. В бане она осмотрела Епифанию: спина и зад у этой бабы были иссечены рубцами, и не от лёгкой отцовской плёточки, а от витого кнута палача. Митрофановна даже запретила Машке париться с холопкой, чтобы Машка не увидела следов таких страстей. За что исполосовали бабу? На какое дело она способна?

– Ежели я кого люблю, батюшка, так только её, – убеждённо сказал Семён. – Из-под твоей воли я не выхожу, но ты мне не перечь. Тягостно мне жить всухую. Не Епифания – так я в монастырь постригусь.

– Вот и похристосовались на Пасху, – угрюмо подытожил Ремезов.

С Епифанией Семён поговорил через несколько дней, когда поехал на Курдюмку за чистым бельём. Обычно у Ремезовых стирала Варвара; когда появилась Епифания, Варвара с облегчением перепоручила это тяжёлое дело холопке. На Курдюмке у баб имелось особое место для стирки. Здесь в землю были вкопаны бочки, а рядом был сложен очаг из крупных камней. Бабы заливали бочки свежей водой и замачивали одежду с щёлоком, затем накаляли камни на огне и бросали их в бочки, затем длинными деревянными крючками вытаскивали распаренное горячее бельё из бочек и отбивали на мостках вальками. Прополоскав, складывали в корзины. Семья у Ремезовых была немаленькая, грязной одежды набиралось много, и унести сразу всё, да ещё и мокрое, Епифания не могла; Семён прикатил за ней на телеге.

– Погоди, ещё кафтан остался, – глухо сказала Епифания.

Она стояла босая в ледяной весенней воде, склонившись над мостками, и звонко лупцевала плоским вальком по кафтану, растянутому на досках. Юбку она поддёрнула, чтобы не замочить, и Семён смотрел на её длинные, крепкие ноги и круглый зад. Наконец Епифания распрямилась и глянула на Семёна, убирая с покрасневшего лица пряди, что выбились из-под платка.

Она поняла, о чём думал Семён. Не он был первым мужчиной, который так на неё смотрел, небось, и последним будет не он. Никакого расположения к Семёну Епифания не испытывала, да и к его семейству тоже, да и ко всему роду человеческому. Люди погрязли в своих ловитвах и мшелоимстве, они прокляты, их давно оженил сатана, а они и не заметили. Всё, что они хотят, – тщиться, терзать друг друга, вольно или невольно, и бесов тешить. Этот Семён, не будь он апостатом, оказался бы, верно,

хороший мужик, но сейчас – это видно – он, как все, алчет только тела её, ведь душа её от него сокрыта.

– Выходи из воды, застудишься, – сказал Семён.

Он бросил кафтан в корзину с бельём, с трудом поднял корзину и отнёс в телегу, потом отнёс туда и вторую корзину. Епифания обтёрла посиневшие ноги подолом, обернула онучами и сунула в растоптанные поршни.

– Я поговорить с тобой хочу, – Семён, не глядя на Епифанию, перебирал вожжи. – Скоро мы батюшкину мастерскую обратно отстроим. В подклете у неё горница получится. Хочу, чтоб ты со мной туда жить перешла.

Курдюмка журчала в кустах на излучине. С ближайшего подворья доносился бодрый стук топора. От закатного солнца по склону Алафейских гор тянулись зубчатые тени ельника. Епифания понимала, что куплена в холопки по блажи этого мужика, но пока что он не заявлял своих прав на подневольную бабу. «Терпел-терпел, да не вытерпел», – с презреньем подумала Епифания. Что ж, пришла ей пора расплачиваться за благополучие у Ремезовых. Но не жалко. К себе она относилась с таким же презрением, как и к Семёну. Пущай берёт, что хочет. Не он один так делал.

– Ты барин, я холопка, – спокойно ответила Епифания.

Её можно бить, насиловать, морить голодом и стужей. Можно заставить её сделать что угодно, хоть младенцев топить. Это ничего уже не изменит. Она всё равно придёт туда, куда идёт.

– Я тебя не рабой беру, а женой зову, – серьёзно сказал Семён.

Она посмотрела на Семёна и поняла, что он не врёт, но в душе ничего не колыхнулось. Когда-то ей, робкой девушке, так хотелось услышать эти слова, а сейчас те желания не вызывали даже горечи. Как не с ней было. Она не усмехалась, однако Семён почувствовал какое-то жестокое превосходство Епифании. Она словно бы говорила: хочешь меня взять? Бери. Никто тебе не мешает. Но незачем делать вид, что умеешь любить.

– Ты меня своим зверострашием не смутишь, – сказав главное, Семён уже не боялся озлобления этой бабы. – Я же вижу, как сердце твоё плачет.

– А ежели я добром к тебе не пойду, что ты сделаешь? – Епифания слегка прищурилась, будто целилась. – Казнишь меня? Продашь? Или, может, на волюпустишь?

Семён боком сел в телегу.

– Я о таком не думал. Верю, что пойдёшь. Садись давай.

Но Епифания не села. Этот мужик оказался сильнее, чем она думала.

– Меня в Сибирь угнали, потому что я своего жениха ножом ударила.

Епифания испытывала Семёна – на чём его ложь закончится?

– Мне нет дела до того, – твёрдо ответил Семён. – Ты мне к сердцу припала, какая есть. Смотрю на тебя – и в душе надежда. У меня была жена, да умерла родами четыре года назад. Я от горя землю ел. Потом будто умер. А увидел тебя – и опять жить захотел. Заново всё начать.

Епифанию опалила ненависть к Семёну. Жена у него умерла... Все умрут, но праведных господь возродит и воссоединит с возлюбленными. Разве этот мужик знает, что такое настоящее горе? Истинная мука?

– Жену мою тоже Алёной звали, – тихо добавил Семён.

– Я – Епифания! – непримиримо отчеканила она.

Только в телеге она осознала, что Семён как-то сумел вывести её из колебимого и мрачного ожесточения, но решила, что это ничего не значит. Когда схлынет паводок и обсохнут дороги, она сбежит из Тобольска в скиты, и никто её там никогда не отыщет.

...За строительством мастерской присматривал сам Семён Ульянович. Обер-комендант Бибилов отрядил к нему на две недели артель из восьми плотников-шведов. Место под мастерскую было уже расчищено. Под углы и боковые стены сруба шведы вкопали шесть мощных лиственничных устоев, выложили на них нижний венец и врезали в него балки для подмёта – пола в подклете. Потом накатали сруб подклета с сенями и окошками – пусть и небольшими, зато косячатыми, а не волоковыми. Печник Евстигней по чертежу Ремезова строил новую печь взамен прежней, разрушенной, когда разваливали горящую мастерскую: печь была столпом – на голландский лад, с вогнутыми сводами и устьями на двух ярусах. Петька, Лёнька и Лёшка сколотили для подклета широкий лежак, стол, поставец и лавки. Работа двигалась бойко, хотя Семён Ульянович, как обычно, был всем недоволен.

Однажды на подворье заглянул Новицкий.

– Бачу, строят тебе чертильню, Сэмэн Вульяныч? С брэвнами-то и тэсляками тебе Матвэй Пэтрович помох?

– Одарил криволесьем и дармоедами, – пробурчал Ремезов. – А-а, плевать, мне, старому одру, до окочура хватит.

– Гнэвышся на Аконю? – осторожно спросил Новицкий.

– Своими руками убил бы.

– Який ты ежак колючий, – покачал треуголкой Новицкий и ушёл.

Шведы принялись за верхний ярус мастерской и висячее крыльцо.

Леонтий и Семён-младший пропадали на Воеводском дворе, там тоже закипело строительство. Артель Сванте Инборга вернулась на башню над Прямым взвозом; Леонтий занимался столпной церковью, где

раскольники начали выводить арки окон; Семён наблюдал, как каменщики бутят ров и выкладывают фундаменты башен и стен кремля. Маша или Варвара каждый день возили обед на Воеводский двор; наконец Семён Ульяныч решил и сам съездить «на гору», чтобы проверить, всё ли у сыновей в порядке. С собой Семён Ульяныч взял Епифанию.

Воеводский двор кишел работниками, служилым Чередова даже неловко было бражничать при таких чужих трудах. Всюду мешались, разворачиваясь, телеги с бочками водовозов и грудami свежего кирпича – его изготовляли в сараях под Паниным бугром. По-русски, по-шведски и по-татарски ругались десятники. Кряхтя, туда-сюда ходили носильщики с деревянными укладками за спиной. Горели артельные костры, кашеварили бабы-стряпухи, с ними заигрывали караульные; галдели и бегали детишки, которых брали с собой, потому что не с кем было оставить дома. В долблёных лоханях замешивали строительный раствор, и на весь Воеводский двор кисло воняло известью. Груды земли, вороха досок и брусьев, горы кирпича и бутового камня, скрип колёс и мостков, перестук топоров, звяканье железа, окрики, полуденный благовест Софийского собора. Семён-младший ходил сердитый, колени у него были перемазаны глиной, на пояс он намотал измерительную верёвку с узлами, в руках был аршинный угольник, как у землемера. Семён Ульянович, опираясь на палку, проковылял вдоль рва, где сооружали фундамент.

– Стены протянул как по струне, батюшка, – отчитался Семён, – а у той башни заглубились и сваи набили, там язык супеси вылез, рыхло.

– Ну, верно, – кивнул Семён Ульяныч.

Епифания осталась в телеге, смотрела в сторону, не подошла к Семёну.

Столпная церковь возвышалась над обрывом красным, как мясо, кубом с просвечивающими дырами окон. Леонтий помог отцу выбраться из телеги, и они вдвоём поднялись по вымосткам в храм. Внутри стены были сплошь закрыты строительными лесами, на которых работали раскольники; посреди помещения брат Сепфор и брат Урия лопатами перемешивали в бадье раствор; грузчики разносили кирпич и бадьи раствора по ярусам лесов. Брат Хрисанф вымерял дуги оконных арок, пока ещё поджатых выгнутыми досками на упорах, и прямоу рядов на кладке.

– Ну что, Хрисанфе, рухнет мой вертеп? – спросил Семён Ульяныч.

– Господь обвалит, – хмуро пообещал Хрисанф.

Епифания вытащила из кузова телеги торбу с овсом, обошла Гуню и надела кошель лошади на морду.

– Сестрица, ты ли? – вдруг услышала она.

Она оглянулась и вцепилась Гуне в гриву, чтобы не упасть. В проёме

входа в церковь стоял Авдоний.

– Отче... – прошептала Епифания.

Жар и холод волнами покатались по её плечам и животу. Тот, кого она искала все эти годы, стоял перед ней и ждал её; тот, чей бестелесный образ она берегла в душе как неприкасаемую святыню, явился в плоти и крови. Она открыла рот, задыхаясь, точно угорела. Она хотела броситься к Авдонию, но её шатнуло. Авдоний сразу всё понял и властным жестом без слов остановил Епифанию: погоди, сестрица, пусть уйдут Ремезовы.

Леонтий помог отцу спуститься из церкви по мосткам, и вдвоём они направились к башне Прямого взвоза, где работала артель Инборга. Башня находилась под мысом, на котором возвышалась столпная церковь, и сверху через стропила было видно, как шведы копошатся в каменном коробе здания, ещё не имеющего крыши: таскают носилки и по цепочке передают кирпичи.

Епифания сидела в телеге, еле удерживая привычный вид безразличия, но в душе её, прежде окостеневшей, что-то шевелилось и двигалось, будто в проваленной берлоге проснулся медведь и поднимается на лапы, вздымая на спине гору валежника и лесного опада. Она чувствовала, как пот течёт у неё между грудей. Едва Ремезовы скрылись, она вскочила и кинулась в храм.

Авдоний ждал её; она схватила его руки и принялась жадно целовать, не обращая внимания на других раскольников.

– Отче мой, отче, как я исстрадалась по тебе, – захлёбываясь, говорила она. – Без слова твоего как в пустыне жила... Рвалась к тебе, искала тебя...

– Господа восславим, сестрица, – Авдоний мягко освободил руки.

– Не чаяла тебя на земле увидеть, – всё говорила Епифания, обшаривая Авдония взглядом. – Хотела, чтоб убили меня, – на небе тебя обняла бы, да знала, что ты ещё здесь, ведь не было вести о твоём подвиге, а без тебя и на небе та же пытка ожидания...

Авдоний по-отечески погладил Епифанию по голове.

– Вот и привёл господь агнца к пастырю, – сказал он с удовлетворением.

Епифания, словно не веря себе, провела пальцами по скуле Авдония, коснулась повязки на его пустой глазнице. Там, на Сельге, он был подобен королевичу из сказки: светловолосый, ясноликий, улыбчивый, в плечах широкий, в поясе тонкий. А сейчас он ссутулился, плечи перекосило, зубы выбиты, и глаза нет... Но прежний образ легко растворялся в новом облике Авдония, и Епифания видела: это всё он, сельгинский инок.

– Что они с тобой сделали, иуды?

– А оно чтобы зорче видеть, сестрица, – улыбнулся Авдоний, поправляя повязку. – Тебя-то как в Тобольск принесло?

– Я за тебя Прокопию заплатила. Нож в него воткнула, – глаза Епифании сквозь слёзы блеснули ненавистью. – И меня в Сибирь погнали. А я знала, что здесь тебя найду.

– Господь услышал, сестрица. Он всё слышит.

– Бежать отсюда надо, отче!

– И уйдём, родная моя, – утешил Авдоний. – Нас тут много, все уйдём. Но не ныне, сестрица. Потерпи ещё, чуть-чуть осталось.

– Сколь угодно вытерплю! – страстно заверила Епифания.

– Ты поди сейчас в свою телегу, чтобы никто не узнал, что мы с тобой заединщики, – Авдоний легко подтолкнул Епифанию к выходу из церкви. – Прибегай сюда ночью. Там в подклете окошко есть на обрыв, караул его не видит, и моя цепь дотуда дотягивается. Там и поговорим от сердца.

Авдоний подвёл Епифанию к дверному проёму и вдогонку перекрестил двумя перстами. Раскольники, оставив работу, молча смотрели на встречу Авдония с незнакомой бабой. Авдоний, тихо улыбаясь, обернулся к своим.

– Вот и прислал господь нам избавление, братья, – сказал он.

Инока Авдония крестьянская дочь Алёнка Михайлова впервые увидела пять лет назад. Инок пришёл под Олонец из Выгорецкой обители и поставил себе скит на речке Сельге неподалёку от Верх-Погоста – деревни, где жила Алёнка. Верх-Погост был приписан к Олонецким заводам, и начальство следило, чтобы приписные следовали Никонову уставу. Но жители свирских и шуйских озёр и лесов держались раскола. Упрямый крестьянин Михайлов тайком привёл своих детей к сельгинскому инок, чтобы тот перекрестил их по древнему праведному обряду. Так Алёна стала Епифанией.

Она не очень понимала, почему окрестные мужики и бабы так часто ходят на Сельгу – и в праздники, и в будни, когда лучше было бы просто отдохнуть. Не понимала, почему старики перебираются на жительство в скит, прощаясь с роднёй, будто уходят в могилу. Инок говорил народу об Антихристе и конце света, о терновом венце и Каиновой печати, об огненной купели и небесных Кораблях, говорил о соловецких мучениках и мятежном протопопе Аввакуме. Но Епифании казалось, что инок рассказывает сказки: есть рай, и там всегда весна, и вечно цветут яблони, и нет там ни смерти, ни печали, и там поют птицы сирины и птицы алконосты, и бродят ручные львы с хвостами, на которых растут зелёные листья, и травы там шёлковые, и ветер медвяный, и в тихих водах резвятся

золотые рыбы.

Он стал сниться ей, этот инок Авдоний. Когда она думала о нём, тело раскалялось, словно камень в печи. От жара лопались нецелованные губы. Однажды она взяла гвоздь, накалила на огне и прожгла себе ладонь, но легче не стало. Она молилась, пила заговорённую воду с железа, надевала обувь с левой ноги на правую, а с правой на левую, дозволила соседскому парню тискать себя до боли, а её всё равно томило и пекло, и снился светловолосый инок. И тогда она пошла в скит и открылась Авдонию на исповеди.

Он сказал, что на земле им не соединиться. Она – отцовская дочь, а он дал обет господе. Но там, в небесном раю, кто любит – тот всегда со своим возлюбленным. Он скоро уйдёт туда. У него в скиту уже сотни душ, алчущих вознесенья. Он воздвигнет Корабль и вознесёт всех в небо. Ежели она хочет, пусть ждёт его зова. Он возьмёт её с собой, и они будут вместе. Епифания не сомневалась ни на миг: она прибежит, как только он окликнет. Из бабкиного узелка со «смёртной справой» она вытащила для себя саван, а узелок набила травой. Она понимала, что такое Корабль, но разве трудно потерпеть огонь, когда за ним – рукой подать – любовь и вечное блаженство?

В те дни к отцу Епифании явились сваты от Прокопия Логинова. В Верх-Погосте Прокопий считался человеком зажиточным, потому что брал подряды на заводах. Отец Епифании согласился на свадьбу. Однако для приписных крестьян требовалось ещё и согласие заводского начальства, и приказчик такого дозволения Прокопию не дал: вымогал деньги или какую-нибудь другую мзду. Прокопий, как и все в деревне, знал о ските на Сельге, и в уплату за дозволение на венец указал приказчику, где в лесах спрятался скит. За открытие раскольничьего убежища приказчик получил бы щедрую награду от олонцкого бургомистра. Военская команда рванулась на Сельгу. Скитники отчаянно отбивались колями и вилами, поубивали солдат, но их всё равно скрутили. Дым от горящего скита по сизому северному небу дополз до Верх-Погоста. Пленных ждала дыба, потом – кнут и Сибирь.

Епифания видела, как через её деревню проезжали телеги воинской команды. В одной из телег без памяти лежал инок Авдоний, залитый кровью. Прокопий полз за телегами по дороге и просил прощения. Но Епифания его не простила. Когда Прокопий пришёл уговариваться о женитьбе, Епифания схватила с печного шестка нож и ударила жениха в грудь, целясь в сердце.

В сердце она не попала, Прокопий остался жив, только поэтому Алёну

Михайлову и не повесили. Она думала, что её будут судить как раскольницу – церковным судом, и где-то на путях ссыльных раскольников она найдёт Авдония, но её судили как обычную злодейку, и в острог она угодила вместе с воровками, убийцами, поджигательницами и блудницами. Ей не хотелось вспоминать то, что она вынесла в тюрьмах и казематах, что с ней делали на царских верфях, на казённых работах и на государевых трактах. Она рвалась в рай со светлым иноком, а попала в пекло – и одна. Она не знала, выжил ли Авдоний, но если выжил, то его должны сослать в Сибирь. И она тоже стремилась в Сибирь, как будто Сибирь – это Олонецкий уезд, где все про всех знают. Однако господь смиростивился, и она нашла того, кого искала.

Епифания кинулась бы к Авдонию в ту же ночь, но выбраться из дома Ремезовых оказалось труднее, чем она полагала. Раньше она побаивалась собак, которых Ремезовы на ночь выпускали во двор, но после пожара оба пса, Чингиз и Батый, куда-то пропали. Однако их исчезновение не упростило побег. В горнице место Епифании находилось за печью, в бабьем куте, – дальше всего от выхода в сени. Когда Епифания пробовала прокрасться к двери, кто-нибудь да просыпался, чаще всего Варвара, которая боялась за детей, или Митрофановна, сон которой к старости стал непрочным и чутким. Ремезовских баб испугал необъяснимый и вероломный поджог, устроенный Аконеи, а Епифания ничем не заслужила доверия, и за ней следили.

На вторую ночь у неё тоже не получилось убежать, и на третью не получилось, и на четвёртую. Она была в одном шаге от того, чего так яростно желала, и никак не могла сделать этот шаг. Но Ремезовы не замечали, как в холопке разгорается гнев, даже Семён не замечал.

У мастерской уже отстроили второй ярус, сладили крыльцо с лестницей, врубили в верхний венец поперечные балки и настелили потолок, уложили на самцы длинные слегы-стропила и подпёрли их укосинами. Оставалось соорудить кровлю с желобами-потоками и тяжёлым охлупнем. А в подклете уже можно было жить. Как-то вечером Семён привёз в телеге большой новый сундук, окованный блестящими железными полосами.

– Это я тебе купил, – сказал он Епифании, испытующе глядя в глаза. – Куда поставить? В горницу или в подклет?

– В подклет, – помолчав, ответила Епифания.

Из подклета ночью проще убежать.

В эту ночь она легла с Семёном в постель. Её не волновал Семён, не волновало то, что он сделает. Она уже не была той девочкой, которая через

осинники бегала в Сельгинский скит; она давно извела мужиков – сполна и до отвращения; она знала их грубость и силу, их голодную спешку, их сбитое дыхание, собачью тряску задов и потные ладони, зажимающие ей рот. Но Семён оказался не таким. Он не рвал свой кусок, как нищий у нищего в драке за подавание. Он был нежен и даже робок, он смотрел благоговейно, его натруженные руки оказались не елово-колючими, а мягкими, словно лапы лиственя. Его власть не угнетала, а оберегала, и Епифания, закрыв глаза, отпустила себя. Ещё немного подождать – и она выскочит на волю. Можно даже вообразить, что рядом сейчас не Семён, а Авдоний: это он возлёт с ней, как муж с женой, это он, склоняясь, лелеет её, как огонёк в лампаде. Это он упросил господ, чтобы вокруг зацвели полевые цветы, запели жаворонки, и ветер отогнал облака от солнца. Сладкая судорога пробежала по Епифании, и потом её затопило горячим мёдом, окунуло в благодать, словно младенца в купель. Она отыскивала возлюбленного – и душа её оживала, а вместе с душой оживало тело, радуясь ласке, как выпущенная рыбка рада чистому ручью.

А потом Епифания долго лежала, ни о чём не думая. Ей уже не хотелось никуда идти. Но Семён уснул и всхрапнул, словно всхлипнул, – путь был свободен. Епифания приподнялась на локте, рассматривая Семёна. Он чем-то напомнил ей Авдония, хотя Авдоний был выше ростом, шире в плечах, стройнее, красивее... Был. Сейчас он, конечно, как чудище.

Епифания встала, надела рубаху и платье, перекрестилась на киот, сунула ноги в поршни, повязала платок, накинула кожан и вышла на улицу. Холодная, ключевая ночь чуть плескала звёздами в небе. Епифания свернула в огород, перелезла жерди забора и побежала вдоль светлеющего под луной склона Алафейских гор в сторону святой Софии.

Глава 13

Замордованные

Их было шестеро на дощанике – Келума, Нигла Евачин, Лелю, Етька, Лемата и князь Пантила Алачеев. Они были скованы общей длинной цепью, продетой сквозь кольца на ржавых железных ошейниках. Цепь не мешала им работать – вытягивать огромный невод-кошель. Вода у борта дощаника бурлила и взблёскивала от мечущейся рыбы, большие рыбыны бились в ячейх невода. Руками, обмотанными окровавленными тряпками, остяки хватались за узлы и волокни из реки толстые грубые снасти, склизкие от чёрного ила. Снасти спутанными кучами укладывались на мокрую палубу, заваленную полосатыми окунями, шипастой хищной стерлядью, сине-золотыми сига́ми, краснощёкой нельмой, гладкими и длинными тайменями, щуками, налимами, лещами, пелядью. Рыбы шевелились, извивались, прыгали, хлопали хвостами и зевали. Остяки, поскальзываясь, давили улов ногами.

Дул западный ветер, нёс холод с вогульских кряжей и гнал наискосок через Обь широкую волну. Дощаник то поднимало, то опускало; изредка он вдруг опоясывался кушаком шипящей пены; мачта-щегла качалась в небе, с тихим свистом перечёркивая остриём бледное незакатное солнце севера.

Дощаник принадлежал служилым из Берёзова. Палуба перекрывала его носовую часть, здесь и топтались остяки с неводом. Служилых было всего трое: есаул Полтиныч, Юрка и Терёха Мигунов. Полтиныч держал рукоять рулевого весла, подвешенного за кормой на крюках-сопцах, а Юрка и Терёха, стоя возле палубы на подмёте днища, лопатами выгребали рыбу из-под ног остяков и спихивали её под настил. Потом, когда вернутся на берег, остяки выгрузят добычу, выпотрошат и развесят сушиться; на стане за балаганом служилых по лугу торчали ряды жердей с верёвками, унизанными рыбинами.

А остяки изнемогали. У них нарывали босые ноги, израненные рыбьими костями. От работы выламывало спины, от сырости – локти и колени. Снасти обдирали ладони. Ветер трепал лохмотья. Служилые не морили своих невольников голодом, рыбы хватало, но и отдыхать не давали: с невода гнали на вёсла, с вёсел – на невод. Путина на Оби короткая, некогда разлёживаться.

– Нас шестеро, а их трое, Пантила, – глухо сказал Келума по-хантыйски, чтобы русские не поняли. – Даже в цепях мы сможем их всех

убить.

В глазах у князя Пантилы всё плыло, как в мороке. Он видел только край палубы и тусклую воду, из которой ползли сети, полные рыбы.

– Мы не будем их убивать, – с трудом ответил Пантила.

– Тогда мы умрём. У нас уже нет сил.

– Наш новый бог велел терпеть, Келума, – Пантила упрямо тянул верёвку неподъёмного невода. – Мы дали ему клятву.

Зимой в съезжей избе Филофей объяснял остякам-новокрещенам, в чём суть русской веры. Лесные боги не требовали от людей ничего, кроме жертв. А русский бог требовал, чтобы люди жили по его правилам. Он запрещал причинять зло другому человеку. Даже если этот человек плохой и заслужил кару, даже если он смеётся над твоим бездействием. Не причинять другому зла, даже если тебя никто не накажет за твоё зло, а то и похвалят; даже если тебе от твоей доброты будет только хуже; даже если этот другой – твой враг, и он хочет убить тебя, а ты должен защищаться. Нет. Нельзя причинять зло. Кто убережёт себя от зла, тот получит от бога вторую вечную жизнь в раю.

Душа князя Пантилы восставала против смирения. Почти все русские, которых знал Пантила, сами творили зло, будто бы о добре говорил не их бог, а чей-то чужой. И терпеть было невыносимо. Почему нельзя отомстить? Почему нельзя убежать? Это несправедливо! Но Филофей говорил, что все страдания есть испытания веры. Без них нельзя. Надо быть стойким. Это как на охоте: нужно перенести холод и голод, пока лежишь в укрытии, только тогда и добудешь осторожного и драгоценного зверя. И Пантила хотел быть хорошим охотником. Он дал богу клятву, что станет хорошим охотником. Да, жизнь коварна и жестока. Однако нарушать клятву – зло. Бог тоже ищет справедливости, и справедливо – когда люди исполняют свои обещанья.

– Ты плохой князь, – с ненавистью сказал Келума. – Айкони не терпела. Она сожгла русский дом и убила врага. И теперь она на свободе. Лучше, чтобы нашей княгиней была она, как твоя прабабка Анна, злая невестка Алачи.

– А мы будем терпеть, – упрямо повторил Пантила.

– Тогда мы умрём, – тоже повторил Келума.

– Бог нас спасёт, – сказал Пантила, хотя сам в это уже не верил.

Он не знал, во что ему сейчас верить. Лучшее, что они могли сделать, – просто выдержать нынешнюю путину. Покорно снести и страдания, и сомнения. Выжить, не причиняя зла, но без всяких надежд на свободу, возмездие или вторую жизнь. И в этом русский бог оказывался

прав.

Остяки смотрели только на снасти невода и не заметили, как внезапно всполошились служилые в дощанике.

– Провались ты! – плюнул Полтиныч. – Залетел грех под рясу!

– Ох, сгноит нас воевода в Обдорске, – сморщился Терёха.

– Не сгноит, – решительно сказал Юрка.

Прошло уже три года с того лета, когда берёзовские служилые обобрали Певлор, убили шамана и увезли в холопки остяцкую девчонку Айкони. Юрка отъелся, заматерел, освоил все подлости службы, и поэтому сейчас сразу сообразил, как им уберечься от гнева начальства. Он перехватил лопату и с силой ударил Келуму в поясницу. Келума вытягивал невод, подступив к самому краю палубы, и удар лопаты скинул его в воду. Келума не успел и вскрикнуть от неожиданности. Его цепь дёрнула Ниглу Евачина, и Нигла тоже полетел с палубы. Цепь Ниглы рванула за шею Лелю, цепь Лелю – Етьку, и оба они грузно бултыхнулись вслед за Келумой и Ниглой. Лемата схватился за ошейник, пытаясь устоять против рывка, но тяжесть четырёх человек уронила его и сбросила за борт, а за ним за борт швырнуло и князя Пантилу. Остяки орали и барахтались в волнах у дощаника, а сверху на них горами повалился спутанный невод и посыпались живые рыбыны.

Инородцы нижней Оби не умели плавать: их река даже в самую летнюю жару не прогревалась настолько, чтобы можно было искупаться. Для остяка упасть в воду означало утонуть. Вода, ледяная как смерть, разом обжала и опалила князя Пантилу со всех сторон, но в этой упругой и податливой стуже не было никакой опоры для рук или ног. Пантила позаячьи забился от страха, погрузившись с головой, вдохнул тяжёлого холода, разламывающего грудь, и, содрогаясь, увидел в прозрачно-тёмной толще невесомо клубящиеся сети и мечущихся рыбин. Потом перед его глазами мелькнули чёрные от осмолки бортовины дощаника, и Пантила ринулся к судну, впился пальцами в какие-то щели и пополз вверх, где сквозь кружева пены искрило солнце.

Он вынырнул, и на него как колпак нахлобучились звуки мира: плеск воды, крики тонущих, скрип снастей. Пантила поймался за жёсткую прядь конопатки, торчащую меж досок, но достать рукой до края борта не мог – борт был слишком высоким. Железный ошейник сдавил его горло, не давая отхаркнуть воду, залившую лёгкие; цепь, на которой висели и колотились, запутываясь в сетях, другие остяки, отрывала Пантилу от судна. Отчаянье сотрясло его, и прядь конопатки расплзалась в пальцах, как тина.

И там, в высоте над бортом, он внезапно увидел склонившегося над

ним человека – совсем чёрного против света, но вокруг его головы солнце засияло нимбом. Человек напоминал владыку Филофея. Конечно, владыка, крёстный отец, явился в гаснущее сознание князя, чтобы повести к русскому богу.

– Панфил! – прозвучало сверху.

Панфилом князя Пантилу Алачеева называли при крещении.

И сверху опустилась рука – настоящая, не бестелесная, старчески-жёсткая. Пантила ухватился за неё, что было сил, и рука властно потащила его наверх. Рядом с чёрным человеком появились другие чёрные люди; они ловили Пантилу за плечи, за одежду, за цепь на ошейнике, и волокли на борт.

Его бросили на палубу, ошейник ослаб, и Пантила в последней судороге наконец исторг из себя воду: корчась, изbleвал свою смерть. А служилые и казаки Филофея за цепь безжалостно вытаскивали из реки других остяков, обмотанных неводом, и тоже кидали их на палубу; монахи резали толстые верёвки ножами и тормозили утопленников, пока те не захрипят. Вплотную с берёзовским дощаником качался на волнах дощаник Филофея, взявшийся ниоткуда, словно сплывший с русских небес. Пантила увидел, как десятник Кирьян и казак Лёха поднимают на борт последнего из остяков – Келуму. Келума был мёртв и безвольно висел на цепи, будто огромный налим.

– Вяжить им руцы! – гневно приказал Новицкий своим людям, саблей указывая на берёзовских служилых. – Оскажэнили, вызвэрги!

Полтиныч, Терёха Мигунов и Юрка с опустошёнными рожам сидели на скамье в корме дощаника подле рукояти руля.

– Как ты сюда попал, старик? – сипло спросил Филофея Пантила.

– Да как обычно, – пожал плечами Филофей.

Как обычно, летом он двинулся по Оби. Команда у него была старая, привычная: Новицкий, монахи, казаки и служилые десятника Кондаурова. В этот год Филофей хотел уйти за Берёзов – до Обдорска, стоящего почти на краю Обской губы, или даже в Мангазею, если всё сложится удачно. Владыка надеялся отыскать самоедов, самых упрямых язычников севера. Самоеды жили кочевьем, пасли оленьи стада, почитали чёрных шаманов и не боялись пролить кровь: перебить русский отряд, сжечь русский острог, напасть на селение остяков и зарезать тех, кто надел русский крест и принял русскую веру; изловить злодеев в бесконечной тундре никто не сумел бы. А по пути владыка думал заглянуть в Певлор и навестить новокрещенов.

Но Певлор встретил владыку ужасом. Едва дощаник повернул к

берегу, жители Певлора выскочили из домов и заметались: мужики побежали к сараю выгонять оленей, бабы с младенцами на руках бросились к лесу, а за ними мальчишки поволокли по траве нарты с пожитками.

Дощаник выехал носом на отмель. Филофей, Новицкий и два монаха – отец Варнава и отец Герасим – пошли к селению. Мимо амбаров, сетей, развешенных на просушку, и зелёных травяных крыш остяцких домов плыла горькая мгла костров-дымокуров. На земле валялись потерянные в спешке вещи – шапки, капканы, упряжь. Вертелись выпущенные из загона собаки. Кое-где на брёвнышках тихо сидели никому не нужные старики и старухи с седыми космами и неподвижными, будто деревянными, лицами.

– Чому они уси сбэгли, яко мы волцы? – задумчиво спросил Новицкий.

От рыбацкого балагана на околице к Филофею не спеша шагал Ерофей Колоброд. Владыка сразу вспомнил этого хитрована, «гулящего человека».

– Благослови, отче, – поклонился Ерофей.

Филофей благословил.

– Опять ты здесь, Колоброд?

– Опять, отче. Всё на их угожьях промышляю.

– Честным ли порядком? – не удержался от сомнения владыка.

– Не честным, – усмехнулся Ерофей. – Пользуюсь чужим за бесплатно.

Я остякам совал деньги, да они не берут.

– Почему так? – помолчав, спросил владыка.

Он уже начал догадываться о том, что случилось с Певлором.

– Сам понимаешь, отче, – Ерофей смотрел в сторону. – Раздавили мы их.

За три года русские истерзали это мирное селение. Сначала берёзовские служилые Полтиныча обобрали Певлор, разорили капище, убили шамана и увезли в Берёзов девку. Потом Ерофей перепугал остяков, выкопав мёртвого шамана из мерзлоты. Потом сам Филофей убедил жителей сжечь идолов и «тёмный дом». Потом явились бухарцы с муллой. Потом Ахута поднял мятеж, и жители Певлора убили двух русских, а русские – шестерых остяков. Потом нагрянули служилые сотника Емельяна и угнали князя Пантилу и ещё десяток человек в Тобольск. Двух девок там продали на торгу.

– Но ведь князя Алачеева и других остяков губернатор отпустил.

– Отпустил, – согласился Ерофей. – Они вернулись. А весной комендант Толбузин прислал команду, захолопил твоих новокрещенов и увёз к себе.

– На дощаник, – сухо приказал своим Филофей. – Плывём в Берёзов.

Владыка не пожелал медлить и часа, пока новокрещены в неволе,

однако Новицкий не сразу отошёл от Ерофея.

– Може, ты знаэ дывчину тутошну – Аконю? – негромко спросил он. – Повэртавыся ли вона сюды додому?

– Знаю, – кивнул Ерофей. – Вернулась она. Только остяки её прогнали.

– И куды вона пышла? – разволновался Новицкий.

– А куда у них непримиримые уходят? – Ерофей пожал плечами. – Небось, к вогулам, где ельники-людоеды.

Дощаник Полтиныча владыка встретил уже через два дня. Служилые и казаки Филофея не сразу разглядели, что творится у берёзовских.

– Здаэтыся, рыбари, – щурясь, сказал Новицкий. – Нэ бачу покудо...

– У старости острый взгляд, Гриша. Это певлорские. Закованы они.

Служилые Филофея повязали Полтиныча, Терёху и Юрку. Комендант Толбузин должен судить их за умысел на смертоубийство. С новокрещенов сбили ошейники. Келуму похоронили на берегу и водрузили крест.

Владыка отпустил Ниглу, Лелю, Етьку и Лемату – пусть идут домой в Певлор, а Пантилу Филофей взял с собой в Берёзов. Всё-таки Пантила – не простой инородец, а князь древней остяцкой Коды, хотя сейчас от того княжества осталось лишь воспоминание. Но княжью честь рода Алачеевых признавал даже царь Алексей Михалыч. Два дощаника владыки уплыли вниз по Оби до устья реки Сосьвы и потом поднялись по Сосьве до Берёзова.

Филофей велел разбить стан за версту от города. Служилые соорудили шатры, а Филофей, Новицкий и Пантила отправились в город. Тропа вела через кладбище. На молочно-розовых полотнищах незакатного света вдали темнели деревянные острия острожных башен и колоколен, луковки церквей Берёзова. Меж могил торчала некошенная трава, кое-где росли мелкие ёлочки, старинные голбцы торчали косо, а некоторые и вовсе упали набок, словно в бессилии опёрлись рукой о землю. В тёплом воздухе ныли комары, издалека доносился звон колокола, пахло старыми досками и хвоей.

– Що цэ за пташки зроблены? – вдруг спросил Новицкий.

На верхних концах некоторых крестов были вырезаны сидящие голуби.

– Здесь остяков копают, которые верили, – угрюмо пояснил Пантила. – Их Толбуза загубил. Когда дитё лежит, ему остяки птицу-сон делают.

– Разве воевода и детей в работы гнал?

– Баб забирал, они с детьми были.

Тропа проходила мимо двух свежих могил, но эти могилы выглядели как-то пугающе странно: под крестами вытянулись утопленные в земле

низенькие домики из обтёсанных брёвен, накрытые двускатными дощатыми крышами. В стенках, где ноги покойника, были окошки, заткнутые пробками.

– Что за избушечки, Панфил? – удивился Филофей. – Зачем окошки?

– С мёртвыми говорить. Кормить их.

– Не по-христиански это. Кто здесь лежит?

– Вогулы, сыны князя Сатыги, – сказал Пантила. – Они на Конде жили в Балчарах. Сами захотели кресты надеть. Пришли сюда. Надели. Радовались. Воевода им сказал, пускай работают для него. Они стали работать. Верные были. Потом сила кончилась, они умерли.

– Як наши Борыс и Глэбо, – Новицкий задумчиво перекрестился.

– А избушечки почему? Они же крещёные.

– Князь Сатыга прибежал, отец. Кричал, плакал, сам хоронил. Нельзя отцу мешать. Шибко в горе был. Убежал в Балчары, хотел идолов рубить.

– Ко Христу обратился? – с надеждой спросил Филофей.

– Нет, – покачал головой Пантила. – В тех идолах плохие боги сидят, слабые, не помогли мальчикам. Сатыга их порубит, потом из кедра других идолов вырежет – для хороших богов.

– Можэ, до того Сатыге пидэмо, вотче? – предложил Новицкий. – Ежели вин сам выстуканов рубаэ, найкраций час його до Хрыстэ зазвати.

– Я подумаю, Гриша.

Они миновали покосившуюся часовню и оказались на утоптанной дороге, которая тянулась к овинам и оградкам Берёзовского посада.

– А ты, я вижу, разуверился, Панфил? – осторожно обратился к князю Филофей.

– Нельзя богу не показывать себя, – жёстко ответил Пантила. Он много думал об этом. – Бог должен исполнять просьбы.

– Нет, – спокойно возразил Филофей. – Тогда наша вера ничего не будет стоить. Попросил, получил – и всё. Вроде бы, хорошо, но душа твоя слабеет, когда не совершает усилий, и уже не может бороться со злом.

– Я не хочу, чтобы меня мучили из-за бога, – честно признался Пантила.

– Никто этого не хочет, но зла слишком много. Зато теперь ты стал дороже богу, чем я, потому что пострадал за веру в него.

– А я уже не верю! – в голосе Пантилы сквозило отчаянье. – Твой бог глухой, он не помогает! Может, его и нет вовсе?

– Он есть. Но в вере многое зависит от нас, а не от него. Если молишься – он слышит. Если слушаешь – он говорит. Если веришь – он делает.

Улицы Берёзова, шатко вихляясь, ползли вдоль Сосьвы по прибрежным холмам, разделённым «бояраками» – косматыми замусоренными оврагами. На самом осанистом бугре громоздился крепкий многобашенный острог, а слева и справа от него растянулись неряшливые посадки. Раздёрганные доски крыш, щелястые заплоты, бурьян, кривые створки ворот, лужи, всякий хлам в колеях – щепы, клочья соломы, обрывки шкур, тряпки, разбитое колесо, дохлая собака, раздавленная бочка. Многие служилые не обустроивались в Берёзове и не перевозили семей: отслужить бы свои годы – и прочь отсюда; зверовики здесь только летовали, а зимой расходились по заимкам; ссыльные не заводили хозяйств; обрусевшие инородцы не усвоили русского уклада. Всё здесь было как попало. Удивляло, что среди этого разора возвышались четыре храма с колокольнями, а пятый торчал над стенами Воскресенской обители: видимо, жителям Берёзова было о чём настойчиво просить небеса.

Филофей, Новицкий и Пантила шагали по улице к острогу, опасливо озираясь по сторонам. Новицкий держал ладонь на рукояти сабли. У крыльца кабака в грязи валялся пьяный остяк, одетый в царские меха. Маленький мальчонка в одной рваной рубашке вёл на верёвке тощую козу. Два мужика разбойного облика разговаривали у ворот, лузгая кедровые орехи, но при виде владыки торопливо скрылись во дворе. Из калитки кто-то широко выплеснул на улицу помой. Щипала бурьян унылая коняга, потерявшая хозяина. Длинные тени перечёркивали путь. Навстречу с ушатом под рукой прошла красивая баба и надменно отвернулась, не попросив благословения.

– Расколшыца, я гадаю, – пробормотал Новицкий.

Спасская башня стояла с открытым проездом: по мосту в острог пара лошадей затаскивала волокушу с брёвнами. Владыка оглядел башню, ярко освещённую низким солнцем. Четверик с повалом и пиками раската, висячая стрельница под лемеховой бочкой, два восьмерика и шатёр с распластанным двуглавым орлом, вырубленным из доски. В стену стрельницы врезан киот, а в нём чернеет чудотворная икона Смоленской Божией Матери. Спесивый воевода Толбузин отказался везти её в Тобольск поновить – боялся остаться без покровительства, и сейчас на иконе даже ликов не разобрать.

Филофей, Новицкий и Пантила вошли в острог. Здесь почему-то было дымно, как на лесосеке, когда сжигают ненужные сучья, пни и кору. Амбары, осадные дворы и заплоты, воеводский терем с острыми верхами, плоский зелейный погреб, накрытый зелёной земляной крышей, старинная гридница с гульбищем, казённые конюшни, аманатская изба, переделанная

под тюрьму, и всюду – пленницы. В тесном и тяжеловесном порядке острога ощущалась властная рука хозяина, но изнутри стало видно то, что не было заметно от Спасской башни: напольная стена крепости обветшала. Сейчас её ломали клеть за клетью, и на опустевших местах сразу возводили новые городни.

Работали здесь в основном инородцы, две артели по два десятка человек – исхудалых, оборванных и покорных. Одна артель баграми разваливала старые сооружения. Приказчик придирчиво оценивал брёвна и доски: авось что-то ещё можно использовать вдругорядь или хотя бы на дрова сгодится? Хлам сжигали в большом костре, который трещал в сухом рву; дым этого костра и затягивал острог. Другая артель складывала новые клетки: артельный размечал брёвна мерной верёвкой, а инородцы коваными пилами срезали лишние концы, тёслами выбирали пазы, по следам закатывали брёвна на сруб и составляли в венцы. За работниками наблюдал караул. Безобразно толстый комендант Толбузин сидел тут же на лавке и обмахивался шапкой.

– А, владыка, – усмехнулся он при виде Филофея, но не встал. – Явился-таки? Благословишь труды?

– Не благословлю, – спокойно ответил Филофей.

Впрочем, он понимал, что бесстыжего наглеца вроде Агапона не унять праведным гневом или призывами к совести.

– Значит, с тебя совсем никакой пользы нет, – хмыкнул Толбузин.

– Почто новокрещенов захолопил, Агапон Иваныч?

– Враки, – уверенно отпёрся Толбузин. – Я не холопил. Это барщина. Осенью отпущу, как отработают. Всё по закону.

– По какому закону?

– Ты их покрестил? Покрестил. От ясака на три года избавил? Избавил, – Толбузин прихлопнул комара на шее. – Значит, на три года они не ясачные инородцы, а казённые крестьяне, и таковым положена барщина.

– Оба мы знаем, что это лукавство, – сдержанно сказал Филофей. – А они умирают из-за твоей корысти, Агапон.

– Нет, батюшка,дохнут они из-за рвения твоего, – глумливо улыбнулся Толбузин. – Ты самоедов в тундре ополчил. Они теперь боятся, что ты к ним придёшь и тоже их покрестишь, как этих остяков. Прошлым летом они к Обдорску подступались, Юильский острожек сожгли, на Казыме пограбили, приказчика в Самотлоре утопили, моим людям грозили. А у меня крепость вся трухлявая. Кому её твердить? Служилые на службах, им не до топоров.

– И спорить не буду, – сказал Филофей. – Ищи других работников, а

новокрещенов сей же час отпусти. Сердце у тебя жестокое, Агапон.

– Обедню отслужи об умягчении моего сердца.

– Пожалуй, я попроще поступлю, – Филофей, размышляя, смотрел на стройку. – Ты ведь уже не воевода, которого Сибирский приказ назначает, а комендант, и тебя назначает губернатор. Я ему жалобу на тебя напишу. А не внемлет Матвей Петрович – пожалуюсь в Сенат или государю.

Толбузин угрюмо смолчал. Филофей пригрозил ему по-настоящему.

Пантила слушал спор владыки и коменданта очень внимательно. Да, Толбуза – свирепый зверь, но хороший князь. Люди Толбузы живут в достатке и не противятся ему, хотя и боятся его злобы. Почему же у Толбузы всё хорошо, а у него, Пантилы, – всё плохо? Потому что Толбуза даже в своей жадности и жестокости идёт до конца, а он, Пантила, останавливается на полпути. Он спалил идолов, но не надел креста – и прибежали бухарцы со своим Аллахом. Он родовой князь Алачеев, но уступил Ахуте, и случился мятеж. И сейчас то же самое. Он надел крест, но усомнился в русском боге, и этим наверняка снова навлечёт на Певлор какие-нибудь беды.

Владыка Филофей тоже идёт до конца – так было там, в горящем чуме, – поэтому и побеждает: спасает от смерти и надевает кресты. Он не испугался мертвеца в «тёмном доме», и Певлор отказался от идолов. Он освободил остяков из тюрьмы в Тобольске, он вытащил их из воды, когда их топили, и он добьётся, чтобы Толбуза отпустил новокрещенов. Ему, князю Пантиле, надо учиться идти до конца. И учиться, конечно, не у Толбузы, а у Филофея.

На стан они возвращались прежним путём через посад и кладбище. Новицкий опять увидел могилы-домики сыновей вогульского князя Сатыги и сразу вспомнил слова Ерофея, что Айкони могла укрыться у вогулов.

– Агапон сказав, що самоэдцы ныне зовсим озвирэли, – неуверенно заговорил Новицкий. – Що накажэш, вотче? Пидэмо до них? Або, можэ, краще до вогулычей, иде тот Сатыга выдоллов порубыв?

– Чего мы достигнем, Гриша, ежели под ножи ляжем? – горько ответил Филофей. – Только остервенение умножим. Так что к вогулам пойдём. Самое время. Князь Панфил, ты растолкуешь нам дорогу от Берёзова до Конды?

– Я сам проведу, – хмуро сказал Пантила. – Я с вами пойду, старик.

– Это правильно, – улыбнулся Филофей. – Тогда называй меня «отче».

Глава 14

Нужды Отечества

Раскрасневшись от волнения, Карп Изотыч стоял в лёгком полупоклоне и торопливо зачитывал с листов опись. Он частил, словно боялся, что Матвей Петрович осерчает и перебьёт его каким-нибудь ужасным приказом, вроде, к примеру, «схватить мошенника и заковать его в железо!». Правда, в кабинете у Гагарина они были вдвоём, и заковывать обер-коменданта было некому.

– Изъял и в казённые амбары сложил подбрусников и подзатыльников на две рубли, меди сырой дельной и не дельной на пять рублей, всякой мелочи москательной на шесть рублей, воску на пять рублей с четвертью, дюжину поставов холста хряща, сорок аршин камок немецких, двадцать локтей крашенины, четыре дюжины тарелей оловянных, свинца три пуда, и ещё лисиц в пушную казну чёрно-бурых, красно-бурых и седых скопом сто тридцать штук, из них восемь сиводушчатых, и лисьих труб шесть штук...

– Утомил, Карпушка! – сморщился Гагарин. – Я тебе не подьячий, ты мне единым числом по деньгам назови!

– Так как же посчитать, коли сёдни одну цену дают, завтра другую? – прижав бумаги к груди, виновато сказал Бибилов. – Как продадим, так я тебе всякую копеечку в реестрике на каждую строку припишу, милостивец!

– Да уж, концов у тебя не сыщешь, – понимающе ухмыльнулся Гагарин.

За стеной послышался грубый шум, резные двери распахнулись, и в кабинет спиной вперёд влетел лакей Капитон, внахлёт укутанный сорванной портьерой. Руками он пытался оттолкнуть какого-то офицера.

– Без доклада не дозволено! – вопил он.

– Прочь с дороги, шельма! – уверенно рявкнул офицер.

Матвей Петрович с одного взгляда оценил, кто перед ним. Зелёный камзол – значит, преображенец. На груди золочёный горжет с золочёным орлом – значит, полковник. Красные чулки – значит, боевой офицер, который под Нарвой по колено в крови сражался. Полный набор орлёных пуговиц и на бортах камзола, и на обшлагах, и на чулках – значит, дотошный малый.

– Полковник Бухгольц Иван Дмитриевич, – представился офицер, снял треуголку и вытянулся во фронт с треуголкой в левой руке.

– Ступай, Капитон, – распорядился Гагарин. – Карпушка, ты тоже вон

поди, потом закончим. Остановились на лисицах, я запомнил.

– Здравия желаю вам, господин губернатор! – продолжил полковник, переждав, когда Капитон и Бибилов уберутся из кабинета. – Прибыл по указу государя для сбора войск с целью гишпедии на достижение золотоносных рек града Яркенд. Извольте принять высочайший рескрипт.

Бухгольц вытащил из рукава сложенную бумагу и протянул Гагарину.

– Ну, давай, – согласился Матвей Петрович. – С июня тебя жду...

Матвей Петрович развернул листы и быстро пробежал глазами кудрявую секретарскую скоропись с росчерками и лигатурами.

– Да ты, брат, знатный вояка, – с уважением сказал Гагарин.

Этот Бухгольц был из обрусевших немцев. Отец его служил сам и обоих сыновей отдал на службу в потешное войско царевича Петра. Восемнадцати годов Ваню Бухгольца приняли в Преображенский полк. Ага, война. Под Азовом ранили, потом Нарвская конфузия, потом Нарвская виктория, так, так, потом, ясное дело, Полтава, куда ж без неё. Государь ценил свои победы и доверялся тем, кто в самоотвержении помогал ему эти победы добывать.

– А где твои сотоварищи, Иван Митрич? – спросил Матвей Петрович.

– Извольте на двор, господин губернатор.

Бибилов никуда не ушёл, проныра: толкался среди дворни у крыльца губернаторского дома, хотел поглазеть, что тут будет. Поодаль от крыльца стояли возы с поклажей и вытянулась сиротливая шеренга из полутора десятков военных. Тот, что справа, держал на плече зачехлённый прапор. С высоты лестницы Гагарин с удивлением обозрел коротенький строй.

– Маловато для войны с джунгарами, – разочарованно сказал он.

– Баталий в походе указано не чинить, – отрезал Бухгольц.

Он держался так сурово, будто привёл семь полков.

– Я думал, человек сто офицеров царь Пётр пришлёт...

– Не могу обсуждать волю государя.

Гагарин и Бухгольц спустились с крыльца и приблизились к строю.

– Майор Шторбен, капитан Ожаровский, поручик Каландер, – Бухгольц начал представлять подчинённых, – поручик Демарин, поручик Кузьмичёв, подпоручик Ежов, подпоручик Келлер, сержант Назимов, далее солдаты.

– Ну, царю видней, сколько вас здесь надобно, – пробормотал Гагарин.

– Имею предписание набрать в Тобольске два полка рекрутов, а тако же канониров и шквадрон из пленных шведов. Государь дозволил верстать в полки шведских офицеров, дабы восполнить недостаток командования. Офицеры обучат рекрутов экзерциции и ружейному делу.

– Хорошо придумано, а кто шведам платить будет? – сразу спросил Матвей Петрович. – Швед – не наш Ваня, он без рубля не высморкается.

– Сию экономию оставим для конфиденции, господин губернатор.

Конечно, Пётр поступает по своему обыкновению: выдумал невиданное предприятие, нахватал исполнять его первых встречных, сколько их сдуру царю в лапы попало, а дале свалил все заботы на любезных подданных – хоть наизнанку выворачивайтесь, а доведите замысел до ума, или повешу.

Матвей Петрович остановился возле молодого офицера, который старательно выкатывал грудь и таращил глаза, и дёрнул его за свисающую нитку на камзоле. Нитка осталась от оборванной пуговицы.

– Вижу, пообтёрхались вы в дороге. Ну, не беда, не беда. Разместим вас на жительство по добрым подворьям, там оправитесь.

– За ущерб артикула штрафую тремя караулами, господин Демарин, – тотчас объявил офицеру Бухгольц.

– Слушаюсь, господин полковник! – отбарабанил поручик Демарин.

– За что же так немилосердно мальчишку?

– В походе он пуговицу потерял, а в бою патрон потеряет, – хмуро и строго пояснил Бухгольц. – Я им отец, я их учу.

– Изотыч, – окликнул Гагарин Бибику, – разведи их на постой.

Карп Изотыч поклонился. Он наблюдал за Гагариным и Бухгольцем и быстро сообразил, что этого Демарина ему следует поселить у Ремезовых. Тощий, голенастый, как петушонок, неухоженный – самое то. Карп Изотыч боялся грозного Ульяныча и надеялся разжалобить его заморышем вроде Демарина, чтобы архитектор не сильно ругался.

– Пойдём, бедолага, – сочувственно сказал Бибиков Демарину.

– Я не бедолага, господин обер-комендант, – гордо ответил юнец.

Во дворе у Ремезовых на солнце стоял верстак; Семён Ульяныч, закатав рукава, точными и плавными движениями строгал доску рубанком. Леонтий вытащил из сарая телегу и за раму держал её на весу, пока Петяка насаживал на ось, смазанную дёгтем, новое колесо с железной шиной. Маша из сита кормила гусей нарубленным клевером вперемешку с морковью.

– Тега-тега-тега-тега, – приговаривала она.

Все Ремезовы оглянулись на гостей, вошедших в калитку. Демарин нёс в руке сундучок. Карп Изотыч стащил шапку, чтобы быть убедительнее.

– Бог помощь, Ульяныч, будь здоров, Левонтий, Машенька, Петенька, храни господь, – сыпал он.

– Тебе чего, Изотыч? – Ремезов глядел с подозрением.

– Вот фицера вам на постой привёл. Указ Матвей Петровича...

– Откуда ещё фицер? – Ремезов недовольно выпрямился. – Война, что ль, какая грянула, а мы проспали?

– У него и спросишь, – Карп Изотыч подтолкнула Демарина вперёд. – Ванюшей, значит, Демариным зовут. Любите и жалуйте.

Маша, приоткрыв рот, радостно смотрела на молодого постояльца, но Ремезова Демарин не заинтересовал. Семён Ульяныч впери́л гневный взгляд в Биби́кова, и Карп Изотыч попятился, корчась в безмолвных извинениях.

– Так и скажи, Карп! – загремел Ремезов. – На` тебе, старик, нахлебника на горб! Ты у нас в Тобольске самый богатый, вот и корми проглата!

– Я не нахлебник, господин Ремезов! – громко сказал оскорблённый Демарин. – Я по воле государя сюда прибыл в заботе об нуждах отечества!

– О моих бы нуждах кто позаботился! – в сердцах ответил Ремезов.

А полковник Бухгольц в это время сидел в Приказной палате, вернее, в губернской канцелярии, и Матвей Петрович отчитывался о приготовлениях к экспедиции на Яркенд. Зачехлённое знамя стояло в углу.

– Срок-то ещё невеликий прошёл, – говорил Гагарин, – я три месяца назад только вернулся. Распоряженья раздал, но когда ещё всё исполнят: немалое дело и делается не быстро... Ты когда в поход двинуться намерен?

– Думаю, грядущей весной.

Секретарь Дитмер положил на стол перед Бухгольцем две книги.

– В эту, господин полковник, я велел списать все повеления господина губернатора, касающиеся вашего снаряжения. Здесь указы о рекрутском наборе, о постройке дощаников, о закупке провианта и фуража, о пригоне лошадей, о пошиве мундиров, однако мы образцами не располагаем...

– Образцы дам.

– Двадцать пушек уже на Каменском заводе льют, – вспомнил Гагарин. – Тысячу фузей на моём ружейном дворе изладят.

– Тысячу мало.

– Докупим в Невьянске у Демидова.

– Я с собой мушкетные кремни, новые винты и пружины доброго уклада привёз, – сказал Бухгольц. – Прикажете принять и оружейникам выдать.

– А эта книга, господин полковник, с реестром необходимых припасов, – Дитмер открыл другую книгу и показал старательно написанные столбцы. – Я по строкам расчертил для удобства учитывания, но цифр ещё нет. Прошу вас проверить, всё ли предусмотрено и нет ли

упущений.

– Барабаны требуется изготовить, – проведя по столбцам пальцем, сразу заметил Бухгольц.

«Сам ты барабан», – подумал Гагарин.

– Ты из шведов? – спросил Бухгольц, цепко приглядываясь к Дитмеру. – Не желаешь занять у меня должность обер-каптенармуса?

– Благодарю вас, господин полковник, – вежливо ответил Дитмер. – Я весьма удовлетворён своей службой при персоне господина губернатора.

Матвей Петрович понял, что ему не нравится Бухгольц. Много спеси, мало почтения, и мысли – короткие и прямые, будто поленья. Да и внешне Бухгольц был каким-то армейским, неприступным: коренастый; крутой лоб как чугунок; маленькие, как пули, глазки; литой раздвоенный подбородок; плечи и кулаки – словно пушечные ядра; грудь бочкой, а ноги толстые – на таких хорошо в штыки на супротивника идти, не подогнутся. Но Бухгольц был нужен Матвею Петровичу, очень нужен, поэтому надо мириться с ним.

– А на жительство размещайся у меня, – радушно предложил Матвей Петрович. – Позабочусь о тебе, Иван... как по батюшке-то, запомнил?

– Дмитриевич, – сухо сообщил Бухгольц. – Но предпочту ординацию, господин губернатор. А расположиться желаю в воинском присутствии.

– По-нашему – на Драгунском подворье, что ли? Только там служилые.

– Оных в штате более не будет, – решительно заявил Бухгольц. – Государь приказал по губерниям иметь регулярное войско. На Tobольск назначено два полка и один полк на Иркутск. Служилых я разгоню; ежели кто сохранит пристрастие к воинскому делу, тех приму по артикулу согласно их умениям сержантами, подпрапорщиками иль бо капралами. Те два полка, которые в нынешнюю зиму из рекрутов приготовим, по возвращению из гишпедиции останутся в Tobольске на гарнизонном содержании.

– Вот как повернулось! – удивился Гагарин.

Это его очень обрадовало. Матвей Петрович давно хотел выбраться из-под власти Васьки Чередова. Чередов заворовался, возомнил себя первой силой в Сибири, угрожал непокорством, тартыга, припомнив бунты, которые полыхнули вокруг Байкала после славного воеводства братьев Гагариных. Вот и пришло для Васьки время расчёта. Долг платежом красен.

– Тогда пойдём на подворье, – предложил Матвей Петрович Бухгольцу.

За маленькими окошками уже за вечерело, но в общей палате все дьяки и подьячие, вернее, канцеляристы и копиисты, сидели за своими столами: ежели губернатор не уходит, то и казённой шелупони тоже нельзя домой.

На улице под «галдареей» в траве сидели просители и челобитчики, одуревшие от жары, – они ещё надеялись попасть к нужному чиновнику. Вытоптанные горячие улочки Воеводского двора покрывала багровая пыль. Закат сочно позолотил шатры башен и кровли изб, словно облил доски мёдом.

– В каждом полку должно быть два баталиона, премьер-майорский и секунд-майорский, – шагая, говорил Бухгольц; на плече, как ружьё, он нёс зачехлённое знамя. – В каждом баталионе четыре роты, в каждой роте четыре плутонга. Итого в полку тысяча человек. В обывательских домах солдатам жить не по артикулу, им надобно построить гарнизонные избы.

– Ты, полковник, на мою казну упал, будто коршун на цыплёнка, – недовольно пробормотал Гагарин.

– Царь повелел – я делаю. Это и есть служба.

У раскрытых ворот Драгунского подворья на лавочке развалился сторож из служилых. При виде начальства он даже не встал, лишь подобрал вытянутые ноги. Бухгольц походя сбил со сторожа шапку.

– Весь аксиомат поменяю, – сказал он с презрением. – Чтобы не пьянь ленивая о забор чесалась, а караул стоял под паролем, и пушки наготове.

На дворе служилые разгружали какой-то обоз: ругались и галдели, не обращая внимания на губернатора и офицера в камзоле, развязывали мешки, делили какую-то добычу; дюжий драгун вытащил из телеги чужой кафтан и, примеривая, с треском напялил на широкие плечи.

– Порвёшь, Сашка! – заорали на него. – Ни себе ни людям!

Бухгольц скривился.

У столба пороли голого по пояс мужика.

– Будешь долги отдавать, псина? – допытывался служилый с плетью.

В избе Драгунского полка пахло кислятиной грязных онучей, пирогами и перегаром. Полковник Васька Чередов сидел на лавке босой и латал сапог толстой смолёной дратвой, умело орудуя шилом. Второй сапог стоял рядом. Сотник Емельян, неизменный приятель и собутыльник Чередова, на другой лавке играл в зернь с денщиком полковника.

– Се Василь Егорыч Чередов, командир нашей тобольской воинской силы, – ухмыляясь, сообщил Гагарин.

– Здравия желаю, господин полковник, – с презрением сказал Бухгольц.

– А я на здравие не жалуюсь, – откусывая дратву, ответил Чередов.

Бухгольц прошёл к окну и бережно установил знамя в простенок. Потом хладнокровно взял за шкурку денщика и швырнул к двери. Денщик, всё сообразив, со стуком исчез в сенях. Емельян ладонью сгрёб с лавки

зернь и ссыпал в деревянный стаканчик, а стаканчик сунул за пазуху.

– Убирайся, Емеля, – дружески посоветовал Матвей Петрович.

Емельян ловко отвёл плечо, чтобы Бухгольц его не цапнул, и встал.

– Зови, ежели чего, Вася, – сказал он. – Я у коновязей.

Чередов угрюмо смотрел на Гагарина и Бухгольца и шевелил пальцами босых ног. Он не заробел, но драться с приезжим офицером не стоило.

– Откняжил ты, Вася, – со злорадным удовлетворением сообщил Матвей Петрович. – Вот господин Бухгольц прибыл, будет новые полки из рекрутов обучать, а твои служилые пущай катятся. Дурную траву с поля вон.

Чередов помолчал, переваривая страшное известие, но его одичалая рожа даже не дрогнула. Матвей Петрович догадывался: полковник пытается понять, что стряслось. Как так? Чинил сапог – и вдруг конец службы! Но по Tobольску не первый год бродили слухи, что царь разгоняет старые войска. Стрельцов он уже давно приговорил. На Дону казаков ущемил. В Казани и Уфе заменил служилых людей на строевых солдат в париках и камзолах.

– Нешто отставка моим драгунам?

– Завтра бумагу напишу. Господин Бухгольц начнёт принимать у тебя амуницию вашу, оружие, коней и припасы.

– Шутишь или пугаешь, Петрович? – придя в себя, сощурился Чередов.

– Государь повелел регулярную армию заводить, – сказал Бухгольц, изучающе разглядывая Чередова. – А швальникам отлуп по всем статьям.

Чередов медленно разгладил пальцем сидящие усы. Под видом наглого безразличия и уверенности, что он тут незаменим, Чередов лихорадочно размышлял, как ему вывернуться, сохранив свои выгоды и вольности.

– Знаем мы уже таких кудрявых, – с наигранной ленцой произнёс он. – Сибирь охранять – дело не плёвое. Без нас не управиться. Рекруты – они ведь королюбые, господин офицер, ружья от ухвата не отличают.

– Шведов наймём, – легко возразил Гагарин. – Обучат.

Бухгольц прошёлся по горнице, одёргивая камзол.

– Твои бусыги – не полк, а кабак, разврат для народа, – сказал он. – И бездельцев с ворами я не потерплю. Сие подворье забираю под гарнизонную дирекцию. Ступай, Чередов, объяви, что служилым людям отпуск.

– А коли забунтуем? – Чередов пристально посмотрел на Гагарина, напоминая о своей давней угрозе. – Нас много, а ваших сколько?

Бухголец только помотал головой в бессильной досаде.

– Ты дурак, что ли, Чередов? – спросил он. – Против царя попрёшь? Иди давай к своей бабе, пока позора не случилось.

Он пнул по сапогу Чередова так, что сапог улетел в сени.

Этот вечер выдался непростым и у Ремезовых.

Летом всё семейство ужинало во дворе у крыльца за большим, наскоро сколоченным столом. Семён Ульянович восседал во главе, а справа и слева располагались все прочие: Митрофановна, Леонтий, Варвара с Танюшкой и Федюнькой, Семён, Петька, Маша, Лёшка с Лёнкой и Епифания. Ваньку Демарина, нового постояльца, Семён Ульяныч из вредности хотел усадить в самом конце, напротив Епифании, как приживальщика, но Митрофановна незаметно ткнула мужа в бок кулаком и поместила гостя рядом с Петькой. Ели откидной творог с хлебом из большой деревянной миски.

– И как ты, Ванька, такой зелёный, сразу фицером стал? – поддевал Семён Ульяныч. – Небось батька твой кошель кому надо занёс?

– Мой батюшка – подьячий в московской судной канцелярии, у него на мзду денег не было, – с достоинством ответил Демарин. – Я сам пробивался, Семён Ульянович, потому как желал чести любезному отечеству служить!

Ваня не врал. Отец учил его чтению, счёту и письму и надеялся потом пристроить к себе копиистом, но Ваня мечтал пойти на войну. Он услышал о Навигацкой школе и как-то раз, укрывшись в арке Сухаревой башни, сумел подкараулить самого Якова Вилимовича Брюса, начальника школы. Ваня кинулся Брюсу в ноги, и Брюс велел принять недоросля на испытание.

– Значит, думаю, под Полтавой ты два полка шведов пикой заколол? – не унимался Семён Ульяныч.

– Что ты Ваню подъедаешь, батюшка? – с обидой спросила Маша.

– Помалкивай, Марья! – Ремезов стукнул кулаком. – Уже он ей Ваня!

Маша покраснела. И вовсе ей не понравился этот Ванька. Худой, как щепка, и волосы длинные, будто у девки, – для фицерской косы вместо парика. В Тобольске парни рослые; Володька Легостаев выше Ваньки на полголовы, да и в плечах куда шире. Был бы Ванька покрасивее, так ещё куда ни шло, а он на лицо как все, обычный. Однако всё же веселее, ежели фицер у них на житьё останется, а то дома и поговорить, кроме Петьки, не с кем.

– Под Полтавой мне биться по годам не довелось! – сердито ответил Демарин. – Однако же чин свой за бой под Щецином я честно получил! Меня сам князь Меншиков из сержантов сразу в поручики произвёл!

По правде говоря, никакого великого сраженья под Щецином не было. Шведы два месяца сидели за куртинами ретраншемента и отстреливались с бастионов. Лишь один раз небольшой шведский отряд – видимо, разведка, – попробовал по дамбе прорваться из осады. Ваня, тогда сержант, командовал плутоном, поставленным на дамбе в караул. Его солдаты заметили шведов, шведы начали стрелять, и Ваня бросил солдат в дескурацию; после короткой штыковой стычки шведы побежали. В том бою плутоны Вани побил десяток врагов, одного Ваня заколол сам, и ещё с десяток шведов попало в плен. Но всё равно это был настоящий бой, Ваня не трусил и мог погибнуть.

– Ефимья, шапки мои в помойно ведро брось! – Ремезов продолжал заирать Демарина. – Мне теперь в шапке при таком ерое ходить нельзя!

– Ты, Вань, и для сержанта тоже молод, – осторожно заметил Леонтий.

– После Навигацкой школы я за границей учился, – пояснил Демарин. – Как вернулся, так сразу и определили в полк сержантом.

– За границей – где? – загорелся Петька.

– В Саксонии и Голландии по году на пенсионе.

– И как там поживают саксоны и галаны? – спросил Ремезов.

Ваня видел, что неугомонный старик просто дразнит его, но не мог сдаться, потому что на него смотрела Маша. Он сразу заметил эту девчонку Ремезовых – лупоглазую, большеротую и белобрысую – и даже не подумал, интересна ли она ему, а сразу решил показать себя бравым офицером и вообще человеком, повидавшим мир; она должна им восхититься, и точка.

– Правильно они поживают, Семён Ульянович! – твёрдо сказал Ваня. – Порядок уважают, не воруют, дома каменные, улицы мощёные!

– Куда нам, мухоголотам! – воскликнул Ремезов. – Ложку в ухо несём! Слава богу, Ванька Демарин приехал! Саксоны да галаны его через пруттик прыгать выучили, авось он и нам заморской мудрости отсыплет!

– Дурного-то в учёбе нет, батюшка, – примиряющее сказал Семён. – Ты же сам нас с Лёнькой в Москву учиться возил.

– Так то в Москву, а то к немцам! Сравнил, Сенька, чесотку с крестным знамением! Он бы ещё в Китай поехал учиться пшено спичками хватать! Будто наше войско без саксонов с галанами Карлушку не разобьёт!

– Он не Карлушка, а король Карл! – закипая, возмутился Ваня. – Ежели врага не уважать, так и своя виктория цену потеряет!

– А-а-а, прихвостень шведский! – завопил Семён Ульянович.

Он и сам не знал, что это он так ополчился на шведов. Чужие народы всегда были ему любопытны: и остяки, и татары, и джунгары, и бухарцы, и китайцы. Он дружил с Филиппкой Таббертом. Он уважал шведов за то, что

они работающие и честные. Шведы строили его канал, башню на взвозе и кремль. Они хорошие мужики. А ему, наверное, просто хотелось осадить этого строптивного мальчишку, который едва-едва постарше Машки, а уже побывал там, где самому Семёну Ульяновичу, увы, никогда не побывать.

– Я не прихвостень шведский! – гневно крикнул в ответ Ваня. – Я на шведов с багинетом ходил! Я за царя Петра жизнь отдам бестрепетно!

Семён тихонько перекрестился. Леонтий сокрушённо покачал головой: ничего, мол, не могу поделать. Маша спрятала глаза. Петька, затаившись, ждал: авось подерутся? Варвара спокойно вытирала Танюшке щёки платком.

– Ну, разъярились, петухи, – привычно вздохнула Митрофановна, наливая в кружку молоко для гостя. – Держи, Ванечка, на службе такого не дадут... А ты не пузырься, старый, весь творог уже из миски раскидал!

Часть четвёртая

Тигры перед дракой

Глава 1

Кода – Конда

У моего деда был свой дед, русские звали его Иваном, – рассказывал Пантила. – Отец того Ивана – князь Игичей Алачеев, он Ермака встречал. А мать – Анути, дочь Пуртея, русские звали её княгиней Анной Пуртеевой. Она великая баба была, всю Коду погоняла, как собачью упряжку.

Филофей и Пантила шагали по едва приметной тропинке над речным обрывом. Бесконечное серебряное поле Оби тускло рябило внизу и размыто истаивало в белёсой мгле по окоёму. Душа томилась в призрачной пустоте северной ночи. Высокие иззубренные ели казались задранными к небу плотницкими пилами. Мёртвый бурелом искалеченно вздымался из моховых толщ, навеки застыв страдальческими образами увечий. Тёмная и бесплотная тайга, лишённая солнца и теней, была выморочной, словно отсюда ушёл бог.

Пантила вёл владыку на руины Кодского городка, заброшенной столицы древней и славной Коды. Давным- давно, ещё до Ермака, обская Кода была сильнее Пелымского княжества вогулов и Пегой орды селькупов, сильнее Обдора, Казыма, Ляпина и Куновата. Она уступала только Сибирскому ханству татар с их устрашающим Искером и угасающей Чинги-Турой. На берегах Оби вздымались частоколы четырнадцати остяцких крепостей. Главный идол Коды – Палтыш-болван, Старик-С-Половиной-Бороды, – стоял по пояс в груди мехов на мольбище у стен Кодского городка.

Когда пришёл непобедимый Ермак, князь Игичей Алачеев уклонился от опасного союза с ханом Кучумом, потому Кода и уцелела. После гибели атамана при дележе добычи на Баише хитрый Игичей забрал чудотворную кольчугу Ермака. Шаман натянул её на резное тулово Палтыш-болвана.

Под русскими воинственными Коды стала служилой. Кодские князья легко приняли веру Христову и получили «оклад» от русских царей, а сама Кода кормилась хлебным жалованьем от Москвы. За эти выгоды дружины остяков ходили в походы вместе с казачьими отрядами: строили остроги и давили мятежи самоеди, вогулов, селькупов и тунгусов. Из походов воины Коды приводили в городища «погромный ясырь» – невольников. Кода богатела на русском порыве к востоку и на яростном сопротивлении таёжных инородцев. Князь Игичей умер, и княжить стала его железная вдова – Анна Пуртеева.

– Значит, Панфил, твой род уже больше века православный? – спросил Филофей, на ходу отводя от лица еловую лапу.

– Не так, – Панфил покачал головой. – Анна Пуртея только словами говорила, что верит в крест, а сама, и дети её, кланялись Палтыш-болвану и держали у себя шамана. Внук её, Митька, даже давал шаману живых девок, чтобы резать для Старика-С-Половиной-Бороды. Старик кровь пить хотел.

Злая баба Анна Пуртеева была той волчицей, которая всегда смотрит в лес, сколько её ни корми. Когда новый русский воевода Салтыков умер в Верхотурье, не добравшись до Тобольска, Анна сразу послала по городищам краснопёрую стрелу с шаманской рожей на острие – призывала восстать против русских. Трусливый шаман из Люликара выдал княгиню. Воевода Катырев-Ростовский изловил её и вместе с сыном Михаилом отправил в Москву. Но царь Василий Шуйский изнемогал в борьбе с Лжедмитриями, ему не нужны были смуты в Сибири, и он простил княгиню Анну, а Михаила Алачеева утвердил князем Коды. Анна вернулась и княжила вместо сына.

Через двадцать лет Михаил умер, и князем стал его сын Дмитрий, но власть над Кодой, как и прежде, была у бабки. А Митька-внук распоясался. В Кодском городке к тому времени стояли уже три церкви: Благовещенская, Троицкая и Соловецких чудотворцев. Бесстыжий Митька прогнал попов, чтобы не мешали шаману камлать, и повадился для потехи палить из пищали по крестам на храмах. Богослужебную утварь и книги он продавал купцам и ямщикам. Архиепископ Герасим этого не стерпел и потребовал у воеводы князя Куракина унять нечестивцев. Воеводские служилые нагрянули в Коду, сняли с церкви крест, покрытый «пулешными язвами», сковали бабку и внука Алачеевых цепью и увезли в Тобольск. Сначала их держали в Знаменской обители на покаянии, потом отослали в Москву. Царь Алексей Михайлович не казнил князей Алачеевых, но повелел отлучить их от Коды и отправить на достойное жительство в город Яренск. Там Алачеевы и умерли.

Княгиня Анна правила Кодой сорок лет.

Филофей увлёкся рассказом Пантилы и не заметил, что они уже идут по былому Кодскому городку. Глухая тайга сменилась каким-то раздёрганным лесом: кусты, бугры и прогалы, заросшие бурьяном, – а бурьян бывает только там, где жили люди; берёзовые рощицы, еловые колки и тоска запустения, бестелесная, как пепельный свет сумеречной северной полночи. Филофей понял, что ямы-гураны, откуда торчат трухлявые брёвна и растут молодые берёзы, – это остатки жилищ Кодского городка. А косые тёмные громады, едва различимые в гуще ельников, –

заброшенные деревянные церкви.

– Почему городок забросили? – спросил Филофей.

– Старуху увезли, приехали чёрные русские. Сказали кормить их, кланяться, работать. Остяки не хотели. Ушли, где Певлор.

Филофей понял. После княгини Анны Пуртеевой в храмы вернулись священники. Остяков заставили взять их на содержание. Остяки покинули Кодский городок, убралась от него подальше и основали Певлор.

Кодский городок превратился в Кодский монастырь, учреждённый при архиепископе Симеоне. Московским самодержцам чем-то приглянулась эта далёкая обитель: «государево богомолье» на кумирне Палтыш-болвана, суровая крепость веры среди непролазной языческой тайги, благовест над медвежьими берлогами. При игумене Иванище, прозванном Кондинским, монастырь изрядно раздобыл на щедрых вкладах. Иванище завёл мельницу, маслобойню, коптильные сараи для рыбы, слюдяные мастерские и кузницы, где ковали железо, выплавленное из раздробленных прибрежных валунов. В Тобольске у Бухарского моста Кодская обитель имела своё подворье, а на Исети – заимку с крепостными. Никто не думал, что обитель падёт.

Филофей знал, в чём дело. Игумен Иванище внезапно ударился в раскол и сбежал из монастыря вместе со своим подельником старцем Авраамкой Венгерским. Потрясённая обитель не сумела оправиться от потери. Монахи потихоньку разбрелись, и Кодский монастырь обезлюдел. Когда Филофей приехал в Тобольск, на Коде опустили в могилу последнего инокa.

Три старые деревянные церкви стояли неподалёку друг от друга в окружении высоких елей и лиственных зарослей. Два храма были клетскими, с высокими щипцовыми крышами: один побольше, с колокольной, главой и крытым гульбищем; другой поменьше, с луковкой и висячим крыльцом. Третий храм был столпный с прирубами: к восьмерику с востока примыкал пятигранный алтарь, с запада – длинная трапезная; верх венчала корона из куполов. Филофею дико было видеть эти сложные сооружения вросшими в глухой лес: они уже словно бы утратили свою рукотворность и чужеродность и тихо растворялись среди деревьев, подростa и бурелома.

От холодов и непогод брёвна почернели. Лестницы обвалились, вместо них торчали кусты. Косяки в окнах ссохлись и выпали, окна зияли нежилой пустотой. Крутые кровли, шатры и раскаты, зеленеющие мхом, кое-где были рассечены узкими и длинными щелями – здесь не хватало тесин. Луковки рябили дырами: это осыпались чешуйки лемеха. Храмы были

мертвы. По ребру колокольни вверх пробежала юркая серая белка.

– А крепко ведь церкви сделаны, – с печалью сказал Филофей. – Столько лет без ухода – и всё равно стоят.

– Анна строила.

– Могучая была княгиня. Неукротимая, – вздохнул Филофей. – Надо верить, Панфил, что на смертном одре она покаялась и вернулась к Христу.

– Она не покаялась, отче, – ответил Пантила.

Он знал точно, потому что однажды встретил Анну здесь. Встретил ещё мальчиком, но запомнил навсегда. В ту осень отец за какой-то нуждой ходил в Кодский городок и взял с собой сына. Ночью Пантила проснулся у костра, и ему померещилось, что кто-то бродит среди мёртвых храмов. Он решил посмотреть, обошёл одну церковь, другую – и за третьей увидел княгиню. Она почти растворилась в дождливой тьме, где угрюмо багровели заросли рябины. Сначала Пантила подумал, что в листву пощипать ягоды влезла безрогая лосиха, а потом понял, что там стоит высокая баба в русской рубахе и красном сарафане, только голова у бабы лосиная. Баба нагибала к морде рябиновые кисти и обирала их длинными губами. Кем могло быть это лесное чудище? Только княгиней Анной, которая после смерти вернулась домой.

– Может, и не покаялась, – согласился Филофей. – Но ты ведь не тёмный охотник, князь Панфил. Ты думаешь. Ты должен понимать, что не бывает такого: вечером надел крест, утром проснулся – и уже веришь безоглядно. Всех одолевают сомнения. Я тоже сомневался. Даже апостол сомневался. Но вера – не то место, где ты пребываешь в блаженстве, а то место, к которому всегда стремишься. Вера – это усилие к ней, а не успокоение. Когда надобно выбирать, выбирай так, будто бог есть, даже если тебе сейчас кажется иначе. Вот это и называют верой, Панфил. Иного не дано. Твои предки уступили дьяволу. Теперь твоя очередь быть в борении. И ты должен победить.

Заброшенная Кодская обитель попалась им на пути в Балчары – в селение вогульского князя Сатыги. Сатыга потерял в Берёзове двух сыновей и в гневе на богов грозился порубить своих родовых идолов. Дощаник Филофея поднялся по Оби до Самаровского яма, немного проплыл вверх по Иртышу и повернул в устье Конды. Здесь были уже вогульские земли.

Вогулы столкнулись с русскими раньше всех прочих народов Сибири. Ещё за век до Ермака, а то и раньше, вогулы набегами обрушивались на окраинные русские княжества – на Пермь Старую по реке Вычегде и Пермь Великую по реке Колве. В ответ обозлённые русские дружины ходили

через Поясовые горы войной до самой вогульской столицы – до городка Пелым.

После «Ермакова взятия» непокорство аукнулось вогулам большой кровью. Казачьи отряды, усиленные ратями служилой Коды, перепахали вогульские дебри. В заповедной отчей тайге полегли вогульские ополчения; жителей мятежных селений угнали в неволю; вогульские князья древних родов попали в плен, их увезли в Москву и казнили. Зачарованные чащи вогулов были безжалостно рассечены просеками государевых Сибирских трактов: первый прошёл путём Ермака от реки Серебряной до Тагильского острожка; второй от реки Вишеры протянулся до Лозьвинского острога и острога Пелым; третий, нынешний, начался от Соликамска Бабиновской дорогой и после Верхотурья катился по Туре и Тоболу.

До Балчар, деревни князя Сатыги, дощаник Филофей добрался за две недели. Филофей ещё не бывал у вогулов. Он думал, что их селения ничем не отличаются от остяцких вроде Певлора, но оказалось не так. Остяки жили в больших общих полуземлянках, а вогулы, подобно русским, строили избы для каждой семьи отдельно, но избы толпились по берегу Конды как попало, кучей без улиц. Вогульские дома углами опирались на вкопанные короткие сваи, будто стояли на ножках; стены были сложены из расколотых пополам и затёсанных брёвен – их острия торчали во все стороны на разную длину; окна-щели были прорублены почти под свесом крыш – в окна выходил дым очагов; вместо дверей висели шкуры. Двускатные кровли вогулы застилали толстым слоем лапника, его прижимали слегами; верхние концы слег были связаны попарно и перекрещивались над гребнями крыш. На подворьях, огороженных жердями, росли старые ели, корячились какие-то кривые и приземистые строения и охотничьи амбары на столбах. Вогульская деревня выглядела диковатой и сказочной, словно стадо таёжных страшилищ – когтистых, рогатых и обросших рыжей шерстью сухой хвои.

– Яких тильки чудэс у лисах нэ надывишьси, – пробормотал Новицкий.

Григорий Ильич помнил слова Ерофея, что Айкони укрылась у вогулов, и сейчас его тревожило странное ощущение, будто девчонка где-то здесь, но прячется. Новицкому показалось, что рогатые дома вогулов своей природой родственны Аконе, ведь она тоже была полудиким таёжным страшилищем.

Никто не вышел на берег, чтобы встретить дощаник. Впрочем, вогулы не придавали значения внезапным появлениям русских – привыкли к ним.

– Чем-то они там все заняты, – задумчиво заметил Филофей.

Вогулы – и взрослые, и дети, – гомоня, толпились вокруг дома князя Сатыги – во дворе и возле тына. Посреди двора на коленях стоял плачущий старик с седыми косами; накрутив косы на кулак, его держал дюжий воин. Князь Сатыга прохаживался перед стариком с ножом в руке. Сатыга чем-то напоминал крысу: мелкий, с умным и недобрым лицом, с цепким взглядом.

– Или Медный Гусь промолчал, когда ты задавал ему свои вопросы, Ромбандей, или ты не услышал ответов Гуса, – по-мансийски говорил Сатыга старику. – Значит, уши тебе больше не нужны. Держи его, Ванго.

Филофей, а за ним Новицкий, Пантила Алачеев, служилые и казаки протолкались через толпу ближе к Сатыге.

Сатыга подошёл к плачущему Ромбандею, взял его за ухо, примерился и в одно движение бестрепетно отмахнул оттянутое ухо ножом. Ромбандей жалобно закричал, задёргался, однако даже не попытался вырваться из рук воина Ванго. Кровь потекла по скуле и шее старика. Сатыга равнодушно отшвырнул отрезанное ухо под ноги толпе, для удобства переложил нож в левую руку и взялся за другое ухо Ромбандея, собираясь отсечь и его. Но внезапно Сатыге на запястье решительно легла ладонь Филофея.

– Не надо, князь Сатыга, – негромко сказал Филофей.

Сатыгу не удивило и не смутило, что на его дворе как из-под земли объявились какие-то русские и полезли в его дела. Русские всегда приходят без приглашения, а он, князь, сейчас в своём праве наказывать Ромбандея.

– Ты знаешь меня? – по-русски спросил Сатыга.

– Знаю.

– Это главный русский шаман, – пояснил Пантила по-мансийски.

– Отпусти старика, не терзай, – попросил Филофей.

Сатыга быстро и внимательно оглядел владыку и его спутников. Никто из них не держался за рукоять сабли или ножа. Значит, они хотят всё уладить миром. Это хорошо. Ромбандей виноват, и наказать его – правильно; если эти русские желают нарушить правильный порядок вещей, пусть платят.

– Тогда купи ухо Ромбандея, – сразу предложил Сатыга.

Он опустил нож и смотрел испытующе. Ромбандей стонал. Владыка растерянно провёл ладонями по рясе, но у него и карманов не было.

– Братцы, есть монета? – обернувшись к своим, спросил владыка.

Кирьян Кондауров, усмехаясь, протянул алтын. Сатыга взял монету, повертел в пальцах, оценивая, и сунул нож в ножны на поясе.

– Отпусти старика, Ванго, – приказал он по-мансийски. – Ромбандей, твоё ухо принадлежит ему, – Сатыга ткнул пальцем в Филофея.

Старик осел, прижимая руку к окровавленной скуле.

– Всё, идите отсюда! – крикнул толпе Сатыга и пошагал к дому.

Филофей поспешил за вогулом.

– Я хочу поговорить с тобой...

– Я князь, – через плечо бросил Сатыга. – Ты не подарил никакой вещи. Князь не говорит без подарка.

Русские никогда не предлагали вогулам ничего хорошего, и русский шаман не заинтересовал Сатыгу. Князь поднялся к себе в дом по бревну с высеченными ступеньками, отодвинул кожаный полог и скрылся. Филофей сокрушённо покачал головой: язычник с норовом, просто так не подпускает. Вогулы расходились. Любопытства у них русские тоже не вызывали.

– Андрюшка, слетай к нам на дощаник, – попросил Филофей служилого помоложе, – достань мне из короба красный кафтан, сапоги и шапку.

Парень убежал, а Филофей, Пантила и Новицкий остались ждать его во дворе у Сатыги. По опустевшему двору, зажимая рукой кровоточащую рану, бродил Ромбандей и, наклоняясь, искал в истоптанной траве своё ухо.

– Медный Гусь – вогульский бог? – спросил Филофей у Пантилы.

– Главный идол в Балчарах.

– А старик – шаман?

– Нет, Ромбандей просто слуга для Гуся. У вогулов нет шаманов, как у нас в Певлоре был Хемьюга. У вогулов редко-редко шаманят сами князья, как Нахрач Евплов в Ваентуре. Но Сатыга не шаманит. Не умеет. Так все говорят. Ромбандей носит жертвы Гусю от Сатыги, просит за Сатыгу, хочет понять, что Гусь скажет. Только не понимает. Или Гусь молчит.

Во двор вернулся служилый Андрюха, принёс свёрток под мышкой.

– Панфил, передай вогулу наши подарки, – Филофей устало присел на лавку возле ворот низкого щелястого сарая, крытого мхом. – Ты ведь тоже князь, тебе, небось, дозволено к другому князю без спроса войти.

Ждать пришлось долго: Сатыга придирчиво изучал дары, примерял и обдумывал их ценность. Наконец он пригласил гостей к себе в дом.

– Я слышал, ты порубил идолов, князь Сатыга? – спросил Филофей.

– Я давал своим богам щедрую пищу, чтобы боги спасли моих сыновей. Я кормил Медного Гуся. Но мои сыновья умерли. И Тояр умер, и красивый Молдан, – гневно ответил Сатыга по-русски. – Тогда я отрубил идолам их бесполезные головы. Трусливый Ромбандей убежал на Юконду, но Ванго поймал его. Я отрезал бы ему оба уха, но ты купил одно из них.

– Я понимаю твоё горе, князь, – искренне сказал Филофей.

– Нет, ты не понимаешь, старик! – непримиримо ответил Сатыга.

Он говорил так, будто Филофей был виноват перед ним. Филофей глядел на озлобленного Сатыгу с сочувствием. Вогула жаль. У него рухнул привычный мир: он лишился и богов, и продолжателей своего княжеского рода. Сейчас он на грани. Или он качнётся в сторону ненависти ко всему свету, сделает новых идолов и окончательно предастся сатане, или примет Христа, чтобы скорбь и ярость не сгубили его душу.

– Ты дарёмно рэзав вухи Ромбандэя, княже, – сказал Новицкий. – Твои сыны принялы нашего бога. Ваши боги не могли йим допомогти.

– Я видел, как они умирали, и Тояр, и красивый Молдан, – добавил Пантила. – Они не сняли крестов. Сейчас они на небе.

– Будь с ними в одной вере, князь, – предложил Филофей, – и ты снова обретёшь своих сыновей.

– Русский бог вернёт их сюда, на Конду? – криво ухмыльнулся Сатыга. Филофей покачал головой:

– Он не будет этого делать.

– Тогда он бесполезен, как мои идолы.

Филофей, Новицкий и Пантила сидели у стены на лавке, длинной и низкой, а Сатыга сидел напротив, и лавка у него была короткой и высокой. Он уже вырядился в русские обновы: нахлобучил шапку, напялил красный кафтан и натянул сапоги. Филофей незаметно осматривался. Владыка ещё не бывал в вогульских домах. Многое можно понять о народе, когда знаешь, как народ обустривает свои жилища. Обширная горница. Лавки и коробка застелены шкурами. Пол из плах. Вместо потолка – настил из редких жердей, с них свисают привязанные мешочки и пучки трав. Волоковые окна. На стенах развешаны одежды, силки, упряжь, луки и колчаны со стрелами. В ближнем к двери углу сооружён загончик, там стучат копытцами козлята. В дальнем углу – очаг из обмазанных глиной камней; он лежит на мощном срубе, и сверху приделана долблёная труба, протыкающая потолок и крышу. Очаг топился, и возле котла молча сутились две бабы – жёны Сатыги.

– Твоим сыновьям, князь, наш бог даст вторую и вечную жизнь, – терпеливо объяснил Филофей. – Ты ещё встретишь и обнимешь их, когда сам получишь жизнь после смерти. Но для этого нужно уничтожить идолов, уничтожить Медного Гуся, а потом принять крещение.

– Ты всей Оби обещал вторую жизнь, – сварливо ответил Сатыга. – Но я, когда умру, и без твоего бога увижу своих сыновей возле костров предков. От бога мне нужна польза здесь, в доме. Что он мне даст в обмен на Гуся?

– Он даст утешение.

– Моё горе – пожар. Его не залить слезами.

– Я не знаю, Сатыга, как у Христа получается утешать людей, – честно сказал Филофей. – Горе входит в ту дверь, которую человек открывает ему сам. А Христос эту дверь закрывает, вот и всё.

Сатыга размышлял, шевеля бровями. Филофей понимал, что вогул сравнивает выгоды. Язычники всегда требовали зримой помощи от бога и деятельного вмешательства небес в свои дела, требовали перемены участи и немедленного вознаграждения. А этот князец оказался корыстным вдвойне.

Наконец Сатыга определил, что ему сейчас важнее.

– Мне шибко нужен такой бог, чтобы я не плакал по сыновьям. Я даю ему Медного Гуся, а он пусть прогонит моё горе. Мы сожжём Гуся сегодня.

Язычники не оттягивали исполнение своих решений: сказано – сделано.

– Ропаска, позови мне Ванго, – приказал Сатыга младшей жене.

Вечером толпа вогулов двинулась из Балчар на дальнюю поляну, где находился Медный Гусь. Сатыга был сосредоточен и ожесточён, он хотел наказать равнодушного идола. Филофей, Пантила, Новицкий, монахи и служилые шли позади всех, чтобы не раздражать инородцев.

На Конде летними ночами солнце всё-таки опускалось за край земли, но заря заката почти смыкалась с зарёй рассвета. Сквозь частый перебор стволов жарового сосняка жгуче пламенели узкие щели багряного неба. Ухал филин. Нежными волнами колыхались заросли пернатого папоротника. Над землёй стелилась тонкая мгла, плывущая с речки Яурьи, где горели сухие болота.

Ванго уже приготовил Гуся к сожжению. Вогулы, тихо переговариваясь, окружили старую ель, стоящую посреди елани. Эта ель и была идолом.

Зелёный от окиси Гусь был откован с большой круглой дырой в тулове. Сотню лет назад этой дырой его насадили на молодую ёлку, словно обод на бочонок. Ёлка выросла и подняла Гуся, а Гусь прочно врос в дерево, как кольцо вырастает в палец. В сравнении с огромной елью Гусь казался совсем маленьким; чтобы он не затерялся, хранители обрубали ёлке все сучья на высоту в три сажени от земли, однако две широкие ветви они оставили, и ветви простирались над травой, точно хвойные крылья Гуся. Ствол под Гусём был толсто обмотан всяким истлевшим от времени тряпьём и шкурами – приношениями вогулов. Сейчас воин Ванго обложил тряпичный кокон лапником, хворостом и поломанным сухостоем и разжёг рядом костёр.

– Медный Гусь – бог птиц, – прошептал Пантила. – Ему делают гнездо.

– Навищо его на ялину нанизали?

– Чтобы не улетел.

Сатыга обошёл ель кругом, хмуро разглядывая Гуся. Выгибая длинную шею, Гусь смотрел в гаснущее небо. Медная птица не таила в себе ни злобы, ни угрозы, но Филофей не сомневался, что в ней сидит демон. Гусь показался владыке дьявольским змеем, который обвинил еловый ствол и, задрав острую, будто наконечник копья, голову, беззвучно шипит на солнце.

– Отринь колебания, князь, – сказал Филофей Сатыге.

Подняв ворох искр, Сатыга вытащил из костра Ванго горящую ветку и поджёг хвост под Гусём, потом обогнул дерево и поджёг с другой стороны. Огонь побежал по сушняку, затрещал, разгораясь, и быстро охватил ствол с намотанным тряпьем, будто обнял. Вогулы отступали от палящего зноя. Свет снизу сказочно озарил изнутри мохнатый еловый шатёр над Гусём. Из пламени забили густые клокочущие струи дыма – белые и чёрные; они заklubились под хвойным сводом, будто в ловушке, и, прибывая, заволокли Гуся. Высокая ель по пояс возвышалась из бурного дымного облака.

Внезапно потянуло ветром из тайги, словно оттуда что-то полетело на подмогу. Дымная туча зашевелилась, как живая, из неё начали выдуваться странные объёмы, и она, оплывая, потекла вокруг священной ели, вращаясь, подобно призрачной юбке. Из клубов в зловещем полу- мраке вылепились огромные седые крылья. Они помели по траве, набирая мощь и скорость, и воронкой закрутился крылатый смерч с елью вместо оси. Вогулы завопили. Сатыга приник к земле. Вихрь сорвал с Новицкого треуголку и покатил к лесу; Новицкий, заслоняясь рукой, загородил собой Филофея. Но Филофей стоял прямо и широко крестился, его длинные волосы вздыбились, а бороду снесло на сторону. Пантила, оторопев, попятился; в благоговейном ужасе он осознал, что костёр разбудил какую-то неведомую и страшную силу.

Из дыма образовалась зыбкая чудовищная птица – Гусь. Воздев крылья и выгнув шею, Гусь потянулся к владыке. Глаза адской птицы тлели углями. Гусь раскрыл клюв идохнул на владыку жаром, осыпав его белым пеплом, а потом могуче и гулко хлопнул крыльями – каждое как парус – и взмыл в воздух, окутанный яркими искрами. Огонь костра освободился от гнетущей мглы и взвыл, бросившись вверх по стволу дерева. Дымовой Гусь пронёсся над поляной и растворился в небе, оставив в пустоте туманные пряди.

Священная ель горела единым рыжим пламенем от корней до вершины, высветив всю поляну и шевелящийся лес на опушке. Разбежавшиеся вогулы потрясённо смотрели на пожарище. Лица их были как из меди.

– Такого дэмона извэргнули, очам нэ повирю, – пробормотал Новицкий.

– Велик господь, и необорима сила его, – ответил Филофей.

А князь Пантила Алачеев тяжело дышал, не зная, что делать. В его душе всё ворочалось и переваливалось, переключаясь как-то по-другому. Ему случалось встречать таёжных богов: такое бывает – редко, но бывает. Но не бывает, чтобы таёжный бог отступил перед человеком. Можно разрубить на части или сжечь идола, но отогнать бога человек не в силах. А сейчас бог бежал. Это чудо. И оно явлено ему, князю Пантиле Алачееву. Явлено так, чтобы он понял. И явлено вовсе не Филофеем, ведь старик – не шаман.

Пантила подошёл к Филофею, словно проваливаясь при каждом шаге.

– Это был сатана? – робко спросил он.

– Подручный его, – спокойно пояснил Филофей.

Взволнованному Пантиле казалось, что перед ним открываются какие-то бесконечные дороги, его наделяют какими-то небывалыми силами, ему обещают какие-то невероятные свершения. Распахивался мир, который шире тайги, длиннее Оби и выше северного сияния. И Пантиле хотелось как-то отблагодарить неведомо кого за то, что его пустили в это великое и светлое пространство, хотелось доказать, что он достоин доверия, хотелось отдать всего себя, заплатить бесценным даром за бесценный дар.

– Помнишь, я говорил о Палтыш-болване? – горячо спросил Пантила у Филофея. – Мой предок Игичей надел на него железную рубаху Ермака.

– Помню, – кивнул Филофей, испытующе вглядываясь в Пантилу.

– Эта рубаха священная! Я найду её для тебя! – заверил Пантила.

– Тебе виднее, чем господу послужить, – осторожно сказал Филофей, чтобы своим незнанием не задуть веру остяка. – Эти леса – твои.

А князь Сатыга в досаде плюнул в сторону горящей ели и принялся отряхиваться от пепла, которым дохнул Медный Гусь. Воин Ванго подобрал в траве новую шапку Сатыги и подал её князю.

– Мы не сожгли Гуся, – мрачно сказал Сатыга по-мансийски, обеими руками водружая шапку на голову. – Гусь улетел. Он самый сильный бог.

Глава 2

Дракону в пасть

Из Тобольска их караван отправился в Тюмень, потом были Туринск, Верхотурье и Соликамск, потом – Кайгород, Вятка и Казань. Из Казани купцы с товарами повернули на Москву, а посольство – в Симбирск. Волга, русская Янцзы, не произвела впечатления на Тулишэня. Судов на Янцзы было куда больше, чем на Волге. Об этом Тулишэнь тоже упомянул в своих «Записках». Он тщательно собирал все сведения о России: сколько в городах жителей и торговых лавок, какие воинские укрепления, велико ли жалование у солдат. Тулишэнь высчитывал расстояния в ли; выяснял, какие в России реки, откуда и куда текут, какая в них рыба; расспрашивал о плодородии полей, о злаках, овощах и скотине; непременно узнавал, какие налоги платят крестьяне и ремесленники, кто собирает налоги, как наказывают должников? О русской погоде, зимних холодах, летнем зное и весенних паводках Тулишэнь мог судить по собственному опыту. Добытые сведения он старался изложить красивым литературным языком, достойным поклонника Ли Бо. К тому же Тулишэнь надеялся, что император Канси прочтёт его сочинения, восхитится изяществом слога своего заргучея и приблизит его к себе.

Обоз с заргучеями, торгоутами, толмачами и слугами по-прежнему был под охраной тобольского шквадрона полуполковника Ступина. Даотай Гагарин присоединил к посольству своего шпиона – цзолина Лоренца Ланга; этот молодой лейтенант попал в плен к русским и в Сибири принял русское подданство. В городе Саратове послов ожидал манзик Аюки-хана.

Аюка, предупреждённый письмом канцлера графа Головкина, готовился к прибытию китайцев. У астраханского обер-коменданта Михайлы Чирикова он затребовал расписной струг, запас сарачинского пшена, фиников, грецких орехов и водки, а также сотню драгун с барабанами, дудками и потешными пушками. Калмыцкий караул перевёз посольство на правый берег Волги, и процессия двинулась в степь, в урочище Мантухотай, на стан Аюки.

Степной ветер трепал витые хвосты разноцветных знамён заргучеев и длинную голубую бахрому на ханском шатре. Усатые русские драгуны били в барабаны, дудели и палили в воздух из пушчонок. Место встречи окружила огромная конная толпа «срамных калмыков»; ханские охранники-дайчины держали любопытных в отдалении: в тех, кто

приблизится, они без предупреждения пускали затупленные стрелы. Заргучеи спешили. Главный посол Агадай вынул из деревянной шкатулки грамоту Сюань-Е, написанную на золотой бумаге, поднял её над головой и медленно пошёл к шатру первым.

Знаменитый хан Аюка был семидесятилетним стариком – темнолицым, морщинистым и худым, как монах из монастыря Джебунг. Он сидел в кресле на персидском ковре. Заргучеев усадили по правую руку от Аюки, а слева расположились тайши-советники. Чинный велеречивый разговор Агадая и Аюки касался байсэ Абаджура, племянника Аюки, который вместе с матерью и своими дайчинами на десять лет застрял в Китае из-за войны с джунгарами. Абаджура следовало спроводить обратно к дяде на Волгу, хотя байсэ ничуть не печалился о родных улусах и беззаботно кочевал по раздольным угодьям, дарованным ему Канси к северу от Великой стены у заставы Цзяюйгуань. Якобы племянника при возвращении надо было уберечь от каракалпаков и казахов, а свирепые джунгары Цэван-Рабдана не замышляют злодеяния: их утихомирил посланник хя Килитей. Все тревоги о родиче Аюки были ложью. Тулишэнь это знал. И Аюка знал. Знали заргучеи и тайши, знали губернатор Гагарин и канцлер Головкин, и государь с богдыханом тоже знали. Посольство явилось к Аюке, чтобы убедить калмыков напасть на джунгар.

О подлинной цели своего путешествия Тулишэнь поговорил с Аюкой потом наедине. Аюка был владельцем строптивым и своевольным, но вопрос о войне калмыков с джунгарами решал всё-таки не он, а царь Пётр. Заргучеи и хан Аюка несколько недель ждали гонца от царя или от Сената. Калмыки развлекали послов своими дикими забавами – загонными охотами на конях и рыбной ловлей. Для заргучеев, городских жителей, привыкших к покою канцелярий Лифаньюаня, степные увеселения были одним страданием. А Тулишэнь постепенно догадывался, что гонец не прискачет и не позовёт его в столицу – значит, царь Пётр отказывает богдыхану в услуге. Напрасно он, Тулишэнь, учил наизусть из грамоты императора мудрые ответы русскому царю, заранее заготовленные на тот случай, если царь его о чём-то спросит.

И вот сейчас, уже на обратном пути, Тулишэнь снова встречался в Тобольске с князем Гагариным. Обер-комендант Бибилов, помня о дружбе китаец с губернатором, отвёл заргучею лучшие палаты Гостиного двора.

Тулишэнь угощал Матвея Петровича китайским чаем пуэр; за два года странствий заргучей ещё сохранил в поклаже, завернув в пергамент, четыре тяжёлых, будто смолистых гнезда пуэра. Тулишэнь вдумчиво волховал возле чабана – низенького чайного столика из лакированного вишнёвого

дерева; в столешнице были прорези в виде иероглифов «синица» и «благословение», а под столешницу задвигался медный поддон для сбора ополосков. Толстой лисьей кистью Тулишэнь плавно обмахнул чайник изнутри и поместил в него две щепоти заварки. Медный сосуд с водой нагревался на масляной горелке; Тулишэнь подхватил его, когда шум воды достиг состояния «выдох спящего барса», и красиво налил воду в чайник ровной струйкой толщиной в мизинец наложницы Шу, при этом трижды подняв и опустив сосуд, чтобы кипяток напитался воздухом и силой падения. Матвей Петрович сидел поодаль от чабана и ждал. Тулишэнь говорил, а толмач Кузьма Чонг переводил:

– Мой господин сообщает господину наместнику, что соблюсти все правила чаепития с гостем – значит оказать ему большое уважение. Мой господин надеется, что эта честь смягчит горечь того известия, которое он привёз господину наместнику.

Под сводами палат благоухало по-иноземному. Матвей Петрович шумно приняхивался, как собака, изображая почтение к обычаям китайцев. Хотя, по правде говоря, богдойский чай всё же лучше, чем у царя Петра матросский кофий-горлодёр, который хочется украдкой сплюнуть под стол.

– Знаю я его известие, – небрежно ответил Матвей Петрович Чонгу. – Аюка не пойдёт на джунгар. А я предупреждал Тулишэня о том.

– Это лишь голова дракона, – перевёл Чонг.

Он сидел на скамеечке на расстоянии собственной тени от чабана, чтобы своим запахом не повредить настроению чая.

– И что у дракона в пасти? – хмыкнул Матвей Петрович.

– А в пасти дракон держит решение богдыхана, подобного солнцу, запретить русским торговые караваны в Китай.

– Почему? – яростно вскинулся Матвей Петрович.

Крохотным серебряным молоточком Тулишэнь нежно звякнул о край маленькой пиалы из розоватого фарфора – посуду требовалось разбудить, – ловко налил чай в пиалу и закрыл сверху длинным изогнутым блюдечком, очертаниями похожим на огурец. Затем то же самое Тулишэнь проделал со второй пиалой, и лишь тогда ответил. Чонг переводил:

– Джунгарский контайша Цэван-Рабдан уже отправил к городу Кумул всадников нойона Цэрэн Дондоба. Император Сюань-Е назначил принца Иньти, своего наследника, Умиротворителем Западных Пределов. Богдыхан ждал помощи от калмыков, союзников России, но царь даже не позвал к себе моего господина. Богдыхан ответит недружелюбием на недружелюбие.

Тулишэнь говорил так, будто всей душой одобряет запрет караванов,

хотя сам же имел с них немалую выгоду, и Матвея Петровича это возмутило.

– Слышь, напомни Тулишэню про русских соболей! – гневно сказал он.

– Мой господин сообщает, что за Байкалом русские промышленники всё равно тайком будут привозить меха к воротам Великой Стены. Кроме того, китайские купцы свободно покупают меха в Нерчинске и Селенгинске.

Тулишэнь с поклоном подал Гагарину пиалу с чаем.

Матвей Петрович дул на чай, держа пиалу обеими руками, и думал. Он предполагал, что дело с калмыками закончится запретом караванов, но до последнего не хотел верить в это. Что ж, была не была. Придётся рискнуть. Замысел-то созрел у него уже давно, однако страшно было затевать такое. Но тут уж надо выбирать: либо смарагды Тулишэня, кошель золота и угроза царского топора, либо тихонько воровать, как тот же Бибилов, и кропотливо складывать рублик к рублику, будто он лавочник, а не губернатор.

– А ежели я вместо Аюки устрою войну русских с джунгарами?

Это были самые главные слова – и пропадай буйна головушка.

Тулишэнь бросил в чайник сухой жёлтый цветок и снова налил воду.

– Мой господин просит объяснить смысл ваших слов, – сказал Чонг.

Матвей Петрович знал, что с китайцами надо соблюдать бесконечную осторожность. Любая уступка китайцам или малое потворство были не менее опасны, чем измена государю. Так уж сложилось в отношениях держав. Швеция, Польша, Турция или Бухарея могли быть для России врагами или друзьями, но все они признавали русского царя. А Китай не признавал. Нет «коутоу» – нет монарха. Отправляя посольство Тулишэня, Лифаньюань даже не сподобился послать о том в Сенат письменный лист. Пётр Алексеич принял сие невежество за плевков в свою персону. Однако худшим бесчестьем России от Китая было нерчинское размежевание, пограничный статейный список.

После яростных оборон Албазина России и Китаю требовалось срочно договориться о границах. Богдыханы династии Цин, манчжуры, мнили себя потомками Чингиза, который владел Хэйлунцзяном, и потому объявляли Амур своим. А русские государи полагали себя потомками Македонского, который, вроде бы, завоевал Реку Чёрного Дракона, и потому тоже считали Амур своим. Иностранцы Хэйлунцзяна платили дань Цинам, но Ерофей Хабаров обложил их русским ясаком. Так кому же служит Чёрный Дракон?

Договариваться с китайцами отрядили посольство стольника Фёдора

Головина. Он повёл из Москвы в Сибирь стрелецкий полк и полторы тысячи казаков. В Тобольске войско проторчало целый месяц – стольник гостевал у отца, воеводы Лексея Петровича Головина. Поперёд себя стольник Фёдор заслал в Мунгалию селенгинского служилого человека Ваську Перфильева, чтобы Васька расспросил Ундур-цэцэна, кто из монголов покорен богдыхану, кто – нет, и чью сторону они думают принять. Но Перфильев ничего не разузнал: Ундур- цэцэн потребовал, чтобы ему кланялись по-монгольски, а не по-русски, Васька отказался, и степняки прогнали его восвояси.

Путь в Даурию занял полтора года. Однако за Байкалом Головина поджидала неугасшая война. Его войско вступило в Селенгинский острог, а из Мунгалии вылетела орда хана Тушету и осадила крепость. Тушету-хан, а иначе – Очирой, служил императору Канси. Монголы прозвали Головина Будун-нойоном – Толстым Баринном. На Селенге его защищал стрелецкий полковник Скрипицын. Иркутский воевода Левонтий Кислянский поспешно собирал ополчение на выручку Головина, верстал даже тунгусов и бурят – «бращих людей». Два месяца Очирой держал Будун-нойона в окружении, а потом иркутские служилые, московские казаки и стрельцы Скрипицына всё-таки разбили Очирю. Перепуганный Головин двинулся дальше.

Встречу с китайцами назначили в Нерчинске – в «городе Нибучоу». По реке Нерче к городу поднялась сотня китайских судов с гребными колёсами; их вручную вращали воины джангиня Лантаня, который три года назад брал Яксу – Албазин. Китайцев пришло впятеро больше, чем было русских. Возглавлял посольство могущественный князь Сонготу, свояк императора: пока Сюань-Е был отроком, Сонготу управлял всем Китаем и лишь десять лет назад передал власть законному властителю. Богдыхан одарил послов оружием, конями и собственными халатами с четырёхпалым драконом.

Китайцы заняли берег Нерчи напротив острога. На равном расстоянии от острога и китайского стана – в пяти ли – обустроили расписные шатры для встреч. У князя Сонготу толмачами были монахи-иезуиты, один – фрязин, другой – гишпанец, а у стольника Головина – поляк Ян Белобоцкий, пиит и проповедник, поэтому переговоры велись на латыни. Сонготу потребовал провести границу России с Китаем по реке Лиянацзян, Лене, как это было до Ерофея Хабарова. Головин хотел сделать границей Амур.

Переговоры увязли в спорах. Тогда Лантань переправил своё огромное восьмизнаменное войско через Нерчу и начал готовиться к приступу

острога. Головин испугался, воля его надломилась, и он уступил китайцам Амур. Всё левобережье Реки Чёрного Дракона Сонготу объявил ничейным, а крепость Албазин Будун-нойон согласился снести. Так Китай попятил Россию. Россия была посрамлена, и с тех пор любое содействие богдыхану вызывало у Петра Алексеича ярость. Матвей Петрович прекрасно знал, как уязвлено самолюбие государя, ведь он воеводил как раз в Даурии. Встреча Головина и Сонготу случилась всего за два года до того, как он, князь Гагарин, приехал в Иркутск младшим воеводой к брату Ивану, старшему воеводе, и за четыре года до того, как его назначили старшим воеводой в тот самый Нерчинск.

– Мой господин просит объяснить смысл ваших слов, – повторил Чонг.

Тулишэнь видел, что дзянгун Гагарин – хитрый царь- дворец и дерзкий вор. Ради выгоды он готов тайком поступиться достоинством правителя, но хочет сохранить его благорасположение. Такое возможно только в державе варваров. Но это не его, Тулишэня, забота. И он сам, скромный заргучей, и император Канси, владыка Чжунго, получают всё, что желали получить.

– Мой воинский отряд отправляется в Яркенд мыть золото, – вздохнув, рассказал Гагарин начистоту. – Но я могу превратить этот мирный поход в войну с джунгарами. Сохранит ли тогда богдыхан русские караваны?

Тулишэнь в недоумении поднял брови, снова разливая чай.

– Мой господин говорит, что своим мечом вы будете рубить дым, – перевёл Чонг. – Джунгары уклонятся от войны с вашим войском. Они знают, что царь Пётр им не враг, а поход на Лхасу им важнее защиты Яркенда.

– Чёрт! – вспыхнул Матвей Петрович. – Тогда скажи Тулишэню, что его старость будет на пустом рисе! Без караванов я не смогу с ним торговать, а ему наш торг был прибыльнее, чем мне!

Тулишэнь, улыбаясь, прижал ладони к груди и чуть поклонился.

– Мой господин просит снисхождения у господина наместника, – перевёл Чонг. – У него есть замысел.

Тулишэнь прошёл к своим дорожным сундукам, составленным в угол палаты, ключом открыл самый большой ящик, обитый медью, и достал шкатулку из слоновой кости, украшенную иероглифом «жёлтая цапля». В шкатулке на бархате лежала золотая пайцза Дерущихся Тигров.

– Помнит ли даотай этот знак императора?

Матвей Петрович, конечно, помнил. Такие ярлыки надменный богдыхан посылает разным мелким царькам, которые признают над собой верховную власть императора, как приказ начать войну с врагами Китая. Эту пайцзу Тулишэнь должен был повесить на шею Аюке. Аюка пайцзу не

принял.

– Мой господин может оставить пайцзу в руках господина наместника, – пояснил Чонг. – Если джунгары узнают, что господин наместник получил пайцзу Дерущихся Тигров, они поверят, что войско господина наместника намерено напасть на них, и желанная война непременно состоится.

– А как они узнают? – глупо спросил Матвей Петрович.

– Пири-думай сам, дру-га, – улыбаясь, сказал Тулишэнь по-русски.

Тулишэнь, склоняясь, держал перед Гагариным открытую шкатулку. Матвей Петрович, сокрушённо вздохнув, вытащил пайцзу и повертел её.

– И тогда богдыхан сохранит наши караваны?

– Мой господин сделает для этого всё, что сможет, – заверил Чонг.

Чаепитие удалось.

Кузьма проводил Матвея Петровича на выход, услужливо открывая двери. Князь Гагарин остановился в арке «галдарей», огибающей Гостиный двор изнутри по второму ярусу. Внизу мельтешило торжище. Шапки, шапки, шапки, шапки, полосатые навесы бухарцев, головы и горбы верблюдов, спины и гривы лошадей, телеги с тюками, гомон. Матвей Петрович поглядел на небо над угловой башней. В синеве пушилось от солнца лёгкое облачко. Тяжёлая пайцза висела у Матвея Петровича на шее под рубахой и холодила грудь. Ох, грехи, грехи... Ведь он же сам суёт башку в пасть китайскому дракону. Это дельце с маленькой войной – вовсе не маленькое. Такого ещё не бывало. Никакой прохвост под рукой Петра Алексеича не устраивал подобной злоотчаянной перешкоды, даже Меншиков. Нужно господне заступничество.

Чонг стоял за спиной, ожидая, когда гость пойдёт к лестнице.

– Ты православный, Кузьма? – не оборачиваясь, спросил Гагарин. – Тебя в церкви видали.

– Православный, мой господин.

– Как у вас, албазинцев, в Пекине с храмом?

– У нас есть церковь святителя Николая, – вежливо сообщил Чонг. – Император Сюань-Е дозволил нам перестроить под храм старую пагоду, но не дозволил иметь священников. Образа пишем сами, молимся, как умеем.

– Лет десять назад митрополит Филофей посылал к вам монахов, да они в халхасском курене застряли у кутухты Джебузяна, – вспомнил Гагарин.

– Очень сожалею, мой господин. Ежели они дошли бы до Пекина, мой отец успел бы причаститься перед смертью.

– Я скажу митрополиту Иоанну, чтобы отправил с Тулишэнем попов и

лекарей. Архимандрит Илларион у владыки всё рвался подвиг совершить, так пускай к вам едет. Ты сходи на Софийский двор, познакомься.

– От сердца благодарю, мой господин, – поклонился Чонг.

Глава 3

Чаша Нищих

Засунув пальцы за шёлковый пояс, на котором был вышит оберегающий аят аль-хафз, Ходжа Касым молча наблюдал, как работники Гостиного двора вытаскивают из казённых подвалов тюки с пушниной и грузят в телеги китайского каравана. Ходжа Касым не знал, какая пушнина в тюках, не знал, для чего она, – на продажу, в оплату уже поставленного товара или это мзда губернатора, однако на всякий случай считал тюки. Погрузкой распоряжался китаец в малиновом халате, а его слова переводил толмач Кузьма Чонг.

– Ещё два в первую телегу, – говорил Кузьма.

Наконец тюки закончились. Работники закрывали окованные двери подвалов, обер-комендант Бибилов звякал ключами амбарных замков. Китаец в малиновом халате принялся укрывать поклажу синей холстиной, а слуга принёс ему для печатей горячую сковородку, полную жидкого сургуча. Чонг направился в сторону таможенной башни – на выход со двора. Он проходил как раз мимо Касыма, стоящего в арке возле одной из своих лавок.

– Погоди, уважаемый, – Касым поймал Чонга за рукав. – Загляни ко мне.

Лавка была завешана коврами и одеждой, вдоль стен на полу стояли медные кувшины, кумганы и котлы для таганов. Горели светильники. Приказчик Асфандияр щёткой из конского волоса разглаживал расстеленный на прилавке богатый зор-чапан – халат, украшенный золотыми нитями.

– Оставь нас, сардар, – по-чагатайски сказал Касым.

Асфандияр поклонился и вышел. Касым за плечи бережно подвёл Чонга к прилавку, убрал зор-чапан, достал кошель и с таинственной улыбкой выложил на столешницу ряд из десятка мелких золотых динаров – неровных и разного размера. Это были хорошие старинные монеты джанидов: Имама Кули, хана Мавераннахр, и Субханкулихана, правителя Балха.

– Я хочу узнать у тебя, уважаемый, о чём твой хозяин Тулишэнь говорил с нашим губернатором Гагариным, – вкрадчиво пояснил Ходжа Касым.

– Но я не могу рассказывать об этом, торговец, – вежливо ответил

Чонг.

– Конечно, – охотно согласился Касым, признавая высокое достоинство Чонга. – Но золотой ключ открывает любой замок.

С видом факира Касым по одной выложил на стол ещё пять монет. Чонг смотрел и молчал, словно не понимал происходящего. Ходжа Касым начал медленно убирать по монете – так подманивают кошку, утягивая верёвочку.

– Хорошо, – сдался Чонг. – Остановись. Верни то, что убрал.

Ходжа Касым не ожидал выведать у китайца какие-то страшные тайны губернатора и расспрашивал Чонга просто так, на всякий случай. Хороший тожир должен понимать замыслы своего соперника. Но то, что открыл ему Чонг, поразило и разъярило Касыма, точно он был не зрелым и сдержанным мужем, а вспыльчивым юношей-егетом. Губернатор Гагарин, сам того не подозревая, замахнулся на последнее, что оставалось у бухарцев в Сибири.

Ходжа Касым никому и никогда не жаловался на свои беды. Все удары, которые наносили ему враги, он встречал с угодливым поклоном и лукавой улыбкой. Открыть душу, показывая гнев и саднящую досаду, он мог только дома перед Назифой, старшей женой. Вечером он прошёл на женскую половину, лёг на ложе и велел евнуху Бобожону привести к нему Назифу, а другие жёны и наложницы пусть сидят по своим покоям. Назифа должна взять кунжутное масло для умащения и гребень из слоновой кости.

Назифа нежно и тщательно расчесала волосы Касыма и помогла ему снять рубаху-куйлак.

– Что беспокоит моего мужа? – втирая масло в его плечи, спросила она.

– У меня очень опасный враг, Назифа, – ответил Касым. – Ты знаешь, что я не буду произносить такие слова напрасно.

– Этот шайтан – губернатор Гагарин?

– Да. Самый хитрый враг в моей жизни.

– Расскажи мне, мой господин, что ещё он сделал.

– У меня остался последний путь для моих караванов – путь по Иртышу через Доржинкит в Кашгар, к Юсуфу. Ты помнишь моего брата, Назифа? Однажды он отстегал тебя плетью, когда увидел твои запястья.

– Я помню его, господин, хотя тогда я была очень молода.

Юсуф, старший брат Касыма, имел в Кашгаре собственный караван-сарай и множество лавок. Глиняный город Кашгар стоял на берегу бурной реки в тени поднебесных громад Куьлуня, его хлестали суховеи пустыни Такла-Макан. Через Кашгар и Бухару проходил Шёлковый путь. Сейчас городом владел контайша Цэван-Рабдан, отбивший его у богдыхана Канси,

но Юсуфу это не мешало. Изделиями и плодами Бухары Юсуф торговал и с китайцами, и с джунгарами. Губернатор Гагарин отрезал Касыма от Бухары. Сибирских бухарцев безжалостно обдирали на Верхотурской таможне и на Ирбитской ярмарке; на древней дороге Канифа-Юлы стояли русские слободы с казаками; тайный тракт Гагарин загородил караулами. И Касым задумал отправлять свои караваны с пушниной не в Бухару, а в Кашгар, к Юсуфу: вверх по Иртышу через джунгарский город Доржинкит и через степи.

– Гагарин втайне от царя принял от китайского посланника пайцзу богдыхана и решил устроить войну с джунгарами. Одной рукой он посылает в Яркенд войско, а другой рукой посылает джунгарам пайцзу, чтобы степные дикари напали на солдат. Запылают все дороги от Памира до Яика, и мои караваны не пройдут в Кашгар. Джунгары разграбят их у Доржинкита.

– Но ведь Онхудай, зайсанг Доржинкита, брат твоей Улюмджаны! – напомнила Назифа. – Зайсанг не будет грабить караваны своего зятя.

Улюмджану Касым купил себе как раз затем, чтобы Тургайские степи, улус Онхудая, были для него безопасны. Сестра зайсанга обошлась Касиму очень дорого, зайсанг был жаден, однако дело того стоило. Улюмджана, дочь калмычки, полагала себя женой Касыма, но Касым считал её наложницей, ведь она не приняла ислам. Назифа избавляла Улюмджану от беременностей.

– Не Онхудай владыка Джунгарии, – с горечью ответил Ходжа Касым. – Если контайша Цэван-Рабдан или его советник Цэрэн Дондоб прикажут Онхудаю грабить караваны, Онхудай даже не вспомнит о родстве.

– Да, он низкий человек, – согласилась Назифа, она видела Онхудая.

– Корень всего зла – Гагарин, – убеждённо сказал Касым. – Я пробовал купить его, но он ворует столько, что мои приношения для него ничтожны.

– Напиши на него донос, – предложила Назифа.

Она упивалась тем, что муж доверяет ей и беседует о своих заботах.

– Русский царь любит Гагарина и не верит доносам на него. Я должен найти другой способ уничтожить этого Иблиса, Назифа.

– Сделай с ним то, что ты сделал с младшим воеводой Черкасским.

Шестнадцать лет назад в Тобольск прибыл воевода князь Михайла Черкасский. Ходжа Касым легко ужился с мудрым князем. Касым платил ему десятину со своих доходов, и Черкасский не мешал бухарцам. Но младшим воеводой у князя Михайлы был старший сын Пётр, и этот Пётр, ненасытный юнец, затеял брать с бухарцев собственную дань, и не десятую

часть, как отец, а половину. Касым смиренно заплатил ему один раз, а потом подкупил его слуг, чтобы узнать, ведает ли батюшка, чем промышляет его сын. Слуги сказали: отец не ведает. И тогда Пётр Черкасский получил в подарок корзину отравленных яблок. Он слёг в горячке и через неделю умер. Его похоронили у алтаря Софийского собора. Отец решил, что сына сгубила простуда. А Ходжа продолжал торговать и дружить с князем Михайлой, как и прежде.

– Мне не убить Гагарина. Он очень умный.

– Он не умнее моего мужа, – с гордостью произнесла Назифа. – Мой муж знает, как победить губернатора.

– Как? – послушно спросил Касым.

– Когда Гагарин передаст пайцзу джунгарам, поезжай к ним в степь и купи её. Джунгары тебя не тронут, ведь ты свояк тургайского зайсанга. А потом ты перешлешь пайцзу русскому царю с письмом, царь всё поймёт и казнит Гагарина. И ты вернёшь себе всё, и даже китайский торг.

Ходжа Касым лежал, глубоко поражённый простым советом Назифы.

– Ты лучшая жена, которую только может послать мужчине Всевышний, – наконец искренне сказал он.

– Мой слабый разум не может и сравниться с могучим разумом моего супруга, – смиренно ответила Назифа. – Когда-то давным-давно совсем юной девушкой я уехала с тобой из жаркой Бухары сюда, в холодный Тобольск. Но я не боялась снегов и мрака, потому что мой господин – любимый сын Аллаха, храбрый и мудрый, как сам Мохаммед. Я знаю, ты победишь всех и погубишь своих врагов. Награди меня сегодняшней ночью, повелитель.

Верная, умная и упрямая Назифа сумела сохранить девичью стройность и гибкость. У неё даже груди не опустились, хотя она сама выкормила троих детей. Дети жили в Бухаре, в богатом доме в квартале за медресе Мири Араб. Старший сын Маджид вёл все дела отца в торговом куполе Заргарон. Однако Ходжа Касым давно уже не делил ложе с Назифой. Он с грустью ощущал, что к нему неумолимо приближается старость, ведь ему уже за пятьдесят лет. А лучший способ отсрочить увядание – это любовь юных дев.

– Нет, Назифа, – сказал Касым, приподнимаясь на постели. – Я должен сохранять свою силу и влияние. Приведи мне Улюмджану.

Совет Назифы взбодрил его и вернул жажду жизни. Касыму захотелось прямо сейчас облагодетельствовать Улюмджану, словно закрепить будущий успех переговоров с её братом Онхудаем. Назифа покорно поклонилась, никак не проявив своего гнева. Она встала с ложа и

тихо вышла.

Улюмджана будто заблестела от счастья, что муж вспомнил о ней. Все последние месяцы любовь господина доставалась только Хамуне. Касым с лежа рассматривал улыбающуюся Улюмджану. Высокая, широкая, узкие раскосые глаза, крупные зубы. Она рождена, чтобы сидеть в кибитке, тупо переживая бессмысленное кочевье, и есть баранину, зажаренную на костре.

– Раздень её, – приказал Касым Назифе, надеясь, что нагота Улюмджаны породит в нём стремление к этой женщине.

Назифа вытащила длинные чёрные косы Улюмджаны, заключённые в бархатные чехлы-шиверлиги, из петель, пришитых к поясу платья, сняла с Улюмджаны длинную, до пят, багровую безрукавку цэгдэг, сняла нарядный бюшмюд, потом куцый кафтанчик желятиг, потом хутцан, малиновое платье, потом спустила жёлтую рубаху кияг и забрала круглую шапочку тамшу. Касым глядел на обнажённую Улюмджану. Она не вызывала никаких чувств.

– Нет, – вздохнув, сказал он, – уведи её, Назифа. Приведи мне Хамуну.

Улыбка Улюмджаны превратилась в обозлённый лисий оскал.

– Мой муж должен спать со мной! – с вызовом заявила Улюмджана.

– Ты хочешь, чтобы мои слова повторила моя плеть? – холодно и надменно спросил Ходжа Касым. – Приведи мне Хамуну, Назифа!

Никакая женщина не могла сравниться с Хамуной, с его лола урмондан – таёжным тюльпаном. Так он называл Хамуну, когда они были наедине.

...Через несколько дней подкупленные слуги донесли Касыму, что в торговой бане старого Усфазана встретятся берёзовский комендант Толбузин и обер-комендант Бибиков. Касым знал, о чём будут говорить воеводы. Он должен был вмешаться в их разговор, иначе его дела не восстановятся.

Воеводы сидели за столом в предбаннике в одних мокрых рубахах и при свете коптилок привычно играли в зернь. Забава получалась вялой.

– Ежели снова чёт-нечёт, то выигрыш мой, – предупредил Бибиков.

– Да я тебе, Карпушка, ещё десять раз так проиграю, – тряся стаканчик с костями, пробурчал Толбузин, – только купи товар.

– Куда, Агапоша? – с тоской спросил Бибиков. – Мне и свою-то мягкую рухлядь уже прятать некуда. Я грешным делом нет-нет, да подумаю: может, бросить воровать? Сбыть-то не получается!

В мыльне слышались шлепки босых ног, взвизги, плеск воды и перестук ушатов; в проёме двери то и дело мелькали голые бабы. Их там было две: обеих купил Толбузин, а Карпу Изотычу это жеребичество давно

сделалось неинтересно. Из двери мыльни выглянула Газиля, блудница из татарок. Она весело оглядела воевод, затем выставила зад и похлопала себя веником.

– Боярка, парить давай! – задорно пригласила она.

– Сгинь, сатана, – угрюмо ответил Толбузин.

Из сеней дунуло свежестью летней ночи, и огоньки коптилок полегли – это кто-то вошёл в баню. Воеводы обернулись. На пороге стоял Ходжа Касым. Улыбаясь, он поклонился и прижал руку к сердцу.

– Туда ли ты зашёл, бухарец? – угрюмо спросил Толбузин.

– Куда шёл, туда и пришёл, уважаемые.

Касым тоже присел за стол, соблюдая почтительное расстояние.

– Я знаю, о чём вы скорбите, – любезно и чуть снисходительно сообщил он. – Имя этой скорби – губернатор Гагарин. Верны ли мои слова?

Толбузин и Бибилов молчали, не зная, как расценить появление Касыма.

Карп Изотыч был совершенно согласен со словами бухарца; он с ужасом чуял, как Гагарин подбирается прямо к его горлу. Карп Изотыч даже бегал к митрополиту Иоанну, чтобы попросить о защите; он исповедался – правда, не во всех грехах, но зато в тех, которые открыл, – от души покаялся; он дал в Софийский собор большой вклад и заказал ежеутро моление о сокрушении ненависти у своего гонителя. Митрополит Иоанн проявил сочувствие, он и сам не любил Гагарина; заступиться перед губернатором он отказался – тоже боялся, но обещал поминать Карпа Изотыча в своих просьбах к господу.

– Губернатор отнял у вас таможду и Гостиный двор, отнял караваны и тайный тракт. А мне он запретил покупать соборы по цене благоразумия. Гагарин – тигр. Но общий враг может сделать бывших соперников друзьями.

– Ты о чём это, Касымушка? – осторожно полюбопытствовал Бибилов.

– Вы не можете отправить свой товар в Москву. А у меня нет товара, который я мог бы отправить в Бухару. И я хочу взять у вас то, что вас самих уже утомило. Сейчас мы нужны друг другу, достопочтенные.

– А сколько дашь, милостивец? – сразу поймался Бибилов.

– Я дам вам меньше, чем казённые приказчики, зато я сохраню тайну, и Гагарин у вас ничего не отнимет.

Толбузин шумно засопел и заворочался, багровея.

– С нехристом связываться – душу сгубить, – злобно выдохнул он.

– Да бог с тобой, Агапоша, – махнул розовой ладошкой Бибилов. – Это же базар, а не церковь. И как ты повезёшь меха в Бухару, Касымушка?

– Неужели достойным людям важны эти ничтожные знания?

– Да ничего от тебя нам не надобно! – Толбузин сплюнул на пол. – Уходи, откуда пришёл! Не твоего ума тут дело!

– Не серчай, Агапоша, – засуетился Бибилов. – Ты как дитё!.. Я потому спрашиваю, Ходжа, что дорога – половина цены. Не хочу продешевить. Ежели твоя дорога по Тоболу, так тебя там ошциплют, как курочку.

– Моя дорога по Иртышу в Кашгару.

Толбузин дёрнулся, будто от удара.

– Не слушай его, Карпушка! Убирайся от нас, бухарское рыло!

Касым сделал вид, что не слышал оскорбления.

– На том пути, родимый, тебя в Таре комендант за ноздри возьмёт.

– Значит, придётся ему заплатить, – пожал плечами Касым.

Толкая брюхом стол, Толбузин неуклюже вылез и ринулся в мыльню.

– Не знаю, чем я прогневил такого достойного человека, – задумчиво сказал Касым, глядя вслед Толбузину.

– Не смущайся, Касымушка, – заверил Бибилов, оживившийся после предложения Ходжи. – Агапоша поругается-поругается, да остынет.

Толбузин вывалился обратно в предбанник. Теперь он за руку волочил за собой из мыльни голую Газилю. Она игриво визжала в притворном сопротивлении, но, увидев Ходжу, сразу испуганно умолкла, прикрыв груди рукой. Толбузин плюхнулся на лавку и рывком усадил Газилю рядом.

– У нас веселье! – задыхаясь, он сверлил Касыма бешеным взглядом. – Мы о делах не говорим!

Выставить перед достойным мужем нагую блудницу, да ещё при важной беседе, – это было жестокое оскорбление. Стерпеть его Касым уже не мог. Кровь его закипела, но внешне он сохранил бесстрашие. Он поднялся.

– Я велю твоему деду забить тебя камнями, Газиля, – сухо сказал он.

С прямой спиной Касым направился к выходу. Разговор окончен.

Касым не понимал, почему комендант Толбузин вызверился на него, но тому были веские причины. Агапон Иваныч приехал в Тобольск, чтобы отбрехаться перед губернатором за новокрещенов. Толбузин не сомневался, что владыка Филофей сдержит обещание и нажалуется. Губернатор принял берёзовского коменданта в своём доме в кабинете. Багровый от жары, князь Гагарин сидел на лавке, расстегнув тесный камзол, а поодаль стоял Капитон и обмахивал хозяина большим опахалом, укреплённым на оси в стойке, – это было нехитрое изобретение Ремезова. Капитон качал опахало за рукоятку, и самодельный ветерок овеивал изнурённого Матвея Петровича.

– Новокрещенов холопить – дерзость супротив государева указа, – сказал Матвей Петрович. – За такое я должен тебя из комендантов

попереть. Ежели не накажу тебя, владыка Филофей царю напишет, а он у царя в фаворе, и мне от царя гостинец во всю морду прилетит.

– Сколько возьмёшь? – мрачно и зло спросил Толбузин.

– Деньгами не возьму. Хочу загадочку разгадать. Про тебя всё ясно – ты свою мзду с инородцев и промышленников дерёшь. А как Бибилов богатеет?

– Из твоей казны хитит, – сказал Толбузин так, чтобы ничего не сказать.

– Врёшь, – вздохнул Гагарин. – Не ворует. Подворовывает, но в меру.

Толбузин молчал, угрюмо размышляя.

– Решай, Иваныч: своя корысть или бибиловская.

Выбирать Агапону Ивановичу не приходилось, и он заговорил:

– Карпушка хитрость сочинил. Он по всем уездам у промышленников и купцов спрашивает, что за сколько в каждом годе идёт, и меняет с прибылью.

– Поясни, – серьёзно потребовал Гагарин.

– Ну, пример. Берёт он в казне трёх соболей. Меняет туруханским на шестьсот белок; такая цена в этом году: соболь – двести белок. За шестьсот белок покупает у енисейских четырёх рысей. За четыре рыси берёт у якутских три куницы. За три куницы берёт у иркутян пять соболей. Три соболя обратно в казну, два – себе. Из ничего – два хвоста. Но уметь надо.

– Вот ведь дьявол хитроумный! – восхитился Матвей Петрович.

– А со мной-то что?

– Ничего, – Гагарин закрыл глаза. – Воруй пока, только царя не задирай.

Агапон Иваныч понял, что Карпушка приговорён. Гагарин его турнёт, и это лишь дело времени. Потому Карпушке не следовало знать про замысел Касыма, про то, что мягкая рухлядь поедет не в Москву, а в Кашгар и Бухару. Не дай бог, закрутится разбирательство плутней Бибилова, тогда трусливый Карпушка выложит ревизорам всё: и сам утонет, и других утопит. Однако остановить Касыма у Толбузина не получилось. Что ж, авось пронесёт.

Агапону Ивановичу очень не хотелось унижаться перед азиатом, и всё-таки надо было встретиться с Ходжой Касымом и потолковать без Бибилова. Агапон Иваныч выбрал для этого самое неподходящее время.

Касым отдыхал душой только рядом с Хамуной – с Хомани. Она больше не сопротивлялась напору Касыма, и её больше не били. Она смирилась со своей участью, как смиряются с тем, что невозможно изменить, например, с обложными дождями. Этот жестокий и властный

мужчина, получив своё, вдруг оказался нежным, но Хомани вовсе не заметила перемены; милость господина она восприняла как своё таёжное умение терпеть невзгоды.

Узнав, что сестра Хамуны, холопка Ремезова, сбежала, Касым обрёл спокойствие: теперь никто не покушается на его собственность, и он владеет Хамуной единолично. С юных лет он привык, что женщины угождают ему, ждут и ублажают его, и покорность без желания распаляла его. Добиваясь стоны или слёз Хамуны, он ощущал себя снова молодым и победительным. Хамуна была для него существом иной природы, словно диковинная птица в клетке, купленная в куполе Саррафон у какого-нибудь чернолицего эфиопа.

Касыму нравилось просто наблюдать за Хамуной. Речь она знала не лучше пятилетнего ребёнка, и никто с ней не разговаривал; делать ей было нечего – работы ей не давали; целыми днями она молча вышивала бисером странные узоры на поясах или ловко вырезала из деревяшек разные фигурки – медведей, собак, оленей с рогами, закинутыми на спину, зайцев, соболей, рыбок или узкоглазых девочек в шубейках с колпаком. Фигурки получались такими живыми, что Касым потом подолгу рассматривал их. Он приказал старому Суфьяну сделать полку и расставил на ней поделки Хамуны. Вскоре он заметил, что несколько фигурок исчезли. Наверняка их украла Назифа, чтобы сглазить или проклясть новую возлюбленную мужа, но Касым лишь снисходительно усмехнулся. Шайтан никак не навредит язычнице.

А Хомани в доме Касыма существовала точно в тягучем полусне. Она переживала и наслаждение Касыма, и скуку, и всю свою жизнь в этом месте; она жила смутными ощущениями жизни сестры: запахами далёкой тайги, теплом костра, у которого где-то грелась Айкони, напряжением чужой охоты. Хомани была там, внутри судьбы Айкони, а иначе сошла бы с ума.

В этот вечер Ходжа Касым как обычно вызвал Хамуну к себе и принялся неспешно раздевать, умело умножая удовольствие: мягкие кожаные сапожки махси, распашной чапан с короткими рукавами, многоцветная ферганская тюбетейка калампир, платье, обшитое тесьмой, а под ним – смуглая грудь и живот, просторные штанишки лозим с кисточками... Хамуна села на ложе бледная, будто взволнованная, потом тихо склонилась головой к Касыму, но вдруг задёргалась, замычала, и её начало бурно рвать на постель зелёной слизью. Касым мгновенно понял, что это такое. Хамуну отравили.

– Суфьян, vedi табиба! – взревел он на весь дом, удерживая Хамуну на

руках. – Бобожон, воды и молока!

На месте Касыма доблестный муж должен был испытывать свирепую ярость, ведь у него отнимали самое драгоценное наслаждение, но Ходжа содрогался от ужаса за Хамуну, за лола урмондан – таёжный тюльпан. Табиб Мудрахим жил в соседнем подворье, он прибежал одетый по-домашнему.

– Покажи мне слизь, которую она исторгла, – сразу велел он.

Он растёр в пальцах зелень рвоты и даже понюхал.

– Дай мне соль, мёд, корицу, яичный белок, кровь утки и уголь вербы.

Бобожон, плача, отпаивал Хамуну кумысом. Хамуна лежала на ковре; она чуть приподнималась, пила кумыс, корчилась, и её снова тошнило.

– Ты спасёшь её? – спросил Ходжа Касым у табиба.

– Бороться с ядами трудно, – взбивая в пиале яичный белок, ответил Мудрахим. – Я просил тебя, достопочтенный Ходжа, приобрести для уммы Книгу Лекаря Абу Али ибн Сины, но ты отказал мне, сославшись на то, что мой малый разум не постигнет мудрости великого хазрата.

– Я закажу тебе «Аль канун» у лучших каллиграфов Бухары.

Табиб Мудрахим поджёг от светильника палочку сандала и поднёс к губам Хамуны. Синий дымок сандала за клубился от дыхания.

– Джинн яда покидает её чрево, я вижу в дыму его отвратительные черты, – сказал табиб. – Хвала Аллаху, она будет жить, Касым-эфенди.

Только потом, когда табиб ушёл, а Хамуна затихла на постели, Ходжа Касым решил наказать отравителя. Вернее, отравительницу.

В покоях Назифы были дастархан, широкое ложе и огороженный угол с ковриком михраби для намаза. Назифа встретила Касыма в праздничной одежде и всех украшениях: на лбу лучился бирюзой витой серебряный венец тиллякош с жемчужными подвесками, в ушах блистали тяжёлые серьги кашкар-балдок, на высокой груди лежал парный куштумор с филигранью и кистями, окружённый ожерельем из нанизанных на цепочку монет, запястья и лодыжки оковали браслеты, а пальцы Назифа унизала перстнями.

– Зачем ты надела свои драгоценности? – угрюмо спросил Касым.

– Я хочу умереть от твоей руки с памятью о твоей любви, мой господин, – спокойно ответила Назифа.

– Я не могу простить тебя, хотя ты мне дорога. Я понимаю тебя, моя жена, и уважаю, но Хамуна – последняя отрада моей стареющей души.

Касым знал, что Назифа тихо ненавидит Хамуну. Ревнует. Когда Назифа вела Хамуну по дому к мужу, она щипала её за бока и зад: пусть синяк в самый сладкий миг напомнит Касыму, что тело Хамуны тоже не

совершенно.

– Я готова к смерти, мой муж, но не я дала Хамуне отраву.

– А кто?

– Подумай, кого мог выбрать шайтан. А он выбрал того, кто причинит тебе самое жестокое унижение.

– Улюмджана? – изумился Ходжа Касым.

Конечно, калмычка, степная кобыла! Касым купил Улюмджану из торгового расчёта и не любил её, но сейчас она стала нужна ему, как никогда, потому что через улус её брата Онхудая караваны бухарцев пойдут в Кашгар. Касым не мог покарать коварную наложницу. Так над ним глумился шайтан! А Назифа и вправду слишком умна, чтобы травить Хамуну. Она придумает, как убить соперницу, чтобы на неё не пала и тень подозрения.

Охваченный гневом бессилья, Касым ушёл из дома на берег Иртыша. Он видел, что за ним, стараясь остаться незамеченным, в ночи по тёмным улочкам Бухарской слободы крадёт Сайфутдин – верный охранник. Чёрная, лаковая плоскость огромной реки отблёскивала под нефритовым серпом месяца. Над Тобольском раскинулись созвездия – весь неизмеримый гурганский зидж Улугбека, сонм высших вечнозримых сущностей Аллаха, в безупречном числе которого были и Дракон, и Заяц, и Заклинатель Змей, и Жертвенник, и бездонная Чаша Нищих. Их торжественные имена, явленные суфиям в равноденствие, были аятами мироздания: Садальмелек, Аль-Таир, Фумм аль-Гут, Цельбальрай, Алгул, Денебола, Дубхе, Аль-Фаррас...

Возвратившись, у дувала своего подворья Касым увидел коменданта Толбузина. Суфьян не пустил его в дом, и Толбузин ждал на улице.

– Послушай, бухарец, – заговорил он, хватая Касыма за рукав. – Ты не сердчай, что я набросился... Я тебя остановить хотел, чтоб ты Карпушке не разболтал. Карпушке конец, его взашей погонят, ему нельзя знать о твоей Кашгаре, плюнь на него! А я при деле! Я рухлядь тебе повезу, у меня её полсотни мешков! А ты уж дальше сам, как придумал. По рукам, бухарец?

– Отойди с дороги, – надменно ответил Касым.

Толбузин оскорбил его. Ходжа Касым не хотел прощать оскорбления.

Сайфутдин, стоящий поодаль, взялся за рукоять сабли.

– Ладно, – закричал Толбузин и, переваливаясь брюхом, с трудом встал перед Касымом на колени. – Видишь, каюсь! Прощения прошу! Чего тебе ещё от меня надобно? Прими товар.

– Приму, – сказал Ходжа Касым и прошёл в свой дом.

В открытом двореке он сел на резную скамеечку и обхватил голову

руками. Он чувствовал себя крысой, пожирающей объедки возле арыка Шахруд. Над ним сияет божественный гурганский зидж, а он пьёт желчь унижения из чаши нищих. Губернатор Гагарин давит его сапогом, как лягушку в луже, а он терпит, – и это ради денег. Комендант Толбузин оскорбил его, а он терпит и берёт у Толбузина товар, – и это тоже ради денег. Улюмджана хотела отравить Хамуну, хотела сорвать его таёжный тюльпан, а он терпит, – и это опять ради денег. У него нет ничего святого.

– Назифа! – крикнул он.

Назифа появилась из тени под сабодом, лёгким навесом.

– Приведи мне Улюмджану и принеси большое блюдо, – приказал он.

Улюмджана пришла сонная, в одной рубахе. Она не понимала, почему господин позвал её во двор, а не в свои покои. Назифа поставила у ног Улюмджаны круглое серебряное блюдо, в котором отразился месяц.

– Опустись на колени и нагнись над блюдом, – приказал Ходжа Касым.

Поддёрнув рубаху, Улюмджана встала на колени и нагнулась.

– Возьми её за волосы, Назифа, – приказал Ходжа Касым.

Назифа намотала косы Улюмджаны на кулак.

Ходжа Касым достал из ножен на поясе кинжал-джамбию, украшенный сапфиром, шагнул к склонённой Улюмджане, положил ладонь ей на затылок и без колебаний перерезал ей горло. Кровь хлынула в блюдо.

Глава 4

Ен-Пугол

Во дворе князя Нахрача Евплоева рос огромный разлапистый кедр. На его узловатом и крепком суку за шею был подвешен тяжеленный убитый лось. Юван и Пуркоп держали лося за ноги, разведя их в разные стороны, а Нахрач шаманским ножом с натугой вспарывал утробу. У лосей жёсткая и прочная шкура; в старину вогулы делали из лосиных кож воинские доспехи – панцири и щиты, склеивая кожи в три слоя. Однако Нахрач, подобно многим горбунам, отличался пугающей силой корявых рук, и его нож, подрагивая, без остановки доехал до спутанной гривы у лося в паху. Нахрач убрал нож в ножны, раздвинул разрез и вывалил клубок спутанных внутренностей.

– Кишки синие, а не чёрные, – разглядывая потроха, сказал он. – Значит, зима будет без проталин.

Чуть присев, князь Нахрач почти до плеча засунул ручищу в чрево лося, нащупал сердце, дёрнул его, отрывая, и вытащил наружу. Из кровавого кома в ладонях князя торчали, обвисая, толстые кровеносные сосуды.

– А сердце у него большое, он много бегал, его по тайге гоняли менквы, – сообщил Нахрач. – Где ты убил его, Юван?

– За Волосатым болотом, где старая могила.

– До глубоких снегов охотиться ходите на Волосатое болото, – сказал Нахрач вогулам. – Менквы покинули его, знали, что мы придём.

Все охотники деревни Ваентур – юноши, мужчины и почти старики – собрались во дворе князя на осеннее гадание. Двор был неряшливо забросан корягами, углями из очага, всяким домашним мусором и поломанными охотничьими приспособлениями. Проход в редкозубом невысоком частоколе Нахрач обычно загораживал жердями, но сейчас снял их и ворохом сложил в крапиву у тына. Айкони вошла, смешалась с толпой и протолкалась поближе к кедру с подвешенной тушей лося. По вершине этого кедра, вздымающегося над рогатыми крышами вогульской деревни, она и определила дом князя.

Многие охотники явились на гадание с собаками и удерживали их на ремнях. В деревне собаки жили впроголодь – «точили носы», как говорили вогулы, и сейчас оголодавшие зверюги жадно глядели на лосиные потроха, натягивали поводки и хрипели. Айкони потрепала ближайшего пса по

мохнатой холке и вспомнила Батю и Чингиза. Нахрач присел на одно колено, положил на другое лосиное сердце и принялся разрезать его ножом. Он бросил кусок сердца на землю перед собой; псы забились на ремнях, понимая, что мясо – для них, и один сумел вырваться из руки хозяина. Он мгновенно очутился возле куска, проглотил его и сразу вперился в Нахрача. Нахрач, понимающе кивнув, кинул псу остатки. Другие псы заскулили.

– Удача будет у Микая, – поднимаясь, сказал Нахрач. – Ты дашь мне потом кабана, Микай.

– Но это мой пёс, Нахрач, а не Микай! – возмутился хозяин пса. – Это Хуба, мой вожак! Почему удача Микаю?

– Ты глупец, Епьюм, – свысока ответил Нахрач. – Не важно, чья собака. Хуба седой, как Микай, поэтому Хуба указывает на Микая. А тебе никогда не добыть кабана, ты слабый охотник.

Нахрач вернулся к лосиной туше и принялся рыться в груди кишок и во вскрытом брюхе. Отыскав зелёно- багровый шмат селезёнки, Нахрач надрезал его, рассмотрел и протянул одному из вогулов.

– Высуши дома, Веляшка, и принеси мне завтра. Когда эта селезёнка побелеет, она скажет мне, в каких лесах на Конде будет много снега.

Потом Нахрач снова полез в тушу и вытащил большую, упругую печень лося. Отрезав кусочек, Нахрач с задумчивым видом попробовал его на вкус.

– Кровь жёсткая, – сказал он. – Это знак на волков. Они придут в дожди с Чепурьи. Но доля Торума у печени небольшая, значит, мы можем не отгонять лошадей на Юконду. Возьми печень себе, Щенька, у тебя мало храбрости, тебе надо есть больше крови.

Айкони надоело смотреть на гадание Нахрача. Её это не касается. Она всё равно не знает лесов, окружающих Ваентур. Если Нахрач оставит её в деревне, то она будет заниматься женскими делами, а не мужской охотой. Скучно, хотя лучше скучать среди людей, чем жить одной в тайге. Она знает это по своему опыту. Она вышла из толпы и присела на корягу у входа в дом Нахрача. Дом был большой и стоял на толстых коротких столбах. Меж почерневших брёвен торчали лохмотья конопатки. По стенам висели сети и плетёные морды. Свес кровли рыжел сухим лапником.

Нахрач бестрепетно ощупывал кровавые кишки лося.

– На кишках много тугих пережимов, – сообщил он. – Всем нам зимой придётся тяжело. Потребуются жертвы Омолю. Я возьму у вас много коз.

Нахрач вытащил кровавые руки из кровавой кучи и вытер ладони о свою свалывшуюся меховую одежду.

– Лось сказал всё, больше он ничего не знает. Расходитесь по домам. А

вы, Юван и Пуркоп, освежите и разделайте тушу. Мне оставьте заднюю левую ногу и язык, а потом принесите череп.

Вогулы, озабоченно переговариваясь, пошли со двора, встревоженные недобрыми предсказаниями князя-шамана. Юван и Пуркоп топтались под кедром, примеряясь, как лучше освежевать лосиную тушу. Вогул Щенька подбирал с земли вываленные потроха и шлёпал их в долблёное корытце.

Нахрач остановился напротив Айкони и разглядывал её. Айкони была одета по-мужски, подбористо: штаны и рубаха из волчьей шкуры, на ногах – кожаные кисы с завязками, пояс обмотан волосяной верёвкой, на поясе – нож в ножнах, украшенных бисером, на боку – колчан со стрелами, за спиной – котомка и охотничий лук, лишь голова по-женски повязана уламой.

– Ты похожа на лесную женщину Мис-нэ. Ты сама убила этих волков?

Нахрач указал на одежду Айкони. Он заметил, что шкуры – ещё свежие, весенние, не до конца вылинявшие. Причём шкуры разные, от двух зверей.

– Сама, – сказала Айкони.

– Это хорошо. Тебе можно немного доверять. Но перья для стрел бери от совы, а не от глухаря. Перья глухаря замедляют стрелу.

Айкони тоже разглядывала Нахрача. Она не раз слышала о горбатом вогульском князе-шамане. Кряжистый и плечистый, он напоминал мохнатого паука. Тёмное лицо, седая щетина, глубокие морщины, узкие умные глаза. Перекошенный уродством, Нахрач выглядел отталкивающе и притягательно. В нём чудились бесстрашие, бесстыдство, жестокость и жадность к жизни.

– Не говори, я знаю, кто ты, – ухмыльнулся Нахрач. – Ты – половинка дочери Ахуты Лыгочина. У тебя есть мертвец на привязи. За тобой идёт Человек-с-крестом. Я знаю, что тебе надо.

– Тогда помоги мне, – угрюмо сказала Айкони.

– В моём доме ещё тёплый чувал. На жерди висит рябчик, я поймал его вчера вечером. Очисти его и запеки мне в углях. Потом я отведу тебя в убежище, если ты этого захочешь.

Нахрач распоряжался по-хозяйски, будто уже определил в жизни место для Айкони, и она поверила, что её скитания закончились.

Сбежав из Тобольска, она прибилась к купеческому каравану, который направлялся в Обдорск. Через два дня её догнали Чингиз и Батый. Собаки радовались встрече и скакали вокруг Айкони, а по ночам на стане спали вместе с ней, согревая своим теплом. Батый сказал Айкони, что отныне его будут звать Хынь-Ика, потому что голос у него очень страшный, как у

Хынь-Ики, а Чингиз сказал, что его будут звать Пунгкынг – Зубастый.

В Певлоре она сошла с каравана и, оставшись с собаками на льду Оби, долго махала рукой вслед купцам. У проруби она встретила князя Пантилу.

– Это я, Айкони, – сказала она. – Я хочу домой. Здравствуй, Пантила.

– Теперь меня зовут Панфил. Я надел крест.

– Здравствуй, Панфил, – послушно исправилась Айкони.

– Ты тоже надела крест, и тебя отпустили?

– Нет. Я подожгла дом, где жила, убила человека и убежала.

В Певлоре все охотники собрались в доме обсудить, что им делать с беглянкой. Отец Айкони, Ахута, пропал у самоедов; никто не знал, что с ним случилось; но и он не заступился бы за дочь, Айкони это знала.

– Ты должна покинуть Певлор, – наконец за всех сказал Пантила. – Иначе нельзя, Айкони. Русские отомстят Певлору за то, что ты совершила.

Айкони заплакала и закрыла лицо руками.

– Куда мне идти? – спросила она.

– Куда хочешь. Возьми то, что тебе надо.

– Я дам тебе малицу своей жены, – сказал Негума.

– Я дам тебе свой лук, – сказал Гынча Петкуров.

– Я дам тебе лыжи на выдрах и старый нож, – сказал Лелю.

Хынь-Ику и Пунгкынга Айкони оставила в Певлоре. Они собаки из города, они плохо умеют жить в лесу, им нужны их собачьи жёны и друзья. Хынь-Ика и Пунгкынг были на привязях. Айкони перешла Обь и скрылась в лесах левобережья. Она отправилась на речку Уньюган, где когда-то давно Ахута Лыгочин завёл себе зимовье. Подлатав заброшенный чум, она жила на Уньюгане до весны. Это было очень плохое время. Её убивала тоска.

Летом вроде бы стало легче, но однажды без всякой причины она вдруг не смогла даже подняться. Изнутри её пронзила страшная боль, невыносимая горечь обожгла горло, её вытошнило зелёной пеной, а потом два дня она лежала в чуме без памяти. Что с ней случилось, она не поняла. Но поняла, что без людей погибнет. И она решила идти в рогатые деревни вогулов. Вогулы, в отличие от остяков, не боялись русских. Они могли её принять.

Она явилась в деревню Балчары, где правил князь Сатыга. За ясаком в Балчары приходили русские из Пелымского острога, а Пелым – не Тобольск и не Берёзов, в Пелыме никто не слышал про злодеяния Айкони. Однако совсем недавно в Балчары нагрянули русские из Тобольска: они сожгли Медного Гуся и обещали прийти снова, чтобы надеть на вогулов кресты.

– Среди них был человек, который спрашивал про тебя. У него больные глаза важенки, потерявшей пыжика, и серьга в ухе, – сказал Сатыга. – Он знает тебя. Русские накажут меня, если я дам тебе приют. Уходи, Айкони.

Тайгу уже оплетала жёлтая паутина осени. Бурундуки и ежи рыли норы и вили гнёзда, готовясь к спячке. Молодые волки-переварки возвращались в стаи своих свирепых отцов, чтобы в самое тяжёлое время быть вместе и не погибнуть. В одиночестве вторую зиму Айкони не выдержит. И она пошла в вогульскую деревню Ваентур к князю-шаману Нахрачу Евплоеву.

И вот сейчас Нахрач куда-то уверенно вёл её по тайге без тропы прочь от Ваентура. Плечи Айкони оттягивало тяжёлое старинное ружьё, русский самопал, – его дал Нахрач. В осенних дебрях было свежо и сумрачно. По сторонам и сверху всё пространство загромождали мокрые еловые лапы, отягощённые острыми плотными шишками. Под ногами, продавливаясь, хрустел мягкий древесный опад и чвикали раздавленные поганки. Ядовито зеленели мхи на валежинах – они ожили, налитанные дождями и согретые теплом преющей древесины. Айкони не знала, куда её тащит Нахрач, и тихонько заломила еловую веточку, делая приметку для возвращения. Но хитрый горбун остановился и указал на заломленную веточку пальцем.

– Не пытайся меня обмануть, – сказал он. – На обратном пути я уберу твои знаки. Дорогу на Ен-Пугол знаю только я. Это моё капище. Там есть дом. Ты будешь жить в нём на Ен-Пуголе.

– Я хочу жить с людьми, – возразила Айкони.

– Когда я поверю тебе, то разрешу приходить в Ваентур. Но поселить тебя там не могу. За тобой гонятся русские, хотя они этого не понимают. Ты сама виновата. Ты пленила душу Человека-с-крестом. Его тянет к тебе.

– Я не проживу зиму одна, – с отчаяньем тихо сказала Айкони.

– Я буду приносить тебе то, что нужно.

– Я боюсь жить там, где только боги. Они меня погубят.

Нахрач опять остановился и указал рукой куда-то в чащу.

– Смотри, видишь менквов? – спросил он.

Айкони пригляделась внимательнее, и ей почудилось, что поодаль в полумраке за деревьями стоят два человека: очень-очень высокие, худые, с длинными деревянными лицами и заострёнными головами.

– Менквы пропускают нас, – пояснил Нахрач. – Значит, тебе разрешено.

Тайга потихоньку редела, сползая в низину, деревья мельчали, гнилого валежника стало больше, за еловой хвоей замелькали желтизной берёзы, и

наконец открылось болото. Из чёрной воды, усыпанной белыми и красными листьями, косо торчала осока, плавали бурые лохмотья ряски, шишки и россыпи клюквы. Кое-где на буграх из кустов поднимались жалкие деревца. Вдали виднелся низкий остров, его осины светлели сквозь сизую мглу.

– Это Ен-Пугол, – сказал Нахрач. – На нём жили перны, шестипалые женщины, я их прогнал. Теперь там идол Ике-Нуми-Хаума. На Ике – кольчуга Ермака. Но я не дарю тебе это убежище. Ты должна его заслужить.

В укромном месте у Нахрача были заготовлены длинные слегы. Нахрач взял жердь, погрузился в болото и побрёл вперёд, ощупывая слегой путь. Он знал приметы, чтобы преодолеть трясину, и Айкони поспешила за ним.

– Как я заслужу убежище? – в спину Нахрача спросила она.

– На Ен-Пуголе поселился Когтистый Старик.

– Медведь? – ужаснулась Айкони.

– Когтистый Старик, – с недобрым уважением повторил Нахрач. – Он людоед. Он приходил к Ваентуру и съел Кужему, Микипура и Еню, жену Щеньки. Убей его и живи на Ен-Пуголе.

Айкони поняла, чем ей придётся заплатить за приют у вогулов. По этим пустынным, гнетущим болотам, откуда в страхе сбежали менквы, в глухих осенних туманах как призрак рыщет чудовищный вещий зверь, у которого злой бог Хынь-Ика похитил звериное естество, взамен наделив его разумом и коварством человека. И Нахрач придумал, как одолеть этого демона.

– Я никогда не убивала медведя! – в отчаянье крикнула Айкони.

– Я дал тебе ружьё. Пусть оно всегда будет заряжено.

– Мне не убить медведя, если даже мужчины не смогли!

Нахрач остановился возле осклизлой коряги, извилистые корни которой высывались из затхлой воды, как руки, вздёрнутые в мольбе.

– Мои охотники не смогли, а ты сможешь, – убеждённо сказал Нахрач. – У женщины четыре души, а не пять, как у мужчины. А ты – половинка, и у тебя только две души. Одну свою душу ты уже отдала Человеку-с-крестом. Осталась всего-то одна. Тебя очень мало, Айкони, дочь Ахуты. Когтистый Старик не учует тебя, ты подкрадёшься к нему и застрелишь его.

– Может, он ляжет спать? – с последней надеждой спросила Айкони.

– Медведи-людоеды не спят зимой. Зачем? Еды много.

Нахрач огляделся.

– Видишь малого идола возле куста смородины? – он кивнул в сторону уже близкого Ен-Пугола. – От этой коряги иди прямо на него. А я дальше

не могу. Когтистый Старик услышит меня.

До острова Айкони дотащилась уже одна.

Закат догорал за дальними лесами и кроваво полыхал в чёрных рябых окнах болотных прорв. Над трясинами висело сосущее душу безмолвие. Но Айкони была не одна. Где-то как тень скользил по ельникам медведь-людоед. А на краю капища стоял Ике-Нуми-Хаум. Он был почти вдвое выше Айкони. Тулово его было окутано меховыми одеждами, из рукавов торчали маленькие деревянные руки-обрубки, на заострённую макушку был насажен лосиный череп. С грубо вытесанного лица идола пристально смотрели глаза – медные гвозди, а вместо рта чернела глубокая выжженная дыра. Идол кричал гневно и беззвучно, будто внезапно одеревенел в миг какого-то яростного усилия. Айкони робко приблизилась к истукану и отогнула край гнилого покрыва. Под одеждой скрывалась ржавая кольчуга. Айкони погладила железо.

– Здравствуй, Ике-Нуми-Хаум, – тихо сказала она. – Я Айкони.

Остров Ен-Пугол был длинным и узким – просто холм среди болота, невысокая грива, обросшая по топким краям лиственным зарослями, а по гребню – соснами. Дальняя протока, отделяющая Ен-Пугол от материковой тайги, кишела утками: стая собиралась для отлёта на юг, в страну Морт. Трава уже полегла от первых заморозков, и Айкони осторожно осмотрела капище. Нахрач знал гораздо больше богов, чем Хемьюга в Певлоре, и говорил с ними по-разному, по-разному почитал, по-разному призывал. Кроме Ике-Нуми-Хаума, стояли и другие идолы, высокие и низенькие; к священной ограде в ряд привалились менквы; в стволы деревьев были воткнуты ножи, с которых на верёвочках свисали мешочки с приношениями и тряпичные куколки; на сучья и на вкопанные кольшки были надеты дырявые черепа животных; на помосте стоял лунк-ауль – священные нарты с полозьями, загнутыми и спереди, и сзади, потому что на пути к богам нельзя разворачиваться обратно. Чернели углями проплешины жертвенных кострищ; кое-где зачем-то были навалены груды сухого лапника; в лесу на высоких подрубленных стволах сидели амбарчики-чамьи, подобные маленьким домикам; громоздились странные сооружения из жердей, обвешенные истлевшими шкурками. Айкони ощутила себя здесь глупой девочкой, которая присутствует при серьёзном разговоре взрослых.

Нахрач, бесстрашно вторгающийся в жизнь богов и духов, прямо на капище построил себе жилище – небольшую избу-полуземлянку с крепкой кровлей из бревенчатого наката. На кровлю нанесло почву, там топорщились кусты. В этой избушке Айкони предстояло зимовать. В

избушке были стол, топчан и чувал с долблёной трубой, один угол занимала поленница.

Осень надвигалась неудержимо. Днём она опускалась на болота с неба древним стеклянным светом, в котором тихо таяло тревожное курлыканье журавлей, ночью прорастала из-под земли белыми прожилками иней, утром и вечером вытекала из тайги обморочными туманами. Шумели ветра-листобои. Айкони глядела на бурые пространства языческих болот, чуть пестреющие подпалинами рыжих лиственниц или ветхой краснотой облетающих осин. Она ни о чём не сожалела, не вспоминала тех, кого любила, и кто её предал. Если ей не суждено жить с людьми, она будет ветром, будет болотной водой, будет полуночной песней волков. Бог Торум сплёл людей из тонких веточек берёзы; неужели она, берёзовая девочка, не сумеет говорить с тайгой?

Но тайга начнёт говорить с ней лишь тогда, когда она, Айкони, поможет тайге – убьёт медведя-людоеда. Когтистый Старик – мучительная боль тайги, сумасшествие. Он не любит мёда, он не спит зимой, он не соблюдает границ медвежьих владений. Медведи – они ведь не медведи, а люди, превращённые в медведей. Было так: шёл мужик по лесу, увидел бурелом, а ему надо было перебраться; он снял одежду, чтобы не цеплялась за сучья, – всю, кроме красной рубахи, – и полез, а пока лез, оброс дикой шерстью, как мхом, и стал медведем. Тот колдовской бурелом наломал бог Хынь-Ика. Иногда, если хочет позабавиться, Хынь-Ика возвращает медведю разум человека, и такой медведь умеет открывать двери, не боится огня, понимает человеческую речь, прячет от собак свои следы. Он жрёт людей – самую лёгкую добычу. Если медведя-людоеда убить и освежевать, под шкурой окажется мужик в красной рубахе. Поэтому медведь-людоед и не медведь, и не человек.

Когтистый Старик пришёл утром, когда Айкони спала. Зверь толкнулся в дверь, заложенную крепким засовом, толкнулся другой раз и третий. Это мог быть только Старик. Простые медведи, обычные, умеют лишь цеплять когтями и подтаскивать к себе лапами, а отпихнуть от себя не догадываются, поэтому в охотничьих домиках двери всегда отворяются внутрь. Но Старик знал, как войти в жильё. Однако он не мог выдавить дверь к Айкони: вход в полуземлянку располагался в яме со ступеньками, и Старик не хватало места, чтобы навалиться всей тушей. Озлобленно ворча, он пошёл вокруг домика, попробовал засунуть в щель окошка нос или лапу, потёрся об угол и неуклюже залез на кровлю. С потолка на Айкони посыпался песок. Старик принялся разрывать землю, покрывающую накат: он хотел добраться до брёвен и раздвинуть их. Он

унюхал, что в домике – человек. Еда.

Айкони вскочила с лежака, быстро сунула ноги в кисы и намотала тесёмки, потом схватила уламу и затянула её себе грудь, завязав углы платка узлами. В уламе была душа, которую она сняла с мертвеца ещё в Тобольске; душа мертвеца поможет в борьбе со зверем-демоном. Припасы для стрельбы у Айкони были заранее приготовлены на столе: пороховница из коровьего рога, коробочка-пульница, мерная чарка, травяной пыж, воронка, скрученная из бересты, и палочка-шомпол. Руки у Айкони не дрожали. Она выдернула пробку из рога, натрусила пороха в чарку, поставила самопал на приклад, сунула в дуло воронку, высыпала порох, утрамбовала шомполом, закатила в ствол круглую железную пулю, снова утрамбовала шомполом, запихала пыж и опять утрамбовала шомполом. Самопал был заряжен. Айкони взяла пучок лучин и подожгла их от углей в чувале. Теперь пусть помогут боги тайги.

Медведь топтался по крыше, брёвна хрустели, струился древесный прах. Айкони осторожно вынула засов, чтобы шумом не привлечь Старика, взяла ружьё и горящие лучины, распахнула дверь и метнулась наружу. Серый день; ветер нёс над Ен-Пуголом сумрачные тучи. Айкони отбежала от избушки на десяток шагов и остановилась, повернувшись.

Какой он огромный – Когтистый Старик! В три раза больше Айкони и в шесть раз тяжелее! Он был весь буро-плесневелый, перемазанный склизкой болотной тиной; мокрая шерсть висела колтунами; под шкурой вздувались и перекачивались бугры мускулов. Толстенными кривыми лапами Старик рылся на крыше, стоя задом к Айкони, и яростно швырял клочки кустов.

Айкони положила увесистый самопал стволом на голову низенького идолка и махнула лучинами, раздувая огонь. Старик не оборачивался.

– Явун-Ика! – звонко и требовательно крикнула Айкони.

Медведь замер, а потом оглянулся как-то из-под плеча. Айкони увидела его косматую башку, круглую, как котёл, с острым рылом, испачканным чёрной дрянью. Медведь смотрел на Айкони чёрными, мёртвыми глазами. Звери никогда не смотрят на людей без выражения, их взгляды всегда оценивающие, полные готовности к чему-то – к бегству или нападению, а у Когтистого Старика глаза оставались пустыми, словно их выкололи.

Айкони поднесла огонь лучин к запальной дырке ружья.

Грянул выстрел, приклад больно ударил Айкони, и ружьё упало.

И ничего не изменилось. Старик стоял на крыше. Айкони промахнулась.

У неё был только один выстрел, и всё. Зарядить самопал второй раз она бы не успела. Она осталась почти безоружной против Когтистого Старика – слабая девчонка против медведя-людоеда на острове среди болот. У неё только нож. А медведь во сто крат сильнее неё, и быстрее бегают, и быстрее плавают. И все лесные боги покинули Ен-Пугол, изгнанные демоном.

Она стремглав помчалась к деревьям, хотя чем они могли ей помочь? Айкони спаслась бы только в избушке, но там на крыше медведь; сейчас он спрыгнет, догонит её и сомнёт как стрекозу одним ударом лапы. Жухлая трава, шишки, поваленный идол, куча лапника, обломок жерди, кострище, пенёк, куст бузины, сосновый ствол, сосновый ствол, сосновый ствол... Нет, это уже не ствол – это столб, на котором стоит священный амбарчик-чамья. Айкони белкой взлетела по бревну с вытесанными ступеньками, нырнула в амбарчик, будто в нору, и пнула бревно, отшибая его от порога. Бревно с шумом рухнуло на землю, на прелые крылья полёгшего папоротника.

Медведь зарычал где-то внизу, потом амбарчик дрогнул – и всё.

В маленьком коробе чамьи Айкони замерла, вся сжавшись, но больше ничего не происходило. Айкони перевернулась через голову и чуть-чуть высунулась наружу. Когтистый Старик, подёргивая шкурой на загривке, вперевалку бродил под амбарчиком, и в горле у него тихо клочкотало. Он не мог дотянуться до избушечки и не мог повалить чамью, потому что вместо столба у неё был обрубок сосны с корнями. Айкони оказалась недосягаемой.

Но что делать дальше?

...Она сидела в чамье до темноты. Ей было тесно и холодно, голова упиралась в крышу, крытую корой, ломило согнутую спину и подобранные ноги. Медведь всё время был где-то поблизости: обследовал капище, нюхал идолов, хрустел кустами, утробно ворчал, взрывая землю. Несколько раз он пытался подобраться к амбарчику, вставал на задние лапы и царапал ствол сосны. Он и не думал уходить, зная, что человек не просидит наверху вечно.

В сумерки Айкони заговорила со Стариком.

– Явун-Ика, – выставив голову, убеждала она, – зачем тебе Айкони? Она худая, тебе её не хватит, ты немного будешь сытый. Иди в лес, в берлогу. Хорошие медведи – священные звери. У них глаза – звёзды, уши – пенёчки, сердце – лабаз, грудь – лодка. Осенью они уходят под землю, в мир мёртвых, и уносят с собой тепло, они вроде умирают. А весной они снова оживают, возвращаются в наш мир и приносят тепло. Люди очень уважают таких медведей. Никогда не беспокоят их напрасно и даже не называют

настоящим именем. Если случится убить хорошего медведя, люди несут его из леса в колыбели из тонких берёзовых стволов, а у себя дома устраивают праздник, благодарят медведя и пляшут для него. Берут его головы и лапы и кладут в самое почётное место, шаман кормит дух медведя его мясом, медведь съедает сам себя и снова возрождается, ему приятно. А плохих медведей, таких, как ты, люди не уважают. Их ненавидят, за ними охотятся, их убивают без почести, их кости дробят. Иди в лес, залезай в берлогу, спи. Хынь-Ике станет скучно, когда ты уснёшь, он бросит тебя. Ты проснёшься весной хорошим медведем, у тебя будут жена и дети, ты проживёшь долго...

Явун-Ика слушал Айкони, сидя возле амбарчика, но никуда не уходил.

Всю ночь Ен-Пугол поливало дождём. Вода легко протекала сквозь крышу чамьи; Айкони, вся мокрая, корчилась на обрывках шкур и стучала зубами. Она пробовала закутаться в уламу, но улама не грела. А Когтистый Старик перебрался под днище амбарчика и спрятался от дождя.

Только под утро Айкони провалилась в мутный, беспокойный сон. Её разбудил свист ветра. Над болотом начиналась буря. Летели палые листья, жухлая трава шевелилась, сосны гибко раскачивались и скрипели; полуголые берёзы и осины, кланяясь вразнобой, словно заслонялись пустыми ветвями. По высокому небу непривычно быстро плыли тучи, сливаясь друг с другом и разваливаясь на сизые лохмотья. Айкони, дрожа, осмотрелась. Медведя нигде не было. Пустая поляна с идолом, пустой и сквозистый лес.

Издалека донёсся протяжный ропот и долгий треск. Наверное, где-то упало дерево. А вдруг Когтистый Старик услышал шум падения, решил посмотреть и ушёл?.. Конечно, он вернётся, но можно успеть добежать до избушки и спрятаться, закрыть дверь на засов. В доме у неё есть еда, вода, огонь. Она просидит там хоть до снега. Медведь не выдержит сторожить её до зимы, да и Хынь-Ике надоест однообразие... Бежать или не бежать?..

Айкони не стала долго размышлять. Она уже измучилась. Она вытащила нож и полезла из чамьи, примерилась и прыгнула вниз. Она упала как кошка – на руки и ноги, и сразу отскочила, выставив нож. Медведь не появился.

Айкони бросилась к своей избушке. Свистел холодный ветер, трепал одежду на идоле Ике-Нуми-Хаума, ворошил кусты. Медведь нигде не показывался. Под бревенчатой стеной в яме со ступеньками из тёсаных досок зиял открытый вход в её дом. Айкони огляделась. Медведя не было. Айкони спустилась в яму на три ступеньки. А вдруг медведь в избушке?

Пусть посмотрит мертвец, душа которого в уламе. Айкони стянула

уламу с плеч, скомкала и швырнула в проём двери. И тотчас ей навстречу из тёмного проёма рванулось огромное оскаленное рыло медведя. Когтистый Старик ждал её там, где тепло и нет дождя, куда она обязательно придёт. Он был очень умный. Но улама попала ему в глаза, и он опоздал на мгновение.

Визжа, Айкони выпрыгнула из ямы и помчалась по капищу, но сейчас ей уже негде было прятаться. Лестницу в чамью она сама уронила и теперь не успела бы поднять бревно, чтобы снова приставить к порогу амбарчика. Медведь, ворочаясь, протиснулся сквозь дверной проём избушки, вылез наверх и с рёвом мотнул башкой, сбрасывая уламу. Ветер легко подхватил священное покрывало и понёс над капищем, как парус.

Айкони споткнулась и покатилась. Ей не убежать. Невозможно, да и некуда. Ей надо драться с медведем. У неё ещё есть нож. До сердца медведя она не достанет, значит, надо воткнуть нож медведю в глаз. Она не знала, случалось ли кому-нибудь когда-нибудь убить медведя ножом в глаз, да и не важно. Она вскочила, нелепо размахивая своим последним оружием. Лицо её было мокрым от слёз, и под штанами по ногам у неё потекла горячая вода.

– Я убью тебя, Явун-Ика! – разъярённо закричала она изо всех сил, содрогаясь в ужасе и ненависти.

Медведь приближался какой-то расхлябанной, вихляющей походкой, словно глумился. Он – могучий косматый великан, властелин тайги, а кто она? Маленькая, растрёпанная, ничтожная, обмочившаяся со страха.

Ветер накинул уламу на идола Ике-Нуми-Хаума и облепил покрывалом его деревянную морду с гвоздями вместо глаз и выжженной пастью. Складки священного покрывала, трепеща, как живые, вдруг разбежались извилистыми морщинами и сложились в какую-то личину вроде человеческой – личину той души, которую Айкони сняла с мертвеца. Личина открыла рот.

– Явун-Ика! – глухо и властно крикнул дух мертвеца. – Иди ко мне!

Когтистый Старик остановился перед Айкони, которая в готовности к схватке водила по воздуху ножом, и молча поглядел на неё так, словно запоминал на будущее, а потом грузно повернулся и нехотя двинулся к идолу. Прямой путь пролегал через кучу рыжего лапника, и медведь не пожелал огибать её; он уверенно ступил на старые ветки, сделал шаг, другой – и вдруг рухнул вниз, под землю. Раздался треск, хруст и страшный звериный рёв, точнее, вой, который сразу сменился мученическим скулежом.

Айкони ждала, но Старик не вылезал. Айкони медленно подошла

ближе. Под лапником была ловчая яма с вкопанными в дно заострёнными кольями. Медведь упал на них всем своим невероятным весом, и колья пронзили его почти насквозь. Айкони потрясённо смотрела в яму. Медведь чуть приподнял башку и посмотрел вверх, на Айкони. Затем голова его опустилась.

– Умирай, Когтистый Старик, – прошептала Айкони. – Здесь я буду жить, а не ты.

Глава 5

Корчемщики

Гужевая дорога тянулась через осенний лес. Лошадь кивала головой; большой воз подрагивал, перекатываясь через корни деревьев, оголённых колеями; чуть скрипели оглобли и смазанные дёгтем ступицы деревянных колёс, обтянутые ржавыми полосами железных шин. Юсси бежал стороной вдоль дороги и время от времени зарывался мордой в кучи палых листьев. Он уже превратился в большого пса, но умом пока ещё оставался щенком. Бригитта сидела на возу боком, свесив ноги, а Ренат шагал рядом. Старик, что держал вожжи, бормотал, не умолкая, изредка обращаясь и к шведам.

– Не успели, вишь, летом, переправить, что накопили, так и осенью наверстаем. За два стога сена ведро овса – хорошая цена. Служилому в год воевода пять четей отсыпает – на` тебе, дескать, служба, подавись, а тут за полдня цельное ведрище. Может, у вас, шведов, и лошадь своя есть? Вы же народ ушлый, сидите в плену, а сами и коней тут покупаете, и коров, и дома` себе строите. Скоро нас без войны завоюете. А косить-то ты умеешь, парень?

На Успенье строителям объявили передышку, но Ренат решил не терять день. Вдвоём с Бригиттой он нанялся привезти с дальней поляны два стога сена. Хозяину стогов было недосуг, а его старик-отец работу не осилил бы.

– Косить я уметь, – сказал Ренат.

– Да откуда тебе уметь-то? – усомнился старик. – Откуда у вас в Швеции лугам быть? У вас там, небось, везде не знаю что. Раньше я за день четыре таких палестины стелил, как наша, а теперича всё, отмахался, хрыч.

Овёс – плату за перевозку – Ренат собирался продать, чтобы выручить две копейки. Однако этот жалкий заработок предназначался не ему и даже не Бригитте. Он был для Цимса. Цимс пьянствовал сам и в пьяной щедрости поил своих приятелей. А деньги должна была добывать жена. Если Бригитта не находила денег, Цимс её бил, и бил жестоко. Ренат отдавал Бригитте едва ли не всё, что получал на стройке кремля, но Цимс оказался ненасытным.

– Ты говорил с ольдерманом, Хансли? – по-шведски спросила Бригитта.

– Говорил. Он нам не поможет, Гитта.

Эта жизнь была невыносима. Ренат работал больше, чем мог, но почти

голодал. Капитан Табберт платил ему за помощь в своей картографии вдвое больше, чем стоил труд Рената, и Ренат, краснея, принимал эту плату. Он ходил на благотворительные обеды, что устраивали для товарищей офицеры побогаче – ольдерман Курт фон Врех, секретарь губернатора Йохим Дитмер, полковник Арвид Кульбаш, капитан Отто Стакелберг. А Цимс в кабацком кураже любил крикнуть целовальнику: «Мужик, всем по кружке твоего пойла!» – и, презрительно ухмыляясь, наслаждался восхищением забулдыг.

Ренат поговорил с батальонным пастором Габриэлем Лариусом: можно ли солдатской жене Бригитте развестись со своим мужем Михаэлем Цимсом? Пастор сказал, что эти вопросы решает епископ. Ренат попросил ольдермана фон Вреха убедить пастора, но фон Врех прочитал Ренату отеческую нотацию о святости брачных уз. Бригитта оставалась рабыней Цимса.

– Ох, спину ломит, – бормотал русский старик. – Значит, скоро будет дождь, надо торопиться. Сено под дождём – чертям на щи... Жена она тебе, парень, али кто? – Ренат не ответил. – Ну, молчи, молчи. Наорался под Полтавой-то. Вот сиди теперь в неволе, нужду в петельку завивай. Эх, был бы я моложе, я бы с тобой на кулачках подрался. А теперича только печка спасение. Не прогреешь кости, так самого скрючит, хуже пленного шведа.

Осенний лес пылал всеми красками. Под ветерком берёзы трепетали, и солнечные пятна пробегали по лицу Бригитты. Зыбкие и ропочущие толщи листвы вскипали изнутри: то всплывали облака свежей цыплячьей желтизны, то вдруг плотно сыпалось густое королевское золото, а иной раз праздничная шипящая пена в глубине подёргивалась землисто-ржаной рябью. Чистый березняк надрывным багрянцем рассекали осины, ошпаренные потаённым холодом. Неподвижно высились узкие ёлки, тёмные и долгополые, словно священники. Из небесной синевы ушло тепло – отлетела лёгкая душа лета.

– Михаэля надо убить, – сказала Бригитта обыденно и спокойно.

Ренат и сам думал об этом. Увы, он не мог вызвать Цимса на дуэль и застрелить из пистолета, потому что Цимс не офицер. А как ещё его убить? Подкараулить ночью у кабака и ударить ножом? Люди подумают, что Цимса зарезали в пьяной драке. Но Ренат всё равно бы не справился, хотя и брал уроки фехтования у капитана Табберта. Он артиллерист, он никогда не рубил людей саблей и не колол штыком, и с ножом он тем более не совладал бы.

– Тпру, приехали! – старик дёрнул вожжи.

Телега выкатилась на большую скошенную поляну, посреди которой

высились два стога, ужатые шестами. Нельзя было оставлять сено в лесу на зиму: зверьё всё растеребит и ошиплет. Зоркий, но глупый Юсси заметил в стерне мышь и кинулся за ней через покос, заливаясь восторженным лаем.

В кузове телеги лежали вилы, жерди, грабли, верёвки.

– За работу, вражьи рожи, – закричал, слезая, старик. – Скоро дождь.

Бригитта спрыгнула и молча пошла к лесу.

– Куда это она? – старик посмотрел на Рената. – По нужде?

Ренат не ответил ему и пошагал за Бригиттой, догоняя. Он услышал её бессловесный призыв. Юсси помчался за хозяевами.

Старик увидел, как эти двое зашли за красные кусты на опушке леса и повалились на землю – в объятия друг к другу. Ни до чего им не было дела. Молодые. Старик пошевелил бородёнкой, словно что-то жевал, отвернулся, взял вилы и, охая, принялся в одиночку перебрасывать сено в телегу.

– И на кого лешего народу война сдалась? – бормотал он.

...Ренат и Бригитта уже притерпелись к этому: на виду у всех уходить в сторону, в какое-нибудь ближнее и не слишком надёжное укрытие. Бригитта принимала обстоятельства с тихим надменным спокойствием, с упрямством цветущей женщины – дескать, я всё равно возьму своё, в какую бы цену оно ни обошлось. А Рената хлестал по щекам стыд, что он не может выпрямить свою жизнь, и его любимую женщину имеет и бьёт пьяный мужлан.

Ренат работал на строительстве кремля в артели Симона-младшего. Как артиллерист, знающий геометрию, он научился рассчитывать арки: сколько печур должно поместиться в прясле крепостной стены – и сколько стрельниц в круглой башне; какие радиусы у машикулей; какую запланировать высоту станин, чтобы соблюсти пропорции; какой длины пилить подпружные доски, которые своим изгибом определяют стрелу подъёма и пролёт; каков диаметр воображаемой окружности, дугами которой будут рёбра распалубки свода. Русские строили на глазок, без циркуля, и Ренат видел, к чему это приводит, на примере продавленных и разновеликих закомар Софийского собора.

По просьбе Рената Семён-младший принял Бригитту в свою артель стряпухой. Стряпух было четыре. Они приходили днём и на костре из щепок и обрезков досок варили в котлах обед на всю артель. Юсси прибежал вместе с Бригиттой и вертелся у котлов, задрожившись с караульщиком Федькой Матюхиным, который беспросветно скучал на своей бессмысленной службе. Ренат не обедал вместе со всеми; он брал Бригитту за руку и вёл к дальней башне, достроенной до половины. Они по грязным мосткам спускались в полутёмный подвал, загромождённый

старыми лесами, пустыми бадьями из-под раствора, козлами и всяким мусором. Ренат свистом подзывал Юсси и сажал на мостки: сторожи, сторожи, дружище! Бригитта наклонялась и упиралась во что-нибудь руками, а Ренат задирает ей длинную юбку.

– Здорово ты с бабой устроился, Юрка, – как-то раз завистливо сказал Ренату Федька Матюхин. Юхана Густава Рената он именовал Юркой.

– Здорово – это тебе, Федька, – ответил Ренат. – Ты свой. А я в плен.

Они сидели на бревне, ожидая команды к работам.

– Мне тоже не сладко. Я ж не здешний. Скука – скулы воротит, и ведь не платят ни шиша. Раньше я служилым был, а теперь нас разогнали, слышал?

– Не слышать, – Ренат не интересовался жизнью Тобольска.

– Ты-то чего делать зимой собираешься?

– Не знать. Искать.

– Я вижу, мужик ты работающий, честный, бабе своей помогаешь, и лихих дружков у тебя нет, – Федька придвинулся к Ренату поближе и заговорил потише. – Давай вдвоём корчму устроим?

Ренат знал, что в России делать водку можно только с разрешения властей, но за это надо платить большие деньги. Однако жулики заводили корчмы – тайные винокурни. Вокруг Тобольска их было, наверное, с десяток. Корчемщики запаривали брагу, делали самогон, перегоняли его в водку и продавали в торговые бани и тайные кружала, старухам-шинкарям, которые по ночам торгуют хмельным у себя дома, и даже в казённые кабаки. Власти разыскивали корчемщиков и сжигали корчмы, крестьян и посадских людей пороли и штрафовали, служилых и подьячих ссылали в Енисейск или Нарым.

– Я не уметь готовить водка, – сказал Ренат.

– Я сам всё умею, а ты на подхвате будешь, – горячо зашептал Федька. – С тебя другое требуется. Ты вашему секлетарю Дитмерке кошель занеси. От меня он не возьмёт, не доверится.

Весь Тобольск знал, что Йохим Дитмер, секретарь губернатора, живёт не столько с жалованья, сколько со взяток. Матвей Петрович тоже знал об этом, но в плутни Ефимки не вмешивался. Пусть берёт, пока не нарушает законов. Приказные всегда берут, и сам господь того не отменит. Дитмер принимал «поклонную мзду» за доступ к Матвею Петровичу, за вердикты губернаторского суда, за казённые подряды, за разрешенья на торговлю, ремесло и промысел, за убавку податей, много за что. Как известно, не подмажешь – не поедешь. Дитмер купил себе большое подворье на Нижнем посаде и нанял дворню. Ренат явился к господину секретарю

домой.

Он бывал здесь на обедах, которые Дитмер устраивал для неимущих офицеров. Длинный стол под скатертью, шандалы, две дюжины стульев, поставцы с посудой, стены, обитые обоями, слюдяные наборные окна в свинцовых рамах, зеркала, портьеры. Дитмер предложил присесть. Ренату было неуютно среди европейского убранства, от которого он давно отвык.

– Господин Дитмер, я скажу открыто, – нехотя заговорил он. – Мне поручили спросить вашу цену тайной винокурни. Я приглашён к участию.

– Винокурня – государственное преступление, – предупредил Дитмер.

– Мне это известно.

– Похвально, что мы оба трезво смотрим на вещи, – слегка улыбнулся Дитмер. – Да, я могу проследить, чтобы сведения о вашем предприятии не достигли губернатора. Все доносы проходят через мои руки. Но я должен знать расположение вашей винокурни, чтобы соотнести возможный донос с вашим делом. Не вы один строите благосостояние подобным образом.

– Я не разбираюсь в здешней местности.

– Тогда сообщите имена компаньонов.

– У меня один компаньон. Караульный Фёдор Матюхин. Я называю его, надеясь на вашу честь, господин секретарь.

– Не беспокойтесь, господин штык-юнкер, – Дитмер говорил вежливо и держался чуть почтительно, однако Ренат всё равно почувствовал его тихую снисходительность. – Ваше заведение будет стоить два рубля в месяц.

– Почему так дорого? – удивился Ренат.

– Это не дорого. Для вас я убавил цену вдвое. Вам же известно, что я всегда готов послужить соотечественникам, и за это уже пострадал.

Дитмер говорил правду. Сын бургомистра Нарвы, он сам попросился в армию короля Карла и служил в канцелярии походного министра графа Пипера. Вместе с графом он попал в плен. Вскоре граф возглавил в Москве Фельдт-комиссариат, который занимался делами пленных, и взял Дитмера к себе. В первые месяцы шведы завалили Фельдт-комиссариат мемориями о варварстве русских. Граф Пипер не знал, как заставить русских соблюдать человеколюбие по отношению к военнопленным. И тут ему помог Дитмер. Он не испугался и при случае смело подал меморию о притеснениях самому царю Петру. Пётр прочитал и бешено задёргал усом. Русские чиновники получили высочайший указ о неучинении обид каролинам, а вот Дитмер за свою дерзость отправился в ссылку в Сибирь. Граф Пипер, тяжело вздыхая, написал ему прекрасное рекомендательное письмо для князя Гагарина.

– Могу ли я попросить вас об отсрочке платежа? – хмуро спросил Ренат.

– Как вам будет угодно. Я беру двадцать пять процентов за месяц.

Федька Матюхин обрадовался взятке в два рубля. Он боялся, что будет гораздо больше.

Осень своим чередом катилась к зиме. Когда начались заморозки, на стройке объявили конец работам. Ступенчатая свеча столпной церкви, пока ещё лишённая купола, и три башни с пряслами стен, пусть и недоделанные, уже изменили облик места: сгребли воедино и упорядочили бревенчатую россыпь сооружений Воеводского двора. Марширующие рекруты Бухгольца, камзолы чиновников губернской канцелярии и барабанный бой на плацу Воинского присутствия, бывшего Драгунского подворья, тоже задали совсем новый образ существования. Но Ренату всё это было безразлично.

Под корчму Федька присмотрел заброшенную рыбацкую избу на берегу Иртыша в пяти верстах от Тобольска. Избу почистили, подлатали крышу, заготовили дрова. На лодке Федька и Ренат перевезли котёл, разные приспособления, изготовленные в Тобольске, и мешки с припасами. Ренат ничего не понимал в винокурении, но Федька легко и быстро объяснил, как всё устроено: в кадушках у камелька творим сусло, в тагане выпариваем его на медленном жаре, пар идёт в трубу, первач оседает на её стенках и стекает в ведро. Для самогонки лучше всего годились татарские казаны на ножках. Крышку для плотности надо делать деревянную, она разбухает; вместо гнёта – камень с берега. Длинную трубу Федьке скрутили на Ружейном дворе из тонкого железа, щели Федька замазал тестом. Зимой будет легче: трубу, помещённую в жёлоб, можно обкладывать снегом, а талую воду сливать, но пока не ударили холода, придётся остужать трубу мокрыми тряпками.

Корчма заработала. Федька оказался не выжигой и жуликом, которого интересуют только деньги, а мастером-рукодельником. Он хотел скопить рублей двести и уехать из Тобольска домой – в Вологду. Всегда полупьяный от проб и сивушного пара, он неумоимо и любовно возился в избушке со своим самогонным хозяйством: поправлял, латал, подвязывал верёвочками, подкладывал щепочки, следил, как шает очаг, отмерял, проверял, трепетно прислушивался к урчанию котла, словно к сердцебиению больного друга. Он попросил Рената привезти ему Юсси, Ренат привёз, и Федька объяснял псу, что делает. Юсси топорщил уши, наклонял голову и внимал Федьке так, точно прикидывал, не открыть ли тоже какую-нибудь собачью корчму.

Федька договорился в Тобольске с кабатчиками и больше не

отвлекался на сбыт хмельного. Бочонки в лодке по ночам доставлял Ренат. Он занимался и прибылями корчмы, Федька доверял ему общие деньги.

В ту ночь сыпался долгий сибирский дождь. Мокрое корьё кровли чуть поблёскивало, отражая тусклый рассеянный свет с простора большой реки. Из багровеющих волоковых окошек курился горячий пар. Ренат привёз деньги, и Федька на радостях угощал его свежей водкой, которую он отжал сквозь нащипанную хвою лиственницы и давленную морошку. Юсси в углу увлечённо грыз большой коровий мосол. Вдруг дверь открылась, и в корчму, пригнувшись, шагнул Йохим Дитмер. Он был в треуголке и отсыревшем плаще-епанче. Юсси кинулся на него с запоздалым лаем.

– Юська, тьфу! – прикрикнул Федька.

– Здравствуйте, господа, – по-русски поздоровался Дитмер.

За пояс у него были заткнуты два пистолета. Оглядываясь, Дитмер снял треуголку и хлопнул ею по колену, сбивая воду. Лавки, стол, широкие полки с горшками и бутылками, ящик с припасами, пустые бочонки, составленные друг на друга, туес с конопаткой и деревянный молоток, чтобы закупоривать крышки. Поварёшки и черпаки, берестяные воронки, камелёк, таган с трубой, куча дров и топор, нездоровый зной, кислый запах сусли. Федькин лежак с тряпьем, лужи на земляном полу, перекрытые истоптанными досками, и горящие лучины, натканные в стены промеж брёвен. Русский вертеп.

– Как вы нас нашли, господин Дитмер? – по-шведски спросил Ренат.

– Просто плыл за вами в челноке, господин штык- юнкер.

– Ты привёл с собой караул? – тревожно вскинулся Федька.

– Зачем? – усмехнулся Дитмер в ответ.

Он вытащил из-за пояса пистолет, со щелчком взвёл курок, нацелил ствол Федьке в грудь и выстрелил. Грохот ударил в низкий потолок. Юсси в ужасе отскочил и снова залаял. Федька встал, растерянно улыбаясь, словно был потрясён внезапным поворотом дела, и рухнул навзничь в лужу на полу. Ошеломлённый Ренат тупо смотрел на Федьку. Федька был мёртв. Ренат перевёл взгляд на Дитмера. Дитмер засовывал пистолет обратно за пояс.

– Что вы сделали, Дитмер? – тихо спросил Ренат.

Не снимая епанчи, Дитмер боком присел на лавку.

– Я немного проследил за вами, господин штык-юнкер, – пояснил Дитмер, тонко улыбаясь. Он наслаждался собой и своей проникательностью. – Разумеется, не лично. В торговых банях у меня есть свои доносчики. Я знаю, что вы наладили изготовление хорошей водки и завязали деловые отношения с кабаками. Это похвально. Однако компаньон

вам больше не нужен. Дальше вы можете управляться с предприятием в одиночку.

Юсси осторожно подошёл к лежащему Федьке и обнюхивал его.

– Кто вы, Дитмер? – словно не узнавая, Ренат пристально вглядывался в лицо губернаторского секретаря. – Чиновник или разбойник?

– Я сын бургомистра Нарвы, господин Ренат. Увы, Нарва потеряна для короны, но я не хочу возвращаться под руку короля Карла голодранцем. И сейчас я просто увеличил свой доход за счёт человека, который стал лишним. Я посчитал вашу вероятную прибыль и желаю ежемесячно получать от вас пять с половиной рублей. Кстати, господин Ренат, ваш доход тоже вырос.

– Вы способны убить просто ради денег, Дитмер?

– Спешу возразить, что это вы его убили, – холодно ответил Дитмер. – Так и будет доведено до сведения губернатора, если я своевременно не начну принимать от вас означенной суммы. Меня здесь никто не видел, господин Ренат. Секретарь губернатора не знал никакого корчемщика Матюхина и не стал бы марать об него руки. Запомните это, штык-юнкер.

Под пузатым таганом по-прежнему трещал огонь, в тагане клокотало, из железной трубы в посудину капала водка. В свете лучин клубился пар. На крыше топтался неугомонный дождь.

– Похоже, теперь я в плену у вас, а не у русских, – угрюмо сказал Ренат.

Глава 6

Мирная скотина китоврас

Отец Клеоник, эконо́м Софийского двора, приехал к Ремезовым по первому снегу. Он выпил у Митрофановны чарку и пошёл в мастерскую.

- Ульяныч, – сказал он, – убирай свои ящики, не то выбросим.
- Какие ящики? – удивился Ремезов.
- В Архиерейском доме полподвала занимают.
- А! – вспомнил Ремезов. – В них кости подземного зверя мамонта!
- Да хоть Ноев ковчег. Место потребно. Убирай, или в прорубь скидаю.
- Я тебя самого по костям туда скидаю, – тотчас пообещал Ремезов.

Эту добычу Семён Ульянович привёз с озера Чаны двадцать лет назад – при воеводе Андрее Нарышкине. Воевода сказал: коли зверь подземный, то к земной государевой власти он никакого касательства не имеет, и уноси своё дрянное костьё на Софийский двор. Митрополит Игнатий осмотрел находку, потрогал изогнутые бивни длиной в печатную сажень, заглянул в пустые глазницы огромного черепа, который размером был в два сундука, и честно признался, что не знает, на какое дело нужен этот исполинский остов.

- Он суть свидетельство потопа! – горячо заявил Ремезов.
- Ты разве в Святом Писании усомнился?

Однако порешили сохранить кости для того дня, когда придёт на ум, куда их приспособить. И вот миновало двадцать лет.

Семён Ульянович отправился на Софийский двор. Здоровенные ящики занимали, конечно, не полподвала, а всего-то один угол, но отец Клеоник решительно настроился вышвырнуть бесполезный хлам к псам. Допустить такого Семён Ульянович не мог. Мамонт – подлинное чудо творенья, как ему не удивляться? Опираясь на палку, Ремезов поковылял ловить губернатора.

Гагарина он поймал у Софийского собора на выходе со службы. Матвей Петрович любил отстоять обедню с простым народом, раздать милостыню и потолковать с юродивыми и странниками, что сидели на дощатой паперти.

- Уже вернулась из Псковских Печер, Марфуша? – ласково спрашивал он у старушки, замотанной в рваный платок.
- Вернулась, отец, – кивала старушка. – Поклонилась святым мощам.
- Ну, с богом, родимая, не более, – Матвей Петрович подал пятачок.

– Здорово, Петрович, – пристроился к губернатору Ремезов.

– Ох, поганец ты, Ульяныч, – покорно вздохнул Гагарин. – Снова какую-то смуту затеял? Зима, лежи на печи, старче, – нет, он опять ноги в валенки.

– Вот ты, Петрович, говорил, что государь всякие диковины любит, – ехидство Ремезов пропустил мимо ушей. – А я знаю такую. Подобия нет.

– Что за диковина? – неохотно спросил Гагарин. – Золото курганов?

– Сибирский зверь мамонт, – гордо сообщил Семён Ульянович.

– Так от него только рога находят.

– А я цельный остов отыскал. Давно было. Он в Архиерейском доме в подклете по ящикам разложен. Хочешь, соберу тебе весь костяк? Царю его покажешь – с престола упадёт. Только мне два рубля дай.

– На что?

– Брус закажу, чтобы раму под остов сколотить, проволоку, гвозди, скобы. Каких костей не хватит, куплю на базаре медвежьих или коровьих.

– У архиерея и проси.

– Иоанн слёг, занедужил. Всем Клевонка заправляет, эконоом. Он мне сказал, что мамонт есть богомерзкий зверь Бегемот, а Бегемот – имя сатаны. Угрожал мне, Сарданапал чёртов, утопить кости в Иртыше.

– Может, им там и место? – пожал плечами Гагарин.

– Тьфу на тебя, Петрович! – оскорбился Ремезов. – У меня зверюга размером с баню на ногах, а ты на два рубля жмотишься! Стыд!

– Ладно, – уступил Гагарин. – Соблазнитель ты и вымогатель, Ульяныч.

Под возню с мамонтом Матвей Петрович отвёл Ремезовым конюшни Драгунского подворья, ныне – Воинского присутствия. Конюшни, да и всё Присутствие, пока пустовали: служилых Бухгольц отсюда прогнал, рекрутов только что перевели в новые гарнизонные избы у Шаблинского моста на Нижнем посаде, а лошадей ещё не было вовсе. Семён Ульяныч с сыновьями перевёз ящики из Архиерейского дома в драгунскую конюшню, застелил пол старыми рогожами и разложил кости для обозрения. Даже не верилось, что этот зверь когда-то существовал: бурые древние рёбра и позвонки казались окаменевшими корягами и разлапистыми пнями.

– Помню, батя, как мы его копали на озере Чаны, – усмехнувшись, сказал Леонтий. – Я тогда первый раз в Барабинской степи был.

В те годы джунгарский Бошогу-хан вёл жестокую войну с китайцами за Халху и терял аймак за аймаком. Нойоны Бошогу, утратив веру в своего предводителя, уходили от него, уводили стада и предавались под руку Канси. От бескормицы джунгары нападали на барабинских татар, данников

России. Воевода Нарышкин отправил две сотни служилых на защиту Барабы. Одной сотней командовал Семён Ульянов Ремезов, тогда ещё никакой не изограф. С собой на войну он взял сына Лёньку. Лёньке было семнадцать лет.

Щедрые Барабинские степи, что протянулись от Иртыша до Оби, поразили Ремезовых. Пологий холмистый простор, светлые рощи, высокие перестойные травы, бесчисленные озёра с камышами – глубиной разве что до пояса, и многие из них горько-солёные. Шумные тучи птиц, лисы-корсаки, стада пугливых тарпанов и диких верблюдов, хищные бабры – серые степные рыси. Бескрайнее озеро Чаны, через которое полдня можно было идти по колено в илистой воде, обсохло на жаре, и служилые заметили торчащие из суглинка огромные бивни. Это был зверь мамонт. Семён Ульянович приказал выкопать его и загрузить в четыре обозных телеги.

И вот сейчас Семён Ульянович взялся составить барабинского мамонта обратно в изначальном порядке. Всё равно больших дел не было, стройка зимой прекратилась. От снега здания закрыли временными кровлями.

К конюшням, где расположились Ремезовы, потянулись всякие зеваки: челобитчики, ожидающие очереди, губернаторская прислуга и мелкие приказные, что отлынивали от дел. Их всех взбудоражил слух, что старый Ремез, роя канавы под кремль, откопал в земле дохлого дьявола с рогами, копытами и крыльями и теперь оживляет его. В этом богохульном злодействе Ремезу помогают сыны – Лёнька и Сенька, и швед-чернокнижник – Табберт. Табберт, кстати, явился в конюшню просто из любопытства – и остался с Ремезовыми. Семёну Ульяновичу льстил его неподдельный интерес, но раздражало, что швед всегда имел своё мнение и спорил со всеми.

– Это ломка голень, не ребро, Симон, – влезал он, указывая пальцем.

Разобранный на части мамонт лежал на истоптанных рогожах подобно большой расчленённой лодке.

– Что за звери были эти мамонты? – задумчиво спросил Леонтий.

– Может, морские драконы? – предположил Семён-младший. – Они к нам во время Всемирного потопа могли заплыть. Воды ушли, они обсохли.

– Народы север звать его маммут, – тотчас уверенно сообщил Табберт. – Он есть отродие слона. Жить много-много времени давно.

– Да какой слон, Филипа? – возмутился Ремезов. – Наши промышленные мамонтов на Ледовитом море прямо тушами находили, так они в шерсти были, вроде медведей, а слон лысый.

Семёну Ульяновичу не раз приходилось спорить о том, какими были мамонты, и самый главный спор у него случился шестнадцать лет назад в Москве. Может, тот разговор изменил всю его жизнь. Про мамонтов у него расспрашивал Андрей Андреич Виниус, глава Сибирского приказа. Виниус потребовал нарисовать мамонта на отдельном листе, и Ремезов нарисовал, и даже подписал для памяти: «зверь в Сибири мамонт». Андрей Андреич понял, что этот служилый из Тобольска не только чертежи земель и градов чертит, но ещё и знает бездну всего разного о земных богатствах и Сибири, о сибирских народах и древней сибирской гиштории.

– Да ты, брат, и сочинитель, и лицевой каллиграф! – удивился Виниус, когда Семён Ульянович открылся, что делает рукописные книги.

Ох, подолгу они тогда беседовали... А последняя встреча с Андрей Андреичем у Ремезова была здесь, в Тобольске. Виниус – он же разбогател на тульских заводах; он-то и придумал, что новые железные заводы надо строить в Сибири, где много леса, руды и рек. Он убедил в этом царя Петра, и вскоре по царскому указу на месте малых мужицких печей верхотурский воевода заложил Невьянский завод, а шадринский воевода – Каменский.

Но дела у сибирских заводов пошли наперекосяк. Воевода воровал, а мужики ничего не умели – они ведь никогда не ставили больших плотин, не сооружали водобойных колёс и не возводили высоких домен. У иноземных мастеров опускались руки. Тогда Андрей Андреич уломал Петра Алексеича передать Невьянский завод тульскому ружейнику Демидову: авось наладит работу. И через полгода толстый, одышливый, вислоусый Виниус потащился в Сибирь, чтобы оценить, как идут дела. Это было двенадцать лет назад.

Андрей Андреич внимательно осмотрел Невьянск, оттуда двинулся на речку Алапаху, где закладывали третий завод, а оттуда – в Тобольск к воеводе Черкасскому. Но главный вопрос у Виниуса был к Ремезову: как доставить в Россию железо сибирских заводов? Везти тысячи пудов в телегах через тысячи вёрст бездорожья? И Семён Ульяныч подсказал выход – путь Ермака. Надо построить на Чусовой пристань и отправлять железо и чугун в дощаниках по реке: из Чусовой в Каму, из Камы в Волгу, с Волги – в Оку и дале уже до Москвы. Ремезову ли не знать этой дороги, ежели он всю правду о Ермаке собственноручно изложил в своей «Истории Сибирской»?..

– А помнишь, батя, ледяную пещеру возле Кунгура? – спросил Леонтий, разглядывая кости мамонта. – Тоже ведь в Кунгуре про мамонта говорили. Будто это он в горе живёт. Ходит под землёй – и норы в камне

пробивает, а выйдет наверх – остаются ямины-следы.

– Брехня, – отверг Ремезов. – Кунгуряки у инородцев с языка сняли. Остяки с вогулами рассказывают, что мамонт – зверь Вэс. Огромный крот с рогами. Рогами он проходы себе роет, а выпадет на воздух ненароком, так сразу дохнет от сухости. Но в кунгурском камне нору никому не прокопать.

В Кунгуре Семён Ульянович оказался тоже из-за Виниуса. Андрей Андреич велел не затягивать с пристанью. Он гостевал в Тобольске в ноябре, а уже в марте Ремезов взял Лёньку, Сеньку и трёх приказных писчиков и выехал на Чусовую. Как раз тогда они завернули к скале над речкой Ирбит и срисовали с камней древние знаки, которые восхитили Табберта.

В Чусовскую слободу верхотурский воевода Калитин прислал две сотни плотников из Меркушино. На речке Утке, притоке Чусовой, Семён Ульяныч разметил пристань с плотбищами, амбарами и пильными мельницами. Плотники построили сорок дощаников. С Каменского завода уже волокли к пристани пушки. Потом Семён Ульяныч узнал, что через год эти орудия в прах раскрошили бастионы Виктория и Гонор, и пала шведская Нарва.

На Чусовой отгремел ледоход, и от пристани отвалил первый заводской караван. Ремезовы проплыли двести вёрст на дощаниках и сошли на берег в Сулёмской слободе, что притулилась возле Чусовой под отрогами Весёлых гор. Отсюда по гужевому тракту Ремезовы поехали в Кунгур. Городок этот совсем недавно числился в разряде «поморских», но все «поморские города» к востоку от Вятки перевели в Сибирский приказ, и потребовалось составить описи и чертежи. Семён Ульяныч с сыновьями обмерил и начертил Кунгур, а писчики посчитали жителей. В сундуках воеводского дома Семён Ульяныч откопал ещё одну, дотоле неведомую никому летопись Ермакова похода. Он переписал её и уже дома вложил в свою «Историю Сибирскую».

В те дни он с сыновьями и побывал в ледяной пещере близ Кунгура. Пещера укрывалась в недрах длинной ковыльной горы, поверху беспощадно издырявленной ямищами «следов зверя мамонта». Среди этих провалов лежало Ермаково городище. А пещера ошарашила Ремезовых: бесконечная путаница косых и кривых пролазов, словно каменные потроха, изломанные и пережатые какими-то судорогами; каменные развалы, непроглядная тьма, невидимые озёра, чёрная капля со сводов. Удушающие теснины внезапно сменялись преогромнейшими палатами. И кругом был лёд, немыслимый лёд: он выползал из расщелин округлыми наплывами,

хрупким и ломким пухом рос на стенах и потолках, расцветал безумными плоскими звёздами, свисал сверху из пустоты острыми бивнями толщиной в ствол дерева и стоял на полу и на рухнувших глыбах гладкими столбами размером с человека. То ли волшебная сказка, то ли бесовство. Никакой зверь мамонт здесь жить не мог. Эти пропасти разверзлись божьим попусшением, а не кропотливыми усилиями живых тварей, пусть даже и таких жутких, как мамонты.

Словом, поездка в Кунгур удалась. На обратном пути Семён Ульяныч обчертил ещё и Каменский завод, а потом замолил грехи в Далматовском монастыре, где сделал книжный вклад в обитель. Замаливать было что, так как промеж своих работ выпивали они с писчиками тогда без меры, и кунгурские мужики настрочили на них ябеду. Но Семён Ульяныч дал себе волю, ибо думал, что эта поездка – последняя в его жизни. Ему перевалило за шестьдесят. Много ли бог ещё даст? А вокруг столько всякого восторга.

И вот ему уже за семьдесят, а он до сих пор на своих ногах и в своём уме, и занимается он небывалым делом – собирает остов мамонта.

Распределив все кости, Семён Ульянович измерил остов в вершках и для понимания нацарапал на листе чертёж рамы, которая будет держать эту рассыпуху в должном виде. Получилось нечто вроде опоры для стога сена с четырьмя жердями-бастригами. Матвей Петрович указал, в каком заулке он разрешает поставить оное сооруженье. Ремезовы перегородили подходы рогатками, чтобы никто не мешал, и приступили к постройке большой рамы: расчистили площадку от снега, вкопали два прочных столба, выложили на них раму из брусьев и укрепили её укосинами. К раме проволокой примотали весь набор костяка: позвонки, рёбра, лопатки, крестец, плечи, голени и прочую мелочь. На длинный конец верхней балки повесили череп, протащив проволоку через глазницы. Больше всего возни оказалось с рогами мамонта. Для них пришлось вкопать ещё два столбика.

– Ну и чудо! – восхищённо заметил Семён Ульяныч, отступая от мамонта подальше, чтобы разглядеть получше. – Зверь Еньдропа, ей-богу.

Мамонт громоздился в закутке между заплотом Драгунского подворья и амбарами губернаторского дома, словно в загоне. Для Семёна Ульяновича он был сразу и страшным своей мёртвой, дырявой костлявостью, и прекрасным своим нездешним исполинством. Усилием воображенья можно было убрать все подпорки, облечь остов плотью, покрыть волосатой шкурой – и вот он, зверюга. Он был схож с быком, но чуть согнутые лапы топырились в разные стороны, как у ящерицы, а из опущенной башки торчали такие длинные рога-излучины, что на каждый можно было нанизать десяток человек.

За неделю половина жителей Тобольска побывала на Воеводском дворе, чтобы посмотреть новую диковину. Мужики побряхтывали, прикидывая, как тяжело валить энтого мамонта на охоте, а бабы сообща пришли к выводу, что старый Ремез не спятил, потому что выкопал всё-таки не дьявола с копытами, а обычного китовраса, а китоврас – скотина мирная, пуцай и рогатая. Отец Клеоник, эконо́м Софийского двора, обозрел мамонта, плюнул и сказал:

– Чистый демон-полкан. Хвала господу, что убрали его со святого места.

К мамонту не раз приходил и губернатор Гагарин, подолгу стоял, разглядывая чудо-юдо, и ничего не говорил. Мамонт – не заморская птица попугай, не двухголовый козлёнок из государевой Кунсткамеры, не золото курганов и не диковинное растение картоплъ. Матвей Петрович не мог заставить себя поверить в такого зверя, весь его жизненный опыт противился мамонту, но и отрицать сие создание тоже было нелепо.

– Ну, как тебе? – Семёна Ульяныча тревожило молчание губернатора.

– И как я этого индрика в столицу упру? – только и спросил Гагарин.

– Уж не знаю, – обиделся Ремезов. – Моё дело – собрать его. Я собрал.

Но приятнее всего Семёну Ульянычу было то, что к мамонту пришёл владыка Филофей. С владыкой Ремезов уже лет десять как был в размолвке. Причиной её послужил старый архитектор Фёдор Меркурьевич Чайка.

Когда Семён Ульянович был молод, на месте святой Софии возвышался дивный деревянный собор о тринадцати главах. Издалека казалось, что над Прямым взвозом растёт серебряная яблоня с огромными яблоками. Собор сгорел почти сорок лет назад. Долгое время сердца тоболян терзало чёрное пепелище, потом, чтобы возвести каменный собор, митрополит Павел, бывший архимандрит Чудова монастыря, привёз зодчего Фёдора Чайку, своего знакомца по московскому кремлю. Чайка взялся за дело. За два года он поднял здание почти до самых куполов, и вдруг своды храма обрушились. Фёдор Меркурич крепко переживал свою неудачу, на несколько месяцев затворился в Знаменской обители, а затем всё-таки вернулся в мир и достроил собор. Это было при воеводе князе Прозоровском.

Семён Ульяныч почитал Чайку за главного тобольского мастера, хотя Чайка его не особенно жаловал: Ремезов – сибирский неуч, до пятидесяти лет ни единого каменного строения не видал. Но воевода Черкасский назначил Семёна Ульяныча архитектором и повелел сооружать Приказную палату. Ремезов хотел просить Меркурича о руководстве, а владыка Филофей взял да отослал Чайку в Тюмень строить Благовещенский собор.

Ремезов остался без наставника, и мастерству его учила только дерзость. Палату он сделал, но разозлился на Филофея. Досада, конечно, нынче уже развеялась, однако и дружба не завязалась. А Фёдора Чайку шесть лет назад владыка отправил в Енисейск на возведение Богоявленского собора, там Чайка и умер.

Владыку к мамонту сопровождал Новицкий.

– Який, Вульяныч, у тоби анцыбал, право слово, – изумился он.

Он уже думал о том, что в «Краткое описание о народе остяцком» ему надо занести предания о мамонтах, что рассказывали остяки. Будто бы мамонты жили на их земле в незапамятные времена, но случился Чек-най – Великий Бедственный огонь. Он сжёг мамонтов до костей и уничтожил бы всю землю, и тогда бог Торум послал потоп и загасил Чек-най. Воды потопа погребли кости мамонтов под толстым слоем ила.

– Что скажешь, владыка? – спросил Семён Ульянович.

Он боялся, что Филофей заведёт прежнюю песню попов: «сатанинское чудище», «зверь Бегемот», «утопить в Иртыше»... Для себя самого Семён Ульянович так и не объяснил существование мамонтов, но не сомневался: пусть мамонт будет, никакое он не богохульство.

– Мамонты не суть зло, – сообщил он владыке, придумывая на ходу, чтобы примирить Филофея с чудищем. – Се токмо безвинные кони дьяволов, буцефалы. Когда ангелы и дьяволы бились, то сражённые дьяволы летели с неба в ад, а буцефалы завязли в земле. Оно до Адама ещё было, по Моисееву Пятикнижию – на первых стихах Бытия.

Филофей понимающе усмехнулся.

– Подлинно левиафан сухопутный, – сказал он. – Увидишь его – и ясно, что для господина непростым делом было человека сотворить. Преклоняюсь я пред тобой, Семён Ульянович. Твои познания – дерзание во Христе. Подвиг.

Семён Ульянович был поражён словами Филофея.

– Я?.. – растерялся он. – Это же ты подвиг совершаешь – крестишь...

– Эх, Семён Ульянович, – вздохнул Филофей. – Без крещения душа не будет бессмертной. А без познания мир не будет божьим.

Глава 7

Обер-комендант

Вятка сидела без коменданта: вновь назначенный стольник Толстой застрял в Москве. Ведать уездом Матвей Петрович велел Ваське Окоёмову, секретарю тамошней приказной избы. От благодарности Васька не знал, в какой угол кинуться. Он и предупредил Матвея Петровича, что через Вятку в Тобольск едет с ревизией провинциал-фискал Лексей Яковлевич Нестеров. Личину свою злонамеренную он скрывает, дабы нагрязнуть врасплох, и в подорожной означен неким «сенатским нарочным Яковлевым». При нём в помощниках сын Николай и ещё четыре солдата. К ледоставу они доберутся до Туринска либо до Тюмени, а в Тобольск ворвутся не иначе, как первопутком. Первопуток – это когда встанет лёд на Туре и Тоболе, и по нему проложат зимний тракт: накатают колеи и утыкают ёлочками, чтобы видно было и в темноте. Значит, Нестеров явится в начале декабря.

Матвей Петрович сказал царю Петру, что не знает Нестерова, а на самом деле знал его ещё с давних времён Сибирского приказа: в приказе Нестеров управлял Ясачным повытьем. Потом этот аспид перебрался комиссаром в Московскую губернскую канцелярию под крыло любимого царского боярина Тихона Никитича Стрешнёва, губернатора и сенатора, и Стрешнёв перетянул его за собой в Сенат помощником обер-фискала Желябужского. Вот здесь-то Нестеров и взялся за князя Гагарина, своего прежнего благодетеля.

По делам Сибирского приказа Нестеров насобирал два сундука бумаг, свидетельствующих, что Гагарин корыстовался из казны. Сундуки Нестеров припёр в Сенат для расследования. Граф Мусин-Пушкин, сенатор, собирался начать дознание, но получил от Матвея Петровича щедрый вклад чистым литым золотом; после этого, не открывая, сжёг сундуки фискала во дворе Сената. С Мусиным-Пушкиным отношения у Гагарина были добрые: семь лет назад Матвей Петрович хотел выдать свою дочь за сына Ивана Алексеича.

Тогда неугомонный Нестеров принялся терзать московских купцов Евреиновых, которым Гагарин дозволил без пошлин торговать в Сибири табаком. Купцов отбил сенатор князь Яков Долгоруков. С Долгоруковым Матвей Петрович делился выгодами китайских караванов: под присмотром Гагарина Яков Фёдорыч посылал свои товары в Пекин. Упрямый Нестеров

прицепился к Долгорукову. Эта вражда отвлекла фискала от князя Гагарина, однако, видно, не насовсем. Вот он и пожаловал в Тобольск незванным гостем.

Матвей Петрович не боялся Нестерова, но фискал досаждал ему, как городская пустилайка. Бывает, привяжется такая мелкая тварь к всаднику, бежит за ним всю улицу, затаивается до визга, хватается коня за ноги, и все прохожие оборачиваются: что за изверг так мучает собачку? В Тобольске у Матвея Петровича имелось только одно слабое место – Бибииков. Трусливый Карпушка не выдержит напора Нестерова, это точно. Всё расскажет, слизень, принесёт все книги, отдаст все ключи. Карпушку следовало убрать.

Отдуваясь, Матвей Петрович поднялся в каморку Бибиикова, которая располагалась в таможенной башенке над воротами Гостиного двора. В каморке вдоль белёных стен в два ряда стояли большие кованые сундуки с амбарными замками; над ними висели толстые сорока пушнины, увязанные красными шнурами с сургучными печатями. Карп Изотыч поучал молодого приказчика, расстелив на столе бобровые шкурки.

– Осенних бобров, Костянтин, всегда по мездре принимай, – говорил он. – Бобры – они как люди: есть бояре, есть холопы. У боярина кожа крепкая, мех кремлёвый, лежит постелью, а у холопа мездра рытая, а мех через год осечётся и облезет. Бобр-холоп за две трети цены боярина идёт, не выше.

– Погуляй-ка поди, Коська, – прервал обер-коменданта Гагарин.

Юнец, кланяясь, выпятился из каморки. Бибииков глядел на Гагарина со страхом, умоляюще прижав маленькие ручки к груди.

– Слышал, фискал Нестеров едет нашу казну пересчитывать?

– Слышал, батюшка, – торопливо закивал Бибииков. – Пуцай считает, сколько угодно. За мной недостачи не будет ни хвостика.

«А за мной будет», – подумал Матвей Петрович. Он ещё не успел навести порядок в пушной казне, изрядно потраченной на Тулишэня.

– В том и загвоздка, Карпуша, – рассудительно заметил Гагарин. – Я вот всё голову ломал, как же ты наживаешься? Ведь и ущипнуть тебя не за что.

– Никак не наживаюсь, государь мой! – горячо заверил Бибииков, пуча глаза. – Ты меня так перепугал, что с тех пор я одним жалованьем кормлюсь, по одной половине бегаю, да и то на цыпочках!

– Врёшь, Изотыч. Врёшь. Мне Толбузин рассказал про твою хитрость, когда с разных мест пушнина разной ценой идёт, а ты, ловчила, её меняешь-обмениваешь и слева направо переключиваешь, с одной стороны

на другую.

Матвей Петрович как бы нехотя поворошил развешанные сорока. Карп Изотыч согнулся в полупоклоне, не сводя глаз с Гагарина, словно отвернётся – и всё в его жизни рухнет в тартарары. Но известие о предательстве Агапона так поразило его, что по щекам покатались слёзы.

– Так это ж не воровство! – отчаянно прошептал он.

– В том и беда твоя, что не воровство, – с усмешкой согласился Гагарин. – Ты молодец. С твоей хитростью короной горох молотить можно.

– Делиться буду! – тотчас пообещал Бибииков, смекая, к чему идёт дело.

– Чужая шуба – не одёжа, – с наигранным сожалением сказал Гагарин, – чужой муж – не надёжа. Теперича я знаю, как пушнину из ничего умножать надобно, и ты, Карпушка, мне уже без пользы. За науку поклон. Но отныне сам всё буду делать, а тебе от службы даю круговой отлуп.

– Не губи! – задохнулся Карп Изотыч. – Дети у меня!..

– Да кто же тебя губит? – хмыкнул Гагарин. – Чай, не на плаху тебя отправляю. Иди, куда хочешь. Ты и без службы чёрта облапошишь.

Бибииков со стуком упал на колени и попытался поймать руку Гагарина.

– Милостивец!.. – застонал он.

– Всё, не канючь, – раздражённо ответил Матвей Петрович, пряча руки за спину от поцелуев Бибиикова. – Сдавай ключи и проваливай отсюда.

Изгнать Бибиикова для Гагарина было самым удобным решением: он отодвинет обер-коменданта подальше от Нестерова, а заодно и опорочит доносы, которые потом непременно напишет Карпушка. Доносы попадут под сомнение: дескать, Бибииков озлобился на изгнание и клеветает. Ведь о вине Матвея Петровича будет судить царь Пётр Алексеич, а не фискал.

А Карп Изотыч как раз и думал о доносе. Робкий душой, он три дня изнывал в муках умирающего товарищества, пока не утвердился в мысли выдать Гагарина. Верно тогда в бане говорил Ходжа Касым: Гагарин суть причина их бедствий! Надо поведать фискалу всю доподлинную правду о губернаторе! Заодно можно спихнуть на Гагарина и собственные жульства с Толбузиным... Ох, каким же иудой оказался жирный Агапошка! Как на духу выложил Гагарину его, Карпа Изотыча, тайну обогащения! Изворотливый ум Бибиикова сразу подсказал ему, что пред фискалом надобно принять вид бесправного орудия злодеев: хищный Толбузин незаконно драл пушнину с инородцев и промышленных, Гагарин своей властью провозил её через таможеню, а он, обер-комендант, пребывал меж этими ворами в скорбном принуждении. Доказательств нету ни у кого, в

таких делах слово против слова. Но он-то придёт к фискалу и падёт в ноги, значит, ему больше веры. А коли уберёт царь Гагарина, тогда он и вернётся обратно в обер-коменданты.

Для исполнения замысла Карп Изотыч хотел получить благословение митрополита. Дома он извлёк из киота лучшую икону – список с казанского образа Богоматери. Икона была одета в обронную ризу из серебряного листа с чеканкой, лик Богоматери украшал сканный венец с жемчугами и цата с яхонтиками в кастах, убрус был вышит шелками, а оклад по нижнему краю блистал золотыми рясами на цепочечках. С иконой, бережно завернутой в белый холст, Бибиков пошёл на Софийский двор к Архиерейскому дому.

Иоанн болел, и Николка, прислужник митрополита, не хотел пускать Карпа Изотыча. Бибиков в своей большой шубе сел на лестницу крыльца и терпеливо сидел почти до темноты. Наконец Иоанн смиловился.

Он полулежал в кресле, укутавшись тулупчиком, и Николка сунул ему под ноги нагретые в печке кирпичи. Карп Изотыч поднёс икону, Николка принял её, и Карп Изотыч с Иоанном перекрестились на образ. Иоанн слушал долгие жалобы обер-коменданта, не перебивая, но не вникал в подробности плутней Гагарина, которые излагал Бибиков. Зачем? Владыка чувствовал, что от нынешней болезни он оправится, но всё равно скоро умрёт. Ткань жизни для него словно истончилась, и он видел через неё глубину вещей, хотя и воистину «как сквозь тусклое стекло, гадательно». Но ему всё было понятно и в общих очертаниях. Вот Николка – чистый юноша. Он мечтает попасть в Киево-Печерскую лавру: он убеждён, что лишь там можно приблизиться к какому-то горнему пределу. А вот Бибиков. Он врёт. Он пробует на владыке ту свою речь, которую заготовил для царского дознавателя. Он покраснел от волнения, как девушка, и разгорячился: щёчки пылают маковым цветом. Ему надо, чтобы его трепетный дух поддержали для усилия предательства.

Сейчас, на излёте своего бытия, Иоанн уже утратил прежний страх. Страх пожрал сам себя подобно тому, как жар испепеляет угли. И ненависти тоже больше не было. Грозный царь Пётр? Гонитель Меншиков? Вор Гагарин? Да бог с ними. Все кесари мира уже не стоят его последних дней. А вот душа человека – святыня. Карпуша – он же не злой. Да, он мошенник, обманщик и притворщик. Но в нём осталось искреннее благоговение перед святостью. Он воровал не в остервенении, как Толбузин, и не в дерзости, как Гагарин. Он воровал словно бы от какого-то зуда. Дьявол не входил в его душу, как в горницу; нет, его будто черти снаружи подпихивали. Как тело не гибнет от щекотки, так и душа не гибнет

от мелких искушений. Её можно спасти, если не дать искушениям разрастись. Но именно к этому Карпуша и устремился. Он хочет и дальше воровать, а для этого ему надо уничтожить человека. Губернатора. Достоин ли Матвей Гагарин кары? Достоин. Но ежели Бибиков сам покарает его, то загубит свою душу грехом Иуды. А то и жизнь потеряет, потому что Гагарин не дурак и свалить себя не даст.

– Довольно, Карп Изотыч, – Иоанн прервал Бибикова. – Довольно.

Он помолчал, читая про себя молитву.

– Хочешь моего благословения?

Карп Изотыч угодливо закивал.

– Благословения не дам. Но послушай пастырское слово, Карп. Прими всё как есть. Смирись на том, что имеешь, и покайся за то, что делал. Тогда всё у тебя будет ладом. А сейчас уходи. Я устал.

Лишь пройдя до дома полпути, Бибиков понял, что несёт свою шапку в руке, и с досадой нахлобучил треух. Только напрасно икону отдал!..

Отказ Иоанна ошеломил Карпа Изотыча. Как же так? Он же чуял, что митрополит тихо ненавидит губернатора. Иоанну выпал случай расправиться с Гагариным, а он на попятный? Похоже, старик из последнего ума выжил. Поразмислить над словами митрополита Бибикову и в голову не пришло. Он был охвачен лихорадочным горением борьбы, но действовать в одиночку всё-таки не хотел. Должен же хоть кто-нибудь ему пособить! Но кто? А кто ещё пострадал от Гагарина? Бухарец Ходжа Касым!

Остаться без привычного воровства Карп Изотыч боялся не меньше, чем испытать месть Гагарина, поэтому не мог остановиться, как советовал Иоанн. Спасаясь от страха перед губернатором, он убедил себя, что всемогущий фискал выслушает его и гневно низвергнет Гагарина, а он, обер-комендант, воздвигнется на освобождённое место. Подобное уже было: в междуцарствии Черкасского и Гагарина старший дьяк Бибиков полтора года управлял всей Сибирью сам. На встречу с Ходжой Касымом Карп Изотыч бежал в каком-то болезненном возбуждении. Он впервые был на Гостином дворе гостем, а не хозяином, и торговцы смущались, не зная, как себя вести, но Бибиков весело кланялся им с видом заговорщика, чей заговор скоро увенчается победой.

Затолкав Касыма в лавку, Карп Изотыч задвинул засов на двери, схватил бухарца за рукав чапана и принялся торопливо излагать свой план.

– Пойдём вместе, Касымушка, – блестя глазами, уговаривал он. – Ты моим словам свидетелем будешь! Агапошка меня Гагарину выдал, а мы их обоих фискалу скормим! Как избавимся от них, вся губерния нам

достанется!

Ходжа Касым смотрел на Бибикова с изумлением.

– Этот Нестеров в Сибирском приказе ясным повесть ведал, про пушнину досконально знает! Мы, Касымушка, ему только ниточку дадим, а он сам верёвку совет и Гагарина с Толбузиным на ней вздернет!

Касым подумал, что Бибиков, похоже, от переживаний слегка тронулся умом. И отец, и дед Ходжи Касыма торговали в Сибири мягкой рухлядью; Касым помнил: никогда цари не наказывали никаких воевод за воровство пушнины. За бунты или побеги подданных наказывали, за жестокость или глупость, за беспощинную торговлю от себя или потерю доходов с податей, но не за меха. Русские цари негласно полагали, что сибирским воеводам положено красть соборей, куда без этого, против жизни не попрешь. И царь Пётр не уберёт Гагарина из-за мелких делишек с берёзовским комендантом.

Единственным злодеянием, за которое царь снесёт Гагарину башку, был сговор Гагарина с китайцами против джунгар. Ходжа Касым уже примерял, не рассказать ли об этом столичному фискалу, но понял, что не стоит. У него нет доказательств – нет пайцзы. А без доказательств фискал никак не продаст Гагарина царю – зато может продать Касыма Гагарину. На месте фискала Касым так и сделал бы. И Гагарин уничтожит того, кто коварно завладел его тайной. Эта тайна – джунн, которого надо выпускать на волю с крайними предосторожностями, иначе он тотчас растерзает своего владельца.

Касым осознал это, когда размышлял о Бухгольце. Почему бы не сказать ему об умысле Гагарина? Это ведь Бухгольцу придётся сражаться в степи с джунгарами, а они могут и убить. Пускай полковник объяснит джунгарам, что пайцза – обман, китайская хитрость, а русским война не нужна. И не надо будет Касыму ехать в Доржинкит, чтобы выкупать пайцзу, не надо будет ничего объяснять царю Петру, – война не разгорится. Бухарцы смогут вести свои караваны в Кашгар. Но доверие к Бухгольцу – ловушка шайтана. Нельзя открываться полковнику. Вдруг Гагарин уже заплатил ему, и Бухголец всё знает? Тогда полковник шепнёт губернатору о Касыме, и Касыму конец.

Конечно, Гагарина надо свалить. Однако без пайцзы этого не сделать. И донос Бибикова не поможет: Карпушка свалит Толбузина, а не Гагарина. Но Толбузин теперь был нужен Касыму как никогда. Толбузин давал пушнину.

– Ты придумал превосходную уловку, мой господин, – сказал Касым, взяв в свои ладони руку Бибикова. – Для меня честь послужить тебе.

Однако сейчас тебе следует замкнуть уста и спрятаться, пока не придет фискал. Ступай домой, Асфандияр проводит тебя, и не выходи со двора!

– Храни тебя твой Магомет, Касымушка! – растрогался Карп Изотыч и, смахнув слезу, полез обнимать Касыма.

Целую неделю Карп Изотыч просидел дома безвылазно. По Тобольску ползли слухи, что бывший обер-комендант пьёт горькую, но Карп Изотыч не пил, а читал Священное Писание. Предстоящий донос он воображал себе чем-то величественным и неотвратимым, словно грозное божье возмездие, и хотел настроить душу на возвышенный лад. На восьмой день Карп Изотыч надел старый драный тулуп и отправился в Спасскую церковь: смиренно отстоял службу и причастился у отца Лахтиона. Дворовым холопам Тульше, Утельке и Артанзею он приказал натаскать воды и к вечеру протопить баню.

В баню Карп Изотыч ходил с женой Ириной Савишной. Про какие-то бывшие забавы давно и речи не было. Напарившись и окатившись горячей водой из бадьи, в которую Утелька набросала раскалённые булыжники из каменки, Ирина Савишна в предбаннике надела чистую рубаху, понёву и кожух, обмотала мокрую голову полотенцем и сунула ноги в поршни.

– Не задерживайся, отец, – сказала она в приоткрытую дверь парилки, складывая грязное бельё в ушат, чтобы холопка постирала. – Ужин остынет.

Через заснеженный двор Ирина Савишна пошла к дому по разметённой дорожке. Карп Изотыч остался в парилке погреть кости на последнем жаре. Он лежал на банном полке, смотрел в низкий потолок и думал, как он займёт место губернатора и с крыльца Приказной палаты будет с укором смотреть на скованного Гагарина, которого в санях повезут из Тобольска в Москву.

Ирина Савишна не увидела, что за углом бани во тьме прячется человек в подпоясанном азяме. Это был Сайфутдин – подручный Ходжи Касыма, исполнявший самую чёрную работу. Сайфутдин подождал, пока баба уйдёт в дом, и проскользнул в предбанник. Карп Изотыч, лежащий на полке, только охнул, когда ему на грудь вдруг верхом вскочил убийца. Сайфутдин прижал руки Бибикова коленями, сунул в рот Карпу Изотычу свой колпак и защемил нос. Карп Изотыч заколотился, вытаращив глаза, его прошиб крупный смертный пот, невыносимая давящая пустота обрушила грудь и всосала трепещущее брюхо – и скуластое, страшное лицо татарина тихо померкло.

Сайфутдин выдернул прокушенную шапку из зубов Бибикова, пальцами поправил искажённое лицо Карпа Изотыча, придавая ему безмятежность, закрыл покойнику глаза и распрямил руки. Дело сделано.

На мертвеце нет никаких следов насилия. Сайфутдин исчез так же незаметно, как и появился. По пути в Бухарскую слободу он выбросил колпак с моста в полынью.

Обер-коменданта отпевали в Софийском соборе. Разного народу в храм набилось полным-полно – Бибикова, в общем, любили, да и просто так было любопытно. Бабы шептались: ну надо же, угорел в бане, а ведь трезвый был, из церкви пришёл, – хорошо хоть причаститься успел; супруге богатый дом как полную чашу оставил, да ещё и закопанные кубышки можно поискать где-нибудь в подполе. Приказные понимающе ухмылялись: он и должен был помереть вот так, от обиды; он же малодушный был, пугливый – ежели чего на бумаге пишет, а дверью хлопнут, то с пера непременно кляксу уронит.

Матвей Петрович глядел на Бибикова с сожалением. Карп Изотыч лежал в гробу какой-то сердито-плаксивый; он словно бы зажмурился, чтобы не видеть губернатора. Матвей Петрович чувствовал свою вину. Он не желал Карпушке ничего дурного. Коли желал бы, так написал в Сенат – и полетел бы тобольский обер-комендант в Анадырское зимовье мелким дьяком. Да, видно, осерчал Карпуша на выгонку, и сердце не выдержало. Ох, грехи, грехи... Надо бы его сынам какое-нибудь хлебное местечко подыскать.

Похорон не было. Карпа Изотыча, как и всех зимних покойников, погребут весной, когда земля оттаёт, а до Радуницы ему лежать в закрытом гробу в подвале Никольской церкви среди других мертвецов.

Поминки устроили на Софийском дворе в трапезной Архиерейского дома – всё-таки Бибиков был вторым человеком в Тобольске после Гагарина. За длинным столом сидели Ирина Савишна – вдова, сыновья и дочери Карпа Изотыча, всякая родня, купцы, игумен Знаменского монастыря, секретари из Приказной палаты, обер-комиссар Капустин, архитектор Ремезов, даже Васька Чередов пришёл. Монахи разносили гостям освящённую ячменную кутью. В углу за стойкой чтец негромко читал Псалтирь. Блюда были только рыбные, как положено в Рождественский пост.

Матвей Петрович немного опоздал. В сенях он торопливо скинул шубу на пол и склонился над ушатом, стоящим на лавке: монах полил ему на руки из кувшина. Матвей Петрович слышал, что говорят в трапезной.

– Мирный человек был Карпуша, незлобивый и кроткий, – рассказывал знаменский игумен. – Нашей обители немало помогал, да в другие храмы и обители вклады делал. Милостыню раздавал щедро. Всегда открыт был для наших просьб. Упокой, господи, его душу. Пейте не до дна,

люди добрые, ибо и покойный не испил до дна всех дней земных.

Ирина Савишна закрыла лицо углом платка и затряслась в рыданиях.

– Поклон вам всем, – сказал Матвей Петрович, входя в трапезную, и перекрестился. – Простите, что промешкал.

Митрополит Иоанн сидел среди гостей как равный, не выделяясь местом или обиходом. Он смотрел на Матвея Петровича с недоумением и печалью. Он не сомневался, что это Гагарин убил Бибикова. Понятно, что не своими руками. Угорел в парной – объяснение для тёмных баб. Гагарин просто убрал свидетеля перед приездом фискала. Карп Изотыч был слабый духом человек, грешный, но беззлобный. А его удавили, будто курице башку свернули. Владыка видел Гагарина прямо напротив себя и понимал, что больше не боится его. И никого, кроме бога, не боится. То, что раньше ужасало его, нынче стало всего лишь омерзительным. Стозевные чудища превратились в клубки червей. Демоны в серном дыму оказались смрадными козлами.

– Напрасно ты пришёл, Матвей Петрович, – негромко сказал Иоанн, но все его слышали, и разговоры сразу затихли.

– Почему? – удивился Матвей Петрович, не успев сесть на лавку.

– Напрасно, – в тишине повторил Иоанн. – Не место тебе в этом кругу.

Матвей Петрович окинул взглядом застолье. Все смотрели на него, но почему-то никто не возражал митрополиту. Матвей Петрович догадался, что все за этим столом тоже полагают его виноватым – ежели не в убийстве, так в том, что выгнал Карпушку и довёл до смерти. Следовало бы разгневаться, но на Матвея Петровича вдруг навалилась бесконечная усталость. Кругом одни холопы. Нищие души. И дело не в его богатстве. Дело в том упоении, которое охватывало его, когда он своей волей передвигал огромные пласты жизни так, как считал нужным, а не так, как того желали владыки народов и государств. За этим столом никому не понять подлинного земного величия, которое только умножается тем, что оно тайное. Такое величие больше, чем могут вместить души этих людей, маленькие, словно кошельки кухарок.

– Ну, поминайте без меня, – с усмешкой сказал Матвей Петрович. – Бог всех рассудит.

Глава 8

Спасти казнокрада

Странно было называть башней этот длинный терем, вбитый, как мост, между крутыми заснеженными склонами Прямского взвоза. Нижний ярус терема был насквозь прорезан двумя арками: одна пошире – для телег, другая поуже – для пеших. С напольной стороны терем подпирали покатые стенки-устои, Сванте Инборг именовал их контрфорсами. Вдоль второго яруса в ровную линию вытянулась дюжина окошек с наличниками. Высокая тесовая кровля, сейчас укрытая снегом, оставалась гладкой, без чердаков-«слухов», потому что Семён Ульянович намеревался строить башню до седьмого яруса: ещё восьмерик, два уменьшающихся четверика, звонница и гранёный шпиг.

– Башню назовём Дмитриевской, – пояснял Ремезов фискалу Нестерову, – потому как Ермак одолел хана Кучума в день святого Димитрия...

– Шведы, говоришь, строят? – оборвал Семёна Ульяновича Нестеров.

– Строят шведы, а я архитектор.

Они шли по второму ярусу башни через весь протяжённый порядок из шести сводчатых палат, словно насаженных на общую ось. Артельный Свантей, Сванте Инборг, называл такой порядок анфиладой.

– А выходы где? – спросил Нестеров.

– Туда и туда, – сказал Ремезов, показывая руками вперёд и назад.

Нестеров сам вызвал к себе архитектора. Грозный столичный гость пожелал, чтобы зодчий показал ему этот странный каменный терем в овраге под святой Софией, почему-то оставленный совершенно пустым. Поначалу Нестеров понравился Ремезову – суровый, недоверчивый и властный, как и положено ловцу казнокрадов. Уважение внушала и сидя царственная грива Нестерова, и прямая спина. Однако фискал смотрел на архитектора будто на холопа и не дослушивал, отмахиваясь от всего, что не касалось дела.

Хотя над Тобольском сияло солнце полудня, в палатах царил полумрак: стены и своды ещё не побелили, а слюдяные окошки заросли ином.

– Решётки снаружи вмурованы или на косяках? – спросил Нестеров.

– Вмурованы, только порохом выдрать.

– А зачем проём в потолке? – Нестеров задрал голову.

– Башня же будет. Ход наверх, на звонницу.

– Проём заколоти и подставь столбы, – распорядился Нестеров. – Вон тот выход заложки кирпичом наглухо. А у этого выхода дверь обей железом, чтоб не прорубили, и снаружи построй деревянную сторожку с печью. Николай, ты сам мне за караул отвечать будешь.

– Почто всё это? – удивился Ремезов.

– Пушную казну хранить будем, – пояснил Николай, сын Нестерова, сутулый и унылый мужик лет сорока.

– Помалкивай! – прикрикнул Нестеров на сына. – Не твоего это ума дело, архитектор. Лучше скажи, сколько ключей от двери?

К двери изнутри был прибит затейливый узорный замок.

– Один. Вот он, – Семён Ульянович достал ключ.

– Давай мне.

Семён Ульянович слышал, что Нестеров изъясил ключи от всех амбаров с казённой пушниной в Гостином дворе и Приказной палате, а теперь, значит, подыскивал для мягкой рухляди надёжное место, недоступное губернатору. Разумеется, после такого поворота Ремезов отправился к Гагарину. В сенях губернаторского дома лакей Капитон принял зипун Семёна Ульяновича и проследил, чтобы гость обмёл обувь веником от снега и тщательно вытер подошвы о тряпку. Капитон даже хотел отнять палку, на которую опирался Ремезов, чтобы тот не повредил ею паркет, но Семён Ульянович оттолкнул Капитона и палку не отдал. Капитон провёл его в столовую.

Князь обедал в одиночестве, хотя большой стол, накрытый скатертью, был сплошь заставлен фарфоровой посудой, собранной в двадцать кувертов.

– Вон стул тебе, – кивнул Ремезову Гагарин. – Чего хочешь?

Ремезов присел. Рассказывая, он осматривался по сторонам. Ох, богато устроился Матвей Петрович. Обои шведами расписаны, занавеси до пола, печи в изразцах, лепнина – цветы и плоды земные, поставцы с китайскими безделухами, шандалы с пучками свечей. Сибирский царь, не иначе.

– Суций ведь каземат из твоей башни получится, – подвёл итог Гагарин. – Стены в аршин, на окнах решётки, одна дверь, и та за стражей.

Ремезов ещё не знал того, о чём шептались все подъячие Приказной палаты: Нестеров с солдатами нагрянул в губернскую канцелярию и забрал окладные книги за три последних года. И теперь вот возьмёт всю пушную казну, стащит под замок, чтобы никто не дотянулся, и будет сверять рухлядь с учётом ясачного сбора, промышленного прихода и таможенных пошлин. Чего не хватит – то, значит, украдено губернатором. А Матвей Петрович из пушной казны черпал полной рукой, особенно для Тулишэня,

без оглядки отмерял по-барски и ни единой цифири не запечатлел, надеясь к весне разом свести концы с концами, не путаясь в писанине. Вот и попался, дурак.

– Воровство будет искать, Петрович? – сочувственно спросил Ремезов.

– Будет, стерва.

– А ты б не воровал.

– Я ж помалу, – усмехнулся Гагарин. – Курочка по зёрнышку клюёт.

– Да весь двор в помёте, – строго закончил Ремезов.

Ему было приятно, что о таких тайных государственных вещах он говорит с губернатором напрямую, к тому же и поучает.

Но Матвей Петрович шутил. Говорить о своих доходах с Ремезовым он не стал бы. Конечно, он брал из казны, но лишь тогда, когда требовалось срочно обернуться в своих делах, а потом возвращал то, что взял. Много ли поимеешь из губернского кошелька? Много ли царь туда кладёт? На один зуб не хватит! Главный прибыток – не казна губернии, а само губернаторство.

– Над людскими плутнями божья вица в небе занесена, – всё поучал Семён Ульянович, на миг простодушно поверив, что Гагарин ему внемлет.

– Кабы не мои плутни, так и не было бы тебе ни шиша, – сказал Матвей Петрович. – Ни канала на Прорве, ни башни с церковью, ни кремля. И владыка Филофей в тюменской обители сидел бы, пиески играл, а не крестил бы инородцев. Думаешь, царь гору денег для Тобольска отсыпал? Да как же, ага! Всё я сам своими плутнями добыл. Мог себе оставить, а дал на дело.

– Ладно, твои грехи – твой ответ, – помрачнел Семён Ульянович.

– Попробуй дыню вяленую, – предложил Гагарин, подвигая блюдо.

– Тьфу на неё, только борода слипнется.

– Словом, горе мне, – вздохнув, признался Матвей Петрович. – Нестеров к моему горлу тянется. Окладные книги мне уже не подчистить, и соболя теперь под замком. Эх, надо мне в твою башню к пушной казне пролезть.

Окоротить Нестерова Гагарин мог только тем, что из своих собственных запасов тайком доложит в хранилище недостающую пушнину. Сколько её надо, он не знал, но можно запихнуть сразу всю, что есть, – перебор не грех.

– Как в твою башню проникнуть, Ульяныч? Караульчиков подкупить?

– Караулом сын Нестерова командует, Николай. Не подкупишь.

– А ежели напоить?

– Небось не примут. Сами понимают, чья чарка.

– Вечно с этих трезвенников пользы – как с зайца перьев, – с досадой произнёс Гагарин. – Зато палку в колесо засунуть – они тут как тут!.. А нельзя ли, Ульяныч, какой подкоп в башню сделать?

– Откуда? Из Тюмени? Весь Воеводский двор как на ладони.

– Из подвала твоей столпной церкви, – Гагарин испытующе глянул на Ремезова. – Отроем колодец, из него – лаз в башню. Никто не увидит ничего.

Семёну Ульяновичу очень не понравилось, что Матвей Петрович своим жульством охватывает и его церковь. Но Ремезов примерял, кто кого осилит: фискал губернатора или наоборот? Нестеров стал Семёну Ульяновичу неприятен, и потому он усомнился в победе фискала. Нет, не получится у него сцапать хитрого князя. Все воеводы воруют пушнину безнаказанно, и Петрович тоже отвертится: у него башка – что боярская дума. Ежели он, архитектор, сейчас не поможет Гагарину, то Гагарин всё одно найдёт другой способ отмыться, однако, отмывшись, денег на строительство больше не даст. И тобольский кремль, сокровенная мечта Семёна Ульяныча, останется в недоделке, и Дмитриевская башня не увенчается гранёным шпиком.

– Сам понимаешь, не по душе мне подкоп рыть, – честно сказал Ремезов.

– И мне не по душе, – согласился Гагарин. – А куда деваться? Бери свою палку, пойдём на месте посмотрим. Рыбник хочешь?

Матвей Петрович подвинул Семёну Ульянычу другое блюдо – уже с пирожками, и Ремезов неохотно взял один.

– Мне ещё бабка говорила, что пирожок – брюху дружок, – сказал он.

Они оделись и вышли на улицу. Лакей Капитон потащился вслед за Матвеем Петровичем. По расчищенной улице они пошагали мимо амбаров, мимо ремезовского мамонта, чьи кости были толсто облеплены снегом, мимо часовни годовальщиков, Воинского присутствия, драгунских конюшен и Приказной палаты. Встречные мужики и чиновники кланялись губернатору.

Столпная церковь стояла над обрывом мыса, будто красно-рябой утёс. Душу Семёна Ульяныча всегда оцепляла странная гордость, когда при виде этой церкви он ощущал то мерное пошаговое упрямство, с которым свеча колокольни рывками своих ярусов ступенчато поднималась к небу. Заплот по краю оврага закрывал ущелье Прямого взвоза, внизу поперёк перекрытое снежной четырёхскатной кровлей будущей Дмитриевской башни.

– Там же в подвале расколыщики живут, – напомнил Семён

Ульянович. – Куда их перевести прикажешь, Петрович?

– Да никуда. Пускай живут. Они и будут ход под землёй копать. Лучше них работников не найти. Ты скажи, сколько времени всё это займёт?

– Ну... – прикидывая, замялся Семён Ульянович, – надо колодец на пять сажен опустить, из него ход до стены саженей десять будет... Стойки из лиственя поставить, у башни кладку опоры разобрать... Ежели без роздыху надсаживаться, то не меньше недели.

– Долго, конечно, – покачал головой Гагарин. – Ну, как есть. Давай, спасай меня, Ульяныч. Добром за добро отплачу.

Они подошли к столпной церкви. У двери в подвал укутанные в тулупы караульные жгли костёр и грелись, дымя из-под усов трубками.

– Отпирай, Сашка, – сказал Ремезов сторожу, тыча палкой в дверь.

В подвале было сумрачно – почти все окошки раскольники для тепла заткнули клубками из соломы. Горел костёр, пламя еле освещало вогнутые кирпичные своды, затянутые дымом. Всюду валялся мусор и разный хлам, который узники волокли с улицы – авось пригодится. Раскольники на цепях сидели возле костра; все они были худые, оборванные и длинноволосые.

– Загадили всё, как крысы, – брезгливо буркнул Семён Ульянович.

– А ты почисти, – оглядываясь, угрюмо ответил Хрисанф.

– Я губернатор, – выдвигаясь вперёд, сказал Матвей Петрович. – Хотите чего попросить?

Ремезов отошёл в дальний угол, выбирая место, удобное для колодца. Огонь костра качался, и по земле передвигались тени опорных столбов.

– Вели ошейники снять, – измученно попросил Гагарина Мисаил. – Сатанинские же челюсти. До костей протирают.

Матвей Петрович понимал, что ему надо ублажить узников, чтобы работали в полную силу.

– Ошейники завтра снимут, – пообещал он. – Харч вам прибавят. Сена свежего завезут. Дров тоже. Одежонку подыщут, обувь.

– За что такие милости, благодетель? – скривился одноглазый Авдоний.

– Чем ещё могу вам пособить? – Матвей Петрович решил не обращать внимания на издёвки неукротимого калеки, вожака раскольников.

– Дай Октоих дониконов для богослужения, – сказал Авдоний.

– Такие книги вам нельзя.

– Тогда удавись на моём ошейнике.

– Шибко ты дерзок, человек, – всё-таки не выдержал Гагарин.

– Я перед тобою дерзок, а ты перед богом!

К Гагарину подошёл Ремезов.

– Присмотрел, где колодец бить, – сказал он. – Оттуда из окошка София видна, можно по маточке путь направить. Пойдём отсюда, князь.

Матвей Петрович не стал откладывать дело на завтра. Уже вечером в подвал столпной церкви явился кузнец и снял с раскольников ошейники. К церкви подъехали сани, нагруженные уже наколотыми дровами, и сторожа перекидали поленья в подвал. Ночью раскольники начали копать яму колодца. За ними присматривал Леонтий. Караул у входа губернатор удвоил.

Утром Семён Ульянович полез в сугроб на склоне Прямого взвоза и принялся определять глубину оврага и расстояние до Дмитриевской башни. На хлопоты архитектора никто не оглядывался, в Тобольске все привыкли: Ремезов уже двадцать лет шастал по городу с верёвкой, на которой через каждый аршин был навязан узел, и что-нибудь измерял: дома, площади, лавки, церкви, мосты, валы, башни, запруды. Сейчас он хотел вычислить длину тайного пути в недрах горы от столпной церкви до башни на взвозе.

Раскольникам привезли тёплую зимнюю одежду, заготовленную для рекрутов Бухгольца, и кормить их начали как от бабушкиной печки. День и ночь, сменяя друг друга, при свете костра и лучин они копали в подвале яму, а потом колодец. Над ямой взгромоздили ворот, чтобы поднимать бадьи с землёй; землю ссыпали рядом в угол; по ночам в носилках её перетаскивали в волокуши и увозили в отвалы на другом краю Воеводского двора. В темноте в подвал церкви с пильной мельницы доставили тонкие бревёшки, брус и плахи для колодезного сруба и для крепежа подземного хода. При губернаторе Гагарине на Воеводском дворе всё время что-то копали, ломали и строили, поэтому никто не замечал подозрительной возни вокруг столпной церкви. Всеми работами поочерёдно командовали Леонтий и Семён.

Как-то раз, уловив момент, чтобы никто не слышал, Леонтий сказал:

– Напрасно мы князю помогаем, батя. И Сенька тоже так думает.

– Непокорствуете? – сразу разъярился Семён Ульянович.

– Из твоей воли мы не выходим, – хмуро ответил Леонтий. – Но не надо бы нам Матвея Петровича покрывать. Оно тоже воровство.

Семён Ульянович гневно засопел, однако промолчал, ведь его гордыню и вправду потешила просьба Матвея Петровича о помощи. И он не устоял.

Матвей Петрович понимал, что пересчитывать пушнину – дело долгое и хлопотное, особенно когда знаешь толк, но всё равно времени у него мало. Он торопил Ремезова и по пять раз в день справлялся, как идёт работа. Раскольники выкопали колодец до нужной глубины и затем принялись рыть ход в сторону башни на взвозе. Леонтий и Семён

пропадали под землёй. Семён Ульянович приказал выдернуть из окошек подвала пробки из сена, чтобы поступал свежий воздух, и кузнечными мехами дуть в колодец, чтобы работники в подземном ходе не сомлели и не задохнулись.

Леонтий и Семён не возвращались домой даже ночевать. Трапезничали они вместе с раскольниками. Однажды Митрофановна напекла пирогов и отправила их к сыновьям с Епифанией. Караульщики открыли ей дверь, и Епифания спустилась под своды подвала, где теперь было дымно, тесно и суетно. Негромко переговариваясь, раскольники крутили ворот, таскали носилки, обтёсывали топорами стойки и плахи. Пахло гарью костра, сырой землёй и смолистой древесиной. Холодный зимний свет лежал на кирпичах арок. В углу на соломе спали те, кто уже отработал, и среди них – Леонтий.

– Где Семён? – оглядываясь, спросила Епифания у брата Сепфора.

– Внизу, сестрица.

– А где батюшка? – тотчас спросила Епифания.

– А я здесь, – Авдоний вышел из-за столба.

Епифания надолго склонилась, ненасытно целуя руку инок.

– Господь тебя послал, вот ты и прибежала, – ласково сказал Авдоний, поглаживая Епифанию по голове. – Грядет избавление. Ныне всей братией мы на тебя уповаем. Отойдём в сторонку, уговориться надобно.

В этот день Семён так и не попробовал матушкиных пирогов. Забытые на подносе, впопыхах оставленном на куче дров, они застыли, будто камни. Семён под землёй бил кайлом в стену раскопа, и вдруг плотный суглинок посыпался от удара; в отсвете лучин оголилась грязная кирпичная кладка. Тайный ход добрался до фундамента Дмитриевской башни.

Вечером Семён Ульянович сообщил об этом Матвею Петровичу. Ночью в подвале церкви возле колодца уже лежала дюжина объёмистых, мягких и лёгких мешков с пушниной. Матвей Петрович был оживлён и разговорчив.

– Ох, праведники, жаль, вы хмельного не принимаете, а то бы я вам бочонок выкатил, – весело говорил он.

– Себе оставь, чтоб ярче в пекле пылать, – ответил Авдоний.

Окна подвала уже снова были заткнуты сеном, горел большой костёр, раскольники сидели вокруг на поленьях и грелись.

– Ну, дерзи, дерзи. Сегодня можно.

Колодец подземного хода располагался на дне ямы глубиной в полтора аршина. Крепкий сруб прикрывала прочная крышка; крышку перечёркивала железная полоса на петлях, намертво прибитых к срубу, – Семён Ульянович отодрал её от своего амбара; петля была заперта на

висячий замок. Леонтий отомкнул его большим ключом, откинул железную полосу и, как пробку, выдернул крышку. Вглубь колодца опускалась приставная лестница.

– Полезли вниз, Петрович, – сказал Ремезов. – Ты толстый, я хромой. Два сапога пара, оба левые.

Семён и Леонтий спустились в колодец первыми; Леонтий нёс кайло, а Семён – бадейку со строительным раствором. Затем, корячась, в колодец сполз Ремезов, а за ним пыхтел грузный Гагарин. Наверху остался только лакей Капитон. Он был вооружён двумя пистолетами и саблей. Капитон должен был следить за раскольниками – мало ли чего. Когда из колодезного сруба, из глухой подземной глубины, донёсся невнятный окрик Гагарина, Капитон принялся сбрасывать в колодец мешки с пушниной.

Дорогу освещали масляными плашками с огнём. Ход был шириной в аршин и высотой меньше печатной сажени, приходилось наклоняться. На пол были брошены истоптанные доски, по стенам стояли стойки крепи, на них лежали поперечные плахи, поддерживающие низкий потолок. Сверху то и дело сыпался земляной прах. Было холодно и душно, угнетал могильный запах глины. Гагарин спотыкался и шаркал боками по брёвнышкам крепи.

– Не под мои тела ты нору прорыл, Ульяныч, – бодрился он.

Ход тянулся, тянулся и упёрся в кирпичную стену, в которой уже было выбрано большое углубление. Извлечённые кирпичи лежали по сторонам.

– Я в основу ткнулся, батя, – через плечо сообщил Леонтий. – Ломать?

– Давай, Лёнька, но бережно, – благословил Ремезов.

На привычный верховой замах кайла здесь не хватало места. Леонтий, избоченясь, примерился и ударил кайлом по кладке вкось из-под ног. Семён-младший, Семён Ульянович и Матвей Петрович, держась за стойки, слушали, как Леонтий с гулким стуком крушит стену и выворачивает кирпичи.

Пролом вёл в пустой, как сундук, каземат без окон и дверей. Ремезовы и Гагарин, обдираясь об углы, выбрались из кирпичной дыры на свободное пространство и наконец-то распрямились.

– Мы в ближней опоре большого проезда, – шёпотом пояснил Гагарину Семён Ульянович. – Внутри ноги. Я здесь по чертежу кладовую наметил, чистый погреб. Ты уверен, Петрович, что в башне сторожа нету?

– Он снаружи в балагане сидит, – тоже шёпотом ответил Гагарин. – Капитон ходил смотреть. Нестеров же никому не верит, паучина, даже своим сторожам. На ночь башню запирает, а караульный в будке у камелька кукует.

Семён Ульянович поднял площадку повыше и осветил косоур – боковой брус деревянной лестницы, которая вела из каморы к проёму в своде.

– Теперь наверх, – сказал Ремезов. – Там уже и палаты. Иди, Лёнька.

Длинный порядок из шести сводчатых палат протянулся совершенно тёмный, словно огромные утробы огромных печей. Спаренные окошки были закрыты ставнями, и снаружи никто не мог заметить свет в логове фискала. Семён Ульянович повертел головой – его охватило какое-то благоговение: неужели он сам придумал и начертил сии мрачные и величественные покои? Матвей Петрович осторожно пошагал вперёд, глядя то налево, то направо.

Пушная казна занимала целую палату: тюки, мешки, берестяные короба, ворохи связок. В соседней палате стояли два широких обмерных стола, на которых Нестеров с сыном оценивали шкурки, и заморское бюро, которое Нестеров припёр в своём обозе из столицы, – надменный фискал, вишь ты, не мог писать за обычным столом, как подъячий подлой породы. Третью палату загромождали ряды высоких вешал, на которых пышно топорщились уже осмотренные и посчитанные сорока. Казалось, что здесь вырос еловый лес, только у ёлок вместо хвойных лап торчат соболиные и песцовые хвосты. Матвей Петрович не удержался и запустил руки в это богатство.

– Я к двери подкрался, – заходя в палату, прошептал Леонтий, – слышал, как сторож в караулке храпит.

– Пока Фёкла молится, кот сметану ест, – хмыкнул Семён Ульянович. – У нас срок до четвёртого удара часобитного колокола.

– Надо мою поклажу перетаскать, ребятушки, – спохватился Матвей Петрович. – Сенька, Лёнька, на вас надёжа. С меня по рублю каждому.

– На храм пожертвуй, Матвей Петрович, – глядя Гагарину в глаза, тихо, но твёрдо ответил Семён. – За деньги мы греху не пособляем.

Матвей Петрович широко улыбнулся в притворном добродушии.

– Хорошие сыны у тебя, Ульяныч.

– Всё одно мало бил, – буркнул Ремезов.

...Они успели даже до третьего часобитья на Софийском дворе. Свою пушнину Матвей Петрович зарыл в кучи ещё не обсчитанных мехов, примял для незаметности, потом встал посреди палаты на колени, перекрестился во всю ширину плеч и отвесил честный поклон, хоть и брюхо сдавило. Теперь фискал не найдёт за ним никакой недостачи. Кусай локти, Лёшка Нестеров! Матвей Петрович подумал, что дома надо будет приказать Капитону тащить из подклета полдюжины мальвазии – никак, праздник на душе.

В каземате, где начинался их подземный ход, Леонтий скидал в пролом обломки кирпичей, а Семён замёл мусор, который насыпался, когда долбили стену. Все четверо друг за другом залезли в дыру. Семён-младший, Семён Ульянович и Матвей Петрович пошли на выход в колодец, а Леонтий остался – ему надо было заложить пролом кирпичами, для того и прихватили с собой бадейку с раствором. В подвале столпной церкви Капитон помог Матвею Петровичу выбраться из сруба. Матвей Петрович щедро протянул руку Семёну Ульяновичу. Семён-младший остался ждать брата на дне колодца.

Костёр в подвале почти угас, но своды багровели трепетными отсветами углей. Раскольники спали на охапках сена, только Авдоний сидел у кострища и сушил над головнями какую-то тряпицу. На чёрном дне ямы подобно окну теплилось жерло колодца, в глубине которого тлел огонёк Семёна-младшего. Семён Ульянович достал ключ, которым запирали замок на крышке колодца.

– Лёнька вылезет, колодец закрём и яму закопаем, чтобы никаких следов не осталось, – сказал Ремезов Гагарину. – А ключ я тебе отдам.

– Не надо, оставь себе, – отказался Матвей Петрович.

– Это почему же? – удивился Ремезов.

– Вдруг меня под стражу возьмут, а нужда заставит снова в казну слазать? Надёжнее, ежели ключ у тебя будет, Ульяныч. Я тебе верю.

На самом деле Матвей Петрович думал другое: Нестеров мог найти тайный ход в свою кладовую, но ответит за него тот, у кого ключ.

– Ладно, – Семён Ульянович пожал плечами и сунул ключ в карман.

Авдоний внимательно смотрел на Семёна Ульяновича.

Глава 9

Ванька-фицер

Ванька, а правду Машка говорит, что ты у немцев воевать учился?

Петька пристроился на лавке боком к столу и ловко строгал из длинной щепки игрушечную сабельку для девятилетнего Лёньки, племянника.

– А Машка-то откуда знает? – с печи ревниво спросил Семён Ульянович.

– Правда, Петька. Постигал воинские науки, – подтвердил Ваня.

Ваня тоже сидел за столом и смолёной дратвой подшивал подсумок.

После ужина Семён Ульяныч залез на печь, а Ефимья Митрофановна, сидя в красном углу, отдыхала, прикрыв глаза и сложив руки на животе. У шестка Маша бренчала в лохани деревянными ложками и тарелками – мыла посуду. Леонтий под лучиной подбивал кожей конский хомут. Федюнька и Танюшка уже спали. Семён-младший и Епифания, поклонившись, ушли из горницы в свой подклет. Варвара отправилась в стойла доить корову на ночь и задать скотине корм, в помощь себе она забрала Лёньку с Лёшкой.

– А что там за воинские науки? Каким концом ружьё стреляет? – с печи задирался Семён Ульяныч. Ему нравилось держать этого Ваньку Демарина в острастке: знай, дескать, наших, мы тоже не соломой набиты.

– Воинские науки составляют древняя военная гиштория, стратегия, тактика, начертательная геометрия, артиллерия и фортификация.

Ваня терпеливо объяснял, стараясь не сцепиться с вредным стариком.

– Что такое фортификация? – спросил Леонтий.

– Как крепости возводить.

– Приехал бы ко мне, я бы научил тебя кремли строить! – самоуверенно заявил Семён Ульяныч, будто он построил уже десять кремлей.

– Лучше бы пахать учились, мужики, а не крепостищи громоздить свои страшные, – из своего угла заметила Митрофановна.

– В крепости сидеть скучота, в поле надо биться! – сказал Петька.

– Много ты понимаешь, Петька, – рассудительно возразил Леонтий.

Потрескивали лучины, тёплый живой свет бегал по бревенчатым стенам и плахам потолка, за ставнями протяжно дышала ночная метель. Ваня искоса посматривал на Машу, багрово озарённую из устья печи

углями, тлеющими в горниле. В её глазах ему хотелось выглядеть опытным и суровым офицером, вроде Бухгольца, – дальновидным в атаке и неприступным в обороне. Зачем нужна ему Маша, Ваня не думал. Она была рядом – значит, непременно должна быть поверженной. Маша тихо улыбалась, довольная вниманием Ваньки Демарина. Пушай пыжится, он ещё сам попрыгает вокруг неё.

– В поле биться – первая наука, – Ваня для важности нахмурился. – Солдаты учат экзерцицию – движение строем, перестроение.

– Попы на крестном ходу строем ходят! – хмыкнул Семён Ульяныч.

– Строем в чистом поле ходить против конницы с пиками и саблями? – не поверил Леонтий. – Это ж всех сомнут, затопчут, перебьют.

– Вовсе нет, дядя Левонтий! Строй – главная оборона в бою, потому как у строя на каждую угрозу свой порядок отражения врага. Марш – один артикул. Стрельба – другой. Атака или дескурация – третий. Ретирада – четвёртый. Есть артикул против конного наскока. Солдатам надо всё знать.

– Поди в драке разберись с артикулами этими, – сомневался Леонтий.

– На то командир и нужен, – Ваня заговорил погромче, чтобы слышала Маша. – Командир смотрит на сражение и понимает, какой артикул надобно применить. Даёт команду – и солдаты быстро перестраиваются. Чтобы не мешкать в баталии, солдаты экзерцицию заранее отрабатывают. Это и есть солдатская наука. И она совсем не простая.

– А ты её выучил, да? – поддел с печи Ремезов. – Всех умнее, сопляк?

Маша встревожилась. Батюшка не знал меры – сейчас нападёт на Ваньку и начнёт хлестать обидными словами, а Ванька ведь ни над кем не задавался.

– Знаю, Семён Ульяныч! – загорячился Ваня. – За границей я честно во все премудрости вникал, чтобы любезное отечество защищать!

– Всегда, батюшка, у тебя все дураки! – упрекнула Маша.

– Молчи, трясогузка! – тотчас ответил Семён Ульяныч.

– И всё равно, Ваня, драку рукопашная решает, – настаивал Леонтий.

Ваня рассердился, что никто из Ремезовых не доверяет его учёности.

– Верно, рукопашная! Когда стрелять поздно, в дулы втыкают багинеты и дерутся грудь на грудь. На такую схватку тоже приёмы есть!

Ваня вскочил, шагнул к печи и схватил два ухвата.

– Иди сюда, Петька, вот тебе пика! – Ваня сдёрнул Петьку с лавки и сунул ему в руки один ухват, а вторым потряс перед Леонтием: – А вот моё ружьё с багинетом, дядя Левонтий! Давай, Петька, коли меня своей пикой!

– Наскрозь его вздень! – увлечённо крикнул Петьке Семён Ульяныч.

Петька обрадовано заулыбался. Драка – это здорово! Он взял ухват

половчее, нацелился на Ваньку рукоятью, пригнулся, примериваясь, и сделал выпад, будто хотел пронзить Ваньку копьём. Но Ванька, уклоняясь, ловко отвёл Петькино оружие, быстро скользнул вперёд и уткнул рукоять своего ухвата Петьке в горло. Маша взвизгнула – она уже забыла о посуде.

– Ты убит, Петька, – гордо сказал Демарин.

– Что ты лепишь, Ванюшка окаянный! – возмутилась Митрофановна на слова «ты убит». – Типун тебе на язык!

Семён Ульяныч возмущённо засопел. Он обиделся за Петьку.

– Это же играючи говорится, баба Фима, – отмахнулся Ваня. – А вот покажу бой с конным. Держи, Петька, саблю и лезь на коня!

Ваня подал Петьке веник, и Петька влез на лавку.

– Руби меня!

– Надвое распластай этого вертуна! – гневно крикнул Семён Ульяныч.

Петька в упоении огрел Ваньку веником, но Ванька опять отбил удар: красиво и ловко припал на одну ногу, обеими руками подняв ухват над головой, а затем изящным движением ткнул рукоятью Петьку в грудь.

– Снова ты убит, хоть и на коне, – с превосходством сказал Ваня.

Маша глядела на Ваню уже совсем другими глазами. Вроде невзрачный и тощий, однако в нём, оказывается, таилась гибкая сила и нездешние умения. Так бывает с девчонками: на вид – обычная, а запоёт – и красавица.

Петька тоже был впечатлён. Он всегда побеждал в уличных драках с мальчишками, а тут его дважды закололи, будто он огородное пугало.

– Ванька, научи меня! – потребовал он, спрыгивая с лавки.

– Записывайся в солдаты, научу, – покровительственно пообещал Ваня.

– Ты куда его сманиваешь, ирод? – возмутился на печи Семён Ульяныч. – Никаких ему солдат, мокрозадому! Даже не мечтай, Петька!

– Ванюшка, я тебя своими руками удавлю, – пригрозила Митрофановна.

– Это честь – быть солдатом своему отечеству! – заявил Ваня, чувствуя себя полковником Бухгольцем. – Ты-то должен понимать, Семён Ульяныч.

– Ишь ты, этот пистоль ещё укоряет меня! – изумился Семён Ульянович.

– Дури в Петьке с перебором, Ваня, – вздохнул Леонтий. – Нельзя ему.

Маша спохватилась и склонилась над лоханью.

Теперь ей было что рассказать подружкам на вечорках, куда она бегала, когда отпускали родители. Девушки расспрашивали её о постояльце, таком молодом фицере: откуда он да каков он, – а что о нём поведать? Приходит затемно, отругивается от придилок батюшки и падает

спать на Аконькин сундук. Сбиваясь, Маша пыталась повторить то, о чём Ванька говорил Леонтию и Семёну, но все эти Александры Македонские и Юлии Кесари путались у неё в голове. Девушки решили, что фицер Ванька очень умный.

– Хорошо тебе, Машка, – позавидовала Нюшка Постникова. – Сидишь, сказки слушаешь. А у нас швед на постое – упырь, только трубкой дымит.

Но Маше больше всяких Македонских и Кесарей нравилось, как Ванька воюет с батюшкой. Семён Ульяныч – всем известный задира, ярый спорщик, лев рыкающий, а Ванька не сдавался ему, огрызался, дерзко нападал, хотя мог плюнуть да уйти. Но он хотел посрамить батюшку, взять верх над ним, потому что Маша увидела бы эту победу.

Про молодого фицера, который поселился у Ремезовых, узнали и парни, и однажды на улице Маше заступил дорогу сам Володька Легостаев.

– Что за Ермак Тимофеич у вас живёт, Машка? – весело спросил он.

– Не твоего ума дело! – с наслаждением ответила Маша. Володька перестал ходить с ней гулять, и она была рада мести.

Петьку Ремезова тоже воодушевил бой на ухватах. Петька старательно припомнил все движения Ваньки и попробовал заучить их; в коровнике, когда остался один, он несколько раз Ванькиным способом поразил корову Зорьку граблями в бок, но корова – не супротивник. Петька решил для себя, что солдатская служба – самое интересное дело на свете. Раньше он думал, что быть солдатом – тоска зелёная. Топаешь в толпе под барабан, и всё. А оказалось, что солдаты знают столько всяких воинских хитростей – глаза разбегаются. Жалко, что все войны так далеко от Тобольска.

Петька упросил Ваньку взять его с собой к солдатам.

Рано поутру Ваня повёл Петьку к новым гарнизонным избам у речки Тырковки на Нижнем посаде. Однако на истоптанном пустыре, где обычно маршировали рекруты, вместо трёхсотенного баталиона стояли в шеренгу два десятка парней с красными барабанами, в зигзаг обтянутыми шнуром. Барабанщиками командовал поручик Кузьмичёв.

– Всех солдат опять на пристань погнали суда сколачивать, – в досаде сказал он Ване. – Как мне их в воинском искусстве наставлять, ежели они вместо плотников работают? Я полковнику мемориал подавать буду!

– А эти что делают? – спросил Ваня про барабанщиков.

– Артикулы долдонят. Ничего не могут запомнить, остолопы.

Ваня посмотрел на разочарованного Петьку.

– Останешься с барабанщиками, или в другой раз?

– Лады, останусь, – вздохнул Петька. Барабан тоже был ему любопытен.

– Кузьмичёв, прими парня, – попросил Ваня. – Может, к нам запишется.

– Как фамилия? – строго спросил Кузьмичёв.

– Петька я Ремезов, сын Семёнов.

– Возьми, Ремезов, барабан и встань в строй, – Кузьмичёв указал на сани, в кузове которых лежал ещё десяток армейских барабанов.

Петька повесил барабан на живот и занял место в строю.

Ваня пошёл прочь. Кузьмичёв тоже надел барабан и поднял палочки.

– Проверим вчерашний урок! – громко объявил он. – Команда «в атаку», артикул три. И-и-и, бой!

Кузьмичёв забарабанил. Рекруты тоже застучали, но получалось у них плохо – всё в разлад, не попадал, один только треск, будто россыпь сушёного гороха. Петька вертел головой, присматриваясь и прислушиваясь.

– Дубины! – в раздражении заругался Кузьмичёв. – Трудно, что ли, порядок затвердить? Бабах, бабах, бабах- тарах-бабах! Надо, чтобы лоб звенел! Слова какие-нибудь себе придумайте для зацепки!

– Чё тут придумаешь-то, не песня же... – пробурчал один из рекрутов.

– Баран, баран, баран рогами бам! – вдруг сказал Петька.

Рекруты засмеялись.

– Повтори! – потребовал Кузьмичёв, прислушиваясь.

– Баран, баран, баран рогами бам! – Петька забарабанил. – Баран, баран, баран рогами бам! Баран, баран, баран рогами бам!

– Молодец, Ремезов! – ободрился Кузьмичёв. – Всем учить «барана»! Ремезов, сочиняй слова к артикулу два, команда «общий сбор».

Кузьмичёв, требовательно глядя на Петьку, отстукал артикул. Петька морщил лоб и шевелил губами, подбирая слова.

– На дороге прах, за оврагом гром! – крикнул он и грянул по барабану: – На дороге прах, за оврагом гром! На дороге прах, за оврагом гром!

– Артикул пять, «шагом марш», – предложил Кузьмичёв, увлекаясь, и отбарабанил новую команду.

Петька оценил это как вызов, на который надо ответить с блеском.

– За амбаром бороду выдрал Дорофей! За амбаром бороду выдрал Дорофей! – прогрохотал он на барабане.

– Артикул один, «огонь».

– Боровок продрог! Боровок продрог!

– Артикул семь, «тревога».

– Город береги, Илья-пророк! Город береги, Илья- пророк!

Кузьмичёв улыбался, рекруты ржали, а Петька сиял от собственной

лихости и находчивости. И вдруг чьи-то крепкие пальцы вцепились ему в ухо и выкрутили так, что Петька взвыл.

– Ах ты стрекотун! – рявкнул Семён Ульянович, возникший неизвестно откуда. – Ванька проклятый тебя сманил? Я этому пустоплёту его артикулы поленом выколочу! Он у меня башкой в помойну лохань будет барабанить! Ну-ка живо клади казённую погремушку, идём домой!

Семён Ульянович потащил Петьку на глазах у рекрутов и Кузьмичёва.

Два дня Ваня Демарин ночевал в гарнизонных избах, пережидая гнев Семёна Ульяновича и Ефимьи Митрофановны. Он бы и вовсе не пошёл к Ремезовым, где его тиранил склочный старик, приискал бы себе какое-либо другое жильё, но как тогда видеть Машу? Ваня уже привык думать о ней и представлять, какое впечатление он производит. Он не хотел разочаровать Машу, ведь уйти от Ремезовых – значит признать, что Ульяныч его одолел.

А Маша тоже скучала без Вани. С ним весело, как со щенком, который воображает себя страшной собакой. Не на аркане же Ванька затащил Петьку в свою армию. Петька-то вон как дуется на батюшку, который при всех осрамил его, и ни с кем не разговаривает, даже с Леонтием. Просто батюшка слишком сильно трясся над Петькой, вот и хватил через край. Потихоньку Маша уломала матушку простить Ваньку, а Митрофановна взялась за мужа.

– Ладно, пусть Ванька приходит, не убью, – буркнул Ремезов Маше.

Маша отправилась за Ваней. Она встретила его на Драгунском подворье, по-новому – в Воинском присутствии.

– Возвращайся, Вань, – сказала Маша. – Они поутихли.

Но Ване стало стыдно, что его выручает девчонка, будто он в чём-то виноват и боится старика, так как не может сам за себя постоять.

– Я в вашем заступничестве не нуждаюсь, Марья Семёновна.

Маша хотела рассердиться, но не получилось. Батюшка – неистовый, а Ванька – глупый и строптивый. Батюшку с Ванькой она вроде примирила, теперь надо Ваньку с батюшкой примирить. Здорово, когда они сражаются, но нельзя, чтобы в пух и прах. А они оба как два упрямых быка.

– Пойдём прогуляемся, – уклончиво предложила Маша.

Близкое зимнее небо над Тобольском рыхло залепили облака, серые, сизые и жемчужные; извилистые вмятины между ними светились немошной желтизной; солнце мягко лучилось, словно откуда-то из ямы. За постройками и крышами Воеводского двора отовсюду был виден ряд недостроенных башен кремля: могучие приземистые кирпичные трубы и кубы с небрежными временными кровлями. Маша повела Ваню от Драгунского подворья к Прямскому взвозу, от него – на Софийскую

площадь, потом – к кремлю.

– Это батюшка возводил, – как бы ненароком говорила Маша, указывая Ване на Приказную палату, на столпную церковь, на взвозную башню, на Гостиный двор. – И это тоже он. И это. А сейчас он кремль делает.

Ваня, конечно, знал, что Семён Ульяныч – тобольский архитектор, но никогда не задумывался: а что этот архитектор построил? И сейчас, сохраняя внешнюю надменность, Ваня всё-таки поразился свершениям Ремезова. Он догадался, что Маша легонько тычет его носом в достоинства батюшки, словно щенка в миску с молоком. А ему, Ване, похвастаться нечем.

– И к чему мне всё это знать? – свысока спросил Ваня.

– К тому, что батюшку люди уважают. Он такой один на всю Сибирь. Можно и потерпеть. Он же не со зла лихой, а от породы буйный.

Они шли вдоль стены кремля к обрыву Троицкого мыса. Ваня подумал, что он мог бы потерпеть Ремезова ради Маши, но не ради этих столпов и палат. За них Ремезов небось и так уже натешился почестями от попов и воевод, перебьётся и без Вани. Однако о себе Маша ничего не сказала.

– Ты, Маша, меня батюшкой не проймёшь, – непреклонно произнёс Ваня. – Палатами и церквями, как у Семёна-Ульяныча, вся Москва утыкана, недаром же царь Пётр оттуда сбежал и новую столицу учинил. Это всё былая спесь боярская, которой нынче уже не место. И кремлей за границей давным-давно никто не строит. Куда они нужны, ежели бомбардированья пушками не держат? Новая твердыня есть траншемент, сей манер французский маршал Вобан придумал: куртины и бастионы. Так царь Пётр свою Петропавловскую крепость воздвигает. Я тебе честно говорю: твой батюшка старину лелеет, потому как ничего в мире не видал. И зачем мне ему уступать? Я – за новую жизнь, как царь требует, и перед дремучестью шапку ломать не буду.

Теперь обиделась Маша. Она всё же Ремезова, а не подкидыш без роду-племени. Конечно, ей нечего было возразить на этого заморского Вобана, но главное ведь не в пушках, а в красоте сотворённого дела и в батюшкиной преданности вышнему промыслу. А дурак Ванька ни черта не понимает.

– Да проваливай, куда хочешь, Ванька! – в сердцах отрезала Маша.

Она быстро пошла по тропинке между стеной кремля и обрывом.

– Маша, погоди! – испугался Ваня. – Прости, что обидел!..

– С Вобаном целуйся! – ответила Маша, вытирая злые слёзы досады.

Из-за щербатого угла недостроенной башни на тропинку вдруг шагнул

улыбающийся Володька Легостаев, а за ним – трое насупленных парней.

– Здорово, Машка, – сказал Володька, перегораживая путь.

– Чего тебе надобно? – останавливаясь, гневно спросила Маша.

– Ничего, – Володька пожал плечами. – Хотел с твоим Ванькой-фицером поздороваться. Правда ли он такой смелый – за нашими девками ухаживать?

– Убирайся, Володька!

Но разозлённый Ваня и не думал прятаться от тобольских парней. Он решительно сдвинул Машу с тропинки и встал перед Володькой.

– Вот он я, – сказал Ваня, глядя на Володьку с прищуром.

– А ведь и не видно из-под треуголки-то, – хмыкнул Володька.

Широкоплечий и румяный, он был на полголовы выше Вани.

– Ты с Глашкой косоглазой гуляй, – из-за спины Володьки посоветовал один из парней. – Она вам кафтаны штопает. А Машку не трожь.

– Тебя не спросил, – тотчас ответил Ваня.

– Мы не посмотрим, что ты фицер, скинем тебя с горы, понял?

– Прямо вот так скинете?

– Вверх шпорами свистанёшь.

Володька продолжал улыбаться, не угрожая, но и не опровергая.

Обрыв зиял в двух шагах от Вани. Крутой откос Троицкого мыса, покрытый обветренной наледью, ровной плоскостью падал глубоко вниз. Заснеженные крыши домов сверху казались размером с пуховые перины. Пустота остужала душу грозным предостережением.

– Володька, хватит озоровать! – крикнула Маша. – Я батюшке скажу!

«Опять её батюшка!» – подумал Ваня и взбесился. Он бросился на Володьку, схватил его за грудки и потрянул. Володька чуть подался назад.

– Толкай! – сказал Ваня со стиснутым ожесточением. – Вместе улетим!

Володька не поднимал рук, с улыбкой глядя на Ваню сверху вниз.

– Эй, фицер, хорош! – забеспокоились парни за спиной Володьки.

– Не готов до смерти биться – не лезь в драку! – яростно выдохнул Ваня. – Я как солдат тебе говорю, понял?

– Пусти, – Володька спокойно повёл плечами, освобождаясь. – Я же тебя только испугать хотел. Узнать, каков ты на поджилку.

От страха за Ваню и Володьку обида слетела с Маши, не оставив следа.

– Узнал?

– Узнал, – без всякого испуга весело кивнул Володька.

Ваня отпихнул Володьку с дороги. Володька не стал противиться. Парни тоже отодвинулись, уступая путь. Ваня прошагал мимо них и

оглянулся.

– Маша, не отставай! – прикрикнул он.

Маша торопливо догнала его.

– Домой тебя веду! – через плечо бросил ей Ваня.

Тем же вечером он решил пойти в мастерскую, где Семён Ульянович красил потемневшую икону. Следовало поговорить со стариком, сказать ему что-нибудь хорошее, в общем, как-то расположить к себе. Притворство, даже с добрыми намерениями, коробило Ваню, однако ради Маши он согласился поступиться гордостью. Ваня уже не раз осматривал мастерскую Ремезова, но пришлось напустить на себя восхищённый вид, хотя разве же сравнится книжное собрание в каморке этого тёмного тобольского самоучки, например, с вивлиофикой Альбертина в Лейпциге, где Ваня учился?

– Даже иконами занимаешься, Семён Ульяныч?

Ремезов сидел за столом под светцом, в клюве которого торчал пучок горящих лучин. Ваня встал у старика за спиной и разглядывал его работу. Семён Ульяныч был доволен, что Ванька сам явился к нему и подлизывается.

– Ныне только старое поновляю, а раньше – было дело, – добродушно сказал Ремезов. – Сей образ я с отцом своим писал при митрополите Павле и воеводе Шеине. Отец землю и небеса изобразил, а я – святыю Софию.

Святая София, темнолицая, с грозными глазами, облачённая в длинное одеяние, стояла на земляном бугре, исчерченном извилистыми нитями рек, и держала на маленькой ладони большой трёхглавый храм. Вокруг плоского золотого нимба Софии в синеве пестрели белые и пухлые клубочки облаков.

– При лучине живопись творить не резон, – Ване хотелось показать, что он тоже понимает в этом деле, значит, он достойный собеседник. – От солнца свет жёлтый или белый, а от огня красный. При лампе живописец на картине цвета в сумрачность усугубляет, а сие подобию натуры несоответственно.

– Икона не от зримой природы строится, – ответил Семён Ульянович. – Каждый цвет – божья истина, только она и значима.

– В Европе не так живопись мыслят, – заметил Ваня.

– Еретики они, что с них взять, – вздохнул Семён Ульянович.

– В Пруссии я геометрию и чертёжное искусство учил, – осмелев, сказал Ваня. – Нам и про художество объясняли. Я о том говорю, что надобно правильно рисовать, по строению человеческого, по свету и закону чертежа.

– И в чём его закон? – с подозрением спросил Семён Ульянович.

– Называется перспектив, – сообщил Ваня. – Линии, что от созерцателя вглубь изображения идут, стремятся к единой умозрительной точке. А у тебя, Семён Ульяныч, смотри, они расходятся, – Ваня показал пальцем на иконе. – Храм стенами раскрыт, будто книга. Сие глазу представляется искажением.

– Ух, как растолковал! – тихо закипел Семён Ульянович. – А в чём ещё косоручие моё?

– Препорции фигуры неверны. Цвет телесный – луковый, а до`лжно – розовый. Краски от одной к другой переменять надобно мягко и плавно. Отсветы полосками только в гравюрах изображают, а не в живописи.

– Ищю каким-нито знанием озари меня, ослятину дикошарую, – свирепо и вкрадчиво попросил Ремезов. – Ороси мою редьку росой премудрости.

Ваня не замечал, что Семён Ульянович уже клокочет.

– Понятие тени надобно иметь, – увлѣкшись, говорил Ваня, – ибо любой предмет освещаем светилем, кое в мире есть совокупный источник света. Искусству надлежит быть натуроподобному. И композицию тебе следует изучить, Семён Ульяныч, для достижения гармонии в художестве...

Семён Ульяныч потихоньку нашарил свою палку и без предупреждения с размаха шарахнул Ване поперѣк спины. Ваня охнул и отскочил.

– А вот тебе по хребту гармонию! – крикнул Семён Ульяныч и ринулся от своего стола к Ване, снова замахиваясь палкой.

Ваня не стал искушать судьбу – увернулся от удара и опрометью кинулся к двери, прочь из мастерской.

– Куда поскакал, учитель? – орал ему вслед Ремезов. – А плата за урок?

Глава 10

Бегство неистовых

Понести ведь ты должна, Епифанюшка.

Семён лежал и смотрел на голую спину Епифании, исполосованную потускневшими рубцами, но рубцов не видел. Не каторжанка и не еретичка, а просто красивая баба, и не баба даже, а дева, Суламифь. В свете лучины её спина блестела от пота. Епифания, сидя, переплетала растрепавшуюся косу.

- Не понесу, – равнодушно ответила Епифания.
- Я не пущу тебя к старухам плод травить, – предупредил Семён.
- И не надо. Без них всё отбито и выстужено.
- Господь милостив, – убеждённо сказал Семён. – Понесёшь.
- Господь милостив, – согласилась Епифания, думая о своём.

Семён получил от неё всё, что мог взять сам, но она ничего не дала ему от себя. Порой Семёну казалось, что вот-вот – и незримая стена между ними исчезнет, но в последние дни Епифания как замкнулась. Взгляд её застыл.

– Грех без венца жить, Епифанюшка, – осторожно сказал Семён. – Меня могут на год в Туруханск на покаяние сослать или даже в острог посадить.

- Я сидела в остроге, а ты испугался? – усмехнулась Епифания.
- Не испугался. Но я по-людски хочу. Как мне к тебе путь найти?

– Нечего о пустом, – жёстко ответила Епифания, встала с лежака и дунула на лучину. Нательную рубаху она надела уже в темноте, чтобы Семён не смотрел на её наготу, и легла рядом с ним под общую шубу.

Мало ли таких общих шуб было в её жизни? Немало. Но этого мужика она ненавидела. Его сердечность, его тёплый тихий подклет, его печка – и её горшки, её прялка, её образа... Семён, видно, полагает, что своей заботой и непрошеной любовью он может искупить все те страдания, которые она претерпела. Но этим он только умаляет её подвиг: спасенье ценит в алтын.

Семён заснул, как всегда засыпают мужики, насытившись, а Епифания лежала и ждала. Потом она бесшумно и легко встала и принялась одеваться для улицы. Всё было заготовлено заранее: тёплая юбка-понёва, душегрея, длинные онучи, подшитые кожей валенки, большой платок, тулупчик, кушак; за кушак она пихнула рукавицы-шубенки. С узкого печного шестка

она взяла нож, и его рукоять удобно села в ладонь. Епифания оглянулась на Семёна.

Её охватило дьявольское искушение зарезать его. С силой воткнуть нож вон туда, под лопатку, и всё. Она, понятно, не Юдифь, и Семён не Олоферн, чтобы принести его голову батюшке Авдонию, но не в этом дело. Семён был к ней добрее всех, кого она встречала в жизни, – вот и швырнуть этой жизни в рожу отрезанную голову Семёна: получи, сука! За муки тебе – поклон, они отковали душу в ясное железо, а за милости – принимай благодарность. Епифания даже качнулась к Семёну, но удержалась. Не стоит отвлекаться.

Она вышла из подклета мастерской во двор и затворила дверь. К ней сразу бросились собаки, завертелись вокруг, подныривая под руки. Прежних псов – Батыя и Чингиза – Епифания боялась, а этих прикормила с щенячьего возраста. Она сразу знала, что уйдёт, и собаки не должны ей помешать.

В горнице Ремезовых все спали, Ремезов храпел, Варвара что-то бормотала во сне, но Епифания и не таилась. Она тихо прошла к красному углу, где в киоте мерцала лампада. Отодвинув икону, она пошарила на полке.

- Ты чего бродишь? – сонно спросила с лавки Митрофановна.
- Угли погасли, – сказала Епифания. – Зажгу лучину от лампады.
- Ну, с богом...

Вот он – большой ключ. Епифания давно заметила, куда прячет его Ульяныч. Это батюшка Авдоний сказал, что ключ у старого Ремеза.

Батюшка Авдоний ждёт. Все братья ждут. Ждёт купец Чурилов на Кондюринской улице за Тырковским мостом. Чурилов – истовый ревнитель старой веры, через него в Тобольске вели тайный торг скиты, что прятались на диких Ирюмских болотах. Епифания была посыльной между батюшкой Авдонием и купцом. Она знала, что приготовили Авдоний и Чурилов. Она бежала по снежным улицам города к Прямскому взвозу, к столпной церкви.

Стена высоких снежных откосов Алафейских гор блестела под звёздами. Епифания поднялась по чёрной лощине Прямского взвоза через большую арку Дмитриевской башни, свернула за амбар и стороной, чтобы не заметили караульные у столпной церкви, вышла к Приказной палате, обогнула её с дальнего угла и по тропе на кромке обрыва подобралась к церкви. Из сугроба она вытащила палку и сунула в глубокое окошко, выталкивая пробку из сена.

- Батюшка! – шепотом позвала она.
- Принесла, сестрица? – почти сразу отозвался Авдоний.

– Держи! – Епифания бросила в окошко ключ.

– Благослови тебя господь! Ступай и сделай, как условились!

Подвал церкви еле освещали угли костра. Раскольники торопливо, но тихо сустились, собираясь покинуть узилище. Брат Сепфор, стоя на коленях, щепкой ковырял землю в углу – там были спрятаны две лопаты, украденные, когда Ремезовы строили подземный ход. Братья Аммос и Пагийл схватили лопаты и бросились откапывать колодец подземного хода. Они рыли быстро и неряшливо, а прочие раскольники ногами и поленьями отгребали землю от ямы. Брат Урия затаился у двери и слушал, не всполошатся ли караульные. Старый Хрисанф, задрав голову, подсвечивал себе головнёй и рассматривал стену. По стене, расколов арку и свод, тянулась трещина.

– Отче, подойди ко мне, – окликнул Хрисанф Авдония.

Авдоний подошёл.

– Дозволь остаться, – попросил Хрисанф. – Я бы к утру вон те кирпичи лопатой расшевелил бы, и весь вертеп рухнет.

– Лопатой в одиночку такую громаду обрушишь? – усомнился Авдоний.

– Я же зодчий, – терпеливо пояснил Хрисанф. – Там в стене железная тяга вмурована. Она этот свод держит, как тетива концы у лука. Я расшатаю кирпичи, тяга выскочит, свод проломится, и храмина внутрь себя просядет. Другие своды от тяжести лопнут, и опоры раздавятся. Всё поедет и упадёт.

– А ты, брате?

– А я уже давно к внучекам своим покойным хочу.

Авдоний положил руку на плечо Хрисанфа, глядя старику в глаза.

– Не время и не место, Хрисанфе, – твёрдо сказал он. – За мной поиде, я всех доведу до вертограда, и тебя с братьями вкупе.

– Кладязь, отче! – громко зашептали раскольники из ямы.

Авдоний прыгнул в яму, на дне которой виднелась крышка колодца, отряхнул от земли амбарный замок и вставил ключ в скважину. Ключ с хрустом провернулся, и замок распался. Авдоний без лязга снял железные полосы и легко выдернул крышку. У его ног открылся колодец, в глубину которого уводила приставная лестница. Это был путь к свободе.

– Благодетелю Спасе, вопием из бездны нашей, слава те, владыко, Боже всещедрый! – торжественно произнёс Авдоний. – Братья, зажигайте лучины!

Первым с лопатой и лучиной в колодец спустился брат Навин – самый крепкий из раскольников, потом полезли остальные. Авдоний проводил вниз Хрисанфа и сполз последним. В пустом подвале гасли угли кострища.

Освещая тесный и низкий проход лучинами, раскольники друг за другом быстро добрались до кирпичной стены взвозной башни. Пролом, пробитый Леонтием, был заложен кладкой толщиной в два кирпича – такой прочности было достаточно. Брат Навин ударил в кладку плечом.

В это время Епифания возвратилась к Прямскому взвозу тем же путём, которым пришла, но не свернула в ущелье взвоза, а мимо Софийского собора побежала, хрустя свежим снегом, к Павлинской башне, круглой, низенькой и толстой. Окошки собора чуть теплились от огоньков свечей – там читали неусыпаемую Псалтирь. От Павлинской башни вниз к башне на взвозе вела дощатая лесенка с перилами и ступенями, забитыми льдом. Она утыкалась в порог караульной будки, которую сколотили Ремезовы. В двери будки было вырезано оконце размером с ладонь, оно светилось: сторож топил камелёк.

Епифания достала нож и поскреблась в дверь.

– Дяденька, пусти погреться, – пропищала она.

Светящееся оконце заслонила широкая рожа солдата.

– Кто такая? Не положено!

– Посмотри, я одна, – жалобно сказала Епифания. – Холопка я, меня хозяин выгнал козу искать.

– Вот дура, – сказал солдат, отодвинул засов и отворил дверь.

У Епифании не было ни жалости, ни страха, лишь глухая и угрюмая радость. Она решительно ударила солдата ножом в грудь. Солдат охнул и повалился в будку. Епифания схватила его за ноги и вытащила наружу, подтолкнула под перила и сбросила в сугроб под склоном взвоза.

Будка была пристроена к выходу из Дмитриевской башни – к выходу из пушного логова фискала. Тяжёлую, обложенную железом дверь в башню надо было бы долго рубить топором, если прорываться в палаты снаружи. Но изнутри раскольники просто прокрутили на оси фигурную пластину накладного замка, и кованый язык легко выдвинулся из глубокого паза.

Епифания кинулась на шею Авдонию.

– Вот и здравствуй, сестра! – обнимая её, победно улыбнулся Авдоний.

Раскольники на спинах скатились по снежному склону Прямского взвоза на дорогу, словно дети, и поднялись на ноги, отряхиваясь. Высоко над ними вздымалась взвозная башня со своими арками, окнами и пушной казней, а ещё выше была столпная церковь, а над её голой колокольной рассыпались все пресветлые божьи планиды, и денницы, и лунницы, и серьги Богородицы, и звенели цаты на незримых ризах созвездий, и тонкими лучами через весь небосвод блистали адамантовы кресты, и Колесница блистала, и Коромысло, и Плуг, и от полудня до полуночи

простирала пернатые крыла Гусиная Стая.

– А дале куда, отче? – задыхаясь, спросил Авдония Мисаил.

– А дале к доброму человеку, – Авдоний оглянулся на Епифанию. – Веди нас, сестрица, мы люди нездешние.

– А потом?

– А потом господа славьте, братья: мы на воле!

И раскольники побежали вниз по Пря姆斯кому взвозу.

А в Софийском соборе всё звучала неусыпаемая Псалтирь. Инок Илия ждал своей очереди, а инок Никанор у аналоя дочитывал урочную «славу»:

– Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Бог!» Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты – помощь моя и Избавитель мой; Господи, не замедли!

Никанор перекрестился, поцеловал книгу и шагнул назад, уступая место.

– Благослови, господи, – сказал он Илие.

Запахивая ворот тулупа, Никанор вышел из собора в зимнюю темноту. Он по привычке огляделся и вдруг в жёлтых отсветах из окон собора увидел неподалёку лежащего на снегу чёрного человека. Пьяный, что ли? Замёрзнет! Никанор направился к пьянчуге, наклонился, потряс и повернул его. Это был знакомый солдат, который караулил пушную казну и часто заходил в собор погреться. Солдат был мёртв, а снег под ним багровел от крови.

Никанор побежал напрямик к дому губернатора. В воротах у рогаток монаха остановил сторож, и Никанор, волнуясь, сбивчиво объяснил: не иначе как ограбили пушную казну – караульного солдата пырнули ножом, он пополз к собору за помощью и умер на пути. Сторож разбудил лакея Капитона; Капитон, выслушав, осмелился разбудить губернатора.

Матвей Петрович в развевающейся шубе бросился к башне на взвозе. Его сжигала ярость. Не бывало такой дерзости, чтобы грабили губернскую казну, да ещё под носом губернатора и фискала! Душу рвала досада, что, покрывая недостачу, он отдал в казну собственные богатства, и напрасно, потому что любую недостачу можно было бы списать на грабёж, а Нестеров всё одно будет подозревать, будто грабёж подстроил сам Гагарин!.. Капитон, забыв надеть шапку, спешил вслед за хозяином с пистолетом в руке.

По лесенке Матвей Петрович скатился в караулку, где ещё не угас камелёк убитого солдата, и сразу почуял, что дело не в грабеже. Прочная дверь в башню была распахнута, но не порублена, – а ведь единственный

ключ Нестеров носил при себе! Отмычка?.. Матвей Петрович прошёл через весь порядок из шести палат. На первый взгляд, никто здесь ничего не трогал. Как лежала ещё неразобранная фискалом куча мехов, так и лежит; как стояли вешала с сороками, так и стоят, и на них даже нет просветов на месте снятых связок пушнины. Вор должен был оставить за собой какой-нибудь беспорядок: разворошить кучу, сдвинуть вешала, что-либо обронить или бросить... Матвей Петрович догадался дойти до конца и заглянуть вниз, в камору без окон и дверей, в которую Ремезов вывел свой подземный ход. В стене каморы зиял пролом. Упрятанный подземный ход был вскрыт заново!

Матвей Петрович мгновенно понял, что случилось. Кто знал о тайном ходе, кроме него и Ремезовых? Только раскольники. Это они откопали ход и проникли в хранилище пушнины, отомкнули дверь хранилища изнутри, а караульного солдата зарезали. И нету никакой кражи, казна не тронута: раскольники не воры, они рвались из темницы на волю, а казённые соболя им ни к чему. Но вскрытый подземный ход для Матвея Петровича был куда более страшной угрозой, чем пропажа соболей. Нестеров сразу сообразит, что губернатор его обдурил. Воровство – грех малый, царь помилует, а коварства Пётр Алексеич не простит. За воровством – корысть, а за коварством – измена! Нельзя, чтобы Нестеров обнаружил подземный ход!

Матвей Петрович вышел из башни в караулку и тщательно затворил дверь. Слава богу, что всё это видел только верный Капитон.

– Беги на двор, – спокойно приказал он Капитону, – пускай Данила сей миг заложит мне кошёвку. А Васька и Гришка пускай берут ружья и летят сюда на охрану. И чтобы тихо, без переполоха!

В это время на другом конце Тобольска открылись ворота подворья купца Чурилова, и на дорогу выехал обоз из десятка саней. В санях по двое и по трое лежали укутанные в тулупы раскольники. Купец Чурилов вышел из ворот вслед за обозом и перекрестил беглецов двоеперстием. Обоз проехал по Кондюринской улице и по мосту через речку Тырковку, прокатился по Собачьему переулку и вывернул на Тюменскую улицу. Ночной сторож на околице отволоч рогатки, пропуская обоз на санный тракт, который спускался на Иртыш, пересекал реку и далее уходил по Тоболу на Тюмень. Возница с передних саней сунул в ладонь сторожа серебряный рубль.

А кошёвка Матвея Петровича неслась по Никольскому взвозу к дому Ремезовых. У знакомого угла Капитон натянул вожжи. Матвей Петрович выбрался из кузова и принялся колотить в калитку. Во дворе загавкали псы.

– Кто там? – с крыльца окликнул Леонтий.

– Лёнька, открывай, беда! – ответил Матвей Петрович.
– Что стряслось? – распахивая дверку, спросил Леонтий.
– Батьку и брата буди, – перешагивая порог калитки, велел Гагарин. – Раскольщики по нашему подземному ходу сбежали.

– В погоню кинемся?
– Да плевал я на них! – в сердцах рявкнул Матвей Петрович. – Пролом в наш лаз надо скорой заделать, пока Нестеров не явился!

Матвей Петрович мыслил ясно и чётко. Ремезовы спрячут все следы тайного хода – и в башне на взвозе, и в столпной церкви. Дверь в башню запрут, как было. Нестеров должен убедиться, что никто в его хранилище не пробирался. А караульного убили не для грабежа. Солдат просто отлучился из караулки по нужде и увидел убегающих раскольников, а они его зарезали, чтобы не поднял тревогу. Матвей Петрович по долгому опыту царедворца и казнокрада знал: когда лжёшь, надо иметь полную картину своей лжи, надо продумать и заучить её во всех мелочах, и тогда никто тебя не опровергнет.

Как раскольники убежали, если считать, что никакого подземного хода нет? Да как обычно бегут. Добыли где-то нож. Дождались, когда оба сторожа у церкви задремлют. Ножом сквозь щель сдвинули засов на двери и вышли. Сторожа этого и не заметили. Может, пьяные были. Сторожей надо в плети, а потом поскорей сослать куда-нибудь в Якутск.

Матвей Петрович подогнал свою кошёвку к столпной церкви. Рядом остановились и сани Ремезовых. Два караульных, что грелись у костра, вскочили, сдёрнули шапки и поклонились губернатору. Эти дурни и не ведали, что подвал у них за спиной уже пустой внутри, как барабан.

– Отменяю ваш караул, – сказал Матвей Петрович. – Ступайте в мой дом, ждите меня в людской. С рассветом приду.

На рассвете он придёт со стражей, и эти парни загремят в каземат.

В подвале церкви Матвей Петрович увидел то, что и ожидал увидеть: разрытую яму и отверстый зев колодца. Ремезовы, все трое, подошли и встали рядом с губернатором. Леонтий тихо присвистнул.

– А я говорил – не надо их с цепей снимать, – сказал Семён Ульянович.

Гагарин слез в яму и поднял замок, на который была заперта крышка колодца. Из замка торчал ключ. Гагарин вынул его и показал Ремезову.

– Откуда у них твой ключ, Ульяныч?

Семён Ульянович яростно вперился взглядом в Семёна. Это Епифания украла ключ, понятно же! Она приносила сюда обеды – здесь и снюхалась с одноглазым дьяволом, который чёрта уболтает! Угодил сынок с невесткой! Даже в темноте Семён Ульянович видел, как помертвело лицо Семёна.

– Мой грех, – сказал Семён Ульянович. – Ключ моя холопка украла. Она расколыщица. Небось тоже сбежала. Впопыхах-то я не видел, дома ли она.

– Не было её дома, – тихо покачал головой Семён.

– Убить вас всех, Ремезовых, мало, – в сердцах сказал Матвей Петрович.

– Лёнька, лезь в дыру, – распорядился Семён Ульянович. – Палаты запри изнутри, затем в нижней каморе подмети. Как раствор будет готов, пролом закладывай кирпичом сызнова. Сенька, а ты иди в мой балаган у новой стены кремля, там есть известь и песок. Замеси раствор и тащи сюда.

– Успеем до рассвета? – спросил Гагарин.

– Успеем и ране.

Семён вышел из подвала на улицу и посмотрел через Прямской взвоз на святую Софию, угловато и пустотело светлеющую сквозь темноту, словно призрак. В душе Семёна всё неподъёмно огрузло. Ну, как всё это пережить? Епифанюшка предала его. Ночью она ложилась с ним в постель, а днём, оказывается, готовила побег. Готовила долго, обстоятельно, упрямо. Всё то, что он ей уже подарил, и всё то, что ещё хотел подарить, не пересилило её тяги к единоверцам. Где она сейчас, его Епифанюшка? Куда она убегает? И Семён вдруг ощутил, что в нём нету ненависти к Епифании, нету гнева. Хоть убей, нету. Ему было нестерпимо жалко её. Она стремилась к гибели, а он не смог её остановить. Это он виноват в её бегстве. Он слишком мало сделал, чтобы Епифанюшка ему поверила. Но он всё исправит, святая София – свидетель. Он найдёт свою расколыщицу и спасёт её. В Сибири она от него нигде не скроется, потому что его отец знает всю Сибирь от края и до края.

А санный обоз беглых раскольников мчался по ледяной дороге Тобола мимо оснеженных ельников, и тёмный небосвод над ним был размашисто расчерчен адамантовыми крестами созвездий: блистала Колесница, блистало Коромысло, блистал Плуг, и от полудня до полуночи простирала пернатые крыла Гусиная Стая. Лёжа в санях, Авдоний смотрел на звёзды, обнимал спящую рядом с ним Епифанию и торжествовал. Он на воле! После стольких лет гонений и невзгод он всё же вырвался на волю! У него всё получилось! Рядом с ним – его братья, обрётённые в муках и скитаниях. Они верят ему безоглядно, и души их твёрже драгоценных камней. С братьями он отыщет заповедное средокрестье земли, озарённое Чигирь-светилом, и воздвигнет на нём Корабль, который вознесёт их всех к высоким берегам праведных.

Глава 11

На дороге прах

После Филиппова поста и Рождества в Тобольске проводили ярмарку. Разговляться народу всегда было радостно, а на торжище – вдвойне, поэтому солдатские караулы на Троицкой площади были удвоены. По Гостиному двору тоже ходил караул – команда капитана Ожаровского. Сам Ожаровский с Ваней Демариным стоял у проезда под таможенной башенкой. Капитан отгладил мундир, надел парадную епанчу, подбитую бобрами, а треуголку украсил пером. Подкручивая ус, он весело разглядывал проходящих мимо девок и молодых баб, а порой и подмигивал кому-нибудь, вгоняя в краску.

– Знаетще, порутчник, я ни соджалую, тццо попал в Сиберию, – озорно сообщил Демарину Ожаровский.

Ваня не ответил. Внутренне поджавшись, он наблюдал, как через толпу на Софийской площади к воротам Гостиного двора идёт Маша Ремезова.

– Дяденька военный, помогите мне, Христа ради, – нахально обратилась Маша к Ожаровскому, в притворной наивности распахнув глаза.

Ожаровский расправил плечи и выкатил грудь.

– Тцчемо поможу служить пани?

– Мне на Троицкую площадь надо, а на взвозе меня парни стерегут. Я боюсь их. Пускай этот фицер меня проводит, – Маша указала на Демарина.

– А длятшэго Иване? – лукаво спросил капитан.

– Я его знаю. Он в нашем доме живёт.

– Розумию, пьехна пани, – догадавшись, Ожаровский блеснул из-под усов улыбкой. – Тохда можу и дозволити, – он покачал треуголкой с пером: – О свитей огин младости! Ступайте, ступайте, порутчник. То приказ.

Ваня принуждённо зашагал рядом с Машей к взвозу, пряча взгляд.

– Ты зачем перед паном Ожаровским меня позоришь? – буркнул он.

– Потому что ты от меня бегаешь! – дерзко заявила Маша.

– Я не бегаяю! – строго ответил Ваня. – Я на службе!

– Суровый, как дьякон с похмелья.

– Так положено в армии.

– А что вчера за амбаром было – тоже положено?

Вчера за амбаром Ваня не удержался и поцеловал Машу.

– Просто батюшка сейчас тоже на ярмарку пошёл, вот ты и боишься туда со мной сунуться, – вредно сказала Маша.

– Не боюсь я твоего батюшки! – рассердился Ваня.

– Боишься, боишься.

– Да вовсе не боюсь!

– Тогда давай с горки съедем.

Для ярмарочного веселья Прямской взвоз закатывали снегом, как горку.

– Не поеду, – отпёрся Ваня. – Что мы, дети малые? Я на службе!

– Если не поедешь, я батюшке на тебя нажалуюсь, Ванька. Навру ему чего-нибудь, и он тебя совсем изведёт, понял?

– У меня санок нет. Верхом на пистолете, что ли, кататься?

– Санки я найду, – покровительственно ответила Маша.

Она уже заметила у Прямского взвоза Нюшку Постникову с санками. На прошлую ярмарку Маша давала Нюшке покрасоваться свой платок с петухами, теперь Нюшкина очередь чего-нибудь дать.

А Семён Ульянович с Ефимьей Митрофановной и вправду были на ярмарочной площади. Они отправились на богослужение и не спеша, с должной важностью продвигались через толпу к Троицкой церкви. Ефимья Митрофановна шла гордая, потому что все встречные вокруг кланялись её мужу. Петька плёлся сзади за отцом и матерью, страдая, что ему придётся отстоять долгую нудную службу, лишь тогда родители отпустят его на волю.

Впрочем, ярмарка жила своей жизнью. Неровные ряды из прилавков, палаток, ларьков и лёгких балаганов перегородили всю площадь. Пёстрая толпа растекалась множеством рек, шевелилась, перемешивалась и гомонила. Торговцы нахваливали товар, покупатели рядились, галдели снующие в народе мальчишки, вопили продавцы пирожков и сбитня, канючили нищие, взвизгивали собаки, которым отдавали лапу, где-то от души хохотали, где-то яростно ругались, где-то кричали: «Держи вора!». Ванька Чумеров, махая руками, хвастался приятелям, какого он поймал сома. Бабы сбились в табун в кожаном порядке и слушали тётку Лукерью, которая рассказывала, как избивала мужа ухватом. Солдаты-рекруты, вечно голодные на казённом харче, тёрлись в обжорном ряду. Казак-годовальщик примерял полушубок. Яшка Битюгов, потерявший ногу в битве под Переволочной, сидел на низенькой скамеечке и стрекотал на балалайке. Поп святил грустную пятнистую корову. Парень выбирал бусы для девушки. Какой-то пентюх из деревни впёрся в толпу верхом на лошади, и на него орали, чтобы не потоптал людей. Сванте Инборг,

безответно тоскующий по далёким шведским внукам, опять пришёл на ярмарку с куклами-рукавицами и забавлял детвору представлением. Поверх просторного гомона плыл ясный колокольный звон.

Возле Троицкой церкви Семён Ульянович увидел Емельяна, бывшего сотника из служилых полковника Чередова.

– Здорово, Емеля, – подошёл Семён Ульянович. – Давно с розыска?

По приказу губернатора Емельян с командой гонял вверх по Тоболу и Туре, чтобы поймать беглых раскольников.

– Третьего дня.

– Докуда добрались?

– Почитай, до Ирюма. Ни шиша не нашли.

– А на Царёво Городище не поедете?

– Князь сказал, что хватит мотаться. Беглецы-то архиерейские.

Семён Ульянович покивал и повёл Ефимью Митрофановну в церковь.

Штык-юнкер Юхан Густав Ренат посторонился, пропуская Ремезовых, и поклонился. Возле церкви он ожидал Дитмера: Дитмер должен забрать свою долю с доходов корчмы. Он сам назначил Ренату место и время. Пёс Юсси вертелся вокруг Рената, неуверенно лаял на толпу, мотал хвостом, заигрывая, но не убегал к другим собакам. Как и хозяин, он отвык от общества.

Петька Ремезов присел и дружески потряс пса за грудь.

– Хор-рошая зверюга! – с восхищением сказал он.

Семён Ульянович грозно зыркнул на сына с крыльца церкви. Петька, вздыхая, поднялся и потащился за родителями.

Ренат угрюмо смотрел на ярмарку. Душу его давно угнетало уныние. Да, сейчас у него появились деньги. Он уже отлично выучил язык и понимает, что говорят русские. Он освоился в здешних порядках и знает, как устроена жизнь в Тобольске. Но он один. Почти всё время он живёт в лесу, в корчме, и рядом с ним только верный Юсси. Секретарь Дитмер, такой воспитанный юноша, не повышая голоса, настойчиво увеличивает ему плату, напоминая про убийство служилого Матюхина, а заработок Ренату приходится добывать в корчме. И никто ему не поможет – ни ольдерман фон Врех, ни губернатор Гагарин. И Бригитту он видит мучительно мало. Как так получилось?.. Да это и неважно. Здесь всё чужое, даже то, что уже знакомо. Здесь он лишён всего: свободы, друзей, любимого дела, любимой женщины, родины. У него есть только лесная изба, в которой на земляном полу не просыхают лужи, есть тайга, немая, как смерть, и есть мокрые, скользкие, липкие деньги отребья.

– Здравствуй, Хансли, – сказала Бригитта.

Она подошла от кабака и держалась отстранённо: тут повсюду приятели мужа, они увидят и расскажут Цимсу. Она наклонилась и потрепала пса:

– Здравствуй, милый Юсси.

Ренат протянул приготовленный узелок с монетами. Бригитта молча сунула узелок за отворот тулупчика. Это на пропой Цимсу, чтобы не бил её.

– Я знаю, где уединиться, – сказала она. – Когда ты пойдёшь со мной?

Она смотрела ясно и спокойно, но в её спокойствии Ренат чувствовал непреклонность страсти, которая давно осознана и принята безоговорочно: я хочу тебя, ты – мой мужчина, я всё превозмогу и заполучу тебя любой ценой.

– Только отдам долг Дитмеру, – ответил Ренат.

Бригитта просто стояла и ждала, спрятав руки за спиной.

Ренат не заметил, что неугомонный Юсси куда-то подевался, пока случайный прохожий не бросил ему недовольно:

– Эй, швед, следи за псом – в церковь убежал.

– Пойду поймаю его, – сказал Ренат Бригитте.

Богослужение уже началось. В церкви было сумрачно, многолюдно и душно; пахло воском и мокрыми овчинами. Перед образами горели свечи. Священник в причудливом облачении что-то пел. Стоящие люди – русские в храме всегда молились стоя – крестились и кланялись. Здесь были полковник Бухгольц и майор Шторбен, полковник Новицкий и бывшие служилые – Емельян и Васька Чередов. По сравнению с понятными и удобными молитвенными собраниями в Швеции русские обряды казались Ренату варварским наследием тех деспотов, с которыми и боролись библейские пророки: слишком всё было пышно, головоломно-сложно и требовательно.

Пригибаясь, Ренат искал Юсси, который шнырял где-то под ногами.

– Юсси, ко мне! – шёпотом позвал он.

А Васька Чередов был крепко пьян. После того как Бухгольц и Гагарин распустили служилых, он жил из запоя в запой. Он считал, что его оскорбили и предали. Коварные шведы захватили Драгунское подворье и командуют дураками-рекрутами; чужак Бухгольц – лазутчик шведского короля, у него и фамилия-то иностранная; казнокрада Гагарина шведы купили. Только один он, полковник Васька Чередов, сохранил в себе непримиримость к врагам.

В колено полковника ткнулся пёс. Чередов знал этого кобеля, знал и шведа, который с ним таскался, – швед был корчёмщик, привозил пойло в кабак, и ему доставались последние гроши пропойц. А теперь, значит, швед

изгаляется – запустил свою псину в божий храм! Чередов не задумался ни на миг. Освобождая себе место в толпе, он крутанулся всем телом, на ходу вытягивая саблю из ножен, взмахнул клинком и с лёту рассёк Юсси пополам.

Какая-то девка оглянулась и дико завизжала. Поп сбился с пения. Люди оборачивались и охали от изумления. Ренат замер, не веря своим глазам: его Юсси, его единственный друг, его пёс... Ренат молча прыгнул на Чередова и сшиб его с ног – уронил спиной прямо в кровь Юсси; он сжал кулак и врезал прямо в пьяную усатую рожу Чередова, а потом ещё раз, ещё и ещё. Толпа шарахнулась в стороны, закричала вразнобой. Огни свечей заметались.

Бригитта, ожидающая Рената у крыльца, услышала в церкви какой-то шум и вопли, а потом дверь храма вдруг с грохотом распахнулась, и наружу спиной вперёд вылетел Ренат – его вышвырнул Новицкий. Руки у Новицкого тряслись от негодования, а серьга блистала. Ренат съехал по ступенькам, но тотчас вскочил на ноги. А из двери храма разъярённый Бухгольц уже волок Ваську Чередова. Васька хрипел, топырил руки, а морда у него была залита кровью. Ударом в затылок Бухгольц спустил Чередова с крыльца. Васька кубарем скатился в снег, но не успел подняться – Ренат метнулся к нему и пнул в грудь. Чередова откинуло. Из храма повалил разгневанный народ.

– Ах ты, рыло скоблёное! – заорал Емельян, налетая на Рената, и Ренат без колебаний отшиб его кулаком в челюсть, а затем снова пнул Чередова.

– Братцы, бей шведов! – плюясь кровью, захрипел Васька.

Новицкий с крыльца коршуном упал на плечи Рената и облапил его, пытаясь удержать обезумевшего шведа, но тот уже не хотел останавливаться. Рената прорвало: ярость от бессовестных лишений, которые искалечили его судьбу, требовала бунта, схватки. Ренат в бешенстве перебросил Новицкого через себя и, оглушая, ударил коленом в ухо. Пускай все русские ринутся на него, они все – враги, пускай они его убьют, больше нет сил терпеть!

А русские уже бежали на призыв Чередова; они стряхивали рукавицы, хватали палки и дрекольё. Ренат сцепился сразу с двумя мужиками, и все трое упали в снег, а какой-то парень, не разбирая, принялся колотить по ним обломком доски. Бригитта прыгнула к этому парню, вцепилась в доску, и подскочивший рябой мужичонка в драном тулупе саданул её прямо в лицо.

– С-сука шведская! – выдохнул он.

Драка закрутилась быстро, как вихрь, взревела матом и криками боли,

растопорщилась истошным бабьим визгом. Из кабаков ломились пьянчуги, из ярмарочной толпы неслись охочие до потехи бездельники и падкие на исступление буяны. Но те, кто попадал в эту свирепую кутерьму, уже не понимали, из-за чего всё началось, кто виноват, кого надо сокрушить; спьяну били друг друга, отвечая ударом на удар, сворачивали скулы, топтали упавших. Не отличая шведских мундиров от солдатских камзолов, мужики расшибали морды всем подряд. Рекрута с барабаном хватили оглоблей, и он сунулся лицом в снег, жёлтый от собачьих отметин, а барабан покатился, как колесо. Никто не знал, откуда, из какой преисподней вдруг выскочило это мгновенное сатанинское озверение народа, когда сапожники вооружались шильями, мельники стискивали песты, торговцы размахивали гирями на верёвках или обматывали кулаки ремнями. Для всех словно из пустоты вдруг возник заклятый лютый враг, которого надо не посрамить, а уничтожить: вырвать ему потроха, расквасить его всмятку, истолочь в кровавую кашу.

Бухгольц стоял на крыльце, сердито глядя на разгорающуюся драку, а потом вытащил пистолет и пальнул в воздух.

– Прекратить баталию! – рявкнул он, но его никто не слышал.

Выстрел только привлёк внимание к мордобою.

– Шведы наших бьют! – ветром разметалось во все края площади.

Семён Ульянович тоже выбежал на крыльцо храма и сразу пятернёй толкнул в грудь Петьку, загоняя обратно в церковь. Но Петька с горящими глазами поднырнул под локоть Семёна Ульяновича и решительно сиганул с крыльца через перила. Он сразу пихнул обеими руками и повалил какого-то мясника, который уже замахнулся на кого-то длинным ножом-свиноколом.

Солдат Михаэль Цимс пробивался сквозь драку, разыскивая жену. Он был пьян и в отупении ничего не боялся, он отшвыривал людей с дороги и бил наповал. Он увидел, что Бригитта прикрывает собою Рената, который дополз до крыльца храма и встаёт, цепляясь за перила. Изо рта у него свисали красные нити. Какой-то мужик заметил шведский мундир и сунулся к Ренату; Бригитта полоснула его по глазам ногтями. Цимс никогда не подозревал за своей женой способности к такой безоглядной одержимости, и даже во хмелю он понял, что его жена готова на всё ради этого офицера.

– Бригитта, шлюха! – зарычал он и ударил Бригитту в грудь.

Бригитта упала, а Ренат оттолкнулся от перил и рухнул на Цимса, лбом разбив ему переносицу. Ободранными руками он сжал щетинистое горло Цимса, насколько оставалось сил. Ему хотелось уничтожить этого негодяя, пускай даже ценой своей жизни. Цимс зашатался, отдирая Рената, отступил

и умело пнул врага в живот коленом, отбрасывая от себя. Ренат ворочался в грязном снегу и мычал от ненависти. Кашляя, Цимс смотрел на него как на раздавленную крысу. А ведь этот жалкий офицерик и вправду любовник его жены! Как же Бригитта могла поменять крепкий корень своего мужа на сучок этого недоноска? Цимс задрал ногу, чтобы каблуком размозжить голову лежащего Рената, но в этот миг на него с воплем налетел какой-то русский мужичонка и воткнул ему меж рёбер огромный плотницкий гвоздь. Цимс сел в снег рядом с Ренатом, зажимая рану в боку, – он не мог вздохнуть.

На церковном крыльце выстрелил в воздух майор Шторбен.

– Горнист! – требовательно кричал Бухгольц. – Горнист, ко мне!

Возле крыльца очутился Петька Ремезов. Исцарапанное лицо его сияло. Петька навьючил на себя барабан, потерянный рекрутом, и поднял палочки.

– Тревогу бить, дяденька? – звонко спросил он.

– Общий сбор!

Петька грянул дробью, влюблённо глядя на Бухгольца.

– На дороге прах, за оврагом гром! – шептал он сам себе речёвку. – На дороге прах, за оврагом гром!

Эту дробь на другом краю Троицкой площади услышал Ваня Демарин.

Они с Машей скатились на санках по Пряmsкому взвозу, и он прижимал Машу к груди, а она самозабвенно визжала. Ваню очень взволновало это – чувствовать Машу в кольце объятий, Машу, такую живую и настоящую.

Они отдали санки какой-то Машиной подружке и пошли к качелям, вкопанным на околице ярмарки. Пока они ждали своей очереди, Маша повертела головой и увидела в толпе Володьку Легостаева. Володька гулял с Фимкой Волковой, которая жила на Острожной улице, но сейчас Володька смотрел не на Фимку, а на неё, на Машу. Видно было, что он очень удивлён. Понятно, чем. Володька же никогда не баловал Машу, а потому никогда не видел её такой – радостной, победительной, самой красивой на свете. Ну, пускай посмотрит, дурак! Но Володька – хороший, лёгкий парень – просто улыбнулся ей без зависти и ревности, и Маше от этого стало ещё веселее.

Они качались на качелях, взлетая всё выше и выше, и Маша снова визжала. Ваня раскачивал доску всё сильнее и ждал, когда Маша запросит пощады, но Маша, хоть и жмурилась от страха, пощады не просила. Пусть Ванька знает, что она – кремешок, она не сдастся, и все шаги навстречу должен делать он. Ветер свистел в ушах у Вани, и протяжный Троицкий

мыс со строениями Воеводского двора казался огромной лодкой с огромным грузом, которая то ныряет носом в огромную волну, то выныривает.

Из толпы стали кричать, что хватит им качаться, другие тоже хотят, и Ваня замедлил качели. Маша ступила на землю, и её повело, как пьяную.

– Ой, голову обнесло... – пробормотала она.

– Охолони, сейчас пройдёт, – сказал Ваня, приобнимая её.

– Ты что-то сказал, Ванька? – переспросила она, хотя всё услышала.

Она ждала, чтобы он сказал главное. Ведь всё же понятно.

– Н-ничего не сказал... – растерялся Ваня, догадавшись.

– Тогда скажи, – она серьёзно глядела ему в глаза.

– На базаре в толпе? – нахмурился Ваня.

– Жить-то среди людей.

Ваня молчал, собираясь с духом. И в этот миг издали донёсся треск барабана. Тара-тара-бам, тара-тара-бам! Тара-тара-бам, тара-тара-бам! Сигнал общего сбора. И ещё где-то там же, вроде, кричали люди.

– Что-то стряслось! – Ваня смотрел в сторону Троицкой колокольни.

– Ванька! – сердито одёрнула его Маша.

– Маша, это воинский сбор бьют, – беспокоился Ваня.

И толпа вокруг тоже беспокоилась. На лицах промелькнула тревога, смех затихал, все оглядывались, многие куда-то пошли, и толпа у качелей поредела – и тут вдруг стали видны бегущие люди: бабы в распутившихся платках, детишки, мужики без шапок, и многие с окровавленными рожками.

– Шведы бунт подняли! Спаси, господи! Убивают! – кричали бегущие.

За этими криками слышался невнятный вой и вопли, а барабан всё бил.

– Маша, мне туда надо, – быстро сказал Ваня. – Это призыв.

– Ты бросишь меня? – изумилась Маша, широко раскрыв глаза.

– Я солдат.

– Ты бросишь меня? – повторила Маша, не веря в намерение Вани.

Ваня вдруг метнулся к толпе и вытащил Володьку Легостаева.

– Отведи её домой! – властно распорядился Ваня, указывая пальцем на Машу. – Чтобы никто её не тронул, понял? Башкой отвечаешь!

Ваня тряхнул опешившего Володьку и оглянулся на Машу.

– Простите, Марья Семёновна, – сказал он, отвернулся и побежал прочь.

Ярмарка превратилась в побоище. Люди заполошно метались, не зная, куда деваться; купцы торопливо распахивали свои товары по мешкам, надеясь спасти хоть что-нибудь; бабы тащили ревуших детишек; валялись

раздавленные калачи и затоптанные тряпки, снег был перемешан с зерном; на прилавке, стуча копытцами, вертелась и блеяла коза, потерявшая хозяина. В проходах между торговыми рядами громоздились поваленные палатки и порушенные балаганы. И повсюду тоболяки дрались со шведами, дрались с таким остервенением, словно злоба копилась годами, хотя ещё утром и в помине не было никакой досады на пленных – живут, и бог с ними, а сейчас в ход шли топоры, оглобли, дубинки, бабьи вальки и широкие хлебные ножи.

Ваня бежал сквозь кровавое столпотворение, размахивая незаряженным пистолетом, и уворачивался от опасностей. Два шведа отбивались палками, прижавшись друг к другу спинами. В луже из сбитня, что вытек из бадейки, ворочалась воющая старуха. Заскочив на сани, шведский офицер саблей отмахивался от налезавших на него вил. Ваня перепрыгнул через мертвеца, с которого какой-то парень стягивал сапоги. Швед в порванном парике душил лежащего противника, который отчаянно сучил ногами, а другой противник с размаху всадил шведу в спину серп. Заметив камзол, на Ваню метнулся казак с солдатским штыком в руке, и Ваня поднырнул под телегу. За телегой, стоя на коленях, скорчилась баба, укрывая собой младенца. Тут же швед – явно бывалый вояка – добивал упавшего русского мужика: держал его за волосы и колотил лбом в чурбак; Ваня пнул шведа в плечо. Даже в драке воры не забывали о своём промысле – Ваня увидел, как косоглазая девка засовывает за пазуху каравай. Шведский артельный Сванте Инборг яростно защищался в одиночку и крушил наседавших русских ударами кулаков, а на его руках как рукавицы висели растерзанные тряпичные куклы. За кем-то гнались, кого-то пинали, кто-то полз по снегу, убитые лежали на проломленных прилавках.

Внезапно вокруг Вани что-то изменилось: беспорядочные, спутанные схватки русских и шведов стремительно распадались, и люди обращались в бегство – их разгонял приближающийся треск барабана. По разгромленному торговому ряду шагали солдаты-рекруты, десятка два, – все взволнованные первым воинским делом. Наперевес они держали ружья, из стволов которых торчали воткнутые штыки-багинеты. Борона из штыков словно разрыхляла драку и вытесняла смутьянов прочь: кто из дерущихся не успел убежать, тот поспешно укладывался лицом вниз, и солдаты переступали через лежащих. Барабанил Петька Ремезов – не столько для солдат, сколько для устрашения народа. Среди солдат с саблей в руке шёл поручик Кузьмичёв и командовал:

– Всем лечь! Всем лечь, шельмы! Всем лечь!

– Кузьмичёв, это я, Демарин! – закричал Ваня, залезая на кучу мешков.
– Полковник всех у церкви собирает! – Кузьмичёв указал клинком назад.

Бухгольц и Шторбен по-прежнему стояли на крыльце Троицкой церкви. Из двери храма высовывались перепуганные люди – они всё ещё боялись выйти. Впереди в толпе толкался взъерошенный Семён Ульянович: он искал взглядом проклятущего стервеца Петьку. Вокруг храма суетились солдаты с ружьями, подоспевшие на тревогу из казарменных изб, – они разбирались по ротам и плутонгам. На снегу в пятнах крови вытянулись убитые и раненые; повсюду валялись шапки, рукавицы и оторванные воротники; возле стены церкви, связанные кушаками, угрюмо сидели изловленные буяны в рваной одежде. Среди буянов, раненых и убитых ходил ольдерман капитан фон Врех, а за ним – полковник Арвид Кульбаш и батальонный пастор Лариус; они поспешили на ярмарку, едва услышали о драке тоболяков со шведами, и теперь искали своих. Фон Врех записывал имена шведов на листок.

Бухгольц с крыльца озирает площадь – разворошённую и полупустую, как ретраншемент, перекопанный артиллерийской бомбардировкой. Он видел, как вдали среди развалин палаток и балаганов площадь утюжат солдатские команды,двигающиеся по разрушенным торговым рядам.

– Сволочь Полтавы захотела, – презрительно заметил Шторбен.

– Грешно радоваться, но сия перешкода нам на пользу, – сухо ответил Бухгольц. – Буду просить господина губернатора всех виновных отдать нам в рекруты. А тут одних шведов на целый шквадрон поверстаем.

Ваня Демарин, запыхавшись, подбежал к крыльцу.

– Господин полковник, явился на сбор! – отрапортовал он.

Бухгольц глянул на него с крыльца сверху вниз и нахмурился.

– А где по разводу ваше место, господин поручик?

– На Гостином дворе в карауле капитана Ожаровского.

– На Гостином дворе, а не здесь! – внушительно произнёс Бухгольц. – Вы мальчишка, сударь мой! Штрафую вас гауптвахтой на неделю!

Глава 12

Незванный гость

Под гауптвахту на Воинском присутствии была отведена холодная изба, в которой при Ваське Чередове служилые держали должников. Сейчас на бывшем Драгунском подворье, кроме гауптвахты, располагались конюшни, провиантские склады, гарнизонная дирекция, арсенал и караулка. У Вани срезали орлёные пуговицы с камзола, как положено поступать с арестантами, и посадили его под замок. Это была самая скучная неделя в жизни Вани. Его только дважды выводили на работы – наколоть дров и сгрести снег с плаца. Всякие встречи арестантам были запрещены, но иногда к окошку гауптвахты украдкой подходили поручик Кузьмичёв или подпоручик Келлер. И каждый день пошептаться пробирался Петька Ремезов. Он был охвачен жгучим желанием поскорей стать солдатом и советовался с Ваней, как ему быть. Пламенея румянцем, он вспоминал события на ярмарке, и они казались ему великим и героическим сражением, подобным Полтавской битве.

– Здорово мы повоевали! – восхищался Петька. – Все орут, а я в барабан колочу! Жалко, стрелять тогда не дали!

– А в кого бы ты стрелял? – удивился Ваня.

– В шведов, в кого ещё-то?

Но Ваню интересовала Маша. Она не только ни разу не пришла, но и привета не передавала. Ваня спросил у Петьки, как сестра спаслась из драки.

– А что с ней могло стрястись? – не понял Петька. – Там девок-то почти не били. Её Володька Легостаев увёл, теперь Машка снова с ним дружится.

Ване стало горько и досадно.

Отбыв штрафные дни, Ваня пришёл пуговицы и отправился домой.

Ремезовы, казалось, и не заметили его возвращения, вернее, не заметили его отсутствия. У них была своя забота – Семён. Он затосковал по Елифании, которая сбежала с раскольниками, и ходил сам не свой: молчал, не слышал вопросов, забывал надеть шапку. Он даже не молился, как было после смерти Алёны, первой жены, и это пугало Ефимью Митрофановну. Она потеряла сон и два-три раза за ночь посылала Лёшку или Петьку посмотреть на Семёна в дверь подклета – как он? Митрофановна никому не говорила, но боялась, что Семён, оставленный в одиночестве, возьмёт да

повесится. Митрофановна съездила в Никольскую церковь к отцу Лахтиону спросить, что делать, и отец Лахтион отметил ей в домашней Псалтири четыре псалма, которые надо читать, чтобы отженить от человека беса уныния и смущения духа.

Семён Ульяныч тоже искал, чем исцелить сына, и не придумал ничего иного, кроме дальней дороги. Дорога всегда укрепляет.

– Сенька, поедешь в Каменский завод пушки принимать? – спросил он.

На заводе по указу Матвея Петровича отлили четырнадцать орудий для войска Бухгольца, собирающегося в поход на Яркенд. Надо было обмерить пушки, чтобы соответствовали чертежу, обстучать, чтобы проверить на тайные раковины в чугуне, и сделать по десятку выстрелов. Семён Ульяныч полагал, что пальба из пушек – тоже доброе лекарство от душевного недуга.

– Поеду, – без спора согласился Семён.

– По пути заверни в Далматов монастырь, вклад мой завези. Я давным-давно обещал игумену Исааку список своей «Истории Сибирской».

– Завезу.

– Только «Историю» ещё переписать надо, – добавил Семён Ульяныч.

Пусть Семён займёт ум душеспасительной работой. Подвиг Ермака – он всегда всё по местам расставляет, и Семён, пока переписывает, поймёт, что бывают невзгоды и похуже беглой холопки.

– Перепишу, – безучастно кивнул Семён.

– И помолись на могиле старца Далмата. Отпустит тебя присуха.

У Тобольска ближе Далмата святых не было, если не считать могилы Ермака на Баишевском погосте. Но Ермака Семён Ульяныч уже приставил к делу, поручив сыну копировать свою повесть о Сибирском взятии.

– Не отпустит, – спокойно и твёрдо возразил Семён.

– Слушай, Сенька, да дьявол с ней, с Епифашкой твоей, – не выдержал Семён Ульяныч. – Сбежала она – и плюнь на неё. Всё одно она тебя не любила. Заскорузла она. Злая стала. Не хотела жизни с тобой.

– Я её найду, батюшка, и сам спрошу, – тихо сказал Семён.

– Провалитесь вы оба пропадом! – в сердцах пожелал Семён Ульяныч.

А Ваня, озабоченный мыслями о Маше, даже не увидел, чем живут Ремезовы. Сбылись худшие подозрения: Маша избегала его. Почему так случилось, Ваня не понимал. Неужели Володька Легостаев внезапно занял сердце Маши? Но почему сейчас? Они ведь давным-давно знакомы были... Маша держалась с Ваней как чужая. Здравовалась, улыбалась, но прежняя тайная теплота, прежняя осторожная тяга к нему – всё исчезло. И Ваня не

мог поймать Машу, чтобы узнать наедине. Маша ловко поворачивала так, что рядом оказывались матушка, Леонтий или Варвара, и мягко уклонялась от разговора, а в конце дня уходила к подружкам на вечерки. Раньше никаких вечеров она не жаловала, и с Ваней ей было интереснее...

Ваня ловил её четыре дня, и, наконец, подкараулил на дворе у лестницы крыльца. Маша шла домой из амбара, несла под мышкой туесок с мукой, прикрытый полотенцем, а Ваня выскочил из укрытия и схватил её за локоть.

– Маша, погоди! – требовательно заговорил он. – Отчего сторонись меня? Дуешься? Я что-то не то натворил?

– Мне, Ваня, недосуг, матушка ждёт, – сухо ответила Маша.

– Ну, тогда пойдём вечером погуляем.

– Заведи себе собачку Жучку, с ней и гуляй, – с тихой, зрелой яростью сказала Маша. – Её привязал, где хошь, и ступай по делам, а она подождёт. Ежели кто прийдёт, так не жалко, у соседей другого щенка возьмёшь.

Ваня понял, чем он оскорбил Машу: тем, что в опасности ярмарочной драки отмахнулся от неё, перевесил её на Володьку Легостаева, а сам полетел совершать подвиги. Маша смотрела на него прямо, с ясным ожесточением, а Ваня шарил взглядом по её лицу и не мог наглядеться. Эти глаза, которые чуть косят, словно видят что-то ещё, эти веснушки, этот вздёрнутый нос и злой румянец, эти тонкие светлые пряди, что выбились из-под платка... Надо было попросить прощения, но он не попросил. В чём он виноват? Он же был тогда на службе, он не за пряниками помчался, и она не в болоте тонула... Просить прощения, к тому же у девчонки, – недостойно офицера.

Маша догадалась, о чём он думает, и вырвала свой локоть из его руки.

– Не хочу я с тобой дружить, Ваня, – серьёзно сообщила она. – Чего я в тебе нашла? Треуголка да пистолет. Хороших парней и без тебя три улицы. Отстань от меня. Живёшь в дому – так и живи, а меня не трогай!

Она пошагала вверх по лестнице.

Ваня чувствовал, что Маша права, но ему так не хотелось признавать её правоту... Вздуродженный, Ваня усиленно размышлял над словами Маши, переживал, но боялся окунуться лицом в стыд, словно это разрушило бы в нём что-то очень важное. Упрямясь, он рисовал себе красивую и горькую картину: он – человек чести, как царь Пётр повелел, он ответил на зов воинского долга, а Машка – просто маленькая, не доросла до понимания, обижается понапрасну. Надо лишь объяснить ей, что в его жизни главное.

Вечером мрачный Ваня поднялся в мастерскую, где Семён

переписывал книгу отца, и принёс с собой курительную трубку и кисет табака. Трубку и кисет он выпросил у сержанта Назимова.

– Давай подымим, дядя Семён, – предложил Ваня, усевшись на лавку.

– Вот уж не тянуло никогда. На что мне?

– А я попробую, – Ваня развязал кисет.

Суровым солдатам табачный дым – вместо дыма родного очага.

– С Машей нелады? – спросил Семён. Эти детские ссоры казались ему просто забавой от избытка бестревожного благополучия. – Твоё горе не беда, Ваня. У молодых всегда оно так: то милуются, то в драку, потом снова целоваться. Главное – насовсем друг друга не потерять.

– Не понимает она меня, дядя Семён, – признался Ваня.

– От строптивости девчоночьей топорщится, как утиный подхвостыш. Помиритесь, поладите, и всё она про тебя поймёт. Если любит – примет.

В это время в мастерскую заглянула и сама Маша. Увидев Ваню с Семёном, она рассердилась. Конечно, Ванька сетует на неё. А она не хотела выносить свою обиду на чужое суждение.

– Матушка вечерять зовёт, – сказала она.

– Зовёт – иду, – Семён сразу встал. – А ты хоть выслушай его, Маш.

Маша фыркнула, но Семён уже открывал дверь.

– Ну, говори, Ваня, – неохотно пригласила Маша.

– Я не умею за девицами ухаживать, Марья Семёновна, – Ваня хмуро посмотрел на неё исподлобья. – На службу меня ещё отроком взяли, потом в чужие страны на учёбу отправили. Я девиц-то и не видел, не знаю их.

Честность в этом не стоила Ване усилий: не девицы доблесть офицера.

– Не знаешь, так не лезь, – безжалостно ответила Маша.

– Ты мне очень к сердцу припала, – Ваня старался говорить твёрдо. – Но я солдат. Первым делом отечеству служу. И другим я не буду.

Ваня надеялся, что Машу покорит его воинская самоотверженность.

– Так женись на пушке! – отсекала Маша. – Она чугунная, ей не больно!

Ваню по душе хлестнуло гневом, как плетью.

– Ну, как знаешь! – ожесточился он. – На колени я не встану!

Маша повернулась и вышла из мастерской, хлопнув дверью.

На ужине Ваня теперь сидел на самом дальнем конце общего стола, где помещают детей, холопов и маловажных гостей. Горели лучины, окна уже были закрыты ставнями, на ночь топилась печь – в её объёмистой утробе потрескивали дрова. Ремезовы дробно стукали деревянными ложками, по очереди разбирая гороховую кашу с маслом. Смурной Ваня не замечал, что Петька призывно подмигивает ему и ёрзает. Петьку распирала

новость – настолько горячая, что он не мог сидеть спокойно, и всё же очень опасная, потому он и дожидался, когда батюшка разделается с кашей и подobreет.

Семён Ульяныч облизал ложку, положил на стол и перекрестил живот.

– Благодарствую, мать, – выдохнул он. – Марья, налей киселя.

– Батюшка, – тотчас сорвался Петька, едва не подпрыгивая. – А я сёдня в рекруты записался.

– В какие рекруты? – от сытости не понял Семён Ульяныч.

– В военные, в какие ещё-то? К Иван-Митричу Бухгольцу, полковнику.

– Никаких рекрутов тебе, – властно запретил Семён Ульяныч.

До него не дошло, что дело уже сделано.

– Летом с войском я в поход на Яркенд пойду. Мне скоро ранец дадут и муницию. Жить дома разрешили, только на ученья являться и в караулы.

– Никакого похода с солдатами, ишь чего вздумал! – возмутилась и Ефимья Митрофановна. – И муниции чёртовой не надо.

– Пойду, – упрямо повторил Петька. – Решено уже.

Семён Ульяныч засопел, медленно осознавая новость. Семён глянул на Леонтия, и тот покачал головой: я не знал. Маша изумлённо смотрела на Петьку как на самоубийцу. За столом повисла тишина.

– Нехорошо без отцовского благословения, – твёрдо произнёс Леонтий.

– Ах ты шнырь вертлявый! – взорвался Семён Ульяныч. – Да я тебя в бане запру, дурака! Будешь там торчать, пока войско не уйдёт!

– Ванька, скажи им! – умоляюще призвал Петька.

Ваня совсем не хотел участвовать в этой семейной склоке. Но ведь он заявил Маше, что служба превыше всего, значит, надо поддержать Петьку.

– Державе служить – честь! – угрюмо выдал Ваня.

– Помалкивай, аршин казённый! – сразу громыхнул Семён Ульяныч.

– Все Ремезовы служилые! – отчаянно крикнул Петька. – И прадед, и дед, и ты, батюшка, и вы, Сенька с Лёнькой! Один я как баба дома сижу!

И это было правдой, от которой Семён Ульяныч задохнулся.

Дед его, Мосей Меньшой – в которого, говорят, и сам Семён Ульяныч уродился, – был знатным забиякой, ходил артельным на кочах и в Мангазею, и в Енисейск. Никаких тунгусов с копьями он не боялся, никаких джунгар, никаких лесных лиходеев с топорами и самопалами. Однажды, было дело, в казацком споре он от кулаков до сабель докатился и соперника, своего же казака, напололам распластал; за этот грех его должны были повесить, но никто не мог сравниться с Мосеем в отваге и бешенстве, и воевода князь Тёмкин-Ростовский своей волей его помиловал,

да и всё: такие незаменимы.

Отец Семёна Ульяныча, Ульян Мосеич, вступил в прибыльщики при воеводе Годунове, а на такое дело решались только отчаянные головы, ибо в дремучих урманах им грозили стрелы инородцев и ножи «гулящих людей». Полвека назад в Сибири началась большая война: царевич Девлет-Гирей, сын султана Чувека и внук хана Кучума, поднял против русских всех, кого смог: вогулов Ермака Мамрукова, остяков Ивана Лечманова, башкирцев Сары Мергена, Жёлтого Мертвеца, и даже неукротимых калмыков, потому как сестра Девлета была женой великого тайши Урлюка. Ульян Мосеич, сотник рейтарского полка, пять лет провёл в походах по дёбрям Казыма и Пелыма, по степям Барабы и Тургая, на Яике и среди таёжных кряжей Уралтау.

Сам Семён Ульяныч, тоже служилый человек, пока не стал изографом, водил свою сотню на свирепых джунгарских зайсангов вверх по Ишиму и вверх по Тоболу, в самую глушь непокорных аймаков. И Леонтий с Семёном воевали против башкирцев батыра Алдара – сражались возле озера Кисегач и под стенами Далматовской обители. Да, конечно, все Ремезовы служили. Но в памяти Семёна Ульяныча сквозь дым неслись всадники с копьями, били молниями ружья, взвивались кони, утыканные стрелами, кубарем летели в траву окровавленные люди и, царапая лица, были тобольские бабы у ворот острога, у скорбных обозов. Семён Ульяныч больше не хотел этого знать.

– Не быть тому, – хрипло сказал он Петьке.

– Сыновнее достоинство – отцовское дело продолжать, а не саблей размахивать, – рассудительно пояснил Семён.

Петька затряс головой, готовый расплакаться. Он не желал сидеть в мастерской, переписывая книги, копируя чертежи и малюя конклюдии.

– А царь нас в полку наставлял, что сыновья должны обгонять отцов, – негромко и непокорно возразил Ваня.

– Это всё ты, Ванька, моего дурачка подзуживаешь! – вскинулся Семён Ульяныч: он нашёл, кто виноват. – Ружья, война, победа! Не суйся к нам!

– Не пушу на войну, Петюнька, хоть прокляни меня! – колыхаясь всем грузным телом, воскликнула Ефимья Митрофановна. – Убьют тебя степняки!

– На то солдатом и учим, чтоб не убивали, – не сдавался Ваня.

– Заткнись, барабан! – заорал Семён Ульяныч. – Настучал уже в уши!

– Ванька меня не сманивал! – крикнул и Петька.

– Я Петру говорил только то, во что сам верую! – твёрдо сказал Ваня, глядя Семёну Ульянычу в глаза. – Воевать за царя – дело святое! Держава

нашей жертвой прочна! И ты, Семён Ульяныч, понимать такое должен!

– Я тебя щас палкой по хребту пойму! – Семён Ульянович вскочил из-за стола, готовый броситься на Ваню; Леонтий тоже быстро поднялся и схватил отца за плечи, останавливая. – Проваливай из моего дома! – дёргаясь в руках Леонтия, гремел Семён Ульяныч. – Гоню тебя отсюда, змеёныш!

Маленькая Танюшка заревела, испугавшись, и Варвара прижала её к себе, поглаживая, но с другой стороны всхлипнул Федюнька: он никогда не видел деда таким страшным. Лёнька и Лёшка почти сползли под столешницу.

Ваня молча встал. Маша смотрела на него с отчаяньем. Семён Ульяныч испепелял его ненавидящим взглядом, а Леонтий и Семён отвернулись. Ваня оглядел всех Ремезовых. Да кто он им? Никто. Незванный гость. Чужак. Он сам виноват, что на миг обманулся, приняв Ремезовых за свою семью. Маше надобно, чтобы за ней бегали и угождали, а ему некогда. Петька глупый. Баба Фима над младшим сыночком квохчет, точно курица. Дядя Леонтий и дядя Семён не пойдут против батюшки. А Семён Ульяныч – он застрял в своей старине с кремлями, иконами и летописями. Ему не понять новых времён, где служат отечеству, и честь этого служения превыше царей, воевод и воинских товарищей. Превыше семьи. Поэтому у него, у Вани Демарина, нет семьи, и не было, даже когда он дома жил при отце, и впредь не будет.

– Я сам уйду, – сказал Ваня. – Тебе, Семён Ульяныч, я не сын, не слуга и не мальчонка. Надоели мне твои попреки. Поклон вам за хлеб и кров. За своим сундуком я завтра солдата пришлю. А ты, Петька, своим умом живи.

И Ваня пошёл прочь из горницы.

Глава 13

Царь Сибири

Ябеды и доносы были длиннющие, с многословными заверениями в честности и описаниями невыносимых страданий, которые претерпевали челобитчики. У Матвея Петровича не было времени читать всю эту брехню, и секретарь Дитмер оглашал ему только экстракты – краткое изложение сути.

– В Мехонской слободе бурмистр незаконно отнял у мужика корову.
– Пущай вернёт.
– Енисейский купец просит дозволенья торговать с тунгусами железом.

– Дозволяю.
– Иркутский комендант пьяный сказал, что царь Пётр – первый вор.
– «Слово и дело» доносчик помянул?
– Нет, господин губернатор.
– Ябеду в огонь, доносчику батоков.
– В Ишиме купца-раскольника насильно побрили, а он свою отрезанную бороду хранил за иконой. Осенью умер, его похоронили, а бороду в гроб положить забыли. Спрашивают, что делать.

– О, господи, – вздохнул Матвей Петрович. – Пущай на свече сожгут эту бороду с подобающей молитвой. Напиши им, что на том свете брода прирастёт, – Гагарин потянулся, с хрустом разгибая спину. – Устал я уже, Ефимка, с утра сидим, как два сыча в дупле... Передышку дай.

Дитмер без возражений бережно сложил непрочитанные листы в стопку.

Челобитные Матвей Петрович разбирал в своей палате в Губернской канцелярии. Короткий зимний день ещё не угас, но слюда в свинцовых рамах оконниц нежно порозовела – солнце клонилось к закату. Дверь в канцелярию Матвей Петрович велел держать открытой, чтобы ушлые чиновники боялись его и занимались казёнными бумагами, а не дулись в карты, как бывало; из канцелярии доносился унылый бубнёж переговоров и скрип перьев.

– Господин губернатор, – от неловкости Дитмер даже отвёл взгляд, – у вас просит внимания солдатская жена Бригитта Цимс.

– В шею её.

– От себя я тоже просил бы принять, – принуждённо сказал Дитмер.

Щепетильный и скрытный Дитмер редко утруждал Матвея Петровича своими делами, и Матвей Петрович согласился.

Он сразу узнал эту красивую шведскую бабу. Он ведь когда-то судил её пьяницу-мужа, который в кабаке Панхария проткнул палкой парсуну царя Петра. Кажется, Ефимка Дитмер в тот раз придумал какую-то уловку, чтобы спасти того дуболома от Преображенского приказа. Забавный был случай. Матвей Петрович, улыбаясь, смотрел на Бригитту. На лице у неё желтели старые синяки. Бригитта стояла и молчала, ожидая дозволения говорить.

– Лиса пригожа хвостом, а красавица – побоями, – добродушно пошутил Матвей Петрович. – Ну, слушаю. На мужа будешь жаловаться?

– Можете начинать, Бригитта, – по-шведски сказал Дитмер. – Сейчас он в добром расположении духа.

– Господин губер... нар... Я просить помиловать, – с трудом подбирая русские слова, сказала Бригитта. Она держалась спокойно, и это понравилось Матвею Петровичу. – Когда быть драка, не быть желание смерть.

– Какая смерть? – не понял Гагарин. – Толком выкладывай.

– Она говорит о драке между её мужем солдатом Михаэлем Цимсом и штык-юнкером Юханом Ренатом, – негромко пояснил Дитмер.

– Михаэль бить меня. Господин Ренат защита мне. Михаэль ударить его. Господин Ренат ответить. Это жар, горячо.

– Погорячились, – подсказал Дитмер.

– Чисто цыгане, а не шведы, – хмыкнул Гагарин. – За бабу в кулаки.

– Прошу отпустить из каземат, – завершила Бригитта.

– Мужик бабу свою поучил – и в каземат его? – весело удивился Матвей Петрович. – Дожили! Это бабе плетей следовало отмерить. Какой дурень его упёк? Надобно выпустить солдата, Ефимка.

– Нет, – Бригитта покачала головой. – Михаэль иметь свобода.

В общей драке на ярмарочной площади Цимс получил удар плотницким гвоздём меж рёбер. Другой бы, может, и умер, а Цимс, здоровенная скотина, зажал рану рукой и убежал домой. Два дня он лежал пластом, но потом оклемался, и сейчас уже ковылял по двору, лишь чуть скособоченный.

– Я просить отпустить господин Ренат, – твёрдо сказала Бригитта.

– Вот те раз! – опешил Матвей Петрович. – Он же твоему мужу кости ломал, и ты за него заступаешься?

– Да, – с достоинством кивнула Бригитта. – Я любить господин Ренат. Он также мне любить. Михаэль иметь злость, гнев.

Матвею Петровичу всё больше нравилась Бригитта: её здравомыслие и трезвость странно сочетались с бесстыжим и преступным устремлением.

– Вот ведь бесова кошка! Мужиков стравила! Это тебя в каземат надо посадить, а не твоего любовника.

– Так, господин губернатор, – согласилась Бригитта. – Вина мне.

– Кто, говоришь, твой дружок-то?

– Штык-юнкер Юхан Густав Ренат, – повторил Дитмер.

Теперь Гагарин вспомнил штык-юнкера: с него же началось побоище на ярмарке. Пьяный Васька Чередов зарубил собаку юнкера, а юнкер расквасил Ваське рожу, и дальше пошло-поехало. Но драка с пленными шведами – это государственное злодеяние, за которое непременно надо кого-то наказать. И Матвей Петрович хотел наказать штык-юнкера: он объявит офицера Рената зачинщиком мятежа и отправит в Преображенский приказ, в безжалостные руки князя-кесаря Ромодановского. Правда, никаких писем Ромодановскому Матвей Петрович пока ещё не написал, торопиться некуда.

– Пред богом-то не совестно за злодеяние? – спросил он Бригитту.

Матвей Петрович и сам грешил так, что никакой Бригитте за ним не угнаться, он всё знал про совесть и божьи заповеди, но спрашивал, потому что хотел узнать, насколько сильна страсть между этой бабой и офицером.

– Я хочу брак, когда закон, господин губер... нар. Господин Ренат тоже хочет. Но нет развод, где плен. Нам чужая страна. Господин пастор Лариус, господин ольдерман фон Врех отказывать нам.

– Жениться не дают, а женилка горит, – хмыкнул Матвей Петрович.

Ему всё стало ясно. У этих шведов не одна лишь срамная похоть, у них любовь. А любовь горы своротит. Хитроумие Матвея Петровича само по себе принялось выстраивать какие-то связи, которые он ещё не успевал осознать.

– Прошу прощения, господин губернатор, – сунулся Дитмер. – Драка между штык-юнкером Ренатом и солдатом Цимсом произошла во время недавних прискорбных событий на ярмарке. Солдата ударили ножом. Это сделал случайный человек, русский. Но обвинение возложено на штык-юнкера, поскольку он швед и имел причины к убийству солдата.

– Господин Ренат не держать нож, – подтвердила Бригитта.

– А солдат-то жив?

– Да, господин губернатор. Ранение оказалось лёгким.

Ренатова любовница и секретарь Дитмер, понятно, не догадывались об истинных причинах заключения штык-юнкера и намерениях губернатора. Матвей Петрович внимательно разглядывал Бригитту. Да,

непростая баба. Была в ней какая-то нестигаемая прямота, как в раскольниках. Однако эта шведская красавица не будет расходовать себя на проклятия, оправдания или слёзы. Её решимость по-немецки расчётлива. Она не полезет в костёр, но и не отступится. Она всё обдумает, дотерпит до удобного времени и ударит на поражение. Без суеты и клятв она пойдёт ради своего мужчины до конца и сделает что угодно. Такие умеют добиваться цели – не сразу, но верно.

Бригитте шибко не повезло, что её возлюбленный один должен ответить за смуту с пленными. Там, на ярмарке, солдаты Бухгольца повязали сотни три мятежников, из них человек сто были шведами. Полковник Бухголец предложил вместо наказания зачислить смутьянов в рекруты. У Бухгольца не хватало людей для похода на Яркенд, и он воспользовался возможностью – орёл, что сказать. С русскими мужиками никто не нянчился: их отправили в рекруты без спроса. Со шведами было сложнее. Матвей Петрович пригрозил им, что сошлёт в самые гиблые и дальние края – в Туруханск, Якутск и Нижнеколымск, на Алазею и в Жиганское зимовье; шведам будет лучше, ежели они согласятся на время похода в Яркенд послужить в шквادرоне у Бухгольца. Каролинов уговаривал ольдерман фон Врех. И шведы подписали бумагу. Поход займёт года два, а войне конца не видно: до примирения держав пленные успеют сходить в Яркенд и вернуться в Тобольск. Всех шведов освободили, а Ренат, зачинщик побоища, остался под стражей.

– Чего ты хочешь, дева? – Матвей Петрович поглядел в глаза Бригитте.

– Отпустить господин Ренат.

– Не от меня, от господи.

– Быть жена господин Ренат и жить, где моя страна.

Бригитта отвечала без запинки, о себе она всё знала твёрдо.

Дитмер изобразил на лице вежливое сомнение.

А Матвей Петрович в уме уже сложил одно к одному. Ох, не зря ему подвернулись эти шведы-любовники. Не зря! Матвея Петровича обмахнуло радостной дрожью, какая бывает, когда открывается выход из безвыходного положения. Эти любовнички стремятся быть вместе и вернуться на родину, а ему надо, чтобы джунгары получили пайцзу богдыхана Канси. Всё сходится! Офицер станет ключом, который отомкнёт замок войны, а баба станет той рукой, которая повернёт ключ в скважине. И денег платить не надо!

В палате, где сидели чиновники, раздался взволнованный шум, и в дверях вдруг появился новый человек. Это был Николай Нестеров, сын фискала Лексея Яковлевича. Николай остановился и снял треуголку.

– Господин фискал к господину губернатору, – сообщил он.

– Вот принесла нелёгкая! – раздосадовался Матвей Петрович.

Бригитта не пошевелилась. Он ждала решения губернатора.

– Ладно, уже не до вас, – сказал ей Матвей Петрович. – Ступай, Евина дочь. Вытащу твоего суженого из каземата, и не таких из-под топора спасал.

Бригитта и Дитмер вышли на «галдарею» Губернской канцелярии. У крыльца канцелярии стояли сани на высоких копыльях, с кузовом, закрытым медвежьей полстью, и с задранной спинкой, украшенной двуглавым орлом. Это приехал фискал Нестеров. Его сопровождали два солдата. Один солдат, возница, соскочил с облучка и помогал выбраться из кузова рослому старику с седой гривой – Нестерову; другой солдат слез с запяток саней и вытаскивал из-под полсти толстые и растрёпанные рукописные книги.

– Когда я получу плату за эту аудиенцию у губернатора? – по-шведски спросил Дитмер у Бригитты.

– Я уже расплатилась с вами, Йохим, тем, что не сообщила губернатору о вашем участии в делах тайной корчмы, – равнодушно ответила Бригитта, не глядя на Дитмера. – Я полагаю, это вполне достаточное вознаграждение.

Дитмер печально улыбнулся, принимая поражение.

Фискал Алексей Яковлевич Нестеров медленно вошёл на крыльцо, Дитмер, сообразив, с поклоном открыл перед ним дверь, и Нестеров так же медленно прошествовал через канцелярию к палате Гагарина. Фискал был в драгоценной бобровой шубе колоколом, с длинными полами до пола. Он важно вплыл в палату и остановился перед губернатором. Николай Нестеров услужливо подвинул отцу лавочку. Алексей Яковлевич сел.

– Закончил свою ревизию, Нестеров? Восвояси собрался? – насмешливо сощурился Матвей Петрович. – Раненько небось. Ещё мышей не допросил.

Матвей Петрович намеренно не обращался к фискалу по имени-отчеству или по чину. Много чести этому стервятнику.

– Довольно ли грехов моих накопал, не надобно ли ещё подсказать?

Нестеров не удостоил Гагарина ответом.

Никто в державе не любил фискалов, даже те, кто не воровал. Государь учинил фискальство всего-то четыре года назад, но этих лет хватило. Дело вроде было благое: ловить казнокрадов, мздоимцев и мошенников. Однако Пётр Лексеич предоставил фискалам слишком много воли. Они подкупали свидетелей, читали чужие письма, любого, кого заподозрили, могли

посадить в подвал на цепь. Всякий человек в государстве обязан был показать фискалу все свои бумаги, открыть все амбары, вывернуть все карманы. А фискалы ни за что ни перед кем не отвечали, даже Сенату не покорялись, пускай и числились при нём особой службой. Ежели фискал обвинял кого облыжно, врал или позорил, то всё равно никакого укора ему не следовало. На разгул фискалов разгневался сам владыка Стефан, местоблюститель Патриаршего престола. Но царь никого не слушал. Фискалы рыскали по его державе, как волки по лесу, и вынюхивали, кого сожрать.

Зная отношение Гагарина, Нестеров не попёрся бы к нему, однако в Тобольске на ярмарках Алексей Яковлевич накупил себе дешёвой пушнины – по закону, но без меры, – и на такой меховой обоз требовалось разрешение губернатора, иначе отнимут на Верхотурской таможне. Матвей Петрович только поморщился от просьбы фискала: подлая природа лезла наружу.

– Сначала мои книги проверят, потом я тебе прогонный лист выдам, – сказал он Нестерову.

– Боишься, что я цифирь твою переправил? – надменно спросил фискал.

– Ты можешь.

Нестеров и вправду мог подделать записи в окладных книгах губернии, чтобы потом в пушной казне обнаружилась недостача.

– Ефимка, – позвал Гагарин Дитмера. – Пущай секретари перелистают книги, которые фискал вернул, и поищут, не поскрябано ли где.

– Государева человека лаешь, – удовлетворённо изрёк Нестеров.

– Я сам государев человек.

Про Нестерова Матвею Петровичу всё было понятно. Фискалы получали половину того имущества, что изымали у воров. Нестеров хотел поживиться богатствами князя Гагарина, отсюда его раж и упорство в преследовании.

В канцелярии секретари и подсекретари склонились над раскрытыми страницами, водили пальцами по столбцам и вглядывались в строки. Для казённого учёта ещё Сибирский приказ повелел использовать лишь гладкую бумагу, александрийскую, а на ней были заметны любые подчистки.

Но Алексей Яковлевич не жульничал с книгами Гагарина. Он уже давно понял, что промахнулся с этой ревизией. Гагарин с молодых лет в Сибири воеводит, любые уловки и ходы-выходы выучил, его не поймать на краже пушнины, он все концы спрятал: князь не зелёный юнец, а матёрый

хищник. Да и Сибирь давно живёт чем-то другим – Алексей Яковлевич это почувствовал. Он рылся в песках и соболях, а в Тобольске отчего-то вдруг обер-комендант помер, раскольники сбежали и солдата зарезали, шведы мятеж затеяли, и какое-то войско в поход на степь собирается... Нет, мягкая рухлядь – сущая мелочь. Не на ней Гагарин богатеет. Не в мехах его злодеяния затаились.

– Разгулялся ты здесь, кровопийца, – вдруг заговорил Нестеров.

Матвей Петрович посмотрел на него с изумлением, а потом догадался, что Нестеров и сам не слышит, что думает вслух. Он ведь уже старик, но не замечает за собой старческой слабости. Матвей Петрович глянул на Николая, сына Алексея Яковлевича. Николай скорбно вздохнул и покачал головой.

– Выше царя вознёсся, – глухо бубнил Нестеров, глядя на Гагарина как на пустое место, и лицо его оставалось важно-неподвижным. – За лесами будто в крепости! Ну, ничего, рано радуешься. За кончик схвачу и весь клубок размотаю. Это здесь твоя рука владыка, а в Питербурхе всё иначе завертится. Не богатство есть грех, а гордость сатанинская.

Алексей Яковлевич уже придумал, каким будет его следующий ход. Уезжая в Сибирь, он отослал государю донос на своего начальника обер-фискала Михайлу Желябужского. Обер-фискал принимал подношения от лихоимцев и сжигал дела, заведённые Нестеровым, провинциал-фискалом. Алексей Яковлевич не сомневался, что государь вышибет Желябужского со службы, а в обер- фискалы воздвигнет его самого. И тогда он возьмётся за Гагарина по-настоящему. Возьмётся за таможни, за китайские караваны, за табачную торговлю и поборы. И князю Гагарину не уцелеть.

А Матвею Петровичу стало жалко старика, нелепо бормочущего угрозы.

– Ладно, – сказал он Николаю. – Не буду твоего отца мучить.

Он положил перед собой чистый лист и взял перо писать грамоту.

За слюдяным окном уже потемнело, и Матвей Петрович хотел домой.

Впрочем, на сегодня у него оставалось ещё одно неоконченное дело. Вечером он приказал привести к себе штык-юнкера Рената.

Ренат стоял в кабинете сибирского губернатора, растирал замёрзшие руки и хмуро оглядывался. Паркет, обои, голландская печь, занавеси на окнах, мебель почти как в Европе... Вернётся ли он когда-нибудь в такой же устроенный быт? Сможет ли он ещё раз хотя бы обнять, хотя бы увидеть Бригитту? Ренат устал. Устал от борьбы за хлеб насущный, устал от злобы и запретов, устал от русской жизни. Его съедала тоска. Почему нельзя просто забрать любимую женщину и жить с ней вдали от всех, никому не

мешая?

– Ну как тебе в тюрьме, кавалер? – спросил Матвей Петрович.

– Благодарить не за что, господин губернатор, – негромко ответил Ренат.

Матвей Петрович рассматривал штык-юнкера. Видно, что он в унынии, но не молит о пощаде и на колени не падает – это хорошо. Значит, есть сила духа. Матвей Петрович не верил, что человек с силой духа обязательно исполнит то, что обещал, или сделает то, за что взял деньги. Всякое бывает, и люди с волей предают так же часто, как и безвольные. Но сильный человек не отступится от своей заветной цели. А заветная цель штык-юнкера – баба. И она в кулаке у Матвея Петровича. Это и внушает надежду.

– Слышал про мятеж в Свияжске? – спросил Матвей Петрович.

– Слышал, – кивнул Ренат.

Мятеж случился ровно четыре года назад. Тогда в Казани и Свияжске несли службу три немецких драгунских полка, которые под Переволочной переметнулись от короля Карла к Петру Алексеичу. И ещё жили пленные. Капрал Юхан Курсель и капитан Юхан Рюль затеяли заговор и втянули в него полторы сотни офицеров. Заговорщики должны были взбунтовать немецких драгун и захватить Казань, а потом прорываться через Россию и Малороссию в Бендеры, к турецкому султану, союзнику Швеции. Но некий адъютант Бринк испугался и выдал заговор русским властям. Мятеж был подавлен ещё до начала. А капрала Курселя и капитана Рюля заковали в цепи и посадили в холодную тюрьму на хлеб и воду.

– В Свияжске шведская порода только шепталась, и там обошлось без крови, а у нас десяток русских убиты, и ваших офицеров с дюжину будет.

От товарищей по каземату Ренат знал, что в драке на площади погибли лейтенанты Петер Дикман, Бенгт Линдберг и Нильс Круз, а также корнет Эмпорагиус Абель, – это из тех, с кем Ренат был знаком.

– А зачинщик мятежа – ты, – завершил мысль Матвей Петрович.

– Всё началось с меня, – мрачно подтвердил Ренат, – но я не зачинщик. И то, что случилось, не было мятежом.

– Как я доложу царю, так и будет. Из петли ты ничего не докажешь.

– Если вы меня повесите, господин фон Врех обратится в Фельдт-комиссариат, и вас тоже подвергнут наказанию, господин губернатор.

– Тебе-то не легче.

Ренат подавленно молчал.

– Но я могу вернуть тебе свободу и твою бабу, – вдруг сказал Гагарин.

Ренат поднял голову, не поверив тому, что прозвучало.

– Да знаю я про неё, – снисходительно усмехнулся Матвей Петрович. – Бригиткой зовут. И муж у неё солдат Цимс. Муж плохой, а баба хорошая.

– И что вы хотите от меня в обмен на свободу и Бригитту?

Матвей Петрович уселся в кресло-корытце и сложил руки на животе.

– Предлагаю тебе тайную службу.

Перед разговором с Ренатом Матвей Петрович сам обошёл весь свой большой дом, все чуланы, кладовые и закутки, и согнал дворню в подклет, чтобы ни единая душа не подслушала. Лакей Капитон охранял двери.

– Я не буду объявлять тебя зачинщиком, – вполголоса заговорил Матвей Петрович. – Ты запишешься в шквадрон к полковнику Бухгольцу, как другие шведы поступили, и выйдешь из каземата на волю. А летом отправишься в поход с войском Бухгольца. Я дам тебе с собой одну золотую безделку, а ты никому из своих её не покажешь. Зачем она – тебе знать ни к чему. Это ясно?

– Да, – сухо сказал Ренат.

– В походе к вашему войску рано или поздно подойдёт войско джунгар. Ты сбежишь к ним и отдашь их начальнику мою безделку. Скажешь, украл её у меня, потому что золотая. Дескать, на это золото покупаешь себе волю. Джунгары не откажут: увидишь, они ещё и благодарны будут. А про то, что я сам тебе её дал, – молчи накрепко. Ежели ты проболтаешься, мне сразу понятно станет. Ну, вот и всё. Больше тебе делать ничего не надо.

Ренату очень не понравилось предложение губернатора. Какой военный поход, какая степь, какие кочевники?.. И где здесь место Бригитты?

– А как же Бригитта?

– Вослед Бухгольцу я пошлю обоз с припасами. Бабу твою отправлю с обозом. Однажды джунгары нападут на Бухгольца, кого-то убьют, кого-то в плен возьмут, а ты в бою бабу выручай. Так она к тебе и попадёт.

Матвей Петрович продумал всё до мелочей, но Ренат искал изъясн.

– Но ведь мы останемся в степи. Разве там лучше, чем в Тобольске?

– Джунгары – братья калмыков. От джунгар вы перейдёте к калмыкам, а они кочуют рядом с Кубанью. Кубань – турецкая земля. Турецкий султан – союзник вашего короля Карла. Через турок доберётесь до шведов.

– Это очень ненадёжный путь на родину, – мрачно заметил Ренат.

Матвей Петрович молча начертил пальцем петлю на шее.

Ренат сосредоточенно размышлял, глядя в пол.

– Но учти, – добавил Матвей Петрович. – Коли что-то сделаешь не так, как я говорю, джунгары не вцепятся в Бухгольца; значит, они сохранят ту

же дружбу со мной, что и ныне. Я потребую у них выдать тебя и твою бабу, и они выдадут. А тогда вам обоим лучше будет друг друга сразу зарезать.

Ренат понял, что раньше он висел над пропастью, а сейчас сорвался.

– Ну что, принимаешь моё предложение? – поинтересовался Гагарин.

– Разве у меня есть выбор? – помолчав, ответил Ренат.

В знак расположения Матвей Петрович проводил штык-юнкера через гостиную и сени до крыльца, где топтался солдат из караула при каземате.

– Завтра выпущу, – напоследок подбодрил шведа Матвей Петрович.

Он постоял на крыльце, дыша морозом, и решил перед сном чуть-чуть прогуляться. Сегодня был трудный день, но и столько важных дел сделано...

Матвей Петрович обошёл свой терем и остановился на краю Троицкого мыса над обрывом. По ночному небу плыли невидимые чёрные облака, но яркая луна, блестевшая в промоине, освещала вокруг себя их извилистые и лохматые кромки. Внизу распростёрся Тобольск: обширное тёмное поле, покрытое крошевом заснежных крыш и утыканное перьями печных дымов. Дальняя излучина Иртыша плоско белела ровным льдом, отсекая город, и за полосой реки во все стороны до предела мира тянулась распяленная колючая овчина тайги, игольчато осыпанная мелкими голубыми искрами.

Матвей Петрович вспомнил жену и сына. Они наотрез отказались ехать с ним, и он жил в одиночестве. Что поделать, ежели он обрёл родину здесь, а не в вотчинах и не в столичных имениях. Здесь его поприще и его держава. Он уже ох как не молод, у него одышка и больная спина, впору на палку опираться, но его душе нужны эти великие просторы, потому что суть его души – дерзость. Он подгрёб под свою руку всё, что есть в Сибири: таможни и гостиные дворы, пушные ярмарки и комендантские канцелярии. Его враги повержены. Его торговые караваны сквозь леса и степи упрямо пробираются в сказочный Китай. Его войско готовится идти войной на грозную степь. Его монахи в дебрях крестят инородцев и сжигают идолов на капищах. Он строит собственный кремль. Он взял себе такую власть, какой не имели ни славный Ермак, ни коварный хан Кучум. Такого своеволия не ведали ни хитроумные воеводы, ни могущественный Сибирский приказ. Он, Матвей Гагарин, князь от колена Рюрика, – царь Сибири.

Оглавление

Пролог. Мертвец 5

Часть первая. ПРИШЕДШИЕ И ВЗЯВШИЕ

- Глава 1. Шествие побеждённых 15
- Глава 2. От бога ветер 26
- Глава 3. Брать всё 35
- Глава 4. Через Верхотурье 46
- Глава 5. Пока плывут большие рыбы 55
- Глава 6. Тюменский схимник 70
- Глава 7. Карета азиата 82
- Глава 8. Архитектон 95
- Глава 9. Конклюдии 106
- Глава 10. Кто кому платит 117
- Глава 11. Следуя «Инструкции» 129
- Глава 12. Царь в гостях 141
- Глава 13. Вор у вора 152
- Глава 14. Прореха Мазепы 162

Часть вторая. ЛУНА ВСЕХ ВАРВАРОВ

- Глава 1. Пиетисты 175
- Глава 2. Войти в «тёмный дом» 188
- Глава 3. Четыре Корабля 203
- Глава 4. Свыше уготовано 214
- Глава 5. Дела северных варваров 226
- Глава 6. Богдойский албазинец 239
- Глава 7. Возничий и гончар 250
- Глава 8. Владыки волчьих стай 260
- Глава 9. Царь Сибирь любит 273
- Глава 10. «Бисмилла!» 285
- Глава 11. Прорва 298
- Глава 12. Течение великих рек 310
- Глава 13. С лихвой 323

Часть третья. ВЕРА ИЛИ ВОЛЯ

- Глава 1. Христос в темнице 339
- Глава 2. «Сия собака» 353
- Глава 3. Примирение с тенью 364
- Глава 4. «Ключом железным» 376
- Глава 5. Глаза Чигирь-звезды 387
- Глава 6. Сестра и плеть 402

- Глава 7. Поневоле 413
- Глава 8. «Ино ещё» 425
- Глава 9. Биармийская полночь 437
- Глава 10. «Прости, что не тебя!» 448
- Глава 11. Чужое золото 463
- Глава 12. Когда сошлись дороги 474
- Глава 13. Замордованные 490
- Глава 14. Нужды Отечества 505

Часть четвёртая. ТИГРЫ ПЕРЕД ДРАКОЙ

- Глава 1. Кода – Конда 521
- Глава 2. Дракону в пасть 537
- Глава 3. Чаша Нищих 548
- Глава 4. Ен-Пугол 565
- Глава 5. Корчемщики 583
- Глава 6. Мирная скотина китоврас 595
- Глава 7. Обер-комендант 607
- Глава 8. Спасти казнокрада 620
- Глава 9. Ванька-фицер 635
- Глава 10. Бегство неистовых 650
- Глава 11. На дороге прах 662
- Глава 12. Незванный гость 677
- Глава 13. Царь Сибири 687